

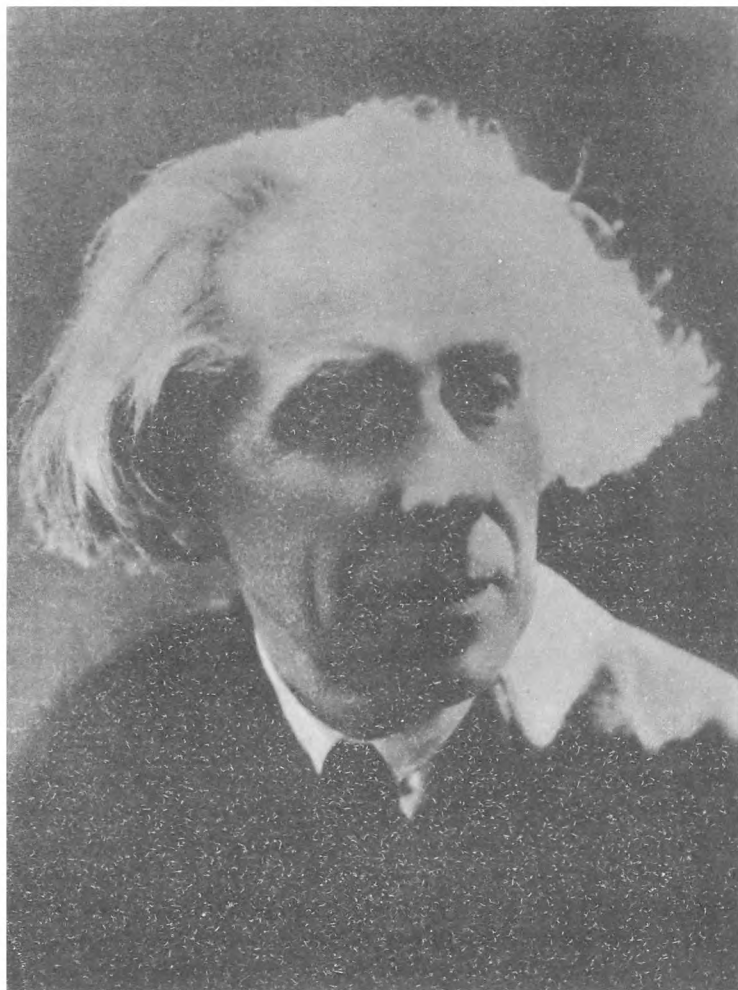
ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

ГОДЫ
СТРАНСТВИЙ

Георгий Чулков
ГОДЫ СТРАНСТВИЙ



Сергей Чупов

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

ГОДЫ
СТРАНСТВИЙ

Москва
Эллис Лак
1999

УДК 8824-821

ББК 84Р

Ч89

Вступительная статья, составление, подготовка текста,
комментарии *М.В. Михайловой*

Художник *В.Н. Сергутин*

Редакционно-издательский совет:

А.М. Смирнова

(председатель, директор издательства)

Т.А. Горькова

М.В. Михайлова

В.Н. Сергутин

И.Л. Тимашева

С.В. Федотов

ISBN 5-88889-035-9

© Эллис Лак, 1999

© М.В. Михайлова. Вступительная
статья, составление, подготовка
текста, комментарии, 1999



ПРИСТРАСТНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ

На обложке одной из записных книжек рукой Чулкова выведено *Habent sua fata libelli*, что означает: «Книги имеют свою судьбу». В этих словах — тревожное предчувствие. Поэт, прозаик, критик, активнейший деятель символизма, книголюб, знаток культуры, Георгий Иванович Чулков (1879—1939), несомненно, хорошо осознавал, какие препятствия могут возникнуть на пути художника к его читателю. Это и историческое время, и литературная мода, и характер государственной власти, и тысяча других крупных и мелких обстоятельств. В данном случае все они вместе сыграли свою роль в том, что почти все созданное Чулковым постигла горькая участь — забвение. Эта книга, где собраны его воспоминания, заметки из публицистического дневника, автобиографические наброски, а также рассказы и повести разного времени, призвана дать хотя бы самое общее представление о Чулкове — художнике разностороннем и многообразном.

В начале XX века его имя было широко известно читающей публике, настолько хорошо, что прототип ядовитых строчек Андрея Белого узнавался без труда: «Высочил Нулков. Приложился ухом к замочной скважине, слушая пророчество мистика-анархиста. Наскоро записывал в карманную книжечку, охваченный ужасом, и волосы его, вставшие дыбом, волновались: «Об этом теперь напишу фельетон я». Козловод Жеор-

жий Нулков крутил в гостиных мистические крутняки. Смеялся в лукавый ус: «Кто может сказать упоеннее меня? Кто может, как мед, снять в баночку все дерзновения и сварить из них мистический суп?» Над ним подшутила метель: «Ну, конечно, никто!» Схватила в охапку: схватила, подбросила — и подбросила в пустоту.

А стаи печатных книг вылетели из типографий, взвеванные метелью, проснежались непрочитанными страницами у ног прохожих»¹.

В приведенных словах явно содержится намек на удивительную работоспособность Г. Чулкова, которая поражала и одновременно задевала, раздражала его соратников по символизму (и это при том, что их продуктивности тоже можно позавидовать!). Действительно, за короткий срок писатель успел сделать очень много. Начав свой творческий путь в первые годы нового столетия, Чулков уже до революции выпустил шесть томов сочинений, вместивших стихи, прозу, эстетические трактаты. Позже к ним добавились романы «Сатана», «Сережа Нестроев», «Метель», пьесы, путевые очерки, историософские сочинения. Одновременно он редактировал и издавал сборники, альманахи, журналы, печатал критические разборы и рецензии, театральные обзоры, включался во все бурные литературные дебаты. Чулков играл весьма заметную роль в культурной жизни эпохи, всегда оказываясь в центре литературных и окололитературных событий: он и постоянный посетитель знаменитой ивановской «башни», и создатель пресловутой теории «мистического анархизма», и главная мишень для критических стрел А. Белого и З.Н. Гиппиус, и участник бурных дискуссий с художниками-кубистами в Москве, и «путешественник поневоле» по странам Европы в Первую мировую войну, и прорицатель судьбы России накануне грозных октябрьских событий. Имя его в первое десятилетие XX в. было окружено еще и романтическим ореолом: в 1901 г. студента медицинского факультета Московского университета Георгия Чулкова как члена Исполнительного

¹ Белый А. Старый Арбат. М., 1989. С. 272.

комитета объединения студенческих землячеств Москвы арестовали и препроводили в Сибирь, где он провел в ссылке около двух лет, а затем, после освобождения, еще несколько лет держали под гласным надзором полиции. Среди писателей такой биографией в те годы мог похвастаться только А. Ремизов.

Позже, в советское время, Чулков — «седогривый, уравновесившийся, почтенный, умный, талантливый литературовед» (и такой его портрет оставил нам Андрей Белый²), занимавшийся изучением, комментированием и изданием произведений Пушкина, Тютчева, Достоевского. Им созданы целая «тютчевiana» — публикация извлеченных из архива стихотворений поэта, статьи о его жизни и творчестве, книги «Жизнь Пушкина» (1938), «Как работал Достоевский» (1939).

Впрочем, надо уточнить: превращение Чулкова-писателя в Чулкова-литературоведа произошло небезболезненно — он буквально вынужден был заниматься исключительно историко-литературными изысканиями, поскольку ни одно из его художественных произведений, казавшихся ему наиболее значительными (например, пьесы «Хромой Франциск» и «Кабачок невинных», роман о петрашевцах «Петербургские мечтатели»), не было допущено к печати. Но и с историко-литературными работами не все шло гладко: рукопись его самого яркого биографического исследования «Жизнь Достоевского», высоко ценимого учеными — специалистами по Достоевскому, — так и осталась неопубликованной. Но и то, что печаталось, беспощадно уродовалось цензурой.

И все же в начале 1920-х гг. ему удалось издать два небольших сборника рассказов — «Посрамленные бесы» (1921) и «Вечерние зори» (1924). В одних рассказах воссоздано недавнее прошлое России (Первая мировая война, период между Февралем и Октябрем), другие представляют собой переосмысление жития святых или стилизацию под кургуазную мистику XVIII в. И хотя критики, почувствовавшие, что писатель не желает иметь дело с советской действительностью, были не-

² Б е л ы й А. Между двух революций. М., 1990. С. 60 — 61.

довольны, Чулков остался верен избранной теме. Он все дальше и дальше уходит от современности, создавая портреты русских государей — от Павла до Александра III («Императоры», 1928), погружаясь в декабристскую эпоху (повесть «Кинжал», 1925; «Мятежники» — психологизированные биографии героев 14 декабря 1825 г., роман «Salto mortale, или Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском», 1930).

Однако Чулков не оставляет отчаянных попыток «вписаться» в литературную жизнь советского времени. Как и многие советские писатели, он совершает поездки по стране, участвует в диспутах о поэзии, пишет документальную повесть «Вечные огни» об открытии и эксплуатации нефтяных месторождений (частично опубликована в «Новом мире» в 1935 г. под названием «Люди и факты») и детективно-авантюрный роман «Добыча», где действуют вредители, препятствующие социалистическому строительству. В надежде на публикацию Чулков предпосылает в качестве эпиграфов к роману цитату из Гёте и слова Сталина — о крепостях, которые покоряются большевикам.

Но и эти усилия оказываются тщетными... Постепенно Чулков изгоняется на обочину литературного процесса. Он сам все более и более начинает ощущать свое трагическое одиночество. «...Меня никто не знает. Никому я не известен...», — повторяет он с тоской. Постоянной спутницей становится нужда. Свое завещание, написанное в связи с тяжелой болезнью в 1921 г., он начинает словами: «Нищим жил, нищим умираю...»³.

В 1920 г. на семью Чулковых обрушилось страшное горе: умер от менингита единственный сын, появившийся на свет в 1915 г., когда его родителям было уже около сорока. Смерть сына стала причиной обращения Чулковых к Богу, позволившего им, с одной стороны, в годы всеобщей деморализации и страха дышать воздухом «тайной свободы», но — с другой, — едва не ставшего причиной еще одной трагедии.

³ РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 59.

В архиве М. Горького хранится письмо:

«Помогите, Алексей Максимович!

У меня горе. Вы понимаете, как мне тяжело просить Вас: я знаю, как Вас одолевают со всех сторон просьбами, но делать нечего — надо просить.

Десятого февраля, когда у меня ужинало человек семь друзей из актерского и литературного мира, явились товарищи из ОГПУ и арестовали мою жену <...>

Она теперь немолодая. Ей стукнуло шестьдесят. Она тяжело больна <...> Во время обыска, хотя она сохраняла видимое спокойствие, у нее случилось кровоизлияние в левом глазу. И я с ужасом смотрел на этот окровавленный глаз, когда она прощалась со мной.

Почему ее арестовали? Судя по тому, какими книгами и рукописями интересовались товарищи во время обыска, полагаю, что мою жену привлекают по какому-нибудь церковному делу <...>

В чем же ее преступление? Неужели в том, что она религиозна? <...> Ни в каких религиозных организациях, общинах, кружках она не состоит <...> А то, что шестидесятилетняя женщина <...> читает Библию, любит канон Андрея Критского, вопли Ефрема Сирина и песни Иоанна Дамаскина — кому от этого худо? <...>

Арест Надежды Григорьевны — тяжкая кара для меня. Но меня не за что карать. В меру моих сил я честно работаю <...> А между тем арест моей старухи для меня даже не тюрьма, а самая настоящая казнь. Заступитесь, Алексей Максимович.

*Георгий Чулков»*⁴.

«...Ничто не может заменить религию»⁵, — утверждал Чулков в письме В. Фигнер в январе 1926 г.

Глубокая религиозность пронизывает каждую строку повести «Вредитель». В подтексте ощутима она и в книге «Жизнь Пушкина». Но в то же время от нее практически свободны воспоминания Чулкова «Годы странствий», над которыми писатель работал во второй половине двадцатых годов. Бросающееся в глаза различие понятно: эти вещи создавались с принципиаль-

⁴ Архив А.М. Горького. КГ-П. 87-5-4. Публикуется впервые. Приводится с незначительными сокращениями. Вскоре жена Чулкова, скорее всего, по ходатайству Горького, была освобождена.

⁵ См. публикацию Я.В. Леонтьевым писем Г. Чулкова к В. Фигнер: Звезда. 1995. № 3.

но различными целями. Воспоминания — чтобы добиться официального признания своих литературных и общественных заслуг, определить свое место в кругу символистов и в целом — в литературе. Повесть же — исповедь, не предназначавшаяся для печати. Мемуары писались в расчете на то, что «характеристика эпохи», пропущенная сквозь «психологию ревнителей символизма» (так определил особенность своего труда в предисловии к нему Чулков), пробудит интерес к жизни автора. Работа над другой осуществлялась в величайшей тайне: ни в письмах, ни в записных книжках — нигде нет даже упоминания о ней, мечтать о ее публикации было безумием... Но именно сопоставление этих двух произведений способно дать полноценное представление о Георгии Ивановиче Чулкове — как о писателе, признанном «официально», и одновременно создателе «потаенной» литературы.

Однако надежды, возлагаемые на публикацию воспоминаний, не оправдались. Критика 1930-х гг. не только не одобрила «Годы странствий», но и усмотрела в книге «идеологическую» диверсию, которую совершил «блуждающий символист»⁶, преподнесший читателям реабилитирующие символизм мемуары. Автору поставили в вину его мистический взгляд на исторические явления, завышенную оценку собственных революционных заслуг. Стоило Чулкову опрометчиво обронить, что его душой с юных лет владел «демон революции», как его сурово одернули: «никакой «это» не демон, просто куцый «мелкий бес», символ кокетничающего с революцией буржуа»⁷.

Правда, объективность требует признать, что некоторое преувеличение революционного прошлого автора в воспоминаниях имело место. Но в 1930-е гг. исследование символизма должно было быть продиктовано либо прозорливостью, которую проявил участник символистского движения относительно его гибельности для художника (этот путь «декадентской самокритики» избрал в своих книгах «На рубеже столетий», «Нача-

⁶ Так окрестил его критик И. Сиников. См. его статью «Блуждающий символист»// Книга и революция. 1930. № 13—14. С. 23—24.

⁷ Там же.

ло века», «Между двух революций» Андрей Белый), либо обнаружением в нем достоинств революционного свойства. По второму пути пошел Чулков.

Сегодняшнего читателя, однако, наверное, не очень взволнует обоснованность или необоснованность революционных притязаний Чулкова, и он воспримет страницы, посвященные учебе в университете, участию в студенческих волнениях, жизни колонии ссыльных в Сибири, бегству из ссылки как обычные эпизоды биографии писателя. Но, несомненно, бесконечно интересной для наших современников окажется та часть мемуаров, где автор раскроется как свидетель становления одного из самых ярких направлений русской литературы начала XX века — символизма.

Чулков в первую очередь пишет о литераторах и литературе, ставшей для него страстью на все времена и, конечно, очень быстро затмившей все политические переживания. Неумная энергия, отличавшая Чулкова, побуждала его включать во все литературные начинания и предприятия, которыми отмечена насыщенная событиями культурная жизнь первого десятилетия XX в. Здесь он раскрывается полностью, причем в особой ипостаси «творца» литературной ситуации. Это качество не осталось незамеченным его современниками. «Самый неистовый энтузиаст, каких я знал, — вспоминал о нем М.В. Добужинский, — по внешности он тогда походил на молодого апостола или Предтечу, с бородой и большой шевелюрой, что было весьма в стиле его несколько театрального пафоса. Ни один доклад не проходил без его участия в прениях — тут он бывал порой блестящим или оппонентом, или апологетом»⁸. Но это же качество закрепляло за ним в глазах других (Блока, например) положение суетливого работяги «на подхвате», который повышенной деловитостью заставляет усомниться и в искренности своего увлечения искусством, и в своем таланте. Но даже самые откровенные недоброжелатели не могут умалить значения тех страниц мемуаров, которые и появились во многом благодаря чулковской «сверхактивности». На них оказались запечатлены

⁸ Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. С. 273.

ведущие деятели литературного процесса начала XX в. — Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Леонид Андреев и другие, не менее знаменитые современники.

Правда, в критике отмечалось, что некоторые страницы мемуаров похожи «на запоздалое сведение счетов». Думается, однако, что и этот упрек не совсем справедлив. Конечно, нельзя не принимать во внимание то, что Чулков активно «выяснял» свои отношения с прошлым. Во всяком случае, его симпатии и антипатии, может быть, затаенные в пору литературной полемики или прикрытые конкретными соображениями пользы дела, в мемуарах действительно обнажились более откровенно. И в портрете Брюсова, созданном, казалось бы, с пониманием роли и места, которые занял этот поэт в русском символизме, вдруг проступают черты «бездарного труженика», что делает оценку Чулкова тождественной цветаевской, в которой также акцентированы отнюдь не поэтические заслуги этого «героя труда». Не менее ядовитыми были и замечания, брошенные мемуаристом как бы невзначай по поводу ведения литературных дел Мережковскими. Однако же настоящий яд по поводу рационального аскетизма этой супружеской пары Чулков выплеснул в написанном им в середине 1920-х гг. рассказе «Ненавистники».

В своих прозаических вещах Чулков любил воспроизводить почти без изменений или с небольшими модификациями известные ему по жизни коллизии, что раздражало, например, Вяч. Иванова, всегда отговаривавшего его от этих затей и связывавшего именно с подобной «ложной документальностью» художественные промахи писателя. Но в этой области у Чулкова найдется немало удач: рассказ «Полунощный свет», воссоздающий духовную атмосферу ивановской «башни» и запутанные отношения ее обитателей, этюд «Шурочка и Веня», давший абрис характера писательницы А. Мирэ, повесть «Слепые», в которой предложена религиозно-мистическая трактовка вихря страстей, закруживших зимой 1907 г. Блока, Волохову, Менделееву и Чулкова. Но даже среди них особняком стоит рассказ «Ненавистники» — один из лучших рассказов Чулкова. Писатель поместил его в сборнике «Вечерние зори» рядом с рассказом «Милочка» — притчей о судьбе России, бросающейся в объятия то

одного, то другого покровителя, высветив таким образом символический смысл «Ненавистников»: интеллигенция, так много печалившаяся о судьбе родины, сама явилась причиной ее бед.

В рассказе Чулков удачно использовал чеховскую интонацию лирической грусти о несостоявшемся человеческом счастье. В чем-то повторив сюжетную канву рассказа «Дома с мезонином», автор, однако, жестче, отчетливее прорисовал отношения, связавшие героев. История двух соперничающих сестер, старшая из которых — Антонина — разрушает счастье младшей — Любви — только потому, что ей не удалось подчинить себе юношу, который ей и не особенно-то нужен, рассказана Чулковым просто и печально. Немаловажная роль стороннего наблюдателя, снисходительно относящегося к играм своей жены, отведена презрительно-рассеянному, забывающему имена-отчества собеседников, обладателю холодных и недобрых глаз Сергею Матвеевичу Бережину, любимое занятие которого — вещать о скором конце света.

Этот рассказ дает основание утверждать, что произведения Чулкова, созданные «по мотивам» событий, не иллюстрируют и не дублируют то, что потом будет документально запечатлено им в воспоминаниях. Автор предлагает именно художественное прочтение происходившего. Можно даже сказать, что мир воспоминаний — это аполлонический мир света и искусства, а мир прозы Чулкова — это мир дионисийских страстей, в котором плутают слепцы. Для этого достаточно сравнить хотя бы страницы, посвященные А. Блоку в «Годах странствий», и образы графа Бешметьева в «Слепых» (1910) и поэта Герта в «Парадизе» (1908).

Глава «Александр Блок», совсем небольшая по объему, является тем не менее центральной в воспоминаниях. Причина этого в том, что ни с кем из современников и собратьев по перу не складывалось у Чулкова таких сложных, потрясавших душу отношений, как с Блоком. Блок и Чулков в своей дружбе всегда были не «на равных», и Чулков всегда это чувствовал. Если контакты Белого и Блока выстраивались по принципу «дружбы-вражды», которая знает взлеты и падения, приливы и отливы, но всегда, даже в периоды разрывов, отмечена внутренней ориентированностью на «другого», то с именем Чулкова в сознании

Блока ассоциировалось понятие о банальной литературщине, делячестве, всей той «чулковщине», которая на определенном этапе становится для него синонимом негативного в литературной атмосфере.

Отношение Блока к Чулкову характеризовало некое презрительное высокомерие, не исключавшее, впрочем, чисто человеческой нежности и участия. Однако их взаимоотношения не укладываются целиком в рамки покровительственного снисхождения со стороны Блока. И на самом деле в признании Чулкова: «Мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока «слушать музыку революции», — содержится немало истинного. Ведь, действительно, для погруженного в соловьевские миры Блока появление на его пути человека, прошедшего ссылку, испытавшего участь поднадзорного, должно было стать неким импульсом к постижению реальной жизни.

В своих воспоминаниях Чулков еще весьма сдержанно осветил те моменты, когда его присутствие в жизни Блока оказалось поистине драгоценным для русской литературы. Он, например, мог бы подробно рассказать о создании поэтом лирической драмы «Балаганчик», чему он немало способствовал, а, самое главное, поведать о своих поистине титанических усилиях по разъяснению ее замысла, который получил в литературных и околосредовых кругах прямолинейное и поверхностное толкование⁹. Помимо обращения к актерам, в котором был проанализирован смысл основных образов пьесы, Чулков напечатал несколько рецензий — от информативной заметки о ее премьере в театре В.Ф. Комиссаржевской до развернутых выступлений, основные идеи которых не потеряли своей актуальности и сегодня. Он едва ли не первым обнаружил в «странном и страшном фарсе» Блока грандиозное испытание «мистическим скептицизмом» идеи Вечной Женственности, «великую и последнюю насмешку над самой дорогой ... мечтой поэта». А обнаружив в душе Пьеро-Арлекина «причудливое

⁹ З.Н. Гиппиус, например, в статье «Трихина» отзывалась о ней так: «... милая, не новая и никакого ни для кого не имеющая значения вещца» (Весы. 1907. № 5).

сочетание высшего знания, великой наивности, таинственной и первоначальной любви и насмешливого презрения»¹⁰, точно охарактеризовал элементы, составляющие основу характера лирического героя Блока и безмерно близкие исканиям-сомнениям самого художника. И появлением в пьесе «Песня Судьбы» (1908) рядом с главным героем Друга, его двойника-антагониста, русский читатель также обязан Чулкову, чьи реальные, а скорее, трансформировавшиеся в творческом сознании Блока черты и побудили поэта к созданию этого образа.

Для Чулкова Блок являлся человеком, общение с которым придавало особую значимость его существованию. Поэтому так безмерно и дорожил он всеми проявлениями их духовной близости, так скрупулезно бережлив был к доказательствам взаимопонимания, отраженным в сложном контексте их отношений. Подлинным взлетом эмоциональной напряженности характеризуются 1906—1908 гг., когда душевное отчаяние и житейская потерянности заставили Блока погрузиться в пучину хмеля. Тогда-то и оказался Чулков незаменимым и надежным спутником поэта во всех его эскападах. Свидетельством «пики» этой привязанности явился посвященный Чулкову блоковский цикл «Вольные мысли». Воспоминания об этих годах не позволили Чулкову примириться с наступившим вскоре охлаждением Блока. И он продолжал свой нескончаемый внутренний диалог с поэтом, одним из проявлений которого и стало стихотворение 1920 г., озаглавленное криптонимами «А. А. Б.»:

Да, мы убоги, нищи, жалки,
И наши чаянья — все бред.
И опозорены весталки,
И опозорен сам поэт.
Но не умрут воспоминанья
О жертве, рыцарь и пророк,
И о тебе свои преданья
Расскажет варварский Восток.

¹⁰ См. статьи Чулкова «О новом театре. (По поводу новых постановок в театре В.Ф. Комиссаржевской)». (Молодая жизнь. 1906. 27 декабря) и «Баллаганчик». (По поводу постановки в театре В.Ф. Комиссаржевской)» (Перевал. 1907. № 4. Февраль).

В этом стихотворении он снова в поэтическом «мы» объединил себя со своим кумиром, которого, однако, всегда воспринимал однозначно — в координатах декадентства. Чулков так никогда до конца и не понял ни блоковской эволюции, ни направления блоковского пути.

Надо тем не менее особо подчеркнуть, что при несомненной зависимости от Блока, идейной и творческой в том числе (тождество лексики, близость мотивов, сходная ритмика стиха), Чулков сохранял и определенную самостоятельность. Так, он оказался, пожалуй, одним из самых серьезных и принципиальных оппонентов Блока в дискуссии о «народе и интеллигенции». В этой знаменитой полемике голос Чулкова прозвучал, может быть, негромко, но очень достойно. В статье «Memento mori» (1908) он с позиции «универсализма» доказывал поэту, что его взгляд на интеллигенцию излишне пессимистичен. Эту же мысль Чулков попытался развить и в статье «Лицом к лицу» (1909), утверждая, что Блок понимает интеллигенцию узко, причисляя к ней или отвернувшихся от народа декадентов, или привилегированную часть дворянства. Вся полемика с Блоком происходила у Чулкова под знаком «освобождения» поэта от «декадентского дурмана», который, как мерещилось критику, не давал художнику найти путь к «оправданию земли и сораспятью с миром»¹¹. А именно так понимал Чулков истинный символизм, тот, который «кладет свою печать на всемирную литературу всех веков, определяя собой тип поэта, ...его путь, его стремление»¹².

Вообще, надо отметить уровень благородства этой полемики, в которой не нашлось места отражению реальных жизненных конфликтов. А ведь она происходила вскоре после событий, ознаменованных пьянящей влюбленностью Блока в «снежную маску» — актрису Н. Волохову и «романом» Л. Блок и Г. Чулкова. Если верить Л.Д. Блок, в ее взаимоотношениях с Чулковым не было никакой глубины. В воспомина-

¹¹ Чу л к о в Г. Снежная дева // Чу л к о в Г. Покрывало Изиды. Критические статьи. М., 1909. С. 87.

¹² Чу л к о в Г. Вчера и сегодня. М., 1916. С. 96.

ниях «Были и небылицы о Блоке и обо мне» Любовь Дмитриевна так охарактеризовала эту свою «первую фантастическую «измену» в общепринятом смысле слова: «Мой партнер этой зимы... наверное, вспоминает с не меньшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена à la Dostoievsky. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением переживала, когда мы проспимся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: «бег саней», «медвежья полость», «догоревшие хрустали»... и легкость, легкость, легкость»¹³.

Позволим себе, однако, усомниться в верности интерпретации, которую предложила Любовь Дмитриевна. Легковесной ситуация, скорее всего, представлялась ей. Чулков воспринял все иначе и, воспроизводя случившееся в повести «Слепые», подчеркнул не легкость и необязательность затеянной любовной интриги, а напротив, эгоистическую слепоту безрелигиозных людей, подталкивающую их к безумным и бессмысленным поступкам. Можно, конечно, заподозрить автора в желании придать особую значительность всему происшедшему. Но то, что случившееся было для него отнюдь не игрой, — не подлежит сомнению. В повести бросается в глаза «мертвенность» персонажей, пытающихся взбодрить угасающий интерес к жизни острыми ощущениями и экстравагантными переживаниями, — то, что принято называть декадентством. И образ графа Бешметьева, в котором отразились блоковские черты, лишен привлекательности, как, впрочем, и образ Герта в рассказе «Парадиз». В этом рассказе встреча «молодого человека лет двадцати восьми, небезызвестного поэта, с бритым лицом и вьющимися белокурыми волосами» с обитательницей определенного заведения под названием «Парадиз» кончается для нее трагически по его вине.

¹³ Воспоминания хранятся в РГАЛИ (частично опубликованы в «Литературном наследстве». Т. 89). Цит. по: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 389.

Но, может быть, еще более удачно Чулков сумел воплотить противоречивость Блока и свое восприятие его двойственности в стихотворении цикла «Месяц на ущербе» (1907):

И вновь ты уходишь во мрак,
Сияя мечтой золотистой,
И мраком венчается брак
Невинный, святой и пречистый.

И твой поцелуй на устах
Как ядом уста опалает.
И мимо проходит монах,
И молча, и строго кивает.

И бледный монах мне знаком:
Мы вместе плели наши сети:
Любили, влюблялись вдвоем,
Смеялись над нами и дети.

Потом уходил он на мост
Искать незнакомки вечерней:
И был он безумен и прост
За красным стаканом в таверне.

История сложных взаимоотношений с Блоком как бы убеждает, что свои воспоминания о нем Чулков непременно должен бы завершить сценой их последней встречи, одарившей его счастьем полного взаимопонимания. О ней он рассказал сразу же после смерти поэта. «В последний раз, когда Александр Александрович был в Москве, мы успели поговорить, и он был откровенен, как прежде, как в те годы, когда мы были друг другу нужны. Я сказал, между прочим: «Не верится как-то, что в наше катастрофическое время могут какие-то люди чувствовать привязанность к земле, к любви... Вы в это верите?» И он мне ответил, даже не улыбаясь: «Credo! Quia absurdum»¹⁴. Но в «Годах странствий» Чулков опустил эту подробность, как бы не желая лишний раз напоминать о нитях, навсегда связавших его с Блоком.

¹⁴ «Верю, потому что абсурдно» (лат.). Чулков в Г. Памяти Александра Блока. // Чулков в Г. Наши спутники. М., 1922. С. 88–89.

Так же скуп оказался мемуарист и в характеристике своих отношений с М. Волошиным, не написав ни о дарственных надписях на книгах, в которых поэт уверял его в своей дружбе и любви, ни о высоких оценках, которые были даны этим мастером чулковским переложениям «Песен» М. Метерлинка и другим его работам. Не вспомнил он и о своем участии в диспуте, устроенном Волошиным и «бубнововалетцами», куда его пригласил сам Волошин и где его высказывания, носившие «примирительный» характер, помогли создать творческую атмосферу обсуждения, которая была так необходима устроителям¹⁵.

Завершая тему взаимоотношений Чулкова с его современниками, укажем еще на одну особенность автора мемуаров — его пронизательность (например, в связи с творчеством Анны Ахматовой). Оценка творчества Ахматовой как наследницы заветов символизма и одновременно последовательницы классического направления в русской поэзии и ученицы И. Анненского, едва ли не впервые была предложена именно Чулковым в статьях «Пятьдесят девять» (1912), «Хомуз» (1913), «Закатный звон» (1914). Оказались пророческими и многие другие оценки Чулкова-критика (в частности, это касается поэзии Е. Кузьминой-Караваевой).

Однако в мемуарах были раскрыты не все творческие связи писателя. Он почти ничего не написал о своих учителях. Духовным учителем был для него Владимир Соловьев. Интересно поэтому читать рассказ «Отмщение», где в собирательном образе писателя угадываются не совсем привлекательные соловьевские черты. Возможно, рассказ был задуман тогда, когда Чулков еще не стал правоверным соловьевцем и критически воспринимал соловьевское наследие, о чем и писал в своей ранней статье¹⁶. Но непререкаемым авторитетом для Чулкова всю жизнь оставался Ф.М. Достоевский. Его поэтика воспринима-

¹⁵ См. отчеты о диспуте в Политехническом музее в связи с обсуждением художественной ценности картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в газетах «Московский листок», «Утро России», «Русское слово» за 13 февраля 1913 г.

¹⁶ См.: Чу л к о в Г. Поэзия Владимира Соловьева// Вопросы жизни. 1905. № 4—5.

лась им как «мятежный и смелый факт» новой культуры. Поэтому Чулков смело наследовал, а подчас и копировал мысли и стиль этого художника. По поводу романа «Сатана» (1914) критики даже возмутились: мол, раньше как-то не принято было афишировать заимствования, а тут перепевы сюжетной канвы «Бесов» и «Братьев Карамазовых» подаются абсолютно откровенно. Критики не заметили, что это был тщательно продуманный автором ход — «опрокидывание» известной литературной схемы в новый исторический контекст. Можно даже считать, что Чулков открыл жанр римейка в русской литературе. Атмосферой «Белых ночей», «Неточки Незвановой», «Униженных и оскорбленных» были подсказаны ему и образ Петербурга, и судьбы героинь в повести «Осенние туманы» (1916).

Достоевский и Вл. Соловьев (а также Данте и Ибсен) — для Чулкова — художники, «скованные» единой символической цепью. Он и символизм обосновывал как сочетание эстетической теории Владимира Соловьева о «магическом искусстве» с идеей Достоевского о «реализме в высшем смысле». Не случайно его биографический роман-исследование «Жизнь Достоевского» завершается символической сценой похорон, когда за гробом писателя, пытавшегося соединить христианство и социализм, неотступно следят «странные глаза» присутствующего здесь молодого человека — Владимира Соловьева.

Чулкова можно отнести к «неисправимым» символистам. Он встал на защиту символистского мировоззрения тогда, когда даже его адепты уже не решались бороться за него в открытую (в 1914 г. им написана статья «Оправдание символизма»), и остался его приверженцем, когда символизм уже прекратил свое существование. Так, давая отзыв на книгу начинающей поэтессы О. Молчановой в 1923 г., Чулков отрекомендовал себя следующим образом: «Я, верный символизму, постараюсь в нем найти ключ к оценке этих стихов»¹⁷.

Но если мемуары «Годы странствий» недостаточно полно раскрывают процесс формирования Чулкова-писателя, то гораздо больше о его литературных учителях, о художественных ис-

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 272. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2.

каниях мы узнаем из сохранившихся в архиве «Воспоминаний», которые вполне могли бы стать их первой частью. И становится ясно, что такое «усечение» сделано совершенно сознательно. Чулков намеренно проигнорировал те автобиографические моменты — первые детские впечатления, отроческое становление личности, формирование религиозных или иных устремлений, на которых она базируется и на которых обычно фокусируют свое внимание мемуаристы, чтобы написать не мемуары в традиционном смысле, а именно путешествие по памяти, «годы странствий», отражающие определенный исторический период и воссоздающие многокрасочную картину эпохи. Так, включенные в мемуары путевые заметки, зарисовки с натуры великолепно донесли до нас «голоса» жизни.

Разнообразные диалоги репортерского характера обнаруживают в Чулкове талантливое журналиста-хроникера, умело сочетающего описание, драматургическую завязку с собственными размышлениями и выводами. Вспомним, как непринужденно соединен рассказ о похищении «Моны Лизы» с теоретическим рассуждением о природе искусства. Таким же приметливым и чутким наблюдателем предстает Чулков перед читателем и в «Листках из дневника», откуда для настоящего сборника взяты два отрывка — «Вчера и сегодня» и «Честный большевик». Его статьи регулярно появлялись в журнале «Народоправство» (1917—1918), редактором которого он был, являясь одновременно в своих публикациях и политическим обозревателем, и историографом. На страницах журнала окончательно откристаллизовалась историческая концепция Чулкова — мистический национализм, — согласно которой Россия должна была сыграть мессианскую роль защитницы мира от германского империализма. Теперь во всем Чулков видит предательство национальных русских интересов, гибель России ставит в прямую зависимость от приближающейся революции и деятельности большевиков. Отсюда берет свое начало и его ирония по отношению к новоиспеченным «большевикам» или перекусавшимся в соответствующие времена красные цвета новоявленным нуворишам. А после свершения революции в статье «Метель» (1918) Чулков рисует устрашающий образ погибшей России: «Налетели бесы

с визгом и воем, навалили сугробы снега, смешали его с уличной грязью, и в мутной метели исчезла строгая красавица, пропала во мгле, туманной и снежной».

Наступившие вслед за этим «страдные дни»¹⁸ подтвердили уверенность писателя в существовании «темных и светлых» таинственных сил, которые определяют «пути истории», диктуют «волю Провидения»¹⁹. Чулков увидел, что на призыв к освобождению в первую очередь отозвались «темные, непросвещенные массы», начавшие творить праздник «сумасшедшего анархизма» — и, вспомнив о своих прежних бунтарских настроениях, раскаялся в них.

Теперь к наиболее страшным своим «заблуждениям и падениям»²⁰ Чулков отнес провозглашенные им вместе с Вяч. Ивановым в 1906 г. идеи мистического анархизма. Главный постулат этой теории — «последовательное и углубленное утверждение» индивидуализма, который должен привести «нас к истинной общественности, освобожденной от власти»²¹. Конечно, говоря о последовательном сопротивлении человека обстоятельствам, автор имел в виду не реальную политическую борьбу против государственных институтов власти, а обретение свободы в «метафизическом понимании». Но логика слова и дела в ситуации общественного напряжения и политических кризисов такова, что, воплощаясь в дела, слова могут претерпевать немыслимые метаморфозы. Это и произошло в октябре 1917 г., когда лозунг свободы обернулся насилием, порабощением и тюрьмами. Тогда-то Чулков и поставил точный диагноз: «Революция пошла по пути бунта, который возглавили безумцы, написавшие на своих знаменах «социал-демократия», «марксизм», «научный социализм»... Народ, получив долгожданную свободу, поистине охмелел от нее...»²².

¹⁸ Так Чулков намеревался озаглавить свой сборник, в который должны были войти его очерки и заметки из журнала «Народоправство». Архив ИМЛИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 85.

¹⁹ Архив ИМЛИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 85.

²⁰ ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 31.

²¹ Чулков в Г. О мистическом анархизме/ Вступ. ст. Вяч. Иванова. СПб., 1906. С. 70.

²² Чулков в Г. Михаил Бакунин и бунтари 1917 года. М., 1917. С. 18.

Его рассказ «Красный жеребец» (1921—1922) художественно подтверждает эту мысль. В нем Чулков наглядно показал ужас происходивших в России после революции событий, вступив тем самым в спор с Блоком, в свое время на вопросы: «Почему гадят в любезных сердцу усадьбах? Почему валят столетние парки?» — ответившим так: «Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью»²³. В отличие от Блока, уверявшего, что возмущение народа оправдано и он имеет право на возмездие, Чулков был обеспокоен революционным будущим русского народа и русской культуры.

Но и Чулков, и Блок остро ощущали вину русской интеллигенции за все происшедшее. Интересно в этом отношении стихотворение Чулкова «Поэту» (1919), обращенное к Вяч. Иванову, бывшему своему единомышленнику. В нем, отказавшись судить художника, возлагавшего надежды на стихийное возмущение народа, он тем не менее взял на себя ответственность за проповедь бунта и своеволия:

Могу ли осудить, поэт,
Тебя за мглу противоречий?
Ведь миру мы сказали: «Нет!» —
Мы, буйства темного предтечи.

Ведь вместе мы сжигали дом,
Где жили наши предки чинно,
Но грянул в небе вешний гром,
И дым простерся лентой длинной.

И мы, поэт, осуждены
Свою вину нести пред Богом,
Как недостойные сыны
По окровавленным дорогам.

Нет, нет! Не мне тебя судить,
Когда ты, поникая долу,
Гадаешь — быть или не быть
В сей миг последнему глаголу²⁴.

²³ Блок А. Интеллигенция и революция // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 15.

²⁴ Стихотворение «Поэту» напечатано в сб. «Стихотворения Георгия Чулкова». М., 1922.

Достаточно подробно осветив в своих мемуарах ситуацию, которая возникла в литературном мире после опубликования программы мистического анархизма, Чулков почти не коснулся последствий пропаганды новой теории, впрочем, как и попыток создавать художественные «иллюстрации» к этой теории. А мистицизм изначально пронизывал художественную ткань его произведений. Такие рассказы, как «Земля», «Весною», «Сестра», «Овцы», «Цыган и Жучка», были полны, по выражению одного из критиков, «таинственных намеков, покойников <...> и разговоров о страшном»²⁵. Смерть выступала в них последней мистической тайной, разрубающей «жизненные узлы» и «примирающей» с утратами и разочарованиями»²⁶. Чулков-мистик имел своих почитателей. К нему обращали такие слова: «Ваша проза строга, суха и благоуханна...»²⁷, «рассказы написаны рукой несомненного художника», их рисунок «богат... свеж... оригинален»²⁸. А М. Кузмин вообще считал ужасающей несправедливостью то, что популярность Чулкова-теоретика и пропагандиста символизма значительно превосходит его известность как художника. Он даже предположил, что читателя, всегда ищущего броского, вызывающего, яркого, отпугивает именно «нежная сероватость красок» писателя, «сдержанность изображаемых им чувств и суховатая простота изображения». Подлинным же ценителям искусства доставляет огромное наслаждение «сдержанное благородство»²⁹ его манеры, которую другой, не менее изысканный критик, назвал «синтетическим стилем»³⁰.

Но сам Чулков считал, что как художник он «медленно развивался и созрел», что его почерк «установился и окреп до-

²⁵ Войтовский Л. Журнальное обозрение // Киевская мысль. 1912. № 15. 15 января.

²⁶ Л. В. (Львов - Рогачевский В. Л.) Георгий Чулков. Рассказы. Кн. 1 // Современный мир. 1909. № 5. С. 139.

²⁷ Письмо В. Ашмарина Г. Чулкову от 5 августа 1911 г. ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 47. Л. 12 (об.).

²⁸ Полонский Вяч. Из жизни и литературы // Всеобщий ежемесячник. 1910. № 1. С. 113, 114.

²⁹ Кузмин М. Георгий Чулков. Рассказы. Кн. 2 // Аполлон. 1910. № 6. С. 43.

³⁰ Тастевен Г. Возрождение стиля // Золотое руно. 1909. № 12. С. 87.

вольно поздно» и что «настоящим писателем» он стал только «после Октябрьской революции»³¹. Именно в это время он принципиально меняет свой творческий почерк, отказавшись от несколько поверхностного импрессионизма, дополненного изрядной долей мистицизма, и обращается к повествованию, построенному на занимательной интриге, четкой событийной канве, динамичном развитии действия. Он даже придумал название для своего нового метода — актуализм.

Однако не сменой художественных приемов объясняется успех его поздней прозы. Даже никогда не благоволившая к нему Гиппиус после выхода в свет романа «Сатана» (1912, опубликован в 1914 г.) вынуждена была признать, что писатель обладает творческой волей, указывающей верное направление таланту³². И эта воля, помноженная на религиозное понимание мироустройства, вызвала к жизни шедевр Чулкова — повесть «Вредитель», написанную всего за несколько недель зимы 1931—1932 гг.

Эта повесть стала своеобразным подведением итогов собственной жизни, нелицеприятным приговором самому себе (по нашему мнению, излишне строгим). Георгий Иванович Чулков осудил себя как человека, который, по словам Иоанна Богослова, «тепл, а не горяч и не холоден», т.е. склонен к компромиссу. Именно эта фраза — последнее, что слышит в полубреду герой повести Яков Адамович Макковеев, конечно же, являющийся alter ego автора. Ему Чулков передал свои самые сокровенные размышления, свою последнюю любовь (прообраз Таточки — танцовщица Людмила Михайловна Лебедева, которой посвящены восторженные строки и в «Годах странствий») и даже «наградил» его своею мучительной болезнью — эмфиземой легких!

Но, дав герою такое многозначное имя, писатель рассчитывал и на самооправдание. Тем, что отец Макковеева носит имя Адама, первого человека, наказанного Богом за грехи, автор подчеркнул, что никто не свободен от человеческих слабостей. Сами Маккавеи являлись предводителями восстания против дес-

³¹ Чу л к о в Г. Откровенные мысли. ОР РГБ. Ф.371. Карт. 2. Ед. хр. 1. Л. 9 и 9 (об.).

³² См.: К р а й н и й Антон. Мятущая душа // Отклики. № 16. Литературное приложение к газете «День». 1914. № 178. 3 августа.

потии Антиоха IV, правившего во II в. до н.э. Иаков же — апостол, возглавивший после бегства апостола Петра иерусалимскую общину христиан и казненный в день празднования Пасхи. И герой Чулкова в итоге оказался способен и на «терпение в испытаниях и искушениях», и на доказательство того, что, как утверждал апостол Иаков в своем «Послании», — «вера без дел мертва».

Описывая страхи, подозрения и терзания Макковеева, писатель запечатлел свою боль, свое раздвоение, свою муку. Но, как и Макковеев, он сумел преодолеть себя, довести повесть до конца, не поддавшись желанию ее уничтожить. Поддержкой ему была вера в историческое христианство, которую он обрел в последние годы жизни: «Я исповедую, что... галилеянин... Иисус, две тысячи лет назад распятый по приказу римского чиновника Пилата, ... был истинным Спасителем всего мира и воскрес... Я верю, что прекраснее, мудрее и свободнее не было на земле существа — не было и никогда не будет...»³³. И даже сознавая, что «личная жизнь его «была слепая» и он продолжает влачить «бремя слепоты и греха», Чулков не терял бодрости и присутствия духа. В этом ему помогало стремление всегда быть «алчущим и жаждущим правды»³⁴ и уверенность, что «мы... живем не в античном мире, где... царствовал «древний хаос», а в христианском, где есть надежда на милосердие Божие»³⁵.

Чулков верил в свое предназначение. Не без загаенной гордости он писал, что, даже не зная его наиболее «удачных и совершенных» стихов (к ним он относил стихотворения, изданные в 1922 г.), его дарование признавали, так сказать, «в кредит»³⁶, такие поэты, как А. Блок, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов. Свое преклонение перед лирической стихией Чулков выразил в стихотворении «Поэзия»:

И странных слов безумный хоровод,
И острых мыслей огненное жало,
И сон, и страсть, и хмель, и сладкий мед,
И лезвие кровавого кинжала,

³³ Письмо жене — Н.Г. Чулковой от 6 января 1935 г. ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 31.

³⁴ Там же.

³⁵ Письмо Л.М. Лебедевой от 14 января 1932 г. ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 8. Ед. хр. 13. Л. 11.

³⁶ Чу л к о в Г. Откровенные мысли.

И дивных роз волшебное вино —
Поэзия, причудница столетий —
Все, все в тебе претворено!
И мы всегда, доверчивые дети,
Готовы славить муки и восторг
Твоих мистерий и твоих видений...³⁷

Все это позволило ему до конца дней оставаться «веселым поэтом» — но предаваться не веселью, свойственному Арсению Кудефудрову, а тому «крылатому, прозрачному и солнечному или хоть звездному веселью»³⁸, которое должно быть свойственно глубоко религиозному человеку. Когда-то еще в период своего «романа» с Чулковым Л.Д. Блок отметила присущее ему «драгоценное чувство юмора». Это чувство юмора предохранило и последний любовный роман Чулкова, учитывая разницу в возрасте (около двадцати пяти лет), от налета пошлости и банальности. Из Грузии он писал своей возлюбленной:

Зеленый мыс, быть может, рай,
Но без тебя он рай едва ли...
И кажется, что этот рай
Волшебники околдовали —
Не дышат пальмы и цветы,
И криптомерии не живы,
А если бы явилась ты,
Как стали бы цветы красивы!
Но нет тебя — и я бегу
От субтропических дорожек
К тебе, на Север...³⁹

Далее явно следовало что-то о «ножках».

Можно только сожалеть, что чувство юмора, ирония, сарказм — краски, которыми, безусловно, в совершенстве владел Чулков (достаточно вспомнить его язвительного «Сатану» и гротескно-памфлетный роман 1917 г. «Метель»), в столь малой степени были использованы им в «Годах странствий» (несколько ядовитых замечаний, штрихов — вот, пожалуй, и все). К прошлому сво-

³⁷ РГАЛИ. Ф. 548. Оп.1. Ед. хр. 54. Л. 21.

³⁸ Письмо Л.М. Лебедевой от 11 мая 1930 г. ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 8. Ед. хр. 12. Л.1.

³⁹ Стихотворение впервые опубликовано П. Нерлером (Нева. 1987. № 5).

ему Чулков относился, несомненно, очень серьезно. И нас, скорее всего, призывал к этому. Зато образы Курденко, Кудефудрова, братьев Трофимовых во «Вредителе», пожалуй, могут соперничать с сатирическими персонажами Ю. Олеси и М. Булгакова.

Последние годы Г. Чулкова были омрачены тяжелой болезнью — приступы удушья, мучительные сердцебиения... О его физических страданиях предельно откровенно сказано в одном из последних стихотворений:

Как будто приоткрылась дверца
Из каменной моей тюрьмы...
Грудная жаба душит сердце
В потемках северной зимы.
И кажется, что вот — мгновенье,
И жизни нет, и все темно.
И ты в немом оцепененье
Беззвучно падаешь на дно.
О, грозный ангел!
В буре снежной
Я задыхаюсь, нет уж сил...
Так я в стране моей мятежной
На плаху голову сложил⁴⁰.

Последние две строчки — поэтическая метафора. Судьба Чулкова по сравнению с трагическими судьбами его товарищей сложилась более или менее благополучно: он не подвергался репрессиям. В последние годы его преследовал образ непонятого и одинокого бунтаря, идеального рыцаря Дон Кихота⁴¹, в котором он прозревал черты другого «совершенного человека» — князя Мышкина. Его самого тяготили «визгливые голоса суеты», к литературной борьбе он испытывал полнейшее равнодушие, часто посещал Оптину пустынь... «Кругом жулики, и я брезгую с ними бороться: победишь, но загрязнишься. А я так не хочу»⁴², — пояснял он. Последними его словами, сказанными в бреду перед смертью, были: «Все прекрасно. Жизнь коротка, искусство вечно». Он покинул этот мир успокоенным, умиротворенным и счастливым.

Мария Михайлова

⁴⁰ Там же.

⁴¹ В 1935 году им написана трагикомедия «Дон Кихот».

⁴² ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 8. Ед. хр. 7. Л. 4.



ВОСПОМИНАНИЯ
ПИСЬМА

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Из книги воспоминаний

От автора

В этой книге воспоминаний читатель не найдет исповеди автора. Нет в ней и широкой картины быта. Оправдание этой книги — в характеристике эпохи, поскольку жизнь ее отразилась в психологии ревнителей символизма. Само собою разумеется, что эти литературные очерки не исчерпывают всех моих воспоминаний, но пусть по крайней мере эти фрагменты сохранятся для читателей.

Некоторые из глав книги были уже опубликованы ранее. Так, например, очерк, посвященный Брюсову, был напечатан в журнале Государственной академии художественных наук «Искусство», 1926 (1925), № 2; о Блоке — в книге «Письма Блока», изд. «Колос», Ленинград, 1925; о Федоре Сологубе — в журнале «Звезда», 1928, № 1; о Леониде Андрееве — в книге «Письма Л.Н. Андреева», изд. «Колос», Ленинград, 1924.

Переписка Брюсова, Блока, Сологуба и Леонида Андреева с автором воспоминаний опубликована с разрешения Государственной академии художественных наук, коей принадлежат ныне подлинники этих писем.

Юность

Два демона были моими спутниками с отроческих лет — демон поэзии и демон революции. Я всегда хмелел от песен Музы, и я всегда был врагом «старого порядка». А порядок в те годы был очень твердый, и казалось, что такую огромную империю, страшную в своем казенном благополучии, заколдованную таким колдуном, как Победоносцев¹, никак не расколдовать, никак не пробудить от ее мрачного и тяжкого сна.

• Революция, загнанная в подполье, казалась бессильной. Но в это же время беспокойные умы находили себе пищу в полемике с народниками. Перестраивалась на новый лад психология революции. Карл Маркс соблазнял тех, кому не нравилась сентиментальность народничества, расплывчатость и неопределенность той программы, которую защищал Н.К. Михайловский².

Нет надобности распространяться в этих записках о моей тогдашней философии, но социологию Маркса я принял в те годы целиком и совершенно уверовал в пролетариат как строителя будущей цивилизации. Нравилась стройность системы, казалась убедительной начертанная Марксом схема классово́й борьбы... Самая фатальность исторического процесса, неуклонно идущего к коллективизму, внушала тот оптимизм, которого так недоставало серой и унылой действительности.

Народничество, со своею сомнительною этикою, было чем-то двусмысленным. А в марксизме все было так отчетливо. Нравилось именно то, что открыт объективный закон, что дело не в социальной морали, которая, как известно, палка о двух концах, а в роковой неизбежности чудесного скачка «из царства необходимости в царство свободы».

На каждого токаря или слесаря я смотрел с особым любовным уважением. Ведь это тот товарищ, который перестроит мир! Жаль только, думал я, что эти блузники сами еще не подозревают, что именно они суть те счаст-

ливые избранники истории, которые, защищая свои классовые интересы, тем самым спасут мир от социального безобразия и социальной несправедливости. Надо было открыть этим блузникам секрет Карла Маркса. Одним словом, я жаждал стать пропагандистом.

В это время в Москве социал-демократическая организация была, как известно, очень слаба. В сущности, вовсе не было влиятельного центра. Революционная работа велась кустарным способом. Вот и я сделался одним из кустарей тогдашнего подполья.

Первый социал-демократ, с которым я тогда познакомился, был Н.А. Ф-в. Мы жили по соседству, на одной усадьбе, в Молочном пер. на Остоженке. Этот человек внушил мне к себе чрезвычайное уважение. И немудрено. Я был еще тогда гимназистом, а он кончал университет. Кроме того, он был литератором. Правда, он составлял, главным образом, популярные брошюры, но у него был немалый запас разнообразнейших сведений, и я поверил, что он в самом деле «все знает». Правда, мне тогда казалось несколько странным, что мой учитель как-то слишком самоуверен и решительно ни в чем не сомневается, но это смущение касалось философии. Зато в области социологии и политики у меня не было тогда никаких сомнений. И Н.А. Ф-в был для меня в этой области самым авторитетным человеком.

В те же дни поддерживал я знакомство с А.В. Соколовым³, моим товарищем по гимназии. Впоследствии под псевдонимом Станислава Вольского была им издана неизвестная книга «Философия борьбы».

Не помню, кто из них помог мне установить связь с подпольщиками, но вскоре у меня в руках оказалась кое-какая нелегальная литература, и я два раза в неделю путешествовал через Крымский мост в Замоскворечье, к одному токарю, где и вел социал-демократическую пропаганду.

Занятия в этом маленьком кружке меня, по правде сказать, мало удовлетворили. Особенно меня смущало то, что мои товарищи оказались склонными к философии,

и я не без удивления заметил, что в их головах гораздо больше вопросов и сомнений, чем у моего энциклопедически образованного марксиста. На иные философские вопросы товарищей я не мог отвечать, ибо в брошюрах, которые я им тогда доставлял, было кое-что — с моей точки зрения — неубедительное. И я отмалчивался, боясь впасть в противоречия с партией. Такие недоразумения бывали по поводу «высоких тем», — что касается экономики и политики, то здесь у меня все шло гладко. Однако меня тянуло от пропаганды перейти к агитации. К этому представился случай.

На одной из курсовых сходов я был избран депутатом в так называемый «Исполнительный комитет объединенных землячеств и организаций»⁴. С того часа закружилась моя голова в революционном хмеле.

Соблазняла мысль во что бы то ни стало нарушить сонную одурь, доставшуюся России по наследству от правительственной опеки Александра III⁵. Я вошел в Комитет с твердым намерением повлиять на него в том смысле, чтобы студенчество отказалось от узкой «академической» программы и откровенно присоединилось к революции. Я уже мечтал о том, как выйдут на улицу с красными знаменами рука об руку студенты и рабочие. Вот это братание блузников и студентов особенно казалось заманчивым. Я уже тогда понимал, что университетская интеллигенция на таком опыте должна неминуемо расколоться. Но это нисколько не пугало. Напротив, затея казалась увлекательной.

Когда я вошел в Комитет, там председательствовал Ираклий Церетели⁶ — впоследствии знаменитый лидер меньшевиков и ныне эмигрант. Надо ему отдать справедливость, что в те годы он очень охотно поддерживал левую фракцию Комитета, стремившуюся перевести движение на революционную почву. Теоретический его багаж был тогда не очень богат. Только попав в тюрьму, по дороге в Сибирь стал он основательно штудировать Маркса под руководством Игоря Будиловича⁷. Впрочем, Церетели, человек способный, сделался очень скоро начетчиком

марксизма и социал-демократом, хотя учитель его, Будилович, был убежденнейший и восторженный поклонник Михайловского.

Церетели пользовался немалым успехом в студенческих кружках. В нем в самом деле было что-то пленительное. Красивый юноша (едва ли ему тогда было более двадцати лет), с чуть заметным грузинским акцентом, с добродушной улыбкою и с тем ясным и трезвым умом, который всегда беспорен и для всех убедителен, он без труда снимал себе популярность. Всегда ровный, спокойный и находчивый, он был идеальным председателем на сходках.

Были в Комитете и будущие большевики, например, А.С. Сыромятников⁸ и В.И. Орлов⁹, попавший позднее в 1911 году на каторгу. Были и будущие социалисты-революционеры, так, например, погибший от бомбы Швейцер¹⁰, Вадим Руднев¹¹, Игорь Будилович и А.А. Ховрин¹², тоже впоследствии, как Орлов, побывавший на каторге.

В.И. Орлов составил обстоятельные записки, посвященные бунтарскому движению 1901—1902 годов. Эти интересные мемуары будут, вероятно, напечатаны, а сейчас я, с любезного разрешения автора, читал их в рукописи. Перелистать эту толстую тетрадь мне, участнику движения, было очень любопытно. Припоминались факты, которые совсем погасли в памяти. Так, например, я совсем забыл, как мы провели заседание Комитета седьмого декабря, а между тем это заседание и выпущенный после него «Бюллетень № 17» в сущности предопределили характер тогдашнего движения. Я своевольно, без ведома Комитета, написал и напечатал прокламацию, где впервые говорилось, что мы, студенты, не рассчитываем на поддержку буржуазных кругов общества. Вот с этой уже отпечатанной прокламацией я явился на заседание Комитета, требуя под ней комитетской подписи и угрожая расколом. Наша партия победила. Церетели, Будилович, Орлов и еще некоторые стали на мою сторону. Подпись Комитета была дана, и знаменитый «Бюллетень № 17» на другой же день появился в Москве, пугая обывателей.

Во главе наших врагов, «академистов», стоял тогда медик четвертого курса Аджемов¹³, будущий небезызвестный член конституционно-демократической партии. Я хаживал в клиники громить «академистов» и сражаться с этим Аджемовым, неглупым человеком и довольно искусным оратором. Эти мои визиты в клиники наводили ужас на субинспекторов и педелей¹⁴. Одним словом, я в те дни сжег свои корабли.

За месяц, примерно, до истории с «Бюллетенем № 17» мне довелось выступить публично с такою речью, которая по тем временам неминуемо должна была привести меня в тюрьму.

Дело было так. На правах писателя (я тогда уже напечатал несколько рассказов) был я приглашен на банкет памяти Добролюбова. В ресторане «Континенталь» собрались все московские либералы и радикалы. Я сидел случайно рядом с Леонидом Андреевым¹⁵, начинавшим тогда входить в моду. Банкет был как банкет. Седовласые вольнодумцы подымались один за другим и говорили обычные либеральные речи на тогдашнем «эзоповом языке», робко намекая на вожделенную конституцию¹⁶.

Выпив несколько рюмок водки, Л.Н. Андреев стал меня подзадоривать выступить с речью.

— Скажите что-нибудь решительное. Что это старики мочалу жуют! Пора вещи своими именами называть...

— Да вы сами скажите...

— Я не умею говорить. А вы — политик. Вам и книги в руки.

— Да ведь скандал будет!

— Вот это и хорошо¹⁷.

Я так и сделал. Попросил слова и сказал краткую, но, кажется, достаточно выразительную речь, по тем временам неслыханную. По крайней мере, участники банкета были утешены. Леонид Андреев был в восторге. Старые радикалы полезли ко мне целоваться. Были и такие, которые опрометью бежали из «Континенталья», полагая, должно быть, что немедленно нагрянет полиция для расправы.

Этой речи охранное отделение мне не забыло, и в довольно объемистом деле 1901—1902 годов, которое хранится ныне в Архиве революции, в справках обо мне канцелярии московского генерал-губернатора, а также департамента полиции¹⁸ постоянно упоминается среди моих преступлений моя речь 18 ноября 1901 года в гостинице «Континенталь».

Мои тюрьмы

I

Наконец, меня арестовали. Целый месяц сыщики ходили за мной по пятам, а в последние дни они стояли на своих постах, не таясь вовсе, фальшивые, зловещие и непонятные, как всегда. Я ждал ареста. Переходить на нелегальное положение я не мог и не хотел. Накануне ареста я был в театре. Возвращаясь вечером домой, я был уверен почему-то, что встречу незваных гостей. Едва я переступил порог калитки, меня окружило несколько агентов. Обыск начался до моего приезда. Жандармский ротмистр, рыхлый и, кажется, безнадежно усталый человек, сидел за моим столом, разбирая бумаги, и терпеливо слушал дерзости, которые ему говорила моя четырнадцатилетняя сестра¹⁹, сидевшая тут же как свидетельница. Больной отец лежал в соседней комнате и тихо стонал. Меня отвезли в маленькую тюрьму, что в Кропоткинском переулке, тогда еще Штатном. Я с первого же дня стал перестукиваться с соседями. Выяснилось, что в тюрьме сидят рабочие, выступавшие на зубатовских²⁰ совещаниях против «социализма без политики».

Камера у меня была узкая и тесная. Из окна был виден забор соседнего дома, а за ним сад, примыкавший к больнице для умалишенных. Несчастные безумцы, гуляя по саду, забирались иногда на скамьи и смотрели

в наши окна, как будто сочувствуя нам, пленникам, томившимся за решетками. Но должен признаться, что в первые дни я нисколько не томился, — одиночка доставила мне даже настоящую отраду. Я так устал от нашей подпольной суеты, от сходок и собраний и, главное, от этого напряженного ожидания ареста, что у меня как будто гора свалилась с плеч. Теперь все было ясно. Теперь у меня была возможность и право отдохнуть по-настоящему. Первую неделю я не пользовался книгами, и даже это меня не огорчало. Иногда хорошо человеку остаться наедине с самим собою.

Дня через три ночью меня повезли на допрос. Следователем моим был, кажется, Спиридович²¹. После формального допроса — кто я, мое звание и т.д., — жандармский офицер, рассматривая перстень на своей пухлой руке, сказал грустно:

— Вам предстоит дорого поплатиться за ваше напрасное увлечение политикой.

Я молчал.

— В каком чине ваш батюшка?

— Статский советник.

— Вот видите, — сказал офицер, подняв брови. — Как его должна огорчать ваша судьба! — Он наклонился и стал что-то писать. Потом, вздохнув, спросил:

— Вам не угодно будет назвать участников вашего дела?

— Нет, не угодно, — сказал я улыбаясь. — Впрочем, я не знаю даже, в чем меня обвиняют.

— Ах, да, — улыбнулся в свою очередь и мой следователь, — Вас обвиняют в организации политической демонстрации совместно с рабочими в городе Москве в феврале месяце сего года. Вы слышите?

— Да.

— Вам нечего сказать по этому поводу?

— Нечего.

— Хорошо. Нам все известно. Вот ваше дело. — И он указал на объемистую синюю тетрадь. — Вам придется

пока вернуться в место вашего заключения. Приговор вам сообщат.

Очевидно, показания мои мало интересовали следователя. Для него все было ясно и все решено.

Под утро меня привезли в камеру. Я долго смотрел в окно на облака с таким чувством, как будто я увидел их впервые. Время шло незаметно. Я писал стихи.

Однажды сосед мой по камере сообщил мне новость, не на шутку меня смутившую.

— Я получил известие с воли, — стучал он. — Ваших вожakov и зачинщиков отправят в Шлиссельбург.

Так как у меня было основание считать себя одним из ревностных участников нашего дела, я стал обдумывать свою судьбу с новой точки зрения.

Я решил бежать²².

На другой день, забравшись на табурет, я увидел за оградой лечебницы на скамье мою жену²³. Она махала мне платком. Я был, конечно, растроган немым приветствием, но это видение меня огорчило: очевидно, моей жене отказали в свидании со мною*.

Однажды загромыхал засов и меня повели в контору. Я все-таки надеялся, что увижу мою жену. Но ее не было. Передо мною стоял дядюшка мой. Когда мы прощались, я успел передать ему записку моей жене, в которой я сообщал ей, между прочим, когда и куда нас водят на прогулку.

Дядюшка, испуганный и растерявшийся, дважды ронял и поднимал мою записку. Добродушный седоусый тюремщик хладнокровно наблюдал за этой сценою, не делая попытки обличить наше преступление.

Как-то на прогулке я увидел мою жену. Она медленно шла вдоль низкого забора, которым был окружен наш дворик. Я обогнал солдата и поравнялся с женою. Она успела сказать: «Приговор — четыре года Якутской области. Я поеду за тобой».

* Моей жене удалось проникнуть в лечебницу благодаря хлопотам В.Э. Мейерхольда²⁴, там сидел его приятель, ныне покойный, Зонов²⁵, сотрудник его по театру.

Жена очень удивилась, что я принял известие о сибирской ссылке с немалой радостью. Она не знала, что мой сосед по камере напугал меня Шлиссельбургом и что якутская ссылка на поселение представлялась мне теперь прекрасным раем.

Я смутно припоминаю, когда и как перевезли меня из одиночки в пересыльную Бутырскую тюрьму. Шумная, возбужденная, только что бунтовавшая толпа арестантов окружила меня и одновременно со мною привезенного из одиночки Церетели, и эти крики, говор, песни, приветствия, объятия оглушили меня. Началась жестокая головная боль, и я пожалел о моей первой тесной и безмолвной тюрьме. В этом Бутырском аду прожил я три дня. В день отъезда меня неожиданно вызвали из камеры, посадили в карету и повезли на квартиру к моему отцу. Оказывается, он послал телеграмму министру юстиции с просьбой разрешить мне свидание на дому ввиду его, отца, тяжелой болезни, которою он был прикован к постели, и, как это ни странно, такое разрешение было дано, и я в присутствии сопровождавшего меня жандармского офицера говорил с отцом. К этому времени у нас в доме приготовлен был завтрак. Собрались все родственники. Ели и пили, как на поминках. Тут же сидел сконфуженный жандармский ротмистр, весьма, по-видимому, тяготившийся своими руками, которые он не знал куда девать.

Худо я помню подробности путешествия в арестантских вагонах от Москвы до Красноярска, но общее впечатление от этой буйной и шумной толпы юных революционеров осталось четким и прочным в моей памяти. Кажется, ни одна партия политических, отправляемых в Сибирь, не была так многолюдна и так бодро настроена, как наша. Это была самая веселая партия ссыльных. Всю дорогу мы пели песни; всю дорогу везли, ревниво храня, красное знамя; везде нас встречали толпы народа... Конвойные, стражники, все власти в пути, оглушенные, ошеломленные небывалой толпой бунтарей, все побеждающих своей самоуверенной веселостью, не знали, что с нами делать

и как подчинить нас обычной дисциплине. Начальство привыкло к мрачной непримиримости подпольных деятелей, к их аскетической строгости, к их презрительной суровости и нервности; и вдруг ему пришлось столкнуться с добродушной дерзостью, с молодой смелостью, с откровенным буйством. К тому же из Петербурга шли секретные бумаги, противоречивые и непонятные прямолинейным тюремщикам. С нами надо было обращаться «стро-го», однако не давая повода для раздражения «общества». Задача была действительно мудреная, а тайна была в том, что в движении 1902 года впервые был провозглашен с достаточной отчетливостью принцип явочного порядка. Революция вышла из подполья. Бывшие ранее попытки в этом роде, как, например, Казанская демонстрация²⁶, не нашли еще отклика в массе. А на этот раз наш крик о свободе отозвался повсюду сочувствием. Точно учесть это было невозможно, но это было для всех ясно. Правительство, послав без суда в Сибирь массу студентов, рабочих и разных интеллигентов, само растерялось, чуя в этом веселом мятеже новую силу. Этот малый бунт был первым предвестием большой революции.

Из отдельных эпизодов нашего путешествия запомнилось мне два. Первый — крушение моего, так сказать, авторитета в глазах товарищей. До этого случая я пользовался уважением как член Исполнительного комитета и как заметный агитатор. Теперь — увы! — все это было забыто. Я стал в глазах товарищей не более как чудаком. Виною разочарования во мне был, не ведая того, В.Я. Брюсов²⁷. Его книжка стихов послужила поводом для наших несчастных рассуждений о поэзии. Мои цитаты из Верлена²⁸ и Метерлинка²⁹ вызывали раскатистый чревный хохот товарищей, и даже самое имя Валерия Брюсова веселило юношей необычайно. Так ныне официально признанный поэт погубил тогда мою репутацию!

Второй факт был таков. У нас у всех было очень смутное представление о Восточной Сибири. Ходили среди нас рассказы о дикой девственной тайге, о мертвых

болотах, о мрачном инородческом быте. Мы воображали, что нам придется жить охотою и что мы будем окружены опасностями со всех сторон. Мы, конечно, не унывали. Но что будет, думали мы, с девушками, которые были сосланы вместе с нами? Они погибнут. Их растерзают белые медведи, или они умрут голодною смертью, если их поселят отдельно от нас, мужчин. Но как сделать, чтобы их поселили вместе с нами? Нашелся остроумный товарищ, который предложил всем заключить условные браки. Кто-то сообщил, что мужа и жену при поселении не разлучают. Вопрос о спасении девушек от белых медведей был поставлен на повестку дня, и на общей сходке было решено большинством голосов всем пережениться. Больше всего об этом хлопотал самый юный из нас, тоненький и слабенький студентик. Он и пошел с мудрою резолюцией в вагон, где были арестантки, не знавшие, что без их участия решается их судьба. Резолюция вызвала взрыв негодования юных революционерок. Одна из них, рослая, здоровенная социал-демократка, взяла за плечи щупленького студента и выставила его с позором из вагона. Так слабый пол посрамил пол сильный.

Наконец мы прибыли в Красноярскую тюрьму. Наше здесь появление ознаменовалось прежде всего бунтом из-за тюфяков. На грязных нарах лежали зловонные мешки, набитые гнилой соломой. Мы потребовали новых тюфяков, а, когда начальство заупрямилось, мешки с соломой немедленно были выброшены на тюремный двор, и здесь мы устроили великолепный аутодафе. Высокий столб дыма поднялся над тюрьмой, пугая красноярских граждан, воображение которых и без того было поражено неожиданным громким веселием непонятно буйных арестантов. Костер подействовал. Тюремщики уступили. У меня и сейчас сохранился фотографический снимок, где зрители стоят шеренгою перед грудой новых тюфяков — триумф нашего ребяческого мятежа.

Были и другие внутренние события в тюрьме. Так, например, приезд петербуржцев, во главе коих был т. Скрип-

ник³⁰, ознаменовался запальчивым спором из-за женщин. Москвичи предлагали петербуржцам потесниться в общей камере, а петербуржцы желали разместиться в женской камере, где было просторнее. Тут, конечно, говорилось немало речей о буржуазных предрассудках. Не помню, чем кончился этот спор и кто завладел женскою камерою.

Было у нас однажды торжественное заседание, посвященное диспуту на тему «В чем сущность и каковы формы будущей диктатуры пролетариата?» Насколько я припоминаю, юные ораторы представляли себе эту диктатуру чем-то весьма кратковременным, после чего наступит чудотворный «прыжок из царства необходимости в царство свободы»³¹.

Я, впрочем, не был в числе чрезмерно розовых оптимистов, и я не всегда охотно участвовал в политических дебатах. Меня занимали наши соседи уголовные. Я любил покуривать трубочку с одним загадочным каторжанином, у которого, как ходили слухи, было на душе двадцать два убийства. Лицо у него было спокойное, трезвое и как будто не злое. В Иркутске, в гимназии, училась у него дочь...

Здесь, разгуливая по тюремному двору, огороженному высокими палями³², я любовался на цепи гор³³, которые манили к себе своим волшебных многообразием. Солнце, умирая, зажигало иногда целые миры дивных красок на этих горных хребтах. Я чувствовал Сибирь. Вечер приносил к нам дыхание ранней весны. И от этого вольного ветра порою сжималось сердце в тоске по утраченной свободе.

II

В конце апреля вскрылась Ангара. И нас, переправив через нее, повезли в Александровскую центральную тюрьму. Когда мы стояли, сбившись в кучу, на едва нас вмещавшей лодке, кажется, всем было жутко и весело. На берегах громоздились ледяные сталактиты, висели саженные сосули, ослепительно сверкавшие на солнце. По реке шел еще последний лед, шуга³⁴; какие-то большие белые птицы с хищным криком носились над водой, ныряя за добы-

чей. Было дико, привольно — острый ветер колот лицо, и трудно было представить себе, что мы в плену и будем жить сейчас в суровой тюрьме, среди каторжан.

Мы вошли в тюрьму хмельные от весеннего воздуха, от влажных запахов едва оттаявшей земли. Какая огромная и многоликая толпа шумела здесь! Мы смешались с другими политическими — социал-демократами, социал-революционерами, бундовцами³⁵, польскими социал-демократами, случайными пропагандистами или просто радикалами, которые так или иначе помогали революционерам. Среди нас были многие, чьи имена уже вошли в историю — Сладкопевцев³⁶, Дзержинский³⁷, Церетели, Ховрин, Игорь Будилович, Урицкий³⁸, Скрыпник, Ашмарин³⁹, Швейцер, Зильберберг⁴⁰...

Иные из них уже погибли, иные еще в борьбе.

Началась тюремная жизнь. Мгновенно сложился быт: еда впятером из одной миски, сношение с внешним миром через уголовных, столкновения с начальством...

Здесь, в Александровке, кипела та революционная брага, которую впоследствии пили русские люди, пьянея, двадцать пять лет вплоть до наших дней.

И мы, и наши тюремщики чувствовали, что должно что-то произойти здесь, за этими высокими палями⁴¹, что невозможно собрать столько буйной молодежи и запереть эту взволнованную толпу, как стадо мирных животных, в хлеву. Эта страстная толпа должна была опрокинуть рогатки, нарушить порядок. Так и случилось.

Вскоре нашелся и предлог. Нам не давали точных сведений, куда нас везут. Якутская область, как известно, велика — по площади она равна, примерно, двум третям Европы, и не малая разница — попасть в Олекминск или в Якутск, или в Верхоянск, или в Колымск. Город от города — на тысячи верст. У нас были самые фантастические представления об условиях тамошней жизни. То распространится по камерам слух, что придется сидеть в темноте — нет в Якутске свечей; то будто бы нет там мыла или еще чего-нибудь. И мы, в панике, покупаем по пяти кус-

ков мыла или несколько фунтов свечей — мы, которых отправляют туда на несколько лет. Вероятно, мы все тогда были отчасти лишены здравого смысла.

И вот мы предъявили начальству требование — немедленно запросить иркутского генерал-губернатора о том, куда кого назначили, дабы каждый мог запастись всем необходимым в соответствии с местом его назначения. С ответом медлили. И у нас начался бунт. Вероятно, были весьма двусмысленные преуказания свыше, ибо наше тюремное начальство вело себя с мягкостью поистине удивительной. Или, быть может, тюремщики преувеличили наши силы, заподозрив, что у нас было оружие. Одним словом, юноши лихо погуляли. Тюремщики были изгнаны. Ворота были забаррикадированы. Над тюрьмой взвился красный флаг. У нас было два или три браунинга — вот и все наше оружие, а у врага не менее сотни солдат с винтовками, и все же мы пировали, как победители. Холостой залп несколько нас не устрасил. По ночам мы дежурили зачем-то у баррикады на часах, как будто мы могли оказать серьезное сопротивление, если бы повели солдат брать нашу крепость.

Теперь кажется этот мятеж неважным и даже ребяческим, но мог быть иной оборот событий, могла пролиться кровь, и все это восстание перешло бы в историю под знаком траура и возмездия. Три дня мы сидели в осаде. Наконец, приехали из Иркутска вице-губернатор, прокурор, жандармерия. Комендантом нашей крепости был Держинский. В его ведении было наше красное знамя. На сохранившемся у меня фотографическом снимке он держит его древко, стоя на баррикаде.

Мы вели обычно переговоры с тюремным начальством во время осады через дыру, сделанную в палях, — приходилось парламентарам сидеть на корточках. Целые сутки вице-губернатор не соглашался принять столь унижительные условия для предварительной конференции. А мы иначе не соглашались разговаривать. Наконец генерал решился сесть по-турецки. Дело кончилось миром.

Мы разобрали баррикады, и нам дали списки с указанием, кто куда отправляется.

Во второй половине мая нас повели этапным порядком из Александровского централа на Качуг — пристань Лены, где мы должны были сесть на паузки, чтобы плыть по течению три тысячи верст до Якутска. Нас меньше стало. Многих поселили по линии железной дороги. Церетели остался где-то недалеко от Иркутска.

Мы выехали из Александровского села с песнями, неся по-прежнему наше красное знамя. Пешком идти было легче, чем сидеть на тряских телегах, и мы растянулись по большаку. С конвойными солдатами мы сразу сошлись по-приятельски, но на офицера смотрели подозрительно. Ходили слухи, что именно этот офицер расстрелял в прошлом году партию уголовных. Слухи оказались ложными.

Была весна, но по утрам в кадке с водою плавали куски льда, и было холодно. Этапные избы были мрачны. Грязь была такая, что, уронив пяточок на пол, мы теряли его безвозвратно: такой слой жидкой грязи лежал на полу избы. Спали все вместе, мужчины и женщины, на общих нарах, не раздеваясь, конечно. Таких тюрем до Качуга, если не ошибаюсь, было пять.

Но какое наслаждение идти так по сибирской дороге, предчувствуя таежную пустыню, реки, раскинувшиеся на тысячи верст, угадывая весь этот огромный северный азиатский сон, ледяную колыбель мамонтов и прочих допотопных чудищ.

Я был тогда рассеян и молчалив. Многих товарищей, к стыду моему, я вовсе не заметил, о чем жалею теперь, когда убедился, что все люди интересны, все без исключения. Но некоторых я и тогда запомнил — не столько их мнения и слова, сколько общий стиль их, интонацию, выражение глаз. Дзержинский, например, часто подсаживался ко мне на телегу и, если слышал чей-нибудь разговор, казавшийся ему несодержательным, бормотал мне на ухо ироническую свою поговорку «люблю красноречие и буржуазию». Дзержинского я запомнил. Он был тогда строй-

ным, худощавым, гибким. Несмотря на революционную непримиримость и решительность, было в нем что-то польско-женственное и, пожалуй, что-то сентиментальное. Он, кажется, сам это чувствовал и стыдился и боялся этого в себе. Он и Сладкопевцев казались мне характернейшими людьми революции, как я ее тогда понимал *.

На первом или втором этапе два жандарма привезли к нам из Иркутска еще одного арестанта. Это был В.Е. Попов ⁴², прославившийся впоследствии своими корреспонденциями о Спиридоновой ⁴³, о карательных отрядах и пр., журналист, известный под псевдонимом Владими́рова. Он работал тогда как инженер и занимал в Москве видный пост. Он ехал с большим комфортом — с какими-то коврами, самоварами, несессерами, чуть ли не со специальными курортными нарядами, угощал нас ликерами и вообще нарушил своюю особою наш арестантский стиль. Впоследствии, когда я жил один в тайге, он гостил у меня дня два проездом, направляясь в какую-то придуманную им экспедицию.

И тогда он был таким же светским, приветливым, раздушенным, и никакая тайга не могла изничтожить в нем пристрастия к преходящим радостям жизни.

Два жандарма, которые привезли Попова из Иркутска, послужили поводом для нашего третьего бунта. Дело было в том, что у нас готовился побег. Собирались бежать Держинский, Сладкопевцев и Скрыпник. Держинский и Сладкопевцев отложили свой побег до Верхоленска, а Скрыпник спешил осуществить свой план. Конвойные нисколько этому не мешали; жандармы, напротив, были зорки и опасны. И вот мы предъявили требование об удалении жандармов, которые, мол, напрасно нас раздражают. Не все были посвящены в план побега.

Многие настаивали на удалении жандармов от избытка бунтарских чувств и настроений. Тогда выяснилось, что

* В двух моих рассказах, напечатанных задолго до нашей революции, — «На этапах» и «Пустыня» — я зарисовал типы «подвижников» революции. Я имел тогда в виду Сладкопевцева и Держинского.

из Иркутска пришла бумага к нашему конвойному офицеру, на этот раз вовсе не двусмысленная, в коей рекомендовалось расстрелять партию, ежели она будет вести себя по-прежнему, то есть не считаясь ни с какими правилами сибирских этапов. Очевидно, у начальства лопнуло, наконец, терпение, и оно решило не церемониться со строптивыми арестантами.

На одном из этапов была сходка, где мы решали вопрос о том, настаивать или нет на требовании нашем. В избе было мрачно, тускло горела коптящая лампочка. Настроение было подавленное. Все чувствовали, что дело идет на сей раз о жизни и смерти. Решено было, однако, не сдаваться и не уступать. Офицер терпеливо ждал конца сходки. Мы сообщили ему наше решение, поразившее его, по-видимому. Мы не знали, что будет. Солдаты стояли вокруг с винтовками и, кажется, тоже чувствовали, что дело принимает серьезный оборот. Тогда добродушный офицер, подумав, приказал жандармам следовать на каком-то почтенном расстоянии, чуть ли не десяти верст, что никак не могло помешать побегу. На это мы, разумеется, согласились. И Скрыпник благополучно бежал. Две ночи мы клали чучело на нары, и конвойные, пересчитывая арестантов, не замечали побега. А когда побег выяснился наконец, офицер наш запил горькую и на паузках уже ехал всю дорогу мертвецки пьяный. Моя жена догнала меня на пароходе, и я должен был получить разрешение на присоединение ее к партии, и вот страж наш долго не мог понять моего заявления, а когда сообразил, в чем дело, зашелкал шпорами, не будучи в силах подняться с постели, выражая, очевидно, свое почтение к даме и согласие на присоединение ее к партии. Я по крайней мере так это понял, и жена моя села на паузок. Хороший был человек офицер. Его судили военным судом, но мы своими показаниями выручили его как-то, и он не пропал: служил впоследствии благополучно на железной дороге.

Где-то недалеко от Качуга встретила нас колония политических. Бронштейн-Троцкий⁴⁴ опередил товарищей.

Его я увидел первого. Он шел один, махая фуражкой и крича приветствия...

Там, за Качугом, начиналась новая жизнь — огромная великолепная пустыня, зеленоокая тайга, с ее благоуханиями, с ее звериными тропами, с ее шаманскими тайнами...

Якутская ссылка

Мы подошли к Качугу и расположились на берегу, поджидая рассвета. Кажется, дня за два до этого последнего этапа бежал тов. Скрыпник. То, что побег удался, и предстоящий нам весенний путь на Север, и наша буйная молодость — все это волновало нас. Не хотелось спать. Бивуак наш похож был на фантастический табор.

Конвойный офицер на ночь передал охрану партии местной полиции, и наш отряд был окружен стражниками-бурятами, которые с зловонными трубками во рту сидели у костров, поджав под себя ноги, как будды, ко всему презрительно равнодушные.

Дрожали золотые ресницы звезд, и казалось, что небо смотрит на табор наш миллионами зорких глаз. На рассвете застучали топоры. Это достраивали паузки, на которых предстояло нам плыть по великой реке три тысячи верст.

Не все из нашей партии дошли до Качуга. Многих поселили по линии железной дороги. На паузок сели политические, которых отправляли в Якутскую область, — человек сорок, если не ошибаюсь. Среди нас были: Сладкопевцев, Держинский, Урицкий, Сыромятников, Ховрин, Игорь Будилович, Бибергаль⁴⁵, Швейцер, Касаткин⁴⁶, Сбитников⁴⁷, Столыпин⁴⁸, Попов и др. Многих уже нет в живых. Иные погибли от пули, иные на виселице. Швейцер, как известно, взорвался, заряжая бомбу.

Странное у меня было чувство, когда мы взошли на паузок. Казалось, что вот подымут сходни и мы не от Ка-

чуга отчалим, а как будто целый мир покинем, знакомый и обыкновенный, чтобы полететь в голубую неизвестность. Но какой это был медленный и грузный полет! Думаю, что нет нелепей судна, чем эти ленские паузки. Надо представить себе баржу, на которой вплотную до борта построен дощатый сарай, с плоскою крышею. Два огромных весла, рассчитанных на шесть гребцов, примерно, и одно кормовое, которое торчит высоко над палубой, составляют всю корабельную снасть. И ползет это чудовище-паузок медленно по течению, и только там, где Лена становится уже и берега выше, где быстрее несется река, надо держать ухо остро и отгребаться неутомимо, чтобы не разбиться о прибрежные скалы, так называемые «щеки». Из них самая прославленная — «Пьяный Бык», где погибли, по преданью, паузки со спиртом.

Итак, мы отчалили. И здесь не утратили мы красного знамени, которое мы бережно и ревниво хранили во всех тюрьмах и на всех этапах. Мы утвердили его на палубе. Началась наша новая жизнь. Там, на берегу, мы оставили все суетное и тревожное. Мне казалось, что все товарищи радовались невольному отдыху от напряженной грязной и нервной тюремной жизни. На паузке не было ни грязи, ни пыли. Берега были пустынные. На челноках подъезжали к нам лоцманы, чтобы на следующем перегоне покинуть нас. На пристанях людей совсем не было видно. Кругом была прекрасная дикая тишина. Но были среди нас и неутомимые, — их не соблазняла эта голубая весенняя пустыня. Такими «неутомимыми» казались мне двое — Сладкопевцев и Дзержинский. У них все помыслы были по ту сторону Урала. Им нужна была подпольная лихорадка. В Верхоленске они высадились и вскоре на лодке бежали оттуда. А нам предстояло плыть еще более двух тысяч верст — иным до Якутска, а мне пришлось держать путь еще дальше на восток, через тайгу, до Амги.

Ослепителен весною ночной свет на Лене. Это уж не петербургские белые ночи. Воистину это ночи золотые⁴⁹. В этом потоке странного золотого блеска нельзя

спать. Сердце изнемогает в каком-то непонятном мучительном счастье. Странно петь; стыдно говорить; молчишь завороченный.

Так мы плыли целый месяц. С трудом одолевая чары этой дивной Лены, налаживали мы свой речной быт — варили ежедневную уху из стерлядей; стирали белье, спускаясь вниз на доски, прикрепленные веревками к борту паузка; возились у кормового весла, мешая лощману, а чаще всего в сладостной дремоте валялись на палубе, наслаждаясь тишиной пустыни.

Все это кажется далеким сном, и, когда недавно после двадцатипятилетней разлуки я встретил иных товарищей, мне казалось, что это протягивают мне руки свидетели каких-то неизъяснимых видений. А те, ушедшие? С иными я встречался неоднократно после ссылки.

Одного из них, Игоря Будиловича, с кем связан я был братской любовью, хочется мне сейчас помянуть в надежде, что знавшие его товарищи, прочитав эти строки, поймут меня и, может быть, с грустью задумаются над его судьбой. Полжизни провел он в ссылке и в тюрьмах — сначала в Якутске, потом в Колымске, потом опять в плену — то у московских, то у петербургских жандармов. В 1914 году мы с ним встретились. Он только что вышел из тюрьмы. У него была злая чахотка. И врачи отправили нас за границу — я поехал в Швейцарию, а он в австрийский курорт Закопану*. Накануне войны он прислал мне в Швейцарию тревожное письмо, советуя вернуться в Россию. Я не мог воспользоваться его советом и застрял на восемь месяцев за границей, а он, не долечившись, уехал на родину и вскоре умер, едва ли предчувствуя, как и чем кончится мировая война. Игорь Будилович был удивительный человек. Он с необычайной искренностью уверовал в возможность социальной гармонии. Для него это был нравственный постулат. Он был бескорыстнейшим рыца-

* Закопане — горноклиматический курорт у подножия Татр. В настоящее время находится на территории Польши (примеч. сост.).

рем революции. В последние свидания наши с ним он как будто поколебался в своей уверенности... Какие-то сомнения возникли у него в возможности желанной ему социальной гармонии. Но она была ему нужна, как воздух. Мне почему-то кажется, что он одолел бы свою чахотку, если бы не этот червь сомнения, который оказался для него страшнее и губительнее туберкулезных бактерий.

Однажды мимо нашего паузка прошел пароход. Оттуда в рупор кричали, что едет жена Чулкова. В Витиме она присоединилась к партии. Жена привезла письма, книги, живую весть из России (сибиряки называют весь наш Запад Россией, а все, что на восток от Урала, — это уже не Россия, а Сибирь).

Так плыли мы двадцать восемь суток. Под Олекминском, где высадились некоторые товарищи, встретил нас губернатор.

После Олекминска паузок опустел. Стало просторнее, и от мысли, что мы приближаемся к Якутску, душу заволакивала грусть: мы чувствовали дыхание северной пустыни, которая должна была нас поглотить.

Наконец мы прибыли в столицу огромной Якутии: это был жалкий городишко, меньше и беднее самого захолустного города любой из нашей губерний. Если бы не великолепная Лена, которая разлилась под Якутском в ширину на пятнадцать верст, можно было бы впасть в уныние, глядя на эти почерневшие хибарки, на грязные лавчонки, на немощные улицы с ямами и оврагами, с перекинутыми через них ветхими мостиками. Каменных домов в городе, кажется, было не более пяти-семи. В одном из них жил губернатор. И администраторов сюда посылали, как в почетную ссылку. Немного находилось охотников сюда ехать, несмотря на двойные оклады.

Пристань для баржей в трех верстах от города. Сюда и мы причалили. Старший советник областного правления с удивлением узрел, что мы выносим торжественно на берег наше красное знамя. Это его очень разгневало, и у него по этому поводу произошел с т. Ховриным запальчивый спор.

— Я думал, что красного цвета боятся быки, — сказал т. Ховрин сердито, — а его, оказывается, недолюбливают и советники областного правления.

— Стреляйте в них! — заявил советник, обращаясь к офицеру. Но наш приятель офицер уклонился от этой обязанности, ссылаясь на то, что местная полиция уже приняла от него партию — под расписку.

Нас встречали на пристани старики-политические — шлиссельбуржец Мартынов⁵⁰, Ионов⁵¹, Пекарский⁵², социал-демократ Теслер⁵³ и др. Они вмешались в наш спор с советником, и дело как-то уладилось. Ховрин так и не расстался со знаменем, которое в Верхоленске передал ему Дзержинский. В то время во всей необъятной многомиллионной России это был единственный знак вольности, открыто маячивший на страх врагам, и если бы кто-нибудь сказал нам, что это самое знамя лет через пятнадцать заалеет повсюду и его будут носить школьники, пожалуй, мы бы тогда нелегко в это поверили.

В Якутске, в доме Афанасьева, была приготовлена для нас стариками трапеза. Много было яств и — увы! — немало водки. Первый тост был по обычаю за Веру Николаевну⁵⁴. Все пили, стоя, с набожными и благоговейными лицами.

Поздно ночью разошлись мы по квартирам. Было глухо и темно. Ни одного фонаря. Нас преследовали стаи собак, и мы шли впотьмах, отбиваясь от одичавших псов палками.

Дня через три мне пришлось уехать из Якутска в улус Амгу. Прочие товарищи остались в городе. Я знал, что в Амге нет политических, нет даже телеграфа, что я буду жить в настоящей таежной пустыне. Но это меня не пугало. Я устал от суеты, от непрерывных споров, от невозможности остаться наедине с самим собою. Губернатор Скрипицын⁵⁵; к которому я должен был явиться за проходным свидетельством, был, по-видимому, удивлен, что я не прошу его оставить меня в городе и очень охотно еду в тайгу. Когда я, получив бумагу, намеревался выйти из его кабинета, он удержал меня:

— Садитесь, пожалуйста.

Я сел и вопросительно смотрел на него.

— Вот к чему привело ваше напрасное увлечение политикой, — сказал он, покачав головой. — Все равно революция в России невозможна.

— Через пять лет она совершится, — сказал я сухо.

— Вы думаете? — заинтересовался губернатор, как будто ожидая от меня пояснений.

— Через пять лет непременно, — повторил я, не подозревая, по правде сказать, что она в самом деле так уж близка.

Мы с ним спорили тогда на эту тему часа полтора. Кажется, он был не очень уверен в том, что старый порядок прочен.

Такой разговор с губернатором политического ссыльного был невозможен в тогдашней Европейской России, но в Якутской области многое нелегальное становилось легальным. Однажды при мне к одному из политических зашел какой-то чиновник в вицмундире и спросил, не получен ли новый номер «Искры».

— Кто это? — спросил я.

И товарищ равнодушно ответил, что это заседатель. И немудрено. Чиновники тоже были отчасти на положении ссыльных, а ссыльные служили и в суде, и в статистике, и в других учреждениях. Ежегодные отчеты о состоянии области, посылаемые в Петербург, составлялись ссыльными. А научное исследование края велось исключительно политическими. Имена Ионова, Пекарского вошли в историю как имена исследователей якутского языка, фольклора и этнографии.

Товарищи провожали нас до берега Лены, где мы должны были сесть в лодку, чтобы переправиться на другую сторону реки. Лодка была большая и нескладная. С нами ехало человек двадцать якутов. Сюда же поставили корову. Лодочники-якуты были пьяны и тут, в лодке, продолжали пить свою «арги». Весла вываливались у них из рук, и сами они то и дело опрокидывались на спину,

задирая ноги, захлебываясь от смеха. На середине реки лодка едва не опрокинулась.

Когда мы с женой вышли на берег, нас поджидала телега, и мы, показав наши «пропускные свидетельства», отправились в путь. Впервые мы были в самых недрах тайги.

Этот путь от Лены до Амги был необычаен. Огромный девственный лес обступил нас со всех сторон. Лохматые низкорослые лошаденки мчались по узкой лесной дороге, не смущаясь рытвинами, гатями, оврагами, где на дне белел еще снег.

Мы ехали день и ночь. Меняли лошадей на станках, объясняясь с ямщиками знаками, ибо ни один якут не говорил по-русски. Мы заходили в юрты, чтобы поесть и отдохнуть. В юртах было душно. Горел неугасимый камелек. Дети, а иногда и подростки, лет до шестнадцати, возились у окна совсем голые. Якуты требовали водки.

— Арги! Арги! — бормотали они и простодушно искали в наших вещах бутылки.

Лесные дебри сменялись иногда большими полянами и озерами, безмолвными и недвижимыми. По утрам подымался густой туман. Белые призраки догоняли нас, простирая к нам руки.

На третьи сутки мы приехали, наконец, в Амгу. Здесь за несколько лет до меня жил В.Г. Короленко⁵⁶.

Улус Амга не похож на другие улусы. Здесь живут не только якуты, но и обьякутевшие русские поселенцы. Правда, их трудно теперь отличить от инородцев. Они такие же скуластые, с такими же узкими глазами и говорят они по-якутски, а русский язык забыли вовсе, но все же кое-что в Амге напоминает русскую деревню — юрты расположены, например, улицей, как у нас, тогда как обычно якуты строят свои жилища на большом расстоянии одно от другого, иногда на расстоянии двух-трех верст; в Амге есть церковь и две-три избы бревенчатые, а не земляные, как у якутов...

Мы с женою устроились в нашем жилище превосходно. Внутри лежали у нас на низких нарах меха; стены тоже

мы обили оленьими шкурами; камелек горел, как у якутов, день и ночь...

Русских было немного — доктор, священник и заседатель — все, разумеется, с женами и ребятами. С русскими я мало общался. Однако приходилось иногда посещать соседей, есть вместе с ними жирные пироги с нельмою, знаменитые сибирские пельмени, закусывать водку струганой, т. е. замороженной и наскобленной стерлядью. Доктор заводил граммофон и с блаженным лицом слушал, как пищала в рупор Вяльцева⁵⁷ или хрипел Шаляпин⁵⁸.

Иногда ко мне заходил якут Захар и, тыча себе в грудь пальцем, говорил:

— Я «Сон Макара»⁵⁹. Дай арги.

Арги значит водка. А «Сном Макара» он себя именовал потому, что ему кто-то объяснил, будто Короленко в своем рассказе изобразил именно его, Захара.

В Амге вообще помнят Короленко. Поселенцы-скопцы⁶⁰, старик со старухой, рассказывали мне, как Короленко учился у них тачать сапоги. Они рассказывали о нем с покровительственной улыбкою:

— Хороший, дескать, барин, но брался за небарское дело. И землю вздумал пахать, но и это у него, будто бы, худо ладилось.

Впрочем, скопцы народ желчный и мнительный, и очень может быть, что Короленко не так уж худо пахал и шил сапоги, как об этом рассказывали старые изуверы.

В Амге жить было неплохо. Тайга великолепна. Иногда, правда, выйдешь из юрты, оглянешься кругом, почувствуешь беспредельность пустыни и эти тысячи верст, которые отделяют тебя от Москвы, и душа тихо занует, но такая слабость, бывало, придет и уйдет, как дуновение, и опять хочется дышать жадно таежными запахами.

Лето в тайге жаркое, но короткое — всего два месяца. Но за этот срок успевают вызреть хлеба прекрасно и без дождей. Почва оттаивает на один аршин, и приток влаги снизу питает злаки, а сверху солнце их лелеет,

и можно к августу собрать урожай. Но якуты мало занимаются хлебопашеством. Им по сердцу лениво пасти скот или часами бродить по тайге от капкана к капкану, поджидая добычу.

Изумительна в тайге ее тишина. Я часами сидел на берегу Амгинского озера, смотря на ирисы, радуясь безмолвию. Если бы не эта тишина, зимою в Якутской области нельзя было бы жить. Почти всю зиму держится мороз в пятьдесят градусов. Случись буря или даже подуй ветер — и человек не выдержал бы, наверное, этого испытания морозом. А без ветра — ничего: закутаешься в оленью кухлянку⁶¹, натянешь на ноги оленьи камосы⁶², на руки — собачьи рукавицы, дышишь через майтрук⁶³, а внизу на теле рубаха и штаны из заячьего меха: так можно жить, двигаться и даже работать на воздухе.

Однажды прискакал из города казак с повесткою: губернатор вызывал меня в город, зачем — неизвестно. Мы с женою, погадав на разные лады о причине вызова, решили не обольщать себя приятными надеждами, и я поехал в Якутск один. Приехав туда, я, прежде чем идти к губернатору, направился к товарищам. Оказывается, все, за исключением стариков, уехали в Олекминск и, может быть, далее. В Иркутске сидел Святополк-Мирский⁶⁴ и ждал нас для каких-то переговоров. Старики политические не отговаривали меня ехать в Иркутск, но я сам догадался, что дело неладно, и пошел к губернатору с твердым намерением на вызов Святополк-Мирского не ехать.

Скрипицын очень удивился, когда я ему сказал, что не хочу ехать в Иркутск.

— Но почему же вы отказываетесь? Я вам могу сообщить конфиденциально, что вас вернут в Россию, если вы побеседуете с его сиятельством.

— А если Святополк-Мирскому не понравится моя беседа, мне придется опять возвращаться сюда?

— Но зачем же предполагать такую неудачу!

— А я уверен, что так и случится.

— Как хотите, но в таком случае вам придется самому послать телеграмму князю. Я просто не решаюсь взять на себя такую ответственность.

— Извольте.

И я тут же составил весьма решительную телеграмму.

Старики-народовольцы, узнав о моем отказе объясниться с Святополк-Мирским, были очень довольны. Попирав с ними, я отправился обратно в Амгу. Недели через две я узнал, что почти все товарищи из Олекминска приехали обратно.

По правде сказать, я после этой истории не рассчитывал скоро вернуться в Россию. Но тогда были особые веяния, и нас амнистировали. Только меня и некоторых других строптивых вернули позднее.

Под гласным надзором

I

В нашей юрте было уютно. Горел камелек неугасимо... Но то, что я не знал теперь срока моего поселения, внушало иногда унылое чувство. А когда, бывало, жена начнет играть на мандолине, эти звуки, напоминавшие Италию, заставляли мечтать о побеге из ледяной пустыни куда-нибудь на юг.

Конечно, и тут, вокруг юрты, был дивный мир, исполненный тайн и красоты, но жить, не ведая, когда можно будет выбраться из этого заколдованного круга, было жутко, по правде сказать.

До города было верст триста, если не ошибаюсь. Туда не часто приходилось ездить. А здесь, в улусе, не было ни одного человека, с которым можно было бы перекинуться словом. Я учился говорить по-якутски, но успел усвоить лишь самые обыденные слова. Да и трудно мне было

беседовать с этими странными людьми, которые почитали с равным усердием и Николая-чудотворца и демонов-абасылар.

Зимняя безмолвная жизнь протекала медленно. Почта приходила раз в месяц. Мы радовались всему, что нарушало монотонное однообразие нашей пустынной жизни... Так мы обрадовались и тому, что на замерзшем озере будет ловля рыбы. Якуты пригласили нас любезно на эту зимнюю охоту. Весь улус собрался на уснувшее озеро.

В маленькие проруби, расположенные по окружности, торжественно опущены были шести с неводом, который тянули осторожно подо льдом... Улов был богатый. Мы были очень смущены, когда якуты поднесли и нам нашу долю добычи. Отказываться нельзя было. Это был дар озерных демонов. А ведь с ними шутить нельзя. Абасылары, оказывается, требуют равномерного распределения улова среди всех поселян. Вопреки известному правилу апостола Павла «не трудящийся да не ест»⁶⁵, мы в тот день с аппетитом ели уху из свежей рыбы.

Такие удовольствия, как озерная охота, были редки. Жизнь была дремотная, как будто застывшая на долгий срок, без надежды на весенние дни.

И вот однажды, среди такого ледяного безмолвия, мы получили известие о том, что нас возвращают на родину, правда, меня несколько позднее других — одним из последних и без права въезда в столицы, но все же возвращают, и через какие-нибудь три-четыре месяца я мог надеяться на иную, нетаежную жизнь.

Мы раздарили соседям наши запасы мяса и масла, хранившиеся в естественном погребе, где вечная мерзлота обеспечивала их свежесть. Кстати, этот никогда не тающий лед позволяет аборигенам лакомиться свежеею земляникой в самые лютые зимние месяцы. Замороженные в снеге лесные ягоды сохраняют даже свой летний запах.

Итак, закутавшись в наши меха, мы уселись в сани и отправилась в Якутск. Доктор с завистью смотрел на нас.

Грусть и радость странно сочетались в сердце. Торжественная тишина тайги внушала невольное сожаление о том, что воспоминание об этой прекрасной пустыне будет навсегда связано с воспоминанием о несвободе и плене.

В Якутске мы прожили несколько дней, готовясь к зимнему путешествию. Товарищ Оленин любезно взял на себя заботы о покупке для нас возка. Пища заготовлена была моею женою на месяц пути. В мешках хранились у нас замороженные рябчики, пельмени, масло, куски бульона...

Народовольцы и прочие старики, кому еще не вышел срок ссылки, устроили нам на прощание большой пир. Буйная ватага молодежи, нарушившая угрюмое настроение утомленных ссылкой стариков, пробудила в них какие-то совсем было угасшие надежды на возможность нового, не самодержавного порядка. Они отпускали нас в Россию как заложников. Иные, как Н.Ф. Мартынов, которому тоже предстояло скоро покинуть Якутскую область, записывали адреса, чтобы не терять с нами связи. Этот шлиссельбуржец мечтал, как юноша, о новой жизни. И мне тогда не приходило в голову, что этот бодрый и красивый старик так скоро уйдет из нашего мира — и так ужасно и мрачно⁶⁶.

Пир, который устроили в нашу честь народовольцы, был многолюден, обилен яствами и всякими крепкими настойками и винами, и у меня скоро закружилась голова. Говорились речи, ко мне обращенные, и я говорил что-то косноязычно. Все было в тумане. Наконец меня и мою жену посадили или, вернее, положили в возок, доверху наполненный мешками, подушками, одеялами. Мы были закутаны с ног до головы в заячьи и оленьи одежды. Нас покрыли тулупами, и когда тройка лихих сибирских коней, испуганная гулом песни, которую запела толпа провожавших нас ссылкой, помчалась к берегу Лены, у нас от пятидесятиградусного мороза и непривычной тесноты возка перехватило дыхание.

Сердце ухнуло куда-то, и мне показалось, что я уже не смогу вдохнуть воздуха, что я умираю. Очнувшись, с трудом расправил я грудь и едва смог пробормотать на ухо жене вопрос, жива ли она. И она, как я, беспомощно барахталась в тяжелых мехах. Наконец мы кое-как пришли в себя. Но еще долго, ошеломленные ледяным воздухом и бешеною скачкою коней, мы не могли привыкнуть к условиям этого зимнего путешествия по замерзшей Лене.

Мы ехали так до Иркутска целый месяц — дни и ночи. Мы останавливались на станках на час — на два, не более, чтобы поесть и погреться у камелька. Пока ямщики перепрягали лошадей, мы ставили на огонь котелок, бросали в него кусок замороженного супа и горсть пельменей. Это был обед. Мороз был так крепок, что наш коньяк замерз, и мы, любуясь острыми кристаллами, старались осторожно согреть бутылку и накапать в рюмки сколько-нибудь драгоценной влаги.

Нас ехало четверо в двух возках. В одном — я с женою, а в другом — Ф.С. Касаткин и ныне уже покинувший наш мир добрейший А.И. Лисев⁶⁷, стихотворец и весельчак.

За несколько станков от Иркутска, на расстоянии, кажется, двух дней пути, я занемог и решил переночевать в избе. Товарищи мои так страстно мечтали об условиях городской жизни и так спешили на родину, что не без смущения признались в своем намерении покинуть недужного и, не останавливаясь на ночевку, скакать в Иркутск. Обижаться на это было бы неразумно, но ночью мне пришлось пережить две-три неприятные минуты, и в эти мгновения мелькнула мысль о том, как жаль, что нет товарищей.

Нас пугали рассказами о злодейских притонах под Иркутском, уверяли, что и на станках пошаливают, и мы заснули в избе под впечатлением слухов. И вот ночью, проснувшись, я увидел при свете лампадки какого-то чернобородого человека, который сидел на корточках недалеко от моей кровати с ножом в руке.

Когда мы ложились спать, в комнате нашей никого не было, и появление неизвестного с ножом могло, конечно, внушить не очень приятное подозрение. Оружия со мной не было, и я глядел на незнакомца, не зная, что предпринять. Заметив, что я смотрю на него, незнакомец ушел из комнаты.

Утром хозяин станка уверял меня, что мужик хотел будто бы достать что-то из сундука, и так как ключ от сундука был потерян, то он и решил взломать замок ножом. Вероятно, ночной посетитель был пьян, а, впрочем, может быть, этот незванный гость, не встретив он моих устремленных на него глаз, употребил бы нож вовсе не для таких невинных целей, как взлом своего собственного сундука. В сущности этот эпизод так и остался несколько загадочным.

Это было наше последнее таежное приключение. Через два дня мы были в Иркутске, и никогда ни один город не казался мне таким благоустроенным, как эта столица Восточной Сибири. Чистая скатерть в ресторане, витрина книжного магазина и то, что можно снять заячьи штаны и куртку и надеть европейское платье, — все это, оказывается, можно ценить и всем этим даже дорожить, если испытываешь трудности диких стран.

Вечером мы пошли в театр, и как-то не верилось, что мы спокойно сидим в партере и никакой якут не шарит у нас в карманах в надежде добыть пьяную арги. Шла «Гейша»⁶⁸. И посредственная оперетта в посредственном исполнении показалась нам необыкновенно интересной и занимательной.

II

За исключением Москвы и Петербурга, я мог выбрать для местожительства любой город Европейской России. Я решил поселиться в Нижнем Новгороде. Там жилал Короленко, жил Максим Горький⁶⁹; там издавался «Нижегородский листок»⁷⁰, получивший известность за пределами губернии, — и вообще этот город считался городом

литературным. Высланные из столиц писатели поселялись нередко в Нижнем, и, следуя традиции, я туда поехал в надежде возобновить там мою литературную работу.

Вскоре после того, как я поселился в Нижнем, отправился я в гости к одному жившему там знаменитому писателю, который встретил меня довольно дружелюбно. Он помнил, оказывается, мои рассказы, которые я печатал до ссылки...

В один из визитов моих к нему встретил я там некоего писателя из народа⁷¹. Не знаю, чем я пленил его, но он стал завсегдатаем нашего дома. Через час после нашего знакомства он стал мне говорить «ты». Этот человек был склонен к восторженному состоянию даже без достаточных оснований. Я уже говорил о моих тогдашних пристрастиях к каждому «слесарю» и «токарю». Поэтому и на сей раз я усмотрел в моем новом знакомом «грядущую силу». Правда, он был заражен духом своеволия и анархизма, но я в те времена эти пороки считал за добродетели.

Другой писатель из народа, появившийся у нас в доме, был Н.Н.М.⁷² У него была черноглазая пятилетняя дочка, полюбившаяся моей жене. Сам он был человек неглупый и работал в Нижнем как социал-демократ. В это время в городе орудовал комитет, уже определившийся как большевистский. В ту пору только начался раскол на меньшевиков и большевиков.

Я занят был тогда больше стихами, чем политикой, и не тратил сил на партийные споры. К тому же мое беспаспортное состояние и гласный надзор не позволяли мне быть комитетчиком, но я и тогда оказывал партии услуги, главным образом по литературной части, и моему перу принадлежат кое-какие тогдашние листки.

Как я сочетал мое поклоненье Достоевскому⁷³ с революционной практикой в духе большевиков — это тема, быть может, не лишняя некоторого интереса, но я не стану ее касаться на страницах этих записок.

Из большевиков той эпохи дружил я больше всего с В.Ф. Ахрамовичем (ныне тов. Ашмариным). Он был

привлечен по одному со мною делу и тоже путешествовал в Сибирь. Он был поселен вместе с В.П. Волгиным⁷⁴ в Нижнеудинске, когда я на паузках поплыл в якутскую тайгу.

В.Ф. Ахрамович серьезно и ревностно работал тогда как большевик-пропагандист, но в часы досуга сживал со мною в пивных и любил поговорить на изысканные темы во вкусе Пшибышевского⁷⁵. В те времена Пшибышевский не казался таким ничтожным, каким мне, да, вероятно, и ему, кажется он теперь. Бывают ведь такие пустоцветы, которые занимают умы современников, — и вдруг в один прекрасный день открывается их «секрет», и от пустоцвета не остается ничего.

Впрочем, Пшибышевский, да и все декадентство как известный социальный симптом, были явлением вовсе не безразличным. Должен признаться, что в ту пору для меня все это литературное движение, идущее от Бодлера⁷⁶, Верлена, Рембо⁷⁷ и умалявшееся до всевозможных Демелей⁷⁸, Ведекиндов⁷⁹ и Шницлеров⁸⁰, представляло немалый интерес. Правда, у меня все-таки был вкус, и я не ставил на одну доску Верлена и мелких декадентствующих стихотворцев и беллетристов, но все движение в целом было мне не чуждо. Одним словом — нечего греха таить — я был заражен декадентством и болел им.

Нижний Новгород — город весьма трезвый и прозаический — до того времени связан был традициями реалистов и бытовиков. Имена его уроженцев — П.И. Мельникова⁸¹, П.Д. Боборыкина⁸² и критика Н.А. Добролюбова поддерживали эту репутацию. Но, должно быть, пробил час психологического ущерба, рефлексии и — с другой стороны, — каких-то новых предчувствий, какого-то нового душевного опыта. И вот этот провинциальный город вдруг стал пристанищем беспокойных искателей новой эстетики и новой поэзии. Я помню, как однажды, зайдя в книжный магазин, я обратил внимание на только что вышедшую книгу стихов никому тогда не известного Вячеслава Иванова⁸³ — «Кормчие звезды». Стоя у прилавка, я жадно стал читать необычайные стихи таинственного

поэта. В эту ночь мы с В.Ф. Ахрамовичем (Ашмариным) не смыкали глаз, наслаждаясь пряной и хмельной поэзией нами открытого стихотворца.

Мы все, случайные гости Нижнего Новгорода, питали склонность к литературе. Это пристрастие иных из нас привело к трагическому концу. Так, например, товарищ Вейншток⁸⁴, работавший как пропагандист в уезде, соблазнился и стал пробовать свои силы как беллетрист. Недавно товарищ Ашмарин напомнил мне об его грустной судьбе. Не доверяя своим художественным силам и в то же время чувствуя, что от литературного соблазна ему не уйти, несчастный товарищ Вейншток пошел на знаменитый в Нижнем «откос» и там застрелился.

Другой товарищ, также увлекавшийся ролью беллетриста, буквально заболел манией славолюбия и, напечатав рассказик в местной газете, ходил по стогнам⁸⁵ Нижнего Новгорода, уверенный, что он не менее знаменит, чем Лев Толстой⁸⁶. Впрочем, этот добродушный, образованный и неглупый человек впоследствии излечился от своего недуга. А в те времена с ним случались забавные истории. Так, желая, например, найти признание своего таланта со стороны Максима Горького, этот товарищ отправил ему свой рассказ. Через несколько дней он пошел за ответом.

Вернулся он от знаменитого писателя в блаженном восторге.

— Какое же впечатление произвел на Горького ваш рассказ? — спрашивали мы его с любопытством.

— Огромное. Он все понял. Он все оценил. Он угадал во мне художника.

— Что он вам сказал?

— В том-то и дело, что он мне ничего не сказал.

Мы удивилась и смотрели на счастливого беллетриста с недоумением.

— Да, он ничего не сказал, — продолжал наш приятель, ничуть не смущаясь. — Он вынес мою рукопись из кабинета и молча мне ее отдал... Но как он при этом по-

смотрел! Как посмотрел! Одним словом, мы тогда поняли друг друга...

В это время в «Нижегородском листке», где я сотрудничал, стали почти ежедневно появляться маленькие рассказы во вкусе французского импрессионизма, подписанные Мирэ⁸⁷. Так как рассказы были из парижской жизни, трудно было понять, переводные они или оригинальные. Кто это «Мирэ» — я не знал и все забывал спросить у редактора об этом загадочном авторе, не лишенном, кстати сказать, дарования. Но дело разъяснилось.

Однажды ко мне явилась маленькая хрупкая женщина с большими темными и как будто хмельными глазами. Это существо неопределенного возраста, с увядшим ртом и с морщинками вокруг глаз, казалось несчастным и жалким, как птенец, выпавший из гнезда. Она объявила мне, что рассказы, подписанные псевдонимом «Мирэ», принадлежат ей.

— Вы узнаете меня? — спросила незнакомка, вертя в руках какую-то шпильку, закрученную в странную загогулину.

— Я видел вас где-то, — бормотал я, стараясь разгадать в утомленном немолодом лице посетительницы что-то прежнее, забытое, но знакомое.

— Я — Александра Михайловна Моисеева.

Как только незнакомка назвала себя, я тотчас же вспомнил Ордынку, старый дом Третьей женской гимназии, где я жил с родителями. И сад при доме. Здесь, в этом саду, мы читали с Шурочкой Моисеевой Гёте, и я, гимназист, рассуждал с миловидной моей подругой на высокие темы. Она была старше меня года на три, а мне было тогда лет тринадцать.

«Неужели эта сморщенная, потемневшая, замученная жизнью женщина та самая семнадцатилетняя прелестная Шурочка, к которой я, мальчишка, питал дружеские и нежные чувства?» — думал я с печалью.

— Да, это я, Шурочка Моисеева, — повторила она, как будто угадывая мои мысли.

И она доверчиво рассказала мне историю своей жизни. Она училась в гимназии в Борисоглебске⁸⁸. Не окончив ее, она уехала с какою-то бродячею труппою актеров в поездку по Волге. Актрисы из нее не вышло. Она приехала в Москву где-то чему-то учиться. Здесь она явилась к нам в семью, потому что ее отец и мать были дружны когда-то с моими родителями. Вот в эти дни и читали мы с нею Гёте под липами нашего сада. Эти чтения продолжались недолго. Шурочка исчезла куда-то. Оказывается, она попала в какой-то революционный кружок и занялась пропагандою. По делам партии поехала она в Одессу. Там ее арестовали. Весною 1894 года ее освободили, но оставили под надзором полиции. Так, без паспорта, она жила в Кишиневе три года, и только в 1897 году ей удалось получить разрешение на выезд за границу. Пять лет она скиталась по Европе — по Италии, Бельгии, Швейцарии и Франции. Сначала родители посылали ей деньги. Потом помощь семьи прекратилась. Она добывала себе пропитание, работая как натурщица. Она вращалась среди художников-французов и отчасти среди русских эмигрантов. Шурочку нельзя было узнать. Она курила, пила абсент, и у нее были любовники. Один из них, к которому она была привязана, привел в ее квартиру другую женщину и предложил ей жить втроем. Этого испытания она не выдержала и уехала куда-то на юг. Там было новое любовное приключение, и новый возлюбленный продал Шурочку в Марселе содержательнице публичного дома. Шурочка делила ложе с пьяными матросами всех национальностей. Наконец, она бежала из этого вертепа и пешком, прося подаяния, добралась до Парижа.

Удивительно то, что, несмотря на эту страшную и смрадную жизнь, Шурочка сохранила еще какие-то душевные силы, которые позволяли ей чем-то интересоваться, что-то читать и даже самой писать рассказы и повести. Захватив пачку маленьких рассказов, Шурочка решила попытать счастье на родине. Почему-то она, не колеблясь,

поехала в Нижний Новгород. Когда она вышла на перрон вокзала, у нее в кармане было пять копеек.

Она отправилась пешком в редакцию «Нижегородского листка», с трудом волоча сак⁸⁹, где было ее белье и рукописи. В редакции никого не было. Тогда она вышла на улицу, изнемогая от голода. На витрине пивной была надпись «Кружка — пять копеек». Она села за столик. Ей подали пиво и на маленькой тарелочке несколько сухариков, горошин и кусочек воблы. Она жадно съела закуску, не касаясь пива. Слуга догадался, в чем дело, и принес ей другую тарелочку с двойной порцией.

Наконец Шурочка, дождавшись приемного часа, пришла в редакцию. Ее встретил тогдашний редактор Гриневицкий⁹⁰. Это был толстый рыжий молчаливый человек, который равнодушно взял у нее рукопись и равнодушно сказал: «Приходите за ответом через две недели». Шурочка ахнула, побледнела и упала в кресло. Гриневицкий нахмурился, быстро просмотрел один из рассказов и дал Шурочке двадцать пять рублей.

Так началась ее нижегородская жизнь. Она наняла комнату. Хозяйка давала ей обед. Шурочка по ночам писала крошечные рассказы — и они печатались в газете почти ежедневно. Она никого не видела и никуда не ходила. Недели через две она послала за водкой. Это было не лучше, но и не хуже абсента. В водочном чаду Шурочку не так беспокоили страшные голоса каких-то незримых существ, которые преследовали ее в Париже. Однажды, просматривая в газете свой рассказ, она случайно увидела рядом напечатанную статью, подписанную моим именем. Она узнала в редакции мой адрес и пошла навестить того гимназиста, с которым она когда-то весною читала Гёте под липами московского сада.

Я не мог оказать Шурочке значительной духовной помощи, но все же у нее теперь был дом, где она могла встретить и дружелюбное к себе отношение, и собеседников. И Шурочка оживилась, перестала пить водку или почти перестала. В 1904 году, когда я уехал в Петербург,

она покинула Нижний, где она успела издать свою первую книжку «Жизнь». Вторую книжку ей удалось издать в книгоиздательстве «Гриф». Когда Шурочка появилась в Петербурге, я и мои друзья всячески старались ее приветить. Она печатала свои рассказы в «Вопросах жизни», в «Золотом руне» и в других журналах. Ее обласкала и с нею дружила покойная Л.Д. Зиновьева-Аннибал⁹¹. Но Александра Михайловна была, должно быть, отравлена каким-то ядом, и ее больная душа тщетно искала себе утешения. Неглупая, тонкая и даровитая, эта странная искательница все новых и новых впечатлений с наивною откровенностью признавалась всем, что она, пожилая и некрасивая, изнемогает от избытка страстных желаний, вовсе не утоленных. Несчастливая, по-видимому, была обречена на тяжелую душевную болезнь, с которой тщетно боролась. В этих муках она прожила еще лет восемь. В эти годы она успела съездить в Париж, уезжала и в нашу провинцию, нигде не находя себе успокоения. Года за три до ее смерти у нее был странный роман по переписке с каким-то человеком в Перми. Они обменялись фотографическими карточками. И она получила предложение приехать в Пермь для брачного сожительства.

На перроне пермского вокзала жених не узнал своей возлюбленной: на карточке она вышла моложе и красивее. Этот странный любовный союз состоялся, однако. Александра Михайловна с пламенным чувством предалась брачной жизни. Но ее провинциальный муж не сумел, по-видимому, ответить на ее страстный порыв столь же пламенно и бескорыстно. Они жили худо, и в конце концов он прогнал ее от себя.

В Москве Александра Михайловна сблизилась с весьма сомнительными оккультистами, и эти маги окончательно свели с ума бедняжку. Друзья, заботившиеся об ее судьбе, потеряли с нею связь. Осенью 1913 года полиция подобрала на улице какую-то упавшую без сознания женщину и отправила ее в Старо-Екатерининскую больницу. Это была Мирэ. Там, в больнице, она умерла. Об этом ее дру-

зья случайно узнали лишь спустя три месяца. Александра Михайловна Моисеева одиноко ушла из этого мира, замученная своим бредом. Она была одною из жертв нашего тогдашнего декаданса.

III

Однажды явился ко мне из Москвы известный издатель В.М. Саблин⁹². Он помнил мои рассказы, печатавшиеся до ссылки, и, узнав о том, что я в Нижнем, поехал туда со свойственной ему предприимчивостью, чтобы снять на корне мои новые творения. Так появилась моя первая юношеская книга «Кремнистый путь»⁹³. Книга была несовершенная, и надо бы ее отдать на просмотр многоопытному мэтру. Но в Нижнем никакого мэтра не было, и я самонадеянно вручил В.М. Саблину свою рукопись. Книжка имела успех, но я умоляю будущего редактора «полного собрания» моих сочинений перепечатать все эти юношеские стихи и лирические рассказы где-нибудь в «дополнении», позади текста, непременно петитом и непременно с оговоркою, что сам автор сожалеет о появлении на свет этого литературного младенца.

Незначительная как литературное явление моя книга была, однако, весьма характерна для эпохи. В ней были все качества подлинного документа. А документ был не из веселых. В ней было то темное «томление духа», какое всегда замечается, когда наступает кризис культуры. В такие мрачные годы, накануне всяческих потрясений, поэты пишут книги, исполненные лирической тоски, а иные, не поэты, пускают себе пули в лоб.

Как раз в эти дни, когда я корректировал мою книгу, получил я известие о самоубийстве милого Мартынова, старика-шлиссельбуржца. Года не прошло, как я обнимал его, прощаясь, при моем отъезде из Якутска — и вот он уже ушел из нашего мира. Как странно, как непонятно было это самоубийство. Несмотря на шлиссельбуржское свое заточение, а потом якутскую ссылку, Мартынов был необычайно молод душою и горел страстным желанием

вернуться в Россию и приняться за общественную работу. Он должен был вскоре выехать за пределы Якутской области: кончался срок его ссылки. Но этого не случилось. Обстоятельства, понудившие Мартынова покончить счеты с жизнью, были воистину удивительны.

Старик влюбился в жену одного ссыльного, и эта женщина поселилась с ним, покинув мужа. Колония политических вмешалась в это дело, и самым серьезным образом товарищи обсуждали вопрос, имел ли право Мартынов соблазнять жену политического ссыльного. Всем известна болезненная страсть изгнанников устраивать товарищеские суды по всякому поводу, иногда без достаточных оснований.

В эмиграции и ссылке люди всегда немного сходят с ума. Сумасшедший суд над Мартыновым довел несчастного до отчаяния и гибели. Вероятно, в иные годы, менее фантастичные, не было бы никакого суда, и за свое прелюбодеяние старик ответил бы лишь «на страшном суде», а не здесь, на грешной и страстной нашей земле *.

Хотя моя жизнь в Нижнем Новгороде в условиях гласного надзора не представляла ничего особенно тяжелого, я все-таки временами роптал, завидуя тем писателям, которые свободно жили в столицах. К тому же моя жена решила кончить курсы и уехала в Москву держать экзамены. Однажды весной я так вознегодовал на обстоятельства, разлучившие меня с женою, что, недолго думая, решил бросить вызов судьбе и без всякого разрешения немедленно ехать в Москву.

Мост был разведен. Каждый день ждали ледохода. Река набухла. Трещал лед. Сообщение с московским вокзалом было прервано. Но это меня не остановило.

Захватив небольшой сак, я вышел из дому и направился к реке. За мною шел сыщик. Когда я вышел на Похвалинский съезд, шпик встретил товарища и, по-видимо-

* Я не ручаюсь, что был «суд» с соблюдением обычных формальностей, но что роман Мартынова стал предметом споров и детальных обсуждений, это достоверно.

му, предложил ему следовать за мной. Теперь, оглядываясь, я видел, как двое идут за мною по пятам.

Подойдя к берегу, я неожиданно наткнулся на пикет речной полиции.

Рыжеусый стражник, заметив, что я смотрю на реку, сказал строго:

— Нельзя, нельзя... Хода нет...

— Мне самому жизнь дорога, — засмеялся я, подходя ко льду. — Я только посмотреть...

Постояв так минуты две, я оглянулся. Сыщики разговаривали со стражником, уверенные, должно быть, что я не пойду по тонкому и хрупкому льду, изборожденному черными трещинами. Но мною овладел какой-то веселый азарт, и я бросился бежать⁹⁴.

Не успел я пробежать и пяти саженей, как позади меня затрещал лед и зашумела вода. С берега кричали растерявшиеся стражники и сыщики, а я бежал зигзагами, мимо черных дыр и прорубей, по хрустевшему под ногами льду. Утром я был в Москве и два дня мешал жене готовиться к экзаменам.

В моем деле, хранящемся теперь в Архиве Революции, перечисляются места, которые я посещал в Москве во время моего нелегального там пребывания. Охранное отделение отмечает, что я приезжал из Нижнего с целью агитации. Но я, по правде сказать, на сей раз, кажется, мало занимался революционными делами.

«Новый путь»

I

Все ходатайства моего отца о разрешении мне жить в Москве оказались тщетными. Вел. Кн. Сергей Александрович⁹⁵ упорно отказывал старику в его просьбах. Вскоре отец мой умер. С его кончиною порвана была моя по-

следняя связь с прочным бытом, с семейной традицией, с уютом и тишиною.

В Петербурге в то время жила моя тетка, С.А. Москалева, вдова, бывшая тогда начальницей Высших женских курсов. У этой моей сановной тетки, ныне умершей, были связи в правительственных кругах. И вот она, хотя у меня с нею никогда не было и не могло быть по многим причинам близких отношений, принялась энергично за меня хлопотать «ради памяти покойной Шуры», т. е. ее сестры, моей матери. Хлопоты увенчались успехом, и мне было разрешено поселиться в Петербурге.

Я родился и вырос в Москве. В Петербурге у меня не было ни одного знакомого. Когда мы с женой приехали в столицу и наняли небольшую комнату на Литейном проспекте, в кармане у меня было рублей сорок. Никаких источников для материальной поддержки у меня не было. Когда-то, будучи еще гимназистом, а потом студентом первого курса, я зарабатывал деньги, сотрудничая в «Детском отдыхе», коего редактором был Н.А. Попов⁹⁶, впоследствии небезызвестный театральный деятель. Я возлагал все мои надежды на этот петербургский журнал и отправился в редакцию, уверенный, что меня примут там с распростертыми объятиями. Но — увы! — Н.А. Попов, как оказалось, покинул журнал, передав его своей супруге, которая встретила меня, хотя и вежливо, но сухо, и я понял, что рассчитывать на «Детский отдых» как на источник дохода было легкомысленно.

Я вышел из редакции подавленный и смущенный. Мне не хотелось идти домой и огорчать жену печальной вестью о неудаче. Я стал бродить по городу, размышляя о своей судьбе. Петербург, который впоследствии очаровал и пленил меня, казался мне в те дни скучным и неприветливым. Был сезон стройки и ремонта. Леса вокруг домов; перегороженные тротуары; кровельщики на крышах; известка; маляры, висающие в ящиках, подвешенных на канатах; развороченные мостовые — все это было буднично, уныло и внушало человеку чувство его собственной ненужности.

Очувтившись на Васильевском острове, я зашел в немецкую пивную и спросил себе кружку пива.

«Что делать? И за какую литературную работу приняться? — думал я. — Стихи вообще никому не нужны, а я к тому же символист. Не понесу же я мои поэтические опыты в «Русское богатство». Как же быть? В Петербурге, правда, есть «Новый путь»⁹⁷, где печатают символистов, но там в политическом отделе такая неразбериха, что ничего понять нельзя, а ведь мне, революционеру, не полагается печататься в сомнительных органах».

Мой неостывший революционный пыл, моя молодость и две кружки пива подбодрили меня, и я вышел от немца с неопределенными надеждами на будущее.

Постукивая тростью, я зашагал к Неве. На Дворцовом мосту я уже уверял себя, что мои дела так или иначе должны поправиться. Рассчитывать на то, что «Новый путь» изменит свою политическую программу или что «Русское богатство» будет печатать декадентские стихи, конечно, было бы безрассудно, но я не склонен был унывать и на что-то надеялся.

Мой тогдашний литературный стаж был невелик — два-три рассказа, напечатанных еще до ссылки, и лирическая книжка «Кремнистый путь» с безвкусной, на мой теперешний взгляд, декадентскою обложкою, где был воспроизведен рисунок знаменитого Франца Штука⁹⁸ — голый человек, кричавший во все горло. Но тогда я совершенно не стыдился этого голого крикуна.

Я вспомнил, что в «Новом пути» появилась месяца за два до того благосклонная статья о моей книге, написанная *Allegro* (П.С. Соловьевой)⁹⁹. Руководителем «Нового пути», как известно, был Д.С.Мережковский¹⁰⁰ и его супруга З.Н. Гиппиус¹⁰¹. Брюсов, когда я проездом через Москву зашел к нему, говорил мне, что чета Мережковских справлялась обо мне, кто я такой и не намерен ли я поселиться в Петербурге. Валерий Яковлевич настойчиво рекомендовал мне познакомиться с Мережковским, уверяя, что такое внимание к начинающему писателю со стороны

литературных генералов большая честь. Но я тогда, по дикости своего нрава, не ценил никаких генералов — в том числе и литературных.

«А пойти к Мережковским все-таки, пожалуй, можно, — думал я, — журнал мне не нужен, но люди они своеобразные. Надо их послушать и на них посмотреть».

Недели через две после этих размышлений я отправился вечером в дом Мурузи, который оказался в двух шагах от моей квартиры на Литейном проспекте. Приняла меня Зинаида Николаевна.

Узнав, что я в Петербурге уже две недели, она тотчас же стала упрекать меня за то, что я медлил к ним явиться.

— Вам ведь говорил Брюсов, что я хочу с вами познакомиться?

— Говорил.

— Почему же вы не шли к нам?

— Сам не знаю, почему, Зинаида Николаевна. Человек я дикий.

— Ах, я сама дикая.

Она полулежала на кушетке, дымя тоненькой дурманной папироской. В полумраке гостиной ей нельзя было дать и тридцати лет, а ей было тогда под сорок. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я как будто где-то видел это лицо — эти рыжеватые волосы, русалочки глаза и большой нескромный рот.

Она болтала со мною просто и непринужденно, заметив, должно быть, мою застенчивость и стараясь меня ободрить. Время от времени она, впрочем, сбивалась с дружеского простого тона, и я чувствовал когти в бархатных лапах умной тигрицы.

— Мне говорили, что вы ужасный р е - в о - л ю - ц и о - н е р! — протянула она, вооружившись лорнеткой и довольно бесцеремонно меня разглядывая. — А я, представьте, почти не встречалась с этими людьми... Говорят, что вас высылали куда-то в Сибирь, очень далеко... Вы ездили на собаках... Это, должно быть, очень смешно ездить на собаках? А? Вы жили в тайге? Расскажите про тайгу...

Эта тема была мне по вкусу. Я тогда еще не был свободен от таежных чар и мог часами рассказывать о лесных озерах, о шаманах, о снежной пустыне, мне поллюбившейся...

Кажется, эти рассказы увлекли мою собеседницу. И когда на пороге, шаркая туфлями, показался Дмитрий Сергеевич, она ему крикнула, смеясь:

— Иди скорей. Тут у меня сидит р е - в о - л ю - ц и о - н е р. Он тут очень интересные сказки рассказывает...

Мы перешли в столовую пить чай.

— Вы следили за нашим «Новым путем»? — допрашивал меня Мережковский, разглядывая меня пристально и несколько бесцеремонно, как и его супруга.

— Да, следил и слежу с немалым интересом.

— И вас не пугают наши религиозно-философские искания? Революционеры ведь все атеисты.

— Нет, это меня не пугает. Меня другое смущает в вашем журнале.

— А что же именно?

— Ваши политические статьи и вообще ваша философия истории. Тут у вас безнадежные противоречия и какая-то странная путаница. Иногда все это сбивается на очень банальную реакционность.

— Ах, какой вы откровенный! — засмеялась Гипсиус. — Это мне нравится, что вы так прямо.

— Я вас предупреждал, что я варвар и не умею хитрить.

— Оставь, Зина, — завопил Мережковский, широко раскрывая рот и чуть картавя. — Дай ему высказаться...

И я высказался. Мережковские слушали меня очень внимательно.

Когда я кончил мой монолог, похожий на обвинительную речь по адресу «Нового пути», Мережковский, переглянувшись с женою, вдруг сказал:

— Я вас приглашаю принять на себя обязанности секретаря нашего журнала.

— Как секретаря? — удивился я. — Вы хотите, чтобы я исполнял обязанности технического секретаря, не вмешиваясь в редакционные дела?

— О, нет. Вы будете нашим ближайшим сотрудником.

— Вы смеетесь, Дмитрий Сергеевич? Я вам только что изложил все мои с вами разногласия, а вы предлагаете мне войти в журнал.

— Да, предлагаю. Дело в том, что те политические тенденции, какие иногда сказываются в нашем журнале, нам самим опостытели. Журнал надо очистить от этого полуславянофильского, полуреакционного наследия...

— Но я не могу сотрудничать с таким-то и таким-то...

— Они уйдут.

— Но у вас самих, Зинаида Николаевна, и у вас, Дмитрий Сергеевич, могут быть такие уклоны, какие для меня окажутся неприемлемыми...

— Мы вам предоставим право вето.

Я не ручаюсь, конечно, за буквальную точность выражений, но сущность тогдашней моей беседы с Мережковскими была именно такова.

Одним словом, в какие-нибудь два-три часа определилась моя судьба. Я согласился на предложение Мережковских. Я стал ближайшим сотрудником «Нового пути». Мне тогда не было и двадцати пяти лет, и легко представить, как трудно мне было очистить трюм журнального корабля и взять в свои неопытные руки ответственное кормило. Но я скоро освоился с журнальным ремеслом и внушил такое доверие Мережковским, что они преспокойно уехали за границу, оставив «Новый путь» на мое попечение.

Положение редактора вообще незавидно. Даже авторитетные и заслуженные писатели, попадая в положение редактора, вызывают на себя нарекания со всех сторон. Все считают своим долгом критиковать и осуждать: читатели, публицисты и критики иного лагеря, а также и своего собственного, обиженные авторы и даже товарищи по редакции. А ведь всем не угодишь. Самое трудное и жуткое дело — авторское самолюбие.

Мое положение было невыносимо, ибо прежде всего я занимал место не по заслугам. Я был еще слишком молод. Одна книжка стихов и несколько рассказов не да-

вали мне еще права быть руководителем такого журнала, как «Новый путь». Ответственный редактор, Д.В. Философов¹⁰², был пассивен, а наш ежемесячник был слишком на виду. Журналы всех направлений травили его, как могли. Консервативный «Русский вестник»^{102a} доказывал, что мы страшные карбонарии и анархисты; «Русское богатство» уверяло, что мы ревнители самой ужасной реакции... После моего вступления в редакцию не было поводов для упреков в политической и социальной реакционности: придаться было не к чему. Но самые религиозно-философские темы, интересовавшие нас, были, как известно, под запретом русского либерализма.

Прибавьте к этому двойную цензуру — светскую и духовную. Борьба с цензурой всецело была возложена на меня.

Почти две трети статей из светской цензуры направлялись в духовную, и буквально каждый месяц повторялась та же история. В редакцию «Нового пути» являлся посланный от духовного цензора, архимандрита Мефодия¹⁰³, с извещением, что все запрещено.

— Как все? Быть того не может?

— Так точно-с. Отец архимандрит изволили сказать, что все. Они только просили вас самих приехать. Они вам все лично объяснят.

И я, захватив с собою второй экземпляр гранок, ехал в Александро-Невскую лавру объясняться с архимандритом.

Цензор встречал меня чрезвычайно любезно. В келью подавали немедленно самовар. Послушник приносил малиновое варенье. И архимандрит предлагал мне все читать по порядку.

— Тут все ересь, Георгий Иванович, ужасная ересь. Я не могу пропустить. Тут у вас прямо-таки гностицизм¹⁰⁴ проповедуется.

Я потом разгадал психологию этого почтенного архимандрита. Ему до тошноты надоели официальные духовно-нравственные журналы, где нечего было вычеркивать. А тут представлялся случай поговорить на острые темы — с людьми из иного лагеря. Все это было интересно. И ар-

химандрит требовал меня к себе для беседы и спора. В конце концов обыкновенно погибали две-три страницы, а весь материал, по правде сказать, в самом деле «еретический», беспрепятственно появлялся на страницах «Нового пути». Нравы были патриархальные.

Этот архимандрит Мефодий Великанов поставил однажды меня в очень затруднительное положение. Это случилось осенью 1905 года, когда я работал в «Вопросах жизни». Наш цензор оказался членом «орфографической комиссии» и выпустил брошюру «К вопросу о реформе русского правописания». Робея от избытка авторского самолюбия, он просил меня поместить в «Вопросах жизни» рецензию на его брошюру. Ознакомившись с ее содержанием, я убедился, что согласиться с ее тенденцией никак не могу. Архимандрит был сторонником радикального орфографического упрощения. Если этот почтенный монах сейчас благополучно здравствует, сердце его, вероятно, радуется, ибо его мечта об упрощении осуществилась теперь, как известно, полностью. Итак, нужно было поместить дипломатическую рецензию, то есть, не соглашаясь с идеями архимандрита, облечь твердую критику в вежливую и приятную форму. По счастью, Вяч.Ив. Иванов самоотверженно согласился взять на себя эту миссию, и надо сказать, что свое задание исполнил виртуозно. Эта его философско-филологическая заметка своего рода шедевр¹⁰⁵. Рекомендую ценителям этого писателя прочесть ее в сентябрьском номере журнала «Вопросы жизни» за 1905 г. И архимандрит был очень доволен.

II

В апрельской книжке «Нового пути» за 1904 год была помещена статья «Перевал»¹⁰⁶, из которой было ясно, что журнал приобрел нового кормчего. Я зорко следил за тем, чтобы на страницах «Нового пути» не появилось чего-нибудь «сомнительного» в политическом отношении. Работать мне было нелегко. Мережковские были за границей. Денег в журнале почти не было. Гонораров сотрудни-

ки не получали или получали очень мало. И я работал за троих: писал во всех отделах — и в религиозно-философском, и в политическом, помещал рассказы, критические статьи, рецензии, стихи... Но я был молод, и труд только радовал меня. Однако я понимал, что нужны еще иные силы, нужны новые сотрудники. Когда Мережковские вернулись из заграничной поездки, они первые заговорили о привлечении к журналу Н.А. Бердяева¹⁰⁷, С.Н. Булгакова¹⁰⁸ и прочих философов. Сделать это было не так просто. До знакомства со мной Мережковские пытались вести переговоры с этими писателями, но безуспешно. В то время Бердяев и Булгаков, хотя и разочаровались в марксизме, ревниво еще отстаивали социалистические идеи. Неясность в этом отношении позиции «Нового пути» смущала их. Но теперь прошло полгода — с апреля по сентябрь. Характер «Нового пути» изменился. Мережковские решили еще раз сделать попытку привлечения к журналу новых людей. В это время Булгаков жил в Крыму, в Кореизе. Мережковские убедили меня поехать туда для переговоров по поводу расширения «новопутейской» программы. Я послал Булгакову телеграмму и, получив от него телеграфный ответ с согласием на переговоры, выехал в Севастополь.

Я попал в Кореиз к вечеру и решил отложить свою беседу с Булгаковым до утра. Наняв комнату в первом попавшемся пансионе, расположился я на ночлег. Но спать мне не пришлось. Ночь была томительно жаркая и дурманно-благоуханная. Вокруг всего дома шел балкон. На этом балконе до утра сидели влюбленные парочки. Нежное бормотанье и страстный шепот так и не дали мне заснуть ни на минуту. И я утром отправился к Булгакову невыспавшийся и усталый, а беседа предстояла ответственной.

С.Н. Булгаков, по-видимому, был очень доволен возможностью завязать отношения с «Новым путем». Тогда ведь основать новый журнал было очень трудно: для этого требовалось особое разрешение.

— Что случилось с «Новым путем»? — спросил Булгаков, когда мы уселись с ним на диване. — Я слежу внимательно за каждой книжкой. С апреля по сентябрь он как будто изменил политическую программу. Откуда вы достали новых сотрудников?

И Булгаков назвал мои тогдашние псевдонимы ¹⁰⁹. Я объяснял, в чем дело.

Сговориться с Булгаковым теперь не представлялось трудным. В тот же день мы выработали с ним примерную конституцию журнала. К несчастью, сам Булгаков не мог жить в Петербурге, и он настаивал на том, чтобы я был представителем интересов и мнений новых сотрудников журнала. Я смутно чувствовал, что это ставит меня в неловкое положение по отношению к Мережковскому и Гиппиус, но я был так неопытен житейски и так искренне хотел спасти журнал, что согласился на этот план, не подозревая, какие горькие плоды он принесет.

Надо сказать и то, что союз, заключенный тогда между «новопутейцами» и такими писателями, как С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев, был не совсем натурален. Сошлись люди совершенно иной психологии. Булгаков привел с собою не только «идеалистов», как С.Л. Франк ¹¹⁰, Н.О. Лосский ¹¹¹, П.И. Новгородцев ¹¹² и др., но и целую группу сотрудников вроде В.В. Водовозова ¹¹³, М.И. Туган-Барановского ¹¹⁴, Л.Н. Яснопольского ¹¹⁵ и др.

Экономисты и публицисты, даже не по взглядам своим, а просто по своим интересам, были совершенно чужды главным сотрудникам «Нового пути», но и сами философы — С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев — по своей душевной природе были люди не совсем «свои».

Мережковский и его друзья, а еще более З.Н. Гиппиус и поэты, ее окружавшие, — Блок, Белый и многие *dii minores* *, как, например, Леонид Семенов ¹¹⁶, А. Кондратьев ¹¹⁷... — все они были совершенно оторваны от традиционной психологии нашей интеллигенции. Русские ин-

* Младшие боги (лат.). Зд.: второстепенные, менее значительные.

теллигенты (по крайней мере, в главном и широком русле нашей общественности) с конца сороковых годов уже до такой степени связаны были тем или другим политическим направлением, что совершенно утратили способность видеть в культуре нечто самостоятельное. Поэзия, философия, живопись — решительно все рассматривалось и оценивалось с точки зрения социальной полезности. При этом и самая идея «полезности» понималась до странности наивно. Вот почему «Новый путь» был совершенно не похож на наши толстые ежемесячники, пухлые и серые, очень назидательные и очень пресные. Самый стиль и композиция «новопутейских» статей вовсе не походили на обычные статьи наших направленных журналов. В «Новом пути» печатались по преимуществу статьи краткие и афористичные. Авторы заботились не столько о политической добродетели, сколько об убедительности мысли и выразительности языка. Расчет был на читателя догадливого, и поэтому авторы не размазывали своих тем. В наших тогдашних толстых ежемесячниках сотрудники, за редким исключением, писали одним языком и одним стилем. В «Новом пути» дорожили своеобразием. Значительная часть «новопутейцев» состояла из «декадентов». С.Н. Булгаков весь был преисполнен самой высокой добродетели и больше всего боялся «порочных» поэтов. Он сразу почувствовал, что я не так уж строг к декадентам, и умолял меня быть осмотрительней в отделе поэзии.

Н.А. Бердяев, который поселился в Петербурге, оказался менее *prude* *, чем его собрат по философии. У него даже была склонность пококетничать своим эстетическим вольномыслием. Он любил Верлена, Гюисманса¹¹⁸, Вилье де Лиль Адана¹¹⁹ и все, что полагалось по декадентскому канону.

Последние три книжки «Нового пути» за 1904 год вышли уже при участии С.Н. Булгакова и Н.А. Бердяева. Литературная часть осталась неприкосновенной. Я отсто-

* Стыдливый (фр.) — зд.: привередливый.

ял символистов. Но философские и публицистические статьи были уже иного, не «новопутейского» стиля.

В это время и Булгаков, и Бердяев переживали второй духовный кризис. Когда-то ревнители «диалектического материализма» — они, вкусив чашу с кантианским ядом ¹²⁰, не могли уже вернуться в стан своих недавних единомышленников. Но теперь они были на пороге нового мирозерцания. Кантианский идеализм их не удовлетворял. Булгаков в своих программных статьях уже заключает слово «идеализм» в кавычки. Оба они склонялись все более и более к «положительной религии» ¹²¹ — но, спутанные по рукам и ногам интеллигентской фразеологией, еще не решались порвать с традиционным публицистическим подходом к вопросам духовной культуры.

Я сейчас, набрасывая эти строки, решил перелистать последние книжки «Нового пути» за 1904 год. И вот что, «пыль веков от хартий отряхнув» ¹²², прочел я в конце последней декабрьской программной статьи С.Н. Булгакова, посвященной аграрному вопросу: «Выставляя трудовое начало, как высшую норму аграрной политики, мы сочтем этот принцип осуществленным только тогда, когда он явится единственным началом организации землевладения и земледелия и когда нетрудовое хозяйство окончательно упразднится, уступив свое место крестьянскому трудовому хозяйству, которое, объединяясь в артели, кооперации и всякие трудовые братства, протянет братскую руку и пойдет навстречу городскому пролетариату, стремящемуся дать торжество тому же трудовому началу, хотя и своим особым путем...»

Так С.Н. Булгаков на «идеализме» старался обосновать радикальную социальную программу — в надежде, что очень скоро «нетрудовое хозяйство окончательно упразднится».

Философствовать по этому поводу я не намерен, ибо в моих непритязательных записках я рассказываю не об идейной тогдашней эволюции нашей, а просто о людях и фактах, сознательно оставаясь в пределах психологизма...

Сам я никогда не был идеалистом, если под идеализмом разуместь классическую немецкую философию, а что касается собственно кантианской гносеологии, то в плену ее был я очень недолго. И скоро сделался яростным ее ненавистником, считая себя «реалистом в высшем смысле»¹²³, как выражался Достоевский и его герой Мышкин.

Я уже сказал, как трудно было мое положение между двух редакционных групп «Нового пути». Я чувствовал, что Мережковские как будто меня ревновали к новым людям, которых сами же пригласили. Кончилось все это очень печально. По какому-то поводу (кажется, это была статья З.Н. Гиппиус, которую я отказался печатать) у меня произошел с Мережковским спор о моих правах как члена редакции. Вызвали телеграммой в Петербург Булгакова. Мережковские предложили ультиматум: или они в редакции, или — Чулков.

Конечно, у Мережковских было тогда неизмеримо больше литературных прав и заслуг, чем у меня. Я был тогда слишком молод.

Но на редакционном собрании, в котором я — кстати сказать — не принимал участия, большинство высказалось за то, что продолжать журнал без меня невозможно. Так прекратил свое существование «Новый путь».

Конфликт Мережковских со мною был, конечно, случайностью. Он послужил только поводам. А дело было в том, что «в одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань»¹²⁴. Я, однако, не понимал, что Мережковские не простят мне этого крушения «Нового пути». С совершенной наивностью пошел я на ближайший журфикс¹²⁵ Мережковских, воображая, что литературный спор не помешает нам быть в прежних дружелюбных отношениях. Увы! Прелестная Зинаида Николаевна смотрела на меня такими злыми глазами и метала в меня такие отравленные стрелы, что я понял, каких свирепых врагов я себе нажил. С этого дня началась литературная кампания против меня, но еще целый год велась она глухо и сдержанно. Буря зашвистела над моей головой позднее, в 1906 году. Целый

год еще враги не решались открыто меня атаковать, ибо у меня была сильная позиция — журнал «Вопросы жизни», созданный на развалинах «Нового пути».

«Вопросы жизни»

I

Создать такой журнал, как «Вопросы жизни», на рубеже 1904 и 1905 годов было нелегко. И не только потому, что судьба его зависела от царского правительства и его цензуры. Создать такой журнал было трудно потому, что историческая обстановка вовсе не благоприятствовала пропаганде тех идей и верований, какие занимали тогда меня и моих литературных друзей. Программа идейной пропаганды, какую мы мечтали развернуть, была рассчитана на несколько лет. Но зашумела революция, и вся жизнь полетела, как парусное суденышко, подхваченное штормом.

Мы наладили наш корабль. У него снасти были крепче, чем у безвременно погибшего «Нового пути», но и нашему кораблю надо было спешить все дальше и дальше, не заходя в гавани. Избегая метафор и аллегорий, скажу прямо: революционная психология не терпит, как известно, никаких рефлексий, сомнений, скептицизма. Революционная эпоха прежде всего эпоха волевая. «Кто развязал Эолов мех, бурь не кори, не фарисействуй»¹²⁶, — сказал поэт. И поэт прав, конечно.

Мы тогда все «приняли революцию». А уж если ты принимаешь революцию, надо ее принять со всеми ее выводами. Тут сентиментальным быть не приходится. Этот подводный камень мы обошли, но вот насчет рефлексий дело было труднее, ибо мои друзья были философы, а какая же философия возможна без скептических размышлений и без всяческих сомнений! Героями дня были не те, кто размышлял, а те, кто действовал.

Со стихией не сладишь, ее не перекричишь, хотя бы ты обладал «шалапинским» горлом. У стихии своя правда. И тут уж ничего не поделаешь.

Что касается материальной организации журнала, то она устроилась довольно благополучно. У проф. Н.О. Лосского было почему-то не использованное им правительственное разрешение на журнал под названием «Вопросы жизни». Я поехал к Лосскому и без труда уговорил его дать свое имя и уступить свои права на журнал нашему кружку. Деньги дал великодушно и бескорыстно Д.Е. Жуковский¹²⁷, небезызвестный издатель философских книг. Политический и философский отделы были в руках Булгакова и Бердяева, а я ведал главным образом отделами беллетристики, поэзии и критики.

«Вопросы жизни» не были тем боевым, своеобразным и нарушавшим все интеллигентские традиции журналом, каким был «Новый путь», но зато новый журнал был солиднее, умнее, убедительнее, внушительнее своего неосторожного предшественника. В отделе поэзии и художественной прозы, где я собрал всех символистов, журнал значительно выиграл. Впервые, наконец, поэты-символисты стали печататься в журнале, который пользовался известным авторитетом не только в литературно-художественной богеме, но и вообще среди культурных людей.

Но какое было время! Какое трудное время! Уже в «Новом пути» — в октябрьской книжке 1904 года — я напечатал жирным шрифтом: «Внутреннее обозрение не могло появиться по не зависящим от нас обстоятельствам», в ноябрьской книжке нам не позволили сделать такой анонс, и вместо «внутреннего обозрения» появился какой-то суррогат «по поводу сорокалетия судебных уставов», в декабрьской книжке с большими урезками «внутреннее обозрение» покойного Штильмана¹²⁸ было напечатано, но после цензорских чернил оно мне показалось таким вялым, что я присоединил к нему отдел «Из текущей жизни», где без всяких комментариев дал длинейший список опубликованных в газетах фактов — демон-

страций, уличных сражений, террористических актов, одним словом, всего, что предрекало красноречиво наступление времен катастрофических.

Надо помнить, что 15 июня был убит Плева¹²⁹ и что вся система дрогнула, пошатнулась, что в декабре был опубликован указ Правительствующему Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», свидетельствующий о полном бессилии правительства. Запах гниения наполнил всю российскую равнину — отравный и сладкий запах смерти. Тысячелетняя старушка — карамзинская «История государства российского»¹³⁰ — умирала. Но смерть и жизнь так сплелись, перепутались и соединились в каких-то фатальных объятиях, что нам, свидетелям той эпохи, трудно было различить, где конец, где начало.

Подумать только, что нам пришлось выпускать первую книжку «Вопросы жизни», когда еще в умах и сердцах не остыло все испепеляющее воспоминание о падении Порт-Артура и когда еще дымилась кровь, пролитая 9 января на снежных улицах нашего безумного Петербурга.

Первая книжка нашего журнала вышла с анонсом: «Внутреннее обозрение» Г.Н. Штильмана и «Хроника внутренней жизни» Г. Ч-ова, посвященные рабочему движению последних дней, не могли быть напечатаны в январском номере журнала «Вопросы жизни» по не зависящим от редакции обстоятельствам».

Но и те публицистические статьи, которые прошли как-то через цензуру, были достаточно красноречивы. В сущности журнал приветствовал революцию, и это было совершенно ясно. И непонятно было не то, что из семи политических статей были запрещены две, а то, каким образом правительственный чиновник мог допустить на страницах подцензурного журнала совершенно недвусмысленный призыв к ниспровержению существующего строя. Очевидно, ревнители старого порядка чувствовали фатальную неизбежность своего конца. Надо ли удивляться тому, что понадобилось еще целых двенадцать лет, что-

бы падение самодержавия стало историческим фактом. Велика сила инерции, на которую недаром надеялся Победоносцев.

Возможность революции давно уж казалась мне несомненной, но впервые я почувствовал ее как живую реальность в ночь с 8 на 9 января. В эту ночь я был в редакции «Сына отечества»¹³¹. Я сидел рядом с Мережковским, и мы обменивались иногда фразами, забыв наши личные недоразуменья. Да, это была страшная ночь. Петербургские интеллигенты без различия направлений сбились здесь в одну кучу, бледнея от ужаса при мысли, что вот сейчас, через несколько часов, безоружная стотысячная масса рабочих двинется к царскому дворцу. Все понимали, что начинается долгожданная революция, но как странно и как-то совсем по-иному — не так, как о том мечтали деятели наших революционных партий. Н.Ф. Анненский¹³² читал петицию рабочих. Листок дрожал в его пальцах, и старик с трудом прочел эту прокламацию, обращенную к царю.

Все знали, что город превращен в военный лагерь, что в рабочих будут стрелять, и казалось невозможным, чтобы эти убийства в самом деле совершились. Казалось, что надо кому-то что-то растолковать — и не будет кровавого ужаса. Решили, как известно, послать депутацию к Витте¹³³ и к Святополк-Мирскому. Были выбраны А.В. Пешехонов¹³⁴, В.А. Мякотин¹³⁵, В.И. Семевский¹³⁵, Максим Горький и еще человек пять. Мы не расхворались, дожидаясь ответа. Вернувшиеся депутаты привезли ответ непонятный, с которым не мирилась ни совесть, ни даже простая логика. Витте принял депутатов, но объяснил с любезною улыбкою, что эта вся история его не касается, все это «не его ведомства». Святополк-Мирского вовсе не нашли. Его будто бы не было дома, и будто бы никто не знал, где он находится. Вместо него принял депутацию какой-то генерал, который советовал депутатам обратиться с предупреждением не к правительству, а к рабочим. Но к рабочим уже нельзя было обратиться. Было

поздно. Да и у петербургских интеллигентов не нашлось тогда языка, понятного и убедительного для этих измученных и взволнованных людей, в которых проснулись какие-то древние, загадочные, исконные надежды на «царя-батьюшку», воскрес тысячелетний миф о народном государе.

Все понимали, что объяснить события простой провокацией департамента полиции недостаточно и неразумно. И поп Гапон¹³⁷, несмотря на свою явную связь с охранным отделением, был загадочен и грозен для старого порядка. И с ревнивым чувством интеллигенты смотрели на этого безумного священника, который поднял десятки тысяч рабочих и вырвал у них клятвы на борьбу за свободу.

Когда я ночью вышел из помещения «Сына отечества» и пешком направился домой, у меня оказался спутник — видный и многоопытный политик.

— Что будет? — пробормотал я, чувствуя смертельную усталость и вовсе не надеясь, что мой спутник сможет ответить мне на этот безответный вопрос.

Но спутник стал объяснять что-то, стараясь уверить себя и меня, что все это очень просто, что масса «несознательна», но скоро она станет «сознательна», что даже очень хорошо, что будут стрелять в этих «баранов» (он именно так выразился).

— Это нам очень на руку, — сказал политик, улыбаясь. — Послезавтра нас будут слушать так внимательно, как никогда еще не слушали. Такова диалектика истории.

Немногие, вероятно, спали в эту ночь. И я не спал, размышляя о «диалектике истории». Утром я вышел из дому. Белая мгла висела над городом. И в холодном тумане алело солнце без лучей, как окровавленный круглый щит.

На углу Вознесенского я встретил конный патруль. Рядом бежала толпа, перекликаясь с солдатами.

— Неужто стрелять будете?

— А по-твоему бунтовщиков пряниками кормить?

— Ай да солдат? В своих же, в православных христиан...

— Мы, небось, присягали.

— А японца испугались.

— Ну, поговори еще. Больно ты шустрый.

На Казанской, около костра, старуха рассказывала. Слушало человек десять.

— Проснулась, а его, родимого, и нету. Туда-сюда. Ушел. Спрашиваю Матрешу: не видала ли? — Пошел, — говорит, на Невскую заставу, оттуда, — говорит, — тьма-тьмущая идет. Одних судостроительных Бог знает сколько. Ну, где же его, светики, разыскать. Вот и маюсь теперь так, не емши, не пимши...

— Моли Бога, старуха...

— А Матреша говорит: — Не сносить ему, говорит, головы. Лучше бы, говорит, ему головою в прорубь.

По Гороховой бежала толпа с криком и свистом; проскакали солдаты; впереди — молоденький безусый офицер с круглыми, испуганными, непонимающими глазами.

Мгла над городом опрозрачилась. Багровое солнце ширилось в небе, как бы распуская крылья, пламенея в надземном просторе.

Я пытался пройти к Зимнему дворцу, но это было невозможно. Сначала меня задерживали нестройные толпы беглецов, а потом я наткнулся на полицейские наряды, стоявшие поперек улиц.

Я с трудом пробрался к Александровскому саду. Меня прижали к решетке. Я стоял в черной, безмолвной, угрюмой толпе. Напротив — серые и теперь казавшиеся жуткими ряды солдат. Все казалось чем-то необычным, странным и невозможным: и эти штыки с багряным холодным на них отблеском петербургского солнца, и эта глухонемая земля, побелевшая под снегом.

На мгновение я почувствовал, что теряю слух и зрение. Когда я очнулся, вокруг меня все было то же: рядом простоволосая баба с необыкновенно бледным лицом, какой-то горбоносый студент и мастеровой с надвинутым на глаза картузом и вздрагивающей нижней челюстью.

И все недвижны. И тишина.

Я не слышал выстрелов. Я не знаю, почему я не слышал выстрелов. И для меня совершенно неожиданно и странно опустились на белый снег эти черные люди.

Мимо меня пронесли человека. Я видел запрокинутую голову — смуглое лицо, непонятную улыбку, глаза недвижные, устремленные вверх — к багровому солнцу.

Так 9 января 1905 года петербургская монархия похоронила себя навек.

В тот же день я зашел в Тенишевское училище¹³⁸. Там с утра собрались петербуржцы, главным образом, литераторы, ожидая событий. Эта горсть интеллигентов, оторванная от того «народа», о коем она не уставая твердила несколько десятилетий, представляла зрелище, внушающее и ужас, и жалость. Некоторые рыдали. Один писатель, сидевший немало в тюрьмах, залез на стол, топал ногой и визжал, призывая всех немедленно идти под расстрел.

Какой-то смуглый коренастый человек, мне незнакомый, злобно захохотал прямо в лицо визжавшему интеллигенту.

— Ну, врешь, брат. Теперь уж я без винтовки на улицу не выйду.

Вечером я вошел в Вольно-экономическое общество¹³⁹, где должны были собраться писатели. Появился здесь и Гапон, но его скоро увезли прятать, потому что этого загадочного человека ловила полиция. Читали наскоро составленные прокламации «К рабочим», «К офицерам» и «К солдатам» и еще какие-то. Объявили траур. Решено было закрыть все зрелища. Мне поручили сорвать представление в Александринском театре¹⁴⁰. И я с одним спутником, кажется, каким-то адвокатом, поехал в Александринский театр. Там, на собрании, в помещении Вольно-экономического общества, казалось очень легким прервать спектакль, но когда я вошел в вестибюль казенного здания, я вдруг сообразил, что это дело довольно сложное и рискованное. Я предложил моему спутнику такой план. Мы ждем начала очередного акта (кажется, второго), и во время действия один из нас поднимается и гово-

рит, что в знак народного траура мы требуем прекращения спектакля. Так и сделали. Должен признаться, что я никогда так не волновался перед публичным выступлением, как на сей раз.

«А вдруг ничего не выйдет! — думал я. — А вдруг меня тотчас же схватят капельдинеры¹⁴¹, и я не успею сказать того, что надо».

Пробравшись на свое место, я с досадой заметал, что мой сосед по креслу офицер. Менять место было поздно. Поднялся занавес. На сцене какие-то два жирных актера, чревно смеясь, изображали персонажей Островского. После двух-трех реплик я поднялся с места и заговорил о расстрелянных рабочих.

— В знак траура мы требуем закрытия спектакля.

На другом конце амфитеатра заговорил мой спутник. Но уже слов его не было слышно. Публика опрометью бросилась из зала. Актеры перестали играть. Спектакль был сорван, и я вышел в коридор беспрепятственно. Мимо меня пробежал пристав, крича:

— Где агитатор? Где агитатор?

Никто не указал на меня, и я благополучно выбрался из театра.

II

В то время, как на улицах Петербурга шумела наша первая революция, внутри журнала зрела новая катастрофа. Я был не только создателем журнала, но и его разрушителем. К стыду моему, должен признаться, был я тогда весьма неосторожен и печатал кое-что, чего бы лучше вовсе не печатать. Первая статья моя, обратившая на себя внимание, носила скромное название «Поэзия Владимира Соловьева»¹⁴², но в этой статье остро и беспокойно ставилась тема о судьбе «исторического христианства». В ней была «новопутейская» закваска. И та духовная «малярия», какая была свойственна Мережковскому, в значительной степени сказалась и в этом моем философском этюде. Но, должно быть, искренность

и внятность вопроса, мною поставленного, задела многих. Я получил тогда немало писем по поводу этой статьи. Среди них были примечательные — от Александра Блока, С.М. Соловьева¹⁴³ и других. Последнее письмо было напечатано в «Вопросах жизни» в отделе «Из частной переписки». Откликнулся на мою статью и С.Н. Булгаков, напечатав в нашем журнале очень обстоятельную и принципиальную статью¹⁴⁴ против меня, в защиту исторического христианства. В ту декадентскую эпоху мне казалось, что эта статья «совсем не о том», как выразился и Блок по поводу этой же статьи. А теперь я склонен думать, что мы, декаденты, были несправедливы к Булгакову, и в этой статье сказано было нечто очень важное и необходимое, чего мы, по своему молодому высокомерию, не оценили тогда напрасно.

Но меня уже подхватили какие-то демоны, и я неудержимо шел все дальше и дальше в моей «переоценке» разных незыблемых идей. Дело тут было не в философии только, но и в психологии, и, пожалуй, главным образом, именно в ней. Мне казалось, что если принимать революцию, то надо ее принимать до конца. А может ли она быть ограничена? Где же предел наших требований? Мой парадокс заключался в следующем. «Прыжок из царства необходимости в царство свободы» возможен лишь тогда, когда кончится история. В пределах истории он невозможен, ибо «необходимость» неустранима никак, пока действует социальная закономерность. Приближение к желанному концу истории есть революция. При любой социальной метаморфозе неминуемо возникнут новые противоречия и новые требования недовольных. Гармония в пределах истории невозможна. Все историческое здание надо сжечь. Это будет не только материальный огонь борьбы: это будет и духовный огонь, т. е. полное отречение от мнимых буржуазных ценностей.

Разумеется, с позитивной точки зрения, такая теория могла показаться бредом безумца. Но и религиозные люди с негодованием отвернулись от этой идеи. Я сам теперь

вовсе не разделяю моей тогдашней мечты, но думаю, что если бы я мою мысль выразил в те дни с большей осторожностью и более обстоятельно, она не встретила бы такого всеобщего негодования.

Благодаря моей неосторожности в формулировке идей возникли недоразумения. Предложенный мною термин «мистический анархизм»¹⁴⁵ истолковали не в том смысле, что подлинный и последовательный анархизм предполагает изначальный мистический опыт «неприятия мира» (как в диалектике Достоевского), а в том смысле, что надо разрушить всякое цельное мироотношение, заменив его каким-то апофеозом бесформенного дионисийского восторга.

Но мой конфликт с литературными товарищами подготавливался исподволь. Пока в моих руках был критический отдел «Вопросов жизни», никто еще не решался нападать на меня открыто. Да и я не успел развернуть своей идейной программы, весь поглощенный реальными событиями тогдашнего кровавого года.

Лозунгом дня стал «явочный порядок». Это была эпоха забастовок и союзов. По постановлению Союза Печати решено было выпускать журнал без предварительной цензуры. И «Вопросы жизни», разумеется, вышли с анонсом, что все статьи печатаются свободно, без цензурного одобрения.

По этому поводу припоминается один эпизод. На очередном собрании редакторов разных газет и журналов появлялся аккуратно издатель-редактор одного либерального, весьма распространенного журнальчика, приносящего немалые доходы умелому издателю. Этот господин, обладавший внушительным басом и высоким ростом, всегда занимал самую радикальную позицию и уходил с собрания при особом мнении. Но этот радикализм всегда был для него очень выгоден, ибо все, что было опасно, все, что определялось «явочным порядком», нисколько не влияло на судьбу его предприятия: под предлогом недостаточной радикальности всяких постановлений хитрец уклонялся

от круговой поруки. Так я убедился, что в иных случаях особого типа «радикализм» служит хорошим подспорьем для издательской лавочки.

Анекдотов было немало в эту смутную эпоху. В то время, как действовали открыто всякие союзы, вовсе не законные с точки зрения правительства, полиция, растерявшаяся и бессильная, устраивала бестолковые налеты, совершенно бесполезные во всех смыслах.

Однажды на журнальном нашем журфиксе проф. Ф.Ф. Зелинский¹⁴⁶ должен был читать доклад о Прекрасной Елене. Дело шло, разумеется, об античном мифе¹⁴⁷, и Зелинский блистал своей филологической эрудицией. Народу было человек сорок. Я зачем-то пошел к себе в кабинет (я жил тогда при редакции) и, направляясь обратно в залу, вдруг увидел в конце анфилады комнат странную картину. Почтенная А.П. Философова¹⁴⁸, ныне покойная, как-то странно прыгала на своем стуле, помахивая рукой и нервно взвизгивая:

— Продолжайте чтение, пожалуйста, продолжайте чтение.

На некоторых лицах я также заметил признаки волнения. Оказывается, в передней толпилась полиция, и эти мундиры смутили некоторых наших гостей.

Я поспешил к налетчикам и застал там неожиданный спектакль. Бердяев в чрезвычайной ярости топал ногами и кричал на обескураженного пристава, который, прижатый к стене, явно был испуган припадком этого странно-го для него человека.

Н.А. Бердяев страдал к тому же тиком и во время волнения несколько неестественно высовывал язык.

Этот язык окончательно вывел из себя блюстителя порядка, который принял его, по-видимому, как личное оскорбление.

— Я не привел бы полиции, если бы редакция вовремя предупредила меня о собрании! — закричал пристав.

Тогда я, имевший добрые намерения уладить историю, отстранив нервного Бердяева, вдруг сам вознегодовал, ибо лично по телефону предупредил, согласно тог-

дашним правилам, помощника пристава о литературном собрании в помещения редакции.

— Как! — закричал я, стукнув кулаком по столу. — Вы еще лжете! Я сам предупредил о собрании... Извольте убираться вон!..

Пристав не стерпел этого нового нападения.

— Возьмите его! — завопил он, сделав жест в сторону полицейского.

Но городовые топгались на месте, не решаясь исполнить царственного приказа. В это время мы уже как-то передвинулись из передней в соседнюю комнату, и она вся наполнилась нашими гостями.

— Ну, вот что, — сказал я, стараясь быть миролюбивым. — Извольте составлять протокол и уходите поскорее.

Пристав обрадовался, взял перо и принялся писать.

— Вы говорите, что профессор Зелинский читал доклад?

— Да.

— На какую тему, позвольте спросить?

— О Прекрасной Елене.

— Не извольте шутить! Я ведь при исполнении служебных обязанностей...

Может быть, неделю тому назад смотрел он, смеясь, оперетку на пикантную тему¹⁴⁹, и в его голове никак не укладывалась идея, что столь почтенное собрание, да еще в революционные дни, может заниматься таким сомнительным сюжетом. С трудом убедили мы пристава, что доклад в самом деле был посвящен античной прелестнице и за этим именем не скрывается вовсе гидра революции.

В это время в Петербурге появился другой филолог, счастливый соперник профессора Зелинского — поэт Вячеслав Иванов. Я познакомился с ним и его покойной ныне женою, Лидией Дмитриевной, еще в 1904 году у Мережковского. Они только что приехали в Россию после многолетних скитаний по Европе. Вячеслав Иванов был тогда похож на одного из загадочных персонажей Гофмана¹⁵⁰. К тому же он (кажется, по причине экземы) носил,

никогда не снимая, черные перчатки, и этот атрибут его туалета придавал ему особенную таинственность. Золотистые его кудри и ритмические телодвижения, напоминавшие танец, обращали на него всеобщее внимание. А когда он чуть-чуть в нос начинал нараспев читать свои богатые ученостью стихи, все проникались чувством почтительно-го восхищения талантами этого удивительного чародея. Ученик Моммзена ¹⁵¹, написавший на латинском языке солидную историческую работу ¹⁵²; филолог, в совершенстве владевший предметом и доказавший свою компетентность замечательным своим трудом «Эллинская религия страдающего бога» ¹⁵³, — часть коего печаталась тогда в «Новом пути», а потом в «Вопросах жизни»; своеобразный и прекрасный поэт, обративший на себя внимание Владимира Соловьева, который приветил первые его стихи ¹⁵⁴; глубокий мыслитель и счастливый угадчик древних тайн — таков был Вяч. Иванов в глазах тогдашних петербургских поэтов.

Его жена, Лидия Дмитриевна, ставшая впоследствии известной как писательница под именем Зиновьевой-Аннибал, была связана с Вячеславом Ивановым не только узами любви, но и удивительной гармонией мыслей, чувств, вкусов и всего душевного стиля. Даже словарь у них был общий. Они воистину говорили на одном языке ¹⁵⁵. И славизмы, которые любил Вячеслав Иванов, в ее устах звучали натурально и убедительно. Она одевалась несколько странно, в какие-то античные хламиды ¹⁵⁶. И если ее привычки и манеры казались некоторым чем-то эксцентричным, то вся эта эксцентричность забывалась при ближайшем знакомстве, и человек, покоренный умом и прямою этой женщины, навсегда становился поклонником ее прекрасного дара, той «искры божией», которая в ней никогда не угасала. Ее предки, Аннибалы, были связаны родством с Пушкиным, и в самой Лидии Дмитриевне было что-то пушкинское. В ее крови было, должно быть, аравийское солнце. Лидия Дмитриевна была свободолюбива, и эта жажда свободы у нее становилась настоящим пафосом.

И когда я косноязычно рассказывал ей о своих анархических мечтаниях, она с полуслова меня понимала. Удивительной чертой характера Лидии Дмитриевны было необычайное внимание к человеку. Это встречается не так часто. Она не только сознавала, но она всем существом своим постигала тайну личности. Она понимала, что человек не только ценность, неповторяемая и незаменимая, но и святыня. Вот почему она умела подойти ко всякому человеку со словом, ему нужным; умела разгадать сердце человеческое; умела понять язык собеседника. Она с одинаковым вниманием могла говорить и с утонченным петербургским эстетом, и с каким-нибудь английским джентльменом, и с деревенскою бабою... Везде, всегда и со всеми она была одинаково прямодушна и на все отзывчива. Увидев слезы, она могла зарыдать; услышав смех, она могла весь дом наполнить своим ликованием. Как писательница она не всегда была совершенна. Ее нашумевшая маленькая повесть «Тридцать три уroda» не из лучших вещей. Ее драма «Кольца» громоздка и тяжела. Но ее сборник рассказов «Трагический зверинец» — изумительная книга¹⁵⁷, мимо которой будущий историк русской литературы не должен пройти равнодушно. Я горжусь, что лучший рассказ этой чудесной книги посвящен мне¹⁵⁸. Лидия Дмитриевна скончалась 17 октября 1907 года, в деревне, в Могилевской губернии, где она, навещая больных мужицких ребят, заразилась скарлатиной. Когда она заболела, туда поехала моя жена, с которой была дружна Лидия Дмитриевна. Вячеслав Иванович создал Лидии Дмитриевне нерукотворный памятник своими книгами, ей посвященными.

Из тогдашних сотрудников «Вопросов жизни» идейно ближе всех был мне Вячеслав Иванов. Но Вячеслав Иванов старше меня на тринадцать лет. Теперь эта разница в годах незаметна, но тогда с ней приходилось считаться, как ни дружески относился он ко мне. В моей первой книжке стихов, из которой я не перепечатал бы теперь ни одного стихотворения, внимательный ко всем сердцам Вячеслав Иванов нашел поэзию и оценил ее, несмотря на

грубую форму моих тогдашних лирических опытов. В те же дни он посвятил мне сонет «Таежник»:

Стих связанный, порывистый и трудный,
Как первый взлет дерзающих орлят,
Как сердца стук под тяжестию лат,
Как пленный ключ, как пламенник подспудный,
Мятежный пыл, рассудок безрассудный,
Усталый лик; тревожно-дикий взгляд,
Надменье дум, что жадный мозг палят,
И голод тайн и вольности безлюдной...

Беглец в тайге, без норы и зверь пустынь.
Безумный жрец, приникший бредным слухом
К земле живой и к немоте святынь,
В полуночи зажженных страшным духом.
Таким в тебе, поэт, я полюбил
Огонь глухой и буйство скрытых сил.

Вскоре суждено нам было сблизиться и на иной почве¹⁵⁹. Вячеслав Иванович откликнулся и на мои мистико-анархические мечтания. Как он простил мне погрешности поэтической формы, угадав за нею подлинный лирический опыт — так же он, несмотря на неосторожно и торопливо высказанные мною мысли, почувствовал в них известную правду, ему близкую.

В это время ближайшие сотрудники «Вопросов жизни» решили закрыть журнал. И я, хотя мое положение после закрытия журнала делалось очень трудным, согласился с тем, что продолжать журнал невозможно. Революционная эпоха торопит мысль человеческую, обостряет все противоречия до их последнего предела. Мы все могли бы в иных исторических условиях продлить наш союз, но в 1905 году, в дни катастрофические, стало очевидным, что вместе нам не ужиться, и мы разошлись без ссоры и без гнева. Как-то естественно сложились тогда новые идейные группы и союзы — одна из этих групп была мистико-анархическая. Спустя год-два и она раскололась. Ее деятельность ознаменовалась выходом моей книжки «О мистическом анархизме» и трех альманахов, коим имя было «Факелы».

«Факелы»

Когда закрылась «Вопросы жизни», я почувствовал, что почва колеблется у меня под ногами. Всецело занятый журналом и «с головой ушедший» в тогдашние идейные споры, я по рассеянности забыл устроить себе сносную житейскую обстановку и как-нибудь наладить более или менее прочный быт. Лишившись скромного редакторского жалования, я оказался без крова и без пищи.

Положение мое было тем драматичнее, что меня все знали как одного из руководителей «Вопросов жизни», а этот журнал для интеллигентов был как бельмо на глазу. К тому же я привык печатать все, что хочу, не считаясь с иными вкусами и предубеждениями. И куда понес бы я тогда свои произведения? Почти все журналы, пережившие благополучно кончину «Вопросов жизни», полемизировали с нашим журналом, и я сам метал стрелы во все стороны, не скупясь на сарказм. С большим трудом устроился я в театральном отделе газеты «Товарищ», где я стал писать рецензии¹⁶⁰. Жалование, впрочем, в качестве заведующего театральным отделом получал не я, а другой литератор, а я довольствовался построчной платой, но зато я нашел трибуну для проповеди символизма на подмостках театров, а мой патрон¹⁶¹ не очень мешал мне в этом деле, за что я ему до сих пор признателен. Скоро я сделался *bête noire** для петербургского театрального мира. Этим моим рецензентским опытам и тогдашнему театру я посвящу одну из следующих глав, а сейчас расскажу о судьбе «Факелов» и моего «мистического анархизма».

В те годы — 1906 и 1907, — несмотря на то, что я вовсе не успел тогда обосновать и развить, как следует, мои мысли о «последнем освобождении», они встречали очень горячий отклик среди молодежи. Насмешливая и злобная журнальная полемика со мною, почти ежедневные

* Исчадие ада (фр.).

газетные выпады и даже травля меня некоторыми недавними моими литературными товарищами ¹⁶² нисколько не умаляли моей тогдашней популярности.

Мои публичные лекции собирали толпы моих почитателей. Меня встречали и провожали овациями. Но должен признаться, что этот «успех» не только меня не радовал, но смущал и даже пугал. Я чувствовал, что мои мысли как-то увядают и тускнеют, когда их воспринимает какой-то не совсем мне понятный слушатель и читатель. Я сам, конечно, был в этом виноват. Я сделал слишком сильные психологические ударения на отрицании и слишком тихо и полувнятно произносил ответственные слова об утверждении.

И надо признаться, что корни моего тогдашнего мистического анархизма уходили все-таки в декадентство. А эта почва ненадежная — и, вернее, это вовсе даже не почва, а самая жуткая беспочвенность. Все это было очень связано с концом петербургского периода нашей истории и с надвигавшейся революцией.

Декадентство и революция! «Да ведь это все та же тема, только с другого конца, — думал я, вспоминая слова Достоевского о «русских мальчишках» ¹⁶³, о Боге и социализме. — Да ведь это все тот же бунт во имя утверждения личности, ее независимости, ее свободы; тут социальное входит в соприкосновение с индивидуальным».

Наши интеллигенты не угадали значения и значительности русского декадентства. Им казалось, что на Западе естественно появление декадентов, ибо там они — плод давней культуры и буржуазного общества, утомленного этой давнею культурою, а в России как будто и нет почвы для этих махровых и ядовитых поэтических цветов ¹⁶⁴.

Ошибка наших интеллигентов заключалась в том, что они недооценивали или — даже вернее — проглядели не только органический период нашей истории, т.е. почти восемь столетий, но и период критический ¹⁶⁵, т.е. двухсотлетний петербургский период. Взгляды интеллигентов

были прикованы к серой, угнетенной, закрепощенной, неграмотной деревне, и эта неравномерность в распределении культурных ценностей не позволяла им беспристрастно взглянуть на те сокровища нашей культуры, которые были, однако, накоплены, несмотря на печальный факт вопиющей социальной несправедливости — факт, впрочем, характерный не для одной России.

Печальный разрыв между утонченностью образованных классов и стихийной первобытностью народа больно задевал нравственное чувство и нравственное сознание. Но этим не умалялась, однако, огромность Пушкина¹⁶⁶, Достоевского, Глинки, Александра Иванова¹⁶⁷, гениальных наших зодчих и своеобразных мыслителей, хотя бы того же Федорова¹⁶⁸ или Вл. Соловьева. Я не говорю о представителях нашей точной науки, а ведь у нас были и Ломоносов, и Лобачевский, и Менделеев... Наши интеллигенты не поняли ни огромности, ни своеобразия нашей культуры. Так же не поняли они и наших декадентов, правомочных наследников Гоголя, Лермонтова и Тютчева, предвосхитивших тайны нашей уже склонявшейся к закату культуры. С легкой руки Н.К. Михайловского утвердилось в русском интеллигентном обществе непонимание декадентства. Но, кажется, пора уяснить себе, что недаром появились эти люди и что их появление не случайно совпало с падением империи и с действительным кризисом русского национального сознания.

Связь такого явления, как декадентство, с революцией постепенно выяснилась для самих декадентов в течение знаменательного трехлетия от 1903 до 1906 года. Правда, не для всех декадентов эта связь была очевидна. В московском кружке поэтов, объединившихся вокруг журнала «Весы», процветал довольно невинный эстетизм, и этим все дело ограничивалось. Зато в Петербурге вокруг «Нового пути», а потом «Вопросов жизни» и «Факелов» собрались более проникательные люди, уразумевшие смысл событий и свое место в мире. Эти люди прислушивались чутко к грядущей буре. Они понимали, что кто-то

«поет и насвистывает», что это «прелюдия ко дню восстания из мертвых», как говорит некто в «эпilogue» Ибсена¹⁶⁹.

К этому времени относится появление моей книжки «О мистическом анархизме». Книжка эта, неудачно, неосновательно и торопливо написанная, не заслуживала бы вовсе внимания, и я не решился бы напоминать о ней, если бы ее судьба не была примечательна. Судьба ее, а также другой моей тогдашней брошюры «Анархические идеи в драмах Ибсена»¹⁷⁰, была примечательна тем, что она вызвала необычайно страстную полемику. Ее все старались осмеять — все: и декаденты, и провозвестники «нового религиозного сознания», и марксисты, и народники, и монархисты... Как это ни странно — в течение трех лет на страницах журналов, газет, сборников и книг появлялись все новые и новые статьи и заметки с сердитыми и ядовитыми выпадами против злополучной брошюры и ее автора¹⁷¹. Не спасла брошюру и обстоятельнейшая вступительная статья такого почтенного, значительного и ученого писателя, как Вячеслав Иванов. И он подвергся обстрелу со всех сторон. Poleмику перенесли даже за границу, на страницы «*Mercur de France*»¹⁷². В чем же дело? В те дни я не отдавал себе ясно отчета в причине этого неожиданного литературного вихря, возникшего вокруг моей книжки. Теперь, когда мне довелось написать немало иных книг, я хладнокровно, со стороны, могу посмотреть на этот эпизод моей биографии и понимаю, что причина запальчивой полемики — в самой теме этой брошюры. Неопытный автор слишком громко, неосторожно и поспешно произнес такие слова, какие у многих были на уме. Именно поэтому слова эти всех как-то обидели. Это были слова о кризисе индивидуализма¹⁷³, это было осознание нашей петербургской критической культуры, это был, наконец, крик о крушении западной цивилизации...

В защиту автора можно сказать только одно — он вовсе не претендовал, как ему приписывали, на провозглашение какого-то нового миропонимания. В брошюре было точно сказано: «мистический анархизм не является

законченным мирозерцанием» — и в другом месте опять: «мистический анархизм не есть цельное мирозерцание, замкнутое в себе: он является лишь путем»... Но — увы! — этих слов никто не расслышал. И все торопливо с недоброю иронией истолковали мистический анархизм как проповедь «анархического мистицизма»¹⁷⁴, т.е. как проповедь какого-то бесформенного, безрелигиозного, темного, демонического мистицизма — обвинение в самом деле тяжкое. Обвинение это было тем более тяжело, что в событиях самой жизни и в явлениях культуры в те дни такой темный анархический мистицизм воистину торжествовал. Это была правда, а не выдумка. Тогда дьяволы сеяли семена бури¹⁷⁵.

Декадентство — не только литература. Декадентство — за пределами какой угодно эстетической категории. Декадентство выходит даже за пределы психологизма. В нем есть своя изначальная сущность. Декадентство есть прежде всего своеволие, отъединение, самоутверждение, беззаконие. В мистическом анархизме эта тема бунта нашла свое предельное выражение. Это был внутренний мятеж самоопределяющейся личности. Но всякая идея, доведенная до своего предельного развития, вызывает диалектически иную идею, прямо противоположную. В мистическом анархизме личность дошла до предельного отрицания. Этим самым предопределялся кризис декадентства. Возникла неизбежная антиномия. И опыт, и сознание требовали утверждения личности в общественности. Из «непримиримого Нет», по слову поэта, рождалось «слепительное Да»¹⁷⁶. Это была попытка выяснить, что декадентский бунт есть мнимый бунт, ибо понятие бунта предполагает идею личности, а личность не может утверждать себя одиноко в своей оторванности от мира. Личность может осознать себя лишь в единстве, лишь в полноте бытия, в плероме¹⁷⁷, без коей весь мир распадается на зеркальные осколки множественности и хаотического беспорядка. Вот этой веры в конечное торжество полноты бытия, этой «плеромы наполняющего все во всем» не заме-

тили критики мистического анархизма, и, быть может, в этом повинны были не столько они, сколько сам автор, двусмысленно называвший себя Никодимом¹⁷⁸, ночным собеседником Истины.

Я позволил себе напомнить о мистическом анархизме (не о книжке моей, а, прежде всего, о самой теме и принципе) потому, что в те дни разнообразные социальные круги как бы распались на мельчайшие атомы. Декадентское своеволие, отъединение, обособление, эгоизм — все это стало характернейшей чертой не только утомленных культурой одиноких эстетов, но и многих вовсе еще как будто нетронутых культурой людей. Торжествовала злокачественная идея, что «все позволено», что нет никаких святынь, нет норм, нет законов, нет догматов, что на все «наплевать». Это уж, конечно, был не мистический анархизм, а самый подлинный анархический мистицизм, то есть идея бунта и своеволия, доведенная до бессмысленности, до темного и зловещего идиотизма. Область непознаваемого и тайного раскрылась, как черная яма, как зияющая могила, как небытие. Человек ужаснулся и, вместо того чтобы поискать истинное бытие, ту Землю, о которой твердил наш гениальнейший «реалист в высшем смысле», предпочел по нравственной своей слабости «забыться», разгуляться вовсю, махнув на все рукой. Бедняга не замечал, что он идет по жердочке над бездною и что слабый порыв ветра сдует его, как соломинку, в эту самую яму, на великую радость темной силе.

Скандал с мистическим анархизмом разразился не сразу. На самую идею откликнулись поэты и писатели разных школ и направлений. В первом сборнике «Факелов» я напечатал произведения Вячеслава Иванова, Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, Федора Сологуба, Александра Блока, Сергея Городецкого, Вал. Брюсова, а с другой стороны, Леонида Андреева, Ив. Бунина и др. Этот литературный эклектизм должен был, по моей мысли, подчеркнуть, что «Факелы» представляют вовсе не какую-нибудь новую поэтическую школу, а объединяют ревнителей разных

школ на одной идейной теме ¹⁷⁹. «Факелы» должны были ознаменовать не литературный, а идейный и психологический кризис. Такова была задача. Но не все это поняли. Так, например, В.Я. Брюсов, сам сотрудник «Факелов», разразился против них бранью в своем журнале «Весы», стараясь истолковать мистический анархизм как новую поэтическую школу. Нелепость подобного истолкования не для всех была очевидна. Тщетно Вяч. Иванов старался защитить «Факелы» на страницах тех же «Весов» от навязанной нам программы ^{179а}: даже те, кто очень хорошо понимали идею «Факелов», делали вид, что они ничего не понимают. Начался литературный скандал. Началась небывалая литературная и личная травля «зачинателя» «Факелов» — Георгия Чулкова.

Вторая книга «Факелов» ¹⁸⁰ вышла в 1907 году. В ней, кроме моих статей, были статьи И. Давыдова ¹⁸¹ «Индивидуалистический анархизм», А. Мейера ¹⁸² «Бакунин и Маркс», его же «Прошлое и настоящее анархизма», Вяч. Иванова «О любви дерзающей», статья Льва Шестова ¹⁸³ «Похвала глупости» (направленная против Н.А. Бердяева) и некоторые другие.

И этот сборник вызвал целую бурю негодования. Третья книга ¹⁸⁴ заключала в себе опять стихи и художественную прозу. Здесь были напечатаны, между прочим, «Вольные мысли» Александра Блока, мне посвященные поэтом.

В.Я. Брюсов

I

Тем юным, кто родился в начале XX века, трудно представить себе, какова была Москва накануне Японской войны. Какая была в ней патриархальная жизнь, тишина и безмятежность! Правительство снисходительно терпело либерализм «Русских ведомостей» ¹⁸⁵. Это была форточка,

чтобы граждане не задохнулись от фимиама, воскуряемого царизму московскою прессою, официальною и уличною. Натуральной реакцией на косность упрямого самодержавия являлась мечта о парламенте. Литература была в положении петуха, которого гипнотизер положил на стол, проведя перед его носом черту: журналист не смел повернуть головы, уставившись на одну тему. Эта единственная тема была конституция, о которой неустанно, хотя, конечно, иносказательно твердили либералы. Людей иной закваски было мало. Вот разве Толстой, который одиноко доживал свой век в Ясной Поляне. Это был человек иной эпохи. Правда, был еще Чехов¹⁸⁶. Как правительство «терпело» «Русские ведомости», так либеральная интеллигенция терпела Чехова. Она ему также время от времени делала «предостережения», но остракизму не подвергала, ибо его художество, хотя и не отвечало на вопрос «что делать», все же было так пленительно, так вкрадчиво-лирично, так прозрачно и — главное — так ни к чему не обязывало, что либеральный обыватель позволял себе «любить» Чехова, мечтая вместе с его героями о том, что через «двести-триста лет» у нас что-то будет иное, — не то парламент, не то вся земля преобразится чудотворно.

И вот среди такой тишины и благонамеренности вдруг откуда-то пришла ватага декадентов. Они принесли с собой яркие, пестрые знамена и дерзкие плакаты. На берегах Невы они появились раньше, но там они были задумчивее и строже. В северной столице поэты были философичнее москвичей и не очень заботились о школе. Москвичи, напротив, чувствовали себя боевым отрядом, и у них был вождь — Валерий Яковлевич Брюсов.

Чтобы представить себе впечатление от появления книг Брюсова, надо припомнить тогдашний московский быт.

Там, где теперь московский Совет Рабочих Депутатов, жил вел. князь Сергей Александрович, которому молва приписывала пагубное влияние на его державного племянника. Дворец давно утратил связь с культурой и населением. От этого дома веяло тоскою, и чувствовалось, что

его обитатель обречен на гибель. По университету бродили педеля и сыщики, а либеральные профессора вяло вольнодумствовали. В Татьянин день ¹⁸⁷ в ресторанах прятали подальше хорошую посуду, скатерти и вино.

Это было предусмотрительно, ибо в этот день население так называемой Козихи и обеих Бронных выходило с песнями на улицу, славя мнимую студенческую вольность. Молодые люди отправлялись в Эрмитаж, а потом в Яр, в Стрельну ¹⁸⁸. Там пили водку и пиво. На стол влезал седоволосый либерал в длинном похоронном скюртуке и произносил речь, уверяя многозначительно, что после «зимы» бывает «весна». Но Татьянин день проходил без всяких последствий. Продолжалась обычная жизнь: барышни читали Надсона ¹⁸⁹, студенты — Михайловского... Иногда наоборот. В Малом Театре изумительные актеры играли почему-то пошлейшие пьесы ¹⁹⁰, редко позволяя себе выступать в классическом репертуаре. Чувствовалось, что песенка Малого театра спета. Явился соперник — Художественный. Здесь, в скучном сером зале, зрители замирали в сладостном созерцании того, как на сцене изображалась эта самая обывательская скука. Это был воистину Чеховский театр. После спектакля, у кого были деньги, ехали в «Прагу», где лакеи почтительно изгибались, ставя на стол котлеты марешаль. Слов «гражданин» и «товарищ» в обиходе не было вовсе, а если бы кто-нибудь сказал, что на крыше Кремлевского дворца в недалеком будущем водрузят красный флаг, чудака повезли бы в больницу для душевнобольных.

Искусство ютилось по салонам. В Москве были свои Медичи ¹⁹¹, свои меценаты. Впоследствии они стали покупать декадентские картины, а тогда еще они побаивались «нового» искусства. Любили задушевность во вкусе Левитана ¹⁹². Одним из тогдашних литературных салонов был салон В.А. Морозовой ¹⁹³. В ее доме на Воздвиженке читали доклады и устраивались беседы. Этот салон посещали И.И. Иванов ¹⁹⁴, В.Е. Ермилов ¹⁹⁵, Н.Е. Эфрос ¹⁹⁶, С.Г. Кара-Мурза ¹⁹⁷, сотрудники «Русских ведомостей», бывали

здесь изредка А.П. Чехов, В.Г. Короленко, кое-кто из художников, иные из актеров и несколько студентов, начинавших работать в тех же «Русских ведомостях» и в «Курьере»¹⁹⁸, где впервые были напечатаны рассказы Леонида Андреева, А.М. Ремизова¹⁹⁹ и мои.

Вот в этом салоне В.А. Морозовой в 1900 году я вызвал сенсацию докладом²⁰⁰ о книге Брюсова «*Tertia vigilia*»*. Валерий Яковлевич присутствовал на этом докладе. Тогда знали стихотворение Брюсова в одну строчку «О, закрой твои бледные ноги»²⁰¹... Больше ничего не помнили из его стихов.

Осмеянный критиками как автор книжечек «*Chefs d'oeuvre*»** и «*Me eum esse*»***, Брюсов был для интеллигентов *bête noire*****. Самое неприятное было то, что и Владимир Соловьев, не только философ, но и сам поэт-символист, дважды высмеял сборники «Русские символисты»²⁰², где первое место занимал Брюсов.

Насколько я припоминаю, сборник «*Tertia vigilia*» мне принес в первый раз небезызвестный ныне профессор А.С. Яценко²⁰³, о котором Брюсов упоминает в письме ко мне из Парижа от 8 мая 1903 года. Про Яценко Брюсов писал тогда: «Он полюбился мне еще больше с тех пор, как я узнал его здесь...» Они оба страдали «географическим патриотизмом», как впоследствии признавался Брюсов, что им не мешало, конечно, вместе восхищаться Парижем, городом «для всех». В 1900 году мы с Яценко были студентами — он на четвертом курсе, а я на втором. Нам обоим нравился Бодлер, и естественно, что книга Брюсова показалась нам интересною. Я взялся писать о Брюсове доклад, соблазненный отчасти желанием подразнить буржуа. В первый раз я читал его в одном частном доме, куда был приглашен Брюсов и, кажется, Балтрушайтис²⁰⁴. Валерий Яковлевич, по-видимому, не ожидал такой

* «Третья стража» (лат.).

** «Шедевры» (фр.).

*** «Это я» (лат.).

**** См. перевод на с. 100.

сочувственной оценки его стихов, а его спутница воскликнула даже с трогательной экспансивностью: «Так еще нас никто не хвалил».

Когда я повторил этот доклад у Морозовой, Брюсов, подготовленный к этому выступлению, объявил, что недоволен моим сообщением: я хвалил «не лучшие его стихи» и еще что-то в этом роде *. Однако у нас установилась тогда взаимная приязнь.

Среди московских меценатов наиболее просвещенным и тонким был С.А. Поляков²⁰⁵. Он был издателем «Скорпиона»; он впоследствии устроил журнал «Весы». Воистину, не будь его, литературный путь Брюсова был бы путем кремнистым²⁰⁶. За кулисами «Скорпиона» шла серьезная и деятельная работа художников слова — К.Д. Бальмонта²⁰⁷, Ю.К. Балтрушайтиса, В.Я. Брюсова и некоторых других, а эстрадно, для публики, эти поэты все еще были забавными чудаками. Такова, очевидно, судьба всякой школы. Нужен срок, чтобы *poètes maudits* ** превращались в академиков. Для Брюсова и его друзей этот срок наступил примерно в 1907 году. А за семь лет до того сотрудники «Скорпиона» были «притчею во языцех». Больше всех тому давал повод К.Д. Бальмонт²⁰⁸.

Насколько Бальмонт со своими «испанскими жестами» казался буйным и страстным, настолько Брюсов был духовно заgrimирован под строгого и невозмутимого джентльмена. Сюртук Брюсова, застегнутый на все пуговицы, и его по-наполеоновски скрещенные руки стали уже традиционными в воспоминаниях современников. Отрывистая и чуть-чуть картавая речь с неожиданной и подчас детской улыбкою из-под усов была уверенна и точна. Положение «главы школы» обязывало, и Брюсов чувствовал себя предназначенным для литературных битв. Ему была нужна маска мэтра.

* В своем ныне опубликованном дневнике В.Я. Брюсов уверяет, что я был «обескуражен» его отзывом. Поистине, В.Я. Брюсов заблуждался на мой счет.

** «Проклятые» поэты (фр.).

II

Соратники Брюсова по «Весам» любили его называть магом²⁰⁹ и окружали его личность таинственностью. Брюсову будто бы были ведомы какие-то великие тайны творчества и жизни. И сам он любил казаться загадочным. В молодости Брюсов занимался спиритизмом²¹⁰; его влекли к себе образы Агриппы Неттестеймского²¹¹, Парацельса²¹², Сведенборга²¹³; у него на столе можно было найти книжки Шюре²¹⁴, Кардека²¹⁵, Дю-Преля²¹⁶... При этом Брюсов думал, что можно удачно сочетать оккультные знания и научный метод. Трезвый и деловитый в повседневной жизни, Брюсов, кажется, хотел навести порядок и на потусторонний мир. Мне, признаюсь, его занятия оккультизмом никогда не представлялись серьезными и значительными. А между тем иные его современники воистину были причастны какому-то своеобразному и странному опыту, чувствовали бытие не так, как большинство. И это «касание миров иных» приводило иногда к настоящей душевной драме. Не будучи оправдано высшим смыслом, такое темное и слепое влечение в сферу «подсознательного» оканчивалось совершенной катастрофой. Такова была судьба, например, Александра Блока. Не то Брюсов: дальше литературного и салонного оккультного экспериментализма у него дело не шло. В этом было даже что-то ребяческое.

Лицо Брюсова в гробу было совершенно спокойно. Он как будто отдыхал от забот и дел. Никакого следа темных страстей не было в этом простом и тихом лице. Та детская улыбка, которая при жизни появлялась иногда на губах у этого сурового «мага», очевидно, выражала сокровенное его души. Демонизм Брюсова был не более как литературная маска.

Нет, значительность Брюсова вовсе не в его демонизме, вероятно, мнимом, а в его формальных заслугах. Он дал нам пример трудолюбия, точности, добросовестности. Он своим литературным опытом напомнил нам о труд-

нейших задачах нашего ремесла. Бывают писатели, которым дела нет до школы, которые так поглощены жизненной судьбой в сознании ее связи с мировыми целями, что им вовсе не до «истории литературы». Не таков Брюсов. Он больше всего был озабочен тем, чтобы построить литературную фалангу так, как ему казалось это исторически нужным. Отсюда его ревнивое и подозрительное отношение ко всем, кто одновременно с ним выступал на свой страх и риск, не подчиняясь дисциплине.

Брюсов в начале своей литературной деятельности поставил себе задачей создать в России «школу нового искусства» — по образцу французских модернистов. Не случайно первая его книжка «Романсы без слов» — переводы из Верлена. Она появилась еще в 1894 году. Правда, Верлен ему не был созвучен, и впоследствии Брюсов переводил его неудачно, зато в Верхарне²¹⁷ он обрел конгениального себе поэта. Здесь вершина брюсовских достижений.

В течение 1904—1907 гг. у меня с Брюсовым не прекращалась переписка. Из этих писем видно, как живо Брюсов интересовался тем, что делается в Петербурге. Понять умонастроение тогдашнего Брюсова — это значит найти ключ к пониманию литературных отношений того времени, разгадать смысл борьбы между Москвою и Петербургом. Тут столкнулись две психологии, прямо противоположные.

Московские «декаденты» во главе с Брюсовым озабочены были прежде всего вопросами поэтики, художественного ремесла, литературной техники. Сам Брюсов, хотя в 1894 году и начал свою деятельность в сборниках под названием «Русские символисты»²¹⁸, вовсе не дорожил символизмом как мироотношением. При возникновении «Весов», по крайней мере, он мне писал с совершенной определенностью, что он не считает себя и своих друзей-поэтов символистами. Правда, с появлением в «Весах» Андрея Белого²¹⁹ символизм становится как будто официальной программой москвичей. Но, по-видимому, Брюсов

оставался при своем старом взгляде на поэзию. В противном случае едва ли «Весы» могли бы отказаться от символизма с такою легкостью, с какою они это сделали в последний год своего существования. Во всяком случае, сам Брюсов, если когда-нибудь и причислял себя к символистам, то лишь в том смысле, в каком понимали символизм французы, например Мореас²²⁰. Это был скорее маллармизм²²¹, а не символизм. И напрасно многие удивлялись, что Брюсов «отрекся» от символизма на официальном праздновании своего юбилея: это было не отречение, а, так сказать, выяснение недоразумения.

Брюсов, естественно, боялся символизма, ибо он чувствовал, что символизм обязывает, а он хотел остаться не связанным каким бы то ни было мирозерцанием. Еще в книге «*Tertia vigilia*» он заявил, «что в мире много истин есть, как много дум и слов».

Противоречий сладких сеть
Связует странно всех;
Равно и жить и умереть,
Равны Любовь и Грех²²².

Брюсов был декадентом, не таким последовательным и бесстрашным в своих последних выводах, как Федор Сологуб²²³, но он все-таки был подлинным декадентом в том смысле, что одиночества своего не мог да и не хотел преодолеть. Он был готов иногда как-то принять «общественность», но лишь условно, не по существу, а лишь как «средство», как неприятный, но порою необходимый компромисс. При возникновении «Нового пути» он предсказывал этому журналу неудачу, потому что религиозные темы казались ему совершенно не нужными и в наше время бессодержательными. При встречах он всегда говорил о руководителях «Нового пути» иронически, хотя и не отказывался от сотрудничества в этом журнале.

В Петербурге тогда было совсем иное настроение. Политика была на третьем плане, на втором — эстетика, а на первом — вопросы «религиозного сознания». Было два центра — дом Мурузи на Литейном²²⁴, где жили Ме-

режковские, и позднее — знаменитая «башня» на Таврической, где процветали «среды» Вячеслава Иванова²²⁵. Оба эти салона были чужды Брюсову. Он предпочитал Москву, где он, признанный мэтр, окруженный толпою почтительных учеников, не сталкивался с требовательными, острыми и подчас страшными темами, которые волновали петербургских философствующих поэтов. В Москве было уютнее и спокойнее. В Московском литературном кружке²²⁶, где устраивались собрания так называемой «Свободной эстетики»²²⁷, участники бесед не касались «проклятых вопросов». Тут была «тишь да гладь», а если происходили недоразумения, то на почве безвредного соперничества того же Брюсова с Бальмонтом, причем споры всегда оканчивались более или менее благополучно.

Брюсов был цельный человек. И в своей законченности он был прекрасен, как прекрасны и его точные, четкие, ясные и нередко совершенные стихи. Но Брюсов был не только поэт; он был делец, администратор, стратег. Он деловито хозяйничал в «Весах», ловко распределял темы, ведя войну направо и налево, не брезгуя даже сомнительными сотрудниками, если у них было бойкое перо и готовность изругать всякого по властному указанию его, Валерия Яковлевича.

Иные услужливые сотрудники «Весов» пересолили, правда, в своем чрезвычайном усердии и стали непристойно превозносить своего вождя, уверяя легковверных, что Брюсов — второй Пушкин²²⁸. Вероятно, Брюсов почувствовал бестактность этих льстецов и под конец старался освободиться от них, но выбраться из этого болота было не так-то легко.

Одно время Брюсов поговаривал о своем переезде в Петербург, но отложил свое намерение, чувствуя, очевидно, что там ему не пришлось бы царствовать по-московски. Атмосфера тогдашнего Петербурга была для него неподходящей. Петербург пушкинской «Пиковой дамы» и «Медного всадника», гоголевского «Невского проспекта» и «Шинели», Петербург Достоевского — вся эта бе-

зумная фантастика делала город волшебным и призрачным. А Брюсов при всем своем декадентстве был очень трезвый и бытовой человек, хороший директор Литературно-художественного кружка, домохозяин и вообще «позитивист». Идея «неприятя мира» внушала ему отвращение и ужас.

В конце 1904 года произошел разрыв моих отношений с Мережковскими. Последствием этого было закрытие «Нового пути». Вместо него возник, по моей инициативе, новый журнал — «Вопросы жизни». Это был первый журнал в России, который пользовался авторитетом в широких культурных кругах и последовательно печатал на своих страницах символистов, до того времени гонимых и непризнанных. Брюсов сразу понял значение «Вопросов жизни». Из его писем ко мне видно, как он охотно и настойчиво стремился к постоянному сотрудничеству в «Вопросах жизни». «Весы» все еще были «прихотью московского мецената» в глазах тогдашней публики, а Брюсову хотелось более широкого поприща для своей литературной деятельности. Я ему был совершенно чужд, но он считался со мною, потому что у меня в руках был тогда самый важный стратегический пункт — литературный отдел «Вопросов жизни». Как только прекратился этот журнал, отношение Брюсова ко мне резко изменилось. Эту метаморфозу нетрудно заметить, читая брюсовские письма.

Эта враждебность Брюсова совпала с эпохой так называемого «мистического анархизма» после выхода в свет «Факелов» и книги, написанной мною совместно с Вячеславом Ивановым. Началась полемика. Кампанию вел против меня не один Брюсов. Иным я вовсе не отвечал, усматривая в нападках на меня мотивы, не имеющие никакого отношения к литературе, но от литературного поединка с Брюсовым я не уклонился. В ответ на его статьи появились мои статьи в «Золотом руне»²²⁹, в «Перевале». Наша с ним переписка прекратилась весной 1907 года после моей рецензии на его книгу «Земная ось»²³⁰.

Теперь, когда Брюсов среди ушедших от нас, я чувствую, что в моих с ним отношениях, в борьбе, которую мне довелось вести против него, правда не всегда была на моей стороне. Я не хочу этим сказать, что я теперь разделяю его мирозерцание. Напротив, оно мне совершенно чуждо. Но иногда он был прав формально. Я недостаточно ценил прежде форму саму по себе. Я был небрежен и неосторожен. Брюсов был на страже точности, дисциплины и совершенства. И как это было прекрасно и необходимо в то время!

Воистину, работа над формой уже сама по себе дело благочестивое. Брюсов потрудился в поте лица. И не случайно он свою «мечту» сравнивает с волом:

Вперед, мечта, мой верный вол!
 Неволей, если не охотой!
 Я близ тебя, мой кнут тяжел,
 Я сам тружусь, и ты работай!²³¹

И Брюсов исполнил честно и свято свой долг труда — нелегкого и ответственного. Он не был одним из тех счастливых прозорливцев, которые приходят, может быть, раз в столетие, чтобы открыть людям какую-нибудь величайшую правду, как Данте²³², Сервантес²³³ или Достоевский. Он даже не был одним из тех сравнительно малых поэтов, как Верлен, ибо не было у него мудрости и своеобразия в мироощущении, как у того. Но зато на долю Брюсова выпала честь быть ревнителем формального совершенства: он как бы самим фактом своего существования ознаменовал ту эпоху нашей культуры, которая развивалась не под знаком вдохновения и гениальности, а под знаком тяжкого труда «в поте лица».

Я пытался напомнить ту историческую и бытовую обстановку, в которой начал свою деятельность молодой Брюсов. Он пришел как завоеватель «нового искусства», — и в самом деле, в буржуазно-бесцветной тогдашней московской жизни такое литературное явление, как «Скорпион», казалось чем-то ярким, неожиданным и дерзким. Ушел от нас Брюсов как завершитель некоторой культур-

ной программы, унаследованной им от литературных предшественников. В океане истории мы часто плывем без компаса. Зарю вечернюю мы иногда принимаем за утреннюю²³⁴.

III

После Октябрьской революции мы встретились с Брюсовым дружелюбно: по-видимому, давность стерла на свитках жизни печальные знаки гнева. Я забыл Брюсова, редактора «Весов», и помнил иного Брюсова — прилежного исследователя текста и биографий Тютчева²³⁵, которым и я занимался в эти последние годы.

Итак, мы после разлуки встретились с Брюсовым «среди бурь гражданских и тревоги». По слову Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...²³⁶

Это роковое счастье выпало на нашу долю, и невольно мои воспоминания обращаются теперь к 1901 году, когда впервые мне пришлось беседовать с Брюсовым о революции.

Ни для кого не тайна, что Брюсов был когда-то монархистом, националистом и даже весьма страстным империалистом. Естественно, что многие недоумевали, когда этот приверженец самодержавной и великодержавной власти оказался вдруг в рядах борцов за новый социальный порядок. Однако для меня было ясно, что Брюсов мог присоединиться к революции воистину нелицемерно. Правда, у него были на то особые мотивы, не всегда совпадающие с партийной точкой зрения, но ведь поэт пользуется привилегией жить и мыслить не совсем так, как все.

Вот в связи с этою темою я хочу поделиться одним моим воспоминанием. В книге Брюсова «Венок» к стихотворению «Кинжал» поэт сделал такое примечание: «Стихи эти были написаны в 1903 году при обстоятельствах, объяснять которые здесь не место. По цензурным условиям стихотворение не могло быть напечатано и по-

явилось лишь в № 10 «Нового пути» за 1904 г. в эпоху так называемой «весны», обратив на себя неожиданное внимание печати».

В 1906 году В.Я. Брюсову неудобно было объяснять, при каких обстоятельствах написан «Кинжал», но теперь нет причины это скрывать. Дело было вот как.

В конце 1901 года мне пришлось редактировать один нелегальный революционный сборник. В это время я был уже знаком с В.Я. Брюсовым и, составляя сборник, я решил использовать это знакомство.

Недовольный существовавшим тогда переводом «Карманьолы»²³⁷, я решил предложить Брюсову переделать «Карманьолу» на русский лад.

Я прекрасно знал, как патристически и монархически настроен Брюсов, но также знал, что стихи как стихи ему были дороже политических убеждений. И психологический расчет оказался верным. Валерий Яковлевич был даже польщен предложением и тотчас же согласился приготовить в несколько дней нужный мне русский текст революционной песенки.

Я помню, как Брюсов после нашего разговора у него в кабинете вышел со мною вместе на Цветной Бульвар, и мы пошли с ним, продолжая нашу беседу о революции. Я не отвечаю за буквальность его тогдашних слов, но ручаюсь за точность их смысла. Наш диалог был, примерно, таков:

— Не понимаю, Георгий Иванович, вашего увлечения революцией. Меня пленяют власть и сила. Что красивого в этом жалком подпольном движении, которое обречено на неудачу?

— Я полагаю, Валерий Яковлевич, что русское революционное движение представляет силу более значительную, чем вы думаете.

Тогда, насколько я припоминаю, Брюсов с живостью и запальчивостью мне возразил:

— Неужели вы в самом деле думаете, что русский народ в недалеком будущем откажется от самодержав-

ной власти и променяет ее на лицемерную мещанскую демократию?

Помнится, что я, считаясь с психологией поэта, не стал тогда с особой настойчивостью оправдывать демократический правопорядок, а постарался защитить революцию эстетически.

— Да, — сказал я, — возможно, что русский народ не оценит сейчас западноевропейской гражданственности, но ведь вы знаете, что революцию делают не либералы, а те, кто не склонен остановиться на полдороге. У нас всегда найдутся Бакунины²³⁸. Произволу самодержавной монархии народ противопоставит разгул страстного бунта. А разве этот великий бунт не прекрасен сам по себе, как всякая стихия? И разве в лозунге «ничего не жалеть» нет странной и загадочной силы, которая к себе влечет неудержимо, ибо «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю»?..²³⁹

Брюсов тотчас же откликнулся:

— С этой точки зрения, — сказал он, — революцию можно принять, но неужели в нашем подполье зреют подлинные и реальные силы?

Тогда я с немалым увлечением стал доказывать моему собеседнику, что самодержавная монархия обречена на гибель, что судьба России зависит от рабочих масс, что старый порядок на вулкане. И признаюсь, что весьма преувеличил тогдашнюю революционную настроенность рабочих и силы нашего подполья.

Последствия этой беседы были для меня неожиданны. Когда я через несколько дней пришел к Брюсову за текстом «Карманьолы», поэт вручил мне, кроме перевода французской песни, несколько оригинальных революционных стихотворений. Среди них был «Кинжал».

Четвертая строфа пьесы — прямой ответ на беседу нашу с поэтом в конце 1901 года:

Но чуть слышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

Первоначально эта строфа читалась иначе. В рукописи, которая у меня была в руках, текст был таков:

Но чуть слышавши призывный первый гром,
Я отзыв вам кричу, я вам слуга сегодня;
И чем опасней час, и чем темней кругом,
Тем в песнях я свободней.

В этой редакции (в других строфах также есть варианты) пьеса была мною напечатана в октябрьской книжке «Нового пути» за 1904 год. О публикации этого стихотворения Брюсов узнал из моего письма к нему, когда номер журнала был уже сверстан. В книге «Венок» Брюсов датирует пьесу 1903 годом. Это можно объяснить или тем, что Брюсов случайно перепутал год, или тем, что в 1903 году была им установлена окончательная редакция этой пьесы.

В «Новом пути» «Кинжал» появился впервые, ибо нелегальный сборник 1901 года не увидел света. Я был арестован вскоре после моей беседы с В.Я. Брюсовым и сослан в Якутскую область «за организацию политической демонстрации совместно с рабочими в феврале месяце 1902 года». Таково было официальное обвинение, мне предъявленное. Арестован я был за месяц до предполагавшейся демонстрации, которая не удалась, хотя студенты и собрались в назначенный срок в актовЫй зал и вынесли на сходке резолюцию весьма радикальную.

«Призывный первый гром» прогремел не слишком страшно. Брюсов тогда — я с благодарностью вспоминаю об этом — не забыл меня, однако, и с любезною заботливостью писал мне в Сибирь и посылал для меня книги, иностранные и русские.

Итак, наступили годы общественной тишины и безразличия. Эта робость оппозиции и неудача революционной пропаганды нашли себе лирическую оценку в том же «Кинжале».

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые.

Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.

Когда «Кинжал» был напечатан в «Новом пути», Брюсов мне писал: «Опасения мои относительно «Кинжала», к сожалению, оправдываются. «Русь» и «Русск. Вед.» относят его прямо к нашим дням, когда дают предостережения «Нашей жизни» и «Праву» и когда студенты в Москве не могут придумать ничего лучшего, как отговаривать солдат идти на войну или освистывать народный гимн. Нет, не то я разумел, говоря о призывном громе. Скорей это те же зовы, над которыми можно только хохотать...»

У меня сохранилось сорок писем В.Я. Брюсова. Первое датируется 1902 годом, а последнее 1907. Пересматривая эти письма, я нашел в них, среди литературных тем, отдельные замечания о революции, представляющие, на мой взгляд, некоторый психологический интерес. Вот, например, весной 1905 года Брюсов пишет, между прочим: «Хочу предложить вам несколько своих стихотворений, которые, если хотите, могут идти и в летние месяцы. Это античные образы, оживленные, однако, современной душой. Все говорят о любви. Полагаю, что и в дни, когда погибла эскадра Рождественского, а с нею пошла ко дну и вся старая Россия (ныне и я должен признать это), — любовь остается вопросом современным и даже злободневным».

Это как бы грустно-иронический комментарий к его стихотворению «Цусима».

В конце августа 1905 года Брюсов прислал мне для «Вопросов жизни» цикл политических стихотворений. Три из них были тогда запрещены цензурою — «Близким», «Знакомая песнь» и «К ним», три были напечатаны — «Одному из братьев», «Грядущие гунны», «К счастливым».

В запрещенной тогда цензурой пьесе «Знакомая песнь» все тот же мотив иронии и скептицизма, основан-

ных на недоверии к силам революции, и в то же время признание революции по существу.

Это — колокол вселенной
С языком из серебра,
Что качают миг мгновенный
Робеспьеры и Мара²⁴⁰.

Пусть ударят неумело:
В чистой меди тот же звон.
И над нами загудела
Песнь торжественных времен.

Я, быть может, богомольней,
Чем другие, внемлю ей,
Не хваля на колокольне
Неискусных звонарей.

В это же время — как ни странно это — Брюсова не покидала страстная мечта о мировых целях нашей великодержавной государственности. Об этом свидетельствуют такие стихи, как «К Тихому океану», «На новый 1905 год», «К согражданам».

Он писал мне: «Вы правы. Патриотизмом, и именно географическим, я страдаю. Это моя болезнь, наравне с разными причудами вкуса, наравне с моей боязнью пауков (я в обморок падаю при виде паука, как институтка).

У меня есть еще начатое и неконченное (уже безнадежно) стихотворение...

Я люблю тебя; Россия,
За торжественный простор:
Ты — как новая стихия,
Царство рек, степей и гор...

Брюсов пленялся торжественным простором, как он пленялся силою и властью. И ему было все равно, кто является носителем этой силы и власти, если они сами по себе были значительны и мощны.

Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон²⁴¹.

В октябре 1905 года я получил от Брюсова следующее письмо: «Дорогой Георгий Иванович! Приветствую вас в дни революции. Насколько мне всегда была (и остается теперь) противна либеральная б о л т о в н я, настолько мне по душе революционное д е й с т в и е. Впрочем, пока я не более, как наблюдатель, хотя уже я попадал под полицейские пули. Пишу вам вот с какою целью. Когда у нас возобновятся типографские работы, не пользуйтесь свободой печати (ведь есть она?) для напечатания тех моих стихов, которые были запрещены цензурою. Я этого решительно не хочу. Напишу новые, более достойные времени. Но, умоляю, воспользуйтесь этой свободой, чтобы напечатать мои переводы из Верхарна. Этого очень хочу. Верхарн воистину революционный поэт, и надо, чтобы его узнали теперь...»

Несмотря на свой географический патриотизм, несмотря на свои мечты о мировой империи, Брюсов как поэт понял и оценил иное начало, прямо противоположное, — начало стихийного мятежа, всемирного бунта, веселую гибель культур, созревших для страшной жатвы.

Он, историк, прекрасно понимал, что мятежники придут не в масках великодушных и сентиментальных рыцарей, а с открытыми, темными лицами, опаленными огнем восстания. Брюсов тогда, в 1905 году, и ранее не верил в то, что бунтари несут в мир свое последнее слово; ему были чужды их цели, ему был «страшен» их «неокрыленный крик», но он был готов им служить и с совершенной искренностью приветствовал их:

Где вы — гроза, губящая стихия,
Я — голос ваш, я вашим хмелем пьян.
Зову крушить устои вековые,
Творить простор для будущих семян.

И далее:

Но там, где вы кричите мне: «Не боле!»
Но там, где вы поете песнь побед,
Я вижу новый бой во имя новой воли!
Ломать я буду с вами! Строить — нет!²⁴²

Остался Брюсов верен своей мятежной мечте и после того, как революция победила и началось социалистическое строительство, или он этой мечте изменил — об этом расскажет тот, кто к нему ближе стоял в эти последние годы.

Моя с ним приязнь кончилась в 1907 году, когда он, объявляя мне войну на литературном поприще, упрекал меня в бунтарстве, а себя сравнивал с Цезарем²⁴³. Он писал мне 27 января 1907 года: «В свой час, падая, Цезарь спокойно закроется плащом, но Империя создана Цезарем, а Бруты²⁴⁴ работают лишь для Августов²⁴⁵...» И далее: «Сознаю, насколько увлекательнее роль вечного завоевателя, вечного «кочевника красоты» («Разве есть предел мечтателям!»²⁴⁶), но, подчиняясь мигу истории, говорю, как легендарный римский легионер: «*Sta miles, hic optime manebimus...*» *^{246a}.

Леонид Андреев

I

Я познакомился с Л.Н. Андреевым в редакции московской газеты «Курьер» в 1899 году, где он печатал тогда свои рассказы и фельетоны. Мы встречались с ним довольно часто в течение двух лет, пока в конце 1901 года меня не арестовали и не отправили в Якутскую область. Каким далеким и непонятным кажется теперь тот мир, тот быт: не верится, что прошло всего лишь двадцать лет, а не два столетия! Какое полусонное царство было тогда вокруг нас! Россия Николая II²⁴⁷ жила еще тогда медлительно, тяжелою и грузною жизнью, шла куда-то — слепая — как будто руководимая тенью царя Александра III. Мы еще не предчувствовали тогда надвигавшейся на Рос-

* Остановись, воин, здесь, так для нас будет лучше (лат.).

сию японской опасности; мы жили, не страшась бурь и непогоды, жалуясь лишь на душное однообразие той опеки, которая тяготела над словом, над жизнью, над всем этим чеховским миром, таким тесным, малым и безвольным. Казалось, что все так прочно, так незыблемо, что разве наши внуки увидят Россию иною. И вот, когда я встречал Л.Н. Андреева в московских литературных кружках, я всегда чувствовал, что этот человек как будто пришел из другой страны. Не то, чтобы в своем быте, в своих убеждениях, взглядах и вкусах он был человеком, опередившим современников; напротив, он был очень характерен для известных кругов тогдашней литературной Москвы. Но было в нем что-то иное, чего определить вкусом или мнениями никак нельзя и что делало его одиноким и своеобразным, несмотря на то «общее выражение», которое ему было свойственно как москвичу, писателю, как сотруднику «Курьера» или журнала «Жизнь»²⁴⁸, который издавался тогда в Петербурге при ближайшем участии Максима Горького.

В это время в Москве заявили уже о себе новые поэты, объединившиеся под знаком «Скорпиона». Эти люди, «зачинатели нового искусства», в известном смысле воистину были декадентами, то есть выразителями «конца века». Их творчество было как бы ознаменованием культурного перелома. Л.Н. Андреев к их кружку не принадлежал и не мог принадлежать. Он был для них «провинциален», недостаточно «рафинирован», и он не любил и не ценил этих людей, но в своей бессознательной и внешними данными не оправданной сущности он был «их поля ягода».

Жил тогда Л.Н. Андреев в Грузинах²⁴⁹. Быт вокруг него был старомосковский, среднеинтеллигентский. Мать Леонида Николаевича, гостеприимная и радушная хозяйка; покойная первая жена его, юная и милая, веселая и нежная; сестра и братья, обожавшие старшего брата, который был, кстати сказать, главою дома после смерти отца — все это было немного старомодно, немного про-

винциально. И вся семья с добродушным восхищением и ревнивою гордостью следила за возрастающею славою любимого Леонида. В доме Леонида Николаевича бывали почти все московские литераторы. Из начинающих писателей встречал я у Андреева Б.К. Зайцева²⁵⁰, чей первый рассказ «Волки», насколько я припоминаю, произвел на Андреева большое впечатление. Со многими литераторами Л.Н. Андреев был на «ты». С внешней стороны как будто жизнь его сложилась благополучно: много друзей, любящая семья, литературный успех. Но в Андрееве, в самом Андрееве, в его душе не было благополучия. И эта странная тревога, мучительное беспокойство и какой-то бунт, «несогласие со всем» — вот что было в Андрееве новым и необычным.

Он был всегда на людях, всегда с приятелями, но, может быть, в тогдашней Москве не было более одинокого человека, более оторвавшегося от почвы и даже от мира, чем этот удачливый беллетрист, обласканный Максимом Горьким и признанный Н.К. Михайловским²⁵¹. Правда, в нашей литературе были огромные таланты и огромные личности — тоже одинокие, тоже «неприемлющие мира» — их имена мы все знаем — но значение Леонида Андреева не умаляется вещими тенями гениев. Личность Андреева определительна для своей эпохи, для своего времени. У него есть своя страница не только в истории русской повести, но — что не менее важно — в истории нашей духовной отчизны. Была в Андрееве какая-то обреченность, какая-то гибель. В нем не было ничего буржуазного. И хотя словечко это стало каким-то двусмысленным, но вернуть ему его настоящее значение небесполезно. В Андрееве не было ничего буржуазного: ему вовсе не хотелось как-то «мирно устроиться» и менее всего — «почить на лаврах». И чем счастливее была его внешняя жизнь, тем беспокойнее он становился, тем болезненнее и острее чувствовал, что «так жить нельзя».

Он был одним из многих русских скитальцев, но наши скитальцы александровской и николаевской эпох

были почти всегда дворянами, наследниками большой и старинной культуры: Леонид Андреев был скиталец-разночинец, без всяких культурных корней по происхождению и по воспитанию. Но он был сыном своего времени, он был весь в предчувствии катастрофы. А ведь наши малые исторические катастрофы, падение того или иного социального порядка, крушение той или иной формы государственности всегда отражают в себе общую катастрофичность истории и мира. И когда Тютчев, например, по поводу падения Севастополя говорит о конце мира²⁵², это вовсе не так уж неосторожно, ибо хронология, сроки — иногда последнее дело. Много у нас было растревоженных людей и более замечательных, чем Андреев; многие говорили, что скоро всему конец, но у Леонида Андреева была своя собственная интонация, свой голос.

Я как сейчас вижу его шагающим по своему кабинету с неугасающей папиросой в руках, с блестящими глазами, с горькой улыбкой — и вечно повествующим о задуманном рассказе или о самом себе — и всегда в какой-то лихорадке, как будто ожидая чего-то страшного и последнего. Но — странное дело — в иных людях бывает неприятна и тягостна эта черта — говорить непременно о себе и о своем: в Леониде Андрееве это было так неизбежно, так определялось самой сущностью его личности, что слушать его признания и его лирический бред было вовсе не в тягость. Что же ему, несчастному, было делать, когда у него ничего не было твердого и прочного, на чем он мог бы крепко стать и посмотреть на Божий мир более смиренно и более мудро.

Его разговоры о себе не были эгоизмом, они были его несчастьем, горем, болезнью, тоскою. И его нельзя было не любить именно таким — поглощенным самим собою.

А что в нем не было ничего твердого и коренного — об этом свидетельствуют и его собственные признания. Вот что однажды он писал мне: «Каждую свою вещь я хотел бы писать под новым именем. Мне тяжело зави-

сеть от моего собственного прошлого, от высказанных мыслей, от промелькнувших обещаний — я ничего не хочу обещать. Быть жертвою логики я не хочу. Свободно любить, плакать, смеяться — вот! Сегодня я мистик и анархист — ладно; но завтра я буду писать революционные вывески, как Тан ²⁵³; а послезавтра я, быть может, пойду к Иверской ²⁵⁴ с молебном, а оттуда на пирог к частному приставу...» И далее: «Поверьте мне, я до исступления ненавижу современное культурное человечество; я не принимаю жизни, какая она есть, и никогда не приму, но я не хочу выкидывать никакого знамени, даже знамени бунта...»

Но Л.Н. Андреев не только не строил и не мог построить цельного мирозерцания: он не хотел даже узнать и понять тех людей прошлого, которые осмелились такое цельное мирозерцание утверждать. Он как будто боялся возможных на себя влияний.

Прежде, когда я был моложе, мне казалось досадным, что Андреев оправдывает афоризм Пушкина — «мы ленивы и нелюбопытны» ²⁵⁵. Он в самом деле был «ленив и нелюбопытен» в известном смысле. Он многого не знал, не успев в студенческие годы приобрести знания, ибо тратил время и силы на заработок, занимался судебным репортажем в газете и еще чем-то, а в дни, уже свободные от нужды, жил по-прежнему, махнув рукою на то, что было завоевано человечеством. Мне было досадно, что он все читает и перечитывает романы с приключениями и как-то не хочет вникнуть в глубину и многообразие мировой культуры. Но теперь я понимаю, что ему нельзя уже было «учиться». Ничего путного из этого не вышло бы. Он бы не выдержал знания, увял бы, поник бы совсем, вдруг догадавшись, что «Америка» уже открыта. И дело не в том, что он нередко открывал «америки», а в том, как он их открывал. Удачен или неудачен был его стиль, глубока или неглубока его мысль, все равно сам он, его личность, его буйство ума и его больное сердце были, как вещие знаки нашей судьбы. Он был жертвою за всех нас. А тут уж надо

шапку снять и поклониться, не критикуя. То, что в Андрееве было — пусть иногда неудачное и безвкусное — все было подлинное. Лгать и притворяться этот человек не хотел и не умел.

Какие у него были «общественные» взгляды и убеждения, по правде сказать, я затрудняюсь на это ответить, несмотря на то, что я знал его — правда, с большими перерывами — почти двадцать лет. И затрудняюсь я не потому, что в беседах с Андреевым я проходил мимо этой темы, или потому, что он избегал высказываться, а просто всякая «общественность» по существу Андрееву была чужда. Он, пожалуй, сам не сознался бы в этом. Он, кажется, был уверен, что у него имеются какие-то определенные мнения на этот счет. Но вот теперь, припоминая наши встречи, я чувствую, что самая тема общественности Леониду Андрееву была непонятна. Он мог говорить какие угодно хорошие слова о свободе или о социальной справедливости, но все это для него было чужое, не волнующее кровно, не первое. Первое — только одно: смерть, «жизнь человека» частного, одинокого, обреченного. «Умрем! Умрем! Все умрем!» — вот его крик, его вопль.

И если он касался вопросов общественности, то всегда под знаком смерти. Таков и его «Рассказ о семи повешенных». Недавно, разбирая бумаги, я нашел у себя статью Леонида Николаевича. Не знаю, была ли она когда-нибудь напечатана. Он прислал мне ее из-за границы и просил поместить в одном издании, но, насколько я припоминаю, статью нельзя было почему-то напечатать. Статья посвящена памяти казненного революционера Владимира Мазурина²⁵⁶, которого Леонид Николаевич знал лично. И в этой статье Андреев ни слова не говорит о том, какие были взгляды у Мазурина, какие убеждения. Ему важно одно: вот жил милый человек, веселый, добрый, общительный — пришла темная сила, и нет человека на земле. Это страшно, ужасно. Надо стонать и вопить. И тема поставлена не общественно, а лично.

II

Вторая моя встреча с Леонидом Николаевичем произошла в 1903 году в Нижнем Новгороде. В это время в Нижнем жил также А.М. Пешков, и к нему приехал Андреев, кажется, для участия в каком-то литературном вечере. Каким образом я тогда нашел Леонида Николаевича или он меня, совершенно не помню. Помню только, что мы сидели с ним вдвоем в каком-то трактире, что приехал в этот трактир Андреев уже нетрезвый, и этот вечер остался в моей памяти как один из кошмарных вечеров. Дело в том, что до самых последних лет, до кануна войны с Германией, у Андреева бывали припадки острой тоски, и в такие сроки он тянулся к хмелю неудержимо, с мрачною и болезненною настойчивостью. Он вовсе не был кутилою. Не было у него и запоев. Но грусть его, переходившая иногда какой-то предел, разрешалась обыкновенно двумя-тремя днями хмельного дурмана. Он и тогда оставался верен себе, своей теме, своему страху смерти, но все эти мучительные мысли и слепые чувства вырастали у него в огромные фантастические тени, и он с ними вел беседу многословно и запутанно, со страстью и со слезами.

Передать нашу тогдашнюю беседу или, вернее, его монолог я затрудняюсь. Это все было похоже на перепутанные части его рассказов и повестей. Помню только, что я чувствовал тогда к нему большую жалость и все уговаривал его ехать поскорее к жене в Москву, на что он, наконец, не без труда согласился, и мы расстались с ним на вокзале. Он и на дорогу в вагон захватил с собою бутылку водки. Он шел по той же роковой дорожке, по какой в свое время шли такие тоскующие русские скитальцы, как Аполлон Григорьев²⁵⁷ или Глеб Успенский²⁵⁸. Только у Аполлона Григорьева был при этом разудалый размах, гитара и дыганщина, у Глеба Успенского — его мономания, его «власть земли», а у Андреева, человека очень городского, — его литературная истерика.

Я не говорю и не хочу говорить об Андрееве как писателе. Я сейчас представляю себе его как человека, и вот как человек он был все-таки, несмотря ни на что, из той страны, из той духовной отчизны, где растет «голубой цветок»²⁵⁹. Весь его болезненный хмель оправдывался тем, что в сердце у него всегда звучала какая-то песня «не от мира сего». Андреев был романтиком, и романтиком своеобразным. В нем не было ни пафоса французского романтизма, ни отвлеченности и сложности романтизма немецкого. Но он был романтиком, ибо при всей своей религиозной слепоте одну религиозную правду он принял как живую и несомненную реальность, — это правду о вечно женственной красоте, о возможной, но несуществующей мировой гармонии. Насколько отразился этот его душевный опыт в его рассказах, повестях и драмах — это другой вопрос, но что такой внутренний опыт у него был, в этом я не сомневаюсь.

Правда, эта полусознательная его любовь к вечно женственному началу, к таинственной даме, омрачалась горькой иронией, но вовсе не в духе тонкой иронии немецких романтиков: у Андреева была какая-то грубоватая насмешливость над самим собою и над теми сомнительными воплощениями Прекрасной Незнакомки, которые встречались на его жизненном пути. Он был сентиментален и застенчив. За видимую самоуверенностью и даже развязностью у Андреева всегда таилось недовольство собою и какое-то разочарование. Он оплакивал и себя, и ту, которая казалась ему в какое-нибудь мгновение жизни прекрасной и загадочной.

Эта тема сближала его с Александром Блоком²⁶⁰. Из современных поэтов он любил его больше всех. И это не случайно. Они оба угадывали что-то в одном и том же потустороннем плане. Правда, Блок был всегда тоньше и значительнее Андреева, и за Блоком была большая культурная традиция. Его поэтическую тему можно найти и у Лермонтова²⁶¹, Фета²⁶², Аполлона Григорьева, Владимира Соловьева, и у немецких романтиков — у Новалиса,

прежде всего. За Андреевым никакой традиции не было. И корней у него не было. Он пришел как случайный человек, и потому был наивнее Блока. Но я очень хорошо помню, что на первом представлении «Жизни человека» в театре В.Ф. Комиссаржевской²⁶³ поэт восхищался пьесой Андреева, хотя позднее мнение его на этот счет решительно изменилось²⁶⁴.

Да, у Леонида Николаевича было это болезненное самоубийственное уклонение от той правды, которую он смутно предчувствовал в своих полупрозрениях вечно женственного начала. И отсюда — эта хмельная грусть, эта горькая улыбка над собою и над миром. Осмыслить историю и вообще подлинную *жизнь человека* он не мог и не хотел. Он как будто боялся даже всякой попытки найти в жизни и в мире смысл, мудрость и путь. В одном из писем ко мне у Андреева вырвалось такое признание: «Куда я иду? А черт меня знает куда. Иду, и все тут».

У него было даже прямое отвращение к нашим современникам, которые пытались и пытаются строить цельное мировоззрение. Истории философии Леонид Николаевич не знал и философией никогда не занимался, но было одно исключение — это Шопенгауэр²⁶⁵. Он его прочел еще в юности, и шопенгауэровский пессимизм пришелся ему по душе.

III

Я уже говорил, что знал Л.Н. Андреева почти двадцать лет, но иногда мы годами с ним не виделись: то я жил за границей, то он куда-нибудь уезжал, но в иные годы мы встречались с ним довольно часто, особенно мне памятни два лета в Финляндии. Мы встречались с ним иногда на даче у покойного В.А. Серова²⁶⁶, а одно время Леонид Николаевич почти ежедневно бывал у меня. Я жил тогда как раз недалеко от того местечка, где он выстроил себе впоследствии виллу. Строил он ее по плану одного молодого архитектора, и сам принимал живейшее участие в разработке этого плана. И в самом деле дом вышел совсем

в духе хозяина. Что-то в нем было мрачно-романтическое, в художественном отношении весьма сомнительное, и стиля его определить нельзя было никак, но — надо признаться — в нем было своеобразие, присущее и самому Андрееву. Было в нем холодно и неуютно. Не хотел уюта Леонид Николаевич. И особенно после смерти своей первой жены он был всегда в каком-то беспокойстве — даже тогда, когда вторично женился и у него родились дети от второй супруги.

Но, несмотря на свою романтическую мрачность, Леонид Николаевич в иных отношениях был как-то ребячлив, и занимали его какие-то пустяки, какие-то игрушки. То он увлекался цветной фотографией, то дилетантски копировал какие-нибудь репродукции с художников и, кажется, гордился своей работой, то, наконец, завел себе моторную лодку и в костюме моряка забавлялся маленькими путешествиями.

В литературе Андреев был так же бесприютен и одинок, как и в жизни. Издавался он в «Знании»²⁶⁷ Максима Горького, потом в «Шиповнике»²⁶⁸, потом кое-что издал в «Издательстве писателей»²⁶⁹, но своего литературного круга у него не было. Везде он был случайным гостем и внутренне ни с кем не был связан. Напечатал он рассказ и в «Факелах»²⁷⁰, но, когда вышел альманах, был альманахом недоволен: в альманахе преобладали символисты, а их он боялся: они казались ему слишком рассудочными, слишком искусственными и холодными. Он только для Блока делал исключение и знал его некоторые стихи наизусть²⁷¹.

Прочих современных поэтов он не ценил и не любил. Вот что он мне писал однажды с пристрастным раздражением и с явною запальчивостью: «От последних Северных цветов (ассирийских)²⁷², которые я увидел только теперь, пахнет потом невыносимо. И как они не поймут, что раз все они только похожи друг на друга, то, стало быть, один из них только прав, а остальные лгут. Какие-то парикмахеры от искусства, которые весь мир завивают, как пуделя,

Бога, как пуделя — черт в завитушках — все в завитушках. И завитушки мелкие, и слова маленькие-маленькие — какое-то вырождение слов. Такие маленькие. И недаром печатаются они мелким шрифтом — крупный для них невозможен. А что они сделали с любовью! Чем больше поют они про ее силу, величие, мистичность, тем ничтожнее, слабее, глупее становится она. Поэты — они убивают поэзию. Жужжащие мухи с тысячью взмахов крыла в секунду — они заставляют забыть об орлином полете. Какое бессилие!» И далее: «Они убивают поэзию. В России нет больше стихов».

В Финляндии мы иногда гуляли с ним по окрестностям. На прогулках он обыкновенно нервно курил папиросу за папиросой и неумолчно говорил о своих замыслах и планах. Он любил, по-видимому, импровизировать, рассказывая о своих будущих повествованиях. Иногда с мнительною робостью он посматривал на собеседника, не скучает ли тот, но перестать рассказывать ему было, видно, трудно.

В существе своем он был простодушен и добр. И задних мыслей у него никогда не было. Он шел ко всем с открытою душою. И, когда чувствовал холодность или скептицизм, совсем поникал.

Очень болезненно он относился к враждебной критике, которая за последние годы не скупилась на порицание его произведений. Он был избалован похвалами, которые ему большинство расточало на первых порах его деятельности, и жадно искал внешней поддержки. Но ее не было, и он чувствовал себя как в западне.

Так жил Андреев двойной жизнью. С одной стороны, большая семья, много знакомых, издатели, критики, репортеры, актеры и какие-то бесконечные случайные посетители: тут было много забот и суеты. С другой стороны, та внутренняя мучительная тревога, слепая и угрюмая, которая его терзала: тут одиноко сгорала его душа.

Однажды я пришел к Андрееву, когда он жил в Петербурге в большом доме на Петербургской стороне. Меня

встретила его матушка и шепотом сообщила, что Леонид «заболел». Это значило, что он во хмелю. Я хотел было уйти, но Андреев услышал мой голос, вышел и повлек меня к себе в кабинет. Перед ним стояла бутылка коньяку, и он продолжал пить, и было видно, что он пьет уже дня три. Он говорил о том, что жизнь вообще «дьявольская штука», а что его жизнь погибла: «ушла та, которая была для него звездою»²⁷³. «Покойница!» — говорил он шепотом таинственно и мрачно. Потом он опустил голову на стол и заплакал. И опять тот же таинственный шепот и бред. Вдруг он замолчал и стал прислушиваться, обернувшись к стеклянной двери, которая, кажется, выходила на балкон. «Слышите? — сказал он. — Она тут». И снова начался мучительный бред, и нельзя было понять, галлюцинирует он в самом деле, или это все понадобилось ему, чтобы выразить как-нибудь то загадочное и для него самого непонятное, что было у него тогда в душе.

Я пишу эти строки в январе 1920 года. Мы теперь знаем, что многие события русской культурной жизни накануне революции имели особый смысл, вещей и значительный. Мы любили повторять, что Россия, культурная Россия, еще молода; мы, утомленные политической реакцией последних царствований, как-то не замечали, что духовная культура страны, несмотря на ветхие формы государственности, достигла своих вершин, что появление так называемых декадентов вовсе не случайно, что они — подлинные вестники культурного перелета. Такие благоуханные, но ядовитые цветы могли вырасти лишь на почве большой, себя пережившей культуры. Декаденты поработали немало над умами и сердцами современников: «Нет никаких безусловных ценностей. Все относительно. Посмеяться можно над всем. Да и святынь никаких нет. Недурно было бы вообще все послать к черту». Это было все сказано очень тонко и остроумно, а иными и не без демонической глубины. Леонид Андреев повторял то же

самое, но при этом огорчался, скорбел и плакал: ему было жаль человека. Он бунтовал, как декадент, но бунт его был какой-то женский, истеричный и сентиментальный. Менее тонкий, чем поэты-декаденты, он был, пожалуй, более характерен и определенен для нашего культурного безвременья, чем они. И как личность Андреев мне всегда представляется не столько отравителем современного ему поколения, сколько жертвою: его самого отравили и замучили те странные темные силы, которые незримо вошли в нашу жизнь и разложили ее.

У Леонида Андреева был особый внутренний опыт, скажем, «мистический» (я говорю это не на основании его писаний, а по личному впечатлению), но религиозно Андреев был *слепой* человек²⁷⁴ и не знал, что ему делать с этим опытом. В нем и тени не было того холодного цинизма, который присущ упадочникам. Он был воистину хороший человек, но человек, замученный предчувствиями, растерявшийся и запутавшийся.

Но вот наступила для России пора великих испытаний — мировая война.

Я вернулся из Италии на восьмом месяце войны и в эти дни видел Андреева. И вот тогда впервые я услышал от Андреева слова не о себе, а какие-то страстные и решительные речи о той, которую он чувствовал, очевидно, как мать, как что-то живое и личное — о России. Декадент, настоящий декадент таким языком говорить не мог. Может быть, статьи Андреева о России, Германии и войне были совсем неудачны, но для него как человека они были важны. Важно и значительно было то, что за маревом его отчаяния нашлась у него все-таки где-то в глубине сердца тоска по отчизне.

Александр Блок

I

Имя Александра Блока я впервые услышал из уст Анны Николаевны Шмидт²⁷⁵, особы примечательной и загадочной, чья судьба, как известно, была связана с судьбой Владимира Соловьева. Встретился я с Анною Николаевной в 1903 году, когда я жил поневоле в Нижнем Новгороде. Я в это время писал с увлечением стихи. И вот однажды ровно в полночь ко мне явилась незнакомая старушка и объявила, что намерена прочесть мне сейчас же, в эту ночь, свою рукопись «Третий завет»²⁷⁶. Она тут же вытащила из большого сака, вышитого бисером, несколько тетрадей и, между прочим, только что выпешдшую тогда мою первую книжку стихов «Кремнистый путь».

Эта странная старушка была та самая А.Н. Шмидт, чьи сочинения, вместе с письмами к ней Владимира Соловьева, были опубликованы в 1916 году, т.е. спустя десять лет после ее смерти (она умерла 7 мая 1905 года).

Анна Николаевна раскрыла мою книжку и указала мне на три стихотворения — «О, медиума странный взор...», «Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня...» и, наконец, мое стихотворное переложение «Песни песней».

— Это мне дает право требовать от вас внимательного отношения к моему «Третьему завету», — сказала она тихо и торжественно.

В самом деле, хотя я никогда лично не знал Владимира Соловьева и не имел с ним связи, если только не считать косвенного к нему касания через его брата Михаила Сергеевича Соловьева²⁷⁷, который был моим учителем в шестой классической гимназии и всегда относился ко мне благосклонно, — все-таки в душе моей бессознательно преобладала тогда тема «софианства»²⁷⁸, соловьевская тема, с ее ослепительным светом и с ее мучительными противоречиями. Это сказалось и в моих стихах. Анна

Николаева Шмидт тотчас же почувствовала во мне «своего человека», и немудрено, что мы заговорили об Александре Блоке, об этом духовном наследнике Соловьева, успевшем тогда напечатать циклы стихов в «Северных цветах» и «Новом пути».

Моя книжка вышла в 1903 году и помечена на обложке 1904 годом. Спустя год вышла книжка Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Книжка датирована 1905 годом. Обе книжки — моя и Блока — вышли в Москве, а цензурой были пропущены в Нижнем Новгороде: в то время там цензором был Э.К. Метнер²⁷⁹, брат композитора²⁸⁰, впоследствии сотрудник «Золотого руна» и «Мусагета». К счастью или несчастью, моя тогдашняя лирика обратила на себя внимание З.Н. Гиппиус, и по ее инициативе Поликсена Сергеевна Соловьева напечатала в «Новом пути» статью обо мне. Эта статья определила мою судьбу: получив разрешение на жительство в Петербурге (ныне Ленинграде), я прежде всего пошел к Мережковским. В том же 1904 году в их доме я познакомился с А.А. Блоком.

При первых встречах моих с Блоком мы, кажется, несколько дичились друг друга, хотя успели перекинуться «символическими» словами; «софианство» сближало нас, но оно же и ставило между нами преграду. Я, причастный этому внутреннему опыту, страшился его, однако. И этот страх перед соблазном нашел себе впоследствии выражение в моей статье «Поэзия Владимира Соловьева», на которую отозвался Блок примечательным письмом. Но об этом письме — после.

В самом раннем сохранившемся у меня письме Блока встречается имя А.Н. Шмидт. Письмо написано 15 июня 1904 года. В это время Блок жил в Шахматове. Из письма видно, что А.Н. Шмидт приезжала к Блоку в деревню в мае месяце. Встреча ее с поэтом так же providенциальна, как встреча ее с Владимиром Соловьевым. Она явилась как бы живым предостережением всем, кто шел соловьевскими путями. Мы все повторяли гётевское

«*Das Ewig Weibliche zeit uns hinan*» *... Однако вокруг «вечно женственного» возникали такие марева, что кружились не только слабые головы, но и головы достаточно сильные. И «высшее» оказывалось порою «бездною внизу». Старушка Шмидт, поверившая со всею искренностью безумия, что именно она воплощенная София, и с этою странною вестью явившаяся к Владимиру Соловьеву незадолго до его смерти — это ли не возмездие одинокому мистик, дерзнувшему на свой страх и риск утверждать новый догмат? Я имел случай теперь — в 1922 году — изучить некоторые загадочные автографы Владимира Соловьева, до сих пор не опубликованные²⁸¹. Эти автографы — особого рода записи поэта-философа, сделанные им автоматически в состоянии транса. Это состояние (как бы медиумическое) было свойственно Соловьеву по временам. Темою соловьевских записей является все она же, «София», подлинная или мнимая — это другой вопрос. Во всяком случае, характер записей таков, что не приходится сомневаться в «демоничности» переживаний, сопутствовавших духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот²⁸².

Сам Блок верил, что в эту эпоху, то есть до 1905 года, ему был ведом особый — светлый мир, исполненный благодатной красоты и благоухания. На первой книге стихов²⁸³, переизданной «Мусагетом» в 1911 году, Блок сделал мне надпись: «Георгию Ивановичу Чулкову с любовью, с просьбой узнать и эту, лучшую часть моей души». И все так думают, что в стихах о Прекрасной Даме поэт выразил свое заветное и светлое. И я так думал, не переоценивая того внутреннего опыта, который понудил Блока славить Таинственную Возлюбленную. Теперь — признаюсь — у меня возникают большие сомнения об источнике этих очарований. Эти сомнения, кажется, бывали во мне и раньше, но лишь в последние годы я убедился,

* «Вечная женственность, тянет нас к ней» (нем.). Строка из трагедии И.В. Гёте «Фауст» дана в переводе Б.Л. Пастернака. (Примеч. сост.).

что есть такая «тайная прелесть», которая ужаснее иногда «явного безобразия».

В сущности, если вчитаться в первую книгу Блока, нетрудно в ней найти все мотивы, которые впоследствии нашли себе более полное выражение в «Нечаянной радости» и «Снежной ночи»²⁸⁴. «Балаганчик» был уже весь в предчувствиях, и нужен был только срок для его воплощения. Еще в 1902 году Блок чувствовал, что в его Прекрасной Даме — «великий свет и злая тьма...». Об этом у него было точно сказано в стихотворении «Я тварь дрожащая. Лучами...»:

Не знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Роз Твоих,
Какие ангелы слетели,
Кто у преддверия затих...

В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма —
Разгадка всякого познания
И бред великого ума.

Вот это смешение света и тьмы — характернейшая черта всякого декадента. И в этом смысле Блок всегда был декадентом. Но первое впечатление от него как личности было светлое. Блок был красив. Портрет К.А. Сомова²⁸⁵ — прекрасный сам по себе как умное истолкование важного (я бы сказал «могильного») в Блоке, — не передает вовсе иного, существенного — живого ритма его лица. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками скрипок. В Блоке, в его лице, было что-то певучее, гармоническое и стройное. В нем воистину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом Бекетовым²⁸⁶, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта. Было что-то германское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера²⁸⁷ и Гёте или, быть может, Новалиса. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержанные, строгие, ритмичные. Он был вежлив, как рыцарь, и всегда и со всеми ровен. Он всегда ос-

тавался самым собою — в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане в обществе эстрадных актрис²⁸⁸. Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое — вот это, должно быть, и поразило Сомова. Поэту как будто сопутствовал ангел или демон смерти. В этом демоне, как и в Таинственной Возлюбленной поэта, были —

Великий свет и злая тьма...

Но демона в начале нашего знакомства с Блоком я не увидел. Я, как и все тогда, был очарован поэтом. После двух-трех встреч в доме Мережковских и в редакции «Нового пути» мы стали бывать друг у друга. Редакция журнала помещалась тогда в Саперном переулке, и я жил в квартире редакции, а Блок жил в казармах лейб-гвардии гренадерского полка, на набережной Большой Невки, в квартире своего отчима, Ф.Ф. Кублицкого-Пиоттух²⁸⁹. Здесь, если не ошибаюсь, я познакомился с женою поэта, Л.Д. Блок²⁹⁰ (урожд. Менделеевой). В те дни (это был первый год их супружества) они казал^ьсь какими-то беглецами от суеты, ревниво хранящими тишину своего терема от иных, «не сказочных» людей. Я тогда еще не предвидел, какую роль сыграет в моей жизни Блок. Любовь Дмитриевна, жена поэта, говорила мне впоследствии, что она и Александр Александрович смотрели на меня тогда, как на «литератора», — термин не слишком лестный в их устах. Сблизился я с Блоком позднее, приблизительно через год, за пределами «литературы». Тогда он представился мне в ином свете, и он перестал смотреть на меня деловито, как на «ближайшего сотрудника» «Нового пути». Мы нашли общий язык, не для всех внятный. Этот тогдашний «эзотеризм»²⁹¹ теперь едва ли кому понятен. Впрочем, о нем все равно не расскажешь, как должно. А психологическая обстановка нашей жизни была вот такая. Это было время, когда на Дальнем Востоке решалась судьба нашего великодержавия. Тревожное настроение внутри страны, наше военное поражение, убийство 15 июня министра

внутренних дел В.К. фон Плеве²⁹², сентиментальное министерство кн. Святополк-Мирского и, наконец, именной «высочайший указ о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» — это 1904 год, эпоха либеральных банкетов, провокаторской деятельности департамента полиции, канун 9 января.

Умер А.П. Чехов, умер Н.К. Михайловский — сумерки провинциальной общественности исчезли безвозвратно. Страшное пришло на смену скучного. И правительство, и наша либеральная интеллигенция не были готовы к событиям. Почти никто не предвидел будущего и не понимал прошлого. Н.К. Михайловский в одной из своих последних статей с наивной искренностью недоумевал, почему у нас появились декаденты. Там, на Западе, думал он, декаденты пришли закономерно: это плод старой, утомленной, пережившей себя культуры, а у нас? — мы ведь еще только начинаем жить... Эта мысль Н.К. Михайловского чрезвычайно типична для нашей полуобразованной интеллигенции. Тысячелетней русской истории как будто не существовало. Допетровская Русь была безвестна: никто не любопытствовал, кто и как создавал памятники нашего старинного зодчества; никто не подозревал, что уже в пятнадцатом веке на Руси были художники, которые являются счастливыми соперниками итальянцев Раннего Возрождения. А императорская Россия привлекала внимание интеллигентов только в той мере, в какой за эти двести лет развивалось у нас бунтарское и революционное движение. Константин Леонтьев²⁹³, полагавший, что огромная тысячелетняя культура России нашла себе завершение и что ее дальнейшая жизнь подлежит сомнению, вовсе не был понятен большинству. А между тем пришли декаденты и фактом своего существования засвидетельствовали, что мы вовсе не новички в истории. Таких декадентов не выдумаешь. Это были подлинные поэты, и они пришли как вестники великого культурного кризиса. Марксисты были тогда терпимее и культурнее народников. На страницах «Русского богатства» нельзя себе

представить Федора Сологуба или З. Гиппиус, а марксистский журнал «Жизнь» печатал года за два до «Нового пути» новых поэтов²⁹⁴, пугавших воображение интеллигентов. И марксисты, и декаденты сошлись тогда на невинном желании «эпатировать буржуа». Позднее, в эпоху «мистического анархизма», я помню одну квартиру в районе Загородного проспекта, где собирались большевики, ныне здравствующие, из коих многие занимают сейчас передовые посты в нашей республике. Здесь бывал и я, а у меня была тогда репутация декадента из декадентов, ибо «я проповедовал тогда «перманентную революцию», стараясь оправдать оную «мистически». Это «дела давно минувших дней» — хотя в сущности это было так недавно — теперь, однако, все это кажется «преданьем старины глубокой»²⁹⁵... Декадентство «переплеснулось» за пределы литературы.

Одним словом, мы встретились с Блоком в те дни, когда торжествовала не «органическая», а «критическая» культура, когда были утрачены связи с коренным и «почвенным». Поверхностная оппозиционность и вольнодумство средней интеллигенции не могли удовлетворить ни будущих наших «коммунистов», ни тех, кому навязали прозвище «декадентов». Двадцать лет тому назад уже повеяло духом революции. Сонное царство Александра III, несмотря на декорацию пацифизма, всем опостытело. Если бы на его смену пришел какой-нибудь новый великий Петр, может быть, монархия нашла бы еще в себе силы и волю к жизни, но на престоле сидел несчастный слепец и упрямец, типичный «последний монарх». Он был самый подходящий царь для эпохи «ликвидации дворянского землевладения». И вовсе не случайно именно Александр Блок, поэт-декадент, написал «по неизвестным документам» трезвую и беспристрастную книжку «Последние дни императорской власти»²⁹⁶.

Но кризис культуры вышел за пределы России. Ставился вопрос вообще о переоценке «ценностей». Александр Блок явился к нам на рубеже XIX и XX вв. По крови на три четверти русский и на одну четверть немец, поэт чувствовал реально свою связь с Западом. Первая глава

«Возмездия» дает материал для понимания мыслей Блока о так называемой европейской цивилизации XIX века. В основу этой цивилизации была положена, как известно, идея прогресса. Поэтому уместно вспомнить, что в предисловии к «Возмездию» наш лирик откровенно признается, что концепция его поэмы «возникла под давлением все растущей в нем ненависти к различным теориям прогресса». Предисловие было написано в июле 1919 года, а первая глава начата в 1911 году.

Век девятнадцатый, железный,
 Воистину жестокий век!
 Тобою в мрак ночной, беззвездный
 Беспечный брошен человек!
 В ночь умозрительных понятий,
 Матерьялистских малых дел,
 Бессильных жалоб и проклятий,
 Бескровных душ и слабых тел!
 С тобой пришли чуме на смену
 Нейрастения, скука, сплин,
 Век расшибанья лбов о стену
 Экономических доктрин,
 Конгрессов, банков, федераций,
 Застольных спичей, красных слов,
 Век акций, рент и облигаций,
 И малодейственных умов,
 И дарований половинных
 (Так справедливей — пополам!),
 Век не салонов, а гостиных,
 Не Рекамье²⁹⁷, — а просто дам...
 Век буржуазного богатства
 (Растущего незримо зла!).
 Под знаком равенства и братства
 Здесь зрели темные дела...

Эта внутренняя характеристика XIX века вполне созвучна характеристике «внешней» того же века, которая всегда на устах наших марксистов:

Двадцатый век... Еще бездомней,
 Еще страшнее жизни мгла
 (Еще чернее и огромней
 Тень Люциферова²⁹⁸ крыла).

.....

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь.
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

«Неслыханные перемены» (напр., карта Европы после всемирной войны) и «невиданные мятежи» (Октябрьская революция) не заставили себя долго ждать. Поэты предугадывали события. Лирика, как лакмусовая бумажка, тотчас меняет свой цвет, когда еще простым глазом не увидишь в пробирке совершившуюся химическую реакцию. В воздухе носился сладостный и смертоносный запах, как будто запах горького миндаля²⁹⁹, — так чудилось поэту. Эпитет «предсмертный» стал привычным и внутренне необходимым.

В какой среде жил в это время Блок? 1904 год был весь под знаком Мережковского — Гиппиус. Дом Мурузи на Литейном проспекте был своего рода психологическим магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы.

«Дом Мурузи»³⁰⁰ играл ту же роль, какую впоследствии играла «Башня» Вяч.Ив. Иванова.

Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в Летнем саду³⁰¹ на утренней ежедневной прогулке, думал, глядя на его маленькую фигурку, узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незримыми нитями с Владимиром Соловьевым, значит, и с Достоевским — и далее с Гоголем и Пушкиным. Пусть Соловьев относился к Мережковскому недружелюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам пророческой и гениальной. Блок так это чувствовал. Правда, он то и дело «уходил» от Ме-

режковских, но потом опять неизбежно к ним тянулся. Впрочем, тогда все «символисты» и «декаденты» изнемогали в любви-вражде. Все, как символисты, хотели соединяться, и все, как декаденты, бежали друг от друга, страшась будто бы соблазна, требуя друг от друга «во имя», этим знанием «Имени», однако, не обладая.

В доме Мережковских был особого рода дух — я бы сказал, сектантский, хотя они, конечно, всегда это отрицали и, вероятно, отрицают и теперь. Но такова судьба всех религиозных мечтателей, утративших связь с духовной метрополией. Иногда казалось, что Мережковский «рубит с плеча», но когда он, бывало, уличит какую-нибудь модную литературную «особу» в тупеньком мещанстве и крикнет, растягивая своеобразно гласные: «Ведь это пошла-а-сть!», — невольно хотелось пожать ему руку. Как бы ни относиться к Мережковскому, но отрицать едва ли возможно ценность его книг о Достоевском и Толстом и особенно о Гоголе³⁰². А в то время эти книги были приняты символистами, и в том числе Блоком, как события.

Мережковский с большим основанием мог бы сказать, как сказал про себя В.В. Розанов³⁰³: «Пусть я не талантлив: тема-то моя гениальна».

К историческому христианству предъявлены были огромные неоплаченные векселя. Мережковский закричал, завопил, пожалуй, даже визгливо и нескладно, но с совершенною искренностью, о правах «натуры и культуры», о том, что ведь должна же история иметь какой-то смысл, если она тянется после Голгофы две тысячи лет. Холодный, но честный пафос Мережковского и тонкая, остроумная диалектика З.Н. Гиппиус гипнотически действовали на некоторых, тогда еще молодых, а ныне уже вполне сложившихся людей. Иные из них покинули наш бранный мир.

Кружок Мережковских, где бывал и Блок постоянно, состоял из людей двух поколений — старшее было представлено В.В. Розановым, Н.М. Минским³⁰⁴, П.С. Соловьевой и др., младшее — А.В. Карташевым³⁰⁵, В.В. Успенским³⁰⁶, Д.В. Философовым, А.А. Смирновым³⁰⁷,

В.А. Пестовским (Пястом)³⁰⁸ и мн. др. Не все в равной мере находились под влиянием Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича, но почти все были в них немного «влюблены».

Полулежа на мягком диване и покуривая изящно тоненькую душистую папироску, З.Н. Гиппиус чаровала своих юных друзей философическими и психологическими парадоксами, маня их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, и нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских — ускользал из этих сетей и вновь в них попадал. Как же Мережковские относились к Блоку? В последнем, декабрьском, номере «Нового пути» за 1904 г. появилась статья о книге поэта, подписанная буквою «Х»³⁰⁹. Она, кажется, выражает довольно точно отношение к Блоку обитателей дома Мурузи. «Автор стихов о Прекрасной Даме, — сказано было в статье, — еще слишком туманен, он — безверен: самая мистическая неопределенность его недостаточно определена; но там, где в стихах его есть уклон к чистой эстетике и чистой мистике, — стихи не художественны, неудачны, от них веет смертью. Страшно, что те именно мертвее, в которых автор самостоятельнее. Вся первая часть, посвященная сплошь Прекрасной Даме, — гораздо лучше остальных частей. А в ней чувствуется несомненное, если не подражание Вл. Соловьеву, не его влияние — то все же тень Вл. Соловьева. Стихи без дамы — часто слабый, легкий бред, точно прозрачный кошмар, даже не страшный и не очень неприятный, а просто едва существующий; та непонятность, которую и не хочется понимать...»

Несправедливо было бы понять этот отзыв, как простое брюзжание «отцов» на «детей». В нем была действительно честная требовательность, справедливое желание подчинять неопределенность какому-то высшему смыслу. И все же Мережковские «влюбились» в Блока и каждый раз страдали от его «измен».

В салоне Мережковских беседы велись на темы «церковь и культура», «язычество и христианство», «религия и общественность». Тема политики в точном смысле стала занимать Мережковских значительно позднее, когда у них завязались противоестественные отношения с социалистами-революционерами. Тогда Мережковские до этого еще не дошли.

Центром внимания в доме Мережковских нередко был В.В. Розанов, впоследствии ими изгнанный из Религиозно-философского общества³¹⁰ за политические убеждения и юдофобство. А в то время Мережковский, провозгласивший Розанова гением, увивался вокруг него, восхищаясь каждым его парадоксом. Я помню, в тот вечер, когда я в первый раз увидел у Мережковских Розанова, этот лукавый мистик порастил меня своею откровенностью. В ответ на вопрос Мережковского: «Кто же, по-вашему, был Христос?» — Розанов, тряся коленкой и пуская слюну, просюсюкал: «Что же, сами догадайтесь! От него ведь пошли все скорби и печали. Значит, дух тьмы...»

Юные поэты, окружавшие З.Н. Гиппиус, как пажу королеву, говорили тихо, многозначительно, все чаяли новых откровений и верили, что наступила эпоха «Третьего завета». Блок среди них был «свой» и «чужой», вечно ускользающий. Тут же бывал В.А. Тернавцев³¹¹, тогда еще не писатель, однако влиявший весьма на мировоззрение Мережковских. Впрочем, впоследствии Мережковские от него отреклись, как отреклись от своего ближайшего друга Розанова.

Был в это время — я говорю про 1904 год — еще один дом, который посещал нередко А.А. Блок. Это — дом Федора Кузьмича Тетерникова (Федора Сологуба). Федор Кузьмич жил на Васильевском острове, в доме городского училища, где и служил в качестве инспектора. Собрания у Сологуба были иного характера. Преобладали не чаяния нового откровения, а поэзия по преимуществу. Все было с внешней стороны по-провинциальному чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бы-

том и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченной поэзии.

Но близилась другая эпоха. Декадентские «сенакли»³¹² и «тайные общины» под напором внешних событий должны были утратить свой замкнутый, конспиративный характер. Мережковские первые возжаждали «общественности». Однако новые люди, приглашенные в редакцию «Нового пути», прожили мирно всего лишь три месяца. После редакционного кризиса журнал прекратил свое существование. На развалинах «Нового пути», как я рассказывал, возникли «Вопросы жизни».

Этот 1905 год ознаменовался для меня сближением с Блоком, но в этот же год у меня с ним был спор о Влад. Соловьеве. Поводом была моя статья «Поэзия Владимира Соловьева». Печатные возражения на эту статью С.М. Соловьева и С.Н. Булгакова имели свои основания. Возражения Блока были другого порядка. Ему в сущности не было надобности спорить со мною в этом пункте, но он все-таки спорил и, как мне казалось тогда, ломился в открытую дверь. Блок спорил не со мною, а с самим собою. Он боялся тех выводов, на которые я решался, исходя из тех же представлений о Соловьеве, как и он. Драма моих отношений с Блоком заключалась в том, что я всегда старался обострить темы, нас волновавшие, поставить точку над «i», а он предпочитал уклоняться от выводов и обобщений. Это с его стороны не было простою робостью. Он был насквозь лиричен, а из лирики нет исхода. Блок был в заколдованном кругу. А я спешил пройти все этапы тогдашних мыслей и переживаний, интуитивно чувствуя, что лучше все это романтическое зелье выпить до дна и, может быть, впредь не искать жадно опасной чаши. Блок медлил ее выпить, боясь похмелья. Как поэт, пожалуй, он был прав. Если в самом деле «слова поэта суть уже его дела»³¹³, Блок исполнял свой подвиг до конца. Таково, должно быть, было его предназначение. Но и я не сожалею о том, что поторопился тогда броситься навстречу

опасности. Лично и биографически я был за это жестоко наказан, но зато я преодолел в конце концов и последний соблазн, так называемый «мистический анархизм», сначала принятый Блоком, а потом им отвергнутый — увы! — только на словах. Жизненно, реально, он так и остался «мистиком-анархистом» до конца своих дней, в чем я убедился из беседы с ним в Москве незадолго до его кончины.

Историческую декорацию 1905 года легко себе представить, но мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такою острою напряженностью, какую едва ли можно сейчас выразить точными и убедительными словами.

И когда в страшную ночь с 8 на 9 января в редакции «Сына отечества» Мякотин³¹⁴ предложил немедленно захватить типографии для выпуска газет явочным порядком без цензуры, все мы почувствовали, что началась революция.

Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной стихии — прежде всего из ненависти к буржуазии. Я не могу не напомнить одного стихотворения поэта, которое почему-то не часто вспоминают:

СЫТЫЕ

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных —
Свет электрический потух.

К чему-то вносят, ставят свечи,
На лицах — желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.

Так — негодует все, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

В ту эпоху, однако, я был ближе к революции, чем Блок. Правда, я никогда не был в партии, дорожа вольностью лирика и скитальца, но связь моя с революцией была реальна еще со студенческой скамьи, а Блок в университете так был равнодушен к общественности, что, по рассеянности, как-то даже скомпрометировал себя в глазах товарищей во время студенческого движения. Мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока «слушать музыку революции»³¹⁵. Правда, впоследствии мы стали различать разные мотивы в этой музыке и иногда расходились в их оценках.

Впрочем, наше отношение к революции не всегда могло удовлетворять трезвых политиков. Я помню наши скитальчества с Блоком в белые петербургские ночи и долгие беседы где-нибудь на скамейке «Островов»³¹⁶. В этих беседах преобладали не «экономика», «статистика», не то, что называется «реальной политикой», а совсем другие понятия и категории, выходящие за пределы так называемой «действительности». Чудились иные голоса, пела сама стихия, иные лица казались масками, а за маревом внешней жизни мерещилось иное, таинственное лицо. Вот в эти дни слагалась у меня в душе та, по слову Вячеслава Иванова, одегетика³¹⁷, которую я назвал «мистическим анархизмом». Мои тогдашние манифесты и брошюры (опубликованные после закрытия «Вопросов жизни») вы-

зывали, как известно, всеобщую брань и насмешки. В самом деле, все эти тогдашние мои публикации были весьма незрелы, неосторожны и самонадеянны, но все же в них заключалась некоторая правда, никем до меня не высказанная. Первоначально Блок почувствовал эту правду, т.е. что «уж если бунтовать, так бунтовать до конца», не останавливаясь на половине пути, но потом — под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил. Это случилось спустя два года после первых наших ночных бесед о «перманентной революции».

В это время произошло мое духовное сближение с Вячеславом Ивановым, который на своих знаменитых «средах» на «Башне» (он жил в то время на Таврической улице) объединял самых разнообразных людей, начиная с Блока и кончая многими из теперь всему миру известных большевиков^{317а}. Его концепция «неприятя мира» встретила с моим «мистическим анархизмом». Три сборника «Факелов» стали излюбленной мишенью для обстрелов критиков всех сортов и качеств. Яростнее всего восстали против «Факелов» те, кому, казалось бы, менее всего надлежало против них восстать. Тут уже было дело не в идеях, а совсем в ином, о чем говорить сейчас невозможно, да и впоследствии едва ли понадобится³¹⁸.

Помимо идей, параллельно с теорией, шла тогда весьма сложная запутанная жизнь. Чувство «катастрофичности» завладело поэтами с поистине изумительною, ничем не преоборимою силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы. И в то время, как я и Вячеслав Иванов, которому я чрезвычайно обязан, не потеряли еще уверенности, что жизнь определяется не только отрицанием, но и утверждением, у Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного «нет». Он уже тогда ничему не говорил «да», ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря. Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый, загадочно красивый, он был для людей, близко его знав-

ших, самым растревоженным, измученным и в сущности — уже безумным человеком. Блок уже тогда сжег свои корабли.

Великое свое отрицание Блок оправдал своим подлинным страданием. Размножившиеся тогда декаденты в большинстве случаев из-за моды «эпатировали буржуа», и с их легкой руки и до наших дней возникающие «школы» продолжают свое легкомысленное занятие, даже не догадываясь, какую ценою купили себе право на это отрицание старшие декаденты.

II

Мои отношения с Блоком всегда были неровны. То мы виделись с ним очень часто (однажды случилось, что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга), то нам не хотелось смотреть друг на друга, трудно было вымолвить слово и прислушаться к тому, что говорит собеседник. На то были причины.

Иногда наши разногласия достигали какого-то предела и находили даже внешнее себе выражение. Эти отталкивания случались именно около тех тем, которые казались каждому из нас самыми заветными. Таких «взрывов» в наших отношениях было три. Первый — это письмо Блока о Соловьеве; второй — отречение Блока от «мистического анархизма»³¹⁹; третий — спор наш об интеллигенции и народе.

Вот это последнее столкновение произошло в 1908 году по поводу доклада Блока «Интеллигенция и народ», прочитанного им сначала в Религиозно-философском обществе, а потом в «Литературном обществе»³²⁰. Содержание этого доклада теперь всем известно, потому что в 1919 году «Алконост» издал его вместе с другими статьями Блока отдельной книжкой³²¹.

Доклад Блока был весьма примечателен своим пророческим духом. Поэт в самом деле с необычайной остротой предчувствовал стихийный характер надвигавшейся

революции. Он был сам сейсмографом, свидетельствующим, что близко землетрясение. Чувство катастрофичности всегда было присуще и мне — и не эти предчувствия вызывали мое возражение Блоку. Мне был неприятен в его докладе тот невыносимый удушающий пессимизм, которым веяло от всего этого мистического косноязычия. Я тогда же устно и печатно возражал Блоку³²².

Теперь, конечно, я бы иначе возражал ему, но от сущности моего тогдашнего возражения я и теперь не отказываюсь. Я и теперь думаю, что, приписывая нашей интеллигенции такие свойства, как «индивидуализм, эстетизм и отчаяние», Блок глубоко ошибался. Я не отрекись от моих тогдашних слов: «Неужели не ясно, что все три темы, влюбившие в себя поэта, — индивидуализм, эстетика и отчаяние — все эти темы являются предметом ненависти нашего интеллигента? Неужели Блок не понимает, что влюбленность в эти темы есть крайнее *декадентство*? И неужели не очевидно, что декадентство *полярно* по отношению к интеллигенции? Интеллигенция, со времени Белинского утверждавшая идею общественности и народолюбия, со времени Писарева провозгласившая парадоксальное разрушение эстетики и, наконец, в лице своих революционеров объявившая войну апатии и косному отчаянию, — что общего имеет эта интеллигенция с тем орхидейным интеллигентом, который расцветает в декадентской оранжерее? Образ двойника заслонил Блоку образ интеллигенции, и печать смерти на лице этого двойника Блок принял за печальный знак гибели всего нашего общества».

Иные пессимисты, пожалуй, готовы будут признать пророчество Блока исполненным с буквальной точностью, но я и теперь не склонен к такой мрачности. Я и теперь готов подписаться под тогдашними моими строками: «Поэт был несправедлив к нашей интеллигенции: он слишком умалил ее добродетели и, с другой стороны, *слишком польстил ей*, предположив, что она стоит на той высокой ступени культуры, откуда видны последние про-

тиворечия нашей жизни и где у слабых кружится голова над раскрывшейся бездной...»

У Глеба Успенского есть очерк «Овца без стада»³²³. В этом очерке фигурирует «балашовский барин», который непрестанно печалует о народе и вечно к нему стремится, но из хождения его в народ ничего не выходит. «Мешает мне мое в высшей степени ложное положение, положение барина... — признается он. — Заметьте, что я говорю — мешает *положение не интеллигентного человека, а просто барина...*» Я боюсь, что Блок попал в это «ложное положение», как выражается герой Глеба Успенского. И это вовсе не значит, что у Блока нет связи с народом, с Россией. Охотно верю, что такая связь имеется, но не там она, где думает Блок. Любовь к народу и родной стране вовсе не требует тех самообличений, которыми так увлекся поэт, и того хождения в народ, которыми занялся «балашовский барин»... Блок был задет моими возражениями и во втором своем докладе «Стихия и культура», прочитанном в том же 1908 году в Религиозно-философском обществе, говорил, между прочим: «Георгий Чулков заявил печатно, что вся тема в сущности совсем не об интеллигенции, а о декадентах...» Блок настаивал на том, что «во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва...». Это было сказано 30 января 1908 г. Я напечатал тогда статью «Лицом к лицу»³²⁴. Там я писал: «Мы все предчувствуем катастрофу. Но эти предчувствия не должны, однако, угашать в нас разума. И если наш внутренний опыт подобен динамиту или той бомбе, о которой живописно рассказал Блок, то все же нет надобности бросать эту бомбу так, зря, как была она брошена или — что еще хуже — забыта по рассеянности на столике *Café de Paris*. Блок однажды заявил, что он ничего общего не имеет с мистическим анархизмом. Это верно. Зато он имеет нечто общее с анархическим мистицизмом, с тем подозрительным мистицизмом, который лишен знания и определяется лишь настроением и лирикой...»

Так мы с Блоком пугались друг друга, чувствуя, что с одною катастрофой в душе не проживешь. Меня удивлял и раздражал тогда обличительный тон выступлений Блока. Я не видел и сейчас не вижу, «во имя» чего, собственно, поэт восставал против интеллигенции. Его цитата из «Переписки с друзьями»³²⁵ была для меня не убедительна, ибо у Блока еще менее было прав на учительство, чем у Гоголя. Наша общая беда была в том, что никакого «имени» не было в то время ни у него, ни у меня. У Блока даже до последних его дней. Я тогда еще бормотал нескладно, что я «ночной ученик», что я «Никодим». Блок даже этого не мог сказать.

Но, несмотря на все наши размолвки, я любил Блока. Я понимал до конца весь тот волшебный мир, в котором жила и пела его душа. А поэт ценил во мне то, что со мною можно было говорить не по-интеллигентски, что я с полуслова понимаю его символический язык.

Но надо признаться, что тот дурной анархический мистицизм, в котором я упрекал Блока, был и мне свойствен, если не идейно, то «житейски», биографически. Это уж была болезнь эпохи. И первым ее проявлением была ирония. Александром Блоком в 1908 году была написана статья с таким же названием «Ирония»³²⁶. «Самые живые, самые чуткие дети нашего века, — писал он, — поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа *иронией*. Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством».

«И все мы, современные поэты, — у очага страшной заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне³²⁷. Тою безмерною влюбленностью, которая для нас самих искажает лики наших икон, чернит сияние ризы наших святых...» «Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: *Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо*. Ведь это — крик о спасении...»

Эта жуткая ирония, которая всегда присутствует в романтической поэзии, была культивируема всеми нами в ту петербургско-декадентскую эпоху. Эта ирония казалась необходимой, как соль к трапезе. Без нее нельзя было написать стихотворение, прочесть доклад, поговорить за ужином с приятелем. Даже влюбляться без иронии казалось многим чем-то вульгарным и неприличным. Это была эпоха петербургского альманаха «Белые ночи»³²⁸, иронического пролога к «Трагедии смерти» Федора Сологуба, где есть пародия на Блока³²⁹, это была эпоха бесконечных каламбуров и мистических двусмысленностей. Каламбуры любил Блок, но иногда он защищался от них шутками и эпитафиями.

К сожалению, это была эпоха, когда мы все злоупотребляли словами, и при этом «слово не расходилось с делом». Многие из нас «для красного словца» не жалели заветного. Это были дни и ночи, когда мы нередко искали истины на дне стакана.

Однажды, когда я писал рассказ «Одна ночь»³³⁰, а Блок только что написал стихи «Белая ночь»³³¹ (а в это время Андрей Белый яростно бранил в «Весах» — и меня и Блока), Александр Александрович сочинил шутовское четверостишие:

Чулков «Одною ночью» занят,
Я «Белой ночью» занялся, —
Ведь ругань Белого не ранит
Того, кто все равно спился...

В старинных учебниках истории всегда можно было найти главу «Распушенность нравов накануне революции». В этой исторической обстановке Александр Блок писал свой «Балаганчик», «Незнакомку» и, позднее, «Снежную маску»³³². В апреле 1912 года на третьей книге своих стихов, переизданной «Мусагетом», Блок сделал мне надпись: «Милому Георгию Ивановичу Чулкову на память о пережитом вместе». Так это и было: самое страшное и опасное, что в те дни соблазняло души, воистину нам пришлось пережить вместе с ним.

Однажды Блок, беседуя со мной, перелистывал томик Боратынского. И вдруг неожиданно сказал: «Хотите, я отмечу мои любимые стихи Боратынского»³³³. И он стал отмечать их бумажными закладками, надписывая на них названия стихов своим прекрасным, точным почерком. Закладки эти почти истлели, и я хочу сохранить этот список любимых Блоком стихов. Вот эти три стихотворения: «Когда взойдет денница золотая...», «В дни безграничных увлечений...», «Наслаждайтесь: все проходит...». Этот выбор чрезвычайно характерен для Блока — смешение живой радости и тоски в первой пьесе, «жар восторгов несогласных», свойственных «превратному гению» и присутствие, однако, в душе поэта «прекрасных соразмерностей» — во второй, и наконец, заключительные стихи последнего стихотворения, где Боратынский утверждает, что «и веселью и печали на изменчивой земле боги праведные дали одинокие криле»: все это воистину «блоковское».

Быть может, задумавшись над этими стихами, Блок впервые замыслил ту тему, которая впоследствии стала лейтмотивом его «Розы и Креста»³³⁴:

Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно...
Радость, о, Радость-Страданье,
Боль неизведанных ран...³³⁵

Впрочем, надо с большой осторожностью говорить о «замыслах» Блока. Он всегда исходил не от замысла, а от образа-символа. Поэт «мыслил вещами», уподобляясь иному, безмерно более высокому источнику бытия, которому приписано это свойство мудрецами. Так и Блок, даже впадая в парадоксальные крайности, всегда стремился освободиться от «смысла». Он сам придумал иронический термин «священный идиотизм». Однажды он воистину злоупотребил этою двусмысленною добродетелью. В один прекрасный вечер он объявил, что у него в душе возникла тема драматического произведения. На вопрос: «Какая же это тема?» — Блок ответил очень серьезно: «Аист на крыше и заря». На пытливое замечание, что это, пожалуй, ма-

ловато для трагедии, Блок стал уверять, что ничего другого у него нет в душе, но что «заря и аист» вполне достаточны для пьесы. Однако из этого «аиста» ничего не вышло.

Верленовские *nuances* * не исключали в Блоке любви к точности. Только блоковская точность была другого порядка, чем точность внешних и трезвых душ. Правда, Блок не достигал «математического символизма» Эдгара³³⁶. Но, однако, в его поэзии, особенно в эпоху «Ночных часов»³³⁷, стали преобладать ямбы — кристаллы прозрачной ясности и незыблемой формы.

Но Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям. «Геометризм», свойственный в значительной мере Вл. Соловьеву, был совершенно чужд Блоку. Поэт любил не самого Соловьева, а миф о нем, а если и любил его самого, то в некоторых его стихах, и даже в его письмах, и даже в его каламбурах и шутильной пьесе «Белая лилия»³³⁸. Едва ли Блок удосужился когда-либо прочесть до конца «Оправдание добра»³³⁹. Блок не хотел и теории: ему надобен был мятеж. Но чем мятежнее и мучительнее была внутренняя жизнь Блока, тем настойчивее старался он устроить свой дом уютно и благообразно. У Блока было две жизни — бытовая, домашняя, тихая, и другая — безбытная, уличная, хмельная. В доме у Блока был порядок, размеренность и внешнее благополучие. Правда, благополучия подлинного и здесь не было, но он дорожил его видимостью. Под маскою корректности и педантизма таился страшный незнакомец — хаос.

В прекрасных анапестах³⁴⁰ стихотворения «К Музе», написанных уже в 1912 году, Блок сам еще раз подводит итоги своей жизненной судьбы. Кто была его муза?

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.

* Оттенки (*фр.*).

Недавно я перечитал его «Розу и Крест». Это — одна из немногих попыток Блока выйти из магического круга иронии и отрицания. В жертве Бертрана поэт мечтал найти, наконец, оправдание и смысл нашей жизни. Но, должно быть, не положительное утверждение бытия, а его переоценка до конца свойственны были хмельному сердцу поэта.

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь!

Федор Сологуб

I

Я встретился с Федором Кузьмичом Тетерниковым в первый раз весной 1904 года в Петербурге на журфиксе у Мережковских. Федору Кузьмичу тогда было лет сорок, а мне еще не было и двадцати пяти. Он был уже зрелый, давно уже определившийся поэт, хотя публика знала его лишь по глупым рецензиям журналистов и не менее глупым пародиям Буренина³⁴¹. А я был начинающий писатель, автор книжки «Кремнистый путь» и только что появившейся тогда в «Весах» статьи «Светлеют дали»³⁴².

Сологуб, услышав мою фамилию и пожимая мне руку, сказал, лукаво щуря глаза:

— А по-моему, они темнеют...

Я конечно догадался, что поэт, намекая на заглавие моей статьи, иронизирует добродушно по поводу этой несколько восторженной литературной декларации. По неопытности я недоумевал, как мне надо отнестись к иронии моего почтенного собеседника. Но Сологуб сам помог мне выйти из затруднительного положения, переведя разговор на мои стихи.

У Сологуба тогда была борода, которую он впоследствии сбрил. Портрет Кустодиева³⁴³ очень удачен в отношении сходства. Сологубу можно было тогда дать лет пятьдесят и более. Впрочем, он был один из тех, чей возраст определялся не десятилетиями, а по крайней мере тысячелетиями — такая давняя человеческая мудрость светилась в его иронических глазах.

В одно из ближайших воскресений я получил от Сологуба приглашение его посетить. Он жил на Восьмой линии Васильевского острова, в доме Андреевского городского училища, где он служил в качестве инспектора.

Сологуб тогда еще не был женат, и в доме хозяйничала его сестра, Ольга Кузьминишна^{343*}. Это была приветливая, но несколько застенчивая и очень скромная пожилая девушка. Лицом она была похожа на брата. Ходила она по комнатам бесшумно, как ходят монахини. И во всем облике ее было что-то монашеское. И в доме была чистота и порядок, как в монастырских кельях.

Брат и сестра были чрезвычайно гостеприимны. Ужины они устраивали вкусные, угощая домашними соленьями и всякими яствами, и казалось, что ты сидишь не в Петербурге, а где-нибудь в далекой провинции, где люди хлебосольны и мастера готовить всякие настойки и закуски.

В салоне Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-философские темы; произносились монологи и диалоги, иногда речи походили на проповедь... У Сологуба таких «платоновских» бесед³⁴⁴ не устраивалось. И даже Мережковские, посещая поэта, избегали у него поднимать споры на ответственные темы.

У Мережковских говорили громко, у Сологуба — вполголоса; у Мережковских спорили о церкви взволнованно и даже запальчиво, у Сологуба — рассуждали о стихах с бесстрашием мастеров и знатоков поэтического ремесла. В кабинете хозяина, где стояла темная, несколько холодная кожаная мебель, сидели чинно поэты, читали покорно по желанию хозяина своя стихи и послушно вы-

слушивали суждения мэтра, точные и строгие, почти всегда, впрочем, благожелательные, но иногда острые и беспощадные, если стихотворец рискнул выступить со стихами легкомысленными и несовершенными. Это был ареопаг³⁴⁵ петербургских поэтов.

Сологуб был важен, беседу вел внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. О житейском он почти никогда не говорил. Я никогда от него не слышал ни одного слова об его училще, об учениках, об его службе. Кажется, он был превосходный педагог. Учителем он был, несомненно, прекрасным. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил. В этом отношении он был похож на Эдгара По. Даже таинственные и загадочные темы он облакал в стройную систему силлогизмов. Он в совершенстве владел техникой спора. Самые рискованные парадоксы он блестяще защищал, владея диалектикою, как опытный фехтовальщик шпагою.

Некоторых он пугал насмешливостью, иных он отталкивал своею обидчивою мнительностью, другим он казался холодным и злым. Но мне почему-то он сразу внушил к себе доверие, и я разглядел за холодной маскою то иронического, то мнительного человека его настоящее лицо — лицо печального и доброго поэта.

Но обидчив и мнителен он был в самом деле болезненно. Несколько раз даже у меня с ним были недоразумения по разным незначительным поводам. Правда, эти недоразумения кончались благополучно и очень скоро, потому что Сологуб всегда чувствовал, что я его ценю и люблю, и охотно мирился.

Однажды мне пришлось даже получить от него довольно неприятное письмо, написанное им под впечатлением только что напечатанной тогда повести Кузмина³⁴⁶ «Картонный домик». К несчастью, эта повесть напечатана была в альманахе «Белые ночи», в коем я принимал ближайшее участие и где я напечатал также стихи само-

го Сологуба. А в повести Кузмина — надо признаться — не очень скромно описан был интимный вечер в театре В.Ф. Комиссаржевской, где Сологуб читал свою пьесу³⁴⁷. И сам поэт изображен был Кузминым насмешливо, как некий «седой человек, медлительным старческим голосом, как архимандрит в великий четверг»³⁴⁸, возглашавший реплики своей пьесы³⁴⁹. Оскорбительного, впрочем, ничего не было. Но Сологуб обиделся. Мне это было особенно тяжело, потому что вся эта история совпала с мучительною предсмертною болезнью сестры поэта. Федор Кузьмич жил в это время в Финляндии, в Райволе. Письмо датировано 25 июня 1907 г. А текст письма такой:

«Дорогой Георгий Иванович, благодарю за Белые Ночи. Как жаль, что Вы меня не застали в прошлый понедельник, — я так рад был бы побеседовать с Вами. У меня очень неблагоприятно: сестра в опасном положении; каждый день хуже и хуже. По поводу альманаха: очень жаль, что Кузмин так на меня сердится: я, право, не виноват в этих делах и даже не подозревал, что моя трагедия может в чем-нибудь помешать его пьесам. Я и писал ее вовсе не для сцены и никому ее не предлагал, Вс. Эм. Мейерхольд сам ее у меня спросил.

Не правда ли, как это неумно свирепеть на меня за то, что я, во-первых, написал драму, во-вторых, читал ее долго, мешая Кузмину исполнять его «Куранты»³⁵⁰.

И потом я думаю, что в этой самой книге моих стихов помешать не следовало: это меня, без моего ведома, ставит в такое положение, в котором я не хочу стоять. Получается такая картина: не подозревая, что на моем лице красуется плевок, я безмятежно выхожу читать стихи перед гогочущей аудиторией.

Так-то, милый поэт, грустно жить на свете. Привет Надежде Григорьевне.

Сердечно преданный Вам Федор Тетерников».

Это письмо, продиктованное болезненною мнительностью, вовсе не отвечало тому, что было на самом деле. Никаких коварных целей М.А. Кузмин не преследовал, и, насколько я припоминаю, все это скоро уладилось.

Впрочем, Федору Кузьмичу было не до того. Все литературные сплетни и обиды отошли на второй план. «Милый Георгий Иванович, — писал он 28 июня 1907 года. — У меня жестокая горе: сестра умерла. Шлю Вам и Надежде Григорьевне от нее последний ее привет и пожелания: живите долго и будьте счастливы. Искренно любящий Вас Федор Тетерников».

Вскоре я получил от Сологуба еще одно письмо, датированное 9 июля того же 1907 года из Райволы.

«Дорогой Георгий Иванович! — писал он. — Ваше и Надежды Григорьевны сочувствие очень меня тронуло. Умирать иногда бывает мучительно больно, и тяжело смотреть, как живое лицо день за днем мертвеет, как иссыхавшие от смертельной жажды губы истаявают, и слышать, как умирающий, коснеющий язык и запекшиеся уста говорят сознательные, живые, простые слова уже после того, как за несколько дней сказано просто и покорно: — я умираю. — Где я думаю провести июль месяц? — спрашивали Вы. Хорошо, если бы я знал. Беда в том, что мелкий бес³⁵¹ стережет черные дни и приходит пакостить. Издевается и дразнит идиотскими совпадениями. Как раз в те дни, когда сестра уже перестала вставать с постели, за 2 недели до смерти, меня внезапно уведомили, что на службе меня не оставят. Как раз в день ее похорон мой преемник требовал, чтобы я сдавал ему поскорее училище. Теперь требует, чтобы я поскорее очищал ему квартиру. И вот я мыкаюсь то в Петербург, то в Райволу, кончаю казенные дела, сдаю училище, ищу квартиру. Все собирался на этой неделе заехать к Вам навестить, благо недалеко, и мне так отрадно было бы поговорить с Вами, да так и не мог собраться. Но все-таки на днях непременно побываю. Привет Надежде Григорьевне.

Сердечно преданный Вам Федор Тетерников».

В это время, после смерти Ольги Кузьминишны и до женитьбы Федора Кузьмина на А.Н. Чеботаревской³⁵², моя дружба с Сологубом как-то укрепилась и явственно для нас обоих обозначилась. Вот еще одно его письмо ко мне, помеченное 30 июля 1907 года:

«Дорогой Георгий Иванович! Прошлую субботу, — 28, — я очень хотел проехать к Вам на Черную Речку, но утром долго задержали в Петербурге разные мелочи с квартирой, и уже потом было поздно, особенно принимая в рассуждение, что Вы в этот день отправлялись на Вечер нового искусства. Студент, который был у меня с Вашим письмом звать меня читать, очень милый. Я приятно с ним побеседовал и не мог ему отказать. Он доказал мне по правилам арифметики (физики он еще не знает), что мне надо читать. Я и хотел приехать. И все думал, что же я буду читать. И все выходили стихи про смерть — прочие стихи я позабыл, и в субботу стало у меня такое настроение, что я буду совсем неуместен на этом вечере, среди таких молодых и очень приемлющих жизнь авторов. Это, конечно, вздор, и публике все равно, что слушать и на кого глядеть. Но все-таки я не смог приехать. Теперь я в Петербурге. Поселился на Петербургской стороне. Широкая, 19, кв.2. Это на углу Малого просп.

Соберитесь ко мне. Я всегда бываю рад, когда Вы ко мне приходите. Я Вам, если хотите, прочту мою новую трагедию, — только что кончил. В 3 действиях. «Победа Смерти».

Долго ли Вы еще проживете у Кюнаряйнена? Там, должно быть, хорошо. Привет Надежде Григорьевне. И большая благодарность Вам обоим за милое сочувствие. Желаю Вам счастья и радости.

Сердечно любящий Вас Федор Тетерников».

II

На мою долю выпала немалая честь напечатать роман Сологуба «Мелкий бес». Еще будучи сотрудником «Нового пути» в 1904 году, я неоднократно слышал от Мережковских упоминания об этом романе. Редакторы журналов не решались его печатать, считая роман слишком рискованным и странным. Боялись либеральной цензуры. Познакомившись с Сологубом, я попросил его дать мне прочесть его роман. Он охотно согласился и рассказал при этом, как он послал свой роман решительно во все редакции, и ни один журнал не соглашался его напечатать.

К концу 1904 года, когда я расстался с Мережковскими и вместо «Нового пути» стал выходить журнал «Вопросы жизни», я предложил новой редакции взять у Сологуба его роман. Н.А. Бердяева мне удалось склонить на согласие без труда, но со стороны С.Н. Булгакова и некоторых других я встретил упорное сопротивление. Федору Кузьмичу, ныне покойному, так, вероятно, и осталось неизвестным, какую борьбу я выдержал внутри редакции, добиваясь опубликования романа³⁵³, ставшего теперь классическим. После журнала роман был издан «Шиповником». И мне долго пришлось убеждать издателей в необходимости выпустить роман отдельной книгой. Впоследствии они не пожалели об этом; роман переиздавался многократно, и только благодаря этому замечательному роману имя Сологуба стало известно всем грамотным русским людям.

Литературный путь Сологуба был нелегкий. Поэт не мог не сознавать, что его лирика совершенна и благоуханна, что его роман значителен и глубок, и, сознавая это, встречать или холодное равнодушие к своим трудам, или даже насмешливую враждебность — все это не так легко, и пушкинский афоризм «ты сам свой высший суд» не всегда утешает, когда «суд глупца»³⁵⁴ является верховным судом по отношению к тому, что ты делаешь *con amore**.

В ящиках письменного стола у Сологуба лежали груды четко переписанных его стихов, нигде еще не напечатанных. Этот клад, вероятно, и до сих пор лежит. Полное собрание сочинений поэта, предпринятое «Сирином», не было доведено до конца³⁵⁵, и посмертных произведений Сологуба — я думаю — найдется немало.

Мои рассказы и повести Сологуб, кажется, не очень ценил, зато к моим лирическим опытам относился весьма благосклонно. Впрочем, такие сообщения надо делать осторожно, с оговорками. Капризны наши оценки. Сегодня

* С любовью (*ut.*).

мы хвалим то, что завтра под тем или другим впечатлением браним. Я помню, однако, как одно из моих первых выступлений у него на воскресном вечере, когда я читал мою «Гагару»³⁵⁶, встречено им было с сочувствием, для меня очень лестным. Он очень ценил мои стихи о тайге и, когда я охладел к этой теме, написал мне экспромт, датированный 28 декабря 1913 г.³⁵⁷:

Дарованный тебе, Георгий,
Ночной таинственной тайгой
Цветок для прелести другой
Не позабыл ли ты, Георгий?

Но в холоде эфирных оргий
С тобою спутник твой благой:
Цветок ночей, тебе, Георгий,
Ночной дарованный тайгой.

Так же он относился и впоследствии к моей лирике, простив мне забвение тайги. И, признаюсь, я, уже многоопытный писатель, был по-настоящему растроган, когда он мне сказал в Петербурге в 1922 году, что, получив мою новую книгу³⁵⁸, сидел над нею всю ночь, перечитывая по несколько раз понравившиеся ему стихи. Зато мои философские выступления его вовсе не удовлетворяли. По поводу напумевшей в свое время моей книжки «О мистическом анархизме» он напечатал в «Перевале» насмешливую статью, которая, если не ошибаюсь, называлась «О недописанной книге»³⁵⁹. Книжка «О мистическом анархизме» написана была мною в сотрудничестве с Вяч. Ивановым, которому принадлежит в ней обстоятельная вступительная статья. Среди писем Сологуба ко мне есть помеченное 15 июля 1906 года, которое посвящено суровой критике этой моей книжки. Письмо Сологуба так любопытно, что я его приведу здесь всё, без пропусков.

«Дорогой Георгий Иванович! — писал Сологуб. — Вы доставили мне очень большую радость и удовольствие присылкой Вашей новой книги. Я прочел ее с весьма большим вниманием,

и Вы позвольте мне сообщить Вам некоторые мои недоумения по поводу ее содержания, — недоумения, причиной которых является, м.б., только мое непонимание и мое незнание. Как прилежный читатель, я начал со вступительной статьи. На мой взгляд, Ваша статья «На путях свободы» более шла бы в качестве вступительной. В изложении Вячеслава Ивановича для меня много непонятного. Напр., на стр. 11: мистическая в о л я есть с в о б о д а, осознает себя как в е р а и делается р а з у м о м, впрочем, может предстать как б е з у м и е. По мне это очень много. Но более всего меня смущает стр. 18. Здесь доказано больше, чем надо, а это опасно. Да и к чему же было доказывать тождество мистики и анархии. Два термина — два понятия, если объем понятий совпадает, то совпадут и содержания. Но В. И. только признал: «Мистики вовсе не были анархистами, ни особенно анархисты мистиками», т.е. объемы понятий не совпали. Да и Вы сами в книге Мережковского видите пример сочетания мистики с принципом самодержавия. Как же доказать недоказуемое? Мне кажется, что для этого допущено несколько ложных приемов, да и нельзя иначе: рассуждая точно, не получишь сомнительного вывода. Первое: выделяется «истинный» анархизм и «истинный» мистицизм (как есть «истинно» русские люди)³⁶⁰. В процессе доказательства это словоупотребление неправильно: опираемся на то, что еще надо доказать, т.е. утверждаем, что «истинно» только то, что согласно с нашим выводом. Второе: неточно обобщается посредствующее понятие «свобода». Последняя внутренняя свобода — мистика; свобода в смысле безусловно определяющей волевой монады³⁶¹ — анархия; след., анархия есть мистика. По-моему, вывод неверен. В одном месте Вашей книги Вы берете геометрический пример, возьму и я. Если прямая проходит через начало прямоугольных координат, то ее уравнение $ax = \pm by$ ($2x = \pm 3y$). Это уравнение справедливо для всякой точки на прямой, даже когда x и y стремятся к нулю или бесконечности. Но если приравняем x к нулю, то и $y = 0$; если $x = \pm\infty$, то и $y = \pm\infty$, уравнение будет $2 \cdot 0 = \pm 3 \cdot 0$ или $2 \cdot \infty = 3 \cdot \infty$. Применяя способ Вяч. Ив. (свобода мистическая = свобода анарх.), мы сообразим, что $0 = 0$, и $\infty = \infty$, сокращаем эти равные величины и, получив равенства

$2 = \pm 3$, торжествуем победу над школьной арифметикой. Мы только забыли, что к 0 и к ∞ величины стремятся различно, и потому нельзя оперировать с бесконечно большими и бесконечно малыми, как с конечными. Так же нельзя оперировать и с понятием свободы. Свобода — трагическая маска мировой Иронии: в плане возможного ее нет (0), в плане должного она безусловно необходима ($\pm\infty$). Устремления к свободе многообразны: для мистика свобода есть чудо, для анархиста она есть социальный аморфизм.

В этом же рассуждении я бы возразил против употребления термина «монада», но я не буду надоедать Вам этим. Мне бы хотелось сказать еще два слова о Ваших статьях. Они мне показались сжатыми в том, что хотелось бы видеть более распространенно-изложенным. О Достоевском, о Вл. Соловьеве, об Ибсене — это очень интересно — но хотелось бы видеть более подробное изложение Вашего взгляда. М.б., это следствие моего плохого понимания, но я продолжаю недоумевать относительно того, что понимается под обозначениями «мистический анархизм». Вы начали с определения, но не дали самого интересного и нужного: что такое власть. Или понятие власть не надо определять? Но что значит власть норм над человеком? Уничтожить власть норм значит ли это уничтожить и самые нормы? Если да, то есть ли различие между властью и нормами? и не создадутся ли новые? Если нет, то как же понять существование норм, отрезанных от того, чему они являются нормами? В начале первой статьи перечислены 4 разряда норм, — исчерпывающее ли это перечисление? И что значит «обязательные» нормы? Если я отвергну, в области моральной, безусловное повеление долга и правилом моего поведения поставлю я *хочу* — это не будет нормою? И не возьмет надо мною власти? Если бы я был «волевою монадою», свобода была бы моею природою, но ведь я — сложный, и раздираюсь многими желаниями, — как же мне поступить? Какие бы пути я ни выбрал, как я высвобожу мое поведение из оков причинности? Дождусь чуда? Но если чудо — от меня, я его уже совершил, создав мир и его нормы с их властью; если же чудо не от меня, то оно умерщвляет мою свободу. Когда писанный закон говорят мне: «говей»³⁶², я знаю,

что такое власть и в чем борьба с нею, и свобода от нее. Но когда термины *власть*, *свобода* и другие употреблены в общем смысле, то я думаю, что такое наложение слов изначально конкретных на очень обобщенное содержание требует точного анализа. Доколе анархизм останется в своей области (государства), дотоле вопрос о власти ясен: (*неразб.*) определенный ряд отношений, но что значит безвластие или власть в сфере музыки? Те анархисты, которые были (неистинные, по терминологии В. И.), Вам не нравятся; для них у Вас такие словечки, как «наивно», «неправдоподобно», «странно», «без внутреннего содержания», «скучный, бессмысленный», «безнадежность холодного склепа». Ваше политическое устремление — социализм; кто от социализма убегает, тот, по-Вашему, раб и мещанин. Почему же в таком случае мистический анархизм? Если дело идет о последнем освобождении личности, то это скорее «мистический либерализм». Тем более, что Вы определенно утверждаете, что «утверждение мистической (?) личности возможно лишь в общественности». А разве *общественность*, *соборность*, *община* — это не власти? Новая общественность утверждается на влюбленности, — но ведь и Нарцисс³⁶³ над зеркалом реки влюблен, и поэт, в своих статьях цитирующий свои стихи, влюблен.

Я написал больше, чем позволительно для письма, и гораздо хуже и меньше, чем бы мне хотелось. По поводу многих мест Вашей книги мне хотелось бы сказать очень многое — но не решаюсь надоедать более.

Я был очень рад, когда прочел, что Вашу книгу стихов Вы назвали *Из плена*³⁶⁴. В Петербурге ли Вы? Что у Вас делается? Мы тут сидим и боимся, как бы забастовка не отрезала нас от Петербурга. От сестры и от меня поклон и сердечный привет Вам и Надежде Григорьевне.

Очень преданный Вам Федор Тетерников».

Перечитывая это письмо, я слышу голос Сологуба и его интонацию. «Мистический анархизм» для меня теперь не более как воспоминание юности, и я сам, пожалуй, мог бы убедительно раскритиковать мою торопли-

во и неосторожно написанную книжку, но в сологубовском письме интересна не его остроумная попытка уличить Вяч. Иванова и меня в противоречиях, а самые приемы его своеобразной диалектики и стиль его невеселой философии.

Более всего Сологуба пугает всякая общественность и соборность... Мы, мистики-анархисты, уверяли тогда себя и других, что именно соборность, именно общественность, понимаемая как органическое единство, суть предельное утверждение личности. От этого я в известном смысле и теперь не отказываюсь. Не то Сологуб. Он как последовательный декадент не верил ни в какую общественность. Она всегда была для него лишь враждебная личности власть. И он не хотел допустить такой общественности, которая строится не по принципу насилия. Ему казалось, что такой общественности быть не может. В этой своей скептической философии он был по крайней мере логичен. Но противоречива душа поэта. И то, что было неприемлемо для его сознания, иногда не было чуждо его сердцу лирика. Так, в 1922 году вышла его книжка «Соборный благовест», где поэт собрал свои стихи разных годов — от 1889 до 1920. И в этой книжке мы видим, как время от времени в душе поэта возникают видения, внушающие ему невольно отказ от слепого индивидуализма и преклонение перед правдой «общего дела». Поэтическая искренность этих признаний очевидна для всякого, у кого есть чутье к лирике.

Мне хочется напомнить одно стихотворение Сологуба, написанное им за тринадцать лет до революции 1905 года и, значит, за двадцать пять лет до октябрьского переворота.

Зачем, скажи,
В полях, возделанных прилежно,
Среди колосьев ржи
Везде встречаем неизбежно
Ревнивые межи?

Одно и то же солнце греет
Тебя, суровая земля,
Один и тот же труд лелеет
Твои широкие поля.

Но злая зависть учредила
Во славу алчности и лжи
Неодолимые межи
Везде, где ты, земля, взрастила
Хотя единый колос ржи³⁶⁵.

Флейта в руках Сологуба не превратилась в медный геликон³⁶⁶, как это часто случается, когда стихотворцы начинают сочинять нечто согласно известному «заказу». Сологуб и в коммунистических своих чаяниях оставался поэтом.

Можно привести немало цитат, подтверждающих то, что этот крайний индивидуалист и декадент по временам не чужд был социальной стихии. В цикле «Соборный благовест» у Сологуба есть такая строка:

Охвачен трепетным смятеньем,
Забывший тесный мой шалаш,
Спешу к проснувшимся селеньям,
Твержу: — Товарищи, я ваш!³⁶⁷

Когда это было написано? Это было написано до революции 1905 года. Сологуб вообще не склонен был, храня свою независимость поэта, угождать вкусам преходящего «сегодня». Но пафос настоящей революции он чувствовал как поэт. Вот еще одно его стихотворение 1905 года — «Земля»³⁶⁸:

В блаженном пламени восстанья
Моей тоски не утоля,
Спешу сказать мои желанья
Тебе, моя земля.

Производительница хлеба,
Разбей оковы древних меж
И нас, детей святого неба,
Простором вольности утешь.

Дыханьем бури беспощадной,
Пожаром ярым уничтожь
Заклятья собственности жадной,
Заветов хитрых злую ложь.

Если бы я сейчас писал не воспоминания о Федоре Сологубе, а критическую статью о поэте, я бы привел немалый список его стихотворений, свидетельствующих о том, что побежденная революция 1905 года продолжала вызывать в поэте сочувственные отклики и в годы реакции.

Весною 1914 года, накануне мировой войны, Сологуб был в Париже, и его тогдашние «Парижские песни» очень характерны для его презренья к буржуазному миру. Там, в Париже, он заметил не только блеск и богатство внешней культуры, но и нечто иное —

Сволочь пьяную всех наций
И грабителей всех стран...³⁶⁹

И нашу революцию после падения самодержавия он приветствовал достойно:

Самый ясный праздник года —
День, когда несет в народ свобода
Первомайский милый цвет³⁷⁰.

Но само собой разумеется, что все эти социальные мотивы не составляют главного и характерного для поэзии Сологуба. Конечно, он оставался поэтом одиноким, меланхоличным, острым, ироническим и замкнутым в себе — одним словом — декадентом. Однако совершенное поэтическое произведение, независимо от его психологической окраски, само по себе сокровище. И хочет или не хочет того поэт, но если он мастер настоящий и совершенный, то он тем самым полезен обществу, ибо, даже отрекаясь от общественности и будто бы ее отрицая, он все равно фатально ей служит. Так, например, и роман Сологуба «Мелкий бес», плод отравной и темной мечты поэта, в конечном итоге оказывается гигантским снарядом, метко брошенным в твердыню мещанской психологии. Идиотская маска Передонова страшнее бесчисленных бытовых романов, где мнимые реалисты пыhtят и потеют, изображая «правдоподобно» действительность. От этих бытописаний через какие-нибудь десятилетия не останется и следа, а фантастический Передонов никогда не умрет и всегда будет страшным предостережением человеку.

III

Та петербургская романтическая ирония, которой был болен Блок, была, конечно, не чужда и Сологубу. Этим недугом позднего романтизма мы все страдали. Поэты смеялись и шутили невесело над собою и над миром. И Сологуб шутил. Одной из тогдашних забав поэтов были каламбуры. Иногда они были многозначительны и загадочны, иногда вся соль их заключалась в их предельной дурашливости. Здесь уж смеялись над самим каламбуром.

Федор Кузьмич особенно изощрялся по этой части. Он даже шутя предлагал основать общество каламбуристов и приглашал в это общество в качестве членов-основателей — Блока, Эрберга³⁷¹ и меня.

Однажды утром Федор Кузьмич явился ко мне и серьезно объявил, что необходимо петербургским «каламбуристам» сняться вместе у знаменитого фотографа Здобнова. Мы вызвали Блока и Эрберга и отправились на Невский к фотографу. На карточке вышел удачно только Сологуб. Остальные вовсе непохожи на себя.

После фотографического обряда, покорствуя Сологубу, отправились мы в ресторан завтракать. За завтраком выяснилось, что мы все уже не склонны работать в этот день. Пришлось отправиться в другой ресторан обедать. На это пиршество мы пригласили дам, в том числе Анастасию Николаевну Чеботаревскую. Кажется, в тот же вечер определилась судьба ее и Федора Кузьмича. В ближайшие дни после этого пира Сологуб и Чеботаревская заключили свой брачный союз. Это было осенью 1908 года.

Теперь Сологуб жил не в скромной, тихой, серьезной и задумчивой своей квартире, где когда-то бесшумно ходила по комнатам его молчаливая сестра. Пришлось нанять большую квартиру, где была гостиная с пышною мебелью. Этот салон посещали теперь люди разнообразные. Прежде Сологуба навещали одни поэты, теперь шли в его квартиру все — антрепренеры, импрессарио, репортеры, кинематографшики... Изысканные художники встреча-

лись здесь с политическими деятелями, маленькие эстрадные актрисы с философами. Пестрота была забавная. Иногда Анастасия Николаевна устраивала маскарады, и было странно смотреть на Сологуба, который с невозмутимым и важным видом расхаживал среди гостей, имена коих не всегда были ему известны.

На одном из таких маскарадов разыгралась история с «обезьяньим хвостом», подробности коей я забыл, но которая отчасти и меня затронула. Этот «обезьяний хвост» забавлял тогда петербургских литераторов несколько недель. На маскарад был приглашен, между прочим, один писатель, который по любви своей к чудачествам³⁷² объявил Анастасии Николаевне, что ему для его костюма необходима обезьянья шкура. Анастасия Николаевна с большим трудом достала у кого-то желанный предмет и дала его шутнику с предупреждением, что с ним надо обращаться бережно. Представьте себе ее ужас, когда любитель шуток явился на вечер в своем обычном пиджаке, из-под которого торчал обезьяний хвост. В этом заключался весь его маскарадный костюм. Но главное — был отрезан хвост от драгоценной шкуры. Это уже был скандал. Сам хитрец вышел сух из воды. Но вокруг «обезьяньего хвоста» разыгрались дамские страсти. Какую-то даму обвиняли в том, что писатель отрезал хвост по ее наущению. Полетели письма с взаимными оскорблениями. Мужья заступались за жен. Сологуб обиделся на одного небезызвестного и даровитого литератора³⁷³, который впутался неосторожно в полемику по поводу хвоста. И вот однажды я получил от Федора Кузьмича письмо, в котором он требовал, чтобы я не принимал у себя в доме провинившегося писателя³⁷⁴. Как я ни любил Федора Кузьмича, но решительно отказался принять такой ультиматум. И Федор Кузьмич дулся на меня некоторое время. Потом как-то забылась эта обезьянья история. По поводу нее же случился анекдот с Блоком. Однажды он читал у меня стихи. В это же время был у меня Сологуб и Анастасия Николаевна. Блок, в черном сюртуке, стройный и строгий, читал

стихи со своей обычной бесстрастной, но несколько торжественной и внушительной интонацией. Вдруг на одной из строф, где поэт сравнивает свою таинственную очаровательницу с кометой, Блок остановился, покраснел и по-детски фыркнул.

— Не могу дальше, — пробормотал он, — дальше у меня о хвосте...³⁷⁵

Да, взрослые поэты иногда шутили, ссорились, забавлялись и огорчались по поводам смешным и ничтожным, как дети, — иногда и грешили, и даже тяжело...

Так жили поэты. Читатель и друг,
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?³⁷⁶

Эту строфу из стихотворения Блока можно было бы, пожалуй, взять эпиграфом к моим воспоминаниям.

В то время как внешняя жизнь Сологуба и его жены слагалась так, на первый взгляд, безмятежно и весело, ибо «обезьяньи хвосты» нельзя же считать серьезными жизненными неудачами, — за кулисами этой пестрой жизни таилось нечто страшное. Федор Кузьмич, наблюдая внимательно за несколько приподнятым настроением Анастасии Николаевны и за ее слишком страстным отношением к мелочам жизни, мог заметить какую-то странную неуравновешенность в характере своей жены. Революционная катастрофа окончательно подорвала душевные силы Анастасии Николаевны, и незаметная для посторонних ее душевная болезнь стала очевидною для самого Сологуба. Подобно тому, как раньше он проводил томительные вечера вдвоем с своей умирающей в чахотке сестрой, так теперь он следил за мучительными душевными припадками своей жизненной спутницы, которые влекли ее фатально к мрачному концу.

В середине сентября 1921 года болезнь Анастасии Николаевны обострилась. 23 сентября, воспользовавшись недосмотром служанки и тем, что Федор Кузьмич вышел в аптеку за бромом, Анастасия Николаевна убежала из дому и бросилась с дамбы Тучкова моста в реку Жданов-

ку. Тело ее осенью не было найдено. Весною Федор Кузьмич, как всегда, грустный и задумчивый, зашел к одной моей знакомой и очень удивил ее, сказав, что хотел бы получить кольцо, которое носила покойница. Второго мая 1922 года одна из последних льдин вынесла тело Анастасии Николаевны на берег Петровского острова. Федору Кузьмичу довелось проститься со своей умершей подругой, и он надел на палец желанное ему кольцо.

.....

Я мог бы сказать кое-что о внутренней загадочной жизни Сологуба, о том, что именуется условно «демонизмом» поэта, но, кажется, такие размышления несвоевременны. Я хочу только напомнить одно стихотворение Сологуба, где он сам подводит итоги своей жизни и своему труду. Надо прислушаться к этому признанию поэта. Это стихотворение «Я испытал превратности судеб...»³⁷⁷ вошло в книжку «Фимиамы», которую Сологубу удалось напечатать в Петербурге в 1921 году. Это стихотворение что-то вроде нерукотворного «Памятника». Лирик ставит сам себя перед высшим судом — не потомства, а вечности. Шутливый тон стихотворения не исключает его внутренней значительности. Поэт заставляет апостола Петра³⁷⁸ беседовать с собою у входа в Парадиз.

Когда меня у входа в Парадиз
 Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
 «Что сделал ты?» — меня он вниз
 Железным посохом не сбросит.

Скажу: «Слагал романы и стихи
 И утешал, но и вводил в соблазны,
 И вообще мои грехи,
 Апостол Петр, многообразны.

Но я — поэт». — И улыбнется он,
 И разорвет грехов рукописанье,
 И смело в рай войду, прощен,
 Внимать святое ликование.

Современники

Я хочу в этой главе дать кратчайшие заметки о некоторых людях и встречах, о коих я не успел сказать своевременно. Начну с ныне благополучно здравствующего и вовсе не ленивого поэта, до сих пор пишущего стихи и прозу, но почему-то не публикующего свои творения³⁷⁹. Я говорю о Михаиле Алексеевиче Кузмине, авторе слишком известных «Александрийских песен»³⁸⁰, изысканном стихотворце и очень своеобразном композиторе. Он начал свою литературную деятельность в «Зеленом сборнике»³⁸¹, где была напечатана, между прочим, повесть В.Р. Менжинского³⁸², который теперь так же, как и Кузмин, ничего не печатает. Пишет ли он теперь, я не знаю. Известность, несколько двусмысленную, М.А. Кузмин приобрел в те дни, когда журнал «Весы» напечатал его повесть «Крылья»³⁸³, отчасти биографическую. Я не принадлежал к тем лицемерным или искренним *prudens*, кои негодовали на односторонние пристрастия автора. Может быть, эта моя терпимость объяснялась знанием античного быта со всеми его слабостями. Я не мог не восхищаться дарованием этого поэта, несмотря на странность излюбленных им сюжетов. *Chacun a son goût**. Но так как я никогда ни в какой мере не разделял вкусов поэта, то естественно, что у нас не могло быть особой нежности. Я думаю, что милейший М.А. Кузмин, откровенность коего всем известна, не посетует на меня, если я расскажу один наш забавный диалог. Однажды Михаил Алексеевич на вечере «Современной музыки» полусутя спросил меня, не враждебно ли я к нему отношусь. Я постарался его уверять, что очень ценю его как поэта и как очаровательного собеседника, но, будучи поклонником прекрасного пола, не могу чувствовать особой нежности к тем, кто не умеет восхищаться прелестями гётевской Маргариты или пушкинской Татьяны.

* У каждого свой вкус (*фр.*).

— Как! — вскричал Михаил Алексеевич. — Вы думаете, что я не ценю женского общества? Напротив! Я только тогда и чувствую себя хорошо, когда я окружен девушками.

Тогда наступила и мне очередь воскликнуть:

— О! В таком случае я готов примириться со странностями ваших сюжетов. Но как же вы сами объясните противоречия вашей психологии?

— Очень просто. Я не любопытен.

— Что? — изумился я.

— Я не любопытен, — улыбнулся Кузмин, глядя на меня своими неестественно большими глазами. — Мужчин влечет к женщинам любопытство. А я предпочитаю то, что мне уже известно очень хорошо. Я боюсь разочарований.

Конечно, со стороны М.А. Кузмина это было не более, как милая шутка, но эта улыбчивая беседа очень характерна для поэта. Два портрета Кузмина³⁸⁴, написанные Сомовым, удачнее, чем портреты Блока и Вяч. Иванова³⁸⁵, сделанные тем же мастером. Это объясняется тем, что К.А. Сомову понятнее близкий ему по своей культуре и психологии Кузмин³⁸⁶, чем иные, более чуждые ему поэты.

Если Блок переживал свой декадентский опыт, терзаясь и страдая; если Сологуб таил свое отчаяние то под маской холодной иронии, то утешая себя игрою магических сил, — Кузмин, как настоящий александриец, стыдился всяких терзаний и всяких трагедий и не нуждался ни в какой маске. Кузмин с совершенной откровенностью пел свои песни о милой ему Александрии³⁸⁷, где вся культура была, как увядающая, но еще благоуханная роза, где тончайший скепсис иногда очень походил на веру, а пламенная вера сочеталась всегда с предельными искушениями.

Одно время М.А. Кузмин жил на «Башне» Вячеслава Иванова. Тогда я часто встречался с ним. Он пришел в литературу уже сложившимся писателем. Он не искал стиля. Он уже обладал им. И сам он как человек был настолько определившимся и зрелым, что можно было спокойно

любоваться законченностью его типа. В прошлом у него были какие-то искания, какая-то любовь к старообрядческому быту, какие-то странствия по Италии... Все это смешалось в нем, сочеталось во что-то единое. И это не было механической смесью, а органическим единством. Как это ни странно, но старопечатный «Пролог»³⁸⁸ и пристрастие к французскому XVIII веку, романы Достоевского и мемуары Казановы³⁸⁹, любовь к простонародной России и вкус к румянам и мушкам — все это было в Кузмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным.

Если Кузмин был ярким выразителем нашей «Александровской» эпохи³⁹⁰, то С.М. Городецкий³⁹¹, которого я также обрел на «Башне» Вячеслава Иванова, был типичным представителем нашего «варварства». Ведь наша страна — страна фантастических противоречий. Правда, Сергей Городецкий был тогда студент-филолог, искал дружбы с Блоком, читал декадентов и учился у них писать стихи, но все же его первая книжка «Ярь»³⁹² была не просто стилизацией скифских мотивов. В душе у этого поэта был в самом деле какой-то родник древнего нашего мироощущения. Мифология и фольклор не были для Городецкого предметом изучения: они были для него предметом воспоминаний. Поэтому и стихи Городецкого звучали пленительно, хотя, должен признаться, этим даровитым человеком я как-то не сразу увлекся. Первые стихи, которые он принес мне в «Вопросы жизни», я не решился напечатать. Меня, между прочим, оттолкнула от его тетради одна смешная мелочь. Поэту вздумалось прицепить или приклеить к рукописи какой-то цветочек. Мне показалось, что это украшение дурного вкуса, и я не разглядел в первых стихах Городецкого того таланта, в коем я нисколько не сомневался впоследствии.

Одно время я дружил с Городецким. Мне припоминается забавный случай из нашей тогдашней богемной жизни. Ко мне пришел однажды Городецкий, жалуясь, что у него нет сюжета для рассказа, а ему нужно дать непременно что-нибудь в журнал. Я предложил ему сесть за

стол и продолжить начатый мною рассказ (у меня было написано около листа). Поэт не заставил себя долго упрашивать и, прочитав начало, стал писать дальше. Его почерк начинается с полужафрызы. Эта курьезная рукопись у меня цела. Рассказ за подписью С.М. Городецкого был, кажется, напечатан³⁹³.

Впоследствии, в декабре 1913 года, Городецкой посвятил мне такие нежные стихи:

Тайным утром, в час всеснежный
О тебе — в тиши, не вдруг —
Так подумалось мне, друг,
Опечаленно-мятежный.

Кроткий духом, мукой мудрый,
Дерзкий речью, лоб мне он,
Пленник медленных времен,
Путник ночи серокудрой³⁹⁴.

Впрочем, в иные сроки мы, кажется, с ним бранились, но, должно быть, не очень бранились, ибо я даже вспомнить не могу, когда и как.

Не могу исключить из моего «Помянника» Алексея Михайловича Ремизова, стяжавшего себе славу хорошою повестью «Крестовые сестры»³⁹⁵. В начале наших биографий что-то у нас было общее. Я свои первые рассказы печатал в московской газете «Курьер», и Ремизов, кажется, также впервые там напечатался³⁹⁶. И он и я были в ссылке: он в Вологодской губернии одновременно с Н.А. Бердяевым, П.Е. Щеголевым³⁹⁷ и А.В. Луначарским³⁹⁸, а я — в Якутской области. В редакции «Весов», где революционеров вовсе не было, наши имена повторяли вместе. Чулков и Ремизов как ссыльные составляли особую литературную пару. Впоследствии, разумеется, нас разглядели внимательнее, и мы, счастливые, получили, наконец, желанный нам обоим развод.

А.М. Ремизов, в противоположность натуральному и непосредственному С.М. Городецкому, весь без остатка стилизатор и книжник. Тот, кто видел автографы А.М. Ремизова, вероятно, невольно обращал внимание на старин-

ную витиеватость его почерка, совпадавшую с витиеватостью его стиля. Подобно средневековому художнику-писцу, Ремизов увлечен своею каллиграфическою работою; его радуют акварельные краски на миниатюрах заглавного листа, золото и киноварь прописных букв и тонкость искусных росчерков... Так стиль его пленяет изысканным своим узором. И язык его кажется самоценным. Подчас находишь удовольствие, рассматривая этот дивный ковер, сотканный мастером из вновь найденных слов, оборотов и периодов, и невольно наслаждаешься щедростью стилиста, независимо даже от содержания повести. Ремизов зачарован магией слов, им самим созданных. Открывается необъяснимая в своей сущности «самодеятельность» языка. Уже сама речь требует своего развития в определенном направлении в силу таинственных законов словесной музыки. Содержание подчиняется изысканной форме, иногда, быть может, в ущерб точности и ясности основной темы.

В «Лимонаре», в «Сказках», в «Посолони»³⁹⁹ Ремизов прежде всего стилист, прежде всего искатель словесного клада, нередко счастливый. В поисках живых слов и оборотов Ремизов обращается к памятникам нашей древней словесности. Руководствуясь изысканиями Ф.И. Буслаева⁴⁰⁰, Н.С. Тихонравова⁴⁰¹, А.Н. Афанасьева⁴⁰², А.Н. Веселовского⁴⁰³, Е.В. Аничкова⁴⁰⁴ и др. и внимательно изучая первоисточники, Ремизов с изумительным трудолюбием и с зоркостью филолога стыскивает все новые и новые сокровища. И самоцветные камни народной речи, словесные богатства сказок, песен, апокрифов сверкают и горят новыми огнями в золотой оправе искусного мастера. Ремизов обогатил наш словарь, нашел новые возможности в синтаксисе и по-новому открыл напевность нашей речи. Таковы формальные заслуги этого примечательного писателя.

Нелегко разгадать Ремизова как художника и приблизиться к пониманию его личности, и, быть может, еще труднее полюбить его. Невозможно не оценить его искус-

ства, его мастерства, его оригинальности, но всем ли внятны его символизм, всем ли доступны его темы? Алексей Ремизов пришел к нам неспроста с лукавою улыбкою на утомленных губах. И его беседа, похожая на ряд загадок, не только пленительна, но и опасна своею мучительною противоречивостью. Ремизов-художник неоткровенен и несветел: он так же темен, многолик и скрытен, как Гофман. Бродить по лабиринту его творчества и утомительно, и трудно. Это не светлый сад, где легко дышится и где голос звучит ясно. Это запутанная система комнат и коридоров, где полумрак, где душно, где пахнет пряно и дурманно. Тусклое эхо повторяет жуткий смех под темными сводами. И от этого смеха сжимается в тоске сердце. Над чем он смеется — этот человек из подполья? Да полно, смех ли это? Балагурство неожиданно переходит в причитания, а причитания в горькие, сдавленные рыдания. И рыдания эти странные — без слез — сухие.

Алексей Ремизов не пишет статей, не рассуждает и не философствует — и это так естественно для его неоткровенного таланта. Тем примечательнее единственная его заметка, напечатанная в 1905 году в журнале «Вопросы жизни» по поводу книги Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности»⁴⁰⁵. «Опыт адогматического мышления, — пишет Ремизов, — является гармонией афоризмов, возмутительных и циничных для ума, которого кашей не корми, а подай ему «систему», «возвышенную идею» и т.п. «*De la musique avant toute chose*»*.

«...Этим знаменитым стихом заканчивается книга, которую можно было бы назвать прелюдией подпольной симфонии. Ведь в подполье, во мраке и сырости, вдруг загорается чудо и вереницами бродят привидения, и снятся безумные сны, и ломаются, как прутики, все категории... И еще есть в подполье странные окна через землю в иной мир. Найдешь — вырвешь разгадку тем

* «Музыка прежде всего» (фр.). Строка из стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии».

тайнам, от которых на стену лезут, не знают, не догадываются, пребывая на лоне природы и шаркая в черных кафтанах по глянцам паркета. Найдет ли Шестов окна? — а может, закиснет в духоте и прели... а если найдет, скажет ли? — все равно — путь его верный. Не искусившись, не умудришься...»

В сущности этот полувопрос, обращенный к Льву Шестову, с таким же основанием можно задать и самому Ремизову: найдет ли он окна? не закиснет ли в духоте и прели?

Как человека я знаю А.М. Ремизова довольно хорошо. Нам довелось с ним жить в одной квартире в 1905 году, когда я принимал близкое участие в журнале «Вопросы жизни», а он был в этом журнале секретарем. Я прекрасно помню его комнату, столь жарко натопленную, что не всякий мог вынести такую ремизовскую температуру. На стенах висели кусочки парчи и старых шелковых тканей, пропитанные пряными и душными духами. На полочках торчали всевозможные кустарные игрушки. И сам хозяин, маленький, сгорбленный, с лукавыми глазами из-под очков, с непокорными вихрами на голове, казался каким-то добродушным колдуном, а может быть, и домовым, случайно запрятавшим свое лохматое тельце в серенький интеллигентский пиджачок.

А.М. Ремизов вечно кого-нибудь мистифицировал, вечно выдумывал невероятные истории, интриговал ради интриги, шутил и ловко умел извлекать из людей и обстоятельств все, что ему нужно, прикидываясь иногда казанскою сиротою. Хитрец порою любил пошалить, как школьник, — любил подшутить над простецом. Ему ничего не стоило, приехав в гости к какому-нибудь тароватому и зажиточному приятелю, незаметно придвинуть вазу со свежеею икрой и ушлести ее всю единственно для потехи, чтобы потом полюбоваться на физиономию хозяина, с недоумением взирающего на кем-то опустошенную посудину. Но должен признаться, что я не очень верил в веселость этого лукавого чудака. И от всех его

шуток веяло на меня тоскою. Недаром древний мудрец сетовал на самого себя за то, что «без ума смеялся». И я никогда не ждал добра от этого надрывного подпольного смеха.

Из поэтов, милых моему сердцу, необходимо упомянуть о Юрии Никандровиче Верховском⁴⁰⁶. У этого очаровательного человека, настоящего поэта и серьезного филолога, кажется, нет ни единого врага. Его кротость известна всем, кто его встречал. Его бескорыстие, его ленивая мечтательность, его неумение устраивать свои житейские дела стали легендарными. В 1924 году мы праздновали с ним «при закрытых дверях» двадцатипятилетний юбилей нашей литературной деятельности. По этому случаю мы обменялись с ним посланиями в стихах. Вот что он написал тогда:

И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал.

Боратынский

Так, милый друг, вот мы и старики.
И седины друг другу мы лелеем
Невинным простодушным юбилеем,
От суетного мира далеки.

Не знай же ни тревоги, ни тоски.
Мы о былом и впредь не пожалеем:
Ты помнишь, как рожденного Пелеем⁴⁰⁷
Мечты поэта вызвали, легки.

Итак, перед грядущими годами
Неузвимой твердою пятой
На вере, как стоял, спокойно стой.

Пусть годовщины сменятся над нами
И мирною улыбкой тишины
Вновь обласкают наши седины.

Это стихотворение датировано 18 ноября 1924 года⁴⁰⁸. А за три года до нашего юбилея поэт посвятил мне еще одно стихотворение:

Скажи, когда твоей встревоженной души
Коснется шепот вещей музы,
Мгновенья вечные не внове ль хороши
Сознанию, свергнувшему узы?

И ныне, скорбною годиною тяготы
Неизживаемой, — богато.
Вот музой Тютчева любовно взыскан ты,
Я — музою его собрата.

Не потому ли так осветлены порой
Твоей печали песнопенья,
И так молитвенный высок и верен строй
Души глубинного горенья?

На миг не оттого ль мой истомленный стих
Все радостней и неуклонней
Коснется вдруг, слепец, живейших струн своих
И вождеденнейших гармоний?

Так тихая судьба в путях кремнистых нам
Таинственной и откровенней
Возносит на горе единый светлый храм
Сочувствий и благословений.

Из милых чудачеств, свойственных Юрию Никандровичу, не могу не припомнить странной его привычки превращать день в ночь и ночь в день. Ему ничего не стоило прийти в гости в час ночи, а то и в два и остаться до утра, не замечая, что слушатели его стихов, наслаждающиеся его поэзией часа три, уже утомились, осовели и уже не способны воспринять даже пушкинской музыки. Одно время в Петербурге он так часто повадился ко мне ходить по ночам, что квартирная хозяйка усмотрела в его поведении все приметы страшного заговора, и я должен был переехать на другую квартиру ввиду ее ультиматума, дабы не утратить общества милейшего поэта.

Из петербургских поэтов той эпохи мне хочется назвать имя Владимира Алексеевича Пяста (Пестовского). С ним был очень дружен Блок, пока исторические события не разлучили поэтов на несколько лет⁴⁰⁹. Перед смертью Блока вражда их, однако, утасла сама собою. Романо-германец по образованию, декадент по строю души, лирик

по сердечным своим влечениям, шахматист по своему суетному пристрастию, этот человек, несмотря на многообразие своих талантов, никогда не мог хотя бы сносно устроить свои житейские дела. При этом он воображает себя практиком. И в голодные годы он предпринимал какие-то фантастические путешествия для добывания пищи и обыкновенно возвращался с пустыми руками, измученный и едва живой. В мирные дореволюционные годы он увлекался скачками и однажды уговорил меня пойти на них. На трибуне он тотчас же преобразился и сказал мне, гипнотизируя меня своими магическими глазами, что я должен непременно играть на какую-то «Клеопатру». Я проиграл. Тогда Пяст воскликнул: «Ну, вот видите! Я так и знал, что эта хромая кляча придет последней!» — «Зачем же вы посоветовали мне на нее ставить?» — удивился я. — «Как зачем! — в свою очередь удивился Пяст. — А представьте себе, если бы она пришла первой, тогда вы взяли бы всю кассу один: на нее никто не ставил. Я не рискнул вам предложить меньше, чем всю кассу. Все или ничего». Я согласился с его доводами, продолжая играть по той же программе, и вернулся домой пешком, утратив весь свой литературный гонорар, только что полученный, если не ошибаюсь, в конторе «Шиповника».

Я назвал Пяста декадентом. Но он не был из числа тех декадентов, которые очень довольны своими изысканностями и в телячьем восторге от собственной безнравственности. Пяст, подобно Блоку, тяготился своею судьбою «последнего лирика», по-настоящему страдал и, кажется, в наши дни, после революции, жадно ищет той почвы, на коей можно стать крепко, не боясь призраков и фантомов, не боясь всех этих выходцев из могил, коих пугался Гофман и наши петербургские романтики.

К более позднему поколению надо причислить С.А. Ауслендера⁴¹⁰, племянника М.А. Кузмина и отчасти ученика своего дядюшки. Сергей Абрамович Ауслендер начал свою литературную деятельность с очень милых стилизованных рассказов. У него всегда было чутье эпо-

хи, занимательность повествования и тот «кляризм»⁴¹¹, который защищал Кузмин. Некоторые пьесы Ауслендера имели успех на сцене. В революционные годы он как-то исчез на срок, а теперь снова завоевал себе имя в литературе, на сей раз детской. Он даже стал знаменитым в этой трудной области.

Ауслендер всегда отличался какой-то ленивой грацией баловня судьбы. Для него всегда характерны добродушный юмор, легкий и поверхностный скептицизм, пристрастие к богеме. Эти черты, кажется, он не утратил и теперь.

Впрочем, в молодости он, если не ошибаюсь, сочувствовал социал-демократам. Вероятно, поэтому он не прочь иногда поговорить о «бодрости» вообще и о писательской бодрости в частности.

А.Н. Толстой⁴¹² забавно рассказывает, как Ауслендер, встретив его где-то, сказал назидательно: «Писатель должен быть бодрым». При этом шутник Толстой изображает интонации и позу своего собеседника, обличающие в этом проповеднике «писательской бодрости» самую откровенную склонность к ленивой прелести *dolce far niente* *.

А.Н. Толстой, кажется, моложе Ауслендера. По крайней мере, в литературе он заявил о себе позднее. Я, помнится, прочитав его первый рассказ, напечатанный в «Журнале для всех»⁴¹³, сразу почувствовал в нем большой талант, и мне было приятно, когда он пришел ко мне со своими произведениями. Это были его стихотворные опыты. Толстой пришел ко мне с необыкновенно скромным и смиренным видом, но я тогда же понял, что этот даровитый человек большой хитрец и что он прекрасно знает себе цену. Я как сейчас вижу его плотную фигуру и выразительное лицо с довольно длинной рыжеватой бородою (он тогда еще носил бороду). Один глаз его хитро щурился. Он внушил мне симпатию к себе, несмотря на явное добродушное лукавство. Хотя Алексей Николаевич носит

* Сладкое безделье (ит.).

фамилию Толстого, он не состоит в родственных связях ни с Л.Н. Толстым, ни с прочими нашими знаменитыми Толстыми⁴¹⁴. По матери своей, Тургеневой, он родня Ивану Сергеевичу Тургеневу, коего он, впрочем, мало ценит как художника. И это понятно. Жеманность, характерная для этого нашего классика, раздражала, как известно, и Льва Толстого и Достоевского. Немудрено, что и А.Н. Толстой ищет утешений не в тургеневском искусстве, и корни его собственного творчества надо искать совсем в иных пластах русской жизни и русской литературы. Я так много писал о символистах, что мне приятно доказать свое беспристрастие, хваля такого реалиста, как А.Н. Толстой⁴¹⁵. Впрочем, есть реализм и «реализм»: в своих рассказах Толстой никогда не перегружал повествования жирным бытом, от коего, как известно, толку мало. Но, с другой стороны, эстетическое чутье никогда не позволяло Толстому уходить в отвлеченности. В связи с этим я расскажу анекдот, сообщенный А.Н. Толстым о самом себе. В молодости учился он в школе живописи, устроенной Е.Н. Званцевой⁴¹⁶ и Е.И. Карминой⁴¹⁷. Художники твердили, что надо писать не то, что существует объективно, а только то условное, что видит глаз. «Я так вижу» — стало ходячей формулой. Однажды Толстой, рисуя дюжего натурщика, приделал ему голубые крылья, а когда к мольберту подошел преподаватель и, недоумевая, спросил: «Это что такое?» — Толстой невозмутимо ответил: «Я так вижу». Кажется, это был его последний урок живописи.

В салоне З.Н. Гиппиус и в редакции «Нового пути» я познакомился с юным поэтом Леонидом Семеновым. Он был тогда еще студентом и, кажется, предводительствовал в университете академистами. Но, поговорив с ним, я убедился, что весь его «академизм» очень похож на самую детскую романтику и что очень скоро он расстанется со своею ребяческой мечтою. Так и случилось. Впрочем, юноша попал «из огня да в полымя». Из прежней славянофильской романтики молодой человек попал в романтику социально-революционную, а потом стал толстов-

цем. Напечатано письмо Льва Толстого к «брату Леониду»⁴¹⁸. Во время революции какие-то крестьяне-«махновцы» или «зеленые» или еще какие-нибудь — убили Леонида Семенова. Они убили сначала его шестидесятилетнего родственника, потом убили поэта.

Когда эти строчки газетного петита попали мне на глаза, мне стало страшно и больно не только потому, что погиб этот незаурядный и еще молодой человек: мне стало страшно и больно потому, что в этом убийстве я почувствовал особый зловещий смысл.

Я встречал Леонида Семенова в Петербурге в 1904 году. Это был стройный, гибкий, красивый юноша, с нежными губами и мечтательными глазами, отравленный тогда декадентским зельем, но уже в те дни заболевший иною нашею российской болезнью, коей точное наименование — гипертрофия совести. Генрик Ибсен замечал симптомы этой болезни у своих соотечественников, но воистину ни у одного народа Европы эта болезнь не достигала таких размеров, как у нас, русских.

Диагноз болезни установить не так уж трудно. Человек, страдающий этим душевным недугом, теряет чувство меры и способность понимать и оценивать относительность истории. Совесть его безмерно растет и ширится в ущерб всем прочим качествам и свойствам души. Естественно, что при таком болезненном развитии она, несмотря на свое преобладание в душевном мире человека, становится хилою и немощною. История и жизнь требуют от человека мужества, но нельзя быть мужественным, если твое нравственное сознание непрестанно твердит тебе о греховности всего исторического процесса. Отсюда жажда отказаться от истории вовсе, уйти от нее, не противиться злу насилием; отсюда отказ от культуры и от государственности прежде всего. Этою болезнью страдали все примечательные русские люди, но одни из них, как Достоевский и Владимир Соловьев, преодолели ее, другие же — огромное большинство — от соблазна хилой совести не освободились до конца дней.

Один был только среди наших поэтов, который эту болезнью не страдал никогда, — это Пушкин. Странно, что после Пушкина появились у нас толстовцы и непротивленцы. Эти люди вдруг пошли, как замороженные, на волшебную приманку, красным словцом прикрывая нашу непротивленскую наготу, нашу хилую совесть. Но отвращение к формам европейской гражданственности и культуры находит себе двойное выражение: или мы, изнемогая от избытка добродетели, начинаем «вегетарианствовать» и вообще терять вкус к жизни; или мы объявляем войну культуре во имя какого-то дикого разгула и нетерпеливой жажды все разрушить, все «послать к черту».

Поэт Леонид Семенов выбрал первый путь — путь непротивленства; мужики, которые убили его, соблазнились вторым соблазном — «на все наплевать». И убийцы, и жертва — дети одной стихии, одного начала. Если на одном конце этой психологической лестницы стоит Лев Толстой, то на другом конце — Нечаев⁴¹⁹, Пугачев⁴²⁰ и Разин⁴²¹.

Эстет Леонид Семенов, написавший когда-то книжку изысканных стихов⁴²², решает вдруг «опроститься» и идет по тому же пути, по какому пошел Александр Добролюбов⁴²³ — тоже бывший декадент, а потом сектант, непротивленец, променявший ценности европейской культуры на «сестрицу Нищету», как выражался Франциск Ассизский⁴²⁴. Это «самосожжение» наших интеллигентов совершенно непонятно европейцам.

Я помню, как однажды в Париже, в кулуарах палаты депутатов, мне пришлось беседовать с несколькими французскими политическими деятелями и как один из них сказал, тонко улыбаясь:

— Вы, русские, народ опасный. Вашей монархии я не боюсь. Она все-таки понятна. Я боюсь вашей анархии. Это что-то экстраординарное и непонятное абсолютно. Самое страшное — это то, чего нельзя понять.

Я не могу сказать, как этот француз, что я не понимаю нашего анархизма, но должен признаться, что мое по-

нимание вовсе не исключает моего критического к нему отношения.

Я далек от мысли, что нам надо целиком и покорно, без критики, принять идеи и формы западноевропейского мира, но я уверен, что отречение от этих начал в духе нашего непротивленства есть величайшее зло и самая безысходная и мрачная реакция. Если мы можем гордиться тем, что мы понимаем непонятную для европейцев идею «неприятя мира», как ее раскрыл Достоевский, то тем более должны мы стыдиться, что, поняв эту идею, мы застряли на полпути и не сделали из нее надлежащих выводов. Кому много дано, с того много и взыщется⁴²⁵. Мятая и все отрицающая душа русского человека воистину сгорит и погибнет в этом своем бунте, если не найдет себе более высокого оправдания. Надо знать, во имя чего ты бунтуешь. А если мы будем биться головою об стену или воевать с мельницами — в восторге и упоении от своего «дерзания» — это еще не сделает нас равными в самом деле прекрасному и благородному рыцарю, истинному европейцу, Дон Кихоту, ибо этот безупречный и доблестный человек сражался во имя истины, любви и высокой правды.

Но сам я немало погрешил в этом отношении, хотя и в ином плане, и я боюсь ответить за свой мистический анархизм на Страшном суде — не за сущность самой идеи, а за неосторожность ее выражения. По этому поводу я написал в 1919 году и напечатал в моей книжке стихотворений 1922 года послание к главному ревнителю опасной идеи — Вячеславу Иванову. В этом послании, между прочим, я напоминаю поэту о нашем бунтарстве:

Ведь вместе мы сжигали дом,
Где жили наши предки чинно...

Поэт тогда же в декабре 1919 года ответил мне прекрасными и мудрыми стихами:

Да, сей костер мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.

Гори ж, истлей на самозданном,
О сердце-феникс, очаге!
Свой суд приемли в нежеланном,
Тобою вызванном слуге...
Кто развязал Эолов мех⁴²⁶,
Бурь не кори, не фарисействуй.
Поэт Трагедия: «Все грех,
Что Воля деет. Все за всех!»
А Воля действенная: «Действуй!»⁴²⁷

Считаю уместным напомнить еще раз, что сам Вяч. Иванов в эпоху мистического анархизма был неизмеримо осторожнее и тоньше в своих высказываниях, чем я. Надо и то сказать, что поэт старше меня, и в ту пору это было очень заметно.

В эти дни, когда мы проповедовали наши анархические идеи, реальной связи с политической «злобою дня» у нас не было, или — точнее — она была, но как некий внутренний опыт. Одним словом, я не был связан никакими партийными заданиями. В 1905 году и позднее я встречался часто с большевиками. Особенно мне памятны вечера у тов. Лещенко⁴²⁸. Здесь я беседовал с А.В. Луначарским, О.Д. Каменевой⁴²⁹, А.М. Коллонтай⁴³⁰ и др. Философическая и литературная полемика, начатая на страницах журналов, продолжалась за ужином у тов. Лещенко. Несмотря на весьма существенные принципиальные разногласия, я все-таки чувствовал, что самое серьезное в революции связано с этим левым крылом социал-демократии. Я чувствовал, что если революция победит, то именно под знаком рабоче-крестьянского мятежа, на каких-то новых путях, не предугаданных благоразумно-умеренной частью социал-демократии.

Товарищи большевики навещали и меня, и Вяч. Иванова. Как ни остры были наши противоречия, как ни расходились мы во взглядах на космос и человека, все-таки в те дни была какая-то одна точка, где перекрещивались наши надежды и наши мечтания. Полемика наша, иногда весьма запальчивая, не мешала большевикам ценить поэтов как поэтов. В этом отношении большевики были терпимы и более чутки, чем наши либералы и радикалы⁴³¹.

Кризис декадентства

Теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется чем-то бесконечно далеким та идейная и литературная борьба, которая так страстно велась на страницах московских и петербургских журналов, посвященных новой поэзии и новой поэтике. Мое положение в этой борьбе было нелегкое. Я стал ревнителем символизма с первых дней моей литературной деятельности, но вместе с тем я почти в те же дни осознал изначальную ложь индивидуализма. Отсюда та напряженная борьба моя с декадентством, какую я вел иногда неумело, но всегда настойчиво и решительно, вызывая досаду и гнев своих товарищей, упрямо державшихся всевозможных бодлерианских, ницшеанских и даже штирнерианских теорий⁴³². В этой борьбе с декадентством у меня оказался могущественный союзник — Вячеслав Иванов. Но он был осторожнее меня. К тому же он был забронирован сложностью своего загадочного поэтического стиля и своею исключительною эрудицией.

Я был откровеннее, решительнее и беспечнее, чем он. Шел в бой с одним мечом, без щита. А между тем, в 1907 году литературные отношения сложились для меня очень неблагоприятно. «Факелы» как сборники, выходившие не периодически, не могли с успехом отражать полемические стрелы, направленные против смельчаков, решившихся усомниться в правде декадентского индивидуализма, тогда как у моих врагов была хорошо защищенная цитадель — «Весы». Правда, в Москве издавался еще один журнал, посвященный новой поэзии, — «Перевал»⁴³³, который предоставил мне свои страницы для литературных выступлений, но я не очень охотно пользовался этой возможностью, ибо не чувствовал себя дома в этом не совсем удачливом литературном начинании.

Был в Москве еще один, необычайно пышный и по внешности богатый журнал — «Золотое руно». Московс-

кие стихотворцы, работавшие в этом журнале, в конце концов перессорились, и группа сотрудников во главе с В.Я. Брюсовым вышла из редакции. Оставшуюся в журнале группу возглавлял Г.Э. Тастевен⁴³⁴. Пользуюсь случаем, чтобы помянуть этого прекрасного человека. Он умер в 1915 году. Я знал Генриха Эдмундовича еще с отроческих лет. Мы учились с ним в шестой классической гимназии. Он был на один класс моложе меня. Нередко мы с ним вместе возвращались домой после уроков. Я как сейчас вижу его маленькую фигурку в гимназической шинели с огромным ранцем на спине, набитым всевозможными книжками. Во время этих невольных прогулок мы как-то разговорились, и оказалось, что у нас есть общие вкусы и пристрастия. Мы тогда читали в гимназии по-гречески Платона и трагиков.

Тастевен, так же как и я, не остался равнодушен к Элладе. Будучи еще мальчиком, Тастевен обращал на себя внимание своей задумчивостью и рассеянностью. Эти черты остались в его характере до конца дней. Ему была присуща еще одна особенность — это какая-то необычная для эпохи старомодная вежливость. С дамами он разговаривал, как маркиз.

В университетские годы мы не встречались, но когда меня арестовали и отправили в Сибирь, милый Генрих Эдмундович навещал моего больного, прикованного к постели отца, утешая его своими беседами. Судьба на пять лет разлучила меня с Тастевеном. Мы встретились с ним в редакции «Золотого руна». Это было как раз то время, когда начался раскол среди наших декадентов, это было время, когда преодоление индивидуализма стало действенным лозунгом. К этому движению примкнул Тастевен.

У меня сохранилось около семидесяти писем Генриха Эдмундовича. Для будущего историка литературы они представят немалый интерес. Они все проникнуты одним настроением, но отражают разнообразные факты литературной жизни в буйные годы нашего общественного пробуждения.

Но в это же время в душе Генриха Эдмундовича назревал серьезный кризис. Он признавался мне, что его «внутренний опыт» отстает от его «идей». Вот почему порою в своих оценках современности он иногда уклонялся от намеченного им самим пути.

Впоследствии Тастевен был инициатором общества «*Les Grandes Conferenses*», членами коего состояли Верхарн, Поль Фор⁴³⁵, Мерсеро⁴³⁶ и мн. др. Но как ни значительна культурная деятельность Тастевена, как ни интересны его мысли и суждения в таких его статьях, как «Ницше и современный кризис», «Импрессионизм и новые искания», «По звездам», «Возрождение стиля»⁴³⁷ и др., — все это невольно забываешь, когда думаешь о нем. В его личности было что-то более важное, чем его литературные опыты и публичные лекции. И нам, его друзьям, казалось, что в своих статьях он не выражает полноты своей душевной жизни. Для многих он был лишь дилетантом, обладавшим немалыми знаниями в области живописи, поэзии и философии. Но в Тастевене был не только дилетантизм: в нем была душевная чистота и высота и была какая-то напряженная и бескорыстная жажда истины. И эти качества сочетались у него со скромностью и какою-то нежностью в отношении к людям.

Благодаря Г.Э. Тастевену можно было на столбцах «Золотого руна» в последние два года существования этого журнала печатать такие статьи, которые были уже неприемлемы для «Весов». По крайней мере ни я, ни Вяч. Иванов ни разу не встретили каких-либо помех, печатая в журнале все, что нам хотелось.

Итак, я многообразно пользовался журнальной трибуной для борьбы с декадентской эстетикой. Некоторые мои статьи вызывали чрезвычайный гнев московских декадентов — особенно напечатанная в «Золотом руне» моя статья «Разоблаченная магия»⁴³⁸. К циклу этих статей надо отнести также статью «Фауст и мелкий бес»⁴³⁹ по поводу романа Брюсова «Огненный ангел». Окончательный разрыв мой с «Весами» последовал после моей кри-

тической заметки о книге Брюсова «Земная ось». Эта злая и ядовитая моя рецензия была напечатана в журнале «Перевал»⁴⁴⁰, причем редакция в примечании слагала с себя ответственность за мои суждения. В те же дни послал я письмо в «Весы» с просьбой вычеркнуть мое имя из списка сотрудников, где я по какому-то недоразумению постоянно числился.

Одним словом, я охотно вел полемику с В.Я. Брюсовым, ибо видел в нем литературного противника и хорошо понимал, чего он хочет и чего страшится. Иначе дело обстояло с другим моим зоилом⁴⁴¹, Андреем Белым⁴⁴². Его страстные и странные выпады против меня казались мне фактом, не имеющим никакого отношения к литературе. Поэтому я ни разу не ответил печатно этому примечательному и значительному писателю. Впрочем, из предисловия к «Арабескам» видно, что Андрей Белый уже давно сам смотрит «исторически» на свою тогдашнюю запальчивую полемику, а для меня поводы для этой полемики кажутся каким-то загадочным и тяжелым сном. В этой истории не было никакого реализма и менее всего «реализма в высшем смысле»⁴⁴³.

Примерно в 1910 году литературные бури утихли. Явилась потребность подвести итоги всем этим исканиям и достижениям на путях эстетики и поэтики. Явилась потребность в хорошем «европейском» культурном и «приличном» журнале. Таким журналом стал «Аполлон»⁴⁴⁴.

Воспоминания об этом журнале естественно возвращают нас к тому журналу, который за десять лет до «Аполлона» вел победоносную кампанию против эпигонов передвижников и вообще против серой, будто бы «народнической», а в сущности обывательской эстетики с ее наивными и вульгарными представлениями об искусстве.

Я жил в Петербурге тогда, когда «Мир искусства»⁴⁴⁵ заканчивал уже свое существование. Я имел только удовольствие прочесть на столбцах этого журнала рецензию на мою первую книгу «Кремнистый путь»⁴⁴⁶. Но с ревнивателями «Мира искусства» и художниками, окружавшими

этот журнал, я познакомился в первые же дни моего появления в Петербурге. О людях «Мира искусства» я скажу потом, а сейчас — несколько слов об его идее.

«Мир искусства» был в положении бронепоезда, ворвавшегося в стан врагов, причем враги были нередко на духовном уровне дикарей. Кроме пращей и камней у литературных дикарей не было другого оружия, но численность их была опасна для малой фаланги смельчаков. И все-таки «Мир искусства» победил. Мы теперь справедливо критикуем аристократический эстетизм дягилевской компании⁴⁴⁷, стилизованный историзм петербургских художников, и нам легко перечислить с укоризною грехи тогдашних борцов за новое художественное слово, но нам не следует забывать, что тогда дело шло не столько о новой школе живописи, сколько о спасении вообще искусства, ибо тогда варварски были растоптаны великие художественные ценности. Это были годы зловещего одичания нашего общества и самого тупого мещанства.

Как мог при этих условиях одержать победу такой журнал, как «Мир искусства»? Секрет победы заключался в том, что признание настоящих художников и забвенье претендентов на это имя, по существу, прав на это не имеющих, объясняется обычно одним универсальным психологическим законом. Подлинная убежденность художника⁴⁴⁸ своим даром и такая же убежденность его почитателей импонируют толпе профанов и мещан. Профаны еще бранятся и зубоскалят, но, не обладая настоящей уверенностью в своем собственном вкусе, постепенно и незаметно сдают позиции и, глядишь, через год-два с азартом рекламируют как раз тех художников, каких недавно еще травили зверски. Правда, эти признания приходят иногда с немалым опозданием — особенно для гениев, но все же приходят непременно, тогда как эфемерная «слава» дутых знаменитостей становится смешною и жалкою при первом же дыхании истины. Если бы не эта внутренняя внушительная авторитетность мастеров, болтливые глупцы давно бы изничтожили искусство. По счастью, в деле искус-

ства «вредители» в глубине души сознают, что они «ничего не понимают». Вот почему их самонадеянная крикливость может быть иногда очень выгодна коммерчески тому или другому фальшивому художнику, но в конце концов победит правда. К сожалению, нередко это справедливое торжество таланта приходит после смерти настоящего художника или тогда, когда он задыхается в туберкулезе и уже равнодушен не только к славе, но и к очарованиям жизни вообще.

Каждый номер «Мира искусства» предлагал вниманию нашего общества или нечто вовсе для него новое, или нечто основательно им позабытое. В те дни художочная либерально-гражданская беллетристика и не менее художочные стихи с перепевами Некрасова и даже Надсона⁴⁴⁹ были тою повседневною пищею, коей питались поневоле наши интеллигенты. В полном соответствии с такою литературой была и живопись, утратившая свой передвижнический, хотя и варварский, но по крайней мере живой и натуральный пафос. Живопись свелась к анекдоту, довольно тупому и вялому.

«Мир искусства» заговорил на ином языке. Нравы были так дики, что редакция «Мира искусства» даже Врубеля⁴⁵⁰ в те дни еще не решалась открыто признать гением. Но, несмотря на осторожность, соблюдавшуюся «по тактическим соображениям», «Мир искусства» не избежал участи, предназначенной ему безвременьем. Его сначала травили, потом замалчивали — и это продолжалось до тех пор, пока каким-то таинственным «молекулярным» процессом вкус к искусству не проник опять в замурованную среду.

Но — увы! — эта победа художества была «пирровою» победой⁴⁵¹. Возродился вкус к искусству, но, к несчастью, это был закат культуры, а не ее возрождение. Если за пределами «Мира искусства» в те годы вовсе не было эстетической культуры, то внутри этого кружка была культура «александрийская». Здесь пела свою лебединую песню умирающая Россия. Тогда не все еще понимали связь

между падением Порт-Артура⁴⁵², великолепным гулом надвигавшейся революции и барственной изысканностью культурнейших художников уходящей в даль веков России.

Ревнителю александрийской культуры столкнулись, впрочем, не только с озлобленными и тупыми защитниками бездыханной интеллигентской традиции, но и с вдохновенным провозвестником исторических судеб России и мира. Я говорю о Владимире Соловьеве, который сам, будучи символистом, прозорливо увидел на челе «нового искусства» зловещую тень вырождающегося общества. Поводом для этого столкновения, как известно, послужил пушкинский номер «Мира искусства»⁴⁵³. Владимир Соловьев в статье «Особое чествование Пушкина»⁴⁵⁴ обрушился на нищезанство и мистический модернизм, предчувствуя во всех этих мечтаниях и блужданиях «по ту сторону добра и зла»⁴⁵⁵ признаки крушения нашей духовной культуры. Он же высмеял Валерия Брюсова, выступившего тогда в сборниках «Русские символисты»⁴⁵⁶. Тщетно «Мир искусства» пытался объясняться с маститым и загадочным философом⁴⁵⁷. Владимир Соловьев продолжал смеяться своим невеселым и чутким смехом.

К сожалению, до ссылки я был слишком юн, чтобы решиться на свидание с Владимиром Соловьевым, а после ссылки я уже не нашел его в живых. Но в те годы я был окружен соловьевцами⁴⁵⁸ и, главное, жил сам в его духе.

Если борьба с декадентством со стороны, например, «Русского богатства» и подобных органов была совершенно бесплодна, ибо у спорящих не было общего языка, то наша борьба с крайним эстетическим индивидуализмом, борьба Вяч. Иванова, моя и некоторых других, поднявших знамя Влад. Соловьев, была — смею думать — борьбою по существу. Мы знали, за что мы боремся.

Итак, когда поле битвы очистилось от поверженных тел и разбитых орудий, на нем построил свою храмину «Аполлон». Этот журнал пришел на готовое. Его уже не травили и не замалчивали. Редактором этого журнала был С.К. Маковский⁴⁵⁹, сын того самого Константина

Маковского⁴⁶⁰, которого в свое время высмеял Александр Бенуа и его друзья. Сын знаменитого не по заслугам отца оказался претендентом на роль художественного арбитра, законодателя хорошего вкуса, покровителя изысканного модернизма. Во всяком случае, «Аполлон» был вполне корректным журналом, напоминавшим лучшие европейские ежемесячники, посвященные искусству. Секретарем журнала был очень приятный и любезный человек, Е.А. Зноско-Боровский⁴⁶¹, известный шахматист, теоретик-обозреватель шахматной литературы. Кроме того, он превосходно говорил по-французски, а в самом журнале «Аполлон» чрезвычайно ценилось знание английского и французского языка и умение блеснуть начитанностью в области новейших западных литератур. В «Аполлоне» был культ дендизма⁴⁶². Ближайшие сотрудники щеголяли особого рода аристократизмом, что иногда становилось смешным и внушало подозрение в его подлинности. На вечерах журнала появлялись дамы в прекрасных туалетах, декольтированные, как на балах. Многие мужчины были во фраках. Появление человека в блузе произвело бы впечатление скандала. Впрочем, надо отдать справедливость «Аполлону», на его вечерах были не только фраки и нагие плечи прелестных дам: здесь выступали молодые талантливые композиторы, изысканные стихотворцы и весьма изящные говоруны эпохи; здесь, между прочим, познакомился я со Скрябиным⁴⁶³ и слышал, как он сам играл свои шедевры.

Среди ближайших сотрудников «Аполлона» оказался один писатель, до той поры известный лишь немногочисленным его почитателям — Иннокентий Федорович Анненский⁴⁶⁴, брат весьма популярного, но совсем не талантливого Н.Ф. Анненского⁴⁶⁵, сотрудника «Русского богатства». Судьба этих двух братьев была чрезвычайно характерна для нашего тогдашнего безвременья. Лишенный каких бы то ни было значительных дарований, самый заурядный радикал и серый писатель пользовался широкой известностью, а его брат, настоящий и своеобразный

поэт, ученый-филолог, блестящий переводчик Еврипида⁴⁶⁶, тонкий и остроумный критик, — оставался никому не известным лишним человеком, которому негде было печататься. По-видимому, И.Ф. Анненский чем-то не угодил московским декадентам, и поэтому даже «Весы» не отвели ему подобающего места. В 1905 году в редакцию «Вопросов жизни» была прислана для отзыва небольшая книжка в белой обложке — «Тихие песни»⁴⁶⁷ — книга стихов неизвестного поэта, скрывшегося под загадочным псевдонимом Ник. Т-о. К этой книге приложен был сборник переводов — «Парнасцы и проклятые»⁴⁶⁸. Эта книга поразила меня своей глубокой меланхолией и благородной сдержанностью стиля и тона. Я не знал тогда, что автор этой книги И.Ф. Анненский. Лишь в 1909 году я познакомился с поэтом. И лишь тогда, слушая его, я понял до конца, как значительна его личность. Русский человек в существе своего характера, явно сложившегося в круге переживаний Боратынского, Лермонтова и Достоевского, он в то же время стал послушным учеником Бодлера и той французской поэзии, которая шла под знаком бодлерианства. Я говорю «под знаком бодлерианства», разумея не сознательную и программную сторону поэзии, а ее дух, ее принципы, не всегда открыто исповедуемые самими поэтами. В этом смысле и Малларме и Жюль Лафорг⁴⁶⁹ шли по путям, предугазанным Бодлером. По тем же путям шел покойный Анненский, полагавший, что метафоризм — сущность поэзии, и поклонявшийся метафоре как самостоятельной ценности. Но что такое метафора? Метафора есть прежде всего *маска*. И если это правда, поэт Анненский явился к нам в некоторой личине, подобно измученному и тоскующему человеку, который спешит в маскарад, надевая домино и мечтая тем обмануть и себя и других.

Носить маску с достоинством — немалое искусство, но Анненский с успехом выполнил свою трудную задачу: его улыбки, его шутки, его ирония никогда не были грубыми, его печаль никогда не была крикливой, его мысль

никогда не была банальной... Но И.Ф. Анненский никогда не мог понять, что *метафора* — не последняя ценность в искусстве. Он никогда не мог понять, что метафора и символ за каким-то пределом поэтики оказываются друг другу полярными. Анненский понимал символизм, как Малларме. Для него символ был не более, как особый поэтический прием, как одна из сложных метафор. В этой своей поэтике он был уже несколько *démodé* *. Ему пришлось столкнуться с противником столь сильным, что старик был подавлен и смущен этой встречей. Она произошла на арене так называемой «Академии стиха»⁴⁷⁰, небольшого общества ревнителей поэтики и эстетики. Противником Иннокентия Федоровича был Вяч. Иванов. Оба они блистали филологической эрудицией, но Вячеслав Иванов явно побеждал на диспутах своего соперника, который, кажется, принимал близко к сердцу эти свои запоздалые и — увы — уже неудачные выступления. Кажется, после одного из таких диспутов старый поэт почувствовал себя дурно. Он умер, так и не успев вкусить сладостного хмеля славы. Она только на миг поманила его в самые последние годы его жизни, но настоящей благосклонности ему не подарила.

И.Ф. Анненский был директором Царскосельской гимназии. В его наружности было в самом деле что-то директорское. Он носил высокие накрахмаленные воротнички, которые подпирали его подбородок. Голова его не двигалась ни направо, ни налево. Поэтому в его фигуре было что-то делавшее его похожим на автомат. А ведь за этой фигурой из паноптикума скрывался человек, настоящий, живой, с большим умом, с большим, но больным сердцем, исполненным какой-то ущербной любви. Он всегда внушал к себе два чувства, обычно редко сочетаемые, — уважение и жалость.

Когда «Аполлон» предложил ему высказаться на его страницах с полной свободой и откровенностью, старик

* Вышедший из моды (*фр.*).

так обрадовался и растерялся, что, позабыв свой строгий и острый критический жанр, написал две или три водянистые статьи⁴⁷¹, где слишком щедро расточал похвалы второстепенным и даже сомнительным поэтам. Ему хотелось, по-видимому, закрепить дружбу с молодым поколением стихотворцев.

Прочитав мой рассказ «Тишина», напечатанный в «Аполлоне»⁴⁷², Иннокентий Федорович отзывался о нем в очень лестных для меня выражениях и подарил мне свою книгу с надписью, в коей намекал на содержание этого рассказа — «Георгию Чулкову, видевшему странные сны...». Поэт не подозревал, что его похвалы были обесценены для меня тем благодушием, какое было характерно для него в последние дни его жизни. К этому времени прекратили свое существование и «Весы». Я напечатал в «Аполлоне» некролог органа московских декадентов⁴⁷³. Здесь я перепечатаваю его почти без изменения.

«Весы»

I

Влюбленная Аглая накануне вечера, когда Льва Николаевича должны были представить «свету», умоляла смущенного князя не говорить «о чем-нибудь вроде смертной казни или об экономическом состоянии России», или о том, что «мир спасет красота»... Не забыла она также предупредить князя, чтобы он не разбил драгоценной вазы, которая была так дорога генеральше... Но «идиот», конечно, заговорил о самом важном и значительном и, конечно, разбил китайскую вазу⁴⁷⁴... Таков жребий исконных русских людей: мы не умеем вести салонные разговоры, не умеем носить маски и в странной рассеянности разбиваем порой драгоценные безделушки. И чем искон-

нее русский человек, чем крепче связан он с полями нашими, тем он угрюмее, тяжелее и серьезнее.

И наша литература всегда возникала и развивалась, обретая в борьбе свое право. Художники были взыскательны не столько к своему мастерству, сколько к самим себе, к своей сущности, и мечтали быть не столько «веселыми ремесленниками», сколько учителями жизни или, по крайней мере, ее судьями. Моральные и религиозные интересы преобладали над интересами чистого искусства, наивного и слепого.

Кружок А.Н. Бенуа, С.П. Дягилева и друзей их взял за себя неблагодарную роль защитника свободного искусства, но даже в дягилевском журнале печатались из номера в номер философские размышления Мережковского, Минского, Льва Шестова, столь далекие от аполлоновской солнечности и столь близкие глубокомыслию и мрачности «бунтующего христианства» Достоевского. Однако и этот «обезвреженный» эстетизм «Мира искусства» оказался опасным. В 1903 году наши правдоискатели основали «Новый путь». И кто-то, кажется, Антон Крайний⁴⁷⁵, горевал на страницах нового журнала по поводу того, что редакция «Мира искусства» среди рассуждений Д.С. Мережковского поместила зловещие и соблазнительные рисунки Бердслея⁴⁷⁶...

«Весы» возникли в год закрытия «Нового пути». Мы, русские, в ту эпоху были свидетелями таких событий и пережили столько волнений, что, оглянувшись назад, невольно смущаешься и думаешь: «Боже мой! Как сложна и трудна жизнь! На каких путях мы стояли и куда пришли! И на кого падет ответственность за все ошибки, падения и преступления наши?» И вот в эти бурные дни, когда демоны войны и революции вели свои хороводы, когда мы кровно узнали, что значит «переоценка ценностей», в эти дни пришлось московским декадентам отправиться в открытое море на утлом челне. По счастью, у «Весов» был хороший кормчий — Валерий Брюсов. Взяв кормило в свои сильные руки, он сделал свое лирическое признание:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря и пристани
Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И господа и дьявола
Хочу прославить я ⁴⁷⁷.

Это воистину «лирическое» признание поэта сделалось лейтмотивом московского журнала. И «Весы» первого периода (а в истории «Весов» необходимо различать два периода) стали органом Валерия Брюсова. И слава Богу, что так случилось. По крайней мере, у нас в течение двух-трех лет был журнал если не с определенным лицом, то во всяком случае с определенной физиономией. А ведь такой журнал почти живое существо, *почти человек*.

Я затрудняюсь говорить о программе «Весов» и об идеях руководителя журнала. По-видимому, когда журнал начинался, основатели этого нового журнала сами еще не решили, куда они пойдут и что будут проповедовать. Они ограничились заявлением, что «Весы» избирают для себя внешними образцами такие издания, как английский *Athenaeum*, французский *Mercure de France*, немецкое *Literarische Echo* ⁴⁷⁸... В программной статье «Ключи тайн» ⁴⁷⁹ нельзя было найти ничего существенно нового. Ее автор, Валерий Брюсов, старался обосновать свою эстетику отчасти на учении Потебни ⁴⁸⁰, отчасти на теориях французских символистов. И, кажется, не смущался таким эклектизмом... Но, право, неприлично требовать от поэта научного педантизма и строгого метода. Я упомянул о программе «Весов», следуя литературным традициям, но, признаюсь, журналы и люди определяются для меня не столько идеями и теориями, сколько их дарованием, темпераментом, их подсознательной природой, если угодно. Иной жест говорит больше нашему сердцу, чем потоки умных слов и солидный научный аппарат. А у руководителей «Весов» (говоря без иронии) если и не было настоящей

учености, то был тот фаустовский жест, который мог иных пленить, иных раздражить, а иных развлечь в минуты уныния и сплина, но, главное, журнал «Весы» был целен не идейно, а эстетически, ибо, даже не веруя в «неколебимую истину», можно оставаться верным самому себе.

В течение двух-трех лет каждая книжка «Весов» была как бы новым портретом одной и той же osoby. Вот новое освещение, вот новый поворот лица, и все это одна и та же физиономия нашего старого знакомого, этого московского денди, которого мы так хорошо знаем. Мы привыкли к его прическе, его несколько натянутой позе; мы привыкли к его парадоксальной речи, которую провинциалы до сих пор слушают, разиня рот; мы привыкли к его парнасской декламации и к его гримасе мэтра.

Журнал и человек сливаются для меня в один образ. Это — русский стихотворец конца XIX века. Он уже не хочет быть «интеллигентом». Он свободен от политики, ему дорога литература, только литература, он пушкинист прежде всего. Но, кроме того, ему хочется быть завоевателем новых стран. Ему нравятся война эстетических школ и смена направлений в искусстве. Его забавляют манифесты натурализма, гуманизма, интегризма⁴⁸¹... Ему хочется быть таинственным: он любит, чтобы ученики называли его магом, и он занимается французским оккультизмом, невинным салонным оккультизмом...

Может быть, я ошибаюсь, и такого человека совсем нет, но передо мною неизбежно возникает этот фантом, когда я просматриваю книжки «Весов» за 1904—1906 года...

II

Я пишу некролог «Весов». Забуду ли серьезные заслуги этого журнала? В «Весах» принимали участие Бальмонт, Блок, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, Федор Сологуб... Эти имена красноречивы. Правда, все эти писатели были представлены более ярко в «Мире искусства», в «Новом пути», «Вопросах жизни» и «Факелах», но зато

В.Я. Брюсов по справедливости может гордиться тем, что на страницах его официоза печатался Кузмин.

Теперь я позволю себе сказать несколько слов о судьбе «Весов» после 1906 года. Кто-то остроумно заметил, что надо обладать немалым талантом, чтобы создать настоящий журнал, но не меньший талант нужен для того, чтобы суметь вовремя его закрыть. Злой жребий выпал на долю «Весов» после 1906 года. По-видимому, утомленный кормчий бросил челн на произвол судьбы, и бедные юнги пустились в открытое море «без руля и без ветрил»⁴⁸².

В то время на улицах шумела революция, но, может быть, более глубокая революция совершалась в наших сердцах. На устах наших «исконных» людей были лозунги и формулы освободительных доктрин, созданных европейской культурой, мы от чистого сердца хотели принять общественные формы Запада, но появление наше на общеевропейской арене было так же странно и фантастично, как появление князя в салоне генеральши Епанчиной. Мы неожиданно заговорили о самом значительном и заговорили как-то слишком требовательно и уверенно, как бы заранее отказываясь от компромисса. Мы, как дети, не мирились с половиною истины и требовали все или ничего. И кто же, как не мы, символисты, крикнули безумные слова о «последней свободе» и о том, что «красота спасет мир». Конечно, каждый из нас размахивал при этом руками и потом стоял сконфуженный над осколками драгоценной вазы.

Но как ни безумны были наши утверждения на поверхностный взгляд и как ни странны, быть может, иные жесты наши, все же нам не приходится отказываться от тех истин, которые мы исповедовали. И надо сознаться, что переживания, которые заставили некоторых из нас торопливо произнести слова о «последней свободе», были совершенно чужды истерике... И если мы были больны, то больны по-иному. Мы не потеряли чувства ритма и гармонии, и это спасло нас от смешных слез и неприятного сме-

ха... Может быть, нас избавил от этого строгий и умный дух Петербурга; может быть, мы обязаны иному влиянию... Но во всяком случае идейная буря и новый опыт не заставили нас забыть о правах искусства и о правде символизма.

Что делал в это время московский журнал? События застали «Весы» врасплох. Руководители журнала, покинутого вождем, не сумели продолжать бесстрастно свое полезное литературное дело, оградив себя от идейной волны, им по существу чуждой. Нет, они вмешались в эту борьбу и внесли в нее всю хаотичность своей больной психологии и весь позор истерики...

Что такое истерика? Наука определяет это душевное явление прежде всего как легкую внушаемость. Субъект истерический поддается, не сопротивляясь, каждому мимолетному влиянию. Отсюда противоречия в его настроении и, следовательно, потеря чувства гармонии. Эта тема, конечно, не только медицинская. За внешним фактом физиологической слабости и психологического ущерба таится иное начало, угрожающее культуре. Так, первоначальный деятельный акт, который Бергсон⁴⁸³ называет жизненным порывом (*élan vital*), может войти в ряд положительных творческих свершений лишь при сохранении принципа ритма в движении. Истерический субъект похож на скрипача, который на такт или на два отстал от оркестра. Общий мировой ритм для него необязателен. Истерика и искусство — два непримиримых врага. Цель искусства — раскрытие в мире ритма — исключает оправдание истерики. И когда Бодлер признается, что он «культивирует свою истерию», мы, конечно, понимаем, что Бодлер под истерией понимает совсем не то, что разумеем мы. Бодлер никогда «не терял головы»: *paradis artificiels** были для поэта лишь опытом, над которым он был властен. Бодлер всегда оставался денди и рыцарем, а субъект истерический прежде всего не джентльмен...

* Искусственный рай (фр.)⁴⁸⁴.

Книжки «Весов» за последние два-три года их существования — любопытный документ, из которого мы узнаем, чем, между прочим, характеризовалась русская истерика начала XX века.

Художники

Впервые с художниками «Мира искусства» встретился я в 1904 году. Один из сотрудников «Нового пути» и близкий друг А.Н. Бенуа повез меня на журфикс к этому вождю и апологету петербургских мастеров. Впоследствии я узнал, что в те дни на меня смотрели художники, как на диковинку. Их удивляло то, что я, революционер, изведавший и тюрьмы, и ссылку, не только не равнодушен к искусству, но и проповедую какую-то эстетику, не похожую вовсе на традиционную интеллигентскую канитель. В головы петербургских эстетов никак не укладывалось, что можно совмещать в себе понимание искусства и вражду к тогдашнему политическому и социальному порядку. Впрочем, на моих глазах эти самые люди перевоспитались весьма радикально. Врачом или педагогом был революционный 1905 год.

Итак, мой товарищ привез меня в салон Александра Николаевича Бенуа. Здесь были в тот вечер, насколько я припоминаю, Сомов, Добужинский⁴⁸⁵, Лансере⁴⁸⁶, Бакст⁴⁸⁷, Яремич⁴⁸⁸ и кое-кто из литературных друзей «Мира искусства»: между прочим, беспечный любитель всяческих эстетических тонкостей Нувель⁴⁸⁹ и несколько меланхолический скептик Нурок⁴⁹⁰. Все со мною были очень приветливы и любезны, но я чувствовал, что мои новые знакомые поглядывают на меня с некоторой опаскою, как на варвара, способного бросить бомбу на их пиршественный стол. Но я никакой бомбы не бросил, зато в этот вечер случилась иная катастрофа.

Во время ужина вошел какой-то неожиданный, по-видимому, гость с измученным, бледным лицом, с побелевшими, сжатыми, запекшимися губами и со странными глазами, как будто видящими нечто незримое. Именно такое было у меня впечатление от этого человека, имени коего я тогда не знал. Он подошел к хозяйке салона, молча коснулся губами ее руки и так же безмолвно занял место за столом, ни с кем не заговаривая и даже как будто не замечая окружающих. Я невольно обратил внимание на то, что шумливая и оживленная болтовня гостей вдруг пресеклась. Все растерялись. Иные как будто с трудом подыскивали темы для разговоров с соседями, иные и вовсе сидели, как чем-то смущенные юноши, опустив глаза в стаканы с вином. Минут через двадцать таинственный гость исчез. Это был Врубель, который только что был выпущен временно из больницы для душевнобольных и неожиданно явился в дом А.Н. Бенуа, как мрачный вестник из какого-то страшного инобытия. С его уходом все облегченно вздохнули, и салон опять наполнился милым лепетом дам и острословием петербургских петрониев ⁴⁹¹.

Я только один раз видел Врубеля, живого, по крайней мере; во второй раз я видел его уже мертвым, в гробу. А между тем его дело казалось мне близким, и только он, Врубель, единственный из всех петербургских художников, казался мне гением, пусть неудачливым, не успевшим завершить свой путь художника, но все же гением по своей прозорливости и по своему дерзновению. И теперь, когда я бесконечно далек от предчувствий и тем Врубеля, я все-таки считаю событием моей жизни то, что я видел странные глаза его демона, его ангела и его женщин.

После Врубеля первым мастером среди петербургских художников справедливо почитался Сомов. Но как он был несхож со своим погибшим собратом по искусству! Если гениальному Врубелю редко что удавалось, Сомов, напротив, не знал неудач вовсе. Любая виньетка его в своем роде была совершенством, и этот счастливый рисовальщик, доведя свое искусство до предельного изящества,

не мог пожаловаться на непонимание современников. И русское общество, и европейское усвоили скоро вкус к изысканному таланту этого остроумного стилизатора и этого насмешливого портретиста. Товарищи охотно отдали ему пальму первенства. Константин Андреевич Сомов принял это как должное, но, кажется, избалованный судьбою, не очень ценил свои удачи и, в сущности, всегда был глубоко меланхоличен, несмотря на видимость светского благодушия и неизменную со всеми любезность. Я никогда не был близок с Константином Андреевичем, но при встречах с ним всегда любовался его не выдуманым, а присущим ему органически дендизмом. У Сомова были друзья, иные были интимно с ним связаны, но едва ли он кому-нибудь открывал свою душу. От Сомова всегда веяло холодком того безнадежного скептицизма, который не позволяет человеку сблизиться с другом до самопожертвования и любви. Он, вероятно, почитал бы неприличной сентиментальностью быть с кем-нибудь откровенным до конца. С чуть заметной иронической и холодной улыбкой показывал он мне однажды богатую коллекцию им созданных непристойно-эротических произведений, в коих он, художник, издевался ядовито над святынею и тайною любви. За исключением «Дамы в голубом»⁴⁹², которая принадлежит Третьяковской галерее, и двух-трех иных портретов, я не очень ценю его попытки воссоздать лица современников, несмотря на прелесть и точность его изумительного рисунка. Мне кажется, что все эти его позднейшие портреты слишком литературны. Вячеслав Иванов вовсе не представляется мне таким бесхитростным и чувственным, каким изобразил его художник. И лицо Александра Блока на портрете слишком тенденциозно и похоже на маску. Но как работал Сомов над своими портретами! Бедные модели изнемогали от количества сеансов. Я неоднократно присутствовал на сеансах Сомова, когда он писал Блока. Меня всегда удивляла манера Сомова рисовать модель. Он как будто хотел быть точным во что бы то ни стало. Но в конце концов он рисовал злую

карикатуру. Его честность мастера была, однако, удивительна. Будучи уже зрелым художником и знаменитостью, он ходил в классы рисовать вместе с учениками натуру, как будто боясь утратить умение быть всегда во всеоружии рисовальщика.

С немалым удовольствием вспоминаю я об А.Н. Бенуа, хотя я с ним никогда не был близок. Этот прекрасный художник и необыкновенно живой и трогательно на все отзывчивый человек всегда пленителен как собеседник. Его образованность, настоящая и многообразная, позволяет ему щедро иллюстрировать свою мысль сотнями примеров из той или иной эпохи, и когда с ним беседуешь, кажется, что перелистываешь чудесную книгу, украшенную богато превосходными рисунками. Я не заметил в нем того скептического холода, который характерен для Сомова. Александра Николаевича мне легко себе представить увлеченным чем-нибудь горячо и страстно, со всею искренностью нестарящего сердца.

Но особенно полюбился мне Евгений Евгеньевич Лансере, этот даровитейший художник, чудесный рисовальщик, в иных областях рисунка не имеющий даже соперников. Всегда изящный и милый, Евгений Евгеньевич пленяет своею скромностью, что ему не мешает, однако, сознавать свое настоящее почетное место в искусстве. Евгений Евгеньевича — племянник А.Н. Бенуа и сын скульптора Лансере⁴⁹³, ныне несправедливо полузабытого. Семья Лансере — Бенуа всегда напоминает мне загадочное средневековье, когда художники-мастера передавали из поколения в поколение тайны своего «веселого ремесла»⁴⁹⁴. Два-три года я часто встречался с этой семьей и даже одно время жил в квартире доброй и гостеприимной Екатерины Николаевны Лансере⁴⁹⁵, урожд. Бенуа, на улице Глинки⁴⁹⁶, против Николы Морского⁴⁹⁷, храма, построенного, если не ошибаюсь, учениками Растрелли⁴⁹⁸. В те же годы я часто встречался с милейшим Н.Е. Лансере⁴⁹⁹ и его супругой. Одно лето я провел вместе с этой семьей в Курской губернии, где жила Екатерина Никола-

евна. Это был 1910 год. Здесь я познакомился с сестрою Евгения Евгеньевича Лансере — Зинаидою Евгеньевною Серебряковой⁵⁰⁰, очаровательною художницею, чья первая работа, появившаяся на выставке, — «За туалетом» — привлекла к себе внимание знатоков и ценителей и тогда же была приобретена Третьяковской галереей. Живя в курской деревне, я имел случай наблюдать, как работает Зинаида Евгеньевна. Воистину живопись для нее тот воздух, без коего она не может жить. Если ей приходится на час бросить кисть, то вы наверное увидите в ее руках карандаш, которым она делает какие-нибудь кроки⁵⁰¹ в своем альбоме. Эта удивительная трудоспособность и благоговейная влюбленность в искусство сочетаются в характере Зинаиды Евгеньевны со счастливым чутьем к поэзии. Она не только видит и чувствует мир живописно. Она всегда взволнована поэтически, заражена каким-то лирическим волнением. Ее неизменный спутник — Пушкин. У нее культ поэта. Она его чувствует, как живого; он ей снится, и она не раз писала его портрет. Ее курские «бабы» составляют превосходную галерею. Она удачно сочетала в своих работах простую гармонию венециановской живописи⁵⁰² с новым своеобразным пониманием рисунка и колорита. В иных своих полотнах Серебрякова является наследницей Тициана⁵⁰³ и Тинторетто⁵⁰⁴. Эта неожиданная для наших тревожных и нервных дней благородная традиция поздних венецианцев в художестве Серебряковой претворяется воистину чудотворно, и убеждаешься, что мы еще не утратили вкуса к красоте, несмотря на все соблазны «беспредметности» и «конструктивизма»⁵⁰⁵.

В своих портретных работах З.Е. Серебрякова не всегда бывает объективна. В моделях она ищет самое себя. Так и в прекрасный портрет моей жены Зинаида Евгеньевна внесла какую-то едва заметную черту, ей самой свойственную. Несколько раз принималась Зинаида Евгеньевна писать и мой портрет, но — слишком взыскательная — всегда уничтожала свою работу. Только последний, кажется, четырнадцатый по счету, появился на московской

выставке «Мира искусства» в феврале 1911 года. В эти же дни рисовал меня Е.Е. Лансере. Его рисунок у меня был похищен вместе с несколькими картинами (между прочим, швейцарским пейзажем З.Е. Серебряковой) в Петербурге в 1919 году.

С благодарностью вспоминаю я об М.А. Добужинском, который так же, как и Е.Е. Лансере, неоднократно украшал своими графическими работами мои книги и те книги, которые я редактировал.

Из младших ревнителей «Мира искусства» назову В.П. Белкина⁵⁰⁶, которого я очень ценю как человека и художника и которого графические работы справедливо приветствовал А.Н. Бенуа.

Впоследствии я встречался и дружил со многими художниками. Иных я ценил весьма. Но никогда ни в одном кружке я не наблюдал такого уважения культуры, такого понимания истории, такого благоговейного отношения к мастерству, такой широты во взглядах на искусство вообще и такой образованности, как в кружке «Мира искусства».

Года три подряд летом уезжал я с женой в Финляндию. Однажды, кажется, это было в 1908 году, когда я жил недалеко от Райволы на Черной Речке, ко мне явилась одна неожиданная гостья. Я сидел на террасе и мирно читал книгу, как вдруг передо мною выросла внушительная фигура старухи с каким-то патриаршим посохом в руке. За нею следовала миловидная девушка лет шестнадцати.

— Это вы — автор книжки «О мистическом анархизме»? — спросила старуха строго.

— Да, — сказал я недоумевая.

— Вот я пришла с вами объяснить. Что это вы еще выдумали такое — анархизм да еще мистический? Читала я вашу книжку и статью вашего друга, Вячеслава Иванова, читала и, каюсь, половину не поняла. Извольте мне объяснить, в чем тут дело...

— А с кем я имею удовольствие? — пробормотал я улыбаясь.

— Я — Серова, жена композитора⁵⁰⁷. Живу теперь у сына, недалеко от вас. А это — Оля, моя внучка.

Я усадил старуху в кресло, и мы с нею побеседовали. Так я познакомился с семьей Валентина Александровича Серова. Его дача была близко от моей, в десяти минутах ходьбы. Дружбы у нас не завязалось, но маститый тогда Валентин Александрович всегда был приветлив и дружелюбен. Мне нравился стиль его беседы, несколько ленивой и лукавой. Под маскою добродушия сквозила иногда острая ирония. Однажды и я попался впросак, и он добродушно подтрунил надо мною. В это время как раз в издательстве «Оры» вышла моя трехактная лирическая пьеса «Тайга»⁵⁰⁸, о коей я слышал немало лестных отзывов из уст поэтов. Похвалил ее и Серов, но, помолчав, хитро прищурил глаза и сказал, будто бы робея:

— Ваша пьеса символическая, и я, конечно, понимаю, Георгий Иванович, что нельзя к ней предъявлять требования правдоподобия, но, знаете ли, простите меня, я как реалист не могу не сделать одного замечания. У вас там самка лося защищает детеныша рогами. А ведь у самки рогов-то нету...

Я, признаюсь, был сконфужен замечанием остроумца, и хотя утешал себя тем, что у Лермонтова Терек прыгает, как «львица с косматой гривой на спине», чего в природе не бывает, но это утешение было не из очень утешительных, и во втором издании я убрал вовсе злополучные рога.

Серова как художника я, конечно, не мог не ценить, но его превосходный реализм в те годы оставлял меня холодным. Я несколько позднее полюбил больше добротность его мастерства, но живопись Серова никогда не была событием в моей жизни.

Однажды в Москве — это было уже в ноябре 1913 года — пришлось мне читать лекцию в так называемом «Художественном салоне»⁵⁰⁹. Читал я тогда о французских импрессионистах и кубистах. Мне хотелось доказать, что французская эстетическая культура — характер-

нейшее явление для всей буржуазной Европы и что в этой самой блестящей и талантливейшей культуре есть ущерб, есть злокачественная язва — одним словом — что на Западе нет уже монументального искусства, потому что иссякли источники живой, цельной, органической жизни.

После лекции ко мне подошла высокая пожилая женщина с зоркими глазами и орлиным носом — совсем как огромная нахохлившаяся птица. «Кто это? — подумал я. — Этому существу сидеть бы с орлами на вершинах гор и смотреть на мир, распростертый в долине, а не бродить среди нас, бескрылых». Это была Анна Семеновна Голубкина⁵¹⁰.

Услышав ее имя, я, по правде сказать, смутился. Мне столько рассказывали про ее чудачества, ее строгую требовательность, ее суровость и даже ее грубоватость, что я невольно посмотрел на нее не без страха. Что, думаю, делать, если она станет упрекать меня за мою лекцию? Но этого не случилось. Она ласково улыбалась, пристально смотрела мне в глаза и настойчиво уговаривала меня идти после лекции к ней в мастерскую.

В тот вечер мне не пришлось воспользоваться ее добрым приглашением. Не помню, когда в первый раз я попал к ней. По-настоящему оценил, разглядел и полюбил я Анну Семеновну позднее, в страданные дни⁵¹¹ революции.

Десять лет мы жили в ближайшем соседстве — она в Левшинском переулке, а я на Смоленском бульваре, — нас разделяли три-четыре дома. За эти десять лет пережило было немало: октябрьские баррикады, голод, холод, наступления со всех сторон белых, победа и торжество советской власти... А в это время, среди всех этих гражданских бурь, зрела душа художницы, ее мысль и воля... Мы часто виделись. Она была дружна с моей женой и лепила ее голову.

Я так привык к Анне Семеновне, что каждый раз, как она уезжала в Зарайск, к родным, мне чего-то недоставало, и было странно, что по утрам, за самоваром, не видишь несколько дней соседки. Она любила до работы заходить

к нам. Хаживала она и по вечерам и сердилась, если жена долго не навещала ее. Немало было у нас общих тревог, надежд, горечи, любви, разочарований... Одним словом — была возможность узнать Анну Семеновну. А ведь это счастье — узнать необычайную душу, такую чудесную и щедрую...

Голубкина не принадлежала к числу тех художников, которые полагают, что искусство есть последняя ценность, что цель в нем самом и что художник — «по ту сторону добра и зла». Голубкина, напротив, будучи взыскательным мастером, не мирилась, однако, с этою не очень глубокою мыслью о самодовлеющем искусстве. Нет, она жаждала не эстетической прелести и не какого-нибудь «отвлеченного начала», а цельной и единой истины. Она твердо верила, что такая истина есть.

Эта ее удивительная и пламенная вера иных смущала. Она подходила к человеку, который казался ей значительным, с непременным требованием все ей открыть, исповедовать сейчас же всю свою веру и мало этого — зажечь немедленно все сердца этою своею исповедью. Разумеется, таких героев не находилось, и Анна Семеновна гневалась:

— Мудрец! Мудрец! А что делать — не говорит.

С гениальной наивностью она ждала какого-то пророка, который придет и укажет путь.

Какой-нибудь трезвый собеседник начнет, бывало, ее убеждать, что от человека надо брать то, что он может дать, и не требовать невозможного, но Анна Семеновна посмотрит на него непонимающими глазами и махнет рукой.

Особенно к писателям она была строга. Я помню ее искреннее негодование, когда она встретила у меня одного известного поэта, философа и филолога и, побеседовав с ним, убедилась, что он вовсе не склонен немедленно начертать программу для спасения рода человеческого.

— Как же так? А я думала, что умнее его и нет никого. Стихи пишет вон какие, а в чем смысл жизни, прямо не говорит... Все вокруг да около...

— Да ведь он не Конфуций⁵¹² и не Магомет⁵¹³, а просто петербургский поэт, а вы к нему Бог знает с какими страшными вопросами обращаетесь. Так нельзя.

— А зачем он такие стихи пишет, как будто он какую тайну знает?

— Не довольно ли вам стихов? И это ведь сокровище...

— Ну нет. Мне этого мало. Мне цельный человек нужен.

И в своем искусстве, скульптуре, она видела средство выразить нечто важное, объективно-истинное, несомненное в своей живой реальности. Ученица Родена⁵¹⁴, она начала свою деятельность с импрессионизма, но чем больше она работала, тем совершеннее становились ее мраморы, и тем ближе она была по духу искусству монументальному. В последних ее работах и следа не осталось того импрессионизма, какой мы находили в ее ранних вещах.

В 1923 году А.С. Голубкина издала книжку «Несколько слов о ремесле скульптора»⁵¹⁵. Эта тихая и мудрая книжка прошла незамеченной среди буйных и крикливых голосов иных ревнителей современности. Барабаны и литавры⁵¹⁶ заглушили флейту художницы. Однако эта маленькая книжка Голубкиной «томов премногих тяжелей»⁵¹⁷. Эти «несколько слов о ремесле скульптора» доказывают с убедительной очевидностью, что для Голубкиной ее ремесло было неразрывно связано с ее представлениями об обязанностях человека вообще. В простых словах о качестве глины, об устройстве каркаса, о приемах лепки чувствуешь не только опытного учителя, но и прозорливого человека, для которого весь мир — нечто единое и цельное по существу, несмотря на видимый ущерб и множественность раздробленных форм. Она учила подходить к материалу, как к чему-то живому. «Надо вдумчиво, осторожно открывать в глине жизнь, — писала она, — если вы это найдете в глине, то найдете и в любом материале».

Она требовала от человека деятельной любви к матери, следовательно, к материалу. «Великий художник Роден требовал чувства материала. Статуи греков и римлян

полны этого чувства. Вы не найдете ни единой хорошей статуи без этого чувства живой одухотворенной материи, и чем этого чувства меньше, тем произведения хуже»⁵¹⁸.

Голубкина благоговейно относилась к своему ремеслу. Она советовала своим ученикам уважать и чтить не только материал, но и всю обстановку художественного труда. Банальная фраза «мастерская художника есть храм» в устах Голубкиной приобретала особую значительность. Она вспоминала с благодарностью о своем учителе, который «ревниво оберегал» достоинство мастерской.

Всякая механическая работа ее пугала и отталкивала. «Чем меньше работать руками, тем лучше». Надо ждать, когда созреет в душе необходимая форма, только тогда можно лепить. Корректурa будет, конечно, неизбежна, но нельзя приступать к материалу без надежды дать совершенное. Нельзя в расчете на исправления делать что-нибудь наугад, не увидев и не почувствовав необходимого образа — в его окончательном воплощении.

Крестьянка по происхождению, А.С. Голубкина любила не только человека, но и растения и животных. Это не была отвлеченная городская любовь — это была кровная привязанность деревенского человека к первоисточнику бытия.

В своих письмах она постоянно упоминает о лесе, о поле, об огороде, где она нередко работала летом вместе со своими родственниками — рязанскими огородниками. «Пора и вам ехать к природе, — пишет она в одном из писем. — Хорошо теперь. Наверное, там, куда вы поедете, вы добудете себе высокие настроения, а я тут просто пью весну и воздух»...

В последний раз, уезжая в Зарайск, откуда ей не суждено было вернуться, Анна Семеновна принесла к нам горшки с растениями с просьбою ухаживать за ними во время ее отсутствия.

Среди других были кадочки, где были посажены папоротник, мох и еще какие-то простенькие травки. Анна Семеновна ласково смотрела на этот клочок дикой растительности, напоминавшей ей деревню.

Она любила и животных (только почему-то кошки внушали ей брезгливое чувство), и эта любовь к животным странно ознаменовалась тем, что какая-то собака замыкала — по рассказам очевидцев — погребальную процессию, когда несли гроб с телом Анны Семеновны на кладбище. Была еще одна странная спутница из тех, кто пришел проводить тело усопшей, — это никому до той поры не известная юродивая, которая три дня не отходила от гроба, сжимая в руке пучок полевых цветов, который и бросила, наконец, в могилу, когда о крышку гроба застучали комья земли.

Если правда, что все художники в каком-то смысле «юродивые», т. е. добровольно принявшие на себя крест осмеяния и гонения, чтобы сохранить свою внутреннюю свободу и спасти личность, то Анна Семеновна Голубкина была одною из таких подвижниц. Ее путь художницы был трудный и узкий путь. Она чуждалась торных и широких путей славы и успехов. До конца своих дней она дичилась всякой толпы и целомудренно таила в своем сердце любовь к человеку. Она часто отказывалась от заказов только потому, что модель не внушала ей острого интереса, и она предпочитала голодать, но не делать ничего, что было бы ей не совсем по душе.

В эти последние годы у нее было немало скорбей. Она страдала от отсутствия мрамора. Даже с деревом у нее были неудачи — так было, например, с последним куском, предназначенным для головы Льва Толстого: мастера доставили ей негодный материал. Были и другие несчастья. Так, например, формовщики безнадежно испортили большую ее работу — статую девушки, которую она назвала «Березкой». Эту прекрасную работу довелось увидеть только двум-трем лицам. В юном теле девушки, созданном А.С. Голубкиной, была воплощена радостная надежда на какое-то грядущее обновление жизни.

Говоря о художниках «Мира искусства», я пропустил одно имя, может быть, потому, что эта художница столько же принадлежит Петербургу, сколько Парижу. Я говорю

о Елизавете Сергеевне Кругликовой⁵¹⁹. Воспоминания о ней связаны у меня с *rue Boissonade*, где первый раз я увидел художницу в ее ателье; я представляю себе бульвар Монпарнас, прогулки по Парижу, и образы ее монотипий⁵²⁰ сливаются в моем воображении с действительностью: студенческий бал Бюлье, кафе Д'Аркур, площадь Пигаль и вся эта необычайная толпа парижан... У нее есть серия монотипий, посвященных Парижу. Пусть живописцы судят о мастерстве художницы. Мне дорого то, что ее монотипии — ряд знаков, напоминающих о душе Парижа, утомленной и нежной, немного смешной, а чаще насмешливой, порою циничной, порою сентиментальной, но всегда умной и всегда печальной.

Париж и Кругликова напоминают мне еще об одном моем старом приятеле, коего я знаю с гимназических времен. Я говорю о Максимилиане Александровиче Волошине⁵²¹, тоже влюбленном в Париж, как и Кругликова. О Волошине можно писать в этой главе, посвященной художникам, ибо он не только поэт, но и живописец. И даже в стихах, пожалуй, он больше живописец, чем поэт. Макс Волошин всегда был всеобщим любимцем, и на сей раз я вполне сочувствую установившемуся мнению о поэте. Такое справедливое признание не всегда выпадает на долю мастеров слова. В стихах Максимилиана Волошина пленяет ясность и острота мысли, четкость образов и занятность сюжетов. Его стихи сюжетные. Всякая «заумность» и «косноязычие» ему чужды, хотя он очень занят темами Якова Бёме⁵²². Впрочем, человек французской культуры и, несмотря на «истинно-русское» происхождение, человек галльского склада ума, Макс Волошин в своих размышлениях и в своих поэтических опытах делает как-то ясным и, пожалуй, упрощенным туманное германское глубокомыслие. Иные на это могут посетовать. Волошин — очаровательный собеседник или — точнее — рассказчик. В монологе он сильнее, чем в диалоге. У него ум не диалектического склада. У него огромный запас наблюдений, встреч, характе-

ристик, пейзажей и умных анекдотов. Он любит парадоксы бескорыстно и даже самоотверженно. И жизнь свою он построил парадоксально, пренебрегая всем, чем дорожат обыкновенные люди. Ему теперь лет пятьдесят. Он седой человек и не очень здоровый, но он все еще юноша, не утоливший жажды познаний и впечатлений. Стариком он не будет никогда, если даже суждено ему дожить до лет патриарха Мафусаила⁵²³.

Театральные заметки

Будучи еще мальчишкой, в первых классах гимназии, я постоянно бывал в театре — изредка по пятницам у Корша⁵²⁴, а чаще — в Малом театре⁵²⁵, где успел пересмотреть весь тогдашний репертуар и всех мастеров нашей первоклассной драматической сцены. Многих актеров я видел и в частной жизни у моего дядюшки⁵²⁶.

В эти годы у него на журфиксах охотно бывали актеры. Некоторые хаживали и к нам играть в винт с моим отцом. Я смотрел на актеров, как на счастливых волшебников. Театр казался мне чудесным местом, и я сам мечтал об актерском ремесле, разучивал монологи Макбета и Гамлета⁵²⁷, летом на подмосковных дачах устраивал спектакли.

Этим предосудительным делом занимался я с четырнадцатью лет.

Но с годами, продолжая восхищаться Ермоловой⁵²⁸, Федотовой⁵²⁹, Ленским⁵³⁰, Горевым⁵³¹, Макшеевым⁵³², я уже чувствовал, что в Малом театре не все благополучно. Несмотря на зеленую свою молодость, я понимал, как низко стоит репертуар казенного театра. Шекспира и Шиллера ставили нечасто, зато пьесы моего дядюшки, Шпажинского⁵³³ и прочих не очень высоких драматургов не сходили со сцены.

Больно было смотреть на великолепных артистов, которые тратили свои силы на то, чтобы извлекать из ничтожества всякие сомнительные творения репертуарных поставщиков.

Зато актер царил на сцене, был ее хозяином. Режиссер был незаметен. О нем никто и не вспоминал. Декорация почитались чем-то совершенно неважным и неинтересным, по крайней мере, в драме. Зато зрители ценили актерскую игру во всей ее, так сказать, чистоте.

Авторский замысел не был загроможден никакими режиссерскими измышлениями. Сущность театра не была утрачена. На первом плане был человек, личность во всей сложности и многообразии его духовной жизни. Но по мере того как старились и умирали актеры, воспитавшиеся на лучших традициях московской сцены, все очевиднее становилось падение Малого театра.

Пресловутый «реализм щепкинского дома»⁵³⁴ превращался в самый грубый бытовой натурализм. В театре началось какое-то ожирение сердца. На сцене трактовались обывательские страстишки. Драматическое начало рассчитано было на сентиментальность зрителя, комическое — на его чревную смешливость.

Немудрено, что при таком безвременьи спектакли К.С. Станиславского⁵³⁵ в «Обществе любителей искусства и литературы»⁵³⁶ на сцене Охотничьего клуба стали огромным событием для театралов. Впервые заговорили об единстве спектакля, о «постановке», о режиссерской части. Это была своего рода «Америка» для московского общества.

К тому времени, когда театр К.С. Станиславского перебрался с клубной сцены в постоянное помещение, я был уже студентом. Не помню, при каких обстоятельствах завязалось у меня тогда знакомство с актерами Художественного театра. Одним из первых моих знакомцев был В.Э. Мейерхольд, который играл тогда в «Чайке»⁵³⁷ Треплева и в «Одиноких»⁵³⁸ Иоганна. Он и тогда сочувствовал революции, и я, помнится, накануне своего арес-

та дал ему на хранение немалый запас всякой «литературы» и, кажется, мимеограф⁵³⁹. Это обстоятельство почему-то очень меня смущало, когда я сидел в тюрьме, и мне все казалось, что я «провалил» Мейерхольда. Но все сошло благополучно.

Бывал я тогда еще у одной актрисы, М.Л. Роксановой⁵⁴⁰, которая играла в «Чайке» Нину Заречную. Я припоминаю одну прекрасную загородную поездку, которую я предпринял тогда среди зимы в одной небольшой товарищеской компании. В этой поездке участвовала и М.Л. Роксанова.

Мы чудесно прожили три дня в подмосковном имении одного моего приятеля. В нашем распоряжении был большой деревенский дом, тройка лошадей, лыжи... Стариков не было, и мы, набегавшись за день на лыжах, возвращались к вечеру в уютный дом к камину, где каждый рассказывал небылицы и были. Тут экспромтом сочинил я один из первых моих рассказов «Что-то черное». Рассказ был мрачный и таинственный. Я снабдил его эпитафией из Бодлера и посвятил М.Л. Роксановой, за которой все мы тогда почтительно ухаживали...

Мой арест, ссылка и жизнь под надзором в Нижнем Новгороде прервали мои связи с театром. Вернулся я к нему в 1904 году, когда мне удалось, наконец, попасть в столицу. Вскоре я стал заправским театралом, а с 1905 по 1907 годы писал рецензии на все более или менее значительные спектакли. Иногда, впрочем, приходилось писать о спектаклях совершенно ничтожных.

Театральная жизнь Петербурга была тогда бледной и вялой. В Александринском театре⁵⁴¹ утешали ценителей одни старики — Савина⁵⁴², Давыдов⁵⁴³... А в театре В.Ф. Комиссаржевской⁵⁴⁴, который тогда помещался в Пассаже, восхищала нас сама Вера Федоровна, а ее партнеры — увы — были столь же незначительны, как и актеры казенной сцены. Режиссура была случайной и качества весьма невысокого. Еще хуже обстояло дело в театре Яворской⁵⁴⁵. Этой претенциозной актрисе нечасто удава-

лось найти для себя подходящую роль. Хороша она была по-настоящему только в пьесе Стриндберга⁵⁴⁶ «Графиня Юлия». Суворинский театр⁵⁴⁷ был безнадежно вульгарен, и все прочие театральные предприятия были бессильны и чахлы.

Символисты — и я в том числе — решительно отказывались примириться с тогдашним театральным эклектизмом и скукою казенной сцены. В кружках символистов поговаривали о каком-то новом театре. Похоронить натурализм и психологизм старой сцены в самом деле пришла пора.

Идея символического театра⁵⁴⁸ висела в воздухе. Не было только театрального деятеля, который «дерзнул» бы на рискованный опыт. В те годы один только режиссер мечтал о театральной революции.

Это был мой старый знакомый В.Э. Мейерхольд. Но его почти забыли как актера Московского Художественного театра, а его режиссерские опыты были вовсе неизвестны столицам. После закрытых студийных работ при Художественном театре, где, между прочим, актеры под руководством В.Э. Мейерхольда учились читать напевно стихи по моим переводам «Двенадцати песен» Метерлинка, Всеволод Эмильевич уехал в провинцию со своей труппой и там удивлял публику небывалыми сценическими приемами. Работала его труппа, кажется, не очень успешно в материальном отношении. И, когда кончились гастроли, Мейерхольд вернулся с пустою кассой. Приехав в Москву, я застал его в меланхолии и без определенных планов. В то время была мне свойственна уверенность в том, что на путях искусства все препятствия можно преодолеть, и я стал убеждать Мейерхольда переселиться в Петербург, где мне казалось легче найти средства и возможности для основания нового символического театра.

Вскоре в самом деле Мейерхольд перекочевал в Петербург и даже поселился в моей квартире.

В это время вокруг «Факелов» шли оживленные дебаты, и ревнители «мистического анархизма» мечтали о разных начинаниях в духе учения о «последней свобо-

де». Мечтали мы также и о театре. Между прочим, приехавший тогда в Петербург Сулержицкий⁵⁴⁹ настолько увлекся нашими планами, что поехал в Ясную Поляну к Л.Н. Толстому уговаривать его дать «Факелам» какое-либо свое новое произведение. Разумеется, из этого ничего не вышло, но любопытно, что Толстой, по словам Сулержицкого, очень заинтересовался самой идеей «мистического анархизма». Наши с Мейерхольдом попытки найти средства для устройства театра «Факелы» оказались тщетными.

В этих поисках случались с нами иногда комические приключения. Так, например, я до сих пор не могу вспомнить без улыбки нашу поездку в Финляндию к одному знаменитому писателю⁵⁵⁰, у которого жена была актриса. Мы хотели завербовать ее в нашу будущую труппу и надеялась, что она благодаря связям поможет нам организовать желанный нам театр.

Знаменитый писатель и его жена встретили нас чрезвычайно радушно. Они жили в большом отеле довольно далеко от станций железной дороги. После обеда мы пошли с Мейерхольдом в наш номер, и тут разыгрался смешной инцидент. Всеволод Эмильевич, обладавший немалыми способностями комика, стал рассказывать что-то очень нелепое и забавное. Мы смеялись, как мальчишки. Дверь в коридор была отворена. И когда Мейерхольд, уткнувшись носом в мой жилет, захлебывался от смеха, неожиданно на пороге нашей комнаты появился знаменитый писатель. Не знаю почему, мы как-то сразу перестали смеяться и тотчас же почувствовали, что мнительный писатель отнес наше веселое настроение на свой счет. Он сухо позвал нас пить чай, и когда мы через полчаса снова уселись за общий стол, радушие наших любезных хозяев куда-то исчезло. Мы поняли, что наше дело проиграно, и не знали, как поскорее убраться из этого злополучного отеля с его обидчивыми обитателями.

Много раз Всеволод Эмильевич рассказывал в приятельской компании об этом эпизоде — и так забавно, что слушатели буквально корчились от смеха.

Мои добрые отношения с В.Э. Мейерхольдом в ту пору не были секретом для петербуржцев. В журнале «Вопросы жизни» напечатаны были мои статейки о репертуаре и театральных принципах мейерхольдовской студии, гастролировавшей по провинции.

Немудрено, что когда я в моих многочисленных газетных рецензиях трубил о реформе театра, все читатели связывали мои заявления с именем Мейерхольда.

В те времена королем газетных рецензентов считался многоопытный и неглупый *Homo Novus* (Кутель)⁵⁵¹. Он был лидером правой театральной партии и защищал традиции старого театра. Я был лидером левой партии, громял Александринку, Суворинскую театральную лавочку и не стеснялся в своих крайних суждениях. На первых представлениях рецензенты бегали от Кутеля ко мне и обратно, стараясь узнать наши мнения. Потом эти «эклектики» стряпали для газет нечто среднее.

Петербургские театры в январе и в феврале 1906 года переживали тяжелый внутренний и внешний кризис. Революция отразилась непосредственно на отношении публики к театру: общественно-политические события привлекли к себе всеобщее внимание, и театры мало посещались. Что касается кризиса внутреннего, то он характеризовался неуверенностью и расшатанностью постановок, неопределенностью репертуара и слабыми попытками найти выход из рамок старого бытового театра.

В качестве рецензента я, с несколько наивной (по молодости лет) страстностью, нападал на тогдашний репертуар казенной сцены. Вот, например, что я писал по поводу постановки на Александринской сцене «Мама-Колибри» Батайля⁵⁵²: «Нашим казенным театром, — писал я, — по-видимому, очень нравится драматург Анри Батайль: в этом сезоне в Михайловском театре⁵⁵³ идет его пьеса «*La marche nuptiale*»*, и теперь, вероятно, для удовольствия г-жи Савиной поставили в Александринском

* Свадебный марш (фр.). Пьеса написана в 1905 г.

театре «*Maman Colibri*». Эта пьеса имела успех у парижских буржуа...» Изложив фабулу пьесы и разобрав игру актеров, я продолжал: «Теперь о г-же Савиной. Длинный список ролей этой изумительной артистки всегда поражал именами героинь из пьес г-д Сумбатовых⁵⁵⁴ и В. Крыловых⁵⁵⁵. Воистину М.Г. Савина зарыла свой талант в землю. И теперь, когда все чаще и чаще раздаются голоса, требующие, чтобы императорские театры были, по крайней мере, сценической академией, если они не в силах стоять на уровне современного искусства, в это самое время г-жа Савина выступает в роли Мамы-Колибри в пошлой пьесе ничтожного Батайля. Да, Александринский театр последнего времени — это постыдная страница в истории русской культуры... Игра г-жи Савиной в пьесе Батайля — как всегда — возбуждает смешанное чувство удивления и досады: там, где артисты преобладают над автором, там, где диалог отодвигается на задний план и, наоборот, раскрывается эмоциональная сторона характера, созданного артисткой независимо от автора, там испытываешь некоторое эстетическое волнение... Но потом снова звучит ничтожность диалога пьесы, и впечатление тускнеет»... «Пьеса Батайля имела успех. Эта «понятная» пьеса не вызвала ничьих протестов. Автор никого не раздражал, никого не задел. Все благодушно хлопали. Батайль не нарушает покоя обывательских душ. А ведь нельзя сказать, чтобы публика Александринского театра была всегда так доброжелательно настроена: ведь эта самая публика свистела Чехову на первом представлении «Чайки». Толпа не любит переоценки ценностей. Вот почему ей нужны Сумбатовы, Батайли, Александринские театры и «критики», которые умеют быть ее послушными рабами...» И т.д.

Эти мысли, в сущности столь невинные, в то время казались очень «дерзкими», и мои рецензии вызвали крайнее негодование зоилов-присяжных и зоилов-любителей. Из всех моих тогдашних рецензий о постановках Александринского театра, кажется, только одна — об «Антигоне»

Софокла⁵⁵⁶ в переводе Мережковского, в декорациях Головина⁵⁵⁷, была сочувственной.

В театре В.Ф. Комиссаржевской тоже царствовал репертуарный хаос. В 1906 году на его сцене появились следующие разноликие и разноценные авторы — Ибсен, Чехов, Гауптман, Горький, Шницлер⁵⁵⁸, Шолом Аш⁵⁵⁹. Я с немалою запальчивостью бранил эклектизм репертуара и банальность постановок, но игра самой Веры Федоровны восхищала меня, и, конечно, никто из тогдашних критиков не славил ее так, как я.

Еще в декабре 1905 года я писал о Комиссаржевской в роли «Дикарки»⁵⁶⁰ восторженную статью, которую закончил патетической тирадой во вкусе тогдашнего молодого романтизма: «С великой скорбью смотришь на г-жу Комиссаржевскую, которая работает на сцене в эпоху упадка старого театра. Как хочется увести этот светлый талант из отвратительных традиционных кулис, где слепые люди пытаются гальванизировать труп натурализма...». И далее — может быть, с несколько смешным пафосом: «Такая артистка, как г-жа Комиссаржевская, нужна свободному и освобождающему театру, который вместо мертвой рампы принесет с собой иные мятежные огни...» Я убедился впоследствии, что эти мои юношеские восторженные статьи тронули Веру Федоровну, с которой, кстати сказать, — я тогда еще не был знаком. Брат Веры Федоровны, Ф.Ф. Комиссаржевский⁵⁶¹, в своих воспоминаниях, опубликованных после смерти сестры⁵⁶², писал между прочим: «Я помню, Вере Федоровне очень понравилась эта статья. Она даже собиралась писать автору ее, повидаться с ним, поговорить о театре «живой души»... В эту пору в ней уже созрели мысли о новом театре...»

Мое личное знакомство с Верой Федоровной состоялось позднее, почти через год после появления этой статьи, ее заинтересовавшей. Эта статья, между прочим, как мне потом рассказывали люди, хорошо знавшие Веру Федоровну, внушила ей мысль пригласить в качестве режиссера В.Э. Мейерхольда.

Так положено было основание новому театру на Офицерской⁵⁶³. Мы теперь все знаем, как трагически кончилась эта встреча двух даровитейших, но столь непохожих друг на друга людей⁵⁶⁴, Мейерхольда и Комиссаржевской.

Мое положение как театрального критика стало весьма затруднительным. Все почему-то ждали, в том числе и сам Мейерхольд, что я буду трубадуром нового театра. Но при первых же сценических опытах Мейерхольда душа моя раскололась.

С одной стороны, я не мог не чувствовать, что здесь, на Офицерской, театр нашел, наконец, свою настоящую театральную форму. Все эти «Александринки» и «Суворинские театры» сразу стали чем-то жалким и провинциальным по сравнению с нарядными и смелыми спектаклями Мейерхольда. Но, с другой стороны, я не менее реально почувствовал, что этот новый путь в искусстве не тот мне желанный путь, о котором я мечтал. Я почувствовал в театре Мейерхольда привкус безответственного декадентства и экспериментализма, которые были так характерны для московских эстетских кружков и журнала «Весь». Но Мейерхольд «закусил удила». Упоенный возможностью распоряжаться покорною ему труппою и всем аппаратом доставшегося ему театра, он не терпел уже никакой критики. Мои рецензии, которые всем казались весьма лестными для Мейерхольда, ему, напротив, казались недостаточно хвалебными. И он, и его поклонники обижались на меня. А между тем я сознавал, что доля ответственности за этот опасный опыт с новым театром лежит и на мне. Я видел, как личность актера приносится в жертву эффекту зрелища, и согласиться с этим декадансом никак не мог. Особенно меня пугала судьба такой дивной актрисы, как В.Ф. Комиссаржевская, которая, как птица в сетях, билась в сценических условиях, созданных Мейерхольдом.

Правда, иногда Мейерхольд отступал несколько от излюбленных им приемов и освобождал от своих пут актрису. Так это было в возобновленной им постановке «Кукольного дома»⁵⁶⁵, и я, обрадованный, в своей рецензии

старался доказать, что В.Ф. Комиссаржевская в новых сценических условиях чувствует себя «свободнее и окрыленнее», но эта постановка была вовсе не характерной для тогдашней художественной программы Мейерхольда.

Вершиною творчества Мейерхольда, его наилучшим и характернейшим достижением была постановка «Балаганчика»⁵⁶⁶ Блока. «Идеальной постановкой маленькой феерии «Балаганчик» я обязан В.Э. Мейерхольду, его труппе, М.А. Кузмину и Н.Н. Сапунову⁵⁶⁷», — писал А.А. Блок в августе 1907 года, т.е. спустя восемь месяцев после постановки пьесы. Первое представление состоялось 21 декабря 1906 года. Все, кто был на этом первом представлении «Балаганчика», помнят, какое страстное волнение охватило зрительный зал, какое началось смятение в партере, когда замерли последние звуки острой, праной, тревожной и сладостной музыки Кузмина и занавес отделил зрителей от загадочного и волшебного мира, в котором жил и пел поэт Пьеро. Я никогда ни до, ни после не наблюдал такой непримиримой оппозиции и такого восторга поклонников в зрительном зале театра. Неистовый свист врагов и гром дружеских аплодисментов смешались с криками и воплями. Это была слава. Было настоящее торжество. Редакция газеты, в которой я писал тогда театральные рецензии, отказалась на другой день поместить мою статью, благоприятную и для Блока, и для Мейерхольда, ссылаясь на то, что я слишком близко стою к поэту и к театру и потому пристрастен в моей оценке. Формально редакция газеты была права; еще до начала репетиции я читал актерам пояснительное слово к «Балаганчику», и В.Э. Мейерхольд не случайно в описании спектакля посвятил эту постановку мне. Но мне было очень неприятно отказаться от возможности написать об этом замечательном спектакле. В газете появилась лишь краткая информационная заметка — и ничего больше. Только теперь, когда прошло более двадцати лет, для всех очевидно, что постановка «Балаганчика» — один из значительных этапов в истории русского искусства.

Как он был поставлен? Вот приблизительная внешняя схема постановки в изложении самого Мейерхольда: «Вся сцена по бокам и сзади завешена синего цвета холстами; это синее пространство служит фоном и оттеняет цвета декораций маленького театра, построенного на сцене... Перед театриком на сцене, вдоль линии рампы оставлена свободная площадка. Здесь появляется автор, как бы служа посредником между публикою и тем, что происходит на маленькой сцене. Действие начинается по сигналу большого барабана; сначала играет музыка, и видно, как суфлер влезает в будку и зажигает свечи... На сцене длинный стол, до пола покрытый черным сукном, поставленный параллельно рампе. За столом сидят мистики так, что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук. Оказывается, это из картона были выкроены контуры фигур, и на них сажей и мелом намалеваны были сюртуки, манишки, воротнички и манжеты. Руки актеров просунуты были в круглые отверстия, вырезанные в картонных бюстах, а головы лишь прислонены к картонным воротничкам... Арлекин впервые появляется из-под стола мистиков. Когда автор выбегает на просцениум, ему не дают договорить начатой им тирадой, за фалды сюртука кто-то невидимый оттаскивает его назад за кулисы⁵⁶⁸...» И все в таком роде... На сцене торжествует откровенный шарж и гротеск, ничем не смягченный и не подслащенный. Очаровательные и дерзкие краски костюмов и декораций, созданных тогда Н.Н. Сапуновым, и увлечение актеров, влюбившихся в поэта и его создание, сделали этот спектакль совершенно исключительным по цельности плана и согласованности игры, декораций, музыки и самого поэтического текста.

Каково же происхождение этого текста? Я позволю себе сделать маленькую историко-литературную справку. У Блока есть небольшое стихотворение, написанное, по видимому, в 1904 или 1905 году «Балаганчик» — («Вот от-

крыт балаганчик...») ⁵⁶⁹. В конце 1905 года я предложил Александру Александровичу разработать в драматическую сцену тему этого стихотворения. Я просил у него эту вещь для альманаха «Факелы», который я в то время подготавливал к печати. Блок согласился.

21 января 1906 года Александр Александрович писал мне: «Надеюсь, что успею написать «Балаганчик», может быть, даже раньше, чем Вы пишете. Вчера много придумалось и написалось. Как только кончу, дам Вам знать...»

23 января 1906 года другое письмо: «Балаганчик» кончен, только не совсем отделан. Сейчас еще займусь им. Надеюсь вчера видеть Вас у Сологуба, чтобы сообщить. Во многом сомневаюсь. Когда можно будет почитать его?» К этому же времени по-видимому, относится еще одно письмо, без даты: «Милый Георгий Иванович. Я очень нежно Вас люблю, и Вы любите меня также. Только понимайте меня так же, как поняли в том, что написали о «Балаганчике». Всегда понимайте, пожалуйста...» И в конце письма опять: «Пожалуйста, знайте, что я Вас люблю очень по-настоящему. Крепко целую Вас. Ваш А. Блок».

Теперь, когда опубликован дневник Блока за 1911—1913 годы, я не могу не перечитывать этой нежной и доброй записки поэта без улыбки. Любовь Александра Александровича ко мне длилась не очень долго, года три-четыре, не больше, и даже мои стихи, которые нравились ему в 1906 году ⁵⁷⁰, через пять лет перестали нравиться. Впрочем, за год до своей смерти Блок снова искал со мной дружеской встречи, и у нас состоялось в Москве свидание вовсе не безразличное. И он опять цитировал когда-то полюбившиеся ему мои стихи.

Вернусь, однако, к «Балаганчику». Историко-литературный и сравнительно-психологический анализ стихотворения и пьесы под тем же заглавием «Балаганчик» без труда устанавливают связь этих двух произведений. Характерно для Блока то, что не прямая идейная схема, а существо образа-символа предопределяло для него всегда подготавливавшиеся поэтические творения. Так и здесь:

паяц, перегнувшийся через рампу с криком: «Помогите. Истекаю клюквенным соком...», — послужил темой для создания театрального «Балаганчика».

Если же от внешнего перейти к внутреннему и попробовать восстановить психологию Блока, придется признать некоторую зависимость поэта от тех переживаний, которые возникли тогда в петербургском обществе или, по крайней мере, в известных его кругах. Эта была эпоха, когда поэты рискнули заподозрить многие святыни, когда какой-то страстный хмель крушил головы тем, кто полусознательно вошел в круг предчувствий, связанных с первым революционным взрывом 1905—1906 гг. Были даже попытки идеологически объяснить и обосновать этот романтический опыт. Вот одной из таких попыток и была моя книга «О мистическом анархизме». По поводу этой книги Александр Александрович Блок писал мне 7 июля 1906 года: «Все лето думаю о многом, связанном с этой книгой. Прочел и еще буду возвращаться...»

Защищая драматические опыты символистов на столбцах газеты, я иногда делал промахи. Так, например, стараясь оправдать неудачную пьесу Ремизова «Бесовское действие»⁵⁷¹, я ссылаясь на цензурное искажение текста, поверив автору, который жаловался мне на цензурный комитет. По поводу моей рецензии Главное управление по делам печати прислало в газету опровержение, из коего было ясно, что цензура вымарала всего лишь несколько слов. Я поместил со своей стороны объяснение по этому поводу⁵⁷². Прислал «письмо в редакцию» и сам А.М. Ремизов. Не могу не привести здесь текста этого забавного письма: «Ввиду опровержения Главного управления по делам печати по поводу заметки рецензента вашей уважаемой газеты, считаю долгом дать следующее разъяснение. Действительно, количество строк, исключенных цензурой из представленного мною экземпляра, в общей сложности 4—5. Действительно, если глазом окинуть, пожалуй, и не заметишь; вот то же, если у человека отрезать какой предмет: всего какой-нибудь язык или еще что, так, пожа-

луй, тоже не заметишь. От уничтожения, например, «рясы» в «Бесовском действе», где все действие вертится у монастырских стен, само собою уничтожаются сцены, где главное рясы, и т.д. Экземпляр для театра, который подавался в цензуру, ввиду общих цензурных требований, выжимался в две руки жгутом и уж в подсохшем виде сдан был. И рецензент прав, утверждая, что «Бесовское действо» шло в искажении независимо от автора его...»

Наконец назрел и внутри самого театра В.Ф. Комиссаржевской тот конфликт, предвидеть который можно было с начала деятельности в нем В.Э. Мейерхольда. По поводу ухода В.Э. Мейерхольда из театра Комиссаржевской я счел своим долгом поместить в газете следующую заметку: «Мне приходилось писать обо всех постановках В.Э. Мейерхольда (и не только на столбцах «Товарища»), — и далеко не всегда я соглашался с планами и тенденциями этого режиссера. Скажу даже более: его идея «плоского» театра, поскольку она претендует на будущее, мне враждебна по существу: «плоский» театр уводит нас далеко прочь от театра-действия и приковывает нас к театру-зрелищу. Приходилось мне также протестовать иногда и против репертуара театра, хотя бы, например, по поводу злополучного Ведехина⁵⁷³. Но теперь, когда деятельность В.Э. Мейерхольда насильственно прервана в театре, который создан его трудом, мне хочется отметить то положительное, что было сделано этим даровитым и смелым искателем новых сценических форм. Главная заслуга В.Э. Мейерхольда заключается в том, что он последовательно и твердо проводил в своих постановках принцип «условного» театра. Пусть не всегда этот принцип применялся удачно, но нельзя отрицать того, что элементы художественного творчества всегда присутствовали в опасных опытах, на которые решался В.Э. Мейерхольд.

Еще более значительной кажется деятельность В.Э. Мейерхольда, когда сравниваешь ее с деятельностью других петербургских и московских режиссеров: один только Станиславский и его ученики представляют собою

серьезную художественную школу, с которой необходимо считаться, — все остальные господа руководители театров не давали и не дают нам ничего, кроме шаблона, скучного и бесцветного. Каждая премьера театра В.Э. Мейерхольда возбуждала в обществе живейший интерес, толки и споры, нарушавшие мертвый сон нашего сценического болота. Ведь надо признать тот факт, что до вступления В.Э. Мейерхольда в театр В.Ф. Комиссаржевской в Петербурге не было ни одного театра: были только отдельные артисты и артистки, иногда высокоталантливые, как, например, сама В.Ф. Комиссаржевская. Постановки «Сестры Беатрисы»⁵⁷⁴, «Балаганчика», «Жизни человека»⁵⁷⁵ и «Победы смерти»⁵⁷⁶ — это этапы в истории русского театра...»

Вскоре В.Э. Мейерхольд был утешен. Дирекция императорских театров пригласила его в качестве режиссера, и петербуржцы имели удовольствие увидеть талантливого экспериментатора сцены в роли устроителя нарядных и пышных спектаклей. Это уже не были опыты режиссера-декадента.

Мейерхольд доказал, что он на все руки мастер. Это были блестящие парадные зрелища, украшенные к тому же таким великолепным декоратором, каким явился тогда перед нашею публикой художник Головин.

О тогдашних постановках Художественного театра мне приходилось писать во время гастролей москвичей в Петербурге. Я писал о чеховских спектаклях, о «Бранде» и «Росмерсгольме» Ибсена, о «Борисе Годунове» Пушкина и о других⁵⁷⁷. В одной моей рецензии я резко разошелся со всею критикою. Это была моя статья о постановке «Драмы жизни» Гамсуна⁵⁷⁸. Надо сказать, что и в самом театре мнения об этой постановке разделились.

Не все были ею довольны. Но я горячо приветствовал этот опыт Художественного театра и до сих пор убежден, что К.С. Станиславский, создатель этого замечательного спектакля, удачно нашел тогда своеобразную сценическую форму для «реалистического символизма» скандинавской драмы. Этот спектакль мог бы стать новым этапом на пу-

тях Художественного театра, если бы актеры и зрители поддержали тогда К.С. Станиславского. К сожалению, спектакль остался непонятым и одиноким в репертуаре театра. Но мне он показался чрезвычайно убедительным как некое художественное целое. Можно было почувствовать в нем бледный свет норвежского солнца, увидеть среди фиордов странных людей, утомленных любовью. Со сцены веяло безумным севером, где царствует безрадостный холод и дикая слепая любовь. Перед зрителями возникали из глубины сланцевой горы какие-то тяжелые работники с молотами и кирками; вокруг жилища Терезиты бродили загадочные люди, закутанные в меха, с мигающими фонарями в руках. Терезиту превосходно играла О.Л. Книппер⁵⁷⁹. Актриса искусно передала образ этой гамсуновской причудницы, изнемогающей от страсти и гордости. Вишневецкий⁵⁸⁰ хорошо играл рыжего Енса Спиро с его вожделениями, звериными и пьяными. Прекрасен был Москвин⁵⁸¹ в роли Отермана. Его бред-шепот в последнем акте был настоящим художественным открытием. Раскрывалась северная душа, раздавленная как будто бы темною глыбою сумасшествия. Пьесу ставили Л.А. Сулержичский и К.С. Станиславский, который великолепно играл в ней Карено. Прекрасны были декорации В.Е. Егорова⁵⁸² и Н.П. Ульянова⁵⁸³. И вот, несмотря на всю прелесть и своеобразие этого спектакля, из всех рецензентов один только я принял этот спектакль как победу, а не как поражение Художественного театра. Дирекция как будто сама испугалась того поэтического волшебства, каким был проникнут этот удивительный спектакль. Буржуазная чернь, наполнявшая зрительный зал, провалила злорадно этот смелый сценический опыт, и Художественный театр повернул на старую дорожку сомнительного натурализма и не менее сомнительного импрессионизма, отказавшись от поисков реализма, заключенного в символах высокой поэзии и настоящего подлинного театра.

Из театральных предприятий того времени надо отметить спектакли так называемого Старинного театра⁵⁸⁴.

В особом проспекте, который был опубликован накануне первого спектакля, дирекция объясняла, что главная ее задача — реставрация сценических постановок различных эпох, начиная от эпохи античного театра и кончая театром времени Мольера⁵⁸⁵. «Археологическая и историческая правдивость постановки и передачи духа и характера эпохи в данном случае должны иметь решающее значение», — писали авторы проспекта. На деле, однако, спектакли Старинного театра дали иные результаты, по видимому, неожиданные для некоторых «зачинателей» этого дела и, кажется, более ценные и значительные, чем простая реставрация старинных постановок. В спектаклях Старинного театра не оказалось строгой «археологической и исторической» правдивости, к которой стремилась дирекция, зато в этих постановках оказалась правда художественная. В длинном списке сотрудников Старинного театра было немало мастеров «Мира искусства». Вот эти художники, все люди с хорошим театральным вкусом, как-то незаметно одолели «реставраторов».

Торжеством этой партии была постановка «Лицедейства о Робене и Марион»⁵⁸⁶, пастурели XIII в., сочиненной Адамом де ла Галль (*Adam de la Halle*)⁵⁸⁷, знаменитым в свое время трувером⁵⁸⁸, прозванным *Bossu d'Arras**. Несмотря на семь веков, прошедших со времени появления на сцене этой «игры», она представляет и для нас немалый интерес. От нее все еще веет нежным лиризмом и забавным юмором.

Талантливый трувер был, очевидно, большим скептиком и насмешником, и его пастурель вовсе не наивная и не сентиментальная пьеса. Когда читаешь диалоги Марион и трусливого Робишона, чувствуешь деревню, вечную деревню, наивно-лукавую и буржуазную; когда прислушиваешься к речам рыцаря, этого «вечного» дворянина, нельзя не улыбаться вместе с Аррасским горбуном. Когда пастушка Марион рассказывает Робену о своем при-

* Арраский горбун (фр.).

ключении с рыцарем, слышишь неизменную повесть, любовную и смешную:

Был человек здесь на коне.
Себе напялив рукавицу,
На кулаке держал он птицу,
И он просил любить его,
Но не дождался ничего.

Горделивый и забавный рыцарь, который, вероятно, «несет на своих плечах не одно дворянское поколение», был очень хорош на сцене Старинного театра. Рыцарь выезжал на деревянном коне, и все движения и жесты этого охотника с соколом были глубоко комичны. Реставрированная старая наивная музыка, простодушные трэске⁵⁸⁹ и фарандола⁵⁹⁰, поставленная Фокиным⁵⁹¹, и превосходные декорации М.В. Добужинского доставили любителям большое наслаждение. Этот спектакль открыл зрителям целый мир эстетических переживаний, связанных с поэзией Средневековья, — с поэзией, а не с бытом того времени. Тот, кто умеет ценить средневековую миниатюру (вроде тех миниатюр, которыми украшены, напр., «*Grandes chroniques de St.-Denis*») *, должен оценить и «Лицедейство о Робене и Марион». В этом зрелище была очаровательна фантастика линий и красок, странное смешение средневекового стиля с восточными мотивами (рисунок ковров, головные уборы и что-то вроде халатов — влияние крестовых походов на моду того времени). От спектакля веяло многовековой культурой, утомленной и себя пережившей. Насмешливый трувер, в каком-то смысле опередивший своих современников, в своей «игре» подает руку через голову многих поколений изысканным художникам нашего времени.

Позднее в моих скитаниях по Европе, да и у нас, когда приезжали к нам заграничные гастролеры, я видел немало знаменитых актеров и прославленных режиссеров. Должен признаться, что сердце мое не лежит к западно-

* «Большие хроники св. Дени» (фр.).

европейскому лицедейству. Не то, чтобы я отрицал превосходное мастерство, какое мы видим в *Comédie Française*⁵⁹², или не оценил вообще европейских актеров, но мне все кажется почему-то, что они даже при серьезной школе и высокой талантливости никогда не преодолеют эмоциональности и психологизма.

Впрочем, спешу оговориться, один актер, которого я видел, еще будучи юношей, покорила меня всецело. Это был старик Сальвини⁵⁹³. Подумать только, что его видел и Аполлон Григорьев⁵⁹⁴, написавший о нем свою знаменитую статью. Правда, Аполлон Григорьев видел его еще молодым, а я глубоким стариком, но для Сальвини не было возраста. Я видел его в роли Отелло. Я многих видел знаменитых Отелло, в том числе Росси⁵⁹⁵. Но никто из них не разгадал какой-то страшной тайны ревнивого и, главное, оскорбленного в своем целомудрии сердца, как этот великий трагик. Я помню, как у меня душа замерла в настоящем ужасе, когда Отелло наконец поверил Яго. Сальвини в этом месте прерывал диалог и тихо уходил в глубь сцены. Он стоял спиной к зрителям, чуть касаясь какой-то балюстрады. Его плечи едва вздрагивали. Зрительный зал безмолвствовал, загнипотизированный волшебником. Это был огромный актер.

Из европейских актеров я любил больше иных Элеонору Дузе⁵⁹⁶, которую видел почти во всех ее ролях. Я написал о ней ряд статей. Но и эта замечательная актриса была прекрасна только тогда, когда передавала с искусством, ей свойственным, все психологические тонкости той или иной героини, но страстность в ее игре никогда не преодолевалась каким-то иным, высшим началом. А ведь если актер остается рабом страсти и не подчиняет ее духовной правде, если, одним словом, в театральном «действии» нет того, что античный человек называл «очищением»⁵⁹⁷, где же истинно подлинный театр? А как редко осуществляется это настоящее чудо искусства...

Говоря об актерах иностранных, не могу не вспомнить об одной замечательной японской актрисе. Я горжусь

тем, что, кажется, едва ли не первый из москвичей обратил на нее внимание. Ее привез в Москву какой-то не очень опытный антрепренер и устроил ее гастроли в маленьком театрике в Мамоновском переулке на Тверской⁵⁹⁸. Здесь шли в то время (это был 1913 год) одноактные пьески и миниатюры, иногда с пением и танцами. Вот здесь и появилась впервые г-жа Ганако-Оота⁵⁹⁹ со своей труппой. Я видел ее в двухактной драме «Гроза-Грозей» и в одноактной пьесе «Служанка Отаке». И на этот раз, конечно, не могло быть и речи о трагическом катарсисе. Едва ли вообще в японской культуре могла бы возникнуть эта тема. Но зато в игре этой актрисы была такая психологическая тонкость и такое удивительное мастерство, какого я не встречал на у одной из европейских актрис. Японские пьесы, в которых выступала Ганако, построены так, что все эмоциональные и психологические краски приурочены к очень простой фабуле, не претендующей на глубину и значительность. Зато автор дает актрисе гибкий и мягкий, как воск, диалогический и мимический материал. Ганако пользовалась им виртуозно. Когда начались толки об этой актрисе в Москве и публика устремилась в Мамоновский переулок, Оленина-д'Альгейм⁶⁰⁰ пригласила Ганако в свой «Дом песни»⁶⁰¹, и Ганако-Оота выступила на «вечере японского искусства» в Малом зале Консерватории. Перед спектаклем чудесная японка открыла тайны своего артистического мастерства. Прежде всего она показала себя как танцовщица. Она дала три хореографических образца в порядке их сложности — «Детский танец», «Харасуме» (Весенний дождь) и «Сиокуми» (Любовь девушки). Это был воистину «драматический балет», нечто аналогичное тому московскому артистическому начинанию, которое в первые годы революции в маленьком театре на Дмитровке⁶⁰² обратило на себя внимание знатоков театра и танца, но потом по каким-то случайным внешним причинам утратило театральное помещение и замерло на несколько лет — и только теперь, как я слышал, вновь возобновляет свою деятельность.

В этом театрике выступила впервые Л.М. Лебедева⁶⁰³ в роли мальчика-татарчонка в «Восточном рынке», в роли девушки в «Индусской легенде» и в лирическом танце в «Сказке города». Когда я увидел на сцене эту Лебедеву, я тотчас же вспомнил о чудесной японке. Лебедева — русская соперница Ганако-Ооты. Впрочем, это уж не столько «воспоминание», сколько наше театральное сегодня.

М.Н. Ермолова

В первый раз я увидел Ермолову, когда мне было лет девять, в доме у моего дядюшки, небезызвестного в свое время драматурга, ныне покойного В.А. Александрова, в чьих пьесах всегда самоотверженно играла Мария Николаевна, спасая их от провала и забвения. Ермоловой тогда было лет тридцать пять.

В доме моего дядюшки постоянно бывали актеры тогдашнего Малого театра — Ленский, Горев, Макшеев, Федотова... Я привык слушать их выразительные актерские интонации, мне нравились их не совсем обыкновенные жесты и позы, я жадно запоминал их рассказы, не всегда, впрочем, назидательные и педагогически полезные... Мария Николаевна бывала у моего дядюшки не часто, но мне посчастливилось увидеть ее раза три-четыре. И в тот памятный для меня вечер, когда я впервые увидел ее, она сразу меня пленила чем-то, и я навсегда остался ее верным поклонником, а между тем у меня, мальчугана, тогда произошел с нею весьма забавный спор об актерском искусстве.

Дело в том, что я с малых лет был страстным любителем декламировать стихи. Актеры знали мою слабость и забавлялись тем, что заставляли меня их читать. Никто меня не критиковал, и я принимал за чистую монету знаки одобрения, на которые не скупилась благодушные слу-

жители Мельпомены⁶⁰⁴. И в тот вечер меня заставили читать стихи. Я не смущаясь стал читать «Бесы» Пушкина. Я упивался музыкой метели и читал стихи, сохраняя, как мне казалось, все оттенки пушкинского ритма, и мне даже в голову не приходило, что можно стихи читать как-то иначе, на прозаический разговорный лад. Представьте себе мое удивление, когда неизвестная мне дама (я не знал еще тогда, что это была Ермолова) не совсем одобрила мое чтение. По свойственной ей прямоте и честности Мария Николаевна даже чтение девятилетнего мальчишки приняла всерьез.

— Ты, дружок, читаешь нехудо, — сказала она своим грудным и несколько глухим голосом, — но зачем ты так поешь? У тебя хорошо вышло, когда ты прочел «Страшно, страшно поневоле среди неведомых равнин». Мне даже самой страшно стало. Но не надо декламировать нараспев. Читай стихи просто, как мы все разговариваем в жизни.

Я почувствовал, что краснею; потупился и молчал.

— Что ж ты молчишь? — спросила Мария Николаевна. — Разве не согласен?

— Нет, — пробормотал я, изнемогая от смущения. — Надо нараспев. Так лучше.

— Ах, какой упрямый! — сказала Мария Николаевна без гнева, но совершенно серьезно.

Этот спор с Марией Николаевной, который вел я сорок лет тому назад, определил все мое дальнейшее понимание стихов и чтение их. Я так и не согласился с гениальной актрисой в том, как надо трактовать стихи на сцене. А между тем я покорился ее гению и всю жизнь чтил великий дар, которым она обладала, но, конечно, не потому, что она читала стихи как прозу, а *несмотря на эту ее ошибку*. В моей восторженной оценке ее внутренней артистической силы меня не поколебало даже однообразие ее типового психологического рисунка, отсутствие художественных деталей в исполнении ролей и вообще небрежность к форме. Тайна очарования Ермоловой была вовсе

не в ее актерском мастерстве. Иные актрисы были выше ее в этом отношении — Элеонора Дузе, даже Федотова, Савина и еще кое-кто тоньше играли, умнее задумывали роли и владели иногда своим ремеслом лучше Ермоловой. Но у Марии Николаевны было нечто, что было вовсе не доступно ее соперницам. В самом существе Ермоловой, в ее личности, были какие-то патетические силы, и этот ее необычайный пафос покорял все сердца без исключения. Ермолова чувствовала мир как трагедию. Какую бы роль она ни играла, а ей часто приходилось играть пустые роли в ничтожных пьесах, — все равно ей всегда удавалось наполнить предназначенную ей роль этой своей необыкновенною духовной энергией. Ермолова была однообразнее Элеоноры Дузе, которая умела раскрывать все оттенки и детали той или другой психологии. Ермоловой не нужна была психологическая сложность: ей нужно было раскрыть и показать глубину своей собственной личности. Она воистину преодолевала психологию и, значит, преодолевала страсти. Вот почему Ермолова была подлинная *трагическая* актриса. Она повседневные и поверхностные драмы страстей и страстишек, сочиненные современными ей драматургами, возвышала до настоящей трагедии. Она играла самое себя и только себя. В.Ф. Комиссаржевская тоже играла себя, но у нее душа пела, как волшебная птица, чье имя — лирика. Комиссаржевская представляла собой совершенный тип *лирической* актрисы, Ермолова — актрисы *трагической*.

Трагический пафос Ермоловой был так велик, что в зрительном зале ей покорствовали все без исключения — и ее поклонники, и ее враги. У нее были и враги-хулители, которые негодовали на нее за ее небрежность к «отделке» роли, за ее «грубый» голос, за то, наконец, что она, не считаясь с ансамблем, ломает пьесу, понуждая слушать и смотреть себя одну. Но и эти хулители не смели ее критиковать, пока она играла. В театре, во время ее игры, осуществлялось то *чудо* искусства, какого я после Ермоловой не наблюдал ни разу, хотя немало прекрасных мас-

теров сцены довелось мне видеть. Один только старик Сальвини покорял так же все души без исключения. У нас, русских, из мне известных современников был еще один актер, очень неровный и даже в каком-то смысле нескладный, но который в некоторых ролях, когда был, что называется, «в ударе», тоже владел всем зрительным залом чудотворно. Таким актером был покойный Горев. Таким он был иногда в «Короле Лире»⁶⁰⁵. Но у него этот пафос был не всегда, а Ермолова была патетична по самой своей природе.

Казалось бы, при таких свойствах ее духовной природы она могла быть выше тогдашнего натурализма Малого театра, но сценические традиции были так сильны, что Мария Николаевна не могла их побороть, и в конце концов форма ее игры не отличалась от игры ее современников. Вот почему она и стихи читала, как прозу, боясь удалиться от житейского правдоподобия. Впрочем, надо и то сказать, что пятистопный ямб, каким переведены у нас классики, нередко так мало похож на стихи, так наивно изуродован дурной инструментовкой и бедною ритмикой, что чтение подобных виршей естественно понуждало актера махнуть рукою на музыкальность стиха и трактовать текст прозаически.

Я видел Ермолову почти во всех ее значительных ролях. Из них две кажутся мне наиболее для нее характерными и выразительными — роль Марии Стюарт⁶⁰⁶ и роль Орлеанской Девы⁶⁰⁷. Пафос Шиллера был ей созвучен. Мы теперь привыкли несколько свысока смотреть на Шиллера. Но надо признать, что если он неизмеримо ниже Шекспира как художник, психолог и мудрец, зато в нем есть какая-то неувядающая сила воодушевления. Недаром Достоевский в юности питал к нему пристрастие, от коего не совсем был свободен и позднее. Вот эта сила воодушевления, какая-то энергия воли и праведного гнева были близки сердцу Ермоловой. Актриса была изумительна в роли Марии Стюарт. И дело было не в истолковании роли. Ермолова играла не королеву, не чувственную страстную католичку, не женщину со всеми ее очарованиями

и прелестями, свойственными ей несмотря на плен, — нет, она играла себя, она рассказывала миру с подмостков театра о своей тоске по свободе, о своем праведном гневе, о своей готовности умереть за истину...

Эта ее всенародная речь была исполнена такой пламенной силы, что не приходилось уже критиковать ее игру. В театре совершалось нечто более важное, чем исполнение актрисой предназначенной ей драматургом роли. И пусть игра Ермоловой была в каком-то смысле беднее того задания, какое предлагал ей Шиллер. Зато ее сценическое дело было неизмеримо богаче в духовном отношении. Впрочем, я не хочу сказать, что в Ермоловой будто бы вовсе не было художника и мастера. Те, кто помнят, например, сцену встречи на охоте Марии и Елизаветы, когда эти роли играли Ермолова и Федотова, не забыли, вероятно, и совершенно покоряющего, чисто эстетического и театрального впечатления от этого удивительного поединка двух королей, двух женщин и двух актрис. Но не это было главное в Ермоловой.

Особенно это становилось очевидным, когда Мария Николаевна играла Орлеанскую Деву. Я видел ее еще молодой, когда мне было лет пятнадцать, — и позднее, разумеется, несколько раз.

В той сцене, где Иоанна рвет цепи, театральный зал буквально замирал в благоговейном трепете. В эти мгновения никто не смел не верить, что совершилось настоящее чудо. Такова была Ермолова.

Несмотря на то, что лично, биографически, Мария Николаевна никогда не имела никакого отношения к революции, ее имя стало знаменем свободолюбивой молодежи той эпохи. Все чувствовали, что ее гений ломает как-то скучный, косный и серый быт, в коем задыхалась тогдашняя Россия.

Появление на эстраде Ермоловой всегда сопровождалось шумными манифестациями. Она стояла такою, какою ее написал Серов⁶⁰⁸, — и весь зал шумел, приветствуя не актрису, не любимую «каботенку»⁶⁰⁹, а героиню. И эта

удивительная женщина читала стихи, нередко плохие, нередко с неверными интонациями, не чувствуя и не давая почувствовать ритма, и все же это было чудесно, прекрасно и увлекательно. И все души, загипнотизированные ее чудодейственной волею, летели, как на крыльях, в неизвестную лазурь.

Умерла Ермолова. Я пошел на панихиду в ее квартиру. На стенах рядом с большими портретами Мольера и Шекспира висели портреты сомнительных драматургов и актеров. Обстановка не обличала вообще хорошего вкуса и строгого стиля. Но там в гробе покоилась на подушке прекрасная голова великой трагической актрисы, которая всю жизнь прожила в окружении, ее недостойном, в условиях серого быта кулис и так называемой интеллигенции тогдашней либеральной Москвы.

Годы странствий

В первые годы моей трудовой жизни я два раза был в плену. В первый раз — в плену царского правительства; во второй раз — в плену редакторских дел, идейной полемики и вообще суетной «литературы», от коей предостерегал поэтов мудрый Верлен. Этот второй плен⁶¹⁰, более горький, чем тюрьмы и ссылки, длился целые пять лет, примерно, с 1904 по 1909 год.

Я наконец почувствовал, что «больше не могу». К тому же я с ужасом заметил, что читатели меня знают и мною интересуются, приписывая мне качества, для меня, в сущности, вовсе не характерные. То, что я ценил сам и что любили во мне близкие мне поэты, до публики как-то не доходило. Она привыкла связывать мое имя с «мистическим анархизмом», с проповедью бунта, с «перманентной революцией», с яростною полемикой и вообще со всяческим шумом. Но сам-то я знал, что

«бунт» для меня был путем, а не целью; сам-то я знал, что во мне была и тишина⁶¹¹; иные, немногие, умели слушать и слышать эту тишину, но большинство осталось к ней равнодушным.

Беспорядочный и беспомощный в своих житейских делах, я не умел также устраивать и своих дел литературных. Мои книги выходили в таких издательствах, как «Оры», «Золотое руно», «Факелы» и пр. — в них, конечно, было лестно печататься, но материальных благ они не давали. Поэтому я обрадовался, когда коммерчески-деловой «Шиповник» предложил мне издать мои рассказы. Первый и второй том рассказов быстро разошлись. Потребовалось второе издание. А в 1908 году «Шиповник» предложил мне издать собрание моих сочинений в шести томах. В это же время ко мне обратилось с таким же предложением издательство «Просвещение». Я наконец почувствовал почву под ногами. Но должен признаться, что, хотя мне теперь, когда я пишу эти строки, уже сорок девять лет, мне кажется почему-то, что тогдашнее «собрание сочинений», о коих писалось немало, о коих писал обстоятельно даже покойный Д.Н. Овсянико-Куликовский⁶¹², критик скучнейший, но почтеннейший, которого мудрено было раскатать на писание о современниках, — мне кажется, что эти шесть томов все еще были какою-то «пробой пера». И я не складываю оружия. Я не принадлежал к тем счастливым, которые могли работать не спеша, осторожно и вовремя публиковать свои вещи, извлекая из этих публикаций материальные и моральные выгоды. Жизнь моя была не устроена. Я всегда был бродягою и скитальцем. Я писал мои рассказы и повести, всегда связанный обязательствами и всегда взволнованно.

Итак, в 1908—1909 годах я освободился от кружков, направлений, партий, редакций и стал работать более спокойно и сосредоточенно. Впрочем, блудя справедливость, скажу, что годы моей редакторской и журнальной деятельности были все-таки для меня годами учения, ибо в борьбе я отточил свою логику и расширил запасы знаний.

Прошли годы учения — наступили «годы странствий». Мои скитания по Европе были, конечно, мне полезны не менее, чем царские тюрьмы и муки литературной борьбы. К тому же эти скитания куда были приятнее, чем холод Сибири или петербургские туманы. Особенно обогатила меня Италия.

В первый раз я поехал в Италию в 1907 году. Я предполагал уехать туда месяцев на шесть, но как-то случилось так, что ко дню отъезда все издатели меня обманули, и у меня в бумажнике лежало всего лишь рублей двести и два билета до Венеции. Мы все-таки решили с женой поехать, рассчитывая пожить в Венеции недели две и вернуться обратно до лучших обстоятельств.

Мы приехали в Венецию ночью и в гондоле поехали в наш отель. Как это всегда бывает с иностранцами, мы были очарованы венецианской ночью, загадочным сумраком палаццо⁶¹³ и таинственным шорохом закутаных в плащи пешеходов, пробирававшихся торопливо по горбатым мостам. Утром нас ждало новое волшебство. Мы вышли из отеля по другому ходу и очутились на площади св. Марка. Странно, что эта площадь, известная по сотням картин и гравюр, все-таки производит всегда впечатление какого-то чуда, чего-то совершенно нового и неожиданного. Фасад Марка⁶¹⁴ сияет и горит, как православный иконостас. И вся площадь как будто погружена в небесную лазурь.

Но в Венецию можно влюбиться, а жить в ней мирно, без особых страстных увлечений едва ли удобно. К тому же двести рублей, когда мы их разменяли на лиры, оказались изрядною суммой, и я рассчитал, что мы смело можем продлить наше путешествие, поехав на неделю во Флоренцию. Припомнив, что между Венецией и Флоренцией имеется Падуя, известная фресками Джотто⁶¹⁵, мы решили навестить и этот город, где *Capella del' Arena*⁶¹⁶ таит в себе сокровище Раннего Возрождения.

Мы так и сделали. Насладившись монументальным стилем великолепного Джотто, поехали мы во Флоренцию. Там поселились мы на Соборной площади в отеле

Нардини, и эстетическое пиршество наше благополучно продолжалось и здесь, на родине Данте.

В эти дни получил я письмо из Рима от Вячеслава Иванова, который звал меня в Вечный Город. Я послал отчаянную телеграмму какому-то издателю, и мне перевели еще небольшую сумму. В Риме поселился я в одной квартире с поэтом, в патриархальном итальянском семействе. Одна стена нашего дома была античная. Мы жили на маленькой улочке, недалеко от Пантеона⁶¹⁷. Из наших окон был виден Форум⁶¹⁸. Бродить по Риму с таким гидом, как Вячеслав Иванов, воистину великое наслаждение.

Однажды мы зашли в церковь св. Климента⁶¹⁹. Эта *chiesa di St.-Clemente* примечательна. Там сохранились фрески VI века. Одна из них необычайна. Это — «Мадонна с сыном». Безумные «врубелевские» глаза Богоматери и божественно-ироническая ее улыбка каким-то чудом сближают древнюю фреску с современностью. Церковь св. Климента построена на камнях, из которых некогда были сложены стены языческого храма, где совершались эзотерические⁶²⁰ служения, — дар Востока древнему Риму.

Творчество Вячеслава Иванова напоминает мне эту таинственную церковь с ее подземной храминой и с изображением в средней ее части, также подземной, но уже построенной в первые века христианства, лика Мадонны с экстатическими глазами Менады⁶²¹. Мне думается, что символика многослойного итальянского храма аналогична и параллельна символике, раскрытой в поэзии Вяч. Иванова. Неразрывная связь древнейших культур и восточного эзотеризма с эзотеризмом христианства и темами нашего тревожного XX века характеризует сущность его поэзии. Скорбная Мадонна-Менада «мрачным оком смотрит и не видит, душный рот разверзла и не дышит»⁶²² — но в миг, когда приходит Дионис⁶²³, ее сердце источает «слез ликующих ключи...». Вот эта встреча Менады с Дионисом — основная тема Вяч. Иванова. Однако символ Диониса не всецело предопределяет содержание этой

сложной поэзии. В той же мере торжествует в ней начало аполлоновское⁶²⁴, восстанавливая желанное равновесие поэтических тем и форм. Отсюда поразительное торжество гармонии над лирическим хаосом. Торжество строя и лада над началом смутных настроений. Я не могу сказать, что в поэзии Вяч. Иванова нет совсем субъективной, в себе замкнутой лирики; я только утверждаю, что этот круг переживаний заключен в иной круг — круг мировых символов. И как бы радиусы — лучи солнца-сердца — соединяют лирический микрокосм поэта с объективно данным макрокосмом. В этом смысле Вяч. Иванов — реалист. Этот реализм Вяч. Иванова определяет такие свойства его души, которые дают ему жизнеупорство, удивительное в наши времена. Лирические бури бросают легкие челны поэтов на опасные скалы и скучные мели, и, кажется, один лишь Вяч. Иванов, как опытный кормчий, плывет по звездам⁶²⁵, не страшась непогоды. Пушкин, «беспечной веры полн», пел пловцам неустанно и, когда «лоно волн измял с налету вихорь шумный», лишь он один, «таинственный певец», был выброшен на берег грозою⁶²⁶. Иная судьба Вячеслава Иванова. Кто-то незримый внушил ему отважную мысль взять в свои руки кормило. И вот «кормщик умный» должен был уступить «безумному поэту» свое опасное место. В «годину гнева»⁶²⁷ поэт-кормщик провел бесстрашно по темным волнам свой углый челн.

Что мне дала Италия? Я не собирался быть историком, археологом или искусствоведом и еще менее намеревался извлечь из моих скитаний по итальянским городам какой-либо пользы для «злобы дня», не рассчитывая, конечно, научиться у современных итальянцев чему-нибудь путному. Но в каждой стране есть особый «воздух» культуры, есть особый пленительный запах полуистлевшей старины, есть наследие веков. Не всякому дано почувствовать и постигнуть этот дух страны, разгадать связь былого и настоящего, но на мою долю выпало это счастье — дышать историческими судьбами разных народов и разных стран. По каким-то признакам и приме-

там читал я в камнях базилик, в красках стенописи, в миниатюрах древних книг, в самих пейзажах Италии и в простонародном говоре римлян, флорентийцев или венецианцев — великое повествование об единстве мировой культуры. Для современного человека есть только одна культура — греко-римская, оплодотворенная новым миропониманием. Все сокровища и нам нужные тайны египетской культуры, ассиро-вавилонской, юдаистической, индусской и прочих включены в эту новую и поныне еще живую культуру. Все, что вне этой греко-римской культуры, обновленной и оправданной откровением двух последних тысячелетий, — все это варварство, мрачное и безнадежное. Само собой разумеется, что в эту единую культуру я включаю и Рублева⁶²⁸, и «Слово о полку Игореве»⁶²⁹, и Пушкина, и Достоевского, для которого, кстати сказать, по его собственным словам, Европа была вторым отечеством.

Вот этому знанию об единстве мировой культуры я обязан отчасти Италии. Да не будут мои слова истолкованы в том смысле, что для меня Рим есть вечный центр нашей духовной жизни. Рим сыграл уже свою великолепную ответственную роль, и едва ли надо и теперь видеть в нем верховного пастыря народов. Но римская идея мирового единства не умрет и на иных путях истории, в иной метаморфозе возродится для конечного торжества Адама, справедливо изгнанного из рая, но не утратившего надежду вернуть его себе.

Вернувшись из Италии, я принялся за труды повествователя. Эта поездка была для меня полезна еще в одном отношении. Я освободился от моих последних страстей к декадентству. Но не так-то легко было освободиться от импрессионизма и лирической субъективности. В этих борениях с самим собой прошло еще три года. Просматривая мою тогдашнюю переписку, я вижу, что эти годы воистину были годами скитаний.

Моей резиденцией был Петербург, но я все время совершал поездки то в Москву, то в Киев, то в Финлян-

дию... На лето уезжал в деревню — то в Смоленскую губернию, то в Курскую. Освобождаясь от декадентства, я освобождался вместе с тем от того петербургского романтизма, коим душа моя была надолго отравлена. Впрочем, мне предстояло еще раз припасть к этой хмельной чаше в 1911 году. Это было последним событием петербургского периода моей биографии.

Говоря об этой эпохе, не могу не упомянуть еще об одном поэте. Однажды на вернисаже выставки «Мира искусства» я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками «Аполлона», которая стояла перед картинами Судейкина⁶³⁰. Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь, и характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил этой молодой даме довести ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда. Среди беседы моя новая знакомая сказала, между прочим:

— А вы знаете, что я пишу стихи?

Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, какие потом вошли в ее первую книжку «Вечер»⁶³¹.

Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться.

— Еще!.. Еще!.. Читайте еще, — бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.

— Вы — поэт, — сказал я совсем уж не тем равнодушным голосом, каким я просил ее читать свои стихи.

Так я познакомился с Анною Андреевной Ахматовой. Я горжусь, что на мою долю выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской поэзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения.

Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год.

Письма из Парижа (1911 г.)

Праздник

Я часто захожу в *Jardin des plantes* *, в этот прелестный уголок Парижа, сохранивший очарование прошлых дней. Мимо «*Martin*» **, вокруг которого всегда стоит толпа зевак, мимо невероятных павлинов, мимо гиппопотама с мордой, похожею на чемодан, я спешу пройти к помещению, где дремлют змеи. Меня влекут к себе почему-то эти странные существа, с таким сильным и гибким телом, с таким изысканным рисунком на коже и с такими непонятными глазами, влюбленными в какую-то нам неведомую тишину. Я всегда жду с волнением, когда проснется одна из этих индийских красавиц и обратит на меня свой загадочный и чарующий взгляд.

Нет, решительно змеиные глаза лучше, чем глаза парижан. Какие жуткие, какие усталые глаза возникают перед вами непрестанно, куда бы вы ни пошли, — в театр, на бульвары, в музеи, в «салоны» или, наконец, в «*Chambre des députés*» ***.

Я был в палате на том заседании, когда оппозиция жестоко критиковала декларацию нового правительства

* Ботанический сад (фр.).

** Мартышка, обезьяна (фр., переносн.).

*** Палата депутатов (фр.).

и когда Кайо⁶³² защищал свою программу при единодушных аплодисментах торжествующего сплоченного большинства. И что же? В этот большой парламентский день, когда речь шла об избирательной реформе и о возвращении забастовщиков на их прежние должности, даже в этот день я читал во всех глазах одно и то же: «Нам все надоедо, мы ни во что не верим, в сущности, мы ничего не ценим и больше всего любим *blaguer* *». Но вот встает Жорес⁶³³. Ему надо выразить свое благородное возмущение, и он с успехом это делает. Но даже в Жоресе я вижу в этих привычных его жестах и в этих готовых афористических фразах ту же усталость и ту же печаль, которые всегда меня поражают, когда я смотрю на французов и говорю с ними.

Я не решаюсь делать обобщений и выводов из этих моих случайных впечатлений. Это дело истории и социологии. Да и страшно произносить приговор над великой нацией: мои непритязательные заметки надо и можно принять лишь как лирические признания... Но сегодня я чувствую парижан именно так: они устали, устали...

И странно было бы, если бы парижане сохранили душевную свежесть в этом городе, где невероятная международная суета сочетается с тишиною древних камней... Пойдите в Клюни⁶³⁴, войдите в «термы»⁶³⁵, коснитесь старых седых плит, сложенных на долгие века во времена Констанция Хлора⁶³⁶, который четырнадцать лет прожил в Лютении⁶³⁷, то есть в Париже, «в милой Лютении», как выразился в одном из своих писем Юлий Цезарь. Этот кусок Рима в Париже напоминает вам о многовековой истории, утомившей французов. Нет, в Париже нет самодовольной бодрости Берлина⁶³⁸, не знавшего древних дней. Камни *Notre-Dame*, *Saint-Etienne-du-Mont*, *Saint-Germain-l'Auxerrois*, *Saint-Germain-des-Prés*⁶³⁹ и многие иные напомнят вам о прошлых веках, в которых и ужас, и кровь, и мудрость, и гениальность.

* Хвастаться (фр.).

Но многолик Париж, и, не боясь противоречий, я готов иногда верить, что где-нибудь в его глубоких недрах таится новая, молодая жизнь. Быть может, этот невероятный город еще раз изумит мир. Правда, Франция не дала в области отвлеченной мысли таких гениев, как дала нам старая Германия, но французы умели делать историю — в этом их призвание, их гениальность.

Вчера по городу были расклеены прокламации «Союза рабочих-синдикалистов»⁶⁴⁰ департамента Сены». На огромных красных листах было напечатано: «Гражданки и граждане! В этом году, как и в прошлые, чтобы праздновать годовщину взятия Бастилии народом в 1789 году⁶⁴¹, вас приглашают танцевать, радоваться и забыть на мгновение вашу нищету и ваши страдания... Однако в республиканских тюрьмах произвольно заключено немало людей, которые страдают, лишены свободы и близких. В чем их преступление? В том, что они прогневили тех, кто сегодня у власти, хозяев страны, опубликовав печатно или высказав устно свои мысли...» и т.д. и т.д.

«Мы требуем освобождения наших товарищей, — продолжают авторы прокламации, — пусть звуки «Интернационалки»⁶⁴² и «Карманьолы» раздаются на улицах и перекрестках 13, 14 и 15 июля. Все на улицу! Да здравствует свобода мысли! Да здравствует союз рабочих-синдикалистов!»

Пусть реальные политики судят и решают, правы или нет рабочие-синдикалисты; пусть трезвым людям импонирует формула Кайо о «твердой власти» и его эффектное восклицание: «Тысяча восемьсот случаев саботажа» (я не помню точно цифры)... Но нельзя не признать одного: если бы не было сейчас этого подводного течения, этого глухого рокота темных волн, Париж казался бы безнадежно дряхлым, хотя, быть может, и более благоразумным.

Говорят, что в синдикализме есть уклон к варварству, возвращение к первобытным формам борьбы, отрицание культуры... Верю охотно, что доля истины есть в этом

возражении, но пусть помнят лукавые защитники современной «культуры», что ценность сегодняшнего дня очень и очень сомнительна. Чем могут гордиться «хозяева страны»? Мароккской авантюрой?⁶⁴³ Расправой с забастовщиками? Ужасами, которые творятся в колониях?

Впрочем, боюсь, что я вышел за пределы «лирических» признаний, и потому спешу перейти к впечатлениям вчерашнего вечера. Я пишу эти строки четырнадцатого утром, а вчера вечером я бродил по Латинскому кварталу⁶⁴⁴ и смотрел, как празднуют французы взятие Бастилии.

На перекрестках стояли маленькие эстрады, украшенные флагами; играли музыканты, неистово звучала медь; горели разноцветные лампочки, цепи которых гирляндами были перекинута через улицы; на площадях и улицах танцевали французы... Никто не пляшет так смешно, как француз. Кавалер обнимает свою даму, прижимает ее к себе и топчется с нею в небольшом круге, никогда не попадая в такт. Если дама одна из «подруг» Латинского квартала, танец становится выразительнее и неприличнее; если француз пляшет с «дамой из общества», все остается в пределах приличия и смешной неловкости... Они не умеют ни петь, ни танцевать. И они постоянно поют и постоянно танцуют. И проделывают это не с очень веселыми лицами.

Я сидел за столиком кафе д'Аркур, кафе, которое посещал когда-то Верлен и его друзья (теперь модные поэты собираются в «*Closerie de Lilas*» *). Ко мне подошел один француз, господин В., небезызвестный литератор и общественный деятель, с которым меня недавно познакомили в палате депутатов.

— Наш национальный праздник! — сказал он, улыбаясь. — С каждым годом мы становимся все скучнее и скучнее: лет десять тому назад было веселее, на мой взгляд... Утомились мы нашей практичностью... Я не сказал бы этого французам, а вам как русскому я говорю, по-

* «Сиреневый затвор» (фр.).

тому что вы романтичнее нас. Мы стали трезвы, слишком трезвы. Вы поймете. Теперь в Европе одна только Россия живет сказочную жизнью — и в том, что мрачно в ней, и в том, что в ней есть светлого. Я встречал немало русских, и они производили на меня впечатление мечтателей. Я сам — трезвый человек, но я завидую вам.

Эта тема была мне близка, и я поделился с господином В. моими впечатлениями.

Когда мы возвращались домой, на одном узком перекрестке, на крошечной эстраде, играли пять музыкантов и десять пар лавочников кружилось со своими дамами.

Это были куклы, марионетки. Даже страшно стало. А небо, глубокое и таинственное, как великолепный траурный балдахин, раскинулось над Парижем...

Я вспомнил, Бог знает почему, о змеиных глазах, в которых тишина, такая чуждая нашей торопливой жизни...

*Катзар*⁶⁴⁵

В этом году парижские художники устроили «вавилонский» маскарад. В день бала, когда наступил *l'heure d'apéritif*^{*}, бульвар *St.-Michel* наполнился группами замаскированных.

Словечко «*Quat' z'arts*»^{**} звучало во всех кафе.

Часам к восьми за столиками «Шартье», «Дюваля» и других ресторанчиков сидели «*babyloniens*»^{***}, с бородами из пробки, с шлемами из жестяных воронок, с султанами из красных плюмо⁶⁴⁶, с копьями, украшенными медными розетками.

Бал был устроен на Монмартре, в зале *Hippodrome*^{****}. После обеда вереницы художников и натурщиц потянулись

* Час аперитива (фр.).

** Четыре искусства (фр.).

*** Вавилоняне (фр.).

**** Ипподром (фр.).

из Латинского квартала на площадь *St.-Michel*, откуда ходят omnibusы на бульвар Рошешуар. Вагончики брались с бою.

Рев медных труб, свист гаменов⁶⁴⁷ и странное мяукание «развеселившихся» проституток — все эти резкие, раздражающие, визгливые звуки неожиданно сливались в какую-то своеобразную гармонию. Это пела парижская улица, которую все считают веселою, но в которой всегда мне чудится почему-то давняя печаль.

И даже в этот день, день веселых масок, я видел в жутких и утомленных глазах парижан знакомую мне тайную грусть.

Но парижанин не любит делиться недугами души, подобно нашему российскому «интеллигенту», а если он решил «*faire la noce*»*, он не станет скупиться на словечки, прибаутки, каламбуры и забавные жесты.

На бал «*Quat' z'arts*» попасть очень трудно, и я был рад, что мои знакомые художники любезно предложили мне присоединиться к их компании. Мы сели в таксомотор и поехали на Монмартр.

В одном из кафе против ипподрома был назначен сборный пункт, куда должны были явиться наши товарищи по ателье. На площади шумела огромная толпа, собравшаяся посмотреть замаскированных, и в кафе, куда мы едва пробрались, было шумно и тесно.

Странно было видеть вестоны⁶⁴⁸ и жакеты среди полосатых тряпок, бутафорских мечей и цветного тюля. На мраморном столике, под неистовые звуки медных труб и бубнов, уже плясала маленькая полуголая женщина, с руками обезьяны и с синими огоньками в подведенных глазах. А рядом какой-то мрачный вавилонянин, с лицом, густо намазанным коричневой краскою, старался изобразить повешенного. Никто, кажется, не обращал на него внимания, но я запомнил почему-то его тощую фигуру в зеленом плаще и костлявые руки, которыми он пытался зацепить шарф за медный крюк; и до сих пор мне мере-

* Кутить (фр.).

щится его странное лицо и высунутый язык. Почем знать, не повесился ли теперь этот человек, сбросив шутовскую маску? Не про него ли вчера я прочел в газете три строчки петита?

Наконец, мы с толпою пестрых и крикливых масок вошли в залу *Hippodrome*.

Колоссальные идолы, вавилонские шатры и фаллические символы⁶⁴⁹ на декоративных панно, а главное, многоликая толпа полуголых женщин и мужчин — все казалось чем-то давно известным, знакомым, а, между тем, в сознании была ясная мысль, что такой «бал» возможен лишь в Париже и то лишь один раз в году.

И программа бала развернулась именно так, как можно было ожидать. Не прошло и часа, как уже почти со всех женщин были сорваны плащи и повязки — и на эстрадах, и в зале плясали нагие пары.

Вот в одной «ложе» пляшет около священного золотого быка голая полногрудая блондинка с голубыми круглыми глазами; вот в другой подвыпивший художник сбросил пояс и вертится неистово с какою-то натурщицею и, наконец, она вскакивает на его волосатую грудь, обхватив его плотно руками и ногами, а он продолжает плясать с нею под гул циничных замечаний; вот в третьей ложе перебрасывают с рук на руки маленькую нагую женщину.

Но это не оргия; это просто забава, очень бесстыдная и очень характерная для парижской богемы.

В полночь была устроена процессия. Каждое ателье выступало со своими колесницами, идолами и натурщицами, при звуках труб и бубнов. Хорошо сложенные женщины, иные в скучных академических позах, иные в карикатурно-бесстыдных, сидели и стояли в торжественных колесницах и носилках.

Потом был ужин. Сидели на полу, где попало, вытаскивая корзины с сэндвичами и шампанским.

После ужина — полупьяный разгул, полупьяные хороводы, полупьяные поцелуи — и все это в присутствии

полицейских, которые с веселыми лицами терпеливо дежурили всю ночь, бездействуя официально.

Утром перед ипподромом стояла густая толпа зевак, наслаждаясь редким зрелищем. Группы голых художников и женщин выходили с песнями и криками из залы и направлялись по улицам к фонтанам — купаться...

Прозрачен и свеж был воздух, когда я вышел из ипподрома и сел в таксомотор. Приятно было мчаться по серебристо-пепельным улицам, мимо старых каштанов, мимо древних камней...

«Что такое этот бал? — думал я. — Торжество или провал современного Парижа? На этом балу, в этом апофеозе наготы, было *все* и, в сущности, *ничего не было*. Бесстыдство было доведено до предела, но оно не волновало толпы, не возбуждало ее и никуда не влекло. Маскарад остался маскарадом и не стал оргией. Вероятно, парижанам и не нужна оргия». Оргия — это слишком трудно, непрактично, опасно и, главное, ответственно. Парижанин слишком устал, чтобы чем-нибудь рисковать. Циничное балагурство и бесстыдный жест — это ни к чему не обязывает. Вот почему, когда какой-то иностранец или провинциал слишком увлекся одною из натурщиц, парижские «вавилоняне» поспешили развести их в разные стороны. Это было на моих глазах. Парижане знают точно, что можно и чего нельзя. И улыбающийся и как будто бы бездействующий полицейский среди голых натурщиц — это символ, красноречивый и убедительный.

Как в сущности приличен был этот неприличный бал. Что же это? Культура? Моральная дисциплина? Или, быть может, это утомленная плоть поет свою последнюю песню?

Ах, если бы одна из древних мумий музея Гимэ⁶⁵⁰ ожила и пришла посмотреть на современность. Что стали бы шептать ее уста? Быть может, этот пришелец ужаснулся бы, увидев нашу угасающую страсть.

Мона Лиза

Я не верил своим глазам, когда прочел в газете, что Джоконды нет в Лувре⁶⁵¹. Безумец или преступник похитил прекрасную Мону Лизу? Кто он? Не тот ли, кто много раз писал письма по адресу: «Париж. Лувр. Моне Лизе. Я люблю вас безумно... Я вас обожаю, дивная...»?

Найдут или не найдут картину Леонардо⁶⁵², все равно кумир оскорблен, и кошунство совершилось. Как необычайно судьба Леонардо. Почти все им созданное погибло, испепелилось — но тем прекраснее миф об этой странной и загадочной душе.

Те, которые защищают в эстетике идею «самоценности творческого порыва»⁶⁵³, могут с достаточной убедительностью сослаться на Леонардо, оспаривая мнение эстетов, требующих от художника «совершенных и законченных произведений». Теории Леонардо иногда противоречат его творчеству. Леонардо сделал самого себя объектом искусства. Это не менее значительно, чем то, что он успел сделать как художник. И он дал миру новую тему — улыбку Джоконды. Иные современники наши, иные поэты, никогда не выдавшие Леонардо, зачарованы, однако, эту улыбку потому, что легенда о ней живет уже независимо от картины художника. К чему стремится искусство? К созиданию объективных «ценностей»? К накоплению художественных «богатств»? Или оно не всегда заботится об украшении жизни, а живет безумною мечтою о том, что художник приносит вести из «иного мира», дает новый «знак», залог преображенной жизни? Пусть этот «иной мир» отразится в творчестве художника в условном образе, быть может, болезненно-искаженном, — все равно этот мучительный восторг нам дороже всех наслаждений, которыми мечтают пленить нас эстеты. «Освобождающиеся рабы»⁶⁵⁴ Микеланджело⁶⁵⁵ значительнее, чем его прекрасный Давид⁶⁵⁶, потому что в этих незавершенных творениях «просыпаются бури».

Мона Лиза жива. В ее улыбку влюблена современность. Если бы эта улыбка не померещилась в XV в. таинственному флорентийцу, быть может, мир не имел бы «улыбчивого» искусства XIX в. И пусть не прозвучат мои слова парадоксом, если я скажу, что, не будь Леонардо, не было бы и Сомова, как ни далек этот художник по манере своего письма от великого итальянца. Пути влияния Леонардо почти незримы. Иногда их можно лишь угадывать. Так я угадываю это отдаленнейшее влияние Леонардо на живопись художницы Серебряковой, чья портретная работа «За туалетом» находится теперь в Третьяковской галерее. Образ женщины, созданной Серебряковой, в известном смысле уже является для нас мифом: мы уже верим в самостоятельную жизнь той, которая смотрит на нас так лукаво, нежно и загадочно. И уже улыбку эту мы не можем забыть, как не можем забыть иные сны, которые пленяют нас навсегда.

Есть не только живопись, скульптура, поэзия и музыка, но есть и вообще и с к у с т в о, т.е. то чудесное творческое начало, которое определяется не мастерством художника, но сокровенною сущностью его души. Здесь каждый из нас, не специалист, имеет право сказать свое н е ч т о.

В борьбе за чистую живопись против «литературности» в живописи, борьбе в свое время необходимой и правой, художники забыли, однако, что есть еще третье начало — не литература и не краски только, а к р а с к и д л я ч е г о - т о. Искусство не бесцельно. Как ни чудесны орнаменты Врубеля в киевском Владимирском соборе⁶⁵⁷, но все же его стенописи в Кирилловской церкви⁶⁵⁸ значительнее и прекраснее — и не только потому, что очаровательна гармония, им открытая. Нет, в его живописи есть и д е я. Пусть не соблазняются этим словом. Дело не в сюжете, конечно, не в мыслях художника, не в тенденциях его, а в тех переживаниях, которые уводят нас далеко за пределы чувственно-эстетических эмоций. Наличие таких переживаний я называю идеей. Гармония красочная

и ритм линий лишь знак и символ для того, чтобы открыть нам тайны души художника. Если же художник мечтает лукаво утаить от нас свою душу и лишь позабавить нас «приятным» ощущением, почти вкусовым, аналогичным тому, которое мы получаем при рассматривании ковра, он тем самым низводит искусство с высоты, ему присущей. Правда, сделать хороший ковер лучше, чем с хорошими мыслями плохо написать картину, но и не одними «коврами» живо искусство, и не только они нужны человеку.

Французская живопись вчерашнего и сегодняшнего дня стремится уйти от идеи в сторону той «гастрономии», которая может быть «приятна», но никогда не может быть значительна. Правда, были исключения — Гоген⁶⁵⁹ и Ван Гог⁶⁶⁰, но молодежь идет не за ними и не у них учится.

Благодаря любезности г. Пеллерэна я смотрел его богатейшее собрание * Сезанна⁶⁶¹. Как поучительна галерея этого мастера! Он строго замкнулся в форму, открытую им, и ему нет дела до «идеи». И все же он пленяет, покоряет и влечет, но в то же время в душе растет протест против его «скрытности», против этого преднамеренного и подозрительного молчания. В этом молчании нет такого безмолвия, к которому вел нас Тютчев. Молчание может быть исполнено глубочайшего содержания, но оно же может служить маскою пустоты. Если я не решаюсь это сказать без больших оговорок относительно Сезанна, то без колебания скажу относительно молодых, которые пишут «под Сезанна»⁶⁶². Таких много было в «Салоне независимых»⁶⁶³.

Еще определеннее и ужаснее во французской живописи тот уклон, который представляет Матисс⁶⁶⁴. Я мало видел его в Париже, зато в Москве у С.И. Щукина⁶⁶⁵ целая комната отведена этому мастеру. Матисс — даровитый художник, но его живопись настолько пуста и бессодержательна, что воистину, когда ее смотришь, становится

* Как мне довелось слышать, теперь у Пеллерэна уже нет Сезанна. Он будто бы расстался со своей изумительной коллекцией и собирает теперь иных мастеров. (Примеч. автора).

«страшно за человека». Он довел до предела то, что делали его предшественники. «Зачем художнику рассказывать о своей душе? Да и что такое душа? Не прав ли Жюль Ромен? ⁶⁶⁶ Не растворяется ли она в хаосе нас окружающей жизни? Физиология — вот это нечто определенное. Будем же физиологичны. Будем же гастрономами». Таковы, вероятно, принципы, которыми руководится Матисс. И любитель получит некоторое удовольствие, «гутируя» ⁶⁶⁷ в живописи Матисса гармонии неожиданные, изысканные и рискованные... Но надо обладать абстрактною, алгебраически-отвлеченною душой, чтобы полюбить рисунок и краски Матисса; в его заданиях никогда нет идей, но всегда есть рассудочность. Матисс в живописи один из представителей «мировой скуки» ⁶⁶⁸, и надо очень утомиться жизнью и на все махнуть рукой, чтобы ценить этого бездушного мастера.

Матисс — это воплощенный испуг перед «литературою», перед с л о в о м. Но слова не боялся Леонардо, не побоялся его и Бетховен в своей девятой симфонии ⁶⁶⁹. И от этого Леонардо не перестал быть живописцем, а Бетховен не перестал быть музыкантом.

Как характерно для современности, что портретная живопись падает и умирает. Живопись портретная представляет особенный интерес не только для художника, но и для всякого, кто пришел в мир, «чтобы изумляться», ибо изумление есть начало мудрости, как учили древние эллины. Современные художники не умеют изумляться и даже боятся того, что поражает, — лица человеческого. Проблема портрета тесно связана с основною темою Ветхого завета, в котором сказано, что человек создан «по образу и подобию Божию» ⁶⁷⁰. Но в этом же Ветхом завете Бог-отец говорит древнему еврею: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых» («Исход», 33 гл., 20 ст.). Но что такое искусство? Разве художник не мечтает увидеть вещи «лицом к лицу»? ⁶⁷¹ Автор книги «Исход» не сказал, однако, неправды: мудрец не утверждал,

что никто не может увидеть лица Бога, он сказал только, что тот, кто увидит его, умрет. Так ветхозаветная мудрость оправдывает важнейшую эстетическую идею о предвосхищении художником смерти.

И чем прекраснее, бодрее и значительнее художник, тем глубже он познает тайну смерти, и в этом смысле «умирает», потому что смерть можно познать лишь опытом, лишь погружаясь в ее стихию. И суеверные жители Вероны были правы, когда они, встречая на улицах Данте, кричали: «*Eccovi l'uom ch'e stato all Inferno*»*. Великие художники нисходили во ад, видели бледные тени чистилища, слышали райский голос Беатриче.

Не такова судьба французских живописцев... У нас, русских, есть Иванов и Врубель. Эти два гения оправдывают нашу живопись. В современности русская живопись многолика и многообразна: Серов с его трезвым реализмом; петербургская школа, для которой так характерны умный историзм, чудесная графика и тонкий вкус; с другой стороны, такие фантасты, как Павел Кузнецов⁶⁷² и некоторые московские декаденты, наконец, наши подражатели Сезанну⁶⁷³ и даже «кубисты». В этом стремительном потоке школ, направлений или даже «настроений» еще мало, быть может, завершено и определенное, но есть какое-то буйство талантов. Во всяком случае нет еще, слава Богу, «мировой скуки» или почти нет.

Нижняя Сена

Париж в плену у иностранцев. Парижане покинули город. Жара так ужасна, что выходить из дому можно лишь ночью. А в моем отеле новый проприетер⁶⁷⁴ штукатурит стены, и жильцы задыхаются в известковой пыли. Зеленый попугай на дворе так жалобно кричит «Франсуа»,

* Смотрите, это тот человек, который побывал в аду (*ит.*).

как будто единственная надежда — наш единственный слуга. Но и Франсуа, человек веселого нрава, умевший смеяться без причины, неожиданно приуныл.

Я уехал в Нормандию, в местечко Ипор (*Yport*). Живу я в пансионе г-жи Морис и обедаю за табльдотом⁶⁷⁵. В нашем пансионе собралось общество разнообразное: профессор-филолог, скептик и благер⁶⁷⁶, *m-ll P.*, парижанка, девица лет сорока, похожая на индюшку, вечно щебечущая, с талией невероятно узкой; семейство зажиточных буржуа из Руана. Две шведки — учительницы из Стокгольма, с манерами русских либеральных дам — благотворительниц и просветительниц; депутат Нижней Сены, умеренный республиканец, который привез жену поправлять здоровье после *fausse-couche*^{*}, о чем она подробно всем рассказывает, и, наконец, старый отставной актер, хорошо, по его словам, знавший Верлена, Вилье де Лиль-Адана и многих иных писателей и поэтов предпоследних дней...

За завтраком, после неизбежных вопросов о том, хорошо ли спали, приятно ли было купанье и как вообще ваши дела, начинается разговор на политические темы.

Прежде всего, конечно, каждый считает своим долгом сказать нечто по поводу конгресса железнодорожных рабочих и саботажа. Буржуа из Руана жестоко ругает «всех этих забастовщиков, разбойников и пьяниц». Профессор, пожимая плечами, замечает, что, конечно, это очень неприятно сломать себе шею при поездке, например, из Ипора в Париж... «Но социальная борьба неизбежна».

— *Vous me juger immoral... Mais... À la guerre comme à la guerre*^{**}.

Республиканец произносит маленькую парламентскую речь о сильной власти и о «*belle France*»^{***}, на достоинство которой посягают свирепые анархисты.

Затем возникает разговор о России.

* Выкидыш, преждевременные роды (*фр.*).

** Вы считаете, что я аморален... Но... На войне как на войне (*фр.*).

*** Прекрасная Франция (*фр.*).

— Сильна ли в вашем парламенте партия нигилистов? — спрашивает меня буржуа из Руана.

Я отрицаю ее существование, но все с сомнением качают головою и утешают меня тем, что пройдет «триста или четыреста» лет — и Россия будет на культурном уровне Европы...

— Довольно политики, — говорит профессор с приятно улыбкою, — поговорим о чем-нибудь не столь грустным... В последнем номере «*Temps*»⁶⁷⁷ есть статья Молле⁶⁷⁸ о философии Бергсона⁶⁷⁹. Вы слышали это имя?

Вопрос обращен к депутату. Депутат, конечно, слышал. Начинается французский разговор о философии.

— Бергсон — талантливый человек, но скажите, зачем эта сложность и неясность? У Бергсона слишком абстрактный еврейский ум. Мы, слава Богу, живем в двадцатом веке и, надеюсь, имеем право быть трезвыми. Идеи должны быть ясными — это прежде всего. На что нам запутанная его теория «*elan vital*»*, когда это вопрос простой практики?

Но и эта тема не увлекает нашего общества. Начинает щебетать *m-l P.* о купанье и купальных костюмах — и теперь в разговоре все принимают участие.

Но в это время приносят газеты, и мы читаем о казни двух матросов в Тулоне. Они убили товарища из-за трех су.

Эта тема интересует всех не менее купальных костюмов.

— Какие звери! Из-за трех су! Что оставалось делать военному суду! Конечно казнить...

— Да, но зачем эта слишком долгая церемония? Два с половиной часа на площади перед войсками и народом!

— Вы обратили внимание, что один из осужденных все время курил? Так и умер с папироскою в руках...

— Да, да... Как же! Он спросил у священника, который его исповедовал: «А что, там наверху не будет уже, пожалуй, табачных лавок?» — а тот ему ответил: «Там найдется кое-что получше»...

* Жизненный порыв (*фр.*).

— Да, да... А вы знаете, в тот год, когда действие статьи о смертной казни временно было приостановлено, количество преступлений значительно увеличилось...

— О, еще бы!

II

Я живу на берегу моря. Из моих окон видны фале-зы⁶⁸⁰. Зеленые волны то приходят, то уходят и как будто зовут в неизвестную даль.

Морской берег живет неустанно и многообразно. Рыбаки и жены их чинят сети, потрошат рыбу, сушат паруса, исправляют снасти и то спускают в море, то снова вытаскивают на берег черные рыбацкие суда — посредством каната, навешенного на вращающийся столб с поперечными «упорами».

Во время отлива, когда обнажены прибрежные камни и открывается морское дно на четверть километра, приходят дети и подростки в купальных костюмах, босые, с сетками в руках, чтобы ловить крабов и собирать ракушки.

А перед обедом, на пляже, во время прилива собираются съехавшиеся сюда парижане и руанцы. Иностранцев здесь, в Ипоре, почти нет. И нет совсем международной курортной суеты. «Казино» здесь скромное, и публика ненарядная.

Купаются вместе — и мужчины, и дамы. Толстый учитель плавания бродит от каната к канату, держа за подбородок учащихся плавать.

В одиннадцатом часу Ипор спит.

От Ипора до Руана два часа езды, и я решил поехать в Руан, на родину Флобера⁶⁸¹, где теперь, кстати, ретроспективная выставка нормандского искусства по поводу тысячелетия.

Я приехал в Руан в воскресенье утром, в десять часов, и пошел слушать мессу в собор⁶⁸², чей дивный кружевной фасад пленяет меня больше, чем парижская Notre Dame. При входе молодой человек в пестром галстуке кричал неистово:

— «*Actions Française*»! *Journal royalist et anti-républicain!**

Толстовыйные нормандцы, граждане французской республики, недовольные республикою, покупали роялистскую газетку.

В соборе было мало народу. Это были все руанцы, с покорными бараньими глазами, в которых нет столичной усталости. И в этот час я стал ценить эту мировую усталость. Пусть лучше будет мучительная печаль Парижа, чем эта косная провинциальная сонливость.

Выходя из собора, я увидел у подножья статуи Богоматери какую-то даму в трауре, ее тонкие руки, запутавшиеся в черном кружеве, увидел ее влюбленные в незримое глаза...

Из собора я пошел в древнюю церковь *St.-Maclou*⁶⁸³; там под высокими сводами наслаждался я прохладой и таинственную тишиною: службы в это время не было...

Я вспомнил почему-то, что здесь, в Руане, англичане сожгли на площади Жанну д'Арк⁶⁸⁴. Это было в первой половине пятнадцатого века... И я стал припоминать историю Франции, все патетические ее жесты, все красноречие этой нации, умевшей громко провозглашать перед лицом Европы истины, быть может, неглубокие, но всегда высказанные смело и энергично.

Из церкви *St.-Maclou* я отправился в городской музей. Там, при входе, хорошая стенопись Пювис де Шавана⁶⁸⁵ — «*Inter artes et naturam*»** и еще две, менее удачные, но все же характерные для мастера. Эта стенопись сделана в 1890 году.

В музее, среди малоинтересных, беспорядочно развешанных картин, я нашел двух Рибейра⁶⁸⁶, Боттичелли⁶⁸⁷, Веласкеса⁶⁸⁸, Пинтуриккио⁶⁸⁹ и очень занятого Босха (*Bosch*)⁶⁹⁰, а среди «новых» живописцев — Моне⁶⁹¹, Ренуара⁶⁹² и Сислея⁶⁹³... Это немало для провинции.

* «Аксьон Франсезз!» Газета роялистов и антиреспубликанцев (фр.).

** Среди искусств и природы (лат.).

На выставке открыты три отдела — художественный, археологический и историко-этнографический. В художественном отделе есть Пуссен⁶⁹⁴, Жерико⁶⁹⁵ и Милле⁶⁹⁶ и множество совсем неинтересных художников. Есть еще секция портретов и гравюр. Любопытны отделы историко-этнографический и археологический. Детали старых церквей, утварь, вышивки облачений, оружие — все это влечет к себе, как наше детство, ушедшее безвозвратно. Но и эти отделы, после Клюни, ничего не дают нового.

На выставке я встретил г-на О., того самого старого актера, с которым я живу в пансионе m-me Морис. Мы пошли с ним завтракать.

Он мне рассказал несколько анекдотов из жизни Верлена и все старался изобразить, как поэт читал свои стихи. После завтрака и бутылки вина он мне неожиданно признался, что не очень ценит этого «больного поэта»...

— Надо смеяться, как Мольер... К черту меланхолию...

Возвращение на родину

После Парижа я поселился не в Петербурге, а в Москве, где я родился, где учился в гимназии и в университете, где сидел в тюрьмах, где женился, где напечатал первые мои рассказы и где лежит на кладбищах прах близких мне людей. Это было не только внешнее, но и внутреннее возвращение на родину. Петербургские сны — и страшные, и пленительные — смешались как-то со счастливым бредом Парижа, и вдруг захотелось реализма в то бы то ни стало. И хотя это сокровище я получил не сразу и не так, как ожидал, но все же получил его, — правда, значительно позднее, но в той же Москве.

Итак, после Парижа я поселился с женою в Москве. Приютил меня у себя мой верный друг, с коим я связан

сердечно с гимназической скамьи, С.А. Четвериков, весьма ныне известный врач, специалист по детским болезням. Он заботился обо мне в дни моего ареста и ссылки и всегда, как добрый гений, приходил ко мне на помощь, когда я тонул в житейской пучине.

В Москве я встретился вновь с друзьями юности. Среди них был милый Борис Зайцев, к сожалению, оказавшийся ныне за рубежом. Теперь он эмигрант, и мы друг для друга не существуем. Я не имею теперь понятия о том, что он делает. Но того старого друга, Бориса Зайцева, который никогда никакой политикой не занимался и понимал в ней столько же, сколько я в китайской грамоте, я, конечно, забыть не могу и люблю по-прежнему. Связывала нас с ним — не политика.

Меня и Бориса Зайцева соединяла та лирическая меланхолия, коей болел я иногда в былые годы и от коей не был свободен и мой друг. Очень надеюсь, однако, что он теперь ее преодолел, несмотря на свое противоестественное положение по ту сторону границы.

Борис Зайцев как писатель рос и развивался не в той среде, которая меня окружала. Он был связан больше со «Средою»⁶⁹⁷, где жили в бытовом благополучии так называемые «реалисты», весьма, впрочем, на мой взгляд, от истинного реализма далекие. Но в Зайцеве, по счастью, был добрый инстинкт, было настоящее чутье культуры. И он не страдал тем провинциализмом, какой весьма был характерен для большинства бытовиков. Мне нравилось в Зайцеве то, что он постоянно искал каких-то больших встреч — то с Гёте, то с Данте, то с Италией Раннего Возрождения... И если он в своем, так сказать, быту несколько увядал и снижался до сомнительного уюта московской богемы с ее сереньким жаргоном, зато в иные счастливые часы он беседовал как равный с великими тенями прошлого. Сердце у него лирное. Мне кажется, что я подслушал его песню, и мне очень хотелось бы, чтобы он вернулся на родину, бросив чужой мир, едва ли исполненный гармонии.

Здесь, в Москве, познакомился я с одной дамой⁶⁹⁸, которую, между прочим, написал на большом полотне В.А. Серов. Этот портрет всем известен. Она была ученицей Серова. Блеск и нарядность ее салона помешали развернуться как следует ее дарованию, а между тем у нее был не только хороший вкус, но и своеобразное чувство красок и рисунка. Здесь, у этой дамы, я пере-знакомился с московскими художниками — Ульяновым, Милиоти⁶⁹⁹, Павлом Кузнецовым⁷⁰⁰, Крымовым⁷⁰¹, Феофилактовым⁷⁰² и многими другими. Впоследствии в этом салоне появлялись не только художники, но и философы и поэты. Даже Верхарн, Маринетти⁷⁰³, Поль Фор⁷⁰⁴ и прочие иностранцы, навещавшие нас, считали своим долгом представиться этой даме. Несмотря на свое положение светской женщины, она сумела остаться художницей, добрым товарищем и человеком, совершенно свободным от «буржуазных предрас-судков». Настроенная весьма враждебно к старому порядку, она охотно без малейших колебаний щедро раздавала свои деньги всем, кто приходил к ней просить на революцию. Вскоре, впрочем, наступили дни, когда ей уже нечего было расточать.

В Москве жизнь моя сложилась куда тише и благооб-разнее, чем раньше. Однако преступный хмель, коим ув-лекался я, замороженный петербургскими туманами⁷⁰⁵, отразился на моем здоровье. У меня всегда был жар, при кашле появлялась кровь. Доктор сказал твердо, что у меня туберкулез. Я этому как-то не очень поверил и продол-жал работать, не обращая внимания на температуру.

Весною я поехал с женой в Крым к одной нашей доб-рой знакомой К.Ф. Трабше, ныне, кстати сказать, погиб-шей во время землетрясения. У К.Ф. Трабши была дача и пансион. Мы прожили здесь в Алушке месяца два, на-слаждаясь прелестями тогда еще не опасного Юга. О мо-ем туберкулезе я не думал.

В это время я получил письмо от моего приятеля проф. А.С. Яценко⁷⁰⁶, который уговаривал меня опять

переселиться в Петербург, где он снял большую квартиру на Тучковой набережной.

Я решил, что достаточно отдохнул в Москве, что соблазны Петербурга мне теперь не страшны, и переехал в нашу северную столицу. Тут я написал роман «Сатана», имевший немалый успех у публики. Он был напечатан первоначально в альманахе «Жатва»⁷⁰⁷. Этот альманах, до того времени не очень известный, разошелся с моим романом весьма успешно. Также быстро был распродан роман в отдельном издании⁷⁰⁸. Такая же удача была и с новым изданием, предпринятым издательством «Огни»⁷⁰⁹. Не было ни одного, кажется, более или менее заметного журнала и газеты, которые не считали бы своим долгом написать нечто об этом романе⁷¹⁰. Иные ругали меня непристойно, иные хвалили. Иные мои критики упрекали меня за подражание Достоевскому, но никто не догадался, что в этом романе были элементы не столько подражания, сколько пародийности, и что самая тематика романа сознательно противопоставлена тематике «Бесов» Достоевского⁷¹¹. Любопытно, что З.Н. Гиппиус, в течение нескольких лет под псевдонимом Антона Крайнего поносившая меня на разные лады, на сей раз вспомнила, должно быть, свое прежнее ко мне благосклонное отношение и напечатала довольно сочувственную статью по поводу этого романа⁷¹².

Припоминаю две довольно забавные встречи с иностранцами, относящиеся к этим годам. Первая встреча — с знаменитым Маринетти — произошла таким образом. Перед его приездом газета «День» предложила мне написать статью об этом итальянском футуристе. Я с удовольствием напечатал весьма желчную и насмешливую статью, обидную, как мне казалось, для самолюбия гастролера. К счастью или к несчастью, Маринетти был выписан в Россию⁷¹³ организацией «*Les Grandes Conférences*»*, во главе которой в России стоял мой друг Генрих Тастевен.

* «Большие собрания» (фр.).

Милый француз перевел Маринетти мою злую статью, и предприимчивый итальянец пожелал со мною познакомиться. Тастевен привез Маринетти ко мне, и я довольно грубовато объяснил ему, что футуризм — буржуазнейшая затея, а для нас, русских, даже и не забавная. «К тому же нам некогда заниматься такими пустяками», — заключил я мой монолог. В это время к нам приехала одна особа, склонная не столь сурово судить западноевропейскую буржуазию. Маринетти быстро сообразил, что ему выгоднее вести мирные переговоры с этою прелестною дамой, чем спорить с таким варваром, как я.

Кстати о футуризме. В самом начале нашего футуристического движения я выступал неоднократно против него. Но, кажется, товарищи футуристы простили мне многое за то, что я один из первых, совершенно независимо от всяческих теоретических рассуждений, признал творчество Хлебникова⁷¹⁴. Этот загадочный поэт считал своим долгом время от времени приходить ко мне для беседы. Случалось это редко, но беседы затягивались чуть не до рассвета. Этот гениальный и безумный человек утомлял меня ужасно запутанной своей логикой, но в конце концов я всегда в нем чувствовал подлинную магическую силу, хотя и неизвестно из каких источников ему дарованную.

Очень жаль, что моя статья, направленная отчасти против футуризма, — «Оправдание символизма», прочитанная мною в виде доклада дважды в Петербурге и несколько раз в Москве⁷¹⁵, не дошла, однако, до читателей. Она была напечатана в моем сборнике «Вчера и сегодня» до революции⁷¹⁶: этот сборник куда-то исчез после выхода в свет. Потом я перепечатал ее в книге «Мои спутники», которая была издана уже в 1922 году⁷¹⁷. Этот сборник утонул вместе с прочими изданиями, попавшими в какие-то подвалы, затопленные почему-то водою. Надеюсь, что эта вода не станет для моей статьи водою Леты.

Вторая встреча — с королем поэтов Полем Формом — произошла также по инициативе Г.Э. Тастевена.

Поль Фор был выписан из Франции тем же обществом, но русские ценители поэзии оказались довольно равнодушными к этому несомненному лирику, но — увы! — несколько для нас чуждому. Я напечатал к его приезду в моем переводе одно из его стихотворений и сообщил о нем кое-какие сведения. Но и это не подействовало. Объявленная им лекция не собрала публики. Милый поэт пришел в отчаяние от этой материальной и моральной катастрофы. Чтобы его утешить, мы решили устроить ряд его выступлений перед небольшой, но избранной аудиторией. Дабы он не разорился на жизнь в отеле, А.С. Яценко, мой сожитель по квартире, уступил ему свою комнату. Он явился не один, а с какой-то миловидной парижанкою. Поэт валялся на постели целые дни, ничего не делая и не обнаруживая ни малейшего интереса к Петербургу и к его обитателям, может быть, желая тем отомстить за отсутствие интереса к его особе со стороны холодных петербуржцев. Он просил меня прочесть ему по-русски мой перевод его стихов и, не знаю, насколько искренно, уверял, что мелодика и ритмика моего перевода идеально совпадают с музыкаю его произведения.

Во время своих выступлений он читал иногда очень откровенные стихи и, между прочим, прочел маленькое лирическое произведение, в коем признавался, что нет ничего слаще, как целоваться со своею возлюбленною целые дни и ночи, отрываясь от этого занятия только для того, чтобы «faire pipi» * в ночную посуду, на коей изображены незабудки. После этого многие слушатели спрашивали, недоумевая, да тот ли это Поль Фор — может быть, это не «король поэтов», а какой-нибудь иной, не коронованный. Утешенный собранными гонорарами, Поль Фор уехал со своею «maitresse» ** и очень приглашал меня посетить его в Париже.

* Делать «пипи» (фр.).

** Любовница (фр.).

В Петербурге, после Крыма, туберкулез мой весьма обострился. Я уже свалился, изнемогая, в жару. Врачи говорили моей жене мрачные вещи. Думали, что у меня скоротечная чахотка. Наконец, доктора посоветовали везти меня в Швейцарию. Вероятно, знаменитый врач, меня лечивший, не верил вовсе в мое выздоровление и поэтому дал весьма неопределенные указания, в какой именно санаторий надо ехать. Он посоветовал только не селиться ниже 1500 метров, а где именно — это было бы не так важно.

Надо было достать денег на поездку. Но на этот раз денежных затруднений не было. По Петербургу распространились слухи о моей болезни, и все издатели и редакции без всяких просьб с моей стороны прислали мне щедрые авансы. Какие-то неизвестные почитатели задаривали меня цветами, и я почувствовал все преимущества умирающего человека. Враги приходили ко мне мириться. И всеобщее обо мне попечение казалось мне и трогательным, и несколько комичным. Я чувствовал, что я теперь всем приятен, ибо безоружен и безопасен. В таком беспомощном состоянии повезли меня в Швейцарию.

Я назвал эту главу «возвращением на родину», и хотя я очень мало успел сказать об этом возвращении, пусть, однако, это название за ней останется. Пусть этот этап моей биографии будет если не разъяснен, то, по крайней мере, отмечен. Во всяком случае, внутри меня уже созрели тогда некоторые идеи и решения, которые окончательно оформились, когда я в горном отеле лежал «на смертном одре» (так мне и моей жене казалось в те трудные дни). И если я неожиданно для себя, для жены и для врачей в конце концов поднялся с постели и вот живу до сих пор, все же эта близость смерти отразилась на моей дальнейшей судьбе.

В горах

Одна моя знакомая расхваливала мне усердно местечко Шампери в Швейцарии (просят не путать с местечком Шамбери во Франции). Так как Шампери находится на высоте, кажется, 2000 метров, а доктор разрешил мне поселиться где угодно, только не ниже 1500 метров, мы и отправились туда с женою, не сообразив, что следовало бы посоветоваться на месте, в Швейцарии, с тамошними специалистами.

На петербургском вокзале встретил я К.Д. Бальмонта, который также отправлялся за границу. Эта встреча напомнила мне об одном случае, который сам Бальмонт, вероятно, запомнил, но который мне представляется и сейчас очень живописно.

Однажды в юности, будучи студентом, зашел я к В.Я. Брюсову. После звонка мне долго не отпирали. За дверью слышались голоса, стук какого-то опрокинутого предмета и топот ног. Наконец дверь передо мною распахнулась, и я увидел человека небольшого роста, с гривою золотых волос и с такою же рыжеватой бородкой. Голова закинута была горделиво. Глаза, несколько прокуренные, блуждали рассеянно, не останавливаясь на предметах.

— Кого вам надо? Кто вы такой? — спросил меня рыжеволосый человек надменно, стоя в величественной позе.

— Мне надо Валерия Яковлевича, — пробормотал я недоумевая. — Я — Чулков.

— Георгий Чулков?

— Да.

— А! В таком случае Бальмонт помажет вас на царство поэзии своею кровью.

И не успел я опомниться, как хмельной поэт мазнул по моему студенческому сюртуку своей рукой, окровавленной почему-то.

Впоследствии выяснялось, что Брюсов пошел как раз в этот час разыскивать Бальмонта, пропавшего на несколь-

ко дней из дому, а в это время виновник переполоха явился на квартиру Валерия Яковлевича, весьма смутил своим появлением его супругу и, повествуя ей о каких-то своих необычайных похождениях, так неосторожно размахивал столовым ножом, что окровавил себе руку.

Припоминается мне еще один случай с Бальмонтом. Однажды, в Париже, узнав, что я с женою еду к известному коллекционеру Пеллерэну смотреть его собрание Сезанна, Бальмонт и его тогдашняя спутница, Е.К. Цветковская⁷¹⁸, присоединились к нашей компании. Сам Пеллерэн в назначенный день выехал по какому-то экстренному делу из Парижа, прислав нам уведомление об этом, и собрание картин должен был нам показать его домоуправитель. В этом собрании, если не ошибаюсь, было более пятидесяти первоклассных вещей этого, как бы к нему ни относиться по существу, примечательного мастера.

Я тогда — в 1911 году — особенно интересовался Сезанном, стараясь в его творчестве найти ключ к пониманию новейшей западноевропейской эстетической культуры, такой богатой и такой ущербной в то же время. Читатель легко себе представит, как мне было забавно присутствовать при заключительном диалоге, который произошел после нашего осмотра коллекции между важным домоуправителем Пеллерэна и нашим милым и уже тогда маститым поэтом.

Выходя из последней залы, Бальмонт окинул рассеянным и равнодушным взглядом стены, увешанные Сезанном, и с неподражаемой по искренности интонацией сказал надменно:

— Et c'est tout? *

— *Mais c'est déjà quelque chose, monsieur!* ** — воскликнул француз, в высшей степени обиженный небрежностью русского к сокровищам его патрона.

* И это все? (фр.)

** Но это уже кое-что, сударь! (фр.)

Одаренный богато волшебной музыкой, успевший изведать немало эстетических яств и в Европе, и в экзотических странах, этот капризный поэт мог иногда вовсе не заметить чего-нибудь важного и, напротив, восхититься каким-нибудь бедным цветком или каким-нибудь случайным лирическим признанием. Так и на этот раз он не заметил Сезанна, а выйдя на крыльцо шато⁷¹⁹, вдруг пришел в восторг от «запаха солнца» и, схватив за руку меня и свою спутницу, требовал, чтобы мы устроили тут же непременно хоровод во славу Аполлона. Слуги Пеллерэна видели эту сцену и стояли буквально разиня рот, уверенные, по видимому, что «русские совершают обряд, свойственный этому дикому племени».

Кажется, в Берлине мы с Бальмонтом расстались. Никогда Швейцария не соблазняла меня, и я не собирался жить в этой добродетельной республике, но вот пришлось, однако, ехать туда и даже остаться в ней почти на восемь месяцев.

Попад в Лозанну, я до некоторой степени примирился с этой страной, против которой я был так предубежден. В Лозанне, может быть, благодаря приятной погоде, было столько тихой веселости, все было так мирно, приветливо и светло, что я не без удовольствия прожил здесь дня три. Затем мы отправились в Шампери. Когда мы очутились на высоте 2000 метров, на узеньких улочках этого горного местечка, окутанного туманом, мы смутились несколько и нам стало жаль светлой и веселой Лозанны, которую мы покинули. Но делать было нечего. Надо было слушать докторов. Мы наняли комнату в отеле, и я, согласно предписанию, лежал в постели днем и ночью при открытых окнах. Была еще весна, и довольно холодная. Я замерзал в моем отеле. Густые облака вползали ко мне в окно, и я лежал, окутанный ими, как Саваоф⁷²⁰ на лубочных картинах. Под утро «атмосферические осадки» наполняли мою комнату и постель. Никаких больных в Шампери не было. Не было и санатория. Сюда заходили только туристы, любители горных восхождений, да старые англи-

чанки сидели здесь на всех перекрестках с мольбертами, рисуя акварелью ландшафты.

Недели через две, когда состояние моего здоровья значительно ухудшилось, мы с женою спустились вниз опять в Лозанну, где пригласили тамошнего профессора Демьевилля посетить нас и дать нам совет. Седенький маленький профессор явился в назначенный час и, не снимая шляпы, на пороге объявил:

— *Vingt cinq! Qui? N'est ce pas? **

Получив подтверждение, что мы готовы ему заплатить двадцать пять франков за визит, почтенный доктор осмотрел меня, удивился, что врачи разрешили мне ехать в Шампери, и назначил мне сначала пребывание в *Chailly***, потом в конце июля посоветовал ехать в Грион. В *Chailly* я чувствовал себя неплохо, но как только мы поднялись в Грион, у меня опять начался жар. Вскоре выяснилось, что у меня крупозное воспаление легкого и плеврит. Мне поставили чуть не сорок горчичников и десятки банок, но я хрипел, задыхался, пальцы у меня стали синими. И все обитатели отеля были уверены, что этот русский непременно умрет.

Местный протестантский пастор явился ко мне по собственной инициативе, желая меня достойно напутствовать перед отправлением на тот свет. Но я, хотя и хриплым голосом и кашляя ужасно, все же нашел в себе достаточно энергии, чтобы доказывать ему заблуждения протестантского вероисповедания. Пастор обиделся и, забыв свои добрые намерения, завел со мною запальчивый богословский спор, так что моя жена довольно сурово потребовала, чтобы этот ревностный служитель культа немедленно удалился.

Когда я так лежал в Грионе, едва дыша, мною овладела какая-то странная меланхолия. Не знаю, что ее вызвало — может быть, разыгравшийся мой туберкулез, на

* Двадцать пять! Кто? Не так ли? (фр.)

** Шали (фр.).

почве коего бывают даже душевные заболевания; может быть, эта меланхолия была последствием литературной травли, с коей я боролся успешно, пока был здоров, а теперь, ослабев физически, утратил самообладание и вот пал духом. У меня даже явилась навязчивая идея. И мне казалось, что меня ждут какие-то козни, что кто-то распустит про меня клевету и пострадает мое доброе имя. В эти трудные для меня дни я получил от моего приятеля, товарища по якутской ссылке, Игоря Будиловича письмо, в котором он писал о своей любви ко мне и о том, как он крепко верит в мои душевные и умственные силы. Я никогда не подозревал, что этот хороший мой приятель в такой мере привязан ко мне. Не боясь показаться сентиментальным, я признаюсь, что был расстроган этим письмом. И как это ни странно, но это послание настоящего друга исцелило меня от меланхолии. Недуг мой исчез. Я перестал думать о каких бы то ни было клеветниках. Силы братской любви освободили меня от болезненной мнительности.

Но физические мои силы восстанавливались очень медленно. Я был смущен и обрадован, когда неожиданно в нашем отеле появилась З.С.⁷²¹, совершавшая поездку по Швейцарии и нарочно для свидания со мною и с моею женою захавшая в наш уединенный горный курорт. И эта встреча была как бы доказательством, что, несмотря на все мои грехи, люди не утратили еще по отношению ко мне добрых чувств.

Итак, понемногу, очень медленно, но все же заметно я стал поправляться. По крайней мере, смерть как будто на этот раз не пожелала задушить меня в своих ледяных объятиях.

Полулежа на постели, стал я читать каждый день книги, газеты и, между прочим, «*Journal de Geneve*» * Развернув однажды газету, я вдруг прочел телеграмму об австрийском ультиматуме Сербии⁷²². Я сразу понял, что

* «Женевская газета» (фр.).

этот безумный ультиматум — начало неслыханного мирового пожара. Каждый день я дрожащими руками развертывал газету, ожидая страшных вестей. И, к ужасу моему, все мои предположения оправдались. Началась мировая война.

Личная моя судьба была тоже не из веселых. Материальные средства мои истощились. В ответ на мои телеграммы растерявшиеся редакции нередко отвечали: «*malheureusement impossible*»*. Курс рубля пал, и значительные суммы, мне высланные, превратились в очень скромные.

При первой возможности мы покинули Гривон и переселились в Женеву, где легче было сношаться с нашим консульством в Генуе и другими центрами, откуда уезжали на родину русские. Несмотря на то, что я был еще очень слаб физически, мы решили ехать. Для этого мы отправились в Геную. Консул публиковал в газетах, что все русские, желающие вернуться на родину, будут отправлены на пароходах, специально с этою целью зафрахтованных русским правительством.

В Генуэзском консульстве, как мы скоро убедились, русские чиновники вели себя совершенно непристойно, и добиться от них места на пароход не было никакой возможности. Ни докторское свидетельство о моей тяжелой болезни, ни документы, доказывавшие, что я сотрудник многих солидных изданий, нисколько не действовали на этих господ, и спальные места получали какие-то жирные купчихи и здоровенные упитанные молодые франты. Две недели я прожил с женою в Генуе, тщетно добиваясь права вернуться на родину.

В Генуе, как известно, нет особых сокровищ искусства, но самый город все еще интересен, и в иных его камнях можно прочесть фантастически богатую его историю. Пусть сейчас насмешники называют его городом прачек, и в самом деле на каждом уличном перекрестке вы непре-

* «К сожалению, невозможно» (фр.).

менно увидите бассейн и стирающих в нем белье итальянок — и везде поперек улиц протянуты веревки, на коих красуются разноцветные принадлежности мужского и дамского туалета, — пусть все это верно, но есть все-таки своеобразная прелесть в этой многоярусной груде серых камней, в этих мраморных внутренних двориках, где всегда голубоватая тень и тихо журчащий фонтан.

Две недели мы напрасно прожили в Генуе. В конце концов, пришлось вернуться в Швейцарию. Сначала мы поселились под Женевою в предместье *Petit-Lancy**. Здесь обширное кладбище — как густо разросшийся сад, примечательное тем, что разнообразные деревья в нем подобраны с расчетом на гармонию осенних красок. В сентябрьские дни золото и киноварь листвы пленяют глаз, и тишина этого очаровательного уголка внушала иллюзию, что все в мире мирно. Трудно было себе представить, что в нескольких десятках километров начинается территория воюющей державы, где дороги загромождены орудиями, фургонами, ранеными и мертвецами. При первой возможности мы направились в горы. Нам кто-то посоветовал ехать в Сиерру⁷²³. Это маленький горный городок на границе французской и итальянской Швейцарии. В это время у нас так мало было денег, что мы не решились поселиться в отеле. Мы нашли комнатку, купили необходимую утварь, и жена сама стряпала, покупая на рынке артишоки, помидоры, свинину и все прочее.

Я чувствовал себя неважно и едва бродил, опираясь на палку. Однако ежедневно к приходу первого поезда я спешил на почту, чтобы поскорее получить газеты. Да простят мне товарищи-большевики мою ересь, но должен признаться, что я тогда отнюдь не был пораженцем, хотя и не был ослеплен национализмом. Я никогда не любил Гогенцоллернов⁷²⁴, и германизация Европы в случае их победы казалась мне величайшей опасностью. Поэтому

* Пети-Ланси (фр.).

я в те дни с совершенною искренностью желал генералу Гинденбургу⁷²⁵ всяческих неудач. Впрочем, я и тогда не обольщал себя иллюзиями, что союзники — кроткие овечки, а немцы — людоеды. Империализм, всяческий империализм, есть дело жестокое и крутое. Впрочем, умолкаю, ибо на этих страницах не хочу отвлекаться от своих прямых обязанностей мемуариста.

Сиерра — странный городишко. Прежде всего странно то, что у жителей Сиерры свой собственный язык — ни французский, ни немецкий, ни итальянский, а смесь патуа⁷²⁶ с какими угодно наречиями. Улички, хотя и живописны, лишены приятности благодаря грязи и сырости. Туманы застаиваются в этом ущелье, и я не знаю, какие демоны понудили меня, больного, поселиться здесь. А между тем, над Сиеррой возвышается великолепная гора *Montana-Vermala**. Но — увы! — у меня не было денег, чтобы подняться на эту гору и поселиться в отеле.

Тогда я вновь разослал всем моим издателям и редакторам послания с требованием денег. На этот раз люди оказались благосклоннее ко мне, и я стал получать отовсюду чеки. Я догадался менять франки на золото, и это дало мне возможность в конце концов вернуться в Россию. За день до моего отъезда в Швейцарии уже нельзя было менять бумажки на звонкую монету.

Когда у нас скопилось тысячи две франков, мы решили подняться на Монтану-Вермалу. Все туманы остались внизу. Глазам открылись огромные горизонты. Снежные вершины сверкали на солнце. И горный воздух, прозрачный и мягкий, вливался ко мне в грудь, как целительная влага. Я чувствовал каждый день, что дышу все лучше и лучше, что силы мои восстанавливаются. Мы прожили на горе недель шесть.

* Монтана-Вермала (фр.).

От Женева до Софии

Письма 1915 года

Какой-то остроумец уверял, что русские интеллигенты, проживая где-нибудь в Саратове или Ростове-на-Дону, мечтают об Европе, как о рае. — «Хорошо бы теперь махнуть в Париж, послушать звон часов на колокольне св.Сульпиция⁷²⁷, выпить абсента в кафе «Пантеон»... А стоит им будто бы две недели пошататься по парижской мостовой или вообще где-нибудь за пределами «государства российского», как они уже начинают тосковать по своей варварской отчизне. — «Не махнуть ли домой? Хорошо в России...»

Не знаю, точны ли эти наблюдения для мирного времени, но теперь, когда мы воюем, у каждого русского, застрявшего за границей, одно неотступное и острое чувство: надо ехать домой.

Вот и я поехал.

За восемь месяцев — я жил в Швейцарии, то под Женевою, то в горах — у меня впечатлений накопилось достаточно, и я теперь очень хорошо знаю добродетели этой мирной и пресной страны, равно как и похвальные качества протестантской Женева, в которой жители, по уверению Теофиля Готье⁷²⁸, так целомудренны, что даже всякие кривые линии в архитектурных орнаментах кажутся им *voluptueux* *.

Когда я поправился и стал обедать за табльдотом, в отеле было уж мало народу — испанец из южной Америки, старая француженка из Лиона, *madame S.*, швейцарец из Берна и еще кое-кто. Русских не было. *Madame S.* была очень удручена. Сыновья и внуки ее были в действующей армии. Она прекрасно помнила семидесятый год⁷²⁹. Пруссаки внушали ей и ужас и отвращение. На Францию она не очень надеялась. И то, что Жюль Гед⁷³⁰, «этот

* Сладострастный (фр.).

скверный социалист», вошел в министерство национальной обороны, пугало ее буржуазное сердце. «Одна надежда на Россию!» Но русские медлили. Так ей казалось. *Madame* очень сердилась. Она спрашивала меня, водя пальцем по карте, почему русские не вошли в Берлин до сих пор. «Надо спешить».

У испанца была куча черномазых ребят, а жена застряла в Париже по неизвестной причине. Он был мрачен. Симпатии его были на стороне союзников. Он внушал почему-то особенное доверие *madame S.* Раз по десяти в день она спрашивала его, кто победит — пруссаки или союзники.

Он, занятый, по-видимому, своими семейными делами, отвечал угрюмо и неуверенно:

— Разумеется, союзники.

Madame была настойчива:

— А Париж? Успеют его взять немцы или нет?

— О, нет! Разумеется, нет, сударыня...

Это уверение успокаивало француженку на час.

Она расспрашивала меня иногда о России:

— Правда ли, что казаки очень свирепы? Есть ли в России писатели, кроме Толстого и Максима Горького?

Швейцарец из Берна, белокурый молодой человек, юрист, оставленный при университете, был очень корректен и напряженно вежлив, но на острые вопросы *madame S.* отвечал уклончиво. Боялся, очевидно, ее галльского темперамента. Читал он усердно бернские газеты, а также «*Berliner Tageblatt*»^{*}.

Однажды, в отсутствие г-жи *S.* мы разговорились, — я и белокурый бернский юрист.

— Какие ужасные бедствия приносит эта война, — сказал швейцарец, стараясь улыбкою и полупоклоном выразить мне дружелюбные чувства «нейтрального» человека.

— Ужасные, — согласился я.

* «Берлинер Тагеблат» — «Берлинская ежедневная газета» (нем.).

— Как жаль, что Россия начала эту войну.

— Но ведь это Германия объявила войну...

— О нет! Помилуйте! Это Россия, заручившись поддержкою Англии, начала военные действия.

Бернский юрист качал головою.

Так мы жили, как на острове, а вокруг шумело огненное море войны. Кое-что, пожалуй, было виднее оттуда, из этой маленькой страны, которая изнемогала, да и до сих пор, по-видимому, изнемогает от желания как-нибудь погасить неугомонные национальные инстинкты, как будто совсем было уснувшие под мирной сенью ихнего *drapeau federal**⁷³¹.

II

В начале января я покинул мирную Швейцарию, уверившись, по-видимому, что на сей раз ее нейтралитет не будет нарушен, несмотря на гул орудий, доносившийся непрерывно до улиц Базеля.

Я решил ехать через Италию и Балканы. По правде сказать, у меня тогда не было уверенности, что мне не придется из Салоник⁷³² вернуться на итальянский берег. Но ехать все-таки надо было.

Едва я сел на итальянский поезд, направляющийся из Домодоссолы в Милан, ко мне в купе вошла парочка влюбленных молодоженов. Я был невольным свидетелем нежных взглядов, рукопожатий, прикосновений и даже поцелуев. Итальянка была очень миловидна. Темноглазая, с большим альым ртом, с нежною и тонко очерченною шеей, она не лишена была грации здорового молодого «пушистого зверька». Ее супруг был несколько ниже ее ростом, узок в плечах и белокур. У него были утомленные глаза и вялые губы. Он не переставал, однако, расточать ласки своей спутнице.

Когда я так наблюдал за ними, мне и в голову не приходило, что эта парочка невольно откроет мне кое-что в психологии современного итальянца, недоумевающего,

* Федеральное знамя (фр.).

как быть и что делать пред лицом великой войны. Но вот что случилось.

В двенадцать часов супруги достали корзиночку с провиантом и принялись с аппетитом закусывать, запивая завтрак неизменным кианти, который они распивали поочередно прямо из горлышка бутылки.

После завтрака, когда они несколько утомнились, им вздумалось обратить на меня внимание, и мы разговорились. Супруг, по-видимому, был чиновник.

— Два Гарибальди⁷³³ погибли во Франции, — сказал я, желая вызвать моего спутника на разговор, более острый и решительный.

Он посмотрел на меня, кисло улыбнулся, повел плечами и пробормотал:

— Фанатизм!

— Почему же? Что вы хотите собственно сказать? — удивился я, потому что в самом деле не ожидал такого ответа.

— Я хочу сказать, что итальянцы, которые дерутся сейчас во Франции против немцев, могут оказаться в ложном положении.

— Каким образом?

— Очень просто. Италия должна быть наготове ко всяким случайностям. Наши национальные интересы — это прежде всего. Мы еще не знаем и не можем знать, кто будет за нас и кто против, когда наступит момент для реализации наших национальных стремлений.

Ободренный моим терпением, спутник мой стал не без откровенности развивать свою политическую программу, весьма трезвую и совсем несложную.

Наконец он мне заявил, самодовольно улыбаясь:

— Вы спрашиваете, почему мы не воюем, когда политическая конъюнктура так благоприятна для выступления Италии. Но ведь мы и пользуемся обстоятельствами. Мы воюем.

— Как «воюем»? — изумился я. — С кем же у вас война?

— А Валона? ⁷³⁴ Вы забыли, что мы устроили там десант. Это — кое-что. Когда поднимется вопрос о компенсациях, Европа вынуждена будет считаться с фактом нашего выступления в Албании ⁷³⁵.

— А! Вот оно что! — пробормотал я, смущенный откровенностью моего собеседника.

В это время я случайно взглянул на лицо его супруги. Она побледнела. У нее дрожали губы, и в глазах светились недобрые огоньки.

Супруг тоже заметил перемену в лице своей возлюбленной и счел долгом осведомиться, что с ней, не худо ли.

Она отдернула пальцы, на которые злополучный муж положил было свою бледную и худую руку.

— Это низко! Это гадко! — завопила вдруг итальянка в чрезвычайном гневе. — Я стыжусь иностранца. Как ты смеешь говорить об албанской аванюре! Италия должна воевать с австрийцами. Гарибальди — герои, и кто не за них, тот негодный трус...

Началась семейная буря.

Тщетно сконфуженный супруг умолял успокоиться свою страстную спутницу. Тщетно и я старался примирить поссорившихся любовников.

Два часа еще нам пришлось ехать вместе, и все время я был свидетелем этой маленькой семейной драмы, отразившей в себе большую драму растерявшейся Италии.

III

В конце января 1915 года в Бриндизи ⁷³⁶ я сел на итальянский пароход «Босфор», который должен был доставить пассажиров в Салоники. Когда летом я выезжал из России за границу, мне и в голову не приходило, что придется возвращаться домой таким окружным путем: ничего не поделаешь — война.

На пароходе общество было смешанное — международное. Когда мы отчалили от итальянского берега и городок потонул в сизой мгле, пассажиры столпились на палубе и смотрели на солнце, которое как будто переключи-

калось с зеленым морем; казалось, что у них свой язык — у этого моря и у этого небесного зверя, чья золотая грива то ниспадает на вершины гор, то плещется в волнах, влачаась за царственным животным, совершающим свой неуклонный путь по небосводу.

Боже мой! Как прекрасен мир! И трудно себе представить, что среди этого раздолья кипит вражда и ненависть. Нет, что бы там ни говорили умные люди, война всегда загадочна и непонятна, и, должно быть, не человеческие, а какие-то иные силы ее творят. Подумать только: в Европе стало тесно. И вот нам даже проехать нельзя к себе в Московию, ибо дважды перерыли землю безумцы от моря до моря. Да что я говорю — землю. Вот я вижу, капитан на мостике дает какие-то знаки команде: это он боится плавучих мин. Неужели и эти беспечные итальянцы в конце концов будут спорить за свое право принять участие в дележе Божьей земли:

«И делили одежды его, бросая жребий»⁷³⁷.

За столом, в общей каюте — все говорили о войне — и как страстно говорили! Дело, оказывается, в рынках. Так, по крайней мере, объяснил один шведский профессор, назидательно стуча пальцем по тарелке. Веселый француз, с толстыми губами и лукавыми глазами, уверял свою собеседницу, красавицу-польку, кажется, графиню, что Франция получит, наконец, реванш за позор семидесятого года⁷³⁸. И даже молчаливый англичанин высказал свое мнение: в войне нет ни правых, ни виноватых; война — это спорт, это бокс, если хотите; Германия ведет войну непристойно, и ее будет судить в конце концов международный трибунал.

Передо мною лежала большая военная карта, и я, разглядывая ее, никак не мог сосредоточиться и оценить положение наших врагов и наших союзников с стратегической точки зрения: мне мерещилось все что-то случайное — то дети, которых я видел у Люксембургском саду, когда они играли в войну, размахивая игрушечными саблями с немалым азартом; то голубые невинные глаза од-

ной мюнхенской немки, в которые когда-то я был влюблен, будучи безусым студентом; то представлялся мне почему-то молодой еврей из Лодзи, с которым я однажды сидел вместе в пересыльной тюрьме. Где теперь все эти случайные люди? Как они живут? Что чувствуют? Немка, должно быть, замужем. Ее мужа убили, наверное, на Марне ⁷³⁹ или еще где-нибудь. И у тех мальчиков, что играли в Люксембургском саду в войну, кто-нибудь да убит теперь — отец, брат... А тот милый еврей, с таким смешным акцентом говоривший по-русски, — где он? Его забрали в солдаты. Воображаю, какой он был забавный в солдатской амуниции. Его старуха мать, вероятно, беженка, — плачет о сыне день и ночь...

Против меня сидел господин лет тридцати. У него были страстные и решительные глаза. Я запомнил эти глаза. Они и теперь мерещатся мне иногда. А губы у него были томные и ленивые.

Не знаю, почему этому господину вздумалось заговорить со мною. Он улыбнулся застенчиво и сказал:

— Вы русский, не правда ли?

— Да, я русский.

— Вот Россия вовлечена теперь в такую страшную войну. А ведь в сущности, чем бы война ни кончилась, Россия ничего не выиграет от участия в ней. У вас, русских, такая огромная территория. Если бы Россия приобрела еще новые земли, они были бы обузой для нее. Даже то, чем вы теперь владеете, вовсе еще не использовано вами как следует. Вам трудно жить, потому что у вас слишком большие пространства. Неудобно вести культурную работу, когда человек от человека отделен иногда десятками верст, как в Сибири, например. Ведь если победит Россия и союзники, ваше правительство потребует приза, например Константинополь и проливы ⁷⁴⁰.

— Я плохой политик, — сказал я, — Но такое требование возможно. Наши империалисты думают, что овладение Константинополем — естественное завершение развития нашей государственности.

В это время мой сосед, парижанин, этнограф, как я потом узнал, наклонился ко мне и прошептал:

— Имейте в виду, мосье, что ваш собеседник — турок. Признаюсь, я смутился от такого открытия.

— Простите меня, — пробормотал я. — Вы, вероятно, задеты в вашем национальном чувстве... Я не знал, что беседую с представителем воюющей державы...

Мой собеседник чуть-чуть усмехнулся.

— Что ж, — сказал он, — я не утаю от вас, что мне больно слышать, как иной народ мечтает о своем владычестве на берегах Босфора, но...

Он помолчал.

— Но, — продолжал он, блеснув глазами, — если не суждено Константинополю быть столицей Турции, пусть лучше он будет принадлежать русским, а не немцам.

Я с любопытством посмотрел на него.

Мы увлеклись разговором и не заметили, что каюта опустела. Началась качка. Я переносиу ее довольно бодро. Мне не хотелось ложиться в койку, и я поднялся на палубу.

Мимо меня прошел капитан, преследуемый неопытными и нервными пассажирами, которые осведомлялись, не начинается ли буря.

Но капитан не говорил по-французски. И по-немецки и по-английски тоже не говорил. Он сурово отмахивался от назойливых вопросов.

«Однако у нашего капитана озабоченное лицо», — подумал я.

Теперь не видно было берегов, и зеленые волны катились большими грядами на восток. Я прислушивался к морю. Кто-то большой и тяжелый бормотал в бреду. Вечернее солнце за туманною завесою слабо освещало седые хребты бунтующих волн.

Бледный господин, пошатываясь, торопливо прошел мимо меня, безнадежно махнув рукой. Скоро палуба опустела.

Солнце закатилось. Стало совсем темно. Ночь, мрачная и зловещая, приникла к морю, как будто совещаюсь

с ним о недобром деле. Я не видел волн, но чувствовал, что они стали выше.

Соленые брызги орошали лицо. Пароход наш накренился и нерешительно шел во мрак, тяжело дыша. На палубе, кроме команды, был только я да еще англичанин — тот самый, который смотрел на войну как на спорт и не видел в ней ни правых, ни виноватых. Англичанин стоял твердо, широко расставив ноги, и, как замороженный, следил за цепью, которая, громыхая, ползла по палубе вдоль борта. Он так стоял и смотрел. Я видел раз, как гипнотизер-экспериментатор, прижав петуха к столу, провел черту мелом от клюва до края стола, и петух остался недвижим, уверенный, что ему не оторваться от той черты никогда. Этот англичанин напомнил мне загипнотизированного петуха.

«Пойду вниз и лягу в койку», — решил я.

В каюте было душно. Волны хлестали в круглое стекло окошка, и казалось, что это какое-то морское чудовище плывет рядом и, угрожая, стучит широкой лапой.

Я заснул тяжелым сном. Мне приснилось поле, покинутые проволочные ограждения и на них красный петух, который орал человеческим голосом: «Свобода, равенство и братство или... смерть». Петух кричал хриплым голосом.

Я проснулся от сильного толчка и сразу не мог сообразить, лежу я или стою. Наконец, нащупав выключатель, я зажег электричество. То, что я увидел, смутило меня. Полотенце, которому полагалось висеть на крюке перпендикулярно полу, висело ему параллельно, образовав прямой угол со стеною каюты. Раздался сильный треск, и полотенце, как маятник, переместилось в обратную сторону и опять стало под прямым углом. Туфли мои и сак, который я забыл положить в сетку, плавали в воде.

«Добро бы мы переплывали океан, а то в каком-то Отрантском проливе ⁷⁴¹ терпеть этакое приключение», — рассердился я, догадываясь, что дело неладно и что пароходу угрожает опасность.

С немалым трудом вылез я из койки и «спустился» в дверь, ибо стенка с дверью превратились теперь в пол, а пол очутился в положении стены. Пароходные переборки трещали зловеще.

В общей каюте, судорожно уцепившись за стол, сидел дежурный слуга. Я полез по лестнице на палубу. Боже мой! Что я там увидел! Небо и море смешались в диком вихре.

Я подумал: «Человек со всеми его претензиями, планами, революциями, культурою, войною — в конце концов один из малых статистов в этом космическом театре. А трагическая героиня на его подмостках — сама стихия. Какой у нее голос! Какие жесты!»

Целые горы из морской глубины возникали у борта парохода и обрушивались на палубу.

Моя куртка мгновенно стала мокрой. Я едва дополз до середины палубы и с трудом держался на ногах, крепко схватившись за канат. Сначала мне казалось, что на палубе никого нет. Потом я рассмотрел на мостике капитана и трех матросов на вахте.

Я не знаю, сколько времени пробыл я так на палубе, прислушиваясь к великолепной и страшной симфонии моря. Светало, но хмельная буря по-прежнему праздновала свое оргийное торжество. Оглянувшись, я вдруг заметил, что еще один человек был на палубе. Это мой турок сидел, прижавшись к груде каких-то тюков, привязанных к мачте. Он увидел меня и сделал мне знак, чтобы я сел рядом с ним. Я перебрался не без труда в его убежище. Мы сели рядом, прижавшись плечом к плечу, как друзья, — мы, враги, сыны враждебных наций и государств, как я тогда думал.

— Вот он, человек, — сказал он, как будто угадывая мои мысли. — Жизнь наша, как тростинка, а мы думаем, что мы цари.

— А мы все-таки и цари, и боги, — усмехнулся я, но буря так свистела, что он, должно быть, не расслышал моего философического замечания.

Мы долго так сидели, обмениваясь изредка фразами, и часто не слышали друг друга из-за рева и воя ветра, но — странное дело — я чувствовал этого человека как друга и брата.

В полдень буря стихла, море раскинулось зеленой пеленой, и солнце запело в небо свою золотую песнь. Я теперь видел страстные и решительные глаза моего ночного товарища.

— А все-таки мы победим и эту бурю! — сказал он вдруг улыбаясь.

— Какую бурю?

— Войну.

— Что? — спросил я недоумеваю.

— Войну, — повторил он убежденно.

Когда мы прощались, он дал мне визитную карточку.

Я с удивлением прочел на ней:

— *Chevket-bey Kibrizli. Paphos. Chypre* *.

По-видимому, он заметил, что я недоумеваю.

— Я родной брат того Шевкет-бея⁷⁴², о котором вы, вероятно, слышали.

Только тогда я вспомнил о царьградской драме.

Теперь этот представитель умирающей культуры, этот свободолобивый патриот представляется мне как живой символ несчастной Турции, которая должна восстать против самой себя, если она мечтает сохранить свое культурное и национальное единство⁷⁴³.

IV

Спасаясь от бури, которая обрушилась на пароход наш в Отрантском проливе, зашли мы в Патрас⁷⁴⁴. Капитан, такой озабоченный, нелюбезный и строгий накануне, не говоривший ни на одном языке, кроме итальянского, вдруг стал весьма приветливым, веселым и словоохотливым. У него также открылись лингвистические знания: он заговорил по-французски, по-английски и даже с грехом

* Шевкет-бей Кибризли. Пафос. Кипр (фр.).

пополам составлял фразы по-русски, весьма, впрочем, неожиданные. Так на капитанов влияет погода.

В Патрасе к нам на пароход сел адвокат-грек, решивший ехать в Афины морем: в это время как раз что-то случилось на железнодорожной линии, и движение поездов было прервано.

Этот адвокат был первый грек, которого я увидел во время войны, и я был рад, когда он заговорил со мною. Впоследствии я убедился, что этот афинский гражданин весьма типичен для среднего образованного грека. Таких теперь там немало. И, кажется, сам Венизелос⁷⁴⁵ человек такого склада и таких же стремлений, если судить, по крайней мере, по явной его политике и дипломатии.

— В Афинах вы не найдете ни одного честного грека, который держал бы сторону Германии, — сказал мне адвокат, решительно подчеркивая каждое слово.

— Но ведь у вас есть германофильские газеты, стало быть, и германофилы найдутся, если их поискать хорошенько.

— Германофильские газеты, сударь, издаются на немецкие деньги. Впрочем, я не хочу сказать, что мы германофобы, мы только не германофилы — вот и все. Можно быть ни тем, ни другим. Мы блюдем интересы Греции.

— Вот и вы говорите об интересах, — сказал я, стараясь вызвать собеседника на откровенность. — Я восемь месяцев беседую с «нейтральными» людьми, и все они твердят об интересах и компенсациях. Но не думаете ли вы, что не только интересы определяют судьбу нации? Может быть, соблазны легкой поживы делают политиков близорукими?

Адвокат самодовольно усмехнулся.

— Ничего, кроме интереса. Все так. И мы, как все.

— Но, однако, вы сказали, что симпатии большинства на стороне союзников. Почему?

— На стороне Франции. Это верно. Но эти симпатии — по расчету. Я могу вам откровенно сказать. Франция была всегда дружественной нам державой. Она ока-

зывала нам драгоценные услуги, финансовые и политические. Мы имеем основание надеяться на нее и в будущем. Ее поражение было бы нам невыгодно.

Он с хитрою гримасою, прищутив глаза, смотрел на меня, по-видимому, несколько презирая во мне русского наивного дикаря, который воображает, что в политике может быть кое-что еще, кроме «интересов и компенсаций».

Почтенный буржуа, вероятно, не подозревал, что в это время я вспомнил пушкинские строки: «Страна героев и богов, расторгни рабские вериги»⁷⁴⁶...

... Увы! зов Пушкина, как и зов Байрона, обращенный к Греции: «О, кто возродит этот доблестный дух и воззовет тебя из могилы?»⁷⁴⁷ — звучат в наши дни, как ирония. Современные греки не похожи на греков, тем менее на богов, а вместо доблестного духа в Элладе царствует ныне дух торгашеский.

Но как ни прозаичен был гражданин эллинского государства, все же берега Коринфского залива⁷⁴⁸ не могли не тревожить сердце поэтическими призраками минувших времен⁷⁴⁹.

А когда пароход наш подошел к узкому Коринфскому каналу⁷⁵⁰ и после долгих переговоров с береговой стражею, подъезжавшей к нам на катере, повлекся медленно между берегов высоких и пустынных, все стало похожим на сказку.

Кто-то вскрикнул даже в непритворном испуге, когда пароход надвинулся высокими мачтами на низко нависший над каналом железнодорожный мост. Казалось, что мачты выше моста, что наш пароход лишь призрак, который преодолевает внешние преграды, презирая все материальное.

Мы пришли в Пирей⁷⁵¹ ночью. Сотни золотых огней дрожали на берегу и в бухте. Какие-то черные люди шныряли на лодках вокруг парохода. На палубе стучала машина, наматывавшая якорный канат. Где-то громко и тревожно закричала сирена. И вдруг все звуки умерли.

На рассвете мы снялись с якоря.

Дымя сигарою, ко мне подошел афинский адвокат.

— Вот наша гордость, — сказал он, указывая на несколько новеньких военных судов, окрашенных в боевой цвет, — здесь не весь наш флот. Часть маневрирует в море.

Он помолчал, самодовольно улыбаясь.

— Рано или поздно — Константинополь будет наш, — проговорил он наконец и посмотрел на меня, как будто ожидая возражений.

Но я не возражал адвокату.

«Значит, и при крайней трезвости прозаического ума, — думал я, — возможны такие патриотические мечтания. Но горе тому народу, который ничем высшим не оправдывает своего националистического стремления и ничего не ищет, кроме «выгоды».

Огибая Эвбею⁷⁵², мы пошли к Салоникам.

V

Мы приехали в Салоники утром. День был жаркий. Синее море, и тихое неподвижное небо, и говор разноликой толпы, десятки больших парусных лодок, привязанных к набережной, и купцы на них в белых коротких юбках, с тюрбанами на голове, продающие рыбу, апельсины и яблоки, — все было так беззаботно и так мирно: не верилось, что тут рядом союзная страна задыхается в неравной борьбе с врагом.

В большом отеле, довольно чистом, лакеи говорят по-французски; после обеда нам дали чудесный турецкий кофе, какого я нигде не пивал; в просторном номере было светло, а с балкона можно было любоваться великолепным заливом, над которым носились чайки — «птицы небесные, которые не сеют, не жнут»⁷⁵³.

Ах, забыть бы о кровавом пире, об изнемогающей в битвах земле и остаться тут, среди этой праздной и ленивой толпы под жарким солнцем! Так думалось малодушно, и страшно было ехать на север.

Я остался в Салониках на сутки. Бродил по городу, тщетно стараясь разгадать, кто эти люди, собравшиеся

здесь среди развалин — турки, греки, евреи? Все языки здесь смешаны. Смешаны и нравы, и типы.

Среди нищенских лохмотьев увидишь вдруг женщину в драгоценном восточном наряде с прекрасным жемчугом на головном уборе или неожиданно столкнешься с французами в платье парижского покроя.

Зазвенели бубны, застонала скрипка, и какая-то процессия, свадебная, может быть, потянулась из узкого, грязного переулка, и тотчас же из окон высунулись черномазые головы и долго прислушивались к нестройным звукам уличной музыки.

Я зашел в храм св. Софии, превращенный турками в мечеть, а теперь восстановленный⁷⁵⁴. Во дворике — большой каменный бассейн с зеленою водою. Фасад храма не любопытен, но внутри есть мозаика над алтарем и в куполе. Тщетно я искал потом репродукций этой мозаики. Здесь, по-видимому, никому не пришло еще в голову, что надо сфотографировать эти драгоценные камни.

Но надо было ехать домой. Я отправился в румынское консульство визировать паспорт.

Там со мной были любезны и предупредительны, и даже, быть может, чересчур заботливы. Так, например, какие-то румыны, оказавшиеся там случайно, вместе с консульским чиновником долго уговаривали меня не ехать через Болгарию.

— Поезжайте прямо через Румынию. Вам придется из Ниша⁷⁵⁵, минуя Царьброд, ехать на север, потом по Дунаю, а там по Румынии до Бухареста и русской границы.

— Но я хочу побывать в Софии, и так ближе, кроме того, и удобнее, наконец...

Румыны значительно улыбнулись.

— Удобнее, но не пропустят болгары.

— Однако ведь несколько тысяч русских ехало так.

Румыны недоверчиво качали головами.

— Едва ли пропустят.

Оттуда я пошел в болгарское консульство.

Там без всяких разговоров поставили на паспорте штемпель: «*Виден за свободно отиване Българию*»^{*}.

Денег за визу не взяли.

— Мы берем только с иностранцев.

Кажется, эта несколько неожиданная в устах болгарского чиновника фраза стала какой-то традиционной любезностью по адресу русских, возвращающихся домой во время войны.

Утром на другой день я выехал в Сербию. На вокзале в Салониках я увидел толпу измученных, безнадежно утомленных людей с худыми и тревожными лицами. Они волновались, суетились, размахивали руками. Драгоман⁷⁵⁶ нашего консульства что-то им объяснял и выдавал какие-то льготные билеты третьего класса для путешествия через Сербию в Россию.

Это палестинские евреи, русские подданные, возвращались на родину — в смятении, страхась будущего.

В этой толпе я заметил одно женское лицо с такими печальными глазами, каких я никогда не видел. Еврейка стояла неподвижно, не суетилась, не кричала, как другие. В этой девушке сохранилось что-то библейское. Такие, должно быть, еврейки сидели некогда на «реках вавилонских»⁷⁵⁷.

Граница сербская, как известно, недалеко от Салоник. Не без волнения, признаюсь, я ступил на сербскую землю. Разумеется, я тотчас же начал прислушиваться к тому, что говорят здесь, где война своим тяжелым плугом пашет несчастную землю и где поля политы не светлым дождем, а кровью самих землепашцев. Как всегда, «глубокий тыл» эмиграции оказался менее чутким к действительности. Сербь не унывают: такое осталось у меня впечатление. Надо, впрочем, и то сказать, что ехал я в те дни как раз, когда австрийцы бежали из пределов Сербии после недолгого своего торжества.

^{*} «Годеи для свободного выезда из Болгарии» (болг.).

Но если не было пессимизма, зато — увы! — не было и миролюбия по отношению к своему недавнему союзнику — Болгарии⁷⁵⁸.

Первый же серб, с которым пришлось мне беседовать, оказался непримиримым до странности. Это был старик, ехавший со мною в одном купе от Салоник до Ниша. Объяснялись мы с ним по-французски. По-русски он не понимал, а я не понимал по-сербски, хотя читал когда-то сербские песни без большого труда. Впрочем, отчасти в моем непонимании языка виноват был и этот старик, говоривший торопливо и неразборчиво.

Непримиримый старик и слушать не хотел об уступках болгарам.

— Как! Этим татарам уступить исконную славянскую землю! Македония — колыбель нашего народа. Отсюда вышло южное славянство. Нет, мы не уступим нашей земли этим варварам...

— Почему варварам? Почему татарам?

На это, разумеется, последовали обычные ответы, которых я наслушался немало в Женеве.

Болгары не чистые славяне⁷⁵⁹. У них нет своей древней литературы. Их фольклор несамостоятелен. Вся древняя культура — культура сербская.

Не будучи вполне компетентен в этой области, я не мог, конечно, возражать старику с достаточной убедительностью, но у меня была какая-то внутренняя уверенность, что эта острая распря потому так и остра, и ядовита, и жестока, что ссорятся между собою все-таки родные. Чужие враги могут бороться, но истинная ненависть может быть лишь при какой-то близости, и, пожалуй, уместно вспомнить здесь поговорку: от ненависти до любви один шаг.

Когда поезд, медленно тащившийся среди обнаженных тутовых деревьев, остановился у станции Мировче, я увидел группу сербских ополченцев, распевających какую-то меланхолическую песню.

«Это страна мужиков и охотников», — подумал я, когда увидел у дверей станционного домика тушу дикой

kozy, двух зайцев, лису и еще какую-то дичь — все это висело на солнце как-то по-домашнему. И не видно было начальства, и самый поезд казался здесь неуместным, чуждым патриархальному быту и этим воинам в разносортной одежде, без выправки дисциплинированных солдат.

Тут, в Мировче, я понял, что Сербия теперь, в эти страданные дни ⁷⁶⁰, — один военный лагерь, что под ружьем все — старики и мальчики, что женщины работают на этот лагерь и что в Сербии ничего нет, кроме страстной и напряженной мечты о свободе.

Эти солдаты похожи на повстанцев.

Ночью, когда я и спутник мой спали в нашем купе, кто-то постучался к нам в дверь.

— Что надо? В чем дело?

Оказывается, какая-то девушка, студентка-медичка, как я узнал впоследствии, просит позволения пройти в наше купе и, открыв окно, получить какой-то пакет, который ей должны передать на ближайшей станции.

— Пожалуйста. Но почему вы к нам стучите, а не желаете выйти для этого на площадку?

— Проход занят.

Я выглядываю из моего купе и вижу, что весь вагон первого класса наполнен ранеными, которых эвакуируют в Ниш: там больницы. Раненые лежат на полу — в проходе и на площадке. Их увезли слишком далеко во время наступления австрийцев. Теперь их возвращают обратно.

Разумеется, спать в эту ночь уже не пришлось. Курсистка оказалась словоохотливою. Она училась медицине в Мюнхене. Выехала оттуда перед самою войною. Разговаривали мы с нею по-русски. И эта медичка оказалась такою же непримиримою, как старик.

— Вы за сербов или за болгар?

Это был ее первый вопрос. Потом она достала карту и все старалась объяснить мне, водя по ней пальцем, что Македония должна быть сербскою и не может быть не сербскою.

Мы вели этот разговор при тусклом свете огарка. Вагоны в Сербии не освещаются вовсе.

— Ах, вам надо остаться в Нише на несколько дней, — уговаривала она меня. — Но, вы знаете, теперь все гостиницы переполнены. Я бы вас пригласила к себе в дом, но все комнаты заняты ранеными. Была одна свободная, но теперь ее занимает журналист-англичанин...

И она назвала одну известную фамилию.

На рассвете мы приехали в Ниш.

IV

Такого грязного города, как Ниш, я не видал нигде. И даже наш Якутск, который пришлось мне посетить тринадцать лет тому назад, не так беден и жалок, как этот второй город королевства, стоящий на главной железнодорожной линии. А ведь Якутск мерзнет в тайге долгую зиму, и надо проехать три тысячи верст на лошадях, чтобы услышать свист паровоза.

Нам сказали, что в Нише свирепствует тиф. Еще бы. Хотя на станции пахло карболовой кислотой, но что можно поделаться с эпидемией, когда лошади бредут по брюхо в жидкой грязи, люди пьют воду прямо из колодца, и приезжие ютятся как попало, и приходится искать не комнату, а угол: все полно.

По счастью, с нашим поездом возвращался из Греции вагон-салон, в котором ехал во Францию министр Барк⁷⁶¹, и там можно было пообедать как следует. Съестных припасов, которые мы купили в Салониках, нам хватило на сутки, а между тем, в Нише пришлось задержаться неожиданно.

Ко мне подошел какой-то еврей, вертлявый человек в волчьей шубе и спросил по-французски, не в Петроград ли я еду. Получив утвердительный ответ, он поспешил почему-то показать мне свой паспорт и отрекомендоваться. Он ехал в Россию в качестве корреспондента греческих официальных газет. Это не мешало ему быть накануне войны константинопольским корреспондентом одной большой националистической газеты.

— Вы, может быть, и по-русски говорите? — спросил я.

— Говорю немного.

— А вы давно из Константинополя?

— Да вот уже две недели.

— «Гибена»⁷⁶² не видали?

— Видел. Он серьезно поврежден. Он теперь совсем не страшен для русского флота. И мы на море сильнее турок.

— А вы грек?

— Да. Но учился в Софии, в университете. Слушал лекции вашего Милюкова⁷⁶³. Почтенный человек. Я, хотя и состою корреспондентом... (он назвал известный орган), но уважаю господина Милюкова... Вы в Софии остановитесь?

— Да.

— Позвольте вам порекомендовать гостиницу. Очень хорошая гостиница. «Македония» называется.

Вообще этот журналист оказался весьма любезным и словоохотливым человеком, хотя несколько торопливым и как-то чересчур «интернациональным».

По моим наблюдениям, такие заведомо «интернациональные» люди почему-то всегда охотно работают в самых крайних националистических органах, иногда переходя, впрочем, с загадочным легкомыслием, из одной страны в другую.

Подошла к станции партия солдат. Моя спутница поспешила достать фотографический аппарат с намерением снять группу воинов. Солдаты были очень довольны, что ими интересуются, просили подождать, пока они приготовятся. Заламывали шапки и подкручивали усы. Пусть все узнают, какие brave солдаты сербы. Особенно хлопотал один белокурый молодой парень. Поймал трех девушек в деревенских нарядах и, хотя они упирались, закрывая брови рукавами, привел их. Их надо тоже снять и показать там, в России, какие славные девушки в Сербии.

— Вы как же едете? На Дунай? Через Румынию? — спрашивали меня сербы в Нише и, когда я говорил, что еду

на Царьброд, через Болгарию, неодобрительно покачивали головами.

Но мы все-таки поехали через Болгарию. Царьброд — маленькая пограничная станция, но там есть буфет, носильщики понимают по-русски, и все как-то светло и уютно; нет духа напряженной тревоги, который овладел воюющей Сербией.

Но чем дальше ехал я по Болгарии, тем больше это первое впечатление мира и довольства уступало в душе место совсем иному впечатлению. Я начинал понимать, что это лишь кажется так: на самом деле Болгария больна войною. Если Италия и Греция рассуждают и медлят, взвешивают обстоятельства и оценивают положение, все это не отражается в сердцах и умах так болезненно, как здесь. Болгария больна войною. У нее лихорадка. И нищая, израненная Сербия по сравнению с благополучною Болгарией кажется бодрой, здоровою и крепкою.

У меня в руках куча болгарских газет — «Мир», «Болгария», «Препорец» *, «Народная воля», «Народные права», «Кабана» **, «Дневник», «Утро» и несколько еженедельных иллюстрированных листков ⁷⁶⁴.

И в этих газетных листах чувствовалась та же лихорадка: пусть германофильские газеты клеветают на Россию, пусть русофильские не смеют сказать громко то, что на душе у каждого болгарина; пусть сатирические листки трунят над сербами: везде — в каждой статье, в каждой заметке — одна тревога, одно недоумение.

В Софию я приехал вечером и, к сожалению, сказал извозчику, чтобы он вез меня в гостиницу «Македония», как рекомендовал мне греческий журналист. «Македония» эта оказалась таким грязным притоном, и хозяин, восточный человек, по-видимому, турок, был так назойлив, что я поспешил уехать оттуда в другой отель, хотя слуга этой самой «Македонии» уверял, что в Софии все гостиницы

* Прав.: «Пряпорец» — «Знамя» (болг.).

** Прав.: «Камбана» — «Колокол» (болг.).

переполнены, и упорно тащил мои чемоданы куда-то наверх по узкой и темной лестнице.

Но гостиница нашлась, и даже устроенная на немецкий лад. Только все европейские усовершенствования не действовали почему-то: телефон был сломан, лифт остановился на полпути, электричество неожиданно гасло, и центральное отопление было не в порядке.

Со странным чувством я бродил по софийским улицам.

«Но ведь это русский народ!» — думал я, прислушиваясь к речи прохожих, читая при свете тусклых фонарей вывески, написанные русскими буквами ⁷⁶⁵.

Я зашел в кафе.

Десятки русских лиц. Это все интеллигенты. Это все наш «третий элемент» ⁷⁶⁶ — такое впечатление осталось у меня от этих болгарских политиков, которые с жадностью читали газеты и перебрасывались иногда замечаниями, скрывая под маской иронии и скептицизма горькие чувства и мучительные сомнения.

Однако первый болгарин, с которым я познакомился, оказался германофилом! Я встретил его в вагоне железной дороги.

Дело было вот как. В купе, где сидел я и моя спутница, вошел господин среднего роста, с желчным и сердитым лицом, одетый, как европеец. Несмотря на впалую грудь и явно болезненный вид, он был, по-видимому, занят собою, и усы его торчали, как у Вильгельма ⁷⁶⁷, свидетельствуя о том, что их владелец не признает себя угнетенным и претендует на самостоятельность положения и независимость суждений. Но, несмотря на воинственно торчащие усы, было в нем что-то жалкое.

Вскоре у нас в купе оказалось еще двое: один добродушного вида господин лет сорока, с умными и тихими глазами, а другой его спутник, старичок, весьма подвижный, болтливый и, должно быть, лукавый.

Первый пассажир, которого для простоты я буду звать «Вильгельмом», весьма обеспокоился, когда услышал, что я разговариваю с моей спутницей по-русски. Он

заерзал на своем диване, исподлобья нас оглядывая, трижды ронял газету и, нагибаясь, извинялся почему-то.

Наконец, он обратился ко мне с разговором. Говорил он по-болгарски, вставляя иногда русские слова, когда я недоумевал, не понимая какой-нибудь фразы.

— Вы возвращаетесь, вероятно, в Россию? — спросил он, стараясь быть любезным.

— Да.

— Так много русских едет теперь из-за границы. Какие трудные времена. На долю России выпали большие испытания.

— О, да. И на долю Европы тоже.

— Германия такой опасный противник. А Гинденбург? Вы не находите гениальным этого генерала?

— Я худо разбираюсь в военном искусстве.

— Немецкая военная наука стоит на недостижимой высоте.

— Может быть.

— Я думаю, что война будет полезна для России.

— Вероятно.

— Если Германия окажется победительницей, тогда...

Я посмотрел вопросительно на моего собеседника.

— Тогда успехи цивилизации обеспечены. У нас в Болгарии многие боятся немецкой государственности. Но это напрасный страх... Мы должны считаться с реальными интересами. Вот и все.

— А в чем реальные интересы Болгарии?

— Нам надо получить Македонию...

«Вильгельм», как-то съезжившись вдруг и бросив на меня недобрый взгляд, боком вышел из купе, едва приподняв шляпу над лысою головою.

Только что он ушел, как наши спутники, упорно при нем молчавшие, заговорили весьма оживленно сначала между собою, а потом и с нами.

— Чиновник! Бюрократ! Германofil! — сказал лукавый старичок, показывая пальцем на дверь, в которую вышел «Вильгельм».

Были уже сумерки, когда мы переправились через Дунай, а ночью мы были в Бухаресте.

После нищего Ниша, после беспокойной Софии так странно было попасть в нарядный и возбужденно-веселый Бухарест.

Чему смеются эти люди? Почему так заgrimированы эти дамы? Зачем у всех офицеров монокли, как у австрийцев?

Гремит какая-то бравурная музыка. Кафешантаны гостеприимно распахнули свои двери. Да и весь город похож до странности на кафешантан.

В ресторане слуга, заметив, что я русский, извиняется, что не говорит ни по-русски, ни по-французски. Он говорит только по-немецки. Но это ровно ничего не доказывает. Напротив. Он очень желает поражения австрийцев⁷⁶⁸.

Молодой словоохотливый слуга был тоже заgrimирован. У него были подведены глаза и наrumянены щеки.

На родине

Из Румынии мы поехали на Киев. Там пошел я в Софийский собор⁷⁶⁹ смотреть мозаики. Прекрасна по краскам и композиции внутренняя стена алтаря; изумительна по глубокой своей символической и по красоте и законченности мастерства «Евхаристия»⁷⁷⁰, расположенная в алтарном полукруге за престолом; чудесен и белый ангел на своде перед иконостасом — все эти сокровища мирового значения потрясли меня. Я как-то почувствовал, что не только мрачная и жестокая «византийская идея»⁷⁷¹, но и нечто светлое и прекрасное унаследовано Русью от греческой культуры XI века. Я почувствовал историю, «связь времен», органическое единство всех народов, таинственную летопись событий. Но вместе с тем мысль, что Россия как некое культурное единство существует уже тыся-

чу лет, т.е. достигла «нормального возраста нации», пугала меня. Неужели, думал я, мы живем в конце какого-то исторического цикла? Неужели мы александрийцы? Неужели мы в самом деле декаденты? Мне суждено было в том же Киеве найти подтверждение этому невеселому утверждению.

Из Софийского собора отправился я на противоположный конец города смотреть Врубеля в Кирилловской церкви⁷⁷². Здесь я воочию убедился еще раз, что мы в самом деле александрийцы. Да не будут мои слова истолкованы в том смысле, что Врубель ниже, хуже, недостойнее каких-то иных мастеров, коим посчастливилось жить в эпоху органическую и цельную. Нет, я не хочу умалить гений Врубеля. Но если взглядеться в его работы, разгадать дух этих превосходных живописных достижений, то придется в смущении и тревоге признать великолепного мастера провозвестником критической культуры. Четыре иконостасных образа и в том числе образ Богоматери⁷⁷³ — вещи красоты неопишуемой. Ученик Тициана, Тинторетто и прочих венецианцев одержал верх над своими учителями. Нашедший более строгий колорит и более тонкую гармонию, он не утратил изящного благородства итальянского Возрождения. Я не в первый раз был в Кирилловской церкви. Должен признаться, что ранее я не сознавал с такой отчетливостью опасности Врубеля. Теперь же, когда шумела мировая война, я почувствовал историю. Я стал различать в ней, в истории, все «реальности» и все «мнимости» с зоркостью, до тех дней мне еще не свойственной. Я понял, что Врубель о п а с е н.

Еще опаснее он в своей громадной и как будто бы монументальной стенописи «Сошествие Св. Духа на апостолов». В этой колоссальной композиции, несмотря на гениальный замысел, я вижу все-таки связанность художника психологическим заданием. И как характерно, что Врубель пользовался как моделями для своих апостолов теми несчастными сумасшедшими, которые бродили тут же рядом, за стеной лечебницы для душевнобольных.

Странный выбор натурщиков указывает на духовную слепоту Врубеля, которая впоследствии сопровождалась, как известно, и физической слепотой⁷⁷⁴. Наконец, что сказать о «Плаче Богородицы» художника? Здесь на первый взгляд торжествует дивный монументальный стиль Византии; здесь как будто художник свободен от психологизма. Но всмотритесь в эту живопись, сравните ее хотя бы с мозаиками Софийского собора, и вы убедитесь, что у Врубеля стилизованная монументальность. Тогда, в XI веке, она вытекала из глубины мироотношения. В наши дни это гениальное прозрение в глубину веков, а не наш сегодняшний опыт. Конечно, это не слащавые красоты Васнецова⁷⁷⁵, которыми восхищаются обыватели во Владимирском соборе. У Врубеля все серьезно и убедительно. Но тем страшнее. Одним словом, в стенописи Кирилловской церкви можно уже предугадать будущих «демонов», которыми соблазнился художник⁷⁷⁶.

Под этими киевскими впечатлениями вернулся я в Петербург, именовавшийся тогда Петроградом. Я помню, как негодовали на это переименование многие, между прочим, Мережковские. А ведь это переименование не было новостью: северную столицу называли Петроградом и Пушкин и Боратынский⁷⁷⁷. По-видимому, это название было в ходу в 20-х годах. Оно встречается у многих мемуаристов, напр., у Вигеля⁷⁷⁸.

Итак, я вернулся в Петербург не тем человеком, каким я жил в нем когда-то. Мне хотелось ознаменовать свое отречение от двух начал — от нашего русского интеллигентского психологизма и от западноевропейского хитрого и лицемерного гуманизма. Обе эти темы были связаны с войною. В них надо искать оправдания двум тогдашним моим произведениям — «Поединок» и «Невеста». Обе вещи были написаны в драматической форме. «Поединок» не был, однако, предназначен для сцены. Я напечатал его в альманахе «Жатва»⁷⁷⁹. Эта вещь заслуживает внимания, и я был рад, когда некоторые поэты, мною ценимые, отзывались о ней в лестных для меня выражениях. Вторая пье-

са «Невеста» была поставлена осенью 1917 года на Александринской сцене.

К сожалению, я был тогда на фронте и приехал в отпуск лишь на две последние репетиции. Это было мое первое выступление как драматурга. Правда, еще ранее в студии П.М. Ярцева ⁷⁸⁰, готовили к постановке мою «Тайгу», но я не видел ни одной репетиции, а потом студия закрылась, и моя пьеса не увидела света. «Невесту» ставил начинающий тогда, а теперь весьма известный режиссер Н.В. Петров ⁷⁸¹, но покойный Карпов ⁷⁸² вмешивался в постановку и мешал молодому режиссеру себя проявить. По счастью, актеры отнеслись на редкость сочувственно к пьесе. Я с благодарностью вспоминаю Тиме ⁷⁸³, Аполлонского ⁷⁸⁴, Лаврентьева ⁷⁸⁵ и др. Все чутко прислушивались к тому, что я говорил им, и воспользовались моими советами. Спектакль имел у публики немалый успех ⁷⁸⁶, но рецензенты упрямо старались доказать, что пьеса, хотя и написана «талантливым художником», но будто бы не театральна. Несмотря на эту враждебность прессы ⁷⁸⁷, я был рад, что «Невеста» была показана публике. Я убедился в том, что могу писать для сцены, что владею драматургической формой, и убежден, что именно в драме суждено мне высказаться до конца как художнику ⁷⁸⁸.

Швейцарские горы хотя и подкрепили меня, но исцелить меня не могли. Врачи посоветовали мне поселиться в Царском Селе. Я так и сделал. Мы наняли с женою квартиру на Малой улице. Я перевез сюда из Петербурга свои книги. Друзья навещали меня, но в то же время здесь не было городской суеты, и я мог работать. Казалось бы, все складывалось очень хорошо. Но, должно быть, на роду мне написано быть скитальцем. По состоянию моего здоровья я не мог, конечно, быть забран в солдаты, но мысль о том, что сейчас на фронте решаются судьбы мира, неотвязно меня преследовала. Я не склонен был к воинственности, и едва ли из меня мог бы выйти путный солдат, но мне казалось невозможным жить в тылу, не изведав вовсе трудностей и ужасов войны. Я решил под тем или другим

предложением ехать на передовые позиции. Благодаря любезности Н.В. Некрасова⁷⁸⁹, который потом был министром Временного правительства, я получил доступ на фронт и был причислен к Первому передовому сибирскому отряду Союза городов.

Надо сказать, что — как это ни странно — в университете я учился четыре года на медицинском факультете. Эта странность моей биографии объясняется фантастическими планами, какие увлекали меня, когда я кончал гимназию. Я никогда не сомневался, что буду писателем. Это убеждение созрело у меня еще в отрочестве. Вместе с тем, я решил тогда же, что должен быть во всеоружии учености. Я собирался кончить, по крайней мере, два факультета. Я мечтал получить основательное философское образование. Но философ должен быть и психологом, а чтобы чувствовать под ногами почву, надо знать физиологическую психологию. Я колебался между естественным факультетом и медицинским и решил в пользу медицинского, ибо на нем изучался по преимуществу человек, и, конечно, его мозг, его нервная система. Я вовсе не был позитивистом, но я хотел владеть методами точных наук. Медицинский факультет был для меня подготовительным классом в обширной ученой программе, мною начертанной так самонадеянно. Я знал, что на первом же курсе мне предстоит искушение примкнуть к революционному движению, и я старался убедить себя, что этого не случится, что я не буду вмешиваться в политику и буду беречь себя для науки. На самом деле все оказалось «совсем наоборот». Я не только присоединился к революционному движению, но вошел в Исполнительный комитет, стал врагом «академистов» и попал в Сибирь. Таким образом, философией и филологией мне пришлось заниматься за тюремной решеткой и в якутской ссылке. Но я не сетую на судьбу за то, что проработал четыре года в анатомическом театре, в химической лаборатории, в физическом кабинете и даже отчасти в клиниках. Я все-таки успел усвоить основательно методологию естествознания. И не раз, штуди-

руя философские книги, я радовался, что естественные науки для меня нечто весьма реальное и знакомое. Но медицинский факультет пригодился мне и в другом отношении. Я два раза в своей жизни занимался медицинской практикой: в 1902—1903 годах в селении Амга, в Якутской области, а во второй раз в 1916 году на фронте.

Попав в Первый передовой сибирский отряд в качестве лица без определенных занятий (я забыл даже, по какой должности я числился), естественно, я стал искать для себя какого-нибудь дела. По счастью, в отряде оказался весьма знающий и удачливый молодой хирург. Этот доктор И.А. Истомин, узнав, что я был когда-то на медицинском факультете, с чрезвычайной охотой предложил мне помогать ему при операциях. Этим делом в меру моих сил я и занимался, пока не пришлось мне замещать уполномоченного отряда. Отряд был большой. Многолюден был и медицинский персонал, и административный. О величине отряда можно судить по тому, что одних нижних чинов было прикомандировано к нему 242 человека. В отряде был лазарет и летучка. Одним словом, хозяйство было немалое. У нас было 250 лошадей, около 40 штук рогатого скота. Само собою разумеется, что, приняв на себя заботы об отряде, я уже не мог продолжать моих хирургических занятий.

Я попал на фронт в середине августа. И должен признаться, что одно из самых ужасных впечатлений, какие довелось мне вынести в тот год, была моя первая поездка по узкоколейной ветке, которая вела непосредственно на позиции. Огни на станциях были потушены, и толпа солдат во мраке, бросившаяся в вагоны, чуть не сбившая меня с ног, подняла и втолкнула меня в темный вагон. Я едва не задохся там от смрада и сперттого воздуха. Физические силы мои после перенесенной болезни были еще очень слабы, и я совершенно изнемог, втаскивая в вагон мой чемодан и портплед⁷⁹⁰. Кое-как приткнувшись на край скамьи, я старался бороться с обморочным состоянием, какое овладевало мною. Я обливался потом, и сердце сту-

чало неровно и торопливо, время от времени падая в какой-то бездонный колодезь. В конце концов ко всему привыкаешь. Привык я и к этим жутким переездам с позиции на позицию и даже научился руководить этою разнузданною людскою стихией, слепой, как всякая стихия...

Мартовские дни

Только что мы наладили палатки на новых местах и разместились по землянкам в еловом, занесенном снегом лесу, как пришла к нам весть о событиях. Как странно, загадочно писали о них газеты. Дума еще заседала тогда. Упрямый и самолюбивый министр⁷⁹¹ все еще старался кому-то доказать, что старый порядок благополучно здравствует, но даже мы, оторванные от Петрограда и как будто забытые здесь среди сугробов снега, вблизи окопов, догадались по двум-трем словам, проскользнувшим в думском отчете, что началась революция.

«Она все-таки началась, — подумал я. — Она, долгожданная, пришла наконец... Но в какой час! В какой!»

Приехал из отпуска унтер-офицер Маньгин. Он стоял передо мною, отдавая честь, вытянувшись по-военному.

— Имею честь явиться, Ваше высококордие. Извольте принять отпускное свидетельство.

— В Москве был, Маньгин?

— Так точно, Ваше высококордие.

— Опустите руку, Маньгин, да расскажите толком, что там у вас в Москве делается.

— Так что революция, Ваше высококордие. В тот день, когда я уезжал, пришло известие из Петрограда, что господа министры арестованы.

Я смотрю на моего унтер-офицера и молчу. Он тоже смотрит на меня молча и медлит уйти. Этому Маньгину хочется, должно быть, сказать мне еще кое-что.

— Что? — говорю я. — Что, Маньгин?

Земляк мой вытягивается, отдает честь и говорит шепотом:

— Греха больше не будет...

Вот какие странные мысли бродили в голове моего унтера Маньгина. Он философ, оказывается, этот земляк.

Но мы с унтером Маньгиным не только философы: у нас много забот совсем не духовных. И все они как будто не ко времени. Но ничего не поделаешь. Прежде всего фураж. Мы, конечно, наших лучших лошадей уступили артиллерии, а слабосильных надо откормить.

А по нынешним временам не так легко добыть сена. С овсом дело наладилось, а относительно сена — беда. Это — во-первых. А во-вторых, немцы навезли немало баллонов с отравными газами, по-видимому, хотят нас выкурить, отбросить куда-нибудь подальше от озера. Слава Богу, комитет Союза щедро наделил нас противогазами, и у кого хорошие легкие, спокойно может ожидать газовой атаки. А вот у кого скверные легкие, как у меня, тому худо. Я, признаться, больше пяти минут не могу пробыть в противогазовой маске. Надо, впрочем, поупражняться, а без привычки как-то теряешь голову, когда наденешь на себя эту резиновую морду с болтающейся жестяною коробкою у рта. Особенно неприятно, когда запотеют очки и ничего не видишь, а чувствуешь себя связанным и беспомощным. Да, в газовой атаке есть что-то ужасное и для достоинства человека унижительное.

А смерть от газовой отравы — это, пожалуй, самое страшное, что довелось мне увидеть на войне. Какие у отравленных синие лица! И какой ужас в глазах! Они задыхаются, мечутся на койке, вскакивают и падают навзничь, зевая судорожно, как рыба на берегу.

Тех, кто умер, похоронили мы вчера в братской могиле. День был солнечный. Над нами кружился немецкий аэроплан, и все небо вокруг него было в белых пятнах от шрапнельных разрывов.

Молодой священник, который приехал к нам верхом на лошади, шел теперь впереди дровней с покойниками, широко шагая по глубокому снегу.

Какое было солнце! Больно было смотреть на белую равнину. Когда мы пришли к братскому кладбищу, там около большой ямы возились наши земляки. Двое стояли на дне могилы, раскладывая доски.

Слепительно блестел крест в руках священника. Санитары подымали, тяжело дыша, покойников и спускали их по доске в могилу.

— Не так кладешь, — сказал сердито рыжий санитар со шрамом на щеке — Поверни его боком. К востоку покойники глядеть должны.

Повернули покойников лицом к востоку, закрыли досками и темным ельником. И священник, проваливаясь по колено в снег, подошел к краю могилы бросить горсть земли.

А у этих отравленных были жены, дети или невесты. И седая мать кого-нибудь из них сочиняет, быть может, сейчас сыну письмо, передавая десятки поклонов от всех родичей и свойственников ихней деревни.

Эти мужики умерли безропотно, не жалуясь на судьбу. И не дано им узнать того, что мы так доверчиво называем свободой здесь, на земле.

Свобода? Неужели в самом деле красные знамена алят сегодня в Петрограде? Я иду в палатки, где настилают пол, потом в обоз, потом на соседнюю батарею, где у меня есть приятели, и опять к себе подписывать приказы и требования, а в голове у меня все одно и то же — эти два-три загадочных слова о событиях на улицах Петрограда.

Наступает ночь. Я выхожу из халупы, чтобы проверить дневальных. Потом ложусь на койку, не раздеваясь. Вот уже третью ночь я так сплю, прислушиваясь в полусне к полемому телефону, который висит у меня над ухом.

И вот опять тревожный гудок:

— Ту, ту, ту, ту...

Я считаю:

— Раз, два, три, четыре...

Это вызывают мой отряд.

— Кто говорит?

— Штаб дивизии. Телефонограмма. Спешно.

— Я слушаю.

«Начальника штаба Верховного главнокомандующего к главнокомандующим армиями фронтов».

«Почему у этого телефониста такой торжественный голос?» — думаю я.

«Ввиду обстоятельств подтверждаю... Незамедлительно... Манифест об отречении от престола государя императора ⁷⁹²... Прочитать во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах...»

У меня такое чувство, как будто я выпил залпом стакан пьяного вина. Голова моя слегка кружится.

«Признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»

— Как? Еще раз! Повторите еще раз!

Мне казалось, что я читаю какую-то огромную книгу. Это — всемирная история. Шурша легла страница на страницу. Новая часть, а на левой стороне надпись: К о н е ц.

Надо было подумать о том, как я завтра соберу команду, что я скажу ей, но я об этом не думал. Я думал почему-то о том, как пятнадцать лет тому назад, когда волосы мои еще не были седыми, как теперь, довелось мне ехать на паузке по Лене. На паузке были солдаты и мы, арестанты. На мачте трепался на солнце лоскут алого кумача. Это было наше знамя. Мы его везли с собой все эти тысячи верст, ревниво оберегая от посягательств тюремщиков. Каким жалким, каким бессильным казался этот красный лоскут среди беспредельности тогдашней России. И вот я все думаю об этом красном лоскуте. Теперь, пожалуй, его вынесут в Петрограде на Сенатскую площадь, и москвичи, пожалуй, украсят им свои ветхие кремлевские стены.

Я вышел из халупы. Небо безмерное раскинулось, как великолепный шатер, надо мною. Белые звезды сияли торжественно и дивно.

Старший по команде, Брусин, крепкий парень, с откровенными и ясными, как у ребенка, глазами, собрал команду, и я вышел к ней читать манифест... Признаюсь, было у меня желание заглянуть в сердца этих солдат. Как чувствует себя вот этот простоватый рязанец, толстогубый и светлорусый? Или этот сибиряк, вчера рассказавший мне как-то неожиданно, как будто без всякого повода о своей жене, о которой он тоскует «мало-мало»?

Нет, никто не знал из них, как и я сам не знал, что именно сегодня придется читать мне здесь, среди замерзших озер, в чужом краю эту бумагу о бесславном конце императорского правительства. Слушайте, солдаты. Слушайте, товарищи.

Я кончил читать и смотрю на команду. Все молчат. Я не забуду этой тишины. Сколько времени протекло в этом молчании? Минута, секунда или час?

И вдруг грянул гром. Что такое? Это солдаты кричали «ура».

Все кричали «ура», все эти рязанцы, смоляки и сибиряки. Только один старик молчал, я видел его сжатый сурово рот, черную бороду и нахмуренные брови.

«Надо будет поговорить с этим стариком», — думаю я.

Какой это был странный день. Санитары носили в палатки раненых, которых привезли к нам из окопов; приехали из В. наши фуражировщики; из краснокрестного госпиталя приходил ко мне старший врач; потом приехали из пятой батареи офицеры и, как всегда, подвязав поводья, отпустили лошадей домой без всадников, и лошади помчались галопом мимо сигнальных шестов с подвязанными пучками соломы: все было по-прежнему, но лица у людей как будто изменились.

○

ПИСЬМА В.Я. БРЮСОВА *

Ноябрь 1902

Дорогой Георгий Иванович. Спасибо, что Вы вспомнили именно обо мне. Ваше письмо пришло ко мне лишь на этой неделе, пропутешествовав больше месяца. Вы не будете очень гневаться, что я промедлил несколько дней исполнить Ваши поручения. Тем более, что, вероятно, Вы получили уже книги, переданные мною для Вас (раньше В. письма) Кларе Борисовне Р¹., так что первый Ваш читательский голод утолен. Посылаю Вам для начала последнюю книгу Верхарна² и Монну Ванну³ новейшее издание Скорпиона^{1*}. Это первая посылка, за которою последуют дальнейшие. Думаю, что Вам не интересно было бы получить всего Верхарна. Он написал чрезвычайно много, и у него немало скучного. Еще две его книжки я выписал для Вас, они придут через две недели. Доставлю Вам любопытный роман Пшибышевского «Номо sapiens»^{2*}, если только его пропустит цензура. Он уже напечатан, но цензура его задержала. Быть может, удастся нам его провести.

В литературе чрезвычайно мало нового. Этот год как-то особенно скуден. Аннунцио еще весной издал драму о Франческе и Паоло^{3*}, — на мой вкус слишком длинную

* Нумерация составителя отмечена цифрой со звездочкой.

и археологическую. Мережковский напечатал второй том своих исследований об Антихристе в русской литературе ^{4*}, — то, что печаталось в Мире искусства. Интересно ли Вас эта книга? Если да, пришлю ее Вам. Около него же, т.е. около Мережковского, возникает в Петербурге новый журнал «Новый путь», полулитературный (конечно, нового направления) и полурелигиозный, богословский. Это «полу» его погубит. Впрочем в петербургском обществе религиозное движение очень явное.

В Москве затишье. Художествен. кружок ^{5*} влачится по старым бороздам. По выбору дирекции устроена «Комиссия по организации вторников». Непостижимой случайностью попал туда и я. Мы собираемся и болтаем пустяки. Ах, не люблю я «комиссий» и всяких «собраний». Мое твердое убеждение, что делать что-либо возможно только по личной воле, а все коллегиальное, все, где будто бы работают сразу многие, — есть самообман; работают все же единицы, а собирающиеся только тешатся. Этот год в кружке собирается быть скучным.

Теперь обо мне. Летом уезжали мы в Италию. Страна, которая публично торгует своей красотой, но все же удивительно прекрасная. Вновь в Москве уже с июля. Очень томлюсь однообразием жизни, т.е. однообразием ее разнообразия. Те же волнения, то же блаженство, такое же отчаяние. Хочется взять тросточку и уйти, просто уйти вперед без цели, идти и не думать, не заботиться. А удерживает именно забота: написал я множество стихов, хочется их оформить, привести в порядок, издать.

Ваш сердечно Валерий Брюсов

II

Paris, 8 mai 903

Привет, дорогой Георгий Иванович. Очень Вами интересуется здесь А.С. Яценко ⁴. Пишите ему. Он поллюбился мне еще больше с тех пор, как я узнал его здесь боль-

ше. Эх! Уезжайте и Вы в Париж. Здесь можно жить и работать. Это один из истинно мировых городов, т.е. для всех.

Ваш Валерий Брюсов

III

Уважаемый Георгий Иванович. Посылаю Вам Вашу статью⁵ с той небольшой «ретушью», которая нам показалась необходимой. Именно: мы пропустили несколько строк, где перечисляются довольно случайно сопоставленные имена Уистлера^{6*}, М. Дениса^{7*}, Шопена^{8*} и др. и несколько строк в конце, где очень недоказательно утверждается (впрочем совершенно справедливая мысль), что Пушкин и Лермонтов были причастны этому чувству и вкусу вечности. Другие поправки ничтожны и касаются слов, напр., в начале слово «момент» заменено словом «мгновение» и т.п. Почти везде пропущено выражение «символическая» поэзия, поэт-«символист» и т.п., ибо мы ни в каком случае «символистами» себя не считаем⁶.

Что до заглавия, то, конечно, «Накануне» невозможно. Но и предложенное мной «*Le goût de l'infini*»^{*} не очень хорошо.

Что, если оставить статью в о в с е без заглавия, а эти французские слова поставить эпиграфом? На этот случай сообщите т о ч н о, из какой вещи у Бодлэра они взяты⁷.

Очень просим не замедлить ответом. Статья идет в п е р в о м листе, который надо уже подписывать к печати.

Ваш Валерий Брюсов

IV

1904

Дорогой Георгий Иванович. Уступая просьбам Вяч. Иванова, посылаю Вам свои стихи о современности^{9*}.

* «Вкус вечности» (фр.).

Ему кажется, что они нужный pendant* к его стихам. Мне мои стихи не нравятся. Решайте Вы и Дм. Вл.⁸ Втайне желаю, чтобы мои стихи были осуждены.

Прилагаю обменное объявление.

Готовлю для Н. П. важную рецензию и большую (сравнительно) переводную вещь в стихах^{10*}.

Ваш Валерий Брюсов

V

1904, июль

Уважаемый Георгий Иванович. Во вчерашнем письме, написанном очень наспех, я забыл добавить, что если мои стихи не могут успеть идти вместе с стихами Вяч. Иванова, то лучше им вовсе не идти.

Стих 9-й: поправка для цензуры вместо подлинного:
Кто б ни был вождь, где б ни был случай.

Да. Кстати. В объявлении нашем опечатка: не *von Bever*, а *van Bever*^{11*}.

Пожалуйста, исправьте.

Ваш Валерий Брюсов

VI

Пятница, 9 июля 1904

Дорогой Георгий Иванович, Серг. Алекс.⁹ уехал неожиданно в Омск. Я приехал, не зная этого, только с е г о д н я.

Телеграмма Ваша, хотя и срочная, пришла в 12 часов дня. Итак, исполнить Вашего поручения не мог¹⁰ — и на похоронах Чехова не был (не люблю я, когда великого человека хоронят маленькие, т.е. не люблю любоваться на это).

Стихи в августе ни в коем случае не печатайте. Бросьте их. Вы один в Н. П., я один в «Весах». Ровно один. Я и наш Василий. Ни сотрудников, ни помощников.

* Соответствующее, под стать, равное чему-либо (фр.).

Да. Если будете перепечатывать первые страницы Н. П., обратите внимание на объявление «Скорпиона». Это устарелый список. Посылаю Вам правильную редакцию. Нельзя ли получить Ваше июльское объявление заранее, не позже как к 15.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P.S. 600 оттисков «Гнили»¹¹ тем не менее сделайте в том самом виде, как будет напечатано в журнале^{12*}. Адрес Бальмонта? Европа.

VII

1904

Дорогой Георгий Иванович. Очень досадно, что Вы дважды не заставали меня дома. Нам было о чем поговорить. Но я последние недели мучительно заняты «Весами» и (удивляйтесь) выборами в нашу Думу, в которых принимаю деятельное участие. Посылаю Вам вырезку «Русс. слова»^{13*}, подтверждающую мои слова. Итак, не сердитесь на меня. Напрасно Вы не оставили своего адреса: я бы сообщил Вам, где меня можно увидеть, а то я подумал, что Вы в Москве на один вечер. Другой раз самое лучшее, прошу Вас об этом, извещайте меня заранее о своем приезде в Москву — и я приберегу для Вас свободное время.

Посылаю Вам опять стихи — увы! Опять в античной одежде, но право с содержанием очень современным. Все не удастся мне закончить лучшей из предлагаемой мною для Н. Пути вещи: «Царь, народ и поэт» (может, будет называться и иначе — это приблизительно). Опасения мои относительно «Кинжала»¹², к сожалению, оправдываются. «Русь»^{14*} (№ от 13 ноября) и «Русс. вед.»^{15*} (№ от 16 ноября) относят его прямо к нашим дням, когда дают предостережения «Нашей жизни»^{16*} и «Праву»^{17*} и когда студенты в Москве не могут придумать ничего лучшего, как отговаривать солдат идти на войну или освистывать народный гимн (в это воскресенье). Нет, я не это разумел,

говоря о призывном громе. Скорей это те самые «зовы», над которыми можно только хохотать.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

VIII

Дорогой Георгий Иванович. Знаю, что поступил безбожно, не прислав до сих пор Мятажа^{18*}. Сам редактирую журнал и знаю, что такое авторская неаккуратность. Но дело вот в чем. Во-первых, самые стихи Верхарна не очень хороши и в переводе становились уже совсем тусклыми. Во-вторых, мой перевод был не особенно удачен и очень неровен: то без нужды близок к слабым местам подлинника, то пропускал лучшие строки французского текста. Исправить было его н е о б х о д и м о. Мне это удалось сделать только сегодня. Сегодня Вам его и посылаю. В конце концов перевод настолько удалился от оригинала, что я не осмеливаюсь поставить помету «Из Верхарна».

Не лучше ли просто эпиграф? Но если такая помета нужна для цензуры, конечно, пусть она стоит в казнь мне (и тогда не нужно эпиграфа). Подлинник Вы найдете во второй серии *Poèmes*, V, изд. *Mercure*, стр. 149. Посылаю это письмо для скорости простым, не заказным, поэтому не откажите ответить, получили ли. Очень вероятно, что стихи уже опоздали к январской книжке. В таком случае я думаю лучше их в о в с е н е п е ч а т а т ь, так как они интересны как злободневный намек, а самостоятельной цены — ни как стихотворения, ни как перевода — в них нет.

У З.Н. есть мой перевод Ворона^{19*} Эдг. По¹³, назначенный для «Вопросов жизни». Нельзя ли Вам добыть его? Перевод далекий, но одобрен двумя «авторитетами», К. Бальмонтом и Н. Минским.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P.S. Во 2-й строфе последняя строка «в умах» (через «м»), ради Бога не в «ушах».

IX

1905, февраль

Уважаемый и дорогой Георгий Иванович. Спасибо за № «Вопросов» и за гонорар (27 р.), который получил с аккуратностью изумительной. Мучительные занятия по «Весам» и чисто личные переживания все не дают мне закончить те стихи, которые я давно прочу для «Вопросов». Пока предлагаю Вам одно из классических стихотворений, в духе Шиллеровских баллад, сколько могу судить, безукоризненное по форме, но несколько холодное и отрешенное от жизни¹⁴. Располагайте им по своему усмотрению.

Хочу предложить «Вопросам» свои новые попытки (о, совсем новые) писать рассказы^{20*}.

Сердечно уважающий Вас Валерий Брюсов

X

1905, март

Уважаемый и дорогой Георгий Иванович. Спасибо за память. Рецензию Мирэ¹⁵ еще не имел времени просмотреть^{21*}. Если не подойдет, верну по адресу. Но, если подойдет, «Весы» оставляют за собой право сократить ее. Очень спасибо за желание дать ряд моих стихов. Но сейчас ничего нет: все роздал или уже напечатал. Если напишется — пришлю. А не хотите ли ряд переводов из Верхарна? В том числе переводы таких поразительных вещей, как «Мор», «Звезды», «Мадонна на перекрестке»^{22*}. Рассказ мой написан, да все некогда придать ему окончательную форму. Задерживают «Северные Цветы», где печатаю свою драму^{23*}.

Сердечно уважающий Вас Валерий Брюсов

XI

1905, апрель

Уважаемый и дорогой Георгий Иванович. Благодарю за полученный гонорар. Верхарна пришло вкратце — с маленькой вступительной заметкой (страницы 2). Если мое P.S. было Вам невнятно ¹⁶, значит, должен был обратиться к кому-то другому. Мне показалось, что это Вы спрашивали меня, что значит один стих в моем стихотворении «Фонарики» ^{24*}, отданном для чеховского сборника.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XII

18 мая 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Я получил письмо и деньги для Андрея Белого, — получил с некоторым опозданием, п.ч. Ваш конверт почему-то был разорван, деньги выпали, и мне их выдали на почте не без некоторых «процедур». Сегодня пишу Белому, с п р а ш и в а я, как ему переслать деньги — ибо он живет в имении, так что в общем свой гонорар он получит лишь в конце недели, но, право, не по моей вине.

Очень спасибо за песни Метерлинка ¹⁷. Еще не успел перечитать ваши переводы, впрочем знакомые мне по «Новому пути». Издание — прекрасно. Французский оригинал давно библиографическая редкость и книжка должна «пойти» за границу. Прошу рецензировать ^{25*} ее для «Весов» Вяч. Иванова ¹⁸.

Верхарн все еще не готов. Мне хочется представить русским читателям его поэзию более или менее полно — сразу в 5 — 6 разнохарактерных образцах. А иное никак не удастся воспроизвести по-русски. Хочется также предпослать переводам вступительные слова, — о, простые и деловые, — в которых объяснить, кто и что такое Верхарн. Думаю, однако, что в начале июня весь материал будет в ваших руках.

Раньше этого хочу Вам предложить несколько своих стихотворений, которые, если хотите, могут идти и в летние месяцы. Это античные образы, оживленные однако современной душой. Все говорят о любви. Полагаю, что и в дни, когда погибла эскадра Рождественского, а с нею пошла ко дну и вся старая Россия (ныне и я должен признать это), — любовь остается вопросом современным и даже злободневным. — Эти стихи вышлю Вам вскоре, завтра, послезавтра.

Через неделю, числа 27, буду проездом в Петербурге. Если Вы к тому времени будете еще в городе, позвольте посетить Вас.

Тогда и передам Вам лично то, что уже готово из переводов Верхарна.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P.S. Рассказ, который я обещал «В.ж.», продолжаю доделывать.

XIII

12 июня 905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Хотел я много сделать летом, но не сделал ничего — и ничего не работается. Покорюсь судьбе. Очень прошу, если есть в редакции письма на мое имя с передачей Н.И.С.¹⁹, переслать их сюда: Финляндия, Иматра, пансион Рауха^{26*}.

Ваш Валерий Брюсов

XIV

20 июня 905

Благодарю за журнал. Помните ли Вы наши мечты о Верхарне (издать совместно переводы)? Ныне занят им. Напишу из Гельсингфорса. До июля мой адрес: Гельсингфорс, *poste restante*. После — Москва.

Валерий Брюсов

XV

23 июня 1905

Дорогой Георгий Иванович. Спасибо за весть. Не знаю, воспользуюсь ли Вашим приглашением. Может быть, придется ехать через Ревель. Жду Вашего перевода *Aubes*²⁰. Занят своим романом^{27*}. Привет.

Ваш Валерий Брюсов

XVI

29 июля 1905

Таруса, Калуж. г., Антоновка

Дорогой Георгий Иванович. Я написал подробный разбор Ваших переводов Метерлинка — целую статью²¹. Решил напечатать в июле «Весов» — вместе со своими переводами тех же «Песен». Думаю, что моя статья, хотя в иных своих частях и очень «критическая», не покажется Вам враждебной. Во-первых — Вы, конечно, уступаете ее право критике. Во-вторых — посвящая Вашим переводам целую статью (притом напечатанную — хотя, сознаюсь, против моего желанья — крупным шрифтом), я тем самым показываю, какое значение придаю я этим переводам. В-третьих — наконец, присоединяя к статье свои переводы, я предоставляю Вам возможность ответить мне такой же критикой моих попыток.

А переводы Верхарна все не подвигаются вперед. На горе я взялся переводить для С. Венгерова (изд. Брокгауза) Байрона^{28*} и после этой официальной переводческой работы чувствую себя не в силах взяться и за «любительские» переводы. Ближайшим образом предложу для «Вопросов» два рассказа: «В подземной тюрьме» и «Республика Южного Креста»^{29*}, которые требуют только самой последней ретуши. Пишу роман, исторический, соперничая с Д.С.²² Оставляю (т.е. покидаю) редакторство «Весов».

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XVII

20 августа 1905

Дорогой Георгий Иванович. Одновременно с этим письмом посылаю Вам *з а к а з н ы м* семь своих «политических» стихотворений²³, в с е, что я написал в этом роде и что теперь, после заключения мира, может быть напечатано. Рассмотрите их. Помещение их в «Вопросах» зависит, конечно, не только от художественных достоинств и недостатков стихов, но и от того, насколько идеи их согласны со взглядами редакции. И в этом случае, как впрочем и во всех других, мое самолюбие несколько не будет затронуто, если Вы не захотите напечатать присланное мною (говорю это однажды — на будущее). В частности, думаю, совсем не подходят «Вопросам» два стихотворения, № 3 и № 6. Последнее даже не следует посылать цензору *о д н о в р е м е н н о* с другими (если эти другие будут посылаться), а то оно может их погубить. А для № 3, мне кажется более подходящим приютом, чем «Вопросы» — «Слово»^{30*}, куда я его и перешлю, если получу от Вас рукопись обратно.

«Весы» *б у д у т* продолжаться до конца года, *н а в е р н о е*, в будущем году, *в е р о я т н о*, особенно если получится разрешение на беллетристический отдел (прошение о нем уже подано). Но я решительно покинул свое редакторство, оставаясь только «близким» (а уже не «ближайшим») сотрудником. Через это у меня оказалось сравнительно много свободного времени, которое я с удовольствием бы использовал для «Вопросов». Но нуждаются ли «Вопросы» в моей *с и с т е м а т и ч е с к о й* работе? Опять прошу, ответьте откровенно и прямо: это вопрос деловой, в разрешении которого нет места никакой обидчивости. С своей стороны могу предложить следующее:

В о п е р в ы х, ряд давно мною задуманных этюдов о французских поэтах с переводами из них. На первом месте этюд о Верлене, по разным, довольно редким источникам, *т р и д ц а т ь* его стихотворений в своем перево-

де (переводы сделаны между 1900 — 5 гг. и частью уже были напечатаны). Во-вторых, такой же этюд о Верхарне тоже с рядом переводов (эти пресловутые мои переводы из Верхарна значительно подвинулись вперед и две маленькие пьесы «Голова» и «Лондон» я уже послал в «Журнал для всех»). В-третьих, этюд о Рембо, в-четвертых, о Ренэ Гиле (более интересный, чем в «Весах», где я должен был только расшаркиваться) и т.д.^{31*}

В о-в т о р ы х, свой труд как переводчика разных мелких рассказов, какие Вы от времени до времени печатаете, как новых, так и прежних авторов. Труд этот для меня совершенно нечувствительный. Напротив, мне давно хочется передать по-русски некоторые любимые мною страницы Ренье, Маллармэ, Стриндберга, Демеля^{32*}.

В-т р е т ь и х, свои рассказы, о которых я уже Вам писал и о которых не смею говорить подробнее, потому что они все еще не закончены.

Предлагая Вам такую грудку своих писаний, я несколько не хочу посягать на кассу «Вопросов», вероятно, истомленную годовым изданием журнала. Так, все мои переводные стихи (из Верлэна, Верхарна) я очень прошу расценивать к а к п р о з у; иначе такое количество стихов будет решительно бременем для книжки. Свои переводы рассказов я предлагаю «Вопросам» совершенно бесплатно, потому что для меня эти переводы будут скорей всего забавой. Я только спрашиваю, нужны ли, пригодятся ли такие переводы редакции, есть ли для них место. И вообще, если бы Вы предложили мне какое другое дело, нужное «Вопросам», прошу не считаться с гонорарным вопросом, который стоит для меня весьма на втором плане.

Книжку «Весов» с моими нападками на Ваши переводы Вы, вероятно, уже получили. Жду Вашей отповеди в «Вопросах» или хотя бы в письме. Мне кажется, что я поставил несколько принципиальных вопросов, по которым возможна истинная полемика, «турнир рыцарей», как пишет малограмотный Эллис^{33*} у нас в «Весах».

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XVIII

21 авг. 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Стихотворение, о котором я Вам писал как о № 7, я решил пока не печатать. № 6, как Вы сами видите, совершенно нецензурен. В № 4 в третьей строфе прежде читалось:

Лишь его слуга мгновенный,
Робеспьер или Мара²⁴.

Так понятнее. Но мыслимо ли мне сказать и л и? Кажется, немислимо. В следующей строфе подлинное чтение:

И над нами загудела

«Над полем» лишь для цензуры. Если хотите, можно восстановить подлинное чтение после цензора, в корректуре.

P.S. А. М.²⁵ пишу завтра.

XIX

24 авг. 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Я мог бы дать для сентября следующие переводы из Верхарна:

1. *Départ. (Poèmes, II, 141)* *
2. *Le Banquier. (Les Forces tumultueuses, 47)* **
3. *Le Fléau. (Les Villes tentaculaires, 75)* ***
4. *Les nombres. (Poèmes, II, 187)* ****
5. *Vers le Futur. (Les Villes tentaculaires, 209)* *****

Эти переводы могут быть у Вас приблизительно к понедельнику. Везде только придется исключить «*Les nombres*», где есть стихи, мне не удавшиеся. Перевод «Куз-

* «Исход» (Поэмы) (фр.).

** «Банкир» (Буйные силы) (фр.).

*** «Мор» (Города-спруты) (фр.). В действительности стихотворение входит в цикл «Обезумевшие деревни». (Примеч. сост.).

**** «Числа» (Поэмы) (фр.).

***** «К будущему» (Города-спруты) (фр.).

неца» (того, что был напечатан в сборнике Знания IV)^{34*}, я, по просьбе Миролюбова, послал в «Журнал для всех», но думаю, что он не подойдет ему (слишком длинно и много «декадентского»), тогда буду располагать и им. Сообщите же, прошу, высылать ли эту грудку стихов. И как тогда быть со стихами «Из современности»? Нельзя же в одной книжке «Вопросов» напечатать столько стихов одного Валерия Брюсова. А с другой стороны, современность через несколько месяцев перестанет быть современностью, и для меня лично гораздо важнее напечатать свои оригинальные стихи, чем переводы.

Вы правы. Патриотизмом, и именно географическим, я страдаю. Это моя болезнь, с разными другими причудами вкуса, наравне с моей боязнью пауков (я в обморок падаю при виде паука, как институтка). У меня есть еще начатое и неоконченное (уже безнадежно) стихотворение, которое очень нравилось тому самому А.С. Яценко²⁶.

Я люблю тебя, Россия, за торжественный простор:
Ты как новая стихия, царство рек, степей и гор...

Четыре стиха Вл. Соловьева, приведенные Вами, меня очень соблазнили.

Жду Вашего ответа на свои «Фиалки»²⁷ (печатного, не правда ли?)^{35*}. Статью о Верлэне приготовлю точно к октябрю^{36*}. Но Вы мне ничего не ответили, п о л е з н ы ли будут Вам переводы маленьких рассказов (сейчас имею в виду новейший рассказ Альтенберга)^{37*}. Речь может быть только о п о л е з н о с т и, и я настаиваю на бесплатности этих моих переводов.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XX

28 авг. 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. В первые дни недели вы ш л ю Вам Верхарна. «Кузнец» решительно у В.С. Миролюбова. Может быть, вместо него переведу «Трибу-

на»^{38*} который начат. К октябрю приготовлю Верхарна. О «Цусиме»²⁸ н а п и ш у отдельно. Еще не могу решить, мыслимы ли эти стихи, без конца. М.б., уместно будет восстановить прежнее чтение, как заканчивалось стихотворение раньше. Пока шлите в цензуру так. Жду Вас в Москву.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов.

XXI

29 авг. 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Переписываю и во вторник высылаю Вам «Банкира», «Мор» и «К грядущему»^{39*} Верхарна. Будет у Вас в среду (в крайнем случае, по вине почты, в четверг).

«Трибуна» и «Отплытие»^{40*} могу выслать не раньше четверга-пятницы. Если поздно, не откажите известить.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XXII

30 авг. 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Против ожидания высылаю Вам сразу четыре стихотворения²⁹ Верхарна: «Трибун», «Банкир», «Мор» и «Города»^{41*}. Больше, вероятно, и не придется высылать, потому что все другие мои переводы, когда их ближе рассмотрел, оказались очень несовершенными. Да и в посылаемых стихах есть, говоря строго, многое, что нуждалось бы в поправках. Я был бы очень благодарен Вам, если бы Вы нашли возможным в ы с л а т ь м н е к о р р е к т у р у этих стихов, хотя бы на то время, когда они будут у цензора: может быть, мне удалось бы найти замены некоторым мучающим меня выражениям. И еще больше был бы благодарен, если бы Вы выбрали время, рассмотрели мои переводы (может быть, даже с подлинником *en regard**) и прислали мне свои замечания.

* Напротив (*фр.*).

Я столько работал над этими переводами («Мор» впервые переведен в 1900 г.), так «записал» их, что, сокрушаясь над мелкими неточностями, очень может быть, не замечаю крупных промахов.

Предоставляю всецело на Ваше усмотрение, нужно ли общее заглавие моим переводам, а также следует ли оставить то примечание, которое сделано мною к переводу «Мора», или такие оправдания перед читателями неуместны. Смущает меня «Мор» и с точки зрения своей цензурности. Нельзя ли растолковать цензору, что пьеса написана в намеренно наивном тоне, в духе примитивном, что в ней больше младенческой веры, чем кощунства.

А что случилось у цензора со стихами «Из современности»? Замены последней строфы «Цусимы» я не нашел пока. Если уж Вы беспощадны к этой строфе, — зачеркните, соглашаюсь, хотя и не без боли в сердце.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XXIII

8 сент. 905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Меня смущает Ваше молчание. Дошли ли до Вас мои переводы из Верхарна? * Посылали ли Вы их цензору? Что он с ними сделал? И со стихами «Из современности»? Простите эти вопросы, но на расстоянии 600 верст трудно не беспокоиться о судьбе своих стихов.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

XXIV

10 сент. 905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Ваша вест³⁰ повергла меня в полное отчаяние. Недаром я тревожился, и еще вчера писал Вам, спрашивая о судьбе своих стихов. Да, не

* И сопровождающее их, довольно важное письмо.

очень-то помогают нам улиты-Кобеки^{42*} и кастрированные Государственные Думы^{43*}. Но что теперь делать с обломками моих стихов? «Цусиму», разумеется, печатать неуместно, неприлично^{44*}. Оставшиеся две пьесы, думаю мне, можно напечатать, сохранив (если оно не запрещено) прежнее заглавие и поставив цифры, при первом I, при втором V. Это в связи с анонсом, о котором Вы пишете, и о котором я в с я ч е с к и умоляю Вас — дать понять читателям, что они имеют дело с руинами. Но нельзя ли сделать еще две вещи? Во-первых, отстоять в «Гуннах» зачеркнутую строфу³¹, заменив злополучный стих так:

На месте колонного зала

или еще:

На месте пышного зала

В данном случае «тронность» зала не так важна. А во-вторых, нельзя ли присоединить к оставшимся стихам то, которое здесь прилагаю. Оно с самого начала предполагалось в составе целого цикла, и я изъясил его лишь в последнее мгновение, перед отсылкой Вам рукописи. Если еще мыслимо (в смысле времени) включить эти стихи, они «подопрут» немножко «Гуннов» и «Брата»^{45*}, повисших в пустоте. И тогда над пьесой надо будет поставить VII.

Если переводы Верхарна отложены на месяц, я могу прислать «Отплытие».

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P.S. Если же заглавие «Из современности» запрещено³², можно дать трем стихотворениям иное. «Стихи о далеком», причем первое «Одному из братьев» будет как бы вступление. Смущаться, что слово «современность» не подходит к стихам о «будущих» веках, я думаю, нечего, если будет анонс и если цифры I, V, VII будут означать пропуск по крайней мере четырех пьес.

Есть, конечно, у меня и другие стихи «Из современности», которые я по разным соображениям не присоеди-

нил к первому циклу, но послать их Вам «взамен» теперь, конечно, уже поздно. Впрочем если захотите их иметь, телеграфируйте, и я вышлю их немедленно.

Ваш В.Б.

XXV

22 сент. 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Очень благодарю Вас за Ваши хлопоты о моих стихах, за отстаивание их перед секирой цензора. Жаль без конца, жаль, что цикл «из современности» изувечен. Возлагаю некоторую надежду на примечание о «независящих обстоятельствах». Относительно «Мора». Перевод этот я включаю в издаваемый мною (одновременно со *Stephanos*^{*}) сборник переводных стихов, который выйдет до рождения. Судя по вашим словам, редактируемый Вами сборник появится позже. Удобно ли помещать в нем перепечатку? Думаю, нет. По той же причине я бы очень хотел, чтобы мои переводы Верхарна появились именно с октября «В. ж.» (Вы пишете «вероятно»). Я столько работал над ними, что мне и грустно и обидно откладывать их появление в свет до конца ноября. Между прочим, «Мор» очень нужен в том цикле переводов, который я Вам прислал. Остающиеся три стихотворения слишком похожи друг на друга и являют Верхарна лишь с одной стороны. Для ноября же «В. ж.», если хотите, я могу дать серию переводов из Верлэна.

Но участвовать в сборнике^{46*}, о котором Вы пишете, я все-таки был бы очень рад и с настоящим удовольствием дал бы для него что-либо оригинальное или переводное. Хотел бы точнее узнать о целях и намерениях книги.

Один важный и «конфиденциальный» вопрос: будет ли существовать «В. ж.» в 1906? Спрашиваю для себя, не

* Венок (лат.).

для «Весов», и клянусь хранить ответ в совершенной тайне.

Ваш сердечно Валерий Брюсов

XXVI

22 сент. 905 г.

Дорогой Георгий Иванович. Приезд Мережковских (которые, в скобках сказать, действительно объявили о конце «Вопросов») совсем выбил меня из колеи жизни, и я три дня не мог выбрать времени, чтобы переписать и отослать стихи для «Огней»³³. Высылаю теперь два стихотворения, такие, которые не войдут в мою книгу^{47*}. Это последнее требование (ведь «Огни» и «*Stephanos*» выйдут почти одновременно) очень меня затрудняет. Не будь его, я мог бы дать вещи гораздо более значительные. Но они не могут уже быть изъяты из моей книги. На всякий случай, завтра вышлю Вам еще одно стихотворение «Рысь»^{47**}. Если появление его в двух книгах сразу неуместно, прошу, не откажите вернуть мне обратно. Мог бы дать для «Огней» еще один перевод из Верхарна («Мятеж» — не тот, что я предлагал для «В. ж.», а другой), но выправление его требует времени. А «Огни» торопятся загореться, не так ли?

Присланное Вами сообщение помещу еще в этом № «Весов», который очень запаздывает из-за стачки наборщиков (ведь Вы хорошо знаете, что в Москве маленькая, пока, революция. Наблюдаю картины любопытные и порой потрясающие). Очень, очень радуюсь, что «Вопросы» будут существовать в 906³⁴. Без них стало бы пусто в литературе. Пригодно ли будет Вам, если я пришлю, как «Письмо из Москвы», корреспонденцию о двух наших новых театрах^{48*}: «Студия»^{49*} (в котором я участвую и которому сочувствую) и «Дионисово действо»^{50*} (в котором не участвую и которому не сочувствую)?

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P.S. Очень спасибо за гонорар, который получил. Вы приезжаете в Москву читать о «мистическом анархизме»? Так сообщил Д.В. Философов.

XXVII

905, октябрь

Дорогой Георгий Иванович. Приветствую Вас в дни революции. Насколько мне всегда была (и остается теперь) противна либеральная *б о л т о в н я*, настолько мне по душе революционное *д е й с т в и е*. Впрочем, пока я не более, как наблюдатель, хотя уже и попал под полицейские пули. Пишу Вам вот с какой целью. Когда у Вас возобновятся типографские работы, не пользуйтесь свободой печати (ведь есть она) для напечатания тех моих стихов, которые были запрещены цензурой. Я этого решительно не хочу. Напишу новые, более достойные времени. Но, умоляю, воспользуйтесь этой свободой, чтобы напечатать мои переводы из Верхарна. Этого очень хочу. Верхарн воистину революционный поэт, и надо, чтобы его узнали теперь.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

XXVIII

10 окт. 905

Дорогой Георгий Иванович. В области искусства никогда не надо говорить «завтра», все сроки ничего не значат. Я думал, что исправлю свои строфы в несколько минут, лишь примусь за это дело, но не сумел исправить их и в неделю. Когда сделаю, не знаю, не обещаю более ничего.

Пишу эту записку, во-первых, чтобы извиниться в своем неисполнении обещаний, а во-вторых, чтобы подать Вам свой голос, пока еще есть связь между Москвой и Петербургом. Она, надо думать, оборвется очень скоро (это из числа неприятных сторон революции). Если почта

будет все-таки функционировать, пришло Вам небольшую рецензию^{51*} на книгу *R. Ghil**. Надеюсь, что это обещание сдержу: это не стихи.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P.S. Думаете ли Вы быть в Москве?

XXIX

28 окт. 1905

Дорогой Георгий Иванович. Писал Вам, поздравляя Вас с революционными днями, но не получил ответа. Дошло ли письмо? Я здесь в большом неведении. Что «Вопросы жизни»? Будут ли выходить в этом и будущем году? Под цензором или пользуясь «свободой»? Изменится ли программа? Изменится ли состав сотрудников? Изменится ли Ваше отношение к ним? Может быть, некоторые вопросы кажутся Вам легкомысленными, но я больше месяца не получаю ни от кого точных вестей из Петербурга и, по современному ходу событий, легко верю всевозможным слухам. Очень прошу, пришлите мне весть.

Есть и частный вопрос. Среди залпов казаков, между двумя прогулками по неосвященным и забаррикадированным улицам, я продолжал работать над своим романом³⁵. И как-то хорошо работалось (тем более, что в начальных главах пришлось изображать религиозно-революционное движение в Германии 1553 г.). Теперь надо мне думать, куда пристроить это мое дитя трехлетней работы. Если «Весы» не будут выходить в 1906 (это очень вероятно), все мои мечты, разумеется, обращены к «Вопросам». Можете ли Вы сообщить мне от лица редакции, желают ли «Вопросы» в п р и н ц и п е получить мой роман. (Разумеется, прочтя первые главы в рукописи, они могут переменить решение). И если да, то каковы условия журнала в будущем году для такого рода произведений? Простите, что затеваю переговоры так заранее, но

* Р. Гиль (фр.).

очень уж многого стоит мне мой роман^{52*}, и я не могу не относиться к нему с преувеличенной заботливостью.

Ваш Валерий Брюсов

Театр «Студия» прекращается ввиду революционных дней^{53*}. Но часть труппы, с В.Э. Мейерхольдом, намерена на свой страх давать спектакли.

XXX

29 окт. 905

Дорогой Георгий Иванович. Не подойдут ли прилагаемые стихи сборнику «Огни» (если он все еще предполагается). Впрочем, стихи эти непременно войдут в мою книгу.

Я писал Вам несколько раз * до и после взрыва революции. Очень прошу, откликнитесь.

Ваш Валерий Брюсов

XXXI

30 октября 905

Дорогой Георгий Иванович. Оказалось, что стихи «Довольным»^{54*}, которые я послал Вам вчера для «Огней», К.Д. Бальмонтом, без моего ведома, уже переданы в газету «Новую жизнь». Во избежание разных недоразумений прошу не включать их в «Огни» (да уместнее им быть в газете). А я взамен тотчас вышлю совсем готовое, гораздо более значительное стихотворение «Слава толпе»^{55*}.

Ваш Валерий Брюсов

XXXII

1 ноября 905

Дорогой Георгий Иванович. Видимо, Ваши письма действительно не доходят до меня. Это — седьмое, на

* Это пятое письмо (Сообщаю потому, что не совсем верю почте).

которое я еще не имею ответа. Вчера получил Вашу телеграмму и ответил на нее «можно», т.е. можно печатать в «Вопросах жизни» (так) «Мятеж» Верхарна, «Лик медузы» и «Знакомую песнь»³⁶. Но мне не хотелось бы печатать «К близким» — это стихотворение утратило свое *raison d'être**. В «Знакомой песне» я желал бы исправить последнюю строфу так:

Я, быть может, богомольней,
Чем другие, внемлю ей,
Не хваля на колокольне
Неискусных звонарей.

и поставить внизу дату «Август 1905» (показывающую, что стихи написаны до революционного октябрьского взрыва, когда «звонари» показали гораздо больше искусства); а под «Ликом медузы» подобно этому следовало бы пометить «Сентябрь 1905». Но, если делать эти поправки уже поздно, я на них не настаиваю.

Получили ли Вы «Довольным» и затем просьбу этих стихов не печатать? «Славу толпе» надеюсь выслать Вам сегодня: надо лишь переписать. Жду ответа о моем романе.

Ваш Валерий Брюсов

P.S. А что мои другие переводы из Верхарна? Интересуюсь их судьбой безмерно.

XXXIII

905

Дорогой Георгий Иванович. Для «Огней» вышло Вам сегодня же два стихотворения, которые, кажется мне, соответствуют цели сборника. Это — из числа уже совсем обработанных. Если успею, позднее присоединю еще одно.

Корректуры вышло одновременно. Поправок, сколько-нибудь значительных, делать не буду.

Ваш Валерий Брюсов

* Букв.: «смысл существования»; разумное основание, смысл (фр.).

XXXIV

1905

Дорогой Георгий Иванович. Благодарю Вас за сообщения: конечно, сохраню их в тайне. Позвольте мне рассчитывать, что я буду считаться сотрудником «Огней», если они осуществляются. Их краткое исповедание веры мне очень по душе. Судя по Вашему письму, с б о р н и к а «Огни» более не предполагается. Поэтому я помещаю «Юлия Цезаря»^{56*} в своей книге. Помещаю также и «Лик медузы», книга выйдет лишь в декабре, т.е. п о з ж е двойной книжки «В. ж.».

«Весы» будут выходить в 906, — это решено уже окончательно. Они расширяются в общелитературный журнал^{57*}. Я отдаю туда свой роман. Но в редакционных делах участвовать не буду.

Очень прошу, не оставляйте меня без литературных новостей из Петербурга. Все «собираюсь» в ПБ., но много дела и здесь. Примыкаете ли Вы к какой-либо политической партии, определенно? Я не могу решительно, хотя состою «членом-соревнователем» союза рабочих печатного дела, комитет которого трогательно принял меня и К.Д. Бальмонта в члены единогласно «за литературные заслуги». Осколки труппы театра «Студия» в единении со мной затевают «политический театр». Можно сделать нечто стоящее внимания. Что Минский? Как Минский? Почему Минский?³⁷ — Вы лучше знаете, напишите^{58*}.

Ваш Валерий Брюсов

XXXV

19 марта 1906 г.

Дорогой Георгий Иванович. Ваше предложение³⁸ о переводах Верхарна и очень лестно, и соблазнительно, но я не могу на него согласиться.

Душа моя осталась верной... т.е. «Скорпиону». Конечно, «больших» денег он не даст и не может дать, но

здесь я у себя дома. Издание начинаю уже. А Ваших «Зорь» жду с большим любопытством и нетерпением. Также жду и «Факелов». Буду писать об них подробно в «Весах» или «Слове», а может, и там и тут, если такое совместительство окажется возможным. Мечтательства о журнале хороши, но что же мечтательства! Орел в небе.

Вяч. Ив., видимо, остался в обиде на меня. Уехал, не сказав прощального слова. Я его люблю неизменно, но его сибилла «в раздранных ризах»^{59*} мне далеко не по сердцу. Прошу, не оставляйте меня без вестей о себе.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

XXXVI

906

Дорогой Георгий Иванович. Спасибо за присылку «Факелов»³⁹. Получил два экз. — простой и роскошный. Давно прочел очень внимательно. «Украшение» сборника — «Балаганчик». Очень хорошо все Вяч. Иванова. Л. Андреев недурен. Остальное, в том числе и мои стихи, мне с о в с е м не по душе. Какая-то тенденциозная беллетристика во вкусе загубленного «Русс. богатства»^{60*}. Напишу статью о «Факелах» в общем отрицательную, и потому только одну — в «Весах»^{61*}. В «Слове», как раньше предполагал, писать не буду. Надеюсь на дальнейшие, более удачные «Факелы». Слышал, что Вы вступаете в редакцию «Адской почты»^{62*}. Радуюсь за нее.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

Видел рецензии о «Современности» и «Зорях» — только^{63*}.

XXXVII

19 июня 1906

Дорогой Георгий Иванович. К сожалению Ваша статья о X сборнике «Знания» не может идти в «Весах». Во-

первых, в печатающемся июньском № уже есть заметка об этом сборнике^{64*}. Во-вторых, взгляды редакции «Весов» на драму Л. Андреева слишком разнятся от Ваших. Мы считаем «К звездам» безусловно не удавшейся, просто плохой вещью. Те методы, с какими Вы приступаете к ее анализу, пригодны только для истинно-художественного произведения⁴⁰, каким «К звездам» ни в коем случае признано быть не может^{65*}. Это сцены — мертворожденные, ходульные, шаблонные, доказывающие — по-видимому, однажды навсегда, что Андрееву не следует браться за писание драм, как и стихов.

Этот наш ответ, разумеется, несколько не меняет нашего отношения к Вашему сотрудничеству в «Весах», которое по-прежнему очень и очень желательно. Присылайте и те Ваши стихи, о которых Вы говорите. Однако примите во внимание, что с к о р о они напечатаны быть не могут, при системе, принятой в «Весах», посвящать каждую книжку одному поэту.

Я понимаю, что Вы и Вяч. Ив. не согласны с моей заметкой о «Факелах»⁴¹, но я нелицеприятно писал, что думал и поныне думаю. В «Факелах» помещались создания искусства или нет? Если да, то там не место вещам, оскорбляющим художественное чувство (всей прозе, исключая Л. Андреева, и стихам-пародиям А. Белого). Если нет, если «Ф» хотят только под флагом искусства вести проповедь революции, там не место «декадентам», которые прежде всего отстаивали и будут отстаивать с в о б о д у творчества. Вяч. Ив. пишет, что в «Ф» совершается устремление «декадентства» от уединения к соборности. Пусть не совершается оно по пути потакания низменным вкусам «толпы».

Этим определяется и мой ответ на Ваше доброе приглашение участвовать в III т. «Ф». Если редакция «Ф» возводит эстетическую неразборчивость в принцип, мое сотрудничество невозможно. Если же помещение произведений антихудожественных произошло «случайно» или в силу того, что редакция иначе, чем я, оценивала их ху-

дожественное значение, — я конечно готов и рад появиться на одних страницах с Вяч. Ивановым, с Вами, с Ф. Сологубом.

Что касается «Адской п.»⁴², вряд ли я могу ей быть полезен^{66*}. Она решительно становится журналом сатирическим, а в себе я вовсе не нахожу дарований сатирика и юмориста.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XXXVIII

25 июля 1906

Москва

Дорогой Георгий Иванович. Вот Вам мое — «чисто-сердечное признание» в ответ на Ваше истинно дружеское письмо. Я люблю Вас, очень люблю. Этим я хочу сказать, что, как человек, как личность, Вы мне очень нравитесь, очень дороги, очень желанны (не могу найти вполне подходящего слова). Но — странно: все, что Вы пишете, мне большей частью бывает не по сердцу. И, как писателя, я Вас скорее н е л ю б л ю. Из этого возникает моя «несправедливость», как критика. Когда я начинаю писать статью о Вашей новой книге, о Вашем новом произведении мне, по чисто дружескому расположению к Вам, всегда хочется сказать что-либо Вам желанное. Но некий внутренний голос тотчас говорит мне: искренен ли ты? ведь данное произведение тебе не нравится. Как же ты хочешь хвалить его в угоду своим личным отношениям?

И вот, боясь быть лицеприятным, я впадаю в другую крайность — я отношусь к Вашим вещам строже, враждебнее, чем отнесся бы, будь Вы моим личным врагом. Так было, когда я критиковал «Кремнистый путь»⁴³, так было, когда я разбирал «Факелы». Постараюсь всячески избежать этого, разбирая Вашу последнюю книгу⁴⁴. Но в моих отношениях к ней есть все то же непобедимое противоречие. Совершенно определенная дружественность к Вам, как к Георгию Чулкову, которого я знаю, как к цельной личности, и в этом смысле, как «к зачинателю «Факел-

лов», борется во мне со столь же определенной враждебностью и к высказываемым Вами идеям, и к той форме, в которой Вы их высказываете. Вы мне нравитесь, поскольку Вы *natura naturans* *, — Вы мне не нравитесь, поскольку Вы себя проявили, поскольку Вы *natura naturata* **. Таков вывод искреннего и добросовестного анализа моих чувств к Вам и к Вашим книгам. Я должен был предпринять этот анализ для себя, чтобы уяснить самому себе свое отношение к Вам, а после Вашего дружеского письма считаю своим долгом пересказать об этих выводах — В а м.

Вы зовете меня в «Факелы». Повторите ли Вы этот зов после этого письма? Лично мне хочется быть вместе с Вами и вместе с Вяч. Ивановым. Но я решительно не разделяю взглядов, высказанных в книге о неприятии мира и о мистическом анархизме. С этими взглядами, поскольку я критик, поскольку я теоретик, я буду бороться. Мыслимо ли после этого мое участие в «Факелах» как художника? Не знаю.

Только что сегодня утром вернулся из Швеции^{67*}. Читал книгу на пароходе во время сильной бури. Если письмо мое бессвязно, объясните это усталостью с пути. До сих пор пол моей комнаты качается кругом, словно палуба парохода.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

XXXIX

906, окт.

Уважаемый и дорогой Георгий Иванович. Из стихотворений, присланных Вами, «Весы» могут воспользоваться в одном из первых №№ 1907 г. пьесой, посвященной Г. Гюнтеру^{68*}: «Я на темных полях»⁴⁵. Остальные остаются в Вашем распоряжении.

Сердечно уважающий Вас Валерий Брюсов

* Природа творящая, порождающая (лат.).

** Природа сотворенная, порожденная (лат.) В этих словах Брюсов обыгрывает название сборника стихов А. Добролюбова «Natura naturans. Natura naturata» (СПб., 1895). (Примеч. сост.)

XL

1906, окт.

Уважаемый и дорогой Георгий Иванович. В нашем московском «Литературно-художественном кружке» возобновляются «вторники». Есть надежда, что они будут идти пристойно. При обсуждении возможных докладов, мы вспомнили, что у Вас есть готовый труд: Анархические идеи в драмах Ибсена⁴⁶. Не согласились ли бы Вы сделать на эту тему доклад у нас? Размеры доклада: около часу устного чтения. Условия: возмещение Ваших расходов по приезду в Москву в размере 100 р у б л е й. Я буду в Петербурге в скором времени, и о подробностях мы могли бы переговорить лично. Пока же хотелось бы иметь принципиальный ответ. Не можете ли Вы дать его телеграммой на мое имя с тем расчетом, чтобы я мог доложить эту телеграмму на заседании нашей комиссии в п о н е д е л ь н и к. Слово «нет» пусть означает Ваш отказ. В случае согласия, желательно знать ближайший срок, когда Вы можете сделать доклад. Слова «Согласен октябрь» я приму за Ваше согласие прочесть реферат еще в октябре. — «Согласен ноябрь» в ноябре и т.д.

Уважающий Вас Валерий Брюсов

XLI

8 ноября 1906

Многоуважаемый Георгий Иванович. Согласно Вашей телеграмме я записал Вас докладчиком на вторник 14 ноября в нашем Московском литературно-художественном кружке. Если Ваши намерения не изменились, очень прошу н е м е д л е н н о выслать нам (или на мое имя, или в Кружок на имя В.В. Каллаша^{69*}) т е з и с ы Вашего доклада⁴⁷, а также сообщить, когда Вы приезжаете в Москву и где остановитесь. К.И. Чуковский^{70*}, читавший в Кружке вчера, говорил нам, однако, что может быть Вы не найдете возможным читать 14-го. Этим Вы поставите

нас в положение затруднительное, если только не найдете себе заместителя. Таким заместителем мог бы быть Е. Аничков, который говорил мне, что у него уже есть готовый доклад, и А. Вольнский^{71*} или М. Волошин. Так как Вы дали нам обещание занять вечер 14-го числа, то было бы справедливо, чтобы Вы хлопотали о своем заместителе, и я очень просил бы Вас, чтобы Вы известили телеграммой, кого нам ждать в этот день. Необходимо также, чтобы докладчик немедленно выслал нам тезисы своего реферата. Для Вашего же чтения, если Вы не приедете 14, может быть предоставлен или следующий вторник 21-го, или вторник 19 декабря.

Сердечно уважающий Вас Валерий Брюсов

P.S. Условия чтения я Вам сообщал: кружок возмещает расходы по приезду в Москву в размере 100 руб.

XLII

19 янв. 907

Дорогой Георгий Иванович. Во время нашей краткой беседы в Литературном кружке был я внутренне занят совсем не тем, о чем мы говорили, и поэтому отвечал довольно бессвязно на некоторые Ваши нападки. Мне хочется, пользуясь правами прежней нашей приязни, несколько обобщить, оформить мои тогдашние слова.

Вы сомневаетесь, что у «Весов» могут быть «враги слева». Но вспомните Ваши собственные слова о «Весах»: — «Согласитесь, В.Я., что «Весы» — орган реакционный». Ведь вы говорили именно о литературном направлении «Весов» (ибо общественности «Весы» почти не касаются, а если касаются, то большей частью не в духе реакционеров, см. статьи Мережковского, Белого)^{72*}. Но эта Вами утверждаемая реакционность «Весов» не предполагает ли необходимо существование каких-то отношений к «Весам» — революционеров, т.е. именно «врагов слева».

Есть периоды в искусстве, когда старые преграды разрушены и новые пути проложены. Не о завоевании еще новых стран надо тогда думать, а о том, чтобы прочно обосноваться в занятой земле, сделать ее в такой же мере своим достоянием, как давние владения души. Это периоды, когда творят Софоклы, Рафаэли, Расины^{73*}, Гёте (второй поры деятельности), Пушкины... И это все — не люди, п о в т о р я ю щ и е уже сказанное, но з а в е р ш и т е л и. «Декадентство» и «символизм» и «новая поэзия», все эти школы — умерли (ибо нормальная истина живет, ну, лет 17, 18, самое большее 20), но то живое, что было в этих школах, теперь-то и должно дать свой росток. Простите обычное сравнение, но именно так из умершего семени вырастает стебель. Растение бывает с о в с е м н е п о х о ж е на свое семя, но вырастает оно из него. И когда колосятся нивы, время ли опять ехать с плугами?

Периоды, о которых я говорю, — это периоды, когда основываются Академии и утверждаются их правила, которые позднее становятся узами и путями, но в свое время являются и крыльями в полете, и вехами на пути. Нет сомнения, что каждой Академии наступает час, когда она должна быть разрушена для всех правил, когда они должны быть отвергнуты, для Рафаэлей, Гёте и Пушкиных — когда они должны быть осмеяны. Но истинные создатели все-таки они, «академики», а не деятели *Sturm und Drang*'a*. В свой час, падая, Цезарь спокойно закроется плащом, но Империя создана Цезарем, а Бруты работают лишь для Августов. И наши враги все те, которые не хотят принять нового закона, новых заветов искусства, новой Академии — потому ли, что это новое для них еще слишком ново, или потому, что оно уже кажется им старым. Первые — это прошлое, вторые — б у д у т будущим, но *Der Lebende hat recht***.

* Бури и Натиска (нем.). Литературное движение в Германии 1770—1780 г.г., отвергнувшее эстетику классицизма (*Примеч. сост.*).

** Живые права (нем.).

Сознаю, насколько увлекательнее роль вечного завоевателя, вечного «кочевника красоты»^{74*} («Разве есть предел мечтателям»), но, подчиняясь мигу истории, говорю, как легендарный римский легионер: *sta, miles, hic optime manebimus*^{*}.

Ваш Валерий Брюсов

XLIII

30 апр. 1907

Милостивый государь Георгий Иванович. М.Ф. Ликиардопуло⁴⁸ уже известил Вас, что по Вашему желанию⁴⁹ имя Ваше из списка сотрудников «Весов» вычеркнуто^{75*}.

К сожалению, не могу разделять Вашего взгляда на Вашу «критическую заметку» в «Перевале» о моей книге, ибо меньше всего вижу в этой заметке критики. Особенно меня удивило, что Вы позволили себе прием, совершенно недопустимый в литературе: привели несколько слов из моего частного письма к Вам⁵⁰. Я хотел даже по этому поводу написать письмо в редакцию «Перевала», но это значило бы придавать Вашей заметке больше значения, нежели она имеет.

Участвовать в Вашем альманахе, «по понятным Вам причинам», не желаю.

С совершенным почтением Валерий Брюсов

Примечания

I

1. Клара Борисовна Розенберг (ум. 1926), лично знавшая и меня и В.Я. Брюсова, взяла на себя хлопоты по отправке книг сосланным в Сибирь по делу «об организации политической

* Остановись, воин, так сохраним мы себя лучше всего (лат.).

демонстрации в городе Москве в феврале месяце 1902 года». Я в это время жил в Амге, в Якутской области, на расстоянии трех тысяч верст от железной дороги.

2. Книга Верхарна, о которой упоминает Брюсов, — «*Les Forces tumultueuses*»*.

3. «Монна Ванна» — М. Maeterlinck. «*Monna Vanna*». Pièce. Paris**. 1902.

II

4. Александр Семенович Яценко, юрист, оставленный тогда при Московском университете. Он был по недоразумению привлечен по делу московского студенческого Исполнительного комитета в начале 1902 года и сослан в Сибирь, но вскоре был возвращен оттуда. Весною 1903 года Яценко жил в Париже и занимался там по своей специальности — международным правом. Впоследствии он защитил магистерскую и докторскую диссертацию и занимал кафедру философии права в Юрьеве, а потом и в Петербурге (ныне Ленинграде).

III

5. Моя статья «Светлеют дали», о которой в этом письме сообщает Брюсов, была напечатана в мартовской книжке «Весов» за 1904 год. Эта юношеская статья, которую я не решился перепечатать ни в одном из своих сборников, была исполнена странного — на мой теперешний взгляд — оптимизма. «Мы теперь накануне великих откровений, — писал я в конце этой статьи, — природа человеческая утончается. То, чего раньше мы не видели, пламенеет красками. Мы чуем на своем лице прикосновение теней...» «Мы делаемся причастными величайшему прозрению, отвергая те пути познания, по которым следовало заблудившееся человечество». Этот наивный патетизм вполне, впрочем, соответствовал настроениям тогдашних представителей «нового искусства». Брюсов писал в первом номере тех же «Весов»: «Ныне искусство, наконец, свободно». И далее: «Пусть же современные художники сознательно куют свои создания

* «Буйные силы» (фр.).

** М. Метерлинк. «Монна Ванна». Пьеса. Париж (фр.).

в виде ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих двери из его «голубой тюрьмы» к вечной свободе». Подобный же пафос мы находим и в статьях других авторов, которые оснащали свой стиль такими, например, изысканностями: «Знойные потоки солнечной светозарности омывают нас вечной лаской, когда раздаются звучные строки о том, что мы «будем как солнце». Орлиный взлет к обаятельному томлению июльских дней и к печали пожарных закатов...» и т.д. В Петербурге был не в моде этот приподнятый и восторженный стиль.

6. Признание Брюсова, что он и его соратники по «Весам» вовсе не символисты, чрезвычайно любопытно и выражено с достаточной определенностью: «мы ни в коем случае «символистами» себя не считаем». Что касается самого Брюсова, то это заявление совершенно точно, и понимание его как символиста было основано на недоразумении. Если его трудно причислить к символистам в том смысле, в каком этот термин принимался школою французских символистов, то уже совершенно невозможно считать его символистом в более глубоком смысле, присоединяя его имя к именам Тютчева, Влад. Соловьева или Фета.

7. Выражение Бодлэра «*Le goût de l'infini*» * взято из его книги «*Paradis artificiels*»**.

IV

8. Дмитрий Владимирович Философов был в это время официальным редактором «Нового пути».

VI

9. Серг. Алекс. Поляков — издатель «Весов» и «Скорпиона».

10. «Поручение» заключалось в том, что я просил Брюсова возложить от редакции «Нового пути» венок на могилу А.П. Чехова.

11. «Гниль» — повесть Вацлава Берента. Она печаталась в «Новом пути» с заглавием «Гниение» — по-польски «*Prochno*», в переводе В. Высоцкого.

* «Вкус вечности» (фр.).

** См. пер. на с. 209.

VII

12. Об истории «Кинжала» см. мои воспоминания. Журн. «Искусство». М., 1925. № 2, стр. 241—256. Письмо Брюсова ко мне, в котором он высказывает опасение, как бы пресса не истолковала опубликование этого стихотворения как уступку духу времени, утрачено: часть моего архива погибла вместе с библиотекою в 1920 году в Царском Селе (ныне Детском Селе). — «Кинжал» был напечатан в «Новом пути» в октябрьской книжке за 1904 год по рукописи 1901 года.

VIII

13. Зинаида Николаевна Гиппиус передала в редакцию «Вопросов жизни» перевод «Ворона», сделанный Брюсовым, и этот перевод был напечатан в январской книжке журнала.

IX

14. Стихотворение «Ахиллес у алтаря» («Знаю я, во вражьем стане...») было напечатано в мартовской книжке «Вопросов жизни».

X

15. Мирэ — Александра Михайловна Моисеева (1874—1913), сотрудница «Вопросов жизни», «Перевала» и др. изд., автор небольших новелл. Первая ее книжка «Жизнь» вышла в Нижнем Новгороде в 1904 году (о ней рецензия А.А. Блока в «Вопросах жизни», 1905, № 7). Вторая книжка «Черная Пантера» вышла в Москве, в изд. «Гриф». Некролог П. Юшкевича в газете «День» 9 декабря 1913 г. и некролог Семена Юшкевича в «Одесских новостях», 1913, 13 декабря.

XI

16. По-видимому, Валерий Брюсов говорит здесь об одном из утраченных ныне его писем ко мне.

XII

17. Переводы песен Метерлинка были первоначально напечатаны в июльской книжке «Нового пути» за 1904 г. В 1905 году

они вышли в Москве в изд-ве В.М. Саблина с рисунками Шарля Дудлэ. Эти переводы вошли и в IV сбор. моих сочинений, изданных «Шиповником».

18. Рецензия Вяч. Иванова появилась в июльском номере «Весов» за 1905 год. В том же номере Брюсов напечатал свою обстоятельную статью по поводу моих переводов и присоединил образцы своих переводов тех же метерлинковских песен.

XIII

19. Н.И.С. — Нина Ивановна Соколова. (Нина Петровская), беллетристка, сотрудница «Перевала» и некоторых других изданий. Умерла в Париже в 1928 году.

XV

20. «Зори» Верхарна были напечатаны в моем переводе в одиннадцатом сборнике «Знания».

XVI

21. Статья Брюсова «Фиалки в тигеле» была напечатана в июльском номере «Весов» за 1905 год.

22. Д.С. — Дмитрий Сергеевич Мережковский.

XVII

23. В сентябрьской книжке «Вопросов жизни» было напечатано три стихотворения Брюсова — «Одному из братьев», «Грядущие гунны», «К счастливым». К циклу этих пьес было сделано примечание от редакции: «Три стихотворения Валерия Брюсова, также посвященные современности, — «Близким», «Знакомая песнь» и «К ним» — мы не могли поместить в этом номере по не зависящим от редакции обстоятельствам».

XVIII

24. Брюсов пишет о своем стихотворении «Знакомая песнь». Оно было напечатано в №№ 10 — 11 журнала, вышедшего тогда уже без предварительной цензуры. Запрещенная строфа читается так:

Это колокол вселенной
С языком из серебра,
Что качают миг мгновенный
Робеспьеры и Мара.

25. А.М. — Александра Михайловна Моисеева. См. письмо X-е.

XIX

26. Относительно А.С. Яценко см. примечание четвертое (второе письмо).

27. Статья «Фиалки в тигеле». См. прим. 21 (шестнадцатое письмо).

XX

28. Насколько я припоминаю, редакция «Вопросов жизни» предложила Брюсову выбросить последнюю строфу стихотворения, которая читалась так:

И снова все в веках, далеко,
Что было близкий наконец —
И скипетр Дальнего Востока,
И Рима третьего венец.

XXII

29. Все четыре стихотворения появились в «Вопросах жизни» №№ 10 — 11. Этот двойной номер вышел без цензуры «явочным порядком».

XXIV

30. Мое сообщение о запрещении цензурою трех стихотворений Брюсова.

31. В «Гуннах» цензура вычеркнула строфу:

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколите веселое поле
На месте тронного зала.

32. Заглавие «Из современности» удалось сохранить.

XXVI

33. В неосуществившемся сборнике «Огни» должны были участвовать: Валерий Брюсов, Бор. Зайцев, Вяч. Иванов, Ив. Новиков, А.М. Ремизов, Ф. Сологуб и др. Об этом сборнике было объявление в девятом номере «Вопросов жизни». Вместо «Огней» вышел другой сборник «Факелы».

34. «Вопросы жизни» прекратились в 1905 году.

XXIX

35. Роман, над которым тогда работал Брюсов, — «Огненный ангел».

XXXII

36. Об этих трех пьесах см. примечание 29-е. Все три пьесы появились в двойном номере (октябрь — ноябрь) «Вопросов жизни».

XXXIV

37. Брюсов недоумевает, каким образом Минский, автор мистического учения о мэонизме, оказался во главе социал-демократической газеты «Новая жизнь».

XXXV

38. Насколько я припоминаю, здесь идет речь об издании переводов Верхарна, которое мне предложило какое-то петербургское издательство, а я — кажется — хотел передать это предложение Брюсову.

XXXVI

39. «Факелы». Книга первая. СПб., 1906. В сборнике приняли участие — Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Александр Блок, Андрей Белый, Сергей Городецкий, П.С. Соловьева, Ив. Бунин, Леонид Андреев, Конст. Эрберг, А. Ремизов, Л. Зиновьева-Аннибал и др.

XXXVII

40. Моя рецензия на 10-й сборник «Знания» утрачена, и я не помню, как и что я писал о пьесе Леонида Андреева. Возможно, что в 1906 году я написал об Андрееве более сочувственно, чем он того заслуживал.

41. Заметка о «Факелах» появилась в майском номере «Весов» (1906, № 5) за подписью — Аврелий. Брюсов рассматривает сборник «Факелы» как попытку создать новую «литературную школу». Навязав редакторам «Факелов» это задание, которого они вовсе не имели в виду, автор заметки удивляется, почему в «Факелах» появились писатели разных литературных направлений. В «Факелах» в самом деле были напечатаны произведения не только самого Брюсова, Федора Сологуба, Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Иванова, но и таких писателей, как Ив. Бунин, П.С. Соловьева, Леонид Андреев... «Кто пользуется старыми мехами, — пишет Брюсов, — не заставляет ли заподозрить, что вино у него не очень новое?» — Любопытно, что за исключением двух-трех имен почти все «опороченные» Брюсовым писатели были также участниками «Северных цветов», альманаха, который выходил под его редакцией.

...«Программа «Факелов» — по словам Брюсова — не только нежизнеспособна, но и невыполнима совершенно. Она в сущности отвергает всякое искусство. Если смело идти до последних выводов в отрицании «внешних обязательных норм», придется отрицать и существующие формы литературных произведений как данные извне. Формула «Я мира не приемлю» выбрасывает за борт весь материал художественного творчества: весь мир»... «Конечно, при таком толковании «неприятие мира» превратилось в политическое революционерство»...

В следующем июньском номере «Весов» (1906, № 6) появился ответ Брюсову, написанный Вячеславом Ивановым. «О Факельщиках и других именах собирательных»: «С изумлением, — пишет Вяч. Иванов, — прочли мы, «Факельщики», что сообщает о нас Аврелий. Много неожиданного узнали бы мы о себе из этих сообщений и, конечно, радовались бы, что нам открылся новый источник самопознания, если бы общий закон

человеческого познания не ставил условием усвоения преподаваемых идей — присутствие в них логической связи»... «В недоумение поверг нас обычно чуждый алогизма и аффекта Аврелий. Прежде всего мы узнаем от Аврелия, что образуем новое течение в литературе, до известной степени новую литературную «школу». Что же, однако, — «течение» или «школу»? Ведь это не одно и то же. «Новый путь», например, представлял некоторое течение религиозно-философской мысли в литературе; но можно ли сказать, что «Новый путь» был новою литературною школою?.. И с «Факельщиками» Аврелию лучше было бы сначала условиться, притязают ли они быть новою литературною «школою»... — Тогда бы он с своим алогическим вопросом: каков ваш эстетический принцип? Назовите основоположительные творения вашей художественной школы и т.д., — не оказался жертвою комического *qui pro quo**. Я говорю «комического», потому что с этими вопросами он обращается к своим же собратьям по «Весам» и потому, что требует «новых имен, новых сил», долженствующих будто бы ознаменовать собою новое начинание»... «Но, во-первых, я — скорее новое, чем старое «имя», во-вторых — данная идея родилась в моей голове, поскольку она не стара, как богоборствующее человечество, как Иов, или, по крайней мере, как Иван Карамазов, в-третьих — недаром же мое стихотворное вступление к «Факелам» имеет эпиграфом строки из моей первой книги лирики. Кто читал ее, знает тот круг моих идей, который делает меня своим среди «Факельщиков». О Г. Чулкове, зачинателе «Факелов», можно сказать то же самое: он — «новое имя». Факелы с точки зрения художественной школы эклектичны — открыто и прямо...»

42. В журнале «Адская почта» я только числился ближайшим сотрудником. В редакции я никакого участия не принимал и не печатал там ни одной строки.

XXXVIII

43. Книга «Кремнистый путь» вышла в издательстве В.М. Саблина в 1904 году. Я жил в это время в Нижнем Новго-

* Недоразумение (фр.).

роде. Незадолго до выхода этой книжки я послал в рукописи свои стихи Брюсову. Валерий Яковлевич в письме дал о них свой отзыв, весьма суровый, но, пожалуй, справедливый. К сожалению, это письмо утрачено. В нем, между прочим, он признается, что некоторые мои строки и строфы он «повторяет неустанно», но совершенных стихотворений у меня, по его мнению, почти нет.

И в самом деле он указывал на целый ряд технических промахов и недостатков. Вместо того чтобы скромно признать справедливость критических замечаний старшего собрата, я ответил Брюсову заносчиво и высокомерно и послал ему стихотворение «Поэту», где были злые строки по его адресу — «Поэт сомнительный разрушенных могил...». Эта бестактность не могла не раздражить В.Я. Брюсова. Он напечатал в первом же номере «Весов» очень резкую рецензию на мою юношескую книгу, действительно формально плохую. Впрочем, рецензия оканчивалась осторожной фразой: «Георгий Чулков не безнадежен. Может быть, он будет поэтом...». Эта рецензия появилась за подписью — Аврелий. См. «Весы», 1904, № 1, стр. 70—71.

44. «Последняя книга», о которой пишет Брюсов, — моя книга «О мистическом анархизме» со вступительной статьей Вячеслава Иванова «О неприятии мира». Она была издана издательством «Факелы» в Петербурге в 1906 году.

XXXIX

45. Стихотворение «Я на темных полях до рассвета блуждал...» я взял из «Весов» и напечатал его в журнале «Перевал», без посвящения Гюнтеру. Почему я снял посвящение Гюнтеру, не помню.

XL

46. Книжка «Анархические идеи в драмах Ибсена» была издана из-вом «Шиповник» в 1907 году.

XLI

47. Мой доклад в кружке, если не ошибаюсь, назывался «Об утверждении личности».

XLIII

48. М.Ф. Ликиардопуло — секретарь «Весов».

49. Мною было послано в середине апреля 1907 года письмо в «Весы» с просьбою вычеркнуть мое имя из списка сотрудников.

50. Упрек В.Я. Брюсова на этот раз был неоснователен: никакого разоблачения частной переписки я не делал. В моей рецензии встречается только одна латинская фраза, которую действительно Брюсов употребил в своем письме ко мне от 19 января 1907 года, но эта фраза никак не может быть отнесена к категории чего-нибудь интимного, на что Брюсов как будто намекает, называя мою цитату «приемом, совершенно недопустимым в литературе». Что касается моей рецензии, то по существу она была весьма жестока и прозвучала неожиданно, ибо тогда Брюсов считался «безупречным» и его, не смущаясь, именовали вторым Пушкиным. Эта моя рецензия на книгу рассказов Брюсова «Земная ось» была напечатана в «Перевале», 1907, № 4, стр. 64—65. Я тогда писал: «Новая книга Валерия Брюсова — итог десятилетней работы. Она свидетельствует о похвальном трудолюбии автора. Впрочем «Земная ось» художественной ценности не представляет никакой. По справедливому признанию самого Брюсова, все рассказы в этой книге являются подражаниями то Эдгарду По, то Анатолю Франсу, то Пшибышевскому... Нельзя только согласиться с мнением автора, что «даты, поставленные под рассказами», показывают, что в его «опытах» есть «движение вперед». Начать с подражания гениальному Эдгарду По и кончить подражанием вульгарному Пшибышевскому: это ли движение вперед?

Но, несмотря на художественное бессилие этой книги, она представляет значительный интерес. «Земная ось» любопытный психологический документ. Подобно тому как кассовая книга разорившегося банкирского дома своими мертвыми цифрами говорит сердцу о тайной драме, о крушении какой-то большой нелепой постройке, созидавшейся годами, так и «Земная ось» напоминает нам о крушении некоторого мирозозерцания. Банкротство уединенной души — вот итог десятилетней работы.

Теперь, когда Брюсов сам себя увенчал «Венком», когда заслуги его оспаривают только захолустные провинциалы, когда кадеты и «кадеты» знают и любят его стихи, своевременно не только восхваляют его дарование, но и откровенно говорить об отрицательном значении этого писателя как представителя известного мирозерцания. Это мирозерцание определяется как ложный индивидуализм, т.е. такой «индивидуализм», который по своей религиозно-философской слепоте мечтает утвердить себя вне общественности. Отсюда — бескровность, бездушные и реакционность того «искусства», которое связывает себя с этим внешне понятным индивидуализмом. Отсюда и близость такого искусства к тому механическому началу, к той ренегилевской эквилибристике и неумной пшибышевщине, которые так милы сердцу европейского мещанина-эстета. «Земная ось» — книга м е х а н и ч е с к а я по преимуществу. Ее части так же механически крепко сделаны, как железные брусья башни Эйфеля. И вот теперь, вместо того чтобы бежать от кошмара железных брусьев, которые вовсе не пронизывают, как ось, страдающую Землю, а просто глупо торчат на поверхности посреди шумного рынка, Брюсов готов — по-видимому — сказать себе: *Sto, miles, hic optime manebimus!** Разве «optime»? ** Это уж самоубийственно.

Я говорю не столько о литературной школе, сколько о той «религии», которая скрывается за брюсовской литературой. Я сомневаюсь — впрочем — религия ли это...»

И далее:

«Здесь один только мастер — Смерть. Но это не та Незнакомка, что чаровала и чарует поэтов всех времен, а просто бу-тафорский мертвец.

С таким разлагающимся спутником-двойником не победишь мира, как Цезарь, а разве только создашь две-три новые башни во вкусе Эйфеля на стогнах купеческого града Москвы.

И какие нестрашные эти башни! Вот Пиранези тоже был пленен мрачной поэзией башен, винтовых лестниц, траурных галерей и темных орудий пыток, — но то был Пиранези: он з н а л их тайну, в е д а л их чары...

* См. пер. на с. 124.

Что еще поражает в книгах, подобных «Земной оси», — это — неискушенность их авторов: за «ужасным» лицом и «наполеоновской» позой вдруг открывается благонамеренный потомственный почетный гражданин; за гимном «утонченному» разврату — невинные и скучные грехи обывателя; за «дерзновением мысли» идейная импотенция.

И это в то время, когда русская литература приближается к Музыке, становится событием, «Нечаянной Радостью»... Искусство порождает действие и действием создается. А московское декадентство все еще живет поверхностным самолюбованием, не ведая Эроса и кокетничая «мрачным» сладострастием».

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА БЛОКА

I

Многоуважаемый Георгий Иванович. Спасибо Вам за извещение о судьбе моих стихов и рецензий. Еще не видал книжки «Нового пути», не знаю, что сделали цензура и Петр Петрович¹.

А.Н. Шмидт² приезжала в начале мая и говорила, что Вы около Подсолнечной и, м.б., приедете. Ждал Вас, пожалуйста, если будет по пути, приезжайте, я буду очень рад: сельцо Шахматово³ от станции 17 верст.

*Искренно уважающий Вас Ал. Блок
15 июня 1904. Шахматово, Моск. губ.*

II

Многоуважаемый Георгий Иванович. Посылаю Вам рецензии⁴ о Бальмонте и Гофмане^{76*}. Если найдете их слишком длинными, пришлите мне, пожалуйста, их в наборе, и я сокращу сколько нужно. Если Вас не затруднит, сообщите мне, когда они будут набраны; тогда я найду и принесу Вам все книги.

Rachilde^{*} (перевод которой оказался нестерпимым)^{77*} я несколько задержу и, если можно, отложу до апрельской книги «Вопросов жизни».

Преданный Вам Александр Блок

* Рашильд (фр.).

P.S. Хотел бы под рецензиями сохранить подпись Волк.

III

Многоуважаемый Георгий Иванович. О Вашем переводе Метерлинка⁵: мне нравится I, IV, X, потом VIII; вообще мне кажется, в переводе много своего, не метерлинковского. Например, в V: у Метерлинка тревожно бежит свет по комнатам и умирает, а Вы размерно рассказываете об этом, и не под первым впечатлением. В IV — опять у Вас своя певучесть, особенно в оканчивающих строку «есть», «нет»; их добрая пугливость все-таки не совсем приближает к Метерлинку. М-к торопливо карабкается по лесенке своих размеров, оттого ему скоро удастся рассыпаться почти бесследной ракетой. А Вы замедляете его торопливость и стихотворствуете. У М-ка почти нет стихотворчества. От этого разнствует м-вская и Ваша певучесть, по-национальному. Я бы сказал, что стихи М-ка п е р п е н д и к у л я р н ы Вашей передаче, как французский темперамент перпендикулярен русскому. Ярчайший пример не слитости, а п р е к р а с н о й перпендикулярности — «жизнью громко восхищались» — «*ont salué la vie*»*. У Вас — объятие «клейким листочкам»^{78*}, у М-ка — испаряющийся поклон. Мне кажется, М-к по-русски должен непременно отяжелеть. По-моему, совсем не звучат след. строки: «Она имела три короны золотые, — кому она их отдала» (VII), «Пришли нам вести принести» (V), «Удалиться не решились» (VIII), «Вы должны теперь идти» (IX). Часто нарушают песни слова «те» и «там» — дополнительные грузы, не сливающиеся с существом стиха. Кроме того, мне кажется, в п р и п е в а х Метерлинка нашел узелки, в которых стягивается мелодия. У Вас припевы стремятся иногда

* «Приветствовали жизнь» (фр.).

стать стихом и, вследствие грузности, теряют свое внутреннее место (например, «Мне страшно, о дитя»). Больше всего (из припевов) мне нравится — «Золотые прочь повязки», «крепче узел затяните». Еще, по-моему, нельзя: 1) три светлых ангела м о л и л о с ь; 2) корабль собрался у е з ж а т ь (смесь мокрого и сухого).

Извините и не сердитесь, что пишу больше, чем Вы просили. Посылаю Вам брюсовского Верхарна, корректуру Вашу и мою и рец. о Рашильде ^{79*}. Книги принесу сам. Жму руку.

*Искренно Ваш А. Блок
15 марта 1905. СПб.*

IV

Дорогой Георгий Иванович. Можно мне написать литературную заметку об изданиях «Содружества», если она еще не написана Вами? При этом мне хотелось бы упомянуть только вскользь Маковского ⁶ (не хочется начинать с брани) и остановиться особенно на Л. Семенове ⁷ и Дымове ⁸ (то и другое Семенов прислал мне). О Габриловиче ⁹, может быть, лучше написать совсем отдельно и в заметке совсем не упоминать о нем. Впрочем, может быть, Вы найдете более удобным написать отдельные рецензии обо всех. Если можно, сообщите мне об этом.

Когда выходит апрельская книжка В.Ж.? Е.П. Иванов ¹⁰ написал мне о возмутительных событиях в редакции ¹¹, беспокоюсь о Вас.

Пока еще мало писал — только заметку ¹² о переводе Апулея и Овидия (вместе). Брожу, роюсь в земле и чиню заборы. А больше все-таки брожу. У нас тишина и мир пока, а губерния, говорят, в усиленной охране, но этого нет... По крайней мере, все удивительно свежее и душистое. Ужасно далеки от всех событий, и трудно представить себе что-нибудь, кроме зеленого и синего.

Читали ли Вы Дымова? Мне нравится многое, особенно — «Весна»^{80*}. Но иногда, вместо того, чтобы проникать в свое, он скользит по поверхности чужих слов, и тогда приходится пропускать страницы.

Мы с Любой¹³ очень кланяемся Надежде Григорьевне¹⁴. Жму руку.

Любящий Вас Ал. Блок

Н.ж.д. Ст. Подсолнечное, с. Шахматово. 19/V 1905

V

Дорогой Георгий Иванович. Посылаю Вам «Литургию красоты»¹⁵. Видел в «Нов. врем.», что вышли книги Котляревского^{81*} о Лермонтове (2-е издание) и Зелинского (II том «Из жизни идей»^{82*}). Если можно, пришлите мне их для рецензии, хотя боюсь, что кто-нибудь уже пишет о них. Л. Семенова я не буду называть гением, но его стихи мне нравятся, как и Вам. Посылаю Вам еще рецензии о Бальмонте, Апулее и Овидии.

Любящий Вас Ал. Блок

Некоторую чуждость стихов Семенова понимаю. Хочу долго спорить с Вами о статье Вашей («Поэзия Вл. Соловьева»¹⁶), имею возразить что-то по существу, но что, пока еще не выяснилось для меня окончательно. Но уже все есть — ноги, руки, туловище, остается одному лицу вспыхнуть.

VI

Дорогой Георгий Иванович. Большое спасибо за отписки и книгу Котляревского¹⁷. Мне хотелось воспользоваться Вашим предложением и возразить на Вашу статью о Соловьеве в «частной переписке»^{83*}. Но у меня не оказалось под рукой не только прозы, но и стихов Соловьева. Вероятно, возражение придет Вам С. Соловьев¹⁸. Просматривая булгаковское возражение¹⁹, мне не захотелось и читать его, что-то совсем, совсем не о том...

Я хотел спорить с Вами о тех пунктах Вашей статьи, где говорится о трагическом разладе, аскетическом мировоззрении и черной победе смерти. В противовес этому, я думаю поставить: 1) совершенную отдельность и таинственность, которой повиты последние три года жизни Соловьева; 2) лицо живого Соловьева и 3) знание о какой-то страшной для всех тишине, знание в форме скорее чутья, инстинкта или нюха (все эти три пункта, конечно, нераздельны).

К последним трем годам относится и наибольшая интенсивность С-ва как поэта, и апофеоз того смеха (дарящего, а не разлагающего), который он точно от всех Соловьевых по преимуществу вобрал в себя, воплотил, «заклучил» — сделал законченным это захлебывание собственным хохотом до икоты; этот смех — один из *н е о б х о д и м е й ш и х* элементов «соловьевства»²⁰, в частности Вл. Соловьева; и этот смех делает Соловьева совершенно неуязвимым от тех нападков Розанова, которые звучат похоронно — «хорошо бы-де Соловьеву иметь ребенка», «Соловьев-де вялый, пасмурный, нежизненный», словом — Соловьев «во сне мочалку жует» (конечно, это я формулирую Розанова)^{84*}.

Последние годы Соловьев в моем предположении и впечатлении начинал *п р е к р а с н о д в о и т ь с я*, но совершенно не было запаха «трагического разлада» и «черной смерти». Скорее, по-моему, это пахло деятельным весельем наконец освобождающегося духа, потому что цитированное Вами о «днях печали», «гробнице бесплодной любви» и подобное в стих. Соловьева *насквозь п е р е г о р а л о* в Купине Несказанности, о которой теперь часто (или всегда) говорит А. Белый. Соловьев постиг тогда, в период своих главных познаний и главных несказанных веселий, ту тайну и г р ы с тоскою смертной, которую, мне сейчас кажется, тщетно взваливает на свои плечики Мережковский... Он так хохотал, играючи, что могло (и может) казаться, что лъвенек рычит или филин рыдает (о филине как-то выкрикнул Соловьев в боль-

шом обществе, помните, это у глупейшего Велички^{85*}). А ведь филин вовсе и вовсе не тоскует, когда кричит, я думаю — ему весело.

З н а н и е наполнило Соловьева неизъяснимой сладостью и весельем (ведь его стихи имели р о к о в о е значение, говорите Вы), и этот Рок исполнил его в с е г о Несказанным, и не от убыли, а от прибыли пролилась его богатейшая чаша, когда он умирал (и на меня упала капелька в том числе). Помню я это лицо, виденное однажды в жизни на панихиде у родственницы. Длинное тело у притолки, так что целое мгновение я употребил на поднимание глаз, пока не стукнулся глазами о его глаза. Вероятно, на лице моем выразилась душа, потому что Соловьев тоже взглянул долгим сине-серым взором. Никогда не забуду — тогда и воздух был такой. Потом за катафалком я шел позади Соловьева и видел старенький желтый мех на несуразной шубе и стальную гриву. Перелетал легкий снежок (это было в феврале 1900 г., в июле он умер), а он шел без шапки, и один господин рядом со мной сказал: «Экая орысина!» Я чуть не убил его. Соловьев исчез, как появился, незаметно, на вокзале, куда привезли гроб, его уже не было²¹.

Мне хочется написать Вам именно так, без теорий, а о б л и к в о м н е ж и в у щ и й^{86*}, и просить Вас не показывать письма. Конечно, это не возражение, но это самое спорит во мне с Вами, тем более что я знаю угол, под которым стихи Соловьева (даже без исключений) представляются обмокнутыми в чернила (смерть, смерть, и смерть...). Но сквозь все это проросла лилейная по сладости, дубовая по устройству ж и з н е н н а я сила, сочность Соловьева, которой Розанов при жизни его не сломил, а после смерти — подпачкал. Эту силу принесло Соловьеву то Начало, которым я дерзнул восхититься, — Вечно Женственное, но говорить о Нем — значит, потерять Его: София, Мария, влюбленность — всё догматы, всё невидимые рясы, грязные и заплеванные, поповские сапоги и водка.

От Соловьева поднимался такой вихрь, что я не хочу согласиться с его пониманием в смысле черного разлада, аскетизма и смерти. Аскетизма ведь не было и фактически, и не им вызывался тот хаос, о котором Вы говорите, и сквозь который вечно процветал подлинный, живой стебель. Вступление к стихам — загадка^{87*}, многое мне здесь разрешается, когда вспоминаю о хохоте Соловьева. Вступление искренно несомненно, но и хохот искренен. И когда хохот заглушен, губы серьезно сдвинуты, а борода разложена по сюртуку, как на фотографии Здобнова, еще неизвестно, что услышим, что откроется... Еще многому надлежит явиться, о чем провещал маститый философ, заглушив в себе смех и на миг отвернувшись от игр ребенка. Еще в Соловьеве, и именно в нем, может открыться и Земля, и Орфей^{88*}, и пляски, и песни... а не в Розанове, который тогда был именно противовесом Соловьева, не ведая лика Орфеева. Он Орфея не знает и поныне, и в этом пункте огромный, пышный Розанов весь в тени одного соловьевского сюртука.

Дорогой Георгий Иванович. Мы с Любой ужасно жалеем, что не можем пригласить Надежду Григорьевну и Вас к нам. Дело в том, что мы живем не одни, а с родственниками, часть которых, как мы убедились по приезду А. Белого и С. Соловьева, страшно тяготится близкими нам разговорами и страдает от них чуть ли не физически. Я думаю, что это скоро прекратится, т.е. мы будем жить в более согласном обществе, и, может быть, на будущее лето Вы с Надеждой Григорьевной посетите нас. Теперь как-то совсем нельзя говорить, и отношения между партиями обострены, так что люди как-то оскалились до степени понятий: здесь — «мистики», а там — «позитивисты». Но рознь глубже понятий. Кланяемся Вам и Надежде Григорьевне. Жму Вашу руку.

Любящий Вас Ал. Блок

23 июня 1905 г. Никол. ж.д. Ст. Подсолнечная, с. Шахматово

Прилагаю еще три рецензии^{89*}.

VII

Дорогой Георгий Иванович. Вот еще четыре стихотворения, но, кажется, «Осенняя воля»^{90*} для «Огней»²² все-таки больше других подходит. А может быть, среди этих что-нибудь найдете. Вы хотели напечатать одно стихотворение (отдельное) в октябрьскую книжку. Может быть, пойдут «Пляски осенние»?^{91*}

4 октября 1905 г. СПб.

Ваш Ал. Блок

VIII

16 декабря 1905

Дорогой Георгий Иванович. Не иду к Вам сегодня. Идея театра, с о в с е м такого, как надо, показалась неосуществимой^{92*}. Теперь я бы сам не мог осуществить того, что хочу, не готов; но театр²³, который осуществится, более внешний, я думаю, пока, конечно, нужен и может быть прекрасным.

Любящий Вас Ал. Блок

Надежде Григорьевне от нас поклон.

IX

Дорогой Георгий Иванович. Очень извиняюсь перед Вами и К.А. Сюннербергом²⁴, получил телеграмму около 6 часов и никак не могу приехать. Непременно зайду к Вам вскорости, на праздниках.

Ваш Ал. Блок

23 дек. 1905

X

Дорогой Георгий Иванович. Ужасно извиняюсь перед Вами, но дозарезу нужны деньги, и потому пользуюсь Вашим предложением в прошлый раз: беру у Вас «Митинг»²⁵ и попробую отдать его в «Журнал для всех»^{93*}. Иначе не выпутаться никак, не получил того, что рассчитывал.

7 янв. 1906

Ваш Ал. Блок

XI

Дорогой Георгий Иванович. Я отказался было от грузинского вечера, но пришла Старосельская и убедила меня участвовать. Просила уговорить Вас всячески. Согласился читать Волошин, и еще будет Городецкий. Право, читайте. Куприна^{94*} не будет, а Тану^{95*} запретят. Собинов и Гофман^{96*} отказались. Все это становится менее страшным. Согласитесь, пожалуйста. Поклонитесь от меня пожалуйста Надежде Григорьевне.

Любящий Вас Ал. Блок

P.S. Мы с Вяч. Ив. едем в пятницу в 6 1/2 ч. веч.

XII

Дорогой Георгий Иванович. Надеюсь, что успею написать балаган²⁶, может быть, даже раньше, чем Вы пишете. Вчера много придумалось и написалось. Как только кончу, дам Вам знать.

Очень кланяюсь Надежде Григорьевне и Всеволоду Эмильевичу.

21 января 1906

Ваш любящий Ал. Блок

XIII

Дорогой Георгий Иванович. Балаганчик кончен, только не совсем отделан. Сейчас еще займусь им. Надеюсь вчера видеть Вас у Сологуба, чтобы сообщить. Во многом сомневаюсь. Когда можно будет прочесть его? Я буду свободен на этой неделе по вечерам — во вторник и среду (завтра и послезавтра), м.б., в субботу. Если удобно, может быть, можно и днем — я свободен — я свободен все дни, кроме вторника. Надежде Григорьевне и Всеволоду Эмильевичу²⁷, пожалуйста, передайте мой привет.

23 янв. 1906

Любящий Вас Ал. Блок

XIV

Дорогой Георгий Иванович. Спасибо за корректуру. Вряд ли мне удастся скоро к Вам зайти — все экзамены. Если у Вас будет время — напишите в двух словах — будет ли в «Факелах» «Осенняя воля»²⁸ или «Митинг».

Если можно, передайте сейчас два слова письменно — денщик новый и глупый, боюсь, что не к Вам принесет.

12 марта 1906

Ваш Ал. Блок

XV

Дорогой Георгий Иванович. Спасибо за «Факелы». Поздравляю Вас. Крепко жму Вашу руку. Мне ужасно нравится все, что я мог рассмотреть сквозь экзаменное отупение. Читать почти еще ничего не мог. Люба больна, уже несколько дней жар, а я должен упорно заниматься трудными и неинтересными вещами.

Спасибо еще раз.

4 апреля 1906

Ваш Ал. Блок

XVI

Дорогой Георгий Иванович. Вчера мы с Евг. П. Ивановым шли вечером к Вам, но вдруг повернули и уехали на острова, а потом в Озерки²⁹ — пьянствовать. Увидели красную зарю.

Так мне и не удастся побывать у Вас, потому что завтра уезжаем (как всегда, Никол. ж.д., ст. Подсолнечная, село Шахматово). Извините, что сегодня не зайду, много хлопот и укладки. Желаю Вам всего лучшего и надеюсь, что Вы к нам заедете в июле или августе. Будет хорошо, тихо, красиво и неродственно. Редактируете ли Вы «Освободительное движение»?³⁰ Экзамен мой кончился неожиданно для меня — по первому разряду (сам изумляюсь, как это случилось). Пожалуйста, кланяйтесь от нас Надеж-

де Григорьевне. Просите ее приехать к нам в Шахматово вместе с Вами. Уверяю Вас, что можно жить уединенно и тихо.

10 мая 1906, СПб.

Ваш Ал. Блок

XVII

Милый Георгий Иванович. Я очень нежно Вас люблю, и Вы любите меня также. Только понимайте меня так же, как поняли в том, что написали о «Балаганчике»³¹. Вчера Вы преступили заветы Минцловой³², и вышла неправда. Пожалуйста, знайте, что я Вас люблю очень по-настоящему. Крепко целую Вас.

Ваш Ал. Блок

XVIII

7 июля 1906. С. Шахматово

Дорогой Георгий Иванович. За книгу³³ с надписью^{97*} большое спасибо. Все лето думаю о многом, связанном с этой книгой. Прочел, и еще буду возвращаться. Ваши краткие статьи, как стрелы — одна за другой — ранят, пролетая, но откуда и куда летят — неизвестно. Многое попадает прямо в сердце. Вы пишете жестоко и справедливо. Самое жестокое теперь — сказать: «социализм — по счастью — перестал быть мечтой»^{98*}. Это главное, что жалит пока; в таких словах в наше время — п о л н а я п р а в д а (а это так редко в литературе вообще). Вывод из них: весь табор снимается с места и уходит бродить после долгой остановки. А над местом, где был табор, вьется воронье^{99*}. Это — жестокая правда социализма в современной фазе. Этот вывод не связан с предыдущим, с событием эпохи Александра III^{100*} и писателя Лейкина^{101*}; не связан до такой степени, что люди богомольные сочтут его наказанием за грехи и по-своему будут правы: копили, копили — и вдруг все отдать, включая сюда пись-

ма невесты и кусок гвоздя, которым приколачивали ко кресту Христа. Это — социализм и «мистический анархизм», оба об этом говорят, и оба — не «учение», так же как «мистика» и «анархия» каждая отдельно: потому что они говорят о поступках, а на поступки решаются, не учась. Может быть, теперь особенно надо, решаясь на поступки, многое забыть и многому разучиться.

Почти все, что вы пишете, принимаю отдельно, а не в целом. Целое (мист. анархизм) кажется мне не выдерживающим критики, сравн. с частностями его; его как бы еще нет, а то, что будет, может родиться в другой области. Помоему, «имени» Вы не угадали, — да и можно ли еще угадать, когда здание шатается? И то ли еще будет? Все — мучительно и под вопросом.

Получил извещение о том, что «Факелы» соединяются с «Адской почтой»³⁴, и еще раньше Ваш отчет о «Факелах» (спасибо!). Пусть остается мой пай в книгоиздательстве. Совсем не знаю об «Адской почте», послал туда стихи и просил ответить, но получил только 3 №№ «Адской почты» и потом — ни слуху ни духу.

«Скорпион» объявил, что символизм закончен^{102*} — и пора было это сказать. В связи с этим манифестом, который стал моим убеждением, я теперь теряю или приобретаю надежды. Пока больше теряю — так и живу.

Еще раз спасибо. Всего, о чем думаешь, не написать. Крепко жму Вашу руку, дорогой Георгий Иванович. Надежде Григорьевне и Вам от нас поклон.

Любящий Вас Ал. Блок

XIX

Дорогой Георгий Иванович. Разыскал четыре маленьких стихотворения — посылаю Вам для благотворительного сборника. Они нигде не были напечатаны и в «Нечаянную радость» не войдут.

22 октября 1906

Любящий Вас Ал. Блок

XX

Дорогой Георгий Иванович. Вчера в театре я так и забыл попросить у Вас то, о чем думал. Не позволите ли Вы мне цитировать стих с гагарой на шесте³⁵ в статье, которую я пишу?^{103*} Очень бы нужно. Если позволите, пришлите его, оно коротенькое.

11 ноября
Ваш Ал. Блок

XXI

Дорогой Георгий Иванович, пожалуйста, принесите мне рукопись «Девушка розовой калитки»³⁶ 29-го на «Беатрису»^{104*}. На репетицию не пойду. Кузмин у Сологуба говорил, что не пустят. Надежде Григорьевне очень кланяюсь.

20/XI. 06
Любящий Вас Ал. Блок

XXII

Дорогой Георгий Иванович. «Шиповник» заказал мне перевести мал. стихотв. Верх. о городе^{105*}. Ни в одном магазине не нашел «*Villes tentaculaires*»*. Если бы Вы принесли мне их завтра на репетицию, я был бы Вам очень благодарен. Мне надо сдать перевод через 10 дней, так что я не задержу, а выписывать уже поздно.

8/XII. 1906
Любящий Вас Ал. Блок

XXIII

Дорогой Георгий Иванович. Не мог придумать предисловия³⁷, как ни старался. Даже стихов не удалось сочинить. Не расположить ли материал так, как я записал на листке?

30/IV
Ваш Ал. Блок

Просмотрел «Всадника»^{105**}. По-моему, хорошо.

* «Города-спруты» (фр.).

XXIV

Милый Георгий Иванович. Я Вам не пишу и к Вам не иду, потому что завален золоторунными делами. Когда кончу — приду. «Белые ночи» хочу дать Рябушинскому³⁸ — отчаянное безденежье. Если еще будут корректуры, — присылайте, а вообще, приходите.

Любящий Вас Ал. Блок

15 мая

Сегодня иду в «Драму жизни»^{106*}

XXV

Дорогой Георгий Иванович. Приходите лучше сейчас к нам. Пожалуйста. Мож. быть, придут Т.Н. Гипшиус³⁹, Евг. Иванов, Ге⁴⁰ и Гофман⁴¹ и Ал. Андр.⁴² В «Аполло»⁴³ не хочется, да и не могу. Голова болит. Придете?

Любящий Вас Ал. Блок

11/IV. 07

XXVI

Дорогой Георгий Иванович. Вчера меня не было дома, потому я не мог Вам прислать «Сн. м.»⁴⁴. Вот она. Пожалуйста, передайте другой экземпляр Надежде Григорьевне.

Ваш Ал. Блок

11/IV. 07

XXVII

Дорогой Георгий Иванович. С удовольствием бы, да «Горя от ума» нет. А вот Байрон. Приходите, пожалуйста, к нам сегодня часа в 2 на Сомовский сеанс⁴⁵.

23/IV. 07

Ваш Ал. Блок

За «Тайгу»⁴⁶ и за надпись крепко жму Вашу руку.

XXVIII

Дорогой Георгий Иванович. Сейчас был у Вас и не дозвонился. Извините, что задержал так долго газеты.

1/X. 07

Ваш Ал. Блок

XXIX

Спасибо, Георгий Иванович, за книгу⁴⁷, за надпись и за посвящение поэмы, которую люблю.

3/XI. 07

А. Б.

XXX

Дорогой Георгий Иванович. Пожалуйста, направьте товарища Николая Соколова^{107*} к кому-нибудь, кто бы мог дополнить ему необходимую сумму (теперь уж небольшую — 7 рублей) для выезда в Баку. Впрочем, он Вам сам расскажет.

Любящий Вас Ал. Блок

XXXI

6 июля

Милый Георгий Иванович. Можно ли так твердо держаться Ветхого завета: зуб за зуб^{108*}. Если я Вас надул третьего дня, Вы не должны были надувать меня вчера: у нас нынче Новый завет. А я бродил по Озеркам, прождав Вас установленные три часа.

Ваш любящий Ал. Блок

XXXII

Дорогой Георгий Иванович. Что же это означает? Я ничего не понял в письме о трехрублевке, но благодарю. Сейчас пойду есть — страшно голоден. Если Вы не при-

дете в $1/2$ 12-го (половина двенадцатого) в *Café de Paris* * (буду ждать Вас там) — уйду домой.

Ваш любящий Ал. Блок

В *Café* буду с $1/4$ 12 до $1/2$ 12.

XXXIII

Дорогой Георгий Иванович. Сегодня в 9 часов нам необходимо видеться с Вами по одному крайне важному делу. Может быть, Вы знаете, о чем идет речь. Г-жа *N* находится на краю гибели; если Вы не протянете ей руку помощи, все будет кончено между нами.

С истинным уважением Александр Блок.

Пятигорск ⁴⁸, 4 ноября 1900 года

XXXIV

Дорогой Георгий Иванович. Вернулись Вы из Финляндии? Я вернулся вчера. Спасибо за деньги. «Весы» не удивили меня. Думаю в конце следующей своей статьи в «Золот. Руне» (о лирике) ^{109*} сделать маленький *P. Scr.* о том, что напрасно критики «Весов» касаются личностей и посвящают летучие «манифесты» темам, которые требуют, по важности своей, серьезных статей ⁴⁹. Где Вяч. Иванович? Городецкого я видел. Я все больше имею против мистич. анархизма.

Ваш любящий Ал. Блок

23/VI

XXXV

Дорогой Георгий Иванович. Письмо Ваше получил, а когда приеду, — совсем не знаю. Дела по горло. Вот в чем дело. «Весы» меня считают «мистическим анархистом» из-за «*Mercur de France*» ⁵⁰. Я не читал, как там пишет Семенов, но меня известил об этом Андрей Белый,

* «Кафе де Пари» (фр.).

с которым у нас сейчас очень сложные отношения. Я думаю так: к мистическому анархизму, по существу, я совсем не имею никакого отношения. Он подчеркивает во мне не то, что составляет сущность моей души: подчеркивает мою зыблемость, неверность. Я же

Неподвижность не нарушу
И с высоты не снизойду.
Храня незыблемую душу
В моем неслыханном аду ^{110*}.

Это — первое. Второе — это то, что я не относился к мист. анархизму никогда как к теории, а воспринимал его лирически. По всему этому не только не считаю себя мистическим анархистом, но сознаю необходимость отказаться от него печатно, в письме в редакцию, например, «Весов». Пока этого не сделаю, меня все будут упрекать в том, к чему я не причастен.

О Вас я соскучился. Думаю, что все-таки скоро приеду.

Пожалуйста, поклонитесь от меня Надежде Григорьевне.

*Ваш любящий Ал. Блок
17 августа. С. Шахматово*

Если знаете, напишите мне, пожалуйста, адрес Л. Андреева.

XXXVI

26 августа 1907. С. Шахматово

Дорогой Георгий Иванович. Я и отказываюсь решительно от «мист. анархизма», потому что хочу сохранить «душу незыблемой» ^{111*}. Точно так же откажусь от «мист. реализма», «соборн. индивидуализма» и т. п. — если меня туда потянут. Я, прежде всего, — сам по себе и хочу быть все прощ е. Если Вы будете возражать Семёнову, это хорошо, потому что — что может значить: «*L'anarchism myst. n'est pas une école, mais un courant de*

la nouvelle poésie russe?», что *école*, что *courant** — все единственно, и это доказывается даже немедленно приводимой схемой, в которой все — оспоримо. В частности, поэты самые замечательные, по-моему, и такие, к которым я был всегда близок и не имею причин не быть близким, — разбросаны по разным рубрикам. Это — Бальмонт, Брюсов, Гиппиус, Андрей Белый. Из них — Брюсов а я считаю и буду считать своим ближайшим учителем — после Вл. Соловьева. Вот почему мне необходимо опровергнуть г. Семенова печатно. Второе — я сделаю это в «Весах», потому что глубоко уважаю «Весы» (хотя во многом не согласен с ними) и чувствую себя связанным с ними так же прочно, как с «Новым путем». «Весы» и были и есть событие для меня, а, по-моему, и вообще — событие, и самый цельный и боевой теперь журнал. Если бы я пренебрегал «Весами», т. е. лицами, с которыми я связан, или лучшими литературными традициями (как Брюсов), или Роком (как Белый), то это было бы «душа клеточка, а отца — в рыло»^{112*}. А я не хочу так.

В программе «Весов» будет отстаиваться символизм и будет сказано, при каких условиях только его можно преодолеть. № 8 — последний с полемикой (против «мист. анарх.»). Если «нечистое» может быть в статейках Г.^{113*}, то неужели Вы думаете, что и в статьях Б.^{114*} Вот какое я послал письмо в «Весы»: «М. Г. г. редактор. Прошу Вас поместить в Вашем уважаемом журнале нижеследующее: В № (таком-то) «*Mercure de France*» этого года г. Семенов приводит какую-то тенденциозную схему, в которой соврем. русские поэты-символисты — рассажены в клетки «декад.», «неохристианск. мистики» и «мист. анархизма». Не говоря о том, что автор схемы выказал ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких, о том, что вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна, и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев, — я считаю своим долгом заявить:

* «Мистический анархизм является не школой, а течением современной русской поэзии?», что «школа», что «течение» (фр.).

высоко ценя творчество Вяч. Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с «мистич. анархизмом», о чем свидетельствуют мои стихи и проза⁵¹. Примите и проч. Александр Блок. 26 авг. 1907». Имени Вашего в «письме» этом не упоминаю, как видите. Подчеркнуть свою несолидарность с мист. анархизмом в такой решительной форме считаю своим мистическим долгом теперь. Мистич. анархизму я никогда не придавал значения, и он был бы, по моему мнению, забыт, если бы его не раздули теперь. Что касается раздувания его («В е с а м и»), то на это есть реальные причины у них, которые я могу уважать, хотя и не совсем согласен с ними. Об этом поговорим при свидании. Приеду на днях и буду искать квартиру. Спасибо за адрес Л. Андреева.

Любящий Вас Ал. Блок

XXXVII

4 сентября

Дорогой Георгий Иванович. Ваше письмо мне только что переслали из Шахматова. Приехать-то мы приехали, но сидим в какой-то отчаянной конуре в ожидании квартиры, которую нашли на Галерной, 41, кв. 35. Собираюсь к Вам на днях, но как-то скверно себя чувствую, потому не иду. Конечно, Господи, соглашайтесь на приглашение «Руна»⁵². Почему Вы медлите ответом? Отношения мои к «Руну» пока — прежние, пишу критику. И к Вам я совсем не изменился. Я к Вам приду, и поговорим. Сердитесь ли Вы на меня за мое письмо в ред. «Весов»? (Я Вам его переслал из Шахматова, но боюсь, что Вы не получили и судите по «Своб. Мыслям»⁵³, которые Бог весть откуда узнали факт и переврали его). А я по-прежнему лично отношусь к Вам с нежностью, а к мистическому анархизму — отрицательно.

Ваш любящий Ал. Блок¹¹⁵

Надежде Григорьевне, пожалуйста, поклонитесь от меня.

XXXVIII

Дорогой Георгий Иванович, билета нет, единственный, какой был, я приобрел (на «Даму с камелиями»^{116*} 14-го)⁵⁴. Но ведь у Вас, кажется, есть. Я очень хочу идти.

10 января 1908

Любящий Вас Ал. Блок

XXXIX

Дорогой Георгий Иванович. Извините, что вчера, в припадке умоисступления, вызванного нетрезвым состоянием, я 1) самовольно похитил тот ладан, на который Вы дышали, и сделал на нем несоответствующую надпись, — а также — все Ваши имена, отчества, фамилии и сметы доходов, расходов и обоев. 2) Самовольно уснул в 12 часов и не явился в срок, назначенный мною в ресторан. — Несмотря на то, что все это пахнет уголовщиной, я надеюсь, что Вы не доведете дело до камеры Мирового Судьи. Примите — и прочее.

Александр Блок

(Литератор Петербургской группы)

27 мая 1908 года

Упомянутые предметы прилагаю при сем.

XL

Милый Георгий Иванович, приезжайте, так не написать все равно всего. Я тут много разговариваю и пишу статьи (в «Руно»)^{117*}. Долго и хорошо объяснялся с Мережковским. Думаю, что здесь все-таки лучше, чем в Москве.

Ваше письмо очень почувствовал; т. е. Вас понимаю и люблю. А я теперь не хочу... Что касается Белого, то думаю, что ему всерьез взбрело в голову, что он должен помириться с Вами⁵⁵. Но, вероятно, не надолго. Ах, какой запутавшийся человек.

До скорого свидания, не застревайте в Москве.

10 октября

Ваш А. Блок

XLI

14 июня 1908. Шахматово

Милый Георгий Иванович. С прошлой почтой получил я Ваше письмо и очень ему обрадовался. Меня уже тянет в Петербург, но раньше 1 июля не приеду, надо высидеть. Здесь очень пышно, сыро, жарко, мой дом утонул в цветущей сирени, даль зовет, и я, кажется, таки допишу «Песню судьбы»^{118*}. Я написал много отвратительных стихотворений и одно приличное, но лучше прочту его Вам сам. А то, которое Вы просили — плохое, потому не посылаю тоже.

За «Архивариуса»⁵⁶ спасибо, я его раньше прочел, здесь получается — «Речь». Мне очень нравится, а Марья Андреевна⁵⁷ говорит, что его сжатость доказывает настоящее мастерство. «Слова» я так и не получаю, жалко, Штильман⁵⁸ надул.

Романтическому корреспонденту⁵⁹ ответить не умею, так как он продолжает уверять, будто я — Дора. Я хотел бы убедить его в том, что я — Ксения и что у меня большие синие глаза с поволокой и волосы — с синеватым отливом. Но так как я заранее убежден, что он этому не поверит, то кажется переписка наша прервется.

Жаль, что штанов Вы не приобрели. Советую; бывают вполне терпимые — от 6 до 8 рублей с полтиною.

Вот свинья — Петроний⁶⁰. Но ведь не стоит писать больше писем в редакцию, это повлечет за собою новые нарекания. Андрей Белый больше не едет мириться. А ведь умная у него статья обо мне и занятная, хотя я и не согласен с ней^{118**}.

Здесь новостей не бывает. Полная тишина. Иногда лежу на берегу реки, солнце жжет, дождь обливает. Относительно спиртных напитков чувствую, будто я «записавшись»*, но только выдерживаю положенный срок, чтобы не нарушить обета.

Очень советую Вам прочесть «Корабль» Д'Аннунцио^{119*}. Целую Вас крепко и люблю. Пожалуйста, поцелуйте от меня руку Надежды Григорьевны.

Любящий Вас Ал. Блок

* Зд. в значении «взял обязательства» (примеч. сост.).

XLII

Дорогой Георгий Иванович. Простите, что отвечаю по почте. Весь день — укладка и суматоха. Вчера Ваше письмо не застало нас: были ли Вы в «Вене» и что Попов? ⁶¹ Л. Д. ⁶² уезжает только завтра, и я начну сейчас же хлопотать и переезжать в казарму.

Ваш Ал. Блок

Сегодня иду в «Бранда», а завтра в «Драму Жизни» ⁶³.

XLIII

*18 сентября (1908. Шахматово) **

Дорогой Георгий Иванович, ну вот, скоро мы и увидимся. Около 1 октября мы уезжаем. Земляной диван вырос, нарублено много деревьев, земля изрыта и т.д. Леса все в золоте — хорошо и не хочется уезжать, да и нет особенной надобности, но так уж — пора.

У Станиславского — Метерлинк ^{120*}, потому он все еще не пишет мне о «Песне судьбы» ⁶⁴ решительного ответа. Зачем Вы в Москве? Хорошо ли, что Вы послали телеграмму Рябушинскому? ⁶⁵ Не было ли ему от этого тяжело? ^{121*} Зин. Гипсиус написала мне очень милое письмо, хотя в нем есть что-то неискреннее. Приглашает в «Образование» ^{122*} и «Утро» ^{123*}. Я отвечаю очень пространством своей платформы, упреками за прошлое (и за Вас в том числе) ⁶⁶ и вопросами. Интересно, какой последует ответ.

Продолжают ли «Весы» заниматься своей дрянью? Если попробуют меня оседлать, я уйду, ибо ничем, кроме прекрасных воспоминаний, не связан.

Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспонденцию из Олонецкой губернии от Клюева ^{124*}. Хочу прочесть Вам.

Перечитываю Толстого и Тургенева. Изумляюсь. Написал о Толстом в «Руно» и в сборник, издаваемый в Петербурге, — мал. заметки ^{125*}.

* Дата пропущена Чулковым при публикации.

Приветствуйте от меня Надежду Григорьевну. Скоро ли вернетесь в Петербург? Напишите мне, если успеете. Желая Вам уберечься от холеры. Как хорошо не пить водки. Я Вас люблю.

Александр Блок

Я исполнен новых планов.

XLIV

Дорогой Георгий Иванович. Пьянствую один, приехав на Сестрорецкий вокзал на лихаче. Если бы Вы сейчас были тут — мы бы покатались. Но Вас нет. И потому я имею потребность сообщить об этом Вам.

Александр Блок

XLV

Милый Георгий Иванович. Наконец-то собираюсь Вам написать. Никогда еще не переживал я такой темной полосы, как в последний месяц — убийственного опустошения. Теперь, кажется, полегчало, и мы уедем, надеюсь, скоро — в Италию^{126*}. Оба мы разладились почти одинаково. И страшно опостытели люди. Пил я мрачно один, но не так уж много, чтобы допить до крайнего свинства: скучно пил.

А Вы продолжаете жить один и не видеть людей? И хорошо?

Напишите мне в Шахматово. Из-за границы мы вернемся туда — месяца через 2 — 3 теперь. Квартиру сдаем — пока тщетно. Пишется вяло и плохо, и мало. Авось, все это летом пройдет.

Ну, целую Вас, милый. Надежде Григорьевне поклон. Осенью увидимся — не правда ли?

Ваш Ал. Блок

XLVI

Милый Георгий Иванович. Неужели Вы все еще в Петербурге? А как хорошо теперь в деревне. Я к вам так

и не пришел без всякой причины. Питаю к Вам нежные чувства. Мне очень понравилась «Феклушка»⁶⁷ в «Новом слове»^{127*}. Я уже оживаю и пилю деревья. Напишите мне два слова или более. Поклонитесь от меня Надежде Григорьевне.

9 мая 1910, Н.ж.д., ст. Подсолнечное, с. Шахматово.

Любящий Вас Ал. Блок

Примечания

I

1. Журнал «Новый путь» издавался в Петербурге в 1903 и 1904 гг. Первоначально издателем и официальным редактором журнала был Петр Петрович Перцов^{128*}, который в июле 1904 года вышел из редакции. Его сменил Д.В. Философов. В журнале с самого его основания принимали ближайшее участие Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус, а с июля месяца 1904 года в состав редакции вошел и я. В июньской книжке «Нового пути» было напечатано 9 стихотворений Блока: «Целый год не дрожало окно...», «Погружался я в море клевера...», «У забытых могил пробивалась трава...», «И снова подхожу к окну...», «Ты у камина, склонив седины...», «Потемнели, поблекли залы...», «Я изнуренный и премудрый...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Я вырезал посох из дуба...».

В этой же книжке журнала были напечатаны две рецензии Блока — одна на книгу Бальмонта «Горные вершины», другая — на книгу Вяч. Иванова «Прозрачность». Воспоминания П.П. Перцова о Блоке в его книжке «Ранний Блок», М., 1922.

2. А.Н. Шмидт (30 июля 1851 — 7 марта 1905) — визионерка, автор религиозно-философского и мистического трактата, опубликованного спустя одиннадцать лет после ее кончины в книге «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт». М., 1916.

В этой же книге напечатаны письма к ней Владимира Соловьева, с которым А.Н. Шмидт считала себя связанной особыми духовными узами. Я встречался с А.Н. Шмидт в 1903 году в Нижнем Новгороде, и тогда же она познакомила меня со своим трактатом «Третий завет» и с дневником, который напечатан был в 1916 году с некоторыми купюрами. В июньской книжке «Нового пути», в отделе «Из частной переписки», была помещена статья А.Н. Шмидт «О будущем». По настоянию Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, эта статья была напечатана в сокращенной редакции. В книге она опубликована по рукописи. В журнале статья появилась за подписью: «А. Тимшевский». А.Н. Шмидт после кончины Владимира Соловьева настойчиво искала встречи с лицами, имевшими отношение к покойному философу. А.А. Блок ее интересовал как поэт, чья излюбленная тема «Прекрасная Дама» совпадала отчасти с мотивами поэзии Владимира Соловьева.

3. Шахматово, Клинского уезда Московской губернии — имение Бекетовых, приобретенное дедом поэта в семидесятых годах. Здесь проводил летние месяцы поэт и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте. — Подсолнечная — станция Николаевской ж.д. Ср.: М.А. Бекетова. «Александр Блок». Воспоминания. СПб., 1922. Стр. 37 и В.Н. Княжнин^{129*}. А.А. Блок. СПб., 1922. Стр. 17.

II

4. Журнал «Вопросы жизни» издавался в 1905 году. Официальным редактором журнала был Н.О. Лосский, издателем — Д.Е. Жуковский. «Вопросы жизни» был тогда единственный толстый петербургский журнал, который оказал широкое гостеприимство символистам, в то время еще не признанным критиками и широкими кругами читателей. На страницах «Вопросов жизни» печатались замечательнейшие произведения эпохи — роман «Мелкий бес» Федора Сологуба, трактат Вячеслава Иванова «Религия Диониса», стихи Александра Блока и др. Рецензии, о которых упоминает в письме Блок, были напечатаны в мартовской книжке «Вопросов жизни» — о книгах Бальмонта — «Собрание стихов» I и II т. Изд. «Скорпион». 1904—

1905 г., о книге Виктора Гофмана «Книга вступлений». Лирика 1902—1904 г., о романе Рашильд «Подпочвенные воды» (*La dessous* *). Кроме этих рецензий в той же книге журнала были напечатаны рецензии Блока на сборник «Знание» за 1904 год (пятая книга) — о рассказе Леонида Андреева. Эта последняя рецензия появилась за подписью Александр Блок, прочие — Ал. Бл.

III

5. Песни Метерлинка в моем переводе появились впервые в журнале «Новый путь» (1904 г., июль). Здесь было напечатано пятнадцать пьес. В апреле 1905 года двенадцать из этих песен в несколько измененной редакции были напечатаны в отдельном издании с рисунками Шарля Дудлэ. Об этом издании были рецензии в журнале «Весы». В VII кн. за 1905 г. обстоятельный отзыв дал В.Я. Брюсов; более благоприятный и сочувственный отзыв Вячеслава Иванова появился в той же VII книге того же журнала за тот же год. А.А. Блок в своем письме имеет в виду именно это издание. В 1910 году снова были напечатаны «Двенадцать песен» в собр. моих сочинений (IV т., изд. «Шиповник»).

IV

6. С.К. Маковский, поэт и теоретик искусства, был главным руководителем изд-ства «Содружество». Впоследствии он редактировал журнал «Аполлон».

7. Леонид Семенов — поэт. О его «Собрании стихотворений» (СПб. 1905) рецензия Блока была помещена в августовской книжке «Вопросов жизни». В декабре 1917 г. Л.Д. Семенов по какому-то недоразумению был убит крестьянами.

8. Осип Дымов — автор многочисленных рассказов и драматических произведений, опубликовавший тогда первую свою книгу «Солнцеворот» в изд. «Содружество». Об этой книге моя рецензия в «Вопросах жизни» (1905 г., июнь, № 6).

* Букв.: внизу; изнанка (*фр.*).

9. Леон. Евг. Габрилович (Галич)^{130*}, прив.-доц. философии СПб. университета, физик и публицист, род. 14 сентября 1878. Блок имеет в виду брошюру «Новейшие русские метафизики» («Идеализм П. Струве»).

10. Евг. Павл. Иванов — один из близких Блоку людей. Евг. Павл. Иванов^{131*} помещал иногда небольшие заметки и статьи в «Новом пути», «Вопросах жизни», «Мире искусства». Ему принадлежит любопытная статья «Всадник», напечатанная в петербургском альманахе «Белые ночи» в 1907 году.

11. «Возмутительные события в редакции», о которых в своем письме упоминает Блок, — полицейский налет, сделанный во время заседания сотрудников и гостей журнала «Вопросы жизни».

12. Заметки Блока о переводе В.А.Е. «Амур и Психея» Апулея и о переводе А.И. Манна «Наука любви» Овидия были напечатаны в «Вопросах жизни» (1905, июнь, № 6).

13. «Люба» — Любовь Дмитриевна Блок — жена поэта, дочь Д.И. Менделеева.

14. «Надежда Григорьевна» — Н.Г. Чулкова, моя жена. Она имела некоторое отношение к литературе, напечатав ряд переводов А. Франса, Верхарна, Вилье де Лиль-Адана и др. (Почти все переводы опубликованы под псевдонимом Н.Г. Петровой, Н.Г. Степановой и др.)

V

15. Рецензия Блока на книгу Бальмонта «Литургия красоты» появилась в июльской книжке «Вопросов жизни».

16. Статья «Поэзия Владимира Соловьева» была напечатана в апреле — мае 1905 года в журнале «Вопросы жизни». Этой статье посвящено письмо Блока от 23 июня 1905 года. Письмо С.М. Соловьева было помещено в отделе «Частной переписки» в августе 1905 г. в журнале «Вопросы жизни». Этой же статье посвящена статья С.Н. Булгакова в том же журнале (В.ж. 1905, июнь, № 6) — «Без плана»: «Несколько замечаний по поводу статьи Георгия Чулкова о поэзии Вл. Соловьева. — Совместимо ли христианство с любовью к жизни? — Связь аскетизма и трагизма. Позитивная и трагическая теория прогресса» и т.д.

VI

17. Книга Н.А. Котляревского «Лермонтов».

18. Возражения С.М. Соловьева в «Вопросах жизни» 1905. VIII.

19. О возражении С.Н. Булгакова см. примечание к V письму. Своеобразная оценка Блоком статьи С.Н. Булгакова — «что-то совсем, совсем не о том...» — объясняется романтическим высокомерием, которое было свойственно поэтам той эпохи. На самом деле, несмотря на отсутствие в этой статье символизма, в ней все-таки ставится и отчасти разрешается существенный вопрос об аскетизме и трагедии с христианской точки зрения. Блок понимал только один язык — язык символизма. А если он иногда высказывал суждения о произведениях, написанных на ином «языке», это его понимание всегда надо принимать весьма условно. Автор статьи «Поэзия Владимира Соловьева» в настоящее время не согласен с тогдашними своими заявлениями. А тогда он писал: «Соловьев последователен, когда говорит с обычной для него определенностью:

Всю жизнь, с которою так тягостно считаться,
Какой-то сказкою считаю я теперь...

Здесь необходимо отметить, что взгляд Соловьева на жизнь как на «сказку» коренным образом отличается от того понимания мира, которое хотя и характеризуется чувством трагического надлома э т о й жизни, однако вовсе не исключает с в я т о с т и жизненной основы. Для такого мирозерцания жизнь раскрывается в своей глубине не только как процесс трагического освобождения, сопряженного с мировым и индивидуальным страданием, но и как процесс непрерывного тайнодействия, непрерывного счастливого общения с истинно-реальной первоосновой. Если Соловьев-философ не отвергает всего мира, то Соловьев-поэт не может скрыть своего презрения к этому миру, к этой жизни, с которою так тягостно считаться. Для нас драгоценна эта откровенность поэта. Она дает нам возможность заметить то, что ускользает от нас в его метафизических построениях. Я говорю о непримиримости психологии и с т о р и ч е с к о г о христианства с л ю б о в ь ю к жизни».

И далее: «Поэзия смерти празднует свою черную победу в стихах Соловьева. Мы не хотим отрицать, что в трагическом миро-созерцании монаха-поэта есть истинное величие. Мы желали только отметить, что душевное настроение, которое преобладало у Соловьева, несовместимо с любовью и творчеством здесь, на земле. Между спящей ледяной вершиной и цветущей долиной разверзается пропасть. Перебросить через эту пропасть мост не умел Соловьев, как не сумело это сделать все историческое христианство. Всю свою жизнь, во всех философских и богословских трудах, Соловьев стремился именно к совмещению мира и Христа, к примирению религии Христа с религией Земли, — и если ему удавалось иногда внешним образом примирить эти начала, в минуты поэтического творчества он не мог быть неоткровенным, и тотчас же наступал разлад, и хаос праздновал свою страшную победу». «Вопросы жизни». 1905. V. Стр. 111—113. Эта статья вошла в брошюру «О мистическом анархизме» с заглавием «О софианстве» и впоследствии напечатана в собр. соч. Георгия Чулкова, изд. «Шиповник», V т., стр. 111—117. Цитированные места и дали повод Блоку написать: «Я хотел спорить с Вами о тех пунктах Вашей статьи, где говорится о трагическом разладе, аскетическом мировоззрении и черной победе смерти...»

20. О странном смехе Соловьева см. статью Блока «Рыцарь-монах»^{132*} в сборн. «О Влад. Соловьеве», изд. «Путь». М., 1911. Стр. 99: «Он научился за бы в а т ь время, он только усмирял его, набрасывая на косматую шерсть чудовища легкую серебристую фату смеха; вот почему этот смех был иногда и страшен и странен».

О смехе Соловьева есть и в воспоминаниях В.Н. Княжни-на: «А.А. Блок». СПб., 1922. Стр. 45.

21. О встрече с Соловьевым в этой же статье Блок пишет: «Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет 12 назад в бесцветный петербургский день я провожал гроб умершей. Передо мною шел большого роста худой человек в старенькой шубе с непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди фигуры;

на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко непохожа на окружающее. Рядом со мною генерал сказал соседке: «Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьев». Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей...». Стр. 96. Ср. также статью Блока «Владимир Соловьев и наши дни». «Записки мечтателей». 1921, 2—3.

VII

22. Декабрьская книжка «Вопросов жизни» была последней книжкой этого журнала. Я объединил часть сотрудников «Вопросов жизни» вокруг сборника «Факелы». Первоначально предполагалось, что этот сборник будет называться «Огни». В первой книжке «Факелов» было напечатано стихотворение «Осенняя воля», о котором упоминает поэт. В последних трех номерах «Вопросов жизни» стихов Блока не появлялось.

VIII

23. Идея театра, о которой пишет Блок, возникла в кружке сотрудников сборника «Факелы». Было два плана: один план — создание театра по программе Вяч. Иванова — «разрушение рамп», театр-культ, торжество хорового начала; другой план, менее радикальный, «более внешний», по программе, которую потом отчасти осуществил Мейерхольд в реформированном театре В.Ф. Комиссаржевской. Надежда на создание самостоятельного театра «Факелов» не оправдалась.

IX

24. К.А. Сюннерберг, известный в литературе под псевдонимом «Константин Эрберг», автор книги «Цель творчества», стихотворец, теоретик и критик искусства.

X

25. Стих. «Митинг» было первоначально передано Блоком мне в числе других стихотворений, предназначенных для сборника «Факелы». Там оно не было напечатано.

XII

26. В журнале «Культура театра» имеется мое сообщение «К истории «Балаганчика». См. «Культура театра», 1921, № 7—8. стр. 21—22.

XIII

27. Всеволод Эмильевич Мейерхольд в это время гостил у меня, ожидая своей судьбы. Как раз в этом сезоне я напечатал ряд статей по поводу спектаклей В.А. Комиссаржевской.

XIV

28. Стих. «Осенняя воля» («Выхожу я в путь, открытый взорам...») было напечатано в первой книге «Факелов». СПб., 1906. Стр. 21—32.

XVI

29. Озерки — излюбленная Блоком дачная местность под Петербургом. Здесь Блок любил романтически «пропадать», ища забвения в вине. Здесь — декорация стихотворения «Незнакомка». Пристрастие Блока к «Озеркам» продолжалось довольно долго. В письме к В.А. Пясту от 3 июля 1911 г. есть очень характерное для Блока признание в одном из романтических его увлечений, связанных с Озерками: «Вчера я взял билет в Парголово и поехал на семичасовом поезде. Вдруг я увидел афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовав, что — судьба, и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно, — я остался в Озерках. И действительно: они пели Бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем та цыганка, в которой собственно и было все дело, дала мне поцеловать руку — смуглую, с длинными пальцами — всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице, припелся мокрый в Аквариум, куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и пошелся домой». Вл. Пяст. Воспоминания о Блоке. 1923. Стр. 95.

30. «Освободительное движение»^{133*} — журнал, чей издатель предлагал мне взять на себя редактирование, но переговоры были прерваны по моей инициативе.

XVII

31. Статья о «Балаганчике» была прочитана мною, по предложению В.Э. Мейерхольда, актерам театра В.Ф. Комиссаржевской. Впоследствии эта статья, в иной редакции, была напечатана в журнале «Перевал», 1907, № 4, февраль.

32. Анна Рудольфовна Минцлова, особа весьма известная в теософских кругах. Блок и я встречались с ней в доме Вяч. Ив. Иванова, с которым у А.Р. Минцловой была одно время серьезная духовная связь. Впоследствии она вышла из теософского общества, не считая путь его правильным.

XVIII

33. Книга, о которой упоминает Блок, была издана изд-вом «Факелы». Ее полный титул: Георгий Чулков. «О мистическом анархизме» — со вступительной статьей Вячеслава Иванова «О неприятии мира». СПб., 1906. Содержание: «На путях свободы», «Достоевский и революция», «О софианстве», «Об утверждении личности». Впервые термин «мистический анархизм» стал появляться на страницах «Вопросов жизни» 1905 года. Под этим названием, например, в июльской книжке журнала была напечатана моя статья, которая служила отчасти ответом на статью С.Н. Булгакова «Без плана», появившуюся в том же журнале в июньском номере.

34. Соединение «Факелов» с «Адскою почтою» (сатирическим журналом) было кратковременно и ограничивалось внешней издательско-деловой частью. Никакого внутреннего соединения не было и не могло быть.

XX

35. Блок просит разрешения у меня цитировать мое стихотворение «Гагара», потому что оно не было еще тогда напечатано. Оно появилось в книге «Весною на Север». СПб., 1908. Стр. 83 — с заглавием «Гагара» («Стоит шест с гагарой...»). Впоследствии оно вошло в четвертый том собр. соч. изд. «Шиповник» с иным заглавием — «Песня». Стихотворение это было целиком процитировано Блоком в его статье в «Золотом руне».

XXI

36. Статья Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» была напечатана в «Золотом руне», 1907, № 2.

XXIII

37. Предисловие, о котором говорит Блок, предназначалось для сборника «Белые ночи», где был напечатан цикл стихотворений поэта. Титул сборника: «Белые ночи». Петербургский альманах. СПб., 1907. В сборнике приняли участие: Вяч. Иванов, Николай Ге, М. Кузмин, С. Рафалович^{134*}, Юрий Верховский, П. Потемкин^{135*}, Вл. Пяст, Евг. Лундберг^{136*}, Л.Д. Зиновьева-Аннибал, Ал. Кондратьев^{137*}, Б. Дикс^{138*}, К. Эрберг, Макс Волошин, О. Беляевская^{139*}, Федор Сологуб, Сергей Городецкий. Автором статьи, о которой сообщает Блок, что она написана хорошо, был Евг. Павл. Иванов.

XXIV

38. Н.П. Рябушинский был издателем «Золотого руна». Стих. «Белые ночи» по моему настоянию было напечатано не в «Золотом руне», а в альманахе «Белые ночи».

XXV

39. Татьяна Николаевна Гиппиус^{140*}, сестра Зинаиды Николаевны Гиппиус, художница. У нее был альбом рисунков, сюжет которых напоминал тему стихов Блока «Болотные чертенята».

40. Николай Петрович Ге^{141*}, внук известного художника Ник. Ник. Ге, ровесник Блока, сотрудник «Мира искусства», участвовал, между прочим, в альманахе «Белые ночи» (его статья «Белая ночь и мудрость»).

41. Модест Людвигович Гофман, начинающий тогда писатель, автор брошюры «Соборный индивидуализм», впоследствии известный историк литературы, пушкинист.

42. Александра Андреевна Блок, рожденная Бекетова, во втором замужестве Кублицкая-Пиоттух, известная переводчица, мать поэта (1860—1923).

43. «Аполло» — петербургский кафе-шантан, где Блок и я, к сожалению, встречались за бутылкой вина.

XXVI

44. «Сн. м.» — «Снежная маска», книга стихов поэта, изд. «Оры». СПб., 1907.

XXVII

45. К.А. Сомов писал в это время поэта.

46. «Тайга», лирическая драма, была издана изд-вом «Оры». СПб., 1907.

XXIX

47. Книга, о которой упоминает Блок, мой лирический сборник «Весною на Север». Поэма того же названия. Книга была издана изд-вом «Факелы» в конце 1907 года (на титульном листе помета — 1908 г.)

XXXIII

48. Все письмо — шутливая мистификация, предназначенная — по словам Блока — для «будущих историков литературы и биографов». Дата вымышлена. Письмо относится к 1907 г.

XXXIV

49. Блок имеет в виду одну из многочисленных полемических статей, написанных против меня, печатавшихся тогда из номера в номер журнала «Весы». Поводом для запальчивой полемики была книга «О мистическом анархизме». Недовольный личными выпадами и тоном статей, Блок, однако, спешит в этом письме отречься от «мистического анархизма».

XXXV

50. В «*Mercure de France*» появилась тогда по поводу мистического анархизма статья Е. Семенова.

Автор статьи, классифицируя писателей и поэтов, отнес Блока к группе мистиков-анархистов, где были помещены имена Вячеслава Иванова, Сергея Городецкого и мое... Об этом

сообщил Андрей Белый Блоку, и об этом пишет Блок мне. В конце статьи в том же номере «*Mercure de France*» Е. Семенов напечатал интервью со мною. В этом интервью довольно точно и подробно изложены основные мысли книги «О мистическом анархизме». Между прочим, в этом интервью для большей ясности я оговорился, что «мистический анархизм» не есть литературная школа, которая претендует на новые художественные приемы, что дело идет не об искусстве, а о новом мироотношении. Эти осторожные оговорки не спасли положения. Несколько недавних товарищей и сотрудников моих по редакции «Вопросов жизни», «Нового пути» и «Весов» продолжали запальчиво обвинять меня в претензии основать без достаточных оснований новую литературную школу. 23 сентября (6 октября) 1907 года я был вынужден поместить на столбцах газеты «Товарищ» (№ 379) письмо в редакцию следующего содержания: «М. Г. г. Редактор. Позвольте при посредстве вашей уважаемой газеты сделать следующее заявление. В июльском номере «*Mercure de France*», появились «*Lettres russes*»*, где говорится о «мистическом анархизме». Эти «*Lettres*»** послужили темой для ряда статей и заметок в различных периодических изданиях. Я очень ценю внимательное отношение уважаемого журнала к «Факелам», но считаю нужным возразить на ту часть статьи, где автор — Е.П. Семенов — характеризует современную группировку представителей молодой литературы. Я думаю, что в этой группировке есть одна принципиальная ошибка, которая дала повод к недоразумениям. Именно, остается невыясненным вопрос, что служит критерием этой группировки: методы художественно-поэтических приемов или известное мировоззрение. Благодаря этому смешению двух принципов, можно истолковать «мистический анархизм» как некоторое литературное течение, претендующее на значение литературной школы. Между тем это неверно. И сам Е.П. Семенов приводит мои точные слова: «*L'anarchisme mystique n'est pas une école littéraire, qui prétend découvrir de nouvelles méthodes dans l'art*»***.

* «Русские письма» (фр.)

** «Письма» (фр.)

*** «Мистический анархизм не является литературной школой, которая претендует на открытие новых приемов в искусстве» (фр.).

В том же номере «Товарища» вслед за этим письмом было напечатано следующее письмо в редакцию Вячеслава Иванова: «М. Г. г. Редактор. Прошу Вас дать место в вашей уважаемой газете нижеследующему заявлению. Сообщение г. Е. Семенова, со слов моего товарища Г.И. Чулкова о «мистическом анархизме» в журнале *«Mercure de France»* (16 июля сего года), отнюдь не соответствует моему пониманию «мистического анархизма», приемлемого лишь в том смысле, какой придал я ему в статьях, посвященных мною этому предмету. Вместе с тем неправильное освещение придано в означенных сообщениях моим личным воззрениям и задачам руководимого мною изд-ва «Оры». Этот вынужденный протест ничего не изменяет в моих общих симпатиях к личности и общественно-философским исканиям Г.И. Чулкова. Прошу издания, интересующиеся как мистико-анархическими «Факелами», так и чисто литературным начинанием изд-ва «Оры», перепечатать это заявление. Вячеслав Иванов».

XXXVI

51. После напечатания письма Блока в «Весах», 23 сентября (6 октября) 1907 года (значит, одновременно с опубликованием писем Вячеслава Иванова и моего) появилась в газете «Товарищ» статья Д.В. Философова «Дела домашние». В этой статье автор писал, между прочим: «Г-н Семенов (Не свой), постоянный сотрудник французского журнала *«Mercure de France»*, свой последний отчет о русской литературе посвятил «мистическому анархизму». Предварительно он сделал безнадежную попытку разобраться в новейших течениях и разбил русских писателей на отдельные группы, причем Валерия Брюсова зачислил в парнасцы, а Александра Блока в мистические анархисты. Пчелы декадентского улья загудели. Брюсов заявил, что не он парнасец — а Блок, что он не имеет ничего общего с мистическим анархизмом, о чем свидетельствуют его стихи и проза («Весы», № 8)...». И далее: «В. Брюсов протестует, он не парнасец. Однако Вячеслав Иванов, в своей публичной лекции, читанной прошлой весной на В.Ж.курсах, причисляет его и Бальмонта к парнасцам. В чем же вина г. Семенова? Уж если Вячеслав Иванов, этот эрудит, Тредьяковский нашего декадентства, ошибается, так

кто же, наконец, что-нибудь понимает? Еще неуместнее протест г-на Блока...» «Я присутствовал, можно сказать, при самом зарождении этого течения, и отлично знаю, что именно Вячеслав Иванов и Блок были совершенно солидарны с Г. Чулковым. В свое время предполагалось даже устроить при содействии тогдашнего режиссера театра г-жи Комиссаржевской, В.Э. Мейерхольда, маленькую мистико-анархическую сцену, для которой и был написан знаменитый «Балаганчик» Блока. Вяч. Иванов же написал предисловие к брошюре Георгия Чулкова. Пока мистический анархизм оставался экзотическим цветком, выросшим в парниках декадентской кружковщины — ни Вяч. Иванов, ни А. Блок от него не отказывались, а самодовольно радовались своей выдумке. Но когда критика начала свой поход против этой новинки, Вяч. Иванов и Блок сейчас же от своего излюбленного детища отказались, предоставив Г.И. Чулкова на съедение обозлившихся товарищей...» «А. Блок удостоверяет, ссылаясь на свои стихи и прозу, что он не мистический анархист...» «Но мне эти стихи и прозу изучать пришлось, и по совести утверждаю, что г. Блок именно мистический анархист...» («Товарищ». 1907, № 379). Андрей Белый (Б.Н. Бугаев) полагает, что А.А. Блок за пять лет до основания «Факелов» не чужд был «мистического анархизма». В своих воспоминаниях о поэте он пишет, между прочим: «Тут А.А. Блок опять-таки выступает с огромным максимумом, с тем мистическим анархизмом и реализмом, который зачастую в его умственно-моральных исканиях преувеличивается до желания воплотить символ в самую косность материи (впоследствии оба мы натолкнулись на грубую кору вещества. А.А. Блок прямо-таки не удержался, больше того, разбился, что и вызвало обратную иллюзионистическую форму его поэзии, начиная с «Балаганчика» и «Нечаянной радости»). См. «Записки мечтателей». Алконост. 1922, № 6, стр. 20. Далее Андрей Белый пишет: «Он (Блок) был как бы сам по себе идеологией, действующей потенциально и вызывающей вокруг себя динамизм. Он не писал идеологических трактатов, но идеологи притягивались к нему: сначала мы, москвичи, потом Вяч. Иванов, Г.И. Чулков, потом иные...»

На почве внутренней связи Блока с «мистическим анархизмом» произошел разрыв поэта с некоторыми из друзей. «В 1906 году, — пишет Андрей Белый, — я опять не раз был в Петербурге, — в феврале-марте и апреле-мае, где причина нашего расхождения опять выявилась во всей своей непримиримости, что повело нас к бурному обмену объяснений (в августе и сентябре 1906 года в Москве и Петербурге), после чего я уехал за границу, не понимая многого в А.А. — Мы и литературно оказались во враждебных лагерях, — он, как мне казалось, в лагере мистического анархизма, который для меня был линией профанации символического течения». *Ibid.* Стр. 114 и 115.

XXXVII

52. В 1908 году из редакции журнала «Золотое руно» вышел В.Я. Брюсов с группой сотрудников. Тогда заведующий редакцией Генрих Эдмундович Тастевен, по соглашению с издателем, обратился ко мне с предложением вновь составить редакцию и пригласить сотрудников. От непосредственного редактирования «Золотого руна» я отказался, по нежеланию переезжать в Москву, но изъявил согласие на руководство журналом, оставаясь в Петербурге.

«Золотое руно» за последние два года своего существования (1908—1909 гг.) радикально изменилось сравнительно с первым периодом издания.

53. «Свободные мысли» — понедельничная газета, посвященная, главным образом, злободневным сплетням, театральным и литературным^{142*}.

XXXVIII

54. Блок имеет в виду гастроль Элеоноры Дузе.

XL

55. Б.Н. Бугаев (Андрей Белый), с необыкновенной запальчивостью нападавший на Блока, Вяч. Иванова и меня в своих статьях, неожиданно стал искать примирения со мною. Примирение, однако, тогда не состоялось. Впоследствии, издавая

в 1911 году книгу «Арабески», Б.Н. Бугаев писал в предисловии: «Именно в силу того, что известный период развития так называемого символизма закончен, я и считаю интересным поместить некоторые заметки, с полемическим пылом которых я в настоящее время уже не согласен (сюда полемика с Вяч. Ивановым, Блоком, с мистическим анархизмом); все это хотя и недавнее прошлое, но все же — прошлое; и, как прошлое, оно представляет архив для будущего историка. Я смотрю на свой «Дневник» именно как на архив, и потому убедительно прошу некоторых авторов, с которыми я некогда полемизировал, не обижаться на то, что иные статьи мои я помещаю в той резкой форме, в какой они некогда были написаны. Недавний период развития молодого русского искусства интересен и характерен со всеми своими угловатостями. И я не считаю нужным закруглять и выравнивать те из своих полемических заметок, с тоном которых в настоящее время я так несогласен». «Арабески». М., 1911. Стр. 11—111.

XLI

56. «Архивариус» — мой рассказ. Впоследствии вошел в первый том собр. соч. изд. «Шиповник».

57. Мария Андреевна Бекетова^{143*}, тетка А.А. Блока, написавшая воспоминания о поэте, небезызвестная переводчица.

58. Григорий Николаевич Штильман^{144*}, юрист и публицист, писал внутреннее обозрение в «Вопросах жизни», впоследствии состоял одним из редакторов газеты «Слово».

59. «Романтическим корреспондентом» Блок называет, кажется, одного из молодых поэтов, который расточал А.А. Блоку свои нежные признания в весьма странной форме, похожей на мистификацию.

60. Петроний — псевдоним одного из ближайших сотрудников «Весов».

XLII

61. «Вена» — известный петербургский ресторан, где пребывала обычно литературная богема. Попов, кажется, владелец книжного магазина на углу Невского, близ Аничкова моста,

издатель, с которым, вероятно, предстояла деловая встреча в ресторане «Вена».

62. Л.Д. — Любовь Дмитриевна Блок, жена поэта.

63. Гастроли Московского Художественного театра.

XLIII

64. Блок предложил для постановки Московскому Художественному театру свою лирическую драму «Песня судьбы». Постановка, как известно, не состоялась.

65. Н.П. Рябушинский — издатель «Золотого руна».

66. З.Н. Гиппиус, по иным мотивам, чем Андрей Белый, принимала, однако, также деятельное участие в резкой полемике против «мистического анархизма». Она подписывала обычно свои статьи псевдонимом «Антон Крайний». Свои нападки З.Н. Гиппиус сосредоточила главным образом на моей личности. По-видимому, ее отношение ко мне впоследствии несколько изменилось. Об этом свидетельствует, по крайней мере, ее статья «Мятущаяся душа» по поводу моего романа «Сатана». См. № 26 литературного приложения к газете «День», № 178, 1914 г., 3 августа.

XLVI

67. «Феклуша» — мой рассказ. Впоследствии рассказ вошел в третий том собр. соч. изд. «Шиповник».

ВОСПОМИНАНИЯ

I

Родился я в Москве 9 января 1879 года. Родители мои были люди небогатые. Отец служил чиновником по военному ведомству. Жалованье получал он ничтожное, и семья наша существовала главным образом на доходы от издания разных юридических руководств и справочников, которые составлял мой отец¹, получивший свое образование в Юридической школе Министерства государственных имуществ. Школа эта давно упразднена.

Родом был отец из тамбовских дворян, захудалых и разорившихся к концу XVIII века. У моего деда земли уже не было вовсе. Был лишь в Тамбове дом, который сгорел впоследствии, и в нем сгорела наша родословная. Об ее восстановлении отец своевременно не позаботился. В 1895 г. отец приписал себя и меня к московскому дворянскому роду. Одним из отдаленных предков наших был, по рассказам отца, хан Золотой Орды — Обида. О предках матери моей, урожденной Александровой², я знаю и того меньше. Она не любила беседы на эту тему. Вероятно, причиной тому была некоторая семейная тайна, связанная с происхождением моей бабушки. Об этой бабушке придется сказать несколько слов особо в связи с одним моим детским впечатлением, вовсе не светлым. Итак, буду записывать, что вспомню и, вероятно, несколько беспорядочно, почему и прошу читателя извинить случайность иных моих воспоминаний.

Сейчас, например, почему-то неотступно стоит в моем воображении старенькая кушетка, в глубине которой сидит моя мать², а против нее в кресле какая-нибудь ее приятельница. Одна из них вышивает, а другая — читает вслух. Я присутствую тут же, пятилетний мальчуган, сижу где-нибудь внизу на скамеечке с тетрадью на коленях и цветными карандашами в руках. Так проходят долгие часы, едва ли не каждый день. Сколько я тогда наслушался великолепных историй. Вот в этой обстановке услышал я в первый раз трогательную и занятную повесть о капитанской дочке. Книжки поглощались жадно усердными читательницами, не замечавшими, может быть, что в их читательских волнениях участвует еще одно существо. Впоследствии эта кушетка служила и мне любимым убежищем, и я, забравшись на нее с ногами, зачитывался Майн Ридом и Жюль Верном. Впрочем, период увлечения такого рода романами у меня был короче, чем у большинства сверстников. Вскоре я узнал и полюбил иных поэтов, кого и до сих пор не разлюбил.

Я был старшим в семье. Братьев у меня не было. Все три сестры³ были моложе меня. Одно из первых мрачных воспоминаний моего детства связано с именем покойной сестры Сони. Это был странный и болезненный ребенок. Родилась Соня в какой-то несчастный год, когда семья наша особенно нуждалась. Она явилась на свет нежеланной, и вся ее детская короткая жизнь прошла в печали и муках.

Родители мои были люди добрые, но души этого ребенка они почему-то не разгадали и не сумели сделать ее жизнь светлой. Соня было существо не от мира сего. У нее были огромные серые глаза, как будто чем-то изумленные. Кажется, она всегда была бледной. Мне мерещится ее недетская грустная улыбка на губах. И вся она была какая-то неловкая. Любимицей была хорошенькая Люба. Соня всегда была на втором плане. Все это я тогда с чрезвычайной остротой и ревностью переживал, *негодую на несправедливость*, которую, быть

может, даже преувеличивал. К тому же Соня, была, по-видимому, нервнобольною. По ничтожному поводу она могла всегда зарыдать и как-то не по-детски, с надрывом, с отчаянием. Эти рыдания обыкновенно вызывали целую бурю. Все старания матери как-нибудь прекратить эти слезы успехом не увенчивались. И дело иногда доходило до наказания, которым никто из детей в нашей семье обыкновенно не подвергался. Я выступал всегда *стремительно защитником* Сони, бесправным и неловким, но дерзким и самоотверженным. Однажды во время обеда, когда, по моему мнению, отец несправедливо поступил с Соней, я восстал против отца и в знак бунта швырнул на пол тарелку. Отец ударил меня. Это был первый и единственный случай такого отцовского гнева. Я чувствовал себя *борцом за угнетенных*. Одним словом, это была большая драма. Кажется, через год после того события, когда я уже был в 1-м классе гимназии, Соня заболела. Позвали доктора, он не смог определить ее болезни, а дня через 2, утром, когда я торопливо собирал книги, чтобы идти в гимназию, ко мне подошла заплаканная мама и сказала, чтобы я в гимназию не шел, что Соня умерла. Для всех это было неожиданностью — такая быстрая и непонятная смерть. Но я всегда предчувствовал, что Соня скоро нас покинет, и поэтому, быть может, у меня было к ней особенно внимательное и нежное отношение. Помню, когда Соню похоронили, я ушел в сад и ходил по дорожкам, ломая пальцы от какой-то обиды, которую, я чувствовал, мне нанесла судьба. Должно быть, я тогда впервые думал о мировой скорби, о справедливости, об ответственности и о возмездии. Мне все мерещились прилипшие к мертвому лобку Сони пряди волос. В это время пришел в сад отец. Мы с ним стали ходить в ногу по дорожке. Он плакал. Я сознавал себя взрослым и равным ему. Он мне сказал тогда: «Я тебе теперь завидую, Георгий. Ты всегда за нее заступался». Я бросился к отцу на шею. Это было мое первое большое горе.

Когда мне было лет 7—8, мы жили на Остоженке, в Савеловском переулке, в доме женского Алексеевского монастыря. Летом, когда стояли жаркие, душные дни и городская жизнь лениво влачилась среди раскаленных камней, мне суждено было испытать первое нежное предчувствие влюбленности, мимолетной, но оставившей в душе что-то похожее на разочарование и горькую печаль. В нашем доме жила какая-то бывшая балерина и с нею три дочери. В младшую из них — девочку лет восьми-девяти — я влюбился. Ее звали Женей. Это было бледненькое, худенькое создание с рыжеватыми волосами до плеч, со скорбною улыбкою на тонких губах. В доме у нас она никогда не бывала. Я видел ее только в маленьком чахленьком палисаднике у нас на дворе. И как я мечтал об этих свиданиях. Она мне снилась по ночам, и утром, когда я открывал глаза, моя первая мысль была о ней. Когда мелькало ее платье под окном, я дрожал от волнения. Однажды, когда я в палисаднике сидел в игрушечных санках, в которых запряжена была картонная лошадь, пришла Женя. Я предложил ей сесть ко мне в санки. Помню, что ее близость волновала меня необычайно. Мне хотелось выразить чем-нибудь мой восторг. Я обнял ее и нежно поцеловал в висок, в рыжеватую прядь волос. Кажется, она взглянула на меня с удивлением, обличавшим ее равнодушие ко мне. Я почувствовал себя окончательно сконфуженным и уничтоженным. Моя любовь как-то вдруг сразу погасла, оставив лишь горечь на сердце.

Эта первая любовь была началом многих волнений, увлечений и разочарований.

Я выучился читать и писать, когда мне было пять лет. И с той же поры — как рассказывала мне потом моя мать, сам я этого не помню — стал я задавать старшим трудные вопросы: кто создал Бога, что бывает с человеком, когда он умрет... Мать рассказывала мне впоследствии, что я очень сердился, когда она не могла мне ответить на мои вопросы.

Кстати, расскажу об одном случае, когда все эти вечные темы я пережил однажды не рассудком, а бес-

сознательно, в каком-то болезненном припадке. В тот миг я не рассуждал ни о Боге, ни о мире, а почувствовал всем существом своим ужас неведения и человеческую беспомощность. Случилось это вот при каких обстоятельствах.

Отец и мать поехали однажды на праздники к моему дяде, Григорию Ивановичу Чулкову⁴ в Козлов. Взяли и меня с собою. В первый же вечер, когда взрослые сидели за круглым столом в столовой и пили после ужина чай, мама повела меня в соседнюю комнату и уложила на диван спать. Я скоро заснул. Не знаю, долго ли я спал, но когда я проснулся, со мною случился тот страшный припадок, забыть который я до сих пор не могу. Я затрудняюсь сейчас объяснить тогдашнее мое состояние и чувствую, что все мои слова будут приблизительны. Проснувшись в темной комнате и увидев в полуоткрытую дверь ярко освещенную столовую, я был вдруг поражен каким-то безумием. Мне казалось, что я оторван от мира, что там, за порогом, живут люди, а что я соединиться с ними никак не могу, что я один во мраке навек. Это было предельное отчаяние. Я был парализован. Я не мог пошевелиться. Я не мог крикнуть. Я как будто на мгновение умер, как будто я предвосхитил смерть. Когда я очнулся, я страшно закричал. Ко мне бросилась мать. Принесли в комнату огонь. Стали расспрашивать меня, что со мною. Но я рыдал, и ничего, конечно, не мог объяснить.

Когда мне исполнилось 8 лет, ко мне пригласили студента Б., который должен был готовить меня в гимназию. Эти уроки не увлекли меня. Я занимался лениво и нехотя. Студент Б. был снисходителен ко мне и неизменно ставил в разграфленную тетрадку четверки и пятерки, которые должны были свидетельствовать о моих прекрасных знаниях. Года через полтора меня должны были отдать в гимназию, но тут у моих родителей возникло сомнение, не следует ли меня посвятить военной службе. Дело в том, что отец как дворянин и служивший к тому же по военному ведомству, имел возможность воспитывать меня

в кадетском корпусе, за казенный счет. Мать была против кадетского корпуса, и я, разумеется, тоже. А отец склонялся к тому, чтобы я избрал военную карьеру. В один прекрасный день вопрос этот разрешился неожиданно. Отец на одной бумажке написал «Корпус», а на другой — «Гимназия». Свернув бумажки трубочками и перекрестясь, он положил их под образ Николая Чудотворца⁵. На другой день я должен был взять одну из этих бумажек. Николай Чудотворец благословил меня на гражданскую деятельность. И весною, выдержав экзамен в первый класс классической гимназии, я уже поехал с родителями на подмосковную дачу в гимназической фуражке и чувствовал себя вступившим в новую жизнь.

Эта жизнь оказалась неприглядной и мучительной. Московская шестая классическая гимназия, в которой я проучился до седьмого класса, была едва ли не самой скверной в то время гимназией в Москве. Прекрасно было только здание, в котором она помещалась в Толмачевском переулке — белое, с дивными колоннами и с чудесною чугунной решеткой в ограде. Директором гимназии в то время был г. Р., человек, по-видимому, неумный, заика, с наружностью карикатурной и при этом находившийся в какой-то зависимости от одного из надзирателей. Этот надзиратель П., человек невежественный и циничный, распоряжался судьбою учеников по каким-то ему одному известным соображениям. О его деятельности ходили слухи самые темные. Учителя, за исключением Михаила Сергеевича Соловьева⁶, брата философа, и еще немногих, были сухие педанты и формалисты. На уроках царствовала дикая скука. В младших классах я учился плохо. Виноваты в этом были не только педагоги, но и сам я, всегда невнимательный, рассеянный, а иногда и ленивый. В эти гимназические годы, чуть ли не с первого класса, я всегда был в кого-нибудь влюблен — тайно и безнадежно. На уроках я всегда мечтал о какой-то таинственной возлюбленной, и эти мечты не способствовали — увы! — моим успехам в науках. Впрочем, и глупая гимназическая сис-

тема, особенно скверно применявшаяся в шестой гимназии, внушала мне настоящее отвращение к урокам. Когда я перешел из шестого класса в седьмой, я упрямил отца взять мои бумаги из замоскворецкой гимназии и перевести меня в первую гимназию, что на Пречистенке против храма Христа Спасителя. В этой гимназии ученикам жилось вольнее и учителя не были такими педантами. И мне в ней повезло. Я сразу попал в число лучших учеников и успешно держал выпускные экзамены, получив высший балл за русское сочинение.

Но возвращусь, однако, к первым годам моей гимназической жизни. Выдержав переходные экзамены из первого во второй класс, я поехал вместе с отцом в Козлов к дяде Григорию Ивановичу.

Отец через несколько дней уехал из Козлова, оставив меня там погостить. Дядюшка мой был доктором и, как говорили тогда, талантливым. Пациентов-почитателей у него в Козлове было много, несмотря на строгий и суровый его нрав. Ко мне он был благосклонен и, кажется, любил меня. Он был умный и начитанный человек и говорил нередко, что избрал медицинскую профессию по какому-то злему случаю, а что ему надо бы было быть филологом. В самом деле, он, по-видимому, любил литературу больше всего на свете, понимал толк в языке и стиле, и мы с ним нередко, восхищаясь, читали вместе Пушкина.

У него был большой дом на Московской улице. И мне казалось тогда странным, что в доме так много комнат и все они огромные, а живут там только двое — дядя Гриша и тетя Сура.

Эта тетя Сура казалась мне тогда особой несколько странною и загадочною. Впоследствии я узнал, что у нее была болезненная склонность к вину, и только тогда я понял, почему так странно блестели ее глаза и почему она мне, мальчику, говорила неожиданные вещи. Если бы не это, пугавшее иногда меня, поведение тети Серафимы Яковлевны, мне бы жилось в доме дяди не худо. Мне нравилось бродить по большому запущенному фруктовому

саду, который принадлежал дядюшке. Мне нравилось заходить в конюшню и беседовать с кучером Матвеем, прислушиваясь к влажному чавканью лошадей и сухому постукиванию копыт, мне нравилось играть с дядей Гришей в шахматы — это были мои первые уроки шахматной игры, мне нравилось выезжать на прогулку с тетей или дядей за город, в девичий монастырь, где нас угощали чем-нибудь вкусным, но особое удовольствие испытывал я тогда, когда мы вместе с дядюшкой ловили карасей в монастырском пруду. Однажды дядюшка повез меня в гости к своему знакомому, который жил в имении в верстах в пятнадцати от города. Помню, как я опьянел от жарких полей и голубого неба, под конец пути меня укачало и я заснул в углу коляски, а когда проснулся, передо мной была незнакомая бородастая физиономия. Это будил меня дядюшкин приятель. Помню, что меня весьма удивила странная обстановка этого помещичьего дома. В просторных комнатах, ничем не оклеенных, почти не было мебели, зато по стенам висело много ружей, плеток, рогов, кинжалов и разных охотничьих принадлежностей. По грязному полу бродили, стуча о пол хвостами, собаки, от которых распространялся едкий, острый запах. Дядюшка тотчас после обеда, который подавала на разбитых тарелках, миловидная, босоногая девушка, уселся с этим помещиком играть в шахматы. Я посидел недолго около их столика и после пятого хода, перестав понимать игру, соскучился и стал зевать. Заметив мою скуку, помещик пошел в другую комнату и принес оттуда толстую книжку. «Вот от этой страницы до этой можно читать, — сказал он, — а что раньше и что потом, читать нельзя». Я взял книжку и пошел в сад. Отмеченные страницы я прочел с жадностью, не отрываясь. Голова моя горела. Я был в восторге. Это была глава о Коле Красоткине и других детях из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Когда я дочитывал последние строки, чей-то приятный голос прозвучал около самого моего уха. Я поднял глаза. Около меня сидела на скамейке Феклуша⁷, та самая девушка, которая подавала нам обед.

Она спросила меня, что я читаю. Я поделился с нею впечатлениями. Потом она повела меня на гряды собирать к ужину землянику. Потом мы пошли на скотный двор, прошли на деревню. И к вечеру, когда надо было идти домой, я уже был влюблен в Феклушу.

После ужина меня положили спать в комнате одного, а не с дядюшкой. Было душно, и светила луна. Мне не спалось. Среди ночи за стеной послышался шепот. Кто-то уговаривал кого-то, сердился. И кто-то роптал, плакал. Я решил, что это Феклуша и помещик, но что между ними происходит, я понять не мог, и мне казалось, что сейчас обижают Феклушу, мучают ее, и я ненавидел помещика.

Утром я покинул эту усадьбу в какой-то сладостной и смутной печали.

Все мое детство и отрочество прошло в Москве или под Москвою, почти всегда на даче, в имении графа Шереметьева⁸. И природу, стало быть, я знал главным образом подмосковную. Изредка только бывал я в Тамбовской губернии, в Козловском уезде, у дяди Г.И. Чулкова, а один раз прожил некоторое время в имении другого моего дядюшки, В.А. Александрова, небезызвестного драматурга⁹. Зато впоследствии мне пришлось немало побродить по белу свету.

Своеобразное мрачное впечатление произвела на меня в детстве та самая бабушка, Анна Петровна, происхождение которой так тщательно скрывали мои родственники. Говорили, что в молодости она была красоты необычайной, и при этом всегда добавляли, что характер у нее был ужасный. Дедушка Александр Михайлович Александров, как рассказывали, романтически тайно увез ее из Таганрога, где жили ее родители. Дедушки я не помню, но он, кажется, всю жизнь был в нее влюблен, и она держала его под башмаком, капризная безмерно. Избалованная его любовью, она после его смерти предъявляла ко всем невозможные требования: все должны были за ней ухаживать, ей угождать и льстить. Припадки ее гнева были ужасны.

Я помню ее уже старухой лет семидесяти. По-видимому, она была тогда уже полусумасшедшей.

Однажды на дачу к В.А. Александрову, с которым и жила моя бабушка, его мать, Анна Петровна, приехала моя тетка, Софья Александровна Москалева со своим больным мужем, который занимал тогда где-то в провинции пост председателя судебной палаты. Наша семья жила тем летом по соседству с дачею Александровых. И вот однажды после прогулки подхожу я к террасе Александровых, где все общество сидело за самоваром, и вижу, как муж тети, Москалев, большой грузный человек, как-то странно и неестественно поднимается с кресла, вытягивается, прижимая руки к груди, и вдруг падает, запрокинув голову назад. Когда я вбежал на террасу, он был уже мертв. Отчаяние моей тетки, Софьи Александровны, было беспредельно. И вот в эти дни, когда покойник лежал на столе, с моей бабушкой случился припадок ее сумасшедшей ярости. Она вдруг решила, что на нее никто не обращает внимания, что с ней непочтительны, что дети ее презирают. На другой день после смерти Москалева я случайно зашел на Александровскую дачу в тот час, когда плачущую и тоже от горя полубезумную тетку дядя мой повел пройтись по парку. Я застал на даче только одну бабушку в комнате, где лежал покойник. Она стала жаловаться мне на горькую будто бы ее судьбу, но, заметив, что я ей не сочувствую, побежала в кухню, схватила там огромный нож, так называемый косарь, и бросилась на меня с этим ножом, крича, что она меня зарежет, потому что и я ее враг. Так минуты две бегали мы по комнате вокруг покойника, я, спасаясь от преследования, а она, угрожая мне ножом. Я до сих пор не могу забыть ее искаженного тогда лица.

Моя мать, очевидно, характером своим походила на отца, моего дедушку, Александра Михайловича — если верить тому, что говорили про него мои родственники. Мать моя отличалась чрезвычайной добротой и добродушием. Никогда и ни про кого она не говорила дурно, к людям была внимательна и, если могла кому-нибудь помочь,

помогала тотчас же. Она была религиозна и, кажется, молилась усердно, но ханжества в ней не было и тени. Была она очень начитанной, и взгляды у нее были туманные, но образование она получила совсем плохое и, кроме поверхностного знания французского языка и умения играть на рояле, она никакими знаниями не обладала. Писала по-русски с грамматическими ошибками. Детей своих она любила безмерно, но худое ее образование и постоянная материальная нужда не позволили ей воспитывать детей как следовало бы. И я немало страдал впоследствии от недостаточного моего детского воспитания. И отец мой был человек простой, скромный и добрый. Отличался необыкновенной трудоспособностью. Над своими «руководствами», «указателями», «комментариями» сидел он с утра до ночи, отрываясь от письменного стола лишь для того, чтобы пообедать или чтобы прочесть «Русские ведомости» — газету по тем временам наиболее либеральную, которую он почему-то неизменно читал, несмотря на свои умеренные политические убеждения.

Он был человеком эпохи Александра II¹⁰ и верил, что реформы придут сверху и весьма боялся революции.

А во мне с раннего детства жил дух непокорный и мятежный. В классе третьем-четвертом я уже отличался вольномыслием и нередко заводил с отцом споры на политические темы. Впоследствии, кажется, в пятом классе стал выходить в гимназии журнал под моей редакцией. Направление его было радикальное. Впрочем, в этом журнале преобладал отдел литературный. Сотрудников, к сожалению, оказалось немного, и журнал скоро должен был прекратить свое существование. К тому же я замышлял уже тогда о переходе в другую гимназию и это не могло содействовать прочности издания. Сам я начал писать очень рано, когда — не помню точно. Всегда у меня были папки, набитые рукописями. Я писал рассказы, романы и критические статьи.

Не могу не отметить одного события, оказавшего на меня чрезвычайное влияние. Однажды родители мои по-

лучили письмо от Григория Ивановича Чулкова, удивившее их несколько, а меня, всегда интересовавшегося письмами дяди Гриши, поразившее чрезвычайно. Обыкновенно письма дяди Гриши написаны были в меланхолическом тоне, в них он иронизировал над многим и над собою прежде всего. Всегда в этих письмах звучало что-то горькое и насмешливое. Но на этот раз письмо было написано совсем по-иному. От каждой строки веяло не только бодростью, но даже энтузиазмом. И люди все вокруг него ему нравились, и сам он, по его словам, чувствовал прилив новой необыкновенной душевной силы. Но самое странное было то, что старик дядя собирался, между прочим, бросить Козлов и переехать в Москву. Дядюшка писал, между прочим, что у него явилось страстное желание посвятить себя литературе. Письмо это удивило тогда моих родителей, но они, по-видимому, не поняли его печального значения, а у меня тогда же явилось подозрение, которое, к сожалению, и оправдалось. В таком неожиданном тоне письма, возбужденном и страстном, мне почудилось что-то фатальное и безумное. Через три дня мы получили телеграмму из Козлова, извещавшую нас о том, что Григорий Иванович заболел душевно¹¹. Отец тотчас же выехал в Козлов и взял с собою меня.

Когда козловский извозчик подвез нас к знакомому серому дому на Большой Московской улице, никто не встретил нас на крыльце, как бывало прежде. Отец, расплачиваясь с извозчиком, замешкался внизу, а я толкнул дверь, оказавшуюся незапертой, и пошел по широкой деревянной лестнице наверх. На площадке лестницы валялась почему-то опрокинутая кадка с большим кактусом. Увидев опрокинутую кадку, я вдруг почувствовал, что в этом доме совершается нечто ужасное. Отец снизу крикнул мне, чтобы я позвонил, надо было взять чемодан с пролетки. Но на звонок мой никто не отозвался. Наконец я толкнул и эту дверь — и она тотчас же распахнулась. Из передней я увидел знакомую анфиладу комнат. И в самой глубине ее показалась фигура дяди Гриши. Это был он,

такой же, как всегда, в том же пиджаке, он шел прямо на меня, через столовую, гостиную, залу — и походка его была все та же: но у меня подкосились ноги от непонятного страха и отчаяния.

Начались мучительные дни и ночи. Дядя то узнавал меня и отца, то снова начинал бредить. Он все уверял меня, что нашел способ математически доказать бытие Бога. Он все делал какие-то алгебраические выкладки на клочках бумаги, чертил геометрические фигуры и старался объяснить их смысл.

«Бог есть. Бог есть», — твердил непрестанно Григорий Иванович, который всегда до той поры слыл скептиком и даже атеистом.

Значит где-то в тайниках души жила в нем вечная тревога, и возникал неизменно последний вопрос о тайне мира.

Жена его, Серафима Яковлевна, была тоже в полубреду. Мы не спали ночи, потому что не спал дядя, галлюцинируя и наводя ужас на служащих. Мы с отцом уехали, когда решено было отправить дядю в больницу, где он через год и скончался, не приходя в сознание.

К этому времени относится мучительный душевный кризис, который я переживал. Мои детские верования были уже поколеблены, и общий смысл рассудочной и так называемой научной критики христианства был мне известен. Но — странное дело — я размышлял, как скептик, а где-то в глубине души по-прежнему возникало особенное чувство, необъяснимое и таинственное, *чувство личности Христа*. Я как бы чувствовал иногда Его присутствие. И в то же время я жадно искал людей, с которыми я мог бы рассуждать и спорить на философские и религиозные темы, защищая скептицизм и нападая на положительную религию¹². Я уже успел тогда прочесть немало философских книжек.

Среди моих сверстников и товарищей по гимназии я не нашел ни одного, интересовавшегося теми вопросами, которые волновали меня. Зато я свел знакомство с несколькими гимназистами восьмого класса и со студентами, с которыми и вел беседы. К сожалению, никто из них

не мог противопоставить моему ребяческому скептицизму ничего более мудрого. Я тосковал и задыхался в заколдованном кругу моих тогдашних представлений о мире. Вскоре я познакомился с Н. А. Ф. Это было случайное знакомство в саду дома Долинских, где жила наша семья и где жил этот Ф., студент-юрист четвертого курса. Я почувствовал к нему уважение за его образованность, которая казалась мне тогда глубокой и всесторонней. Пленяла меня также и цельность его мировоззрения. Он был атеистом и марксистом. Ему я обязан моим социалистическим воспитанием. Прошли годы, я встретился с этим Ф., и он вовсе не внушил мне прежних чувств. К атеизму я чувствовал отвращение. В марксизме я также разочаровался. Но социалистом я никогда не переставал быть. И этому Н. А. Ф. я до сих пор благодарен за то, что он мне открыл *простую правду* о социальной закономерности.

Когда я был уже в седьмом классе и, значит, в Первой гимназии, познакомился я с семьей Петровых. Отец Петров был своеобразным представителем Москвы семидесятых и восьмидесятых годов. Кажется, он пришел в Москву «по-ломоносовски», крестьянским мальчиком поступил к часовщику учеником, выучился грамоте и так прилежно засел за книги, что вскоре обогнал многих и многих из своих сверстников, учившихся в гимназиях. Я познакомился с ним и с его уже взрослыми сыновьями тогда, когда он был стариком и у него был уже на Остоженке свой часовой магазин. Вся интеллигентная Москва знала и уважала этого старика. Его внушительную фигуру и великолепную голову с буйной седою шевелюрой можно было увидеть на первых представлениях в театре, на лекциях и в тогдашних литературных кружках Москвы. Лев Николаевич Толстой был с ним в хороших отношениях, и нередко у него бывал¹³. Однажды я столкнулся с Толстым на пороге петровского магазина и невольно снял фуражку и поклонился острым и внимательным толстовским глазам, хотя в те дни у меня в душе был особенный бунт против «толстовства» и толстовских последователей.

У Петрова было два сына — Борис Гаврилович и Владимир Гаврилович. Вот с ними, собственно, я и вел знакомство, и они чаще у меня бывали, чем я у них. Борис Гаврилович пленял меня добродушием своего нрава и рассказами о своих студенческих приключениях. Нередко, подвыпив с приятелями, он не решался вернуться домой нетрезвым и приходил ночевать ко мне. Весною обыкновенно влезал он ко мне в окно — благо мы жили тогда в первом этаже — и растягивался на полу моей комнаты, подложив под голову свернутую шинель. Владимир Гаврилович, напротив, отличался строгостью характера и серьезностью поведения. С ним я проводил часы в долгих спорах на философские темы, изоцряя свои диалектические способности. Владимир Гаврилович склонен был принять и оправдать моральное учение Толстого, а я проповедовал тогда «переоценку ценностей».

И как это ни странно, но именно в те дни, когда мой юный ум особенно остро и тонко старался обосновать «иммориализм» в поведении человека и скептицизм в мировоззрении, сердце мое неистово предавалось таинственным предчувствиям. Бытие личного абсолютного существа было для меня несомненным. Я чувствовал непрестанную Его близость. Но я никому не открывал тогда моей тайны. Я защищал скептицизм, страстно желая, чтобы кто-нибудь разбил мои доводы, противоречащие моему *внутреннему опыту*. Но около меня не было тогда душевно сильных людей. Толстовское «христианство без Христа» меня вовсе не увлекало.

В это время здоровье моей матери было очень плохо. У нее был порок сердца. Сердечные припадки появлялись все чаще и чаще. Приближение припадка я всегда предчувствовал. Так, бывало, сидишь где-нибудь в театре или у знакомых — и вдруг острая и мучительная мысль: сейчас начинается у матери припадок. Едешь торопливо домой и в самом деле находишь мать в постели.

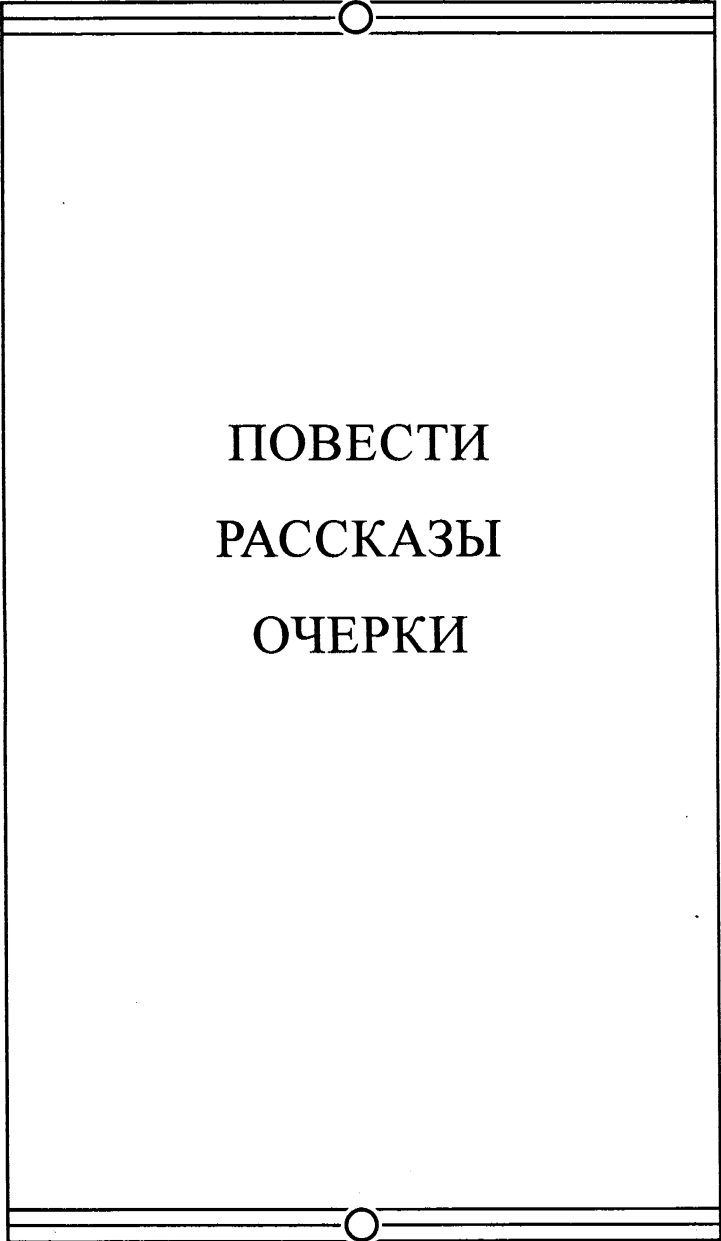
Она полусидит, обложенная подушками, задыхается, перебирая судорожно бледными пальцами край одеяла. И вот мучаешься около нее, подавая лекарства и изнемогая

от ужаса, смерть, казалось, стоит рядом и ждет. Тогда у меня в душе происходило что-то особенное. Не знаю, молился я тогда или не молился, но Единственный был тогда со мною. Я даже мог вызвать Его. Так я тогда верил — может быть, *неправедно*. Мне казалось, что я могу прекратить припадок у матери, если найду в себе силу. Надо было взять за руку мать и как-то особенно сосредоточиться, думая о Нем. Я обыкновенно смотрел тогда на светлую полосу на пороге комнаты и старался ничего не видеть, кроме нее. И если мне удавалось обо всем забыть и только о Нем помнить, припадок тотчас прекращался. Матери моей я об этом никогда ничего не говорил и никому не говорил.

Мать моя умерла, когда я был уже студентом. Она простудилась. У нее сделалось, по-видимому, воспаление легких. Сердце не выдержало. Когда наступили последние часы и доктора сказали, что нет спасенья, я сел около постели и стал думать о Нем. Три дня продолжалась агония. Я был в странном безумии. Когда я выходил в другую комнату на несколько минут, я бормотал одно и то же: «Спаси. Спаси. Спаси». И так шли часы за часами, день и ночь, пока я не изнемог совершенно и слабость мною не овладела. Я кажется, тогда вслух сказал: «Не могу больше. Пусть...». Мать вздохнула глубоко и через минуту, долгую и мучительную, еще раз вздохнула и умерла, не приходя в сознание <...>.

II

Мои воспоминания были продиктованы мною, когда я лежал больной в швейцарском отеле, в Грионе, в 1914 году. Эти страницы, написанные рукою моей жены, я просмотрел и отчасти исправил в ноябре месяце 1917 года, будучи в Сергиевом Посаде под Москвою. Воспоминания прерываются на 1903 году. Все то, что было потом, слишком тесно и неразрывно связано с мучительным и страшным *сегодня*. Еще не наступил срок для воспоминаний об этих последних годах. Впрочем, внимательный и благосклонный читатель моих книг узнает из них немало того, что имеет значение общее и непреходящее в связи с историей моей жизни.



ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ



ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В Петрограде, на огромной площади, в одном из старых домов, есть подвал ¹, и там, когда столица, утомленная буйным ветром революции, бесконечными политическими выступлениями и лихорадочною борьбою за власть, часам к одиннадцати засыпает, — там, в подвале, начинается своеобразная ночная жизнь, не похожая вовсе на жизнь советов, партий, комитетов, союзов, улицы и Зимнего Дворца.

В этом подвале живут и навещают его совсем особые люди. Правда, там бывают и случайные гости, но они приходят туда из любопытства и сидят в сторонке, недоумевая и чувствуя себя лишними. Дело, конечно, не в этих посторонних зрителях, а в той кучке поэтов, актеров, художников, которые спасаются в подвале от всероссийского потопа, как Ной ² в ковчеге. Спасутся ли? Да и праведны ли они, как праведен был старый Ной?

Я знал этих обитателей подвала еще до войны, когда ветхий порядок доживал свои последние дни в жалком великолепии петербургской императорской России.

Кто они, эти бродяги, эти комедианты, эти мечтатели? Или вернее — кем они были и кем они стали? Они были декадентами, одинокими эстетами, грустившими, как их любимец Пьеро, о какой-то дивной, но неверной Коломбине ³; они были скептиками, насмешниками и лю-

бителями каламбуров; они были сладострастниками без самодовольства, расточителями без богатства... Иные из них были революционерами без страсти к разрушению, другие — монархисты без привилегий... Вот об одном из этих вчерашних романтиков ныне после долгой и мучительной болезни скончавшейся монархии я и хочу записать несколько слов на листках моего дневника.

На днях я был в Петрограде и, утомившись бесконечными разговорами о коалиционной власти, о развале армии, о свадьбе Керенского⁴, о всероссийской забастовке и приключениях Ленина⁵, решил пойти к моим подвальным друзьям, посмотреть, как они живут, послушать песенки, какие они распевают теперь в своем ночном убежище.

На первый взгляд, подвал был все тот же. Я миновал мрачный петербургский двор, спустился вниз по скользким каменным ступеням, татарчонок в красном халате снял с меня плащ, и я вошел под знакомые своды, расписанные фантастично одним из чудесных наших мастеров⁶, успешным, несмотря на хмель богемы, послужить достойно музе.

Я пробрался среди шатких столиков в угол, куда мне дали кофе, и стал смотреть на знакомую крошечную сцену: там танцевала скромно-нескромный танец хрупкая маленькая актриса⁷, умненькая и нежная, которую в первый раз я увидел в театре покойной В.Ф. Комиссаржевской в те дни, когда шли там освященные и прославленные пьесы наших «проклятых» поэтов. Но — Боже мой! — как изменилось лицо у этой любимицы петербургских эстетов. Она улыбалась, но какая это была жуткая и грустная улыбка.

Так вот они какие теперь, эти комедианты, все еще танцующие свои изысканные хореографические вымыслы, распевающие горькие куплеты о сладостной любви, когда на улицах трещат пулеметы и носятся с ревом сумасшедшие бронированные автомобили, наводя ужас на российских республиканцев.

После спектакля, когда ушли гости и остались одни завсегдатаи подвала, ко мне подошел старый знакомый, небезызвестный поэт и отчасти композитор⁸, чьи стилизо-

ванные песенки распевали на эстрадах и в салонах весьма охотно, пока их не заглушили медные звуки революционных маршей и непрерывные крики о равенстве всех и всего. Этот милый поэт был, как всегда, не один. Около него вертелся юноша с цветочком в петлице, и поэт поглядывал на него с нежностью, как многоопытный мэтр на неискушенного еще ученика.

«О чем мы будем говорить с этим поэтом?» — думал я, припоминая его стихи, в которых он воспевал то меч Архангела Михаила⁹, то маркиз во вкусе Ватто¹⁰, то хорошеньких мальчиков, то александрийских куртизанок. О, как любил этот поэт бряцание оружия и пышность самодержавной монархии! Правда, он часто менял свои костюмы и вкусы, то щеголяя галлицизмами и одеваясь, как парижанин, то появляясь в истинно-русской поддевке и цитируя наизусть «Пролог». Но во всех нарядах этот жеманный поэт оставался верен своему пристрастию к прелестям старого порядка и брезгливо отвертывался от революции, загнанной тогда в подполье.

— К какой вы партии принадлежите теперь? — спросил я поэта, улыбаясь.

— Разумеется, я большевик, — ответил он тотчас же, не смущаясь и не стыдясь меня вовсе.

Заметив, что я с недоумением смотрю на него, поэт игриво засмеялся и тронул меня за руку.

— Ведь нельзя же воевать без конца, вы понимаете, — сказал он тихо, оглянувшись по сторонам.

— Как? — удивился я. — Вы такой патриот, малодушно боитесь войны?

Он смотрел на меня своими большими круглыми глазами, грустными и, пожалуй, лукавыми, и губы его все еще кривились в улыбку.

— Признаюсь, Ленин мне больше нравится, чем все эти наши либералы, которые кричат о защите Отечества. В XX веке воевать и странно, и противно.

— Вот не думал, что вы станете толстовцем, — пробормотал я, не решаясь назвать этого эстета большевиком.

— Я не толстовец, — поправил меня тотчас же поэт. — Я терпеть не могу англичан. Понимаете? А теперь в сущности воюет Англия с Германией. Нам надо мириться с немцами — вот и все.

— А вы помните изречение Козьмы Пруткова¹¹: «в сепаратном договоре не ищи спасенья», — попробовал пошутить я, чувствуя неловкость при созерцании этой метаморфозы декадента-черносотенца в революционера-большевика.

— Сепаратный мир! Нас пугают сепаратным миром! Какие пустяки! Вчера я видел инвалидов, знаете, без ног, без рук, размахивают костылями и требуют продолжения войны. По-моему, это эгоизм: «нас изуродовали, так и вас тоже пусть уродуют». Какая глупость.

— Но вы ведь так любили Россию. Вам, вероятно, больно, что она будет унижена, раздавлена и ограблена...

— Ах, что за беда. Отдадим Петербург; у нас так много земли...

Спутник поэта кивал сочувственно головою:

— Война — это буржуазная затея, — гримасничал юноша, дымя папироскою. — И немцы нам ближе все-таки, чем какие-то бельгийцы и все эти наши милые союзники...

Я вспомнил, как лет пять тому назад мой милый декадент допрашивал меня не без иронии, за что меня отправляли в Якутскую область и «неужели я до сих пор сочувствую социализму».

— В качестве большевика вы теперь, пожалуй, изменили ваш взгляд на социализм? — спросил я, с любопытством вглядываясь в пустые невинно-порочные круглые глаза поэта.

— Социализм? Я ничего не имею против. Мне все равно, — промямлил он неохотно. <...>

ЧЕСТНЫЙ БОЛЬШЕВИК

В мои студенческие годы в Москве было, кажется, только два кафе — это кафе Филиппова на Тверской и Бартельс у Никитских ворот. В 1905 году, приехав как-то в Москву, я обратил внимание на то, что появилось еще несколько кафе. Во время войны их возникло немало, а в дни революции они стали расти, как грибы. Эта небольшая бытовая подробность городской жизни не так уж незначительна, как это может показаться на первый взгляд. <...>

Мы уже привыкли к уличным митингам — толковым и бестолковым, это другой вопрос, нас не изумляют сотни политических афиш на стенах, в эти последние восемь месяцев мы вкусили все отравы и зелья, составленные многоопытными алхимиками политиканствующей Европы. И мы торопливо уходим из дому, чтобы слиться с толпою, с улицею, где шумит многолика, многообразная и жуткая жизнь, такая кипучая во внешней своей обстановке и, быть может, неподвижная в своей сущности — жизнь, похожая на смерть. <...>

На днях я сидел в одном излюбленном мною подозрительном кафе, не по-московски, а по-петербургски фантастичном, где под визг румынских скрипок, в дыму сигар и трубок, гудит пестрая толпа авантюристов, хулиганов, актеров, журналистов, проституток, революционеров, поэтов и куда редко заходят порядочные и добродетельные буржуа.

За соседним столиком в обществе молодой загримированной дамы с сумасшедшими глазами и алым, как у Пьеро, ртом сидел господин в превосходном жакете и дымил *bolivar**, стараясь не уронить пепла. У господина были светлые наглые глаза, холодные улыбающиеся губы и отлично выбритый подбородок, подпертый большим белоснежным воротником.

— Итак, мы победили, моя красавица, — говорил господин, показывая крепкие зубы и осторожно относя в сторону белыми холеными пальцами сигару.

— И зачем вы с ними связались? Ничего не понимаю, — улыбалась дама, искоса поглядывая на своего великолепного собеседника.

— Как? А с кем же нам быть? Да и народ ничего себе — башибузуки. Я, знаете ли, терпеть не могу одну только партию — народной свободы¹, знаете ли... Это все, ангел мой, масоны. Знаю я этих чистеньких. Профессорчики, либералы... Им свободу подавай. А с этими молодцами весело жить. Мы эту самую революцию — в бараний рог. А самое главное, на чем мы сошлись, — это Германия. Они ее уважают, и мы тоже. Те, кто поглупее, об интернационале бормочут, а главари понимают, разумеется, в чем дело. А я, знаете ли, за Гогенцоллерна. Аристократ, как хотите, основа монархического принципа.

Дама засмеялась, оскалая зубы:

— У меня лейтенант был знакомый. Из Берлина. Накануне войны уехал к себе, в фатерланд². Очень приятный мужчина.

— Я люблю пруссаков. Молодцы.

— Как фронт откроют, я в Вену сейчас. У меня ангажемент³ есть.

— Вместе поедем. Я с манишками⁴ гешефт⁵ наладил.

Поклонник аристократических и монархических начал, устроивший гешефт с манишками, нагнул к своей даме и что-то прошептал ей на ухо. Дама опять засмеялась.

* Род сигарет (фр.).

— Шалун. Вот разве в автомобиле ... Только за Карлушей заедем...

— За каким Карлушей?

— Да за парикмахером моим. Он теперь много зарабатывает: большевиком стал.

— Заедем, пожалуй. Мне все равно, ангел мой.

Господин бросил сигару, расплатился, и парочка удалилась.

Этот откровенный разговор ничуть меня не удивил. Во время выборов в Учредительное собрание⁶ я встретил одного гвардейского офицера, с которым я познакомился на фронте. Офицера я знал еще до революции. Это был человек образованный, но по своим взглядам монархист яростный и убежденнейший. Смеялся он над грядущей демократией не без демонического остроумия и, признаюсь, весьма неприятного.

— За кого же вы голосовали? — спросил я его при новой встрече. — За большевиков, разумеется, — ответил он серьезно и многозначительно.

— За большевиков, — повторил он. — Самый подходящий для меня список, и все наши за него голосовали. Нам бы только кадетов провалить, а большевики сами утонут.

— Как?

— Большевики в крови захлебнутся. Вы понимаете?

— Послушайте, — сказал я. — Вы человек умный... Но ведь вы не только умный человек, вы патриот. Как же вы не чувствуете, что за большевиками идет Вильгельм?

Гвардеец нахмурился.

— Лучше Гогенцоллеры*, чем эта пошлейшая республика, так называемый правопорядок, социальные реформы и весь этот либеральный вздор.

Он придвинулся ко мне и процедил сквозь зубы:

— Главное — сорвать Учредительное собрание. А эти молодцы так и сделают.

— Теперь я вас понимаю, — сказал я. — Прощайте. <...>

* Прав.: Гогенцоллерны (примеч. сост.).



ПАРАДИЗ

Александрю Блоку

I

В тот, памятный для Наташи, вечер шла она от все-нощной из церкви Успения. И нельзя было понять, радость или печаль на сердце. Хотелось тишины, мира и любви.

В сердце еще пел хор: «Се бо Эммануил грехи наши на кресте пригвозди...» А потом слова как-то уплывали из памяти, звучал лишь напев, но на углу Большого проспекта опять вспомнилось: «И живот дай, смерть умертви, Адама воскресивый...»¹

«Смерть умертви!.. Хорошо», — думала Наташа, чуть не плача.

— Премудрость, прости, — шептала Наташа с умилением и даже не старалась понять, что это значит. — Пусть. Все равно.

Наташа твердо знает, что, когда дьякон скажет эти торжественные слова, хор полетит, точно на крыльях ангельских, и прозрачные голоса запоют неземную песнь.

И в тот вечер пелась эта песня. Наташа стояла на коленях, забыв обо всем: у нее кружилась голова от счастья. Когда она пришла домой, матери и братишки не было, и за столом сидел вотчим: и по тому, как он неловко уперся локтем на стол, Наташа догадалась, что вотчим пьян.

— А здрасьте, Клеопатра² наша! — сказал вотчим. — Здрасьте, царица египетская... Важность — фу-ты, ну-ты.

А позвольте спросить, откуда спесь. Я ли тебе не как отец родной?

Наташа ничего не ответила и пошла к себе за перегородку.

— Наташка! Чего ломаешься! Тебе говорят: поди сюда.— И не дожидаясь ответа, отчим сам полез к ней за перегородку.

— Прочь подите. Матушке скажу, — бормотала Наташа, отбиваясь от пьяных и похотливых рук, которые валили ее на постель.

От вотчима горько пахло пивом, и было противно и трудно бороться с этим большим, пьяным, волосатым человеком.

Наконец, Наташа, неловко ударив вотчима по лицу локтем, вывернулась из-под него и без накидки, в одном платке, побежала к тетке.

Весенняя белая ночь пахнула на Наташу теплою влагой, и пока Наташа торопливо шла к дому тетки, ей все казалось, что в небе кто-то поет «Свете тихий» высоким ладом, как мальчишки-певчие.

А в доме тетки уже все спали, только сама тетка стояла у комода, в ночной кофте, простоволосая, считала дневную выручку. Наташу расспрашивать не стала. Догадалась, в чем дело. Молча указала на сундук и дала подушку.

Рано утром, перед тем как идти в табачную лавочку, тетка Серафима говорила Наташе нараспев:

— И там, милая, люди счастье себе находят. Дарья Ивановна, слава Тебе Господи, живет теперь барыней, а была такой же девчонкой, как ты, бегала по лужам бо-соногая. Ужо сведу тебя к ней, небось, возьмет: она мне тем боль кума.

Наташа осунулась и побледнела за эту ночь, глаза у нее были печальные и строгие, и жалко было смотреть на ее тоненькую фигурку в нескладном черном платье. Наташа едва слушала тетку и тихо бормотала:

— Мне все равно, тетушка. Все равно.

Когда после обеда пришли к Дарье Ивановне, у нее сидел гость — молодой человек, белокурый, завитой, в модной паре.

— Значит, мы на вас надеемся, — говорил он, покручивая усики, — заедем за Катюшей на автомобиле в одиннадцать.

Молодой человек простился и ушел, и было слышно, как в коридоре он стучит толстыми «американскими» подошвами.

— Позднякова, заводчика, сынок, — пояснила Дарья Ивановна.

— Я к вам с племянницей, — говорила тетка Серафима, подсаживаясь к столу и принимая из рук Дарьи Ивановны рюмочку померанцевой.

Наташа осмотрелась.

По стенам висели бумажные веера и олеографии с голыми женщинами, на тумбе стоял гипсовый амур, пахло чем-то приторным и сладким.

— Она у вас миленькая, — сказала Дарья Ивановна и притянула к себе Наташу, — худа только, щупленькая. Мы ее, как индюшечку, откормим.

— А это трудно — петь? — спросила Наташа, с недоверием поглядывая на Дарью Ивановну.

— Пустяковина. Сегодня попробуем. Вы у меня уж и оставайтесь, пообедаем вместе.

К обеду пришла Катюша, совсем молоденькая, с припухшими губами и утомленными влажными глазами.

«Как же она живет? — думала Наташа. — Как?»

— Это от симпатии моей, — сказала Катюша и поставила на стол букетик из ландышей.

— Ах, уж эти симпатии, — сказала Дарья Ивановна, — одна канитель.

— Помалкивайте лучше, — огрызнулась Катя, — вам бы только запрячь девушку — и больше никаких.

— Ну, ну, — сказала Дарья Ивановна, — кипятков-девка. Вот в одиннадцать Поздняков на автомобиле заедет. Принарядись.

Когда пришли в сад, на сцене шла репетиция: горбун и горбунья пели шансонетку.

В оркестре сидел один пианист, рыжий человек, с равнодушными глазами.

— Вот, хозяин, новенькая, — сказала Дарья Ивановна, подвигая Наташу к большому усатому господину в цилиндре.

На столах, без скатертей, торчали стулья ножками вверх; какая-то баба в пестрой юбке протирала стекла на веранде.

За кулисами пахло сыростью, масляной краской и шипело электричество.

— Познакомьтесь, — сказала Дарья Ивановна и толкнула Наташу в маленькую уборную. Там сидели три девицы.

— А я никогда не поверю, что мужчины от женщин заражаются, — говорила маленькая брюнетка Аглая, — никогда не поверю. Другой налижется, как сукин сын, а потом — небось — женщина виновата.

— А если со мной случится что, я утоплюсь, — сказала Лидочка, тоненькая девушка лет семнадцати, с японскими глазами и движениями зверька, попавшего в клетку.

На Наташу не обращали внимания. Аглая и Лидочка были одеты мальчиками, а третья девушка, Соня, была в розовом коротком платье, какое делают маленьким детям, в розовых чулках и туфлях, а в руках держала куклу. От черных полос под веками блестели глаза. Кто-то крикнул:

— Пожалуйте репетировать.

Дарья Ивановна поставила Наташу перед рампою рядом с Соней.

Рыжий пианист забарабанил по клавишам, и Соня запела, поднимая розовое платье и неестественно пристукивая каблуками:

Однажды вечером
Мы вышли погулять.
Хотелось нам тайком
На воле поиграть.

Соня делала глазки воображаемым зрителям, прижимала куклу к обнаженной груди и пела:

Мы миленькие детки,
Мы любим пирожки
И все мы однолетки —
Подруги и дружки.

Дарья Ивановна заставила Наташу приподнять юбку. И Соня опять запела:

И много уж секретов
Хранится от мамаш,
Порой мы без корсетов
Играем в ералаш.

Наташе казалось, что это сон, что это не по-настоящему, что вот сейчас кто-нибудь засмеется и скажет: «Довольно», — и рыжий пианист, улыбаясь, перестанет барабанить по клавишам, и Соня сотрет румяна и наденет скромное платье. Но сон продолжался.

Пили, стоя у буфета, чай. Потом пошли за кулисы. Пришел венгерец с контрабасом и что-то говорил Соне на непонятном языке и обнимал ее. И контрабас чуть-чуть загудел, когда венгерец неосторожно поставил его в угол.

Вчерашний день казался Наташе далеким прошлым. И темный тяжелый вотчим, и золотая всенощная с ладаном и с таинственным пением — все отошло куда-то в синеватую даль. И голоса оттуда едва долетали, как из другого мира.

II

Жить стала Наташа, как во сне. Тяжело засыпала под утро. Часто просыпалась, вскакивала с постели и, босая, бежала к умывальнику; обливаясь водой, пила воду жадными глотками прямо из графина и потом опять клала свою угарную голову на подушку, чтобы все забыть и уснуть.

Вставала часа в три, лениво одевалась, прихлебывая кофе, который варила ей Акулина, и ехала с Петербургской стороны на Звенигородскую завтракать у Дарьи Ивановны. Там был и допрос:

— С кем была и сколько выручила?

Теперь уж Дарья Ивановна говорила Наташе «ты», и Наташа почему-то была в долгу у Дарьи Ивановны. А считать не хотелось: махнула на все рукой.

Катюша приносила к завтраку водку, сливали ее в графинчик с апельсиновыми корками и выпивали. Аглая приговаривала непонятное:

— Выпьешь по первой, будешь стервой, — выпьешь по второй, будешь с головой, — выпьешь по третьей, будешь без смерти, выпьешь по четвертой, — будешь первосортной, — пятой — богатой...

— Нескладно что-то, — говорила Наташа, сурово хмурясь.

— Для нас и это ладно, — отвечала Аглая, не смущаясь.

Дарья Ивановна отнимала графинчик, и все опять укладывались спать кто куда. А в семь часов ехали в сад.

Когда Наташа входила в сад в своей черной шляпе с большим страусовым пером, подбирая пышное черное платье и открывая ботинки на высоких каблуках, ей казалось, что она уже на сцене и вокруг тоже актрисы. Сад с электрическими фонариками, бутафорскими воротами, с этой загримированной Аглаей и другими дамами — это все игра. И если не верить, что все это только так, что все это *пока*, а потом начнется настоящая жизнь, если в это не верить — тогда смерть.

Вот идет Наташа между столиков и сама чувствует, что походка ее здесь иная, не такая, как была раньше.

— Ха-ха-ха! — неестественно смеется Наташа. — Здравствуйте, прекрасный мой кавалер. Ха-ха-ха! Не угостите ли меня, кавалер, мадерой?

В глаза теперь Наташа никому не смотрит: она смотрит всегда куда-то вверх, повыше головы того, с кем говорит. И кажется, что-то видит.

— Милочка, поди сюда, — говорит Наташа, подзывая продавщицу роз, — вот я, господин офицер, розы очень люблю. Не купите ли вы мне розу?

Наташе не нравится, когда оркестр перестает играть: тогда кажется, что и вино не пьянит и все похоже на трезвую правду, и становится страшно. Нет, уж пусть играет музыка, и на сцене пусть пляшут.

Теперь редко вспоминает Наташа о золотой Всенощной и о сладостном напеве «Свете тихий...».

Один раз, когда она была с Поздняковым, сыном заводчика, в номерах на Казанской, ей показалось, что пахнет ладаном, и она вспомнила о своей недавней молодости и о своих предчувствиях любви, которой не суждено было прийти.

— Ну, чего лезешь? Подожди, — сказала она неожиданно грубо этому завитому белокурому человеку, совсем чужому, успевшему протрезвиться за время, пока ехали из сада в номера.

— Вот так Клеопатра! — сказал молодой заводчик, ухмыляясь. — Царица Египетская. Важность — фу-ты, ну-ты. Что за немилость. Я ли тебя шампанским не поил?

— Погоди. Погоди, — сказала Наташа, усмехаясь, — как ты сказал? Клеопатра? Будто уж кто-то мне говорил так. Ага! Помню.

— Все равно, — сказал Поздняков — ты, хотя и блудница, но вроде царицы. Хочешь, я на тебе женюсь?

— Ступай ты к лешему, — сказала Наташа равнодушно, — ты, дурак, лучше ботинки мне расстегни. Видишь, я пьяна, мне трудно.

И все было, как нелепый и тяжелый сон.

Одно любила Наташа — смотреть, как небо странно синее, когда сидишь на веранде в электрических огнях: такое небо можно увидеть только из «Парадиза»: кажется, что здесь сказка, а там в небе — непонятная и великолепная жизнь.

В четвертом часу, когда публика разъезжается из сада и у отдельных столиков остаются запоздавшие посетители

ли за рюмками ликера, Наташа, если была свободна, бродила по саду и подолгу стояла около журчащего фонтана, прислушиваясь.

Как будто кто-то рассказывал сказку про прекрасную царицу. И царица эта — она, Наташа.

Если кто-нибудь случайно подходил к ней, она отвечала высокомерно или совсем не отвечала, уходила молча.

И в этой стройной и надменной проститутке в черном платье нельзя было узнать той Наташи, которая бегала когда-то в скромном платьице в школу и церковь.

В школе Наташа читала про царственную красавицу, у ног которой вожди слагали венцы свои.

Наташе мерещится желтый Нил, сфинксы, не те, что стоят на Неве, а иные, огромные, высеченные из цельной скалы с непонятными человеческими лицами.

И мерещится Наташе пустыня, и среди пустыни оазис, там ее дворец. И вот приходит полководец, закованный в латы.

— Это я, — говорит он, переступая порог, и почти-тельно целует сандалии Наташи. — У меня много солдат, и большие корабли плавают у берегов моей страны. Но я все это оставил и пришел к тебе в «Парадиз», моя прекраснейшая Наташа.

— Что мне твои корабли и царство?—говорит сурово Наташа. — Видишь: я правлю миром. Звезды поют в честь меня, и когда встает солнце, оно делается красным, как кровь, от любви ко мне. Вон идет хозяйка звать меня в отдельный кабинет, но я не пойду туда, и уже целую неделю я не пою на сцене и больше не буду надевать это глупое розовое платье. Я не хочу петь среди других. Я буду петь одна. Для меня построят высокую эстраду. И я буду петь одна. И пение мое будет так прекрасно, что все станут безгрешными, слушая меня.

В это время подходит к Наташе инженер.

— Позвольте, мамзель, вас ангажировать на сегодняшнее утро. И поедемте с нами, мамзель, на острова.

— Только в автомобиль шампанское захвати, слышишь? — говорит Наташа, — не расплескается. Я из бутылки пить буду.

Когда автомобиль мчится по Каменоостровскому проспекту, Наташе кажется, что все встречные кланяются ей, как царице. И она отвечает им на поклон и милостиво машет платочком. Пусть эти пьяницы и рабочие, и мастеровые знают, что не все царицы жестокосердны. Одна из них, Наташа, великодушна и добра.

— Что же вы, дьяволы, молчите? — говорит Наташа инженеру и его товарищам, — пойте что-нибудь. Сашку Позднякова знаете? Сын заводчика. Он меня Клеопатрой Египетской зовет. Жениться на мне хотел. Эй, инженер! Угости шофера шампанским! Пусть из моей бутылки. Я не побрезгую. Не брезгую же я с вами в одной постели валандаться.

Миновали мосты.

Подымалось солнце над серебряной рекой. Как был прозрачен воздух! И какой легкий ветер веял над безумным городом. Тонкие стволы берез девственно белели, и острова были закутаны дымчатой вуалью.

Солнце пылало алым заревом. Как будто зажгли великолепный пир на утреннем небе. И бессонно томилось сердце по любви невозможной.

III

В «Парадиз» приехали два писателя: Александр Герт и Сергей Гребнев³. Они приехали из ресторана после затянувшегося обеда — теперь утомленные и уже нетрезвые — скучали за бутылкой кьянти.

На эстраде негр танцевал с рыжей англичанкой матчиш⁴, и звуки сумасшедшей пляски тревожили сердце.

Александр Герт, молодой человек лет двадцати восьми, небезызвестный поэт, с бритым лицом и вьющимися белокурыми волосами, курил папиросу за папиросой, и бледными холодными глазами следил за кольцами дыма.

— Мы с вами погибли, Сергей Андреевич, — говорил он равнодушно и вятно, очевидно, на тему, не раз обсуждавшуюся ими, — погибли. Наша судьба на дне стакана.

— Мы не первые и не последние, — отвечал Гребнев с насмешливой, неприятной улыбкой.

— Но все же, Сергей Андреевич, я лучше, чем вы думаете. Вам кажется, что у меня нет ничего за душой, что я *только* лирик⁵. Но у меня есть что-то, уверяю вас. Вы вообще меня выдумали, и я, когда бываю с вами, невольно говорю и даже поступаю в лад с вашей выдумкой. Но я не таков.

— Вы говорите: что-то есть. Но тем хуже для вас, Александр Александрович. Если есть, тогда ответственность.

— Может быть. Но что с нас взять: мы, поэты — как и проститутки — самое дорогое и самое тайное отдаем людям. Вот спросите у нее, и она вам то же скажет.

И он взял за руку и привлек к столу даму в черном.

— Как вас зовут, госпожа моя? — спросил Гребнев, подвигая стул, и серьезно, уже без насмешливой улыбки, рассматривая даму.

— Клеопатра, — ответила Наташа, окинув презрительным взглядом обоих писателей.

— Вот и она презирает всех, как и мы, — процедил сквозь зубы Герт.

— Госпожа Клеопатра, разрешите наш спор, — сказал Гребнев и налил ей стакан кьянти. — Вот он уверяет, что мы погибли. А по-моему...

— Ах! Это все равно. Не знаю, о чем вы там толкуете. Скучно все.

— А ведь она гордая, — сказал Герт. — Как это хорошо. Как хорошо.

Подошла Аглая и увела куда-то Наташу.

— И откуда эта гордость? Откуда?

— Да разве вы не видите, она — сумасшедшая, — сказал Герт серьезно. Сумасшедшая, как и мы. И все, кто не спит в эти белые ночи, сходят с ума. Скажите вон тому лакею или вот этому генералу, что сейчас начнется свето-

преставление, и они поверят в это просто и охотно и, быть может, не испугаются: сумасшедшие боятся только обыкновенного, обыденного.

— Пожалуй, что так, — согласился Гребнев. — У этой проститутки есть какая-то идея не нашего порядка.

— Какая проститутка? Какая идея? — сказала актриса Герардова, подходя к их столику вместе с художником Ломовым и его женой, певицей из Мариинского театра.

— Вот с нами сидела египетская царица Клеопатра, — сказал, улыбаясь, Гребнев. — Герт в нее влюбился.

— Ах! Как это хорошо, — сказала Герардова, всплескивая руками. — Познакомьте меня с ней: я никогда не разговаривала с этими дамами. А мне так хочется. Так...

— Пожалуй. А вы ничего не имеете? — обратился Гребнев к жене Ломова, высокой полной блондинке с крупными мужскими чертами лица.

— Очень хочу. Мне, впрочем, не в первый раз с ними знакомиться. Недавно были мы с ним в «Буффе»⁶, — сказала она, указывая на мужа. — Так за наш столик несколько девиц село; все не верили, что я мужняя жена.

Все засмеялись.

Потом пригласили Наташу и пошли в отдельный кабинет пить шампанское.

Ломов ухаживал за Герардовой, Гребнев — за Ломовой, а Герт стал на колени перед Наташей и говорил:

— Вот на вас строгое черное платье, и я схожу с ума от счастья, потому что вы, божественная, позволяете мне стоять на коленях около вас и касаться вашей руки. Вы настоящая женщина, и каждое движение ваше царственно, и глаза ваши прекрасны и безумны. Что за вздор, что женщину можно купить. Женщину купить нельзя. И если бы я мог усыпать золотом всю дорогу от «Парадиза» до твоего дома, божественная Клеопатра, то и тогда бы ты не подарила мне своей любви.

— Вот это правда, — сказала Наташа, — но все-таки ты мне нравишься, кудрявенький.

И она провела своей рукой по волосам Герта.

— Герт влюбился, — хлопала в ладоши Герардова, — Герт влюблен!

Потом она наклонилась к Ломову и шепотом спросила:

— А это не опасно, что мы так вместе: у этой Клеопатры нет сифилиса?

— Тише, тише, — испугался Ломов, — Замолчите, Бога ради.

— Эй, барыня, — сказала Наташа, — выпьем за твое здоровье!

Герардова покраснела и протянула свой стакан, чтобы чокнуться.

— Иди сюда ... ко мне на диван, — сказала Наташа, — я тебя поцелую.

Герардова пересела на диван, и они обнялись с Наташей.

Наташе понравилась хрупкая барышня, и она целовала ее в губы долгим поцелуем. И Герардова, по-видимому, не думала уже о том, больна или не больна эта проститутка, и, прижавшись грудью к ее груди, целовалась нежно и сладостно.

Все были пьяны. И Ломов, бледный от вина, что-то серьезно рассказывал Гребневу о Чимабуэ и Дуччи⁷.

Ломова напевала вполголоса из «Садко»⁸.

Уже ничто не казалось странным Наташе: она твердо верила, что все вокруг нее так как надо, что она сама прекрасна и кто-то венчал ее когда-то на царство. Кудрявенький — это принц, ее жених, а все другие — ее придворные.

Говорила она повелительно и милостиво, как настоящая царица.

— Пусть еще шампанского принесут, а потом поедem куда-нибудь: здесь душно, не могу я больше.

Ломов стал произносить тост в честь дам, и хотя был пьян, говорил по привычке складно и любезно, но никто уже не мог понять, о чем он говорит. Тогда он снял с ноги Герардовой башмачок и, поставив в него бокал, выпил из него шампанское.

Гребнев распахнул окно, и утренний ясный ветер обвеял ему голову; и он неожиданно для себя протрезвил-

ся и стать злым, каким он всегда бывал, когда в голове не шумело вино.

— Все притворяются, — сказал он сердито, — и вы, Герт, больше всего. Сухой вы и бессердечный человек. Надо еще цикл стихов написать, вот вы и выдумываете себе любовь. Одна из вас говорит и чувствует по-настоящему, это — Клеопатра. Но ведь ей хорошо: она — сумасшедшая.

— Молчите вы, несносный человек, — сказала Ломова с отчаянием в голосе.

Потом все поехали в «Ниццу».

Герт ехал вместе с Наташей, говорил ей, что влюблен в нее, и они целовались всю дорогу.

В «Ницце», в отдельном номере, где за перегородкой был альков и зеркало было изрезано именами пьяных любовников, все окончательно потеряли голову, и даже Гребнев стал рассказывать Герардовой по-французски нескромный анекдот.

Герт стоял на коленях перед Наташей и упрасивал ее раздеться.

— Древняя царица не стыдилась своих рабов, — говорил Герт заплетающимся языком, — а мы твои рабы.

— Я тебя, принц, люблю, — говорила Наташа и смотрела на Герта странными верующими глазами. Я тебя люблю. Раздеться, говоришь. Ну, хорошо. Мне все равно.

IV

С этой ночи не могла Наташа забыть своего кудрявого принца. Все ждала его возвращения. Но он не приезжал к ней.

Это было очень странно, что он не приезжал к ней. Она бродила среди столиков на веранде «Парадиза», искала его, но вокруг все были чужие, равнодушные, пьяные лица, а его не было.

И Дарья Ивановна, и Аглая, и Катюша, и даже усатый хозяин в цилиндре стали замечать, что с Наташей творится что-то неладное. Кто-то сказал:

— Клеопатра сошла с ума.

И все сразу поверили в это, но никто не знал, что надо делать теперь, да и думать об этом никому не хотелось: в «Парадизе» можно быть, и сумасшедшей. Все равно.

Уже все привыкли к ее надменным жестам и гордым глазам, и уже все называли ее то «царицей», то «королевой».

— Пожалуйте за тот столик: вас господин просит, — сказал однажды лакей.

И Наташа уже хотела пройти мимо не отвечая, как вдруг заметила, что за столиком сидит Гребнев: она узнала его.

— Где же мой принц? — спросила она, подходя к Гребневу.

— Ваш принц? — сказал Гребнев. — Но зачем вам принц?

— Он мои ноги целовал, — сказала Наташа и нахмурила брови.

— Постой, постой, — сказал Гребнев, — он сейчас в меланхолии и сидит дома. Поедем к нему.

И они поехали.

Когда Гребнев с Наташей приехали к Герту, он не удивился, увидев их.

— Что с вами, принц? — сказала Наташа, нежно касаясь его руки.

— Благодарю покорно. Я здоров, — сказал Герт, рассеянно улыбаясь.

— Вот вы подарили мне кольцо, — сказала Наташа, — я хочу вам вернуть его.

— Ах, нет, нет. Я ничего вам не дарил.

— Но вы позабыли, принц, — сказала Наташа, чуть не плача. — Вы подарили мне кольцо и сказали, что любите меня.

Герт засмеялся и сказал:

— Да! Ведь ты гордая царица — Клеопатра.

— Принц...

— И красивая.

— Но так нельзя, — сказал Гребнев, — так нельзя.

— Это почему? — в свою очередь, разозлился Герт. — Это что — дружеский совет?

— Дело не в этом, — сказал Гребнев, усмехаясь. — Так нельзя, потому что это плагиат из «Гамлета».

— Ах, все равно. Я не виноват, что судьба бросает меня в объятия шекспировских женщин.

— Но что вы хотите сказать, принц? — пробормотала Наташа, чувствуя, что голова у нее кружится и она сейчас упадет.

— Что я хочу сказать? Ха-ха-ха. «Если ты честная и хорошенькая девушка, так не заставляй красоты своей торговаться с добродетелью...»⁹ Я любил тебя прежде...

— Я верила, принц.

Герт странно смеялся, и глаза его сделались влажными от слез.

— Напрасно, — сказал Герт, задыхаясь от смеха, — напрасно, прошедшего нет более, я не люблю тебя.

Гребнев окончательно разозлился.

— У вас истерика. Пойдемте отсюда, Клеопатра. Это не светлейший принц, а бедный неврастеник.

— Уведите меня отсюда, — прошептала Наташа Гребневу, смутно понимая, что ее оскорбляет принц, в которого она верила, как в Бога.

На другой день она уже не помнила ни улицы, ни дома, где жил ее принц, и имени его она не знала, и найти его она уже не могла.

О свидании этом она скоро забыла, и по-прежнему стала мечтать о своем белокуроем принце, который стоял перед ней на коленях и говорил ей о своей любви..

И она искала его повсюду.

Она заходила в рестораны и кофейни, бродила по Летнему саду, но нигде не могла его встретить.

Часто Наташа сидела в кофейной под Пассажем и следила жадными лихорадочными глазами за всеми, кто проходил мимо ее столика. Однажды она ошиблась:

ей показалось, что это он, ее возлюбленный, но это был какой-то актер. Она в ужасе отшатнулась от чужого лица.

— Милая моя, вы мне нравитесь, — сказал актер.

— Поди прочь. Ты — раб, — сказала Наташа гордо и отвернулась.

V

Наступили осенние дни, и город поплыл в золотом тумане, Бог знает куда.

В золотом вихре носились порой листья по Островам, а когда ветер не веял, непонятная прелесть увядания томилась над землей. И деревья шептали о любви предсмертной.

Однажды Наташа ехала из Крестовского сада домой — одна на извозчике — и повстречала Позднякова. Он мчался на автомобиле с компанией крикливых купчиков. Поздняков заорал шоферу:

— Стой, назад!

И компания догнала Наташу.

— Пожалуйста к нам, Клеопатра великолепная! — кричал Поздняков пьяным голосом.

— А ты не знаешь, где мой принц? — сказала Наташа фразу, которую она произносила теперь машинально, едва понимая ее смысл.

— Я — твой принц! — говорил Поздняков со смехом и бил себя в грудь.

— Шут гороховый, — снисходительно улыбнулась Наташа. — Ты сверчок, знай свой шесток. Ну, ладно, поедем.

Шофер был пьян и гнал автомобиль во всю мочь.

У Наташи захватило дух. Она привстала, держась за чье-то плечо. Волосы у нее распустились, шляпа слетала. Не стали останавливать автомобиль из-за шляпы, мчались дальше; кто-то прицепил к волосам Наташи увядшие розы.

— Надо гонцов на автомобиле послать, чтобы они его отыскали, — кричала Наташа, обращаясь ко всем не то

с угрозой, не то с просьбой. — Пусть они его привезут ко мне. Один пусть в Рязань поедет, другой — в Москву, а третий — в Париж.

— А ты, Сашка, — неожиданно обратилась Наташа к Позднякову, — отрубил голову вотчиму или нет? Ты ему, Сашка, отруби. Я тебе позволяю. Пусть он подлецом не будет: негодный он человек.

— Ладно, — кричал неистово Поздняков, — ладно. Ты уж на меня надейся. Кому хошь отрублю.

— Се бо Эммануил грехи наши на кресте пригвозди, — запела Наташа, поднимая руки кверху. Но нельзя было разобрать, что поет Наташа: так шумела пьяная компания и гремел автомобиль.

— Я тебя на свадьбу позову, — кричала Наташа Позднякову, — будем, Сашка, с тобой пировать.

— Ну, ври еще. Какая там свадьба, — сказал мрачно какой-то молодой человек с пьяными и злыми глазами.

— А я тебя в темницу велю бросить, — сказала Наташа, — ты лучше молчи: сказала «свадьба», значит, свадьба. Но молодой человек не унимался.

— Не ври. Не люблю. Не нравится мне, когда девки врут.

— Я девка? — неистово закричала Наташа. — Я? Ах ты хам треклятый. Да я тебя. Да я тебя...

И Наташа с размаху ударила молодого человека по щеке.

Молодой человек, покачнувшись от удара, вскочил на ноги и схватил Наташу за волосы.

— Стой, — закричал он шоферу, — мы ее в часть сейчас. Стой.

— Оставьте ее. Оставьте, — упрашивал Поздняков, заступаясь за Наташу.

Но компания была на стороне молодого человека. Кто-то пронзительно кричал:

— Господин городской! Пожалуйте сюда. Не угодно ли вам препроводить блудницу сию в участок.

Наташу пересадили на извозчика и повезли.

И там в участке, когда ее тяжело и мрачно били городовые, Наташа думала, что это самозванцы пришли отнимать у нее престол.

На другой день она уже называла себя Девой Марией, и ей казалось, что на ней струится голубая облачная одежда, как на Богоматери в церкви Успения.

... Вот она идет по кущам райским, и золотые птицы кивают ей, приветствуя. И мир ей подвластен — и звезды, и море.

— Цветы мои райские, — говорит Наташа, — цветы мои...

ПОЛУНОЩНЫЙ СВЕТ

Воронье траурной стаей поднялось с берез, громко каркая. Закружились, падая, ржавые листья.

Пели певчие, глаза по сторонам: «Вечная память». Ставили крест на новую могилу.

Елена прочла надпись: «И мертвые восстанут...»¹

Припала к могиле, к милой слепой земле; положила белые хризантемы.

«Угасла жизнь, — думала, — а все так спокойно, так тихо, так непонятно. И радостная печаль во всем — и в листопаде этом, и в небе сентябрьском... Ах, жить хочу... Любить хочу. Пусть предсмертно, пусть».

— Елена, пойдём, — сказал отец.

И они пошли по деревянным мосткам мимо могил, мимо крестов, памятников, мимо забытых и незабвенных.

Жадно Елена читала иные надписи: «Любовь сильнее смерти», «Нет, ты не умер: ты спишь».

Ладаном пахло и осенними розами. И не верилось, что больно кому-то сейчас, что душит кого-то смерть. Прекрасна была осень в тихой любви своей.

Села Елена с отцом в извозчичью карету.

Он положил свою большую волосатую руку на ее тонкие пальцы и сказал тихо:

— Смерти не надо бояться, Елена. «Совершенная любовь изгоняет страх»².

Елена закрыла глаза; не отнимала руки своей, слушала полудоверчиво.

— Тебе уже исполнилось восемнадцать лет, — продолжал отец. Но я худо тебя знаю. Я сам, конечно, виноват: после смерти мамы я почти не видел тебя. Но, милая Елена, будь ко мне снисходительна и помоги мне: раз мы теперь будем жить вместе, надо получше узнать друг друга. Не правда ли?

— Да, да, — сказала Елена, — надо получше узнать друг друга. И я право, отец, люблю тебя...

— Хорошо, Елена, хорошо. Я верю тебе. Но вот что я хочу. Твоя покойная тетя была добрым и приятным человеком, но одного я никогда не мог понять в ней: ее отношения к Богу, к церкви... Она не любила говорить на эти темы и, кажется, боялась думать об этом. Я не вмешивался в твоё воспитание, Елена, и теперь, конечно, я не имею права посягать на твою свободу. Но как друг твой хотел бы знать, разделяешь ли ты её настроение. Думаешь ли ты о Боге?

— Думаю, отец. Но у меня нет веры. И кажется мне, что нет спасения, что все мы заблудились в лабиринте. И темно вокруг. И выхода нет.

— Ты ошибаешься, Елена. Есть выход.

Елена широко открыла глаза и пристально посмотрела на отца. Что-то необыкновенное почудилось ей в лице его.

«Он знает что-то», — подумала она.

Ей стало жутко от близости этого старика, родного и непонятного. Она отняла у него свою руку. И он замолчал. Тихо сидел в своем углу, поблескивая глазами.

Звонили московские колокола ко всеобщей. И Елена представила себе, как идут вереницей чуждые ей люди к этим древним алтарям. Кому-то молятся эти люди. Во что-то верят. А город опутан телефонной проволокой, вокруг кипит жестокая и злая борьба за жизнь; торопливо бегут трамваи... И как-то странно, что среди суеты еще крепко стоят алтари эти.

Вот и Николаевский вокзал. Степан и Марфуша дожидаются с вещами. Степан, как всегда, важен и почему-то говорит отцу «Ваше превосходительство».

Марфуша припала к плечу Елены и плачет. Пахнет от Марфуши новым ситцем и баней. Елена растрогана. Ей жутко, что уже не вернется она в московскую квартиру, не увидит тетушки...

Отец уходит в мужское отделение. С Еленой в купе едут две дамы, и Елена чувствует себя неловко: не привыкла она ездить по железной дороге.

Но вот звякнули буфера — и все поплыло назад в старую даль: начальник станции, Степан, Марфуша, заплаканная дама в трауре, столбы железнодорожные...

Пришел кондуктор готовить постель. Елена забралась наверх; с трудом разделась, задевая руками за сетку для вещей; легла — и сонное томление овладело ею; засыпая, слышала дамские голоса. Дама постарше говорила густым контральто:

— Ах, уж эта Москва. Не выношу я этой большой деревни. «Милочка! Милочка! У нас запросто. Мы — искренние; мы — сердечные». А по-моему, московская простота хуже воровства. Ей-Богу.

И приятное сопрано:

— Это правда. Что-то провинциальное в ней есть. Глупость какая-то.

Проснулась Елена в Любани. С трудом сообразила, что тетушка умерла, что она, Елена, едет в Петербург с отцом, что там ждет ее мачеха. Кто она, эта урожденная княжна Трубникова? И как странно, что она такая молоденькая — ей всего только двадцать лет — вышла замуж за пятидесятилетнего старика.

— Вы видели, к нам седой господин заходил в купе? — спросила шепотом свою спутницу дама постарше, думая, что Елена еще спит.

— Видела. А что?

— Это — Сергей Савинов. Мне его в Петербурга показывали.

— Неужели он? Тот самый знаменитый Савинов!

— Он. Тот самый.

Когда Елена вышла с отцом на перрон петербургского вокзала, ей показалось все вокруг чужим, почти иностранным; она подумала о том, что эти носильщики и вообще петербуржцы как-то по-своему принимают и этот сентябрь, и вокзал, и все... А для Елены все это не свое, у нее нет еще привычного взгляда на это небо и камни, и они представляются ей особенными, необыкновенными, как декорации в театре.

Дом, где жил отец, старый дом, построенный при Александре Благословенном³ и принадлежавший князьям Трубниковым, стоял как раз против церкви Николы Морского.

«Хорошо, что напротив церковь и липы старые...», — подумала Елена, входя в этот полуродной и еще неизвестный ей дом. Отец оставил Елену в гостиной одну. Ничто в этой гостиной не напоминало Елене московской обстановки. Там все было светло и чисто, а здесь, по-видимому, не заботились о порядке. Старинная мебель, рояль, темные портьеры — все было в пыли. И пахло чем-то приторным и душным — духами и ладаном.

На круглом столе лежала книжка в зеленой обложке — «*Séraphita*» Бальзака⁴. Елена решила погадать и развернула книжку. Ей попались на глаза строки: «*L'heure a sonné, venez, rassemblez vous! Chantons aux portes du sanctuaire nos chants dissipirons les dernières nuées*»^{*}.

Елена не поняла предсказания и улыбнулась.

В это время к ней тихо подошла мачеха. Она была в черном платье монашеского покроя.

— Сергей в кабинете, — сказала она и протянула Елене маленькую нежную руку. — Пойдемте ко мне.

В комнате мачехи не было мрака, и Елена могла разглядеть эту хрупкую, прозрачную женщину. У нее были

* «Час пробил, приходите, объединяйтесь! Споем у врат Храма наши песни, рассеем последние тучи» (фр.).

большие сумасшедшие глаза, лоб строгий, аскетический, а губы — красные, чуть влажные.

Она заговорила с Еленой просто, как будто давно была знакома с ней.

— Сергей пишет по ночам, засыпает под утро, а я встаю рано и брожу по дому одна. Все думаю, думаю... Я знаю, что у вас в Москве все было на иной лад, и вы не можете себе представить такой жизни, как моя. Боже мой! Какие у вас молодые глаза и какие чудесные волосы. Я чувствую, что люблю вас.

Она протянула Елене обе руки и лукаво прошептала:

— А я вам нравлюсь?

Тогда Елена откровенно сказала:

— Вы — прекрасны.

И эта хрупкая женщина тихо засмеялась, неожиданно по-детски, совсем без лукавства.

Через полчаса Елена уже доверчиво говорила с мачехой.

— Зовите меня просто Людмилой, — сказала она, лаская руку Елены. — Я так рада, что вы будете жить с нами.

Потом пошли пить чай в столовую. Вышел отец. Елена смотрела, как он читает большие пожелтевшие листы с греческим текстом, как он накладывает по пяти кусков сахару в стакан совсем темного чая, она смотрела на его седые спутавшиеся волосы и думала: «Это — гений. Его знает мир. История его не забудет. И я его дочь...»

II

Недели через две Елена поехала на курсы⁵.

Никола Морской, окруженный сентябрьскими золотыми липами, Мариинская площадь и великолепная изумительная Нева в осеннем багрянце — все пленяло Елену.

И весь он, Северный Город, казался таким умным и большим. Вот и Васильевский остров: набережная, иностранные пароходы, морской ветер...

Вот и курсы. В канцелярии с любопытством смотрят на Елену.

— Это дочь Сергея Савинова...

Из канцелярии — в приемную.

— Клавдия. Это — ты?

Клавдия Пояркова — московская подруга: милые мальчишеские глаза, темный пушок над верхней губой... И здесь, как в московском пансионе, окружена толпою и ораторствует.

Ласково блеснула глазами Елене:

— Товарищи! На сходку!

Аудитория полна. Жужжат курсистки, как большие пчелы. Елена забралась на верхнюю скамейку. Шум и возбуждение приятно ее волновали.

Елена плохо соображала, о чем спорят и в чем дело, но было ей весело: девушки, бледные от волнения, поднимали руки, как бы для клятвы; говорили что-то о народе и революции.

Молодость бунтовала.

И Елене хотелось кричать вместе со всеми «товарищи» и «пролетариат». И когда сходка кончилась, и все с песнями потекли из аудитории, Елена тоже запела, и глаза ее сияли.

Клавдия нашла Елену в толпе и потащила к себе. Она жила на Восьмой линии.

В маленькой комнате стояла белая девичья постель. К обоям были пришпилены Маркс, Лассаль⁶ и Бебель⁷ и еще кто-то. На столе валялся томик Максима Горького. Пили чай с сухарями. Клавдия расспрашивала Елену, мило и наивно поднимая свои темные брови:

— Ты большевичка или меньшевичка?

Елена не поняла вопроса. И слова эти почему-то напомнили ей малороссийские «черевички». Елене хотелось засмеяться, но она робко спросила Клавдию:

— А что это значит «большевичка»?

Клавдия посмотрела за Елену с изумлением:

— Как? ты не знаешь?

Она стала деловито рассказывать о том, что ей казалось важным и значительным.

Елена покорно слушала. Потом неожиданно для себя спросила:

— Клавдия! Ты влюблена в кого-нибудь?

Она покраснела и отвернулась.

— Не знаю. Какая ты чудачка.

Кто-то постучал в дверь.

— Войдите, — крикнула Клавдия преувеличенно громко.

Вошли два студента.

— Это — Тарбут, Николай Петрович, — сказала Клавдия. — А это Василий Иванович Андрюшин.

— Ну, что сходка? — спросил Андрюшин, потряхивая весело светлыми кудрями.

Клавдия стада рассказывать. Смущалась почему-то, краснела, хмурилась забавно.

«Клавдия влюблена в этого Андрюшина», — подумала Елена.

Тарбут стоял молча. Лицо у него было смуглое, почти оливковое. И что-то было в этом лице не наше, что-то древнее, египетское. На губах улыбка странная. И глаза сияли сурово.

Андрюшин говорил о сходке, о том, что Максим Горький — чудесный писатель и еще о чем-то, но Елена все время чувствовала, что ему хочется говорить только об одном — о Клавдии и о любви своей.

Елена стала прощаться, — и Клавдия нерешительно ее удерживала.

— Мне тоже пора, — сказал Тарбут.

Он вместе с Еленой вышел на улицу.

«Какая странная фамилия у этого студента: Тарбут, — подумала Елена. — И не поймешь, какой национальности он».

— Когда-то я увлекался сочинениями вашего отца, — сказал Тарбут. — А вы? Что вы думаете о них?

Елена улыбнулась.

— Вы уже перестали увлекаться ими, а я еще не успела разгадать их по-настоящему. Я не все понимаю в сочинениях этих...

— Да, вы — молоды, но в глазах ваших есть что-то отцовское, что-то мудрое.

Елена молчала.

— Это ничего, что я с вами иду? — спросил Тарбут. И не дожидаясь ответа, прибавил: — Мне с вами легко. С вами, кажется, молчать можно. Я люблю молчать.

— И прекрасно. И я не очень умею говорить.

Они пошли на Невский, смешались с толпой, с торопливой и жуткой петербургской толпой. Елена пьянела от нее.

На Садовой свернули, пошли к Летнему саду. С крайней дорожки было видно, как скачут солдаты на Марсовом поле. Бодро звучала медь трубача. И медный отблеск на деревьях и на сентябрьской дорожке, и в небе, на облаках, казалось, вторит боевой трубе.

— Я сегодня проходил по Литейному, — сказал Тарбут, — и видел, как автомобиль переехал собачонку. Она завизжала предсмертно. Я сначала думал, что конец. Но нет: она с минуту, должно быть, кружилась по мостовой. Так странно. Потом упала на бок и старалась голову поднять от земли, совсем как человек. И вдруг заостенела. Одну лапку оттопырила в последней судороге...

— Да, да, — сказала Елена. — Так и мы умрем.

— Умрем и воскреснем? — спросил Тарбут как-то странно, неожиданно и даже остановился посреди дорожки.

— Не знаю. Ничего не знаю. А жизнь пройдет скоро. Вот — молодость. Я так чувствую ее. Она так поет во мне. Но пройдут дни, годы, и я стану такой же седой, как отец. Ему пятьдесят три года, но он, по-видимому, не боится смерти, а я, хотя мне всего восемнадцать лет и я здорова и влюблена в этот чудесный мир, в Петербург, в Летний сад этот, я все-таки думаю о смерти и боюсь ее. Но неко-

торые не думают о ней. Вот Клавдия. Я уверена, что она никогда не думает о ней. Почему?

— Некогда ей.

— Как странно, — сказала Елена, — в первый раз мы с вами встретились и вот говорим о смерти.

— Скоро все заговорят. Закричат, быть может. И это будет ужасно. На улицах будут биться головой о камни. По каналам петербургским поплывут сотнями трупы отчаявшихся. Устрашатся смерти и, не предвосхитив ее тайны, будут умирать в слепом ужасе. Да, да. Умрем в слепом ужасе.

— Вам часто приходится говорить об этом?

— Говорить — нет, думать — да.

— Вот вы сказали: «Умрем в слепом ужасе». Но что же делать? Что?

— Я знаю что, но не умею. Петь надо. Мы разучились петь. Мы сухо живем. В сердцах наших нет влаги, нет песни... Мы увядаем, сохнем... сгораем не в солнце, а просто так, от спички...

— Неужели нет спасения?

— Не знаю. И откуда? Мы что-то потеряли безвозвратно, если только обладали чем-нибудь.

— Страшно жить, — прошептала Елена.

Дождь стал накрапывать; потемнело небо; тихий белый туман стал среди деревьев; пропадали в тумане люди и вновь возникали из него, и они казались теперь случайными пришельцами из чужого мира.

III

Петербург околдовал Елену. Она жила в полусне. И ей казалось порой, что сама она пришла из призрачного царства, что нет у нее воплотившейся души, что вот повеет новая сказка и не станет ее. Елены не станет. Боялась тело свое потерять. Любила его. Стала лелеять. Каждый день, купаясь, нежилась в ванне, любовалась янтарным отсветом на руках своих, линиями бедер и волною милых ног, целовала концы золотых волос своих. Твердила непрестанно:

— Милая, милая плоть. Ты жива. Ты не испепелишься.

А иногда Елена ненавидела свое тело. Оно представлялось ей неживым, косным, обреченным на тление. Тогда хотелось Елене жечь, резать, дробить эту грудь, руки эти — потушить лампы глаз...

Мечтала Елена о боли, о пытках. Пусть придет жестокий и преступный человек. Пусть ударит Елену тонким бичом. Пусть будут кровь и муки. Распятие сладостнее⁸, чем эта душная слепота. Отец говорит, что он знает что-то. Но почему же он медлит открыть тайну? Разве не видит он, как страдает Елена? Как она утасает, гибнет — заблудившаяся, уже утомленная...

А Людмила? Вот и она в печали. Но чем-то светла Людмила. Она — как благоуханный цветок, хрупкий стебель, нежные лепестки — но прелесть живая жива и цветет, хотя оторвали ее от земли, заключили в теплицу.

Однажды Людмила пришла к Елене в комнату, обняла ее и прошептала в ухо:

— Пойдемте ко мне; я буду писать ваш портрет.

Елена покорно пошла за ней. В первый раз увидела студию Людмилы.

— Это не скучно? Это нравится? — с тревогой спрашивала Людмила, показывая картины.

А Елена не знала, нравятся ей или нет эти странные женщины, бледнолицие в голубоватых платьях, склоненные у фонтанов тихоструйных, гадающие около озер, в глубине которых увядает солнце⁹. Из какого тумана пришли к нам эти сестры?

«Какая таинственная душа у этой Людмилы, — думала Елена. — И зачем она вышла замуж за отца моего? И разве не страшно жить так, в плену, у седовласого колдуна?»

Людмила как будто угадала ее мысли.

— Нет, нет, — сказала она. — Я, право, счастлива. И в этом доме я чувствую себя, как в лоне Отца.

— А мне страшно.

— Напрасно. Не надо бояться.

— У вас в доме всегда тишина — и потом вдруг этот неожиданный отцовский смех, от которого у меня падает сердце¹⁰. Вы ведь знаете, как он странно смеется.

Кто-то постучал в дверь. Вошел отец. Он держал в руках телеграмму.

— Это от Анны Николаевны, — сказал он. — Она приезжает сегодня.

Людмила уронила кисть и, не поднимая ее, подошла к отцу и прижалась щекой к его руке.

— Я волнуюсь, отец, — сказала Людмила тихо.

Людмила любила называть его отцом.

— Ты никогда не слышала об Анне Николаевне Калиновской?¹¹ — спросил отец, обращаясь к Елене.

— Никогда.

— Я рад, что ты познакомишься с нею. Она многое знает. Ей многое открыто.

Елена молчала. Когда он говорил загадочные слова, как сейчас, например: «ей многое открыто», — или еще что-нибудь в этом роде, — Елене становилось душно, и, несмотря на ее веру в отца, ей хотелось спорить. Ведь все мы люди, только люди. И почему Анне Николаевне открыто, а ей нет? Почему?

— И вообще я хотел поговорить с тобою, Елена, — сказал отец. Пойдем ко мне.

Елена вопросительно взглянула на Людмилу. Она ласково и утвердительно кивнула головой.

— Иди, иди.

Отец взял ее под руку и повел в кабинет.

— Елена, — сказал он, — прошу тебя: будь внимательна к Анне Николаевне. Она — необыкновенный, она — мудрый человек, она может помочь тебе.

Елена молчала.

— Ведь ты можешь допустить, — продолжал отец, — что некоторые люди обладают знанием, которое другим недоступно. Я свидетельствую, что Анна Николаевна из числа избранных.

Елена хотела предупредить отца, что она, Елена, недоверчива и холодна, зла и подозрительна, но отец, как всегда некстати, рассмеялся. И от этого неожиданного смеха Елене стало жутко, и она ничего не сказала.

Отец еще долго говорил загадочные и значительные фразы. Потом отец поехал на вокзал встречать Анну Николаевну.

IV

Анна Николаевна поцеловала Елену в лоб и, здороваясь с нею, задержала ее руку в своей руке. Как будто прикосновением своим она хотела что-то передать Елене.

На вид ей было лет сорок. Худая и маленькая, в старомодном платье, с седыми вьющимися волосами на висках, в белом воротничке, с движениями неспешными, но уверенными, она казалась сестрой милосердия¹².

Отец с Анной Николаевной говорил почтительно и при ней редко смеялся.

— Я так благодарна вам за письма ваши и за советы, — говорила Людмила, наливая чай Анне Николаевне.

И Анна Николаевна принимала ее слова как должное:

— Верьте, верьте мне, дитя мое. Если мы отвергнем идею перевоплощения, нельзя будет оправдать этот мир. Мы должны коснуться всех граней земли, должны испытать все страдания и, быть может, падения, чтобы научиться, познать и спастись. Низойти во ад, чтобы воскреснуть.

Елена с любопытством слушала новые для нее слова. Потом Анна Николаевна заговорила с отцом. Мелькали выражения, непонятные Елене: «астральный змей», «небесный странник» и еще какие-то.

С тех пор, как приехала Анна Николаевна, у Савиновых назначены были пятницы. Собиралось человек двадцать. Часто приходил Марцианов, Петр Петрович, молодой человек, всегда печальный. Зрачки его глаз были неестественно расширены. И от этого лицо его казалось загадочным. Про него говорили шепотом, что он «пророк».

Бывали знаменитости — Кассандров, Герт, Гребнев и многие другие.

В одну из пятниц Елена, с разрешения отца, позвала Клавдию, Андриюшина и Тарбуга. В тот вечер читал свою статью о параличе церкви Кассандров, Иван Иванович.

Читал он мастерски и не без волнения, своего особенного, холодного волнения. Елена смотрела на его маленькие худые пальцы. Они дрожали и прыгали, ловя рукописные листы.

Кассандров громил православие, торопился объявить, что он теперь не признает синода, приводил хорошие цитаты из Достоевского, из Ницше, уверял, что очень уважает социал-демократию; пусть она последует за ним, Кассандровым; ну, если не вся, так половина. Пронзительно закричал: «Я расколю социал-демократию пополам!»

Анна Николаевна смотрела на Савинова, как будто спрашивала у него, как надо отнестись к речи Кассандрова.

К Елене подошел Марцианов и тихо сказал:

— Не правда ли, когда слушаешь Ивана Ивановича, начинаешь верить, что мы накануне событий?

Елена ответила ему с искренней тоской:

— Ах, право, Петр Петрович, я ничего не знаю.

Они были в глубине комнаты, за камином; их никто не видел; неожиданно Марцианов взял руку Елены и поцеловал.

Елена изумилась. Хотела спросить его, что это значит, но он торопливо отошел от нее.

А около Кассандрова завязался спор.

Сам Савинов говорил, цитируя на память то Платона, то Гёте, то евангелиста Иоанна¹³; говорил мягко, стараясь не обидеть Кассандрова, что «несовместима политика с религиозным эзотеризмом». Но Кассандров все-таки обиделся; старался уязвить Савинова, упрекая его в равнодушии к общественности. Савинов неожиданно рассмеялся.

Заговорил Рубинов, профессор-филолог. Усыпил всех своим бархатными басом.

Но проснулись, когда в разговор вмешался Андриюшин. Он горячо доказывал, что ораторы — буржуа и что рассуждают они о Боге потому, что хотят (быть может, бессознательно) скрыть истинное положение вещей. А положение вещей таково, что не приходится теперь думать о церкви, в параличе она или нет. Ее совсем не должно быть. Одна религия — социализм. Социал-демократия должна бороться с врагами, но и от таких друзей, как Кассандров, должна держаться подальше.

Клавдии Поярковой казалось, что Андриюшин всех убедил — и она радовалась его торжеству.

А Елене казалось, что никто ничего не знает. Все представлялись Елене слепцами. Хотелось ей плакать.

Потом заговорил Тарбут — нескладно, тихо, полувнятно. Стали прислушиваться.

— Вот сейчас говорили о догматах, об идеях, спорили, но кажется, что все по-прежнему, нет перемены, мы никуда не подвинулись. Не правда ли? И я думаю: почему лишь музыка, напевность, ритм приближают нас к предчувствию истины, а слова всегда лживы? Почему? Вот товарищ Андриюшин говорил. И я, пожалуй, с ним согласен во многом. Но все же слова Андриюшина на мой слух нехорошо звучат. Как будто костяшки на счетах. И верно Андриюшин считает: дважды два четыре, а музыки все-таки нет. А нельзя человеку жить без музыки...

— Ах, это мы слышали, — перебил Кассандров, приторно зевая. — Сейчас будете вы рассуждать об адогматизме, о мистицизме, Диониса приплетете. Но спрашивается, во имя чего это?

— В том-то и дело, что ни вы, ни я не знаем, во имя чего расцветает душа, поет сердце... и вообще мы почти ничего не знаем. А то, что знаем, несказанно. Как же вы хотите, чтобы я назвал «во имя»?

— Вы не знаете, а я знаю.

— Может быть, — сказал Тарбут и поднялся с кресла, стоял высокий с печальной улыбкой, — может быть.

Но разве не страшно вам так громко, так нетаинственно называть имя вашего Бога?

— А вам не страшно купаться в безбожном мистицизме вашем? Ведь это, молодой человек, разврат, хулиганство, хлестаковщина какая-то...¹⁴ Ведь от ваших безбожных хороводов молодежь гибнет. Ведь это скука. Ведь это пошлость.

— Я сам понимаю не хуже вас, — сказал Гарбут, хмурясь. — Я сам понимаю, что хоровод может опьянить человека и погубить его. И это страшно. Но что же делать? Ах, если бы кто-нибудь запел о Боге по-настоящему или хотя бы стал шептать о нем в ночи, я бы пошел за ним. Я не безбожник, но что же делать, если слова об имени еще не имя.

Но Кассандров уже не слушал его: он спешил домой. Он любил рано ложиться спать.

В это время Людмила подошла к Елене и прошептала ей на ухо:

— Люблю тебя.

Елена удивилась ее волнению. Людмила повлекла Елену из гостиной. Они почти бежали по коридору. Остановились где-то за большим темным шкафом. Елена видела блестящие глаза Людмилы.

— Что с тобой, Людмила? О чем говорил с тобой Марцианов? О чем? Я видела, как он поцеловал твою руку.

— О чем? Я, право, не помню... Кажется, о Кассандрове... Он говорил, что скоро наступят события.

— О, я не верю ему. Я не верю этому Марцианову. У него лживые глаза. Зачем он целовал твою руку? Зачем?

— Я не знаю, зачем.

Людмила приникла к Елене, прижалась губами к ее губам. Она полуответила на поцелуй Людмилы, такой для нее непонятный.

Потом Людмила ушла к себе и заперлась, а Елена вернулась в гостиную. Проходя мимо зеркала, увидела свое лицо, покрасневшее и смущенное.

Марцианов успел спросить:

— Что с вами, Елена Сергеевна?

Она ничего не ответила.

Наконец гости стали расходиться. Клавдия, прощаясь с Еленой, прошептала:

— Прости меня: ваш дом — дом умалишенных. Беги отсюда, пока сама не заразилась безумием.

— Однако я вас уважаю за статью о казни Бояринова, — сказал Андриюшин, обращаясь к Савинову. — Мы враги, однако я вас уважаю. Спасибо.

А когда Савинов, по своему обыкновению, некстати засмеялся, Андриюшин посмотрел на него с испугом и, недоумевая, пожал плечами.

Марцианов вложил в руку Елены записку. Елена заперлась у себя в комнате и с любопытством прочла это послание.

«Сестра моя! — писал Марцианов. — Я могу и должен называть вас сестрой моей. Я чувствую, что мы стоим с вами на одном пути. Приходите завтра в два часа в Эрмитаж. Я буду у входа. Я должен поговорить с вами. Любящий вас брат Петр».

Записка эта не очень изумила Елену. После его поведения в этот вечер она ожидала от него чего-нибудь в этом роде.

Елена разделась и легла в постель.

— Что ж? Разве пойти?

Елена давно уж не молилась, но почему-то ей захотелось вдруг перекреститься. С минуту колебалась. Потом высвободила руку из-под одеяла и перекрестилась широко. Сама себе показалась смешной и трогательной.

«Ах, как все это странно, — подумала Елена. — И поцелуй Людмилы, и этот брат Петр, и мой отец, который так жутко смеется».

VI

Когда Елена пришла в Эрмитаж, Марцианов был уже там. Он пошел ей навстречу. Елена нерешительно протянула ему руку.

— Ну, вот я пришла. Но зачем, я, право, не знаю. Вы говорите «брат». Если это так, объясните мне почему.

— Я все объясню, все.

Они пришли в пустынную залу и сели на диван.

— Я называю вас сестрой, потому что и вы, и я — избранные. Не мне вас учить и наставлять. Анна Николаевна избрала вас, и она вам все откроет. А я обращаюсь к вам, как брат, за помощью.

— Но что я могу? — спросила Елена, недоумевая.

Глаза Марцианова сияли, и она невольно заражалась его волнением.

— В любви мы все можем.

— Я не знаю любви.

— Да, вы не знаете той любви, которая вся — темный грех и падение. Но вы знаете ту любовь, которая спасает.

— Нет, нет, я ничего не знаю.

— Елена Сергеевна, нам не надо таить истины друг от друга. Все мы связаны одними узами. Тягостна любовь косной земли, но легко иго нашей любви.

Марцианов взял Елену за руку. От его непонятных слов, от горячего прикосновения его руки и упорного взгляда у Елены закружилась голова.

— Вы можете выслушать меня?

— Да.

— Я говорю вам: мы накануне событий. Все, кому открыта истина, должны объединиться. Пробил час. Мы у входа в святая святых.

Елена вспомнила свой приезд в Петербург и как она гадала по «*Séraphita*» Бальзака; вспомнила первые слова: «*L'heure a sonné, venez, rassemblez vous!*»...

«Это пророчество», — подумала Елена.

И тогда она сказала:

— Да, я верю вам.

— Так, так. Вы должны верить. Ну, слушайте: мы должны положить начало союзу, союзу любви. Сергей Владимирович и Анна Николаевна — мудрейшие люди, но они старики. И мы — дети — должны взять на себя всю ответственность.

— Какой союз? Я не совсем понимаю.

— Не понимаете? Но, Боже мой, ведь нельзя же так жить, когда все с неудержимой быстротой мчится в бездну в этом кошмарном машинном прогрессе. Древняя мудрость гаснет. И мы должны спасти святые лампы от этого сумасшедшего вихря.

— Да, да, — проронила Елена машинально, чувствуя, что не слова Марцианова, а что-то иное покоряет ее.

— Ах, Боже мой. Вот идет Тарбут. Нехорошо, если он увидит нас вместе. Пойдемте отсюда.

Тарбут стоял на пороге, высокий, печальный, со своей сфинксовой улыбкой на тонких губах, сияя мудрыми глазами.

Поклонился Елене.

Марцианов повлек ее к выходу. На улице назначил ей свидание у себя. Елена должна была к нему прийти через два дня — двадцать седьмого ноября.

Дома встретила ее Людмила, бледная. Торопливо спросила Елену:

— Где ты была?

— Но разве я должна непременно все рассказывать?

— Как? Ты не хочешь?

— Нет, нет, почему же не сказать? Но я, право, не знаю, могу ли я.

— Вот как. Ты не можешь... Так я сама скажу тебе. У тебя было свидание с Марциановым.

Вопросы Людмилы почему-то обижали Елену, и она холодно ответила:

— Может быть.

Тогда лицо Людмилы неожиданно изменилось. Оно сделалось беспомощным и наивным, и она заплакала, как ребенок. Она опустилась на ковер и зарыдала, обхватив колени руками. Все милое девическое тело дрожало. Она распростерлась на полу, задыхаясь в истерике.

Елена не знала, что делать. Тогда она опустилась на ковер рядом с Людмилой и тоже заплакала, целуя ее маленькие руки. Потом они помирились.

А двадцать седьмого Елена все-таки была у Марцианова. Он жил в одной комнате на Петербургской стороне. Встретил Елену торжественно и строго.

— Мы погибнем, если не удалимся от мира. Кругом разврат и порок. Пока не раскрылась новая любовь, надо жить в аскетизме.

Голос и глаза Марцианова показались Елене тусклыми. Ей стало скучно. Елена хотела уйти, но Марцианов удержал ее:

— Как? Вы хотите уходить? А наше дело? Прежде всего надо наметить желанных людей. Известно, во имя чего мы собираемся, а что нам делать, покажет жизнь, события...

Марцианов стал перечислять лиц, желанных, по его словам. Елена покорно слушала.

— Ну, а Людмила Андреевна? — спросила она, чувствуя, что краснеет. Марцианов пристально посмотрел ей в глаза.

— Людмила Андреевна больной и духовно слабый человек, — сказал он внушительно после долгого молчания. — Вы знаете, между прочим, что она страдает эпилепсией?

— Нет, не знаю. Но ведь это все равно?

— О, конечно, конечно. Я случайно вспомнил об этом...

— Так как же? — спросила Елена еще раз.

— Нет, пока она не должна быть с нами...

Елена чувствовала, что надо кончить разговор и уйти, но не в силах была это сделать: чем-то покорял ее этот Марцианов.

Елена сидела у него два часа и ушла разбитая, как будто исполнила тяжелую работу. На улице вольнее дышалось: только неприятно было вспоминать настойчивые глаза Марцианова.

Когда Елена пришла домой, Людмилы не было. А в первом часу ночи, когда Елена, утомленная, заснула, ее разбудил тихий стук в дверь.

Это вернулась из театра Людмила и пришла к ней: вошла — прекрасная, вся в белом, пахнущая духами...

— Я смотрела «Гамлета», — сказала она. — Боже мой! Как это современно. Как это близко нам... И какая печальная ирония над святыней, над любовью... Какая боль! И потом я вообще думаю: чем оправдать все муки, все эти пытки? Ах, я говорю нескладно, но ты поймешь, Елена, ты поймешь...

Людмила приникла к Елене. Елена ласкала волосы Людмилы. И потом долго они целовали друг друга. И плакали. И смеялись.

VII

На другой день Елена решила пойти к Клавдии. Она писала, что живет теперь вместе с Андрюшиным на Надеждинской. Погода была весенняя — оттепель, талый побуревший снег, извозчики на колесах...

Елена шла по Казанской; встретила наряд казаков, но не сообразила в чем дело. А когда вышла на Невский, было уже поздно: поперек Казанской поставили городских.

Прохожие торопливо шли со смущенными лицами. Около собора чернела толпа, и было ясно, что творится неладное. Когда Елена переходила через улицу, околоточный с красным испуганным лицом крикнул ей, должно быть, худо соображая:

— Расходитесь, господа. Ведь нельзя же так. Расходитесь...

Но свернуть было некуда: по сторонам стояла полиция. Пришлось идти по Невскому.

Елену обгоняли многие: мелькнул господин в цилиндре, толкнулся в табачный магазин, но захлопнули перед ним дверь; барыня со сбившейся шляпой нескладно металась около полицией запертых ворот; мальчишки пробежали со свистом; кто-то пронзительно крикнул:

— Конные полицейские!

Елена оглянулась. Вдоль улицы, по мостовой, полубежала толпа: алело красное пятно; нестройно что-то запевали.

Елена поняла, что не успеет скрыться, толпа догонит ее. Прижалась Елена к магазинной решетке.

Оглянулась: за толпою скакали полицейские; Елена мерила глазами расстояние от ближайшего; уже различала тяжелую лошадь; видела широкий взмах руки, — влажную лошадиную морду с красными глазами...

Уже не пели, уже толпа бежала рассеянная; красное валялось в грязном снегу; человек десять, окруженные, метались растерянно; слышала Елена, как дико закричала упавшая, должно быть, курсистка.

Кто-то в калитку толкнул Елену.

Под воротами стояло человек десять: булочники в белых колпаках, выскочившие из пекарни; благообразный купец в енотовой шубе; тут же плакала дама, потерявшая девочку; ее утешал господин с окровавленной рукой, — пальто его было странно разорвано, должно быть, нагайкой.

Благообразный купец объяснял пекарем:

— Ни в одном государстве беспорядки не дозволяются. В городе Париже, хотя там и бесцарево правление, однако лупят анархистов за мое почтение.

Молоденький булочник дразнил купца:

— А ежели, енотовая шуба, да тебя, да тебя?

— Пеки калачи, да помалкивай, пока я тебя господину городовому не представил.

— А ежели, енотовая шуба, да тебя, да тебя?

Пекарь постарше вмешался в разговор, ища у всех сочувствия:

— Молчи, Сенька: не видишь разве, господин купец из патриотов будет. Куда уж тебе, Сенька, его учить, коли его и японец не выгучил.

Вернулась Елена домой к обеду.

Наступили сумерки, спущены были шторы, горели свечи в канделябрах.

Было уютно, тепло, нетревожно.

А Елена была скучная и злая. С досадой слушала, как Анна Николаевна говорила Людмиле о своем знакомстве с известной теософкой Елизаветой Вильямс¹⁵.

— Елизавета Вильямс — ханжа, — сказала Елена.

Все посмотрели на нее с изумлением. А Елена опять повторила:

— Елизавета Вильямс — ханжа.

Отец засмеялся:

— Елена, ты права, — сказал он. — Я тоже думаю, что она ханжа. Но я читал ее книги, а ведь ты нет. Ведь не читала?

И он опять засмеялся.

Елене стало стыдно.

После обеда все пошли в гостиную. И Анна Николаевна села за рояль. Она стала играть Бетховена — «Патетическую сонату»¹⁶...

Потом пришли Гарбут, у которого с Савиновым были теперь какие-то литературные дела, и старый профессор Рубинов. Профессор говорил:

— Идут на демонстрацию, а потом плачут: «ай, ай, обидели городовые». Но, господа: или мы дети, тогда не смейте рассуждать о конституции; или, если мы хотим быть взрослыми, не удивляйтесь, что городовые исполняют свои обязанности.

— Но ведь это жестоко, — сказала Елена. — Это жестоко и скучно, профессор.

— Политика, Елена Сергеевна, всегда жестока.

— Тогда не надо политики, профессор.

— Господа, — сказала Людмила, — вы все рассуждаете так и так, а вот горничная Феня рассказывала, что сегодня на Невском дворники на ее глазах студента за волосы таскали, и он мотался, как мешок, из стороны в сторону. Ведь это ужасно. Вы говорите, философствуете — но ведь это все идеи, а жизнь такая грязная, такая страшная. Что же делать? Что делать? Вот я слабая, ленивая, порочная, по вы-то, господа, умные, сильные, уверенные в себе — почему же вы не умеете перестроить жизнь так, чтобы не стыдно было жить, любить, не озираясь на голодных и замученных?

— Да, — сказал Гарбут, — вы правы. Жизнь наша постыдна. Две правды почему-то не могут соединиться.

Иные несут тяжкую работу, кровавую работу, но порой кажутся упрямыми слепцами и не могут понять, что часть не есть целое; другие сумели посмотреть на историю, на мир со стороны, но трусливо бегут от земли, от труда, от борьбы... Почему это? Вот Кассандров, кажется, понял теперь, что если не соединятся две правды воедино, спасения нет, но чего-то недостает Кассандрову. Я не знаю чего...

Гости разошлись в два часа, а ровно в три с Людмилой сделался эпилептический припадок. Она упала в спальне около кровати; билась в жестоких судорогах: лица узнать было нельзя; на губах была розовая пена...

И когда Елена смотрела на Людмилу, ей тоже хотелось броситься на землю и закричать неземным голосом и все забыть.

VIII

Елена предложила Марцианову ехать с нею в Лесное. Там она заставила его бродить по снегу. Он все боялся простудиться и вообще чувствовал себя беспомощным среди деревьев. Пробовал он говорить о союзе любви. Но Елена громко смеялась и толкала его в сугроб.

Они озябли, промочили ноги. Зашли в чайную греться.

Рыжеватый рабочий с подвязанной щекой говорил о ком-то неизвестном:

— Я тебе, братец, верно говорю: если наш поп захочет, все будет дадено.

Но его собеседник упрямылся:

— Держи карман шире. Заладил: «дадено, дадено». Нашли дураков? Будете мертвыми галками на снегу валяться.

— Что ж, по-твоему, поп дурак? Нет, милый человек, ему все пути известны.

— Мертвыми галками... на снегу...

В другом углу оборванец говорил девушке в черном платочке:

— Распрекрасная моя царица. Прогони ты его подлеца, полюби меня молодца...

— Страшно мне, Егор Иваныч.

И потом опять:

— Распрекрасная моя царица.

— Страшно мне...

— И мне страшно, — сказала Елена Марцианову. —

Поедемте в город.

Уже горели в городе огни.

Дома разноцветными мерцающими вывесками дышали, как жабрами.

Толпа любопытствующая, тайно взволнованная ожидала чего-то. Разъезжали патрули, и пронзительно свистали им вслед мальчишки. Около «Café de Paris» околоточный сажал на извозчика с городовым проститутку, и она кричала на всю улицу:

— Фараоны проклятые! Нет на вас погибели!

Марцианов уговорил Елену ехать к нему. По дороге они купили ветчины и красного вина. Елена проголодалась и с удовольствием закусывала и пила вино, а Марцианов толькопил: мяса он не ел.

— Ну, продолжайте, — сказала Елена, — вы утверждаете, что пока человечество не найдет иной формы любви, мы должны жить аскетами. Так называемая брачная жизнь — грешна, безобразна, преступна.

— Да, я это утверждаю. Но я думаю, что и теперь есть среди нас такие, которым дано любить целомудренно, без греха и преступления.

— И вы знаете таких?

— Да, знаю.

— Не Вы ли избранный?

— Да, я.

— Прощайте, — сказала Елена, — мне пора домой.

— Нет, не уходите. Я говорю: мне можно то, чего другим нельзя.

Елена не понимала, шутит он или нет. Губы кривились в улыбку; глаза блестели.

— Что с вами? — сказала она и хотела встать.

Марцианов взял ее за руки и притянул к себе.

— Вы для меня — желанная сестра. Я люблю вас.

Неожиданно он обнял Елену и приблизил свои губы к ее губам.

Она с силой толкнула его в грудь, так что он пошатнулся, и, одеваясь на ходу, выбежала на улицу.

Елена не чувствовала раскаяния. Ей было смешно.

Она торопилась домой, чтобы все рассказать Людмиле, но Людмила уехала куда-то с Савиновым. Одна бродила Елена по комнатам, зажигая везде свечи, потому что жутко было во мраке.

Зачем-то пошла в кабинет отца — и удивилась, что там свет и кто-то разговаривает: в большом кресле сидела Анна Николаевна.

Стало страшно Елене.

— С кем же она говорит?

Остановилась на пороге, не смея переступить его. Тихо и внятно говорила Анна Николаевна кому-то, кого Елена не видела.

«Хорошо, я исполню все, что ты велишь мне...»

Она помолчала, прислушиваясь, покорно наклонив голову.

«И до самой смерти. Да, да. И до самой смерти...»

Она протянула руки, улыбаясь.

Елену охватил несказанный ужас. Она хотела крикнуть и не могла; хотела бежать, но не слушались ноги. Она почувствовала, что голова ее кружится.

«Должно быть, я простудилась в Лесном, — подумала неожиданно. — Конечно, у меня лихорадка».

Потом она потеряла сознание. А когда очнулась в постели, около нее была Людмила.

— Ты — больна, — сказала она, — тебе нельзя говорить: молчи.

И вот начались странные дни и ночи — дни и ночи непонятного томления. Любовь и смерть предстали в своей извечной правде.

Елена падала и вновь поднималась — и так возникали дни и ночи от бездны к полету.

Засыпала в тяжелом бреду. Снился отец. Большеголовый, потрясая седой бородой, подходил к ней и шептал на ухо: «Думаешь ли ты о Боге, Елена?» Потом исчезал отец, и кружилась по комнате Анна Николаевна, падала на бок и старалась голову поднять от земли, совсем как собачка, про которую рассказывал Тарбут.

Просыпаясь громко кричала:

— Тарбут! Тарбут!

На мгновенье видела лицо Людмилы.

И вновь засыпала. Старалась вспомнить, кто говорил: «Распрекрасная моя царица».

И сама шептала:

— Страшно мне...

Пекаря проносили в енотовой шубе завернутую девочку и ласково ей говорили:

— А мамочку Боженька взял: ее лошадки копытцами потоптали.

— Страшно мне...

— Мертвыми галками на снегу...

Вот белые хризантемы; вон белеет рука, чья рука? Выходит из тьмы тетя Серафима — столетняя курсистка.

— Я — большевичка: поцелуй меня...

— Нельзя, тетя, потому что ты умерла и я могу заразиться смертью. Это очень опасная болезнь.

Но вот опять стоит Анна Николаевна в своем белом воротничке.

— Я — сестра милосердая. Я умею гадать по звездам. Видишь ли их сияние? Это полунощный свет.

И Елена повторяет:

— Полунощный свет.

— Свет во тьме светит, и тьма не объяст его¹⁷.

— Ах, какой необыкновенный свет.

— Я тебе всегда говорила: не спи по ночам. Я тебя научу любви предсмертной.

— А ты меня, сестра, не обманешь? А, вижу, ты оскорбилась. Я шучу: ты сама обманулась. Вот что я хочу сказать. Но позвольте, Анна Николаевна, это все философия, а вот зачем на меня енотовую шубу навалили, этого я не понимаю. Мне жарко, жарко, жарко...

— А ты посмотри на звезды, и станет тебе прохладно.

— Да, вы правы: какой холодный этот ваш полуночный свет.

— Это — покойный свет. Покойника пронесли...

— Упокой, Господи, душу раба твоего...

— Мне холодно, Анна Николаевна, шубу мне енотовую...

Однажды Елена открыла глаза и видит день. Сидит перед нею в кресле Людмила, спит, лицо утомленное и бледное. Елена позвала тихо:

— Людмила.

Она очнулась, прильнула к Елене.

— Милая, милая! Молчи, ты — больна.

— Это ничего. Я хочу спросить тебя...

— Нельзя, нельзя говорить... Доктора запретили...

— Один вопрос...

— Ведь ты — девушка? Ведь ты не живешь с отцом?

— Конечно, Елена, конечно... Но зачем тебе знать?

Всего сейчас не сумею рассказать... молчи, молчи...

Елена потеряла сознание. Опять закружился темный кошмар. Огромные пауки ткали свои серые сети, лапами мохнатыми шевелили. Запуталась в паутиной сетке Людмила.

И потекли, возникали сны, возникали из доземного, пугали и манили — и звали, и звали за собой на лунную тропу, где неумолимая тишина.

Очнулась однажды ночью Елена — совсем трезвая, здоровая. Опять, как раньше, спала в кресле Людмила. Елена не стала ее будить. Жалко было. С нетерпением ждала рассвета.

Утром Людмила плакала от радости, что жива Елена. И вновь началась дружба.

Еще была слаба Елена, не могла встать с постели, но уж позволили ей говорить. Она сказала Людмиле:

— Есть правда и мудрость в этом доме. И мой отец хорошо беседует и с Платоном, и с Гёте... И верю я, что неземные голоса вняты Анне Николаевне; и Кассандров почти всегда говорит правду, когда приходит в этот дом. Но скажи мне, Людмила, почему это наивная Клавдия, милая наивная Клавдия, и полуобразованный Андрюшин, и даже пекаря, которых я видела под воротами, когда на Невском полиция кого-то била, почему все они остаются как-то оправданными, хотя говорят нередко совсем неумные; совсем ненужные слова. Почему?

— Они не всегда оправданы.

— Да, не всегда. Но и этому дому нет спасения.

— Может быть. И я не знаю, что делать.

Тогда Елена сказала тихо, сама не понимая еще как следует, что говорит, как будто кто-то иной за нее сказал:

— Нужна жертва.

И неуверенно переспросила:

— Жертва?

IX

Елена лежала с закрытыми глазами и подслушала разговор.

Савинов говорил:

— Безумие! Безумие! Завтра они идут к Зимнему дворцу. Их уж нельзя остановить...

— Да, это ужасно, — ответила Людмила. — Но что нам делать? Что?

— Рубинов был у министра и говорил ему, что это всемирный позор. По-своему, патриотически говорил...

— Что же министр?

— Министр сказал: это не от меня зависит.

— Будет кровь, будет кровь...

Елена догадалась, что говорят о рабочих.

«Я буду с ними», — подумала она.

У нее опять началась лихорадка, и снова хлынул из нее поток видений.

Во сне боялась проговориться, что хочет идти. Металась в постели, кусая губы. Когда глаза открывала, никого не было в комнате. Потом заснула тяжелым сном без видений, а когда проснулась, было светло. И одна была по-прежнему.

«Неужели не сумею встать?» — подумала.

Закружилась голова, едва ступила на пол. Оделась. Вышла в коридор. Никого не было. Пробралась на лестницу, на улицу, мимо изумленного швейцара. Пошла по Екатерингофскому проспекту, пьянея от воздуха. Морозило сильно, но распахнула шубу, зачем, сама не знала.

Прислушивалась к улице, чужой и близкой, всегда непонятной.

Белая мгла висела над городом. И в холодном тумане алело солнце без лучей, как окровавленный круглый щит.

На углу Вознесенского встретила с конным патрулем. Рядом бежала толпа, переключаясь с солдатами.

— Неужто стрелять будете?

— А по-твоему бунтовщиков пряниками кормить?

— Ай да солдат. В своих же, в православных христиан...

— Мы небось присягали.

— А японца испугались...

— Ну, поговори еще. Больно ты шустрый.

На Казанской, около костра, старуха рассказывала. Слушало человек десять.

— Проснулась, а его, родимого, и нету. Туда-сюда. Ушел. Спрашиваю Матрену: не видала ли? — пошел — говорит — за Невскую заставу; оттуда — говорит — тьма-тьмущая идет. Одних судостроительных Бог знает сколько. Ну, где же его, светики, разыскать. Вот и маюсь так, не пимши, не емши...

— Моли Бога, старуха...

— А Матрена говорит: не сносить — говорит — ему головы. Лучше бы говорит — ему головой в прорубь.

По Гороховой бежала толпа, с криками и свистом; вослед проскакали солдаты; впереди — молоденький безусый офицер, с круглыми непонимающими глазами.

Опрозрачилась мгла над городом, и багровое солнце ширилось в небе, как бы распуская крылья, пламенея в надземном просторе.

Елена спешила к Зимнему дворцу, но возвращали ее назад то полицейские наряды, стоявшие поперек улиц, то нестройные толпы беглецов.

С трудом пробралась к Александровскому саду; прижали ее к решетке; видела, как чернеет безмолвная толпа — и напротив, и наискось серые жуткие ряды солдат.

Ни во что не верила — ни в эти штыки с багряным, холодным на них отблеском петербургского солнца, ни в эту глухонемую землю, побелевшую — снегом покрытую.

Потом потеряла сознание. Очнулась: все так же стоит, прижавшись к решетке, рядом простоволосая баба, с необыкновенно бледным лицом, и какой-то горбоносый студент, и еще кто-то. И все недвижны. И неумолимая тишина.

Смотрит Елена через плечи студента на черную толпу. Знает, что скоро, что сейчас...

И все-таки неожиданно и странно опустились на белый снег эти черные люди.

— Черными галками на снегу...

И тишина. Тишина.

Двинулась Елена вместе с толпой прочь от решетки — вдоль Адмиралтейского проспекта.

Мимо несли человека. Увидела Елена запрокинутую голову — смуглое лицо, непонятную улыбку, глаза подвижные, устремленные вверх — к багровому солнцу.

Не удивилась Елена. Подумала только: «Да, это он, Тарбут. Я так и знала».

Вспомнила слова его: «Умрем в слепом ужасе».

На улице было тихо.

СЛЕПЫЕ

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...

М.Ю. Лермонтов

I

В переулках еще лежал талый побуревший снег, но уже веял влажный ветер и мартовская оттепель накрепко взяла землю.

Борис Андреевич Лунин, ослепленный весенним небом, торопливо переходил через площадь с Николаевского вокзала на Рязанский. Едва не раздавленный шальным автомобилем, промочив изрядно ноги, он попал наконец на подъезд вокзала. Рассеянно сунув сак и деньги посыльному, пошел он в буфет. И здесь чувствовалась московская весна — и в странной смеси зимней и летней одежды, и в запотевших окнах, и в лужах от калош, и в несколько возбужденном говоре пассажиров.

Лунин с любопытством осмотрелся вокруг, узнавая знакомое... Вон пробежал лакей с дымящимся стаканом чая и двумя пирожками; вон проплыл важно седоусый начальник станции в красной фуражке, преследуемый хлопотливым пассажиром; вон бледноликая дама в трауре. Все то же самое, и весна такая же.

Борису Андреевичу Лунину на вид можно было дать лет тридцать. Но уже немолодая грусть светилась тихо в его глазах, заключенных в синевато-желтые круги. Слишком красные губы, серебристо-матовая бледность и рассеянный взгляд — все отличало лицо Лунина от заурядных физиономий.

Толпа пассажиров со смешной торопливостью хлынула на перрон. Рассеянно занял Лунин первое попавшееся место в вагоне. Рядом сидел молодой человек; и Лунину показалось, что где-то он видал его, этот низкий упрямый лоб с черными на нем кудрями, эти глаза, мечтательные и злые, этот страстный рот и слишком белые зубы...

И молодой человек сделал движение в сторону Лунина, как бы желая поздороваться. Вскоре разговорились. Молодой человек назвал себя графом Бешметьевым и объяснил, что знает Лунина: видел его портреты и в прошлом году встречал в Мариинском театре на вагнеровских спектаклях.

Стараясь побороть свою болезненную рассеянность, поддерживал Лунин разговор, заинтересовавшись не тем, что говорил ему собеседник, а его до странности мечтательным взглядом и непонятной улыбкой, некстати змеившейся под темными усами.

Лунин почувствовал, что встреча с этим графом будет иметь для него какое-то значение. И это предчувствие, а может быть, и не совсем обыкновенное лицо соседа расстрожили Лунина. Из разговора выяснилось, что оба они едут до станции Пустынино.

— Я туда еду без определенного плана, — сказал Лунин задумчиво, — не знаю, как там устроюсь. Мне говорили, что в Пустынине есть дачи и что их мало, и вокруг тихо, а мне это и надо. И хотелось пожить еще в Московской губернии: я все-таки москвич, хотя Петербург и покорил меня...

Бешметьев с готовностью рассказал, как можно в Пустынине устроиться. Он сам едет сейчас в имение к князю Ховрину. Это в трех верстах от станции. А на полпути — дачи. Если Борису Андреевичу нужно небольшое помещение, лучше всего снять у Михневича.

— Мне называли эту фамилию, — сказал Лунин.

— Этот Михневич — зять местного священника.

— А вы знаете этого священника?

— Как же! Знаю. Отец Григорий...

— Вот как! Может быть, вы и семейство знаете отца Григория?

— Да, знаю. Видел его дочку, Наталью. Приятная барышня. И Александру, ту, что за Михневичем, тоже знаю.

— А другую сестру, Анну Григорьевну, вы не встречали? — спросил неожиданно Лунин.

— Нет, не встречал. А вы, стало быть, отчасти знакомы с этим семейством, — сказал Бешметьев, улыбаясь.

— Да, я встречался с Анной Григорьевной в Петербурге. Она, между прочим, хвалила мне Пустынино. Рассказывала, что в имении князя парк замечательный.

— Парк чудесный и, можно сказать, таинственный. Прекрасный парк. А про Анну Григорьевну я слышал. Она, если не ошибаюсь, замужем за инженером Полянским. Говорят, эта Анна Григорьевна красоты необычайной...

Лунин ничего не ответил и задумался. Молодой человек не тревожил его и, только когда приехали в Пустынино, напомнил, что пора выходить из вагона.

У станции стояли от князя присланные сани, и Бешметьев предложил Лунину подвезти его до дачи Михневича. В Пустынине еще лежал глубокий снег, и лишь кое-где на буграх чернела обнаженная солнцем мартовская земля. Свеж и прозрачен был воздух. Вороны с гортанным криком перелетали изредка с ели на ель, отряхая большие снежные хлопья; ехать пришлось по лесной просеке. И казалось, что кто-то благословил белый путь, и ели, и сосны на тишину. Странен был скрип полозьев на этом пути.

Лунин поблагодарил Бешметьева и побрел к домику Михневича, проваливаясь в снег. Визгливый лай потревожил обитателей усадьбы: на крыльце появился высокого роста мужчина и свистнул собак.

Рослый человек назвался Михневичем и повел Лунина в комнату. Там было душно, тесно и шумно. Куча невымытых ребят возилась вокруг русоволосой женщины

с утомленным лицом, которую Михневич назвал своей женою. В комнате был беспорядок. На стене висели лосиная голова и ружья. На столе валялись какие-то брошюры...

Семен Семенович Михневич, по-видимому, имел некоторое понятие о Луinine и смотрел на него с любопытством. Лицо Михневича показалось Луinine занятым. Оно все заросло свинцовой щетиной, а там, где не было волос, кожа на нем была похожа на измятую серую замшу. Когда Михневич смеялся, сотни морщин лучились на его физиономии и маленькие серые глаза светились лукаво. Одет он был в блузу и высокие сапоги.

Когда Луinin объяснил, зачем он приехал, Михневич набросил на плечи тулуп и пошел показывать дачу. Луinine все нравилось — и дача, и старая мебель в ней, и то, что обедать ему придется у священника, тестя Михневича.

— А что этот граф Бешметьев? — неожиданно спросил Луinin. — Вот он меня к вам подвез... Что он за человек? Вы его хорошо знаете?

— Встречался... Человек мне непонятный, молчаливый... И, кажется, от любви голову потерявший...

— От какой любви?

— А видите ли, этот самый Бешметьев женихом считается княжны нашей, Любови Николаевны. Только что-то свадьбу все откладывают... А граф, видимо, истомился. Одним словом, знаете, довольно глупая канитель вот уж второй год тянется... А вы как же? В город вернетесь? А то, если хотите, оставайтесь здесь: на ночь вас устрою; Мисаил дачу протопит...

— Если я вас не стесню, я останусь, пожалуй, — сказал Луinin, чувствуя, что слепнет от снега и мартовского солнца.

II

Сад перед дачей весь был в сугробах, и только одна дорожка была протоптана до калитки. Утром пришел Мисаил ставить самовар и начал разговор по собственной охоте.

— Вчера видели княжну с женихом. Подъезжали к самой станции, а потом повернули — и домой. Княжна

правит, а он с нее глаз не спускает. Чудная эта княжна. Второй год невестится...

Лунин ничего не ответил, но Мисаил не унимался и еще с полчаса топтался у порога, расспрашивая Лунина обо всем, о политике, между прочим: не был ли Лунин в Петербурге девятого января и не видал ли попа Гапона?¹ И кто такой Каляев?² И что теперь делается в Черниговской губернии? У него, Мисаила, под Черниговом тетка Лукерья живет, болеет ухом, но баба хорошая.

Когда Мисаил ушел, Лунин сел было работать, но вскоре встал и долго бродил по комнате, потирая руки и бормоча.

В три часа с лаем влетела на террасу собака и закружилась по ней, яростно стуча хвостом. Послышался молодой, свежий голос:

— Сверчок! Сюда! Сверчок!

Это кричала Наташа, с которой вчера познакомился Лунин.

— Борис Андреевич! Я за вами пришла.

Пошли обедать к отцу Григорию. Авдотья Павловна угощала жирными яствами и хлебным квасом. Ни водки, ни пива не было — и это даже умиляло Лунина: так он отвык от трезвой жизни.

Сам отец Григорий, старик с тяжелой седой бородой и грустными глазами, говорил мало. Зато сын его, Эксакустодиан, студент со значком общества «Громобой», затеял разговор на серьезные темы.

Говорил сердито и неуверенно:

— Войну проигрываем, потому что в войсках крамола. А в Писании сказано: «Противящийся власти, противится Божию установлению»³. Святополк-Мирский на том свете ответит за потворство бунтовщикам... А может, и здесь успеем посчитаться с либералами...

Лунин заметил, что глаза у него тусклые, как у мертвой рыбы, кожа на лице дряблая, губы вялые... И слова его были тяжелы и скучны. И очень ему хотелось, должно быть, чтобы Лунин возражал, но Лунин молчал.

Тогда Эксакустодиан Григорьевич продолжал:

— Вообще разврат пошел... Вот еще декадентство... Оно хуже, чем анархизм, потому что посягает на корень вещей...

— Эксакустодиан! — сказала Наташа. — Ты на дятла похож...

— Мамаша! Слышите, что она говорит? Уймите безобразницу! — крикнул Эксакустодиан, и неожиданно в тусклых глазах его загорелся огонь.

После обеда Наташа предложила Лунину идти на лыжах.

Они с трудом, проваливаясь в снег, добрались до дороги, а там легко, по насту, побежали к княжескому парку.

Воздух был прозрачен, и было приятно бежать, но уже хрупок был подтаявший снег, казавшийся лиловым под солнцем.

Наташа с веселым любопытством посматривала на Лунина. Ему нравилась эта семнадцатилетняя девушка, но он не знал, о чем и как надо с ней говорить: так далек он был от юности и так редко видел молоденьких девушек.

— Я знаю, что вы в Петербурге встречали Анну, — сказала она и покраснела. И, помолчав, прибавила: «Надо признаться: я завидовала ей, право...»

— Вот этого я не понимаю, — сказал Лунин, улыбаясь.

— Ах, это так понятно, Борис Андреевич! Я видела ваши картины. Я люблю их. И вот интересно и страшно увидеть того, кто что-то разгадал, чего другие до него не понимали.

— Я думаю, что творчество — болезнь, — сказал Лунин серьезно, — и все мы, художники, — больные. Знаете ли, вроде чахоточных. В сущности, от нас надо подальше: мы заразительны.

Наташа звонко засмеялась.

— Ах, какие глупости!..

— Нет, Наталья Григорьевна, я не шучу. Пока мы здоровы, все кажется обыденным, а вот заболит душа — и начнешь видеть по-новому, все станет фантастическим, интерес-

ным, необыкновенным. Но самое плохое — это то, что мы, соблазнившись необыкновенным, начинаем поддерживать в себе болезнь и все стараемся запомнить что-то и запечатлеть. Это — самое стыдное. От такой вечной корысти мы уж делаемся не холодными и не горячими, как надо быть человеку и как Писание велит, а только теплыми⁴. При такой средней температуре мы и живем, и любим, и страдаем. Когда настоящий любовник убивает, мы только картину пишем. И это ужасно: здоровый человек один раз в страсти преступление совершит, а художник десять раз убьет, пока картину напишет. Это, кажется, нехорошо, что я молоденькой девушке такие вещи говорю, а впрочем, все равно...

— Мне все можно, — сказала Наташа серьезно, — я взрослая...

— Так вот, — продолжал Лунин, — уж кто-кто, а художник наверное погибнуть должен. Такое у него нехорошее ремесло. Возьмите поэта какого хотите великого, со всеми его прозрениями, с его великолепной мечтой, и все-таки в конце концов, если подслушать его шепот, услышишь неожиданное и кощунственное признание, от которого разум туманится... Художник обречен на вечные падения и муки. Он всегда оскорбляет то, что ему дороже всего в сущности... Я, пожалуй, всем не сказал бы этого и не написал. Ведь все равно не скажешь самого главного... Да и стоит ли открывать всем всю правду? Я вот сейчас так разговорился с вами, не знаю почему. Мне кажется, что я говорю с юностью вообще, не с тою, что суетлива, многошумна, а с тою, что задумалась и чего-то ждет. Это оттого, что сейчас тишина такая снежная, и вот пахнет весной, и глаза у вас милые...

Так разговаривал с Наташей Лунин, стоя у конца просеки, откуда был уже виден княжеский парк и ближе — пруд, теперь занесенный снегом, заметный только потому, что на нем чернела купальня.

С другой стороны, за взбугрившимися снежными холмами, синели дымки деревни. Оттуда слышался сиповатый лай, и казалось, что там сейчас большая грусть.

— А вам нравится Анна? — неожиданно спросила Наташа, наивно и доверчиво заглядывая в лицо Лунина.

— Нравится.

— Да, да... Она — необыкновенный человек! — прошептала Наташа мечтательно. — Вы знаете, вот я сестра ее, а я почти влюблена в нее, право. Если бы я была женщиной, я бы сказала ей, что вот пусть она прикажет мне — и я брошусь в огонь, умру за нее. Но я боюсь ее, Борис Андреевич. Вы знаете, она жестока. Она никого не жалеет. Она только красоту любит и больше ничего не любит.

— Жестока?

— Да, да... Что вы так смотрите на меня? Если человек слабый и бесталанный будет гибнуть на ее глазах, она не пожалеет его никогда. А вот над стихами Пушкина она плачет. Прочтет: «Когда для смертного умолкнет шумный день»⁵, — и слезы, слезы... А как она красива! Правда, она красива?

— Да.

— У нее лицо меняется, как небо. Тень такая серебристая пробежит — и все черты, и все краски делаются новыми, неожиданными... А какие брови у нее умные и строгие. И тишина в них какая. А где-то далеко в глубине глаз — черная буря... Ведь я правду говорю, Борис Андреевич?

— Да. Правду.

— А рот у нее — как осенняя роза темная...

— Да, да... Как роза темная...

— Ах, я люблю Анну, люблю Анну...

В это время послышался звон бубенцов и на дороге показались шведские санки, запряженные парюю. Кто-то ехал на станцию.

— Это княжна и Бешметьев, — сказала Наташа, — они каждый день катаются.

Когда санки мчались мимо, Лунин увидел белокурую девушку в собольей шубке. Девушка ударила бичом и звонко крикнула:

— Здравствуйте, Наташа...

Бешметьев раскланялся с Луниным.

— Я не люблю княжны, — сказала Наташа, — я знаю ее. Она холодная, как лед...

Назад они бежали на лыжах молча, и, только прощаясь, Наташа спросила Лунина:

— А мужа Анны вы знаете?

Лунин нахмурился и ответил сухо:

— Нет. Не знаю. Я познакомился с Анной Григорьевной, когда ее муж был в экспедиции, на Алдане... Он ведь и сейчас там...

— Да, да... Кажется, впрочем, он летом вернется...

— Вот как. А вы с ним дружны?

Наташа засмеялась:

— Вы знаете, он похож на автомобиль. Вы сами увидите. Он — неуправляемый, и в нем рычаги какие-то.

Наташа опять засмеялась.

III

Наконец пришла настоящая весна, с половодьем, грачами и великолепным шумом апрельского ветра. Лунин, в высоких сапогах, с крепкой палкой в руке, бродил по окрестностям. Доходил до речки Чернявки и подолгу стоял, прислушиваясь к ее ропоту, и смотрел с любопытством на ее пенистые мутные воды.

В княжеском парке работники убрали мостки, и уже подсохли дорожки, щедро посыпанные красным песком. Управляющий велел снять деревянные футляры со статуй. Теперь Киприда и Амур, Громовержец и Марс⁶ розовели в лучах весеннего солнца.

Прошлогодние листья, сметенные в кучи, остро пахли. Круглую беседку исправляли кровельщики. Они ходили по крыше, распевая во все горло. И железо гнулось с громким треском под босыми ногами.

На широкой аллее встречал часто Лунин княжну и Бешметьева. Они катались верхом. Княжна, в амазонке, с густыми рыжеватыми волосами, выбившимися из-под

черной шляпы, казалась красивой, смелой, весенней... Бешметьев страстно смотрел на нее.

Она кивала Лунину как знакомому. Один раз ему показалось, что княжна обернулась смеясь и как будто хотела что-то сказать ему, но потом ударила лошадь хлыстом и пустила ее галопом.

По утрам, когда Лунин, проснувшись, открывал глаза, потоки весеннего солнца обрушивались ему на грудь. Ему казалось, что снова молодость посетила его. Он торопился одеться, распахнуть дверь на террасу.

Однажды, когда он вышел так, приветствуя небо и влажную апрельскую землю, сердце его полетело на крыльях в непонятную голубизну: перед Луниным стояла Анна Григорьевна.

Она была вся тут перед ним, обжигая его сиянием своих глаз, вся томная, ожидающая, влюбленная, как весенняя земля.

Он стал на колени, не находя слов, бормоча несвязно: — Ты... Ты... Опять со мной... Люблю, люблю...

Он припал к ее рукам. Потом торопливо повел ее в комнаты. На пороге они остановились, не в силах идти дальше. Она приникла к нему, и губы их встретились. Лунину показалось, что вот он сейчас открыл что-то новое в Анне, что и поцелуй ее какой-то новый.

И когда Лунин увидел ее распустившиеся волосы и глаза, потемневшие от страсти, и ее грустную улыбку, он богомольно прижался к ее ногам.

— Люблю... Люблю...

— Все — как сон! — сказала она, делая такой жест, как будто она отмахивается от видения. — Все как сон, Борис! Я не знаю, что со мной... Мне хорошо, мне хорошо. И откуда это голубое вокруг? И этот шум откуда?

— Это весенний шум, Анна.

Они вышли на террасу, и Анна, простирая руки, громко кричала:

— Здравствуй, апрель! Здравствуй, лес мой!

И вот, когда она так стояла с поднятыми к небу руками, изнемогая от любви, Лунин вдруг сделался мрачным, как будто вспомнил что-то.

— Когда приедет муж? — спросил Лунин сухо, стараясь не смотреть в глаза Анны.

— В июле, вероятно. Он сам не знает, должно быть. Они замолчали.

— С мужем все кончено, — сказала Анна Григорьевна тихо, — разлюбишь ты меня или нет — с мужем я жить не стану.

— Да. Но ты жила с ним.

Анна Григорьевна со страхом посмотрела на Лунина и стала торопливо поправлять прическу.

За обедом Анна Григорьевна сидела бледная, и на губах ее была улыбка, слабая и печальная.

Наташа волновалась и даже спросила, не утерпев:

— Анна! Что с тобою, Анна?.. — и грозно посмотрела на Лунина.

Эксакустодиан, ничего не замечая, рассуждал о политике:

— Русские люди должны сплотиться... Интеллигенция ожидала: министры трусят и либеральничают.

Отец Григорий кивал задумчиво головой и говорил как будто некстати:

— Не высокоумствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе...

Авдотья Павловна угощала пельменями. Иногда восклицала, обращаясь к Анне:

— Прекрасная ты моя! Уж рада я тебе и не знаю как. А муж-то когда приедет?

— В июле, должно быть.

И, забыв ответ, немного погодя опять спрашивала:

— А муженек-то когда приедет?

Принесли телеграмму со станции.

— Анне Григорьевне Полянской.

Она покраснела, распечатывая.

Кто-то спросил:

— От кого это?

Она прошептала:

— От мужа. В июле приедет.

И скомкала в руке телеграмму.

IV

Михневич пришел к Лунину с большим листом и сказал:

— Пожалуйста подписаться, Борис Андреевич.

— А в чем дело?

Михневич стал рассказывать что-то сложное об обществе трезвости, о народном доме, об исправнике Усачеве...

Лунин махнул рукой и взял перо. Подписываясь, заметил, что в числе учредителей есть и княжна.

— Вот нашего полку прибыло, — сказал Михневич. — Пойдемте, я вам огороды мои покажу за то, что вы человек сговорчивый.

Шли лесом. Там было сыро и мглисто, а в ямах поглубже лежал даже кое-где снег. Шумно пролетел глухарь, испугав Лунина.

Михневич говорил о социализации земли, и казалось, что он вслух читает брошюру — так у него все гладко выходило.

Лунин, улыбаясь, сказал:

— Вот вы складно говорите, Семен Семенович, а все-таки вы мне больше нравитесь, когда молчите. Вы не обижайтесь. Я не хочу сказать, что вы худое говорите. Только такие слова, знаете ли, всегда бескровны, а вот то, что у вас взгляд лесной, что вы огород любите, что вот, я слышал, пчельник у вас великолепный, — это все как-то у вас по-настоящему... Лес и пчелы — прежде всего, а все прочее — литература.

Михневич лукаво и весело засмеялся:

— Я — пчеловод. Это правильно. И огородник я. Боюсь, по правде сказать, что из нашей социализации одна литература выйдет.

Лунин заинтересовался:

— А у вас почему такие мысли, Семен Семенович?

— Как вам сказать... Устали мы ждать преобразований всяческих и, потеряв терпение, за двумя зайцами, пожалуй, погонимся. А это всегда к худому.

— Однако вы — социалист.

— Помилуйте-с. Я человек чистоплотный. Социалистом быть — все равно что перед обедом руки не мыть. Только малыми делами мы заняты. Вот огород наш на кооперативных началах устроен...

— Это я слышал. Но вот насчет неудач вы как-то туманно выражаетесь. А что же помешает вашему делу?

— Многое. Во-первых — истерика...

— Как истерика? Этого я что-то не пойму.

— Истерика не только с медицинской точки бывает, знаете ли, интересна, но и с общечеловеческой, так сказать. Наш интеллигент русский чересчур истеричен, в том смысле, что легко колеблется в своих настроениях. В медицине тоже некоторые определяют истерику как легкую внушаемость. Ветерок повеет, а интеллигент, как домик картонный, — на боку. И затем — потеря мерности, лада и гармонии, так сказать. Все у нас порывами и скачками. И в революцию мы бросаемся зажмуря глаза. А это храбрость не русская. Значит и наш интеллигент от русского начала оторвался...

— Однако, Семен Семенович, вас товарищи ваши еретиком, пожалуй, назовут...

— И уж называли не раз. Они меня терпят, потому что полезный я для них человек. Однако когда я в ссылке был в Вологодской губернии, судили меня однажды.

— За что?

— Не за идеи, а за безнравственное поведение.

— Как так?

— А очень просто. Хорошо, что о моем грехе жена заранее знала. А все-таки ей много неприятностей товарищи доставили.

— Однако это любопытно.

— Да что ж. Извольте, я расскажу... Дело прошлое... Жену я свою люблю и уважаю, но бывают у меня какие-то припадки странные — иначе мои безнравственные поступки затрудняюсь назвать. Вдруг что-то загорится на сердце при иной встрече, и тогда пиши пропало: непременно спутаюсь и что-нибудь натворю. Потом это проходит. И даже как-то нежнее и болезненнее после того жену любишь. Вот и там, в Вологде, случилась со мной история: влюбился я в жену аптекаря. Молоденькая была бабенка. И веснушки, знаете ли, на носу. Не знаю, чем она меня покорила. И что же? Пронюхали товарищи и суд устроили. Развратное, дескать, поведение не соответствует достоинству государственного преступника.

Лунин засмеялся.

— Хорошо, что аптекарь-немец метафизикой увлекался, — продолжал Михневич, улыбаясь, — как-то не очень обратил внимание на эту историю, а то бы беда была. Ну а жена моя меня простила...

— Но и вы тоже меня удивляете: как же это — любите жену, а сами аптекаршей занялись...

— Конечно, это худо. Я себя не оправдываю. Но ведь будьте снисходительны. Вы подумайте. Женился я ровнехонько тринадцать лет тому назад. Сегодня как раз годовщина свадьбы нашей. Должен я вам сказать, что за это время я в жену свою раз восемь влюблялся и все по-разному. Но, признаюсь, месяцами равнодушен бывал, хотя, вообще говоря, и любил ее. Вот в такие темные дни и случались со мной истории. Она умная. Она понимает.

— Но позвольте, однако. В таком случае вы и ей должны свободу дать. Ведь и она может увлечься.

— По логике это так выходит. Не смею спорить. И принципиально согласен. Но, знаете ли, из такой спра-

ведливости ерунда получилась бы. Тут логика вверх ногами ходит.

В это время вышли они из лесу. За канавой протянулись огороды. На черных грядках пестрели девки. Михневич что-то зычно крикнул им, и они засмеялись в ответ.

Одна из них пошла навстречу. Увидев незнакомого, остановилась было, застыдившись.

— Ты что, Акулина? — сказал Михневич. — Твой черед самовар ставить?

— Мой, Семеныч.

Она стояла, босоногая, с подоткнутой юбкой, улыбаясь, обнажая белые ровные зубы.

— Вот, на! — сказала она, протягивая Михневичу маленькую книжку в красной обложке. — Прочли мы. А другую на завтра оставь.

— Ладно.

Сели пить чай за длинный стол под навесом — Лунина и Михневич вместе с девками. Прежде чем сесть за стол, бегали девки в сарай поправлять волосы перед осколком зеркала.

Лунина конфузились немного, а с Михневичем были запросто.

Собирались облака растрепанные, волокнистые. Надвигаясь, чернели. Кто-то сказал:

— Ох, гроза скоро! По весне первая.

И в самом деле что-то глухо застучало мелким стуком в темном небе. Упало несколько капель крупных на деревянный навес.

Все пошли гурьбой в сарай, где устроены были сплошные низкие нары. Девки сбились в кучу, смеясь. Повеял ветер, взвивая черную пыль, видную из открытой настежь двери. Зашумели шумом шепотливым мшистые ели и сосны. Красноватый свет ослепил глаза на мгновение. И троекратным рокотом гром приветствовал трепетную землю.

Дождевые капли торопливо вразброд застучали по крыше. Как черные разодранные ткани висели тучи на небе. И вдруг хлынули сверху потоки и все смешалось.

Громыхал тяжело гром, как будто кто-то громоздкий катился по каменным ступеням лестницы высокой, стуча. И незримая рука рассекала непрерывно сумрак острым ножом, оставляя на мгновение кровавый след.

V

Приехал исправник Усачев, толстый и сонный человек, и с ним совсем пьяный становой. Они ходили вокруг народного дома, размахивая руками. За ними — крестьяне-понятые с видом обреченным и понурим.

— Позвать сюда господина председателя общества трезвости села Пустынина! — сказал строго исправник, обращаясь к понятым.

Мужики не поняли, кого надо позвать.

— Тезку моего позовите, Семена Семеныча, милые вы мои! — сказал становой ласково. И потом неожиданно прибавил непечатную брань: «Ну, марш! Живее!.. Такие-сякие...»

Пока ходили за Михневичем, исправник сидел на крыльце и дремал. Его лысина розовела в лучах солнца, склонявшегося медленно к березовой роще.

Когда пришел Михневич, исправник сделал кислое лицо и сказал:

— Вот, батенька, и дождались: опечатать приказано...

Исправник долго объяснял, по какой причине не разрешен устав общества трезвости и почему надо опечатать народный дом, но понять его было трудно.

Становой сказал:

— Трындили-брындили, а что толку? Плюньте, Семен Семенович, и дело с концом...

Потом исправник, кряхтя, взобрался на крыльцо и сказал:

— Ну, Семен Семенович, приступим...

Приложили большие бурые печати.

Внутри, из-за двери, послышался жалобный писк.

— Ах, грех какой! — вздохнул понятой. — Кота опечатали... Васинька... Кыс... Кыс...

В это время к народному дому подъехали в шарабана княжна с Бешметьевым.

— Вот вам и спектакль! — сказал Михневич, здороваясь с княжной. — Опечатали нас, княжна...

— Ах, Бог мой! Где же мы будем играть?..

— Не знаю.

— Как нескладно! — пробормотал Бешметьев. — Как нескладно...

Исправник подошел к Бешметьеву с приятной улыбкой:

— Если бы вы, ваше сиятельство, написали губернатору...

— Нет, где же нам устроить спектакль? Где? — волновалась княжна.

— Можно в оранжерее старой, — сказал Михневич, соображая.

— В самом деле, в оранжерее. Пожалуйста, Семен Семенович, не отменяйте репетиции... Сейчас все туда и пойдем... И остальным надо сказать... Граф скажет. Пойдите, голубчик. Может быть, вы, граф, и Бориса Андреевича приведете?

Граф поклонился покорно.

Огромная старая оранжерея, с разбитыми кое-где стеклами, вся светилась в вечернем солнце: на полу легла большая радуга семицветным ковром. Внутри оранжереи воздух был влажный и от стен веяло приятной прохладой.

Михневич отгородил часть оранжереи скамейками и сказал:

— Вот здесь будет сцена. Пожалуйста, господа, начинать...

— Позвольте, — сказала княжна, — кажется, еще не все собрались... Вот Лунина нет. Без него нельзя.

— Да вот и Борис Андреевич! — сказал белокурый студент Чепраков, который должен был играть Кудряша⁷.

Княжна первая подошла к Лунину.

— Наконец-то мы с вами познакомились. Вы должны нам помочь, не правда ли? Вы будете играть?

— Нет, простите, я пришел извиниться. Играть не умею. Да и страшно это...

— Жаль как! — сказала княжна. — Ну, делать нечего, графа играть заставим. А вы все-таки не уходите. Граф! Будете играть?

— Хорошо. Я согласен.

— Вот здесь первая кулиса. Здесь скамья. Мы начинаем, господа! — кричал Михневич.

Лунин вышел из оранжереи. Благоухали томно липы. И легкий шелест вечерний чаровал сердце. Кое-где червонились стволы и листья, но уже благовонный сумрак, сгущаясь, осенял парк. Лунин сел на чугунную скамейку.

«Вот сейчас придет она. И будет сладостно и больно. Так надо, надо...»

И в самом деле Анна шла по аллее, как сомнамбула, как будто ведомая неведомой силой.

Она подошла к Лунину совсем близко.

— Борис! Борис! Зачем ты не веришь? Я люблю тебя... Люблю...

Он поднялся, дрожа.

И когда она прижалась к нему, закинув голову и полуоткрыв рот, и когда он увидел темные, страшные и влекущие ее глаза, все вокруг показалось ему волшебным.

— Люблю... Верю тебе... Люблю...

Уже погасло солнце, и парк стал таинственным и шепотливым. Лунин и Анна шли молча вдоль пруда. Переливаясь живою ртутью, сияла лунная полоса на воде. А на том берегу, в темно-лиловых кустах, пел соловей нежно и свирельно.

Чьи-то шаги слышались. Бесцельно и слепо отошел в сторону Лунин, увлекая за собой Анну. И медленно прошли мимо них Бешметьев с княжной.

Граф говорил печально в страстно:

— Вы мучаете меня, княжна. Но сладки мне эти муки. Любовь моя — пытка.

Княжна засмеялась.

— Любовь всегда пытка, мой друг.

VI

Эксакустодиан пришел к Лунину и долго сидел у него, разговаривая о незначительном, выпучив рыбки свои глаза.

Лунин угощал его чаем, и он пил грустно, наливая на блюдечко жиденький чай и обсасывая кусочки сахара.

Неожиданно сказал, бледнея:

— Я пришел к вам объяснить, потому что с господином Михневичем, с Чепраковым и с моими сестрицами я разговаривать не хочу. Доколе это будет продолжаться?

— Что такое? — не понял Лунин.

— Да вся эта мерзость крамольная.

— Простите меня, Эксакустодиан Григорьевич, но я, право, не пойму, что вас так волнует.

— Как что? А по-вашему, хороша эта затея со спектаклем и вся эта история с народным домом? Вы думаете, князь Николай Николаевич знает, на что деньги пойдут? И княжна знает? И граф Алексей Петрович...

— По правде сказать, и я не знаю.

— Ну, так я вам скажу: денежки пойдут жидам-революционерам на забаву, а нам, русским людям, на позор.

Лунин сухо засмеялся.

— Скучное вы говорите, Эксакустодиан Григорьевич.

— Скучное? Вот от таких слов и Россия гибнет.

— А разве Россия гибнет? — спросил Лунин, заинтересовавшись.

Эксакустодиан встал со стула и, сложив руки на груди, как святые на иконах, испуганно прошептал:

— Гибнет... Гибнет... Гибнет...

Нахмурился Лунин.

— Что вы как ворон... И странно: недавно разговаривал я с Михневичем — и он тоже как-то мрачно смотрит и даже в социализацию свою не верит.

— Да, да... Чепраков верит, а он нет... И сестры верят, а он нет... Он только от досады бунтует, а ему все равно.

— Ну, вы не совсем справедливы, а вот то, что вы, черносотенец, так мрачно каркаете и что этот радикал Михневич тоже не очень светел — все это любопытно и, пожалуй, страшно... Что же, по-вашему, делать надо?

— Перевешать крамольников... Народный дом сжечь... Еретиков в монастырь заточить...

Когда Эксакустодиан говорил так, губы его дрожали, как в лихорадке, и он задыхался, кашлял и, наконец, сел на стул, изнемогая, прижав ко рту платок. На платке заалели пятна крови.

Эксакустодиан показал на пятна и прошептал:

— Умираю... И у сестры Натальи тоже чахотка... — И потом, злобно смеясь, прибавил: — И вы небось недолго проживете. Да и всему скоро конец, слепой вы человек.

— Как вы смерти боитесь! — невольно вырвалось у Лунина.

— А вы не боитесь?

— Нет. Думаю, что нет.

— И я не боюсь, — сказал серьезно Эксакустодиан, — я тишины хочу и покоя. Вот поэтому я бунтовщиков не люблю. За беспокойство. — И вдруг неожиданно прибавил: — А вы знаете, я в прошлом году в тюрьме сидел.

— Вот как. За что?

— К сестрам рабочий один приходил с завода Пруста. Думали, что ко мне, и меня арестовали. Недели через две выпустили: я сказал, что верноподданный, и тогда же в «Громобой» записался. А потом я слышал, что рабочего этого повесили в Варшаве.

— Не надо смерти бояться, — сказал задумчиво Лунин.

— Не надо? А вы голоса слышите?

— Какие голоса?

— А я слышу. Тоненькие такие голоса: «Эксакустодиан! Я здесь... Эксакустодиан! Я жду...» А в глазах — голубизна такая. А весной, когда мы еще в городе жили, ко мне рабочий этот варшавский пришел. Показалось мне, что звонок. Пошел я дверь отворить. Дело было в сумерках. Отворил — никого. Я запер дверь и вдруг вижу: рядом

стоит он. Я и думаю, как же он пришел... откуда?.. Забыл сначала, что повесили его... А он, как и раньше был: рябой и борода рыжая. Поклонился мне и говорит: «До свидания, товарищ...» А сам в коридор не спеша. И слышу, как сапоги поскрипывают.

— Как же вы толкуете это?

— А никак не толкую... Однако будьте здоровы: мне пора.

Лунин вздохнул свободно, когда ушел Эксакустодиан. Но тотчас же опять показалась на пороге его высокая, плоская фигура. И, задыхаясь, он прохрипел в лицо Лунину:

— Я все знаю... Все знаю... Я не позволю... Приедет муж Анны, я открою ему глаза, бесчестный вы человек.

— Вы больны. Опомнитесь! — едва успел закричать вслед ему Лунин, потому что Эксакустодиан бросался бежать, не оглядываясь.

VII

Вокруг оранжереи висели китайские фонарики. Около ограды стояли шарабаны, коляски и линейки приехавших на спектакль дачников.

Пришел князь Николай Николаевич, опираясь на палку. Седой, строгий, с усталыми умными глазами. Приехала смотреть дочерей на сцене попадья, Авдотья Павловна, торжественная, в сиреневой шляпке; жужжали дачницы, осматривая наряды ревнивыми глазами.

Наконец поднялся занавес.

Лунин смотрел на Анну и знал, что она это, и не узнавал ее.

Откуда эта страсть темная? И как полнозвучен голос ее! Как мучительно прекрасны глаза эти!

«Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то? Бросить ключ? Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу. Ах, кабы ночь поскорее...»

«И меня зовут Борисом», — подумал Лунин.

Он был как во сне, как очарованный.

Опустили занавес, а перед глазами Лунина все еще стояла безумная Катерина с ключом в руке. И мерещились ее влюбленные глаза...

Лунин прошел за кулисы. Нельзя было узнать оранжею, где так недавно было просторно, пахло влагой, листьями. Теперь здесь, за кулисами, суетились в тесноте и уже иным пахло — пудрой, красками и еще чем-то театральным.

Прошел Михневич с подклеенной бородой, возбужденный, размахивая руками, и не заметил Лунина, хотя смотрел на него; Наташа торопливо своей горячей рукой пожалала Лунину руку; за перегородкой, когда распахнулась занавеска, видно было, как сидит перед зеркалом княжна и горничная обсыпает ей пудрой розоватую шею... Наконец Лунин увидел Анну, и они отошли в сторону, в угол, где стояла кулиса — три березы.

— Анна! Ты — актриса, — сказал Лунин, с восторгом вглядываясь в безумные незнакомые глаза с фантастическими синими кругами под ними, в странно алый рот, в это изменившееся и по-новому влекущее лицо.

— Ах, я, право, не знаю, так ли надо играть. Я ведь по-настоящему никогда не играла... Но тебе нравится, милый? Ну, ступай, ступай... Я ведь не Анна, я — Катерина сейчас...

Лунин отошел от нее, опьяненный ее глазами.

Да, это не Анна... Это не только Анна. Как будто бы вошло в душу Анну что-то новое — живое и страшное.

После спектакля большой компанией отправились домой пешком; одна лишь Авдотья Павловна поехала впереди в шарабане.

Тускло-золотистая воздвиглась высоко на небе луна, и от ее волшебного света казалось, что в лесу таятся белые фигуры, и нельзя было понять, кто это — живые или мертвые. И как будто бы луна вела с землей безмолвную беседу тайными знаками. Холодная лунная душа открывала нашему миру свои извечные правды, смутные для земного сердца.

Луна всегда влияла на Лунина, и теперь он шел как зачарованный. Не верилось, что нет соответствия между лесом этим черно-серебряным и какой-то иной правдой там, в омуте сердца.

— Какая тишина! — сказала Наташа, коснувшись теперь холодными пальцами руки Лунина.

— Да. Тишина... И вот все изменилось. И ваше лицо теперь иное. И руки стали холодными.

— У меня лихорадка, — прошептала Наташа, заглядывая в глаза Лунину.

Лунин вспомнил, как говорил вчера Эксакустодиан, что у Наташи чахотка и что она умрет скоро.

И тогда Наташа, как бы угадав его мысли, сказала, задыхаясь:

— Пойдемте тише. Я хочу сказать вам одно слово... О моей чахотке...

— Какая чахотка?.. Не надо... Не надо...

— Борис Андреевич! Я хочу спросить вас...

— Я слушаю вас, Наташа.

— Я хочу спросить, что значит, если человек какой-нибудь покажется не таким, как все; когда вдруг веришь, что есть мир без этого человека — простой, понятный, плоский такой и еще другой есть мир — с ним, с человеком этим; и когда видишь этого человека, слышишь его голос, касаешься его рукой, все кажется таинственным, непонятным, глубоким. И тогда не боишься смерти, чахотки, ничего не боишься... Вот я теперь ничего не боюсь... Что это значит, Борис Андреевич?

— Это любовь, Наташа.

— Любовь? Ах, как страшно... Вы верите мне?

— Да, верю, Наташа.

— Я никогда не спросила бы вас об этом, если бы я не знала, что скоро умру.

— Зачем говорить так? Вы молоды...

— Я скоро умру... А вы... вы... Идите к Анне...

Наташа слегка оттолкнула руку Лунина и догнала ушедших вперед.

— Какая странная Наташа! — сказал Лунин задумчиво, подходя к Анне.

— Милый! Будь с нею осторожней! — прошептала Анна, прижимаясь к плечу Лунина. — Она влюблена в тебя.

VIII

Наступали события странные и тревожные. Подымалась волна людская и несла свой высокий гребень от Восточной Сибири до Великороссии; с новым порывом Бог весть откуда прилетевшего урагана вздымались новые косматопенные волны и, шумя, неслись от Петербурга до Черноморья.

И вокруг Пустынина закружилась, заметалась жизнь, как ласточка перед грозой. Забастовали по соседству фабрики суконных изделий купцов Растороповых. Два дня рабочие ходили с красным флагом и пели громко «Вставай, подымайся...». Пустынинские парни читали книжечку «На Бога надейся, а сам не плошай». И книжечка нравилась молодежи... В княжеского управляющего кто-то бросил камнем, когда он проезжал по деревне на беговых дрожках, и теперь управляющий ходил с подвязанной рукой.

Жена Михневича, Александра Григорьевна, совсем забросила ребят и целый день возилась с мимеографом. Наташа по воскресеньям читала в школе мужикам Глеба Успенского и потом долго кашляла, и на щеках у нее выступали красные пятна; поговаривали, что скоро через Пустынино проедет какой-то организатор и все устроит, а пока студент Чепраков обрил себе бороду для конспирации, и когда ходил к растороповским рабочим, брал с собою браунинг.

В это же время в трактире собирались политики ради Федька Хромой, купец Тароватов и Эксакустодиан Григорьевич. Они пили пиво.

Купец Тароватов говорил:

— Ежели девок к участию в прибылях господин Михневич допустил, что же выйдет из такого, с позволе-

нья сказать, огорода? Я бы девок лозой, а Михневича-господина — куда Макар телят не гонял. А давеча вот пришел ко мне в лавку Савельев-сын и говорит: «Кровопийца ты и жулик, Тароватов». Я — за безмен, а он мне из двери кричит: «Ужо брюхо тебе распотрошим, такой-сякой...» Ежели мы не обратимся к губернатору насчет казаков, никакой возможности жить не будет.

Федька Хромой яростно перебивал.

— Дело, купец, не в казаках, а в русском чувстве. Патриот ты или нет? Говори прямо.

— Я патриот.

— А ежели ты патриот, по какому такому праву у тебя до сих пор значка нет?

— Да я бы не прочь, Федя: только ведь, ты говоришь, сто рублей вносить надо. А вот Эксакустодиан Григорьевич без денег в истинно русские люди произведен...

— Эксакустодиан Григорьевич — образованный человек, а ты кто? Хам...

— Федя! Ты не бранись... Что ж, я сто рублей могу...

Тогда вступал в беседу Эксакустодиан. Говорил он вдохновенно, бледный, и теперь глаза его не были тусклыми.

— Россия гибнет от размягчения сердец. Люди забыли Бога и своего государя. Ожидовела Россия. Жиды всегда суеются, потому что душа у них мышьяная. Жиды суею Россию заразили. А мы, русские люди, суеты не желаем. Правильно я говорю?

— Правильно, Эксакустодиан Григорьевич, правильно.

— Нужно в холоде сердца наши укрепить. Никого не пожалеем, Россию-матушку пожалеем.

Эксакустодиан стукнул по столу кулаком.

— Погром — говорите? Ну, что ж. Погром так погром. Лучше жидовскую кровь пролить, чем Россию великую погубить.

Кашель душил Эксакустодиана.

— Мы, русские люди, благообразия и тишины желаем. Лучше благообразно умереть, чем жить по-собачьи, по-жидовски, и спешить куда-то к черту на рога. Весь наш

прогресс гроша медного не стоит, и забыли мы исконные заветы и серьезность нашу великороссийскую. Правильно ли я говорю?

— Правильно, Эксакустодиан Григорьевич, правильно...

— Народный дом выдумали! Знаем мы дома эти... Зачем дома? Митинги устраивать, бунты заваривать. Вчера исправник приехал: печати снял... Бумагу привез: общество трезвости утверждено... Князь на свою голову, старый дурак, хлопотал. Не позволим дома открывать... К черту!..

— Не позволим...

— А по-моему, — завизжал Федька, подымая волосатый кулак, — а по-моему, проучить пора крамольников...

Федька нагнулся к Эксакустодиану и что-то прошептал ему на ухо.

— Верно! — крикнул Эксакустодиан, сверкая глазами. — Верно. Я согласен...

И опять кашель стал душить его.

В понедельник, когда народ был в поле, закурился синеватый дымок над народным домом. Первым заметил его граф, мимо проезжавший на велосипеде. Он поспешил на станцию, где стояли бочки и насос пожарный. А когда удалось графу, и не без труда, заставить кое-кого взяться за машину и помочь запрячь лошадей и когда, наконец, подъехали бочки к народному дому, он был уже весь в огне.

Вокруг толпились мужики, прискакавшие с поля. Теперь они стояли и равнодушно смотрели, как посторонние.

— Ишь ты, тишина какая! — сказал кто-то, бессмысленно ухмыляясь.

Дым стоял прямым столбом, и огонь, то в алые, то закручиваясь в лиловые плащи, сжигал балки и стропила, как хорошо изготовленный сухой костер.

Облака, низко спустившиеся, казались коричневыми с красной каймой по краям.

В шарабанах приехали Анна Григорьевна и Михневич. Примчался за ними Сверчок.

Он стал как вкопанный и протяжно завыл. Михневич вылез из шарабана и сам взялся за насос. А когда огонь стал гаснуть, Михневич подошел ближе и, что-то заметив, позвал мужиков.

— Это что? — сказал он, указывая на жестяную посуду из-под керосина.

— Ах, грех какой! — сказал, качая седой головой, один из мужиков. — Ах, грех какой! Это дело рук Федьки Хромого... Он уж давно похвалялся балаган сжечь... Ах, дьявол!

Лунин пришел, когда пожар кончился. Жутко было смотреть на черные обуглившиеся бревна и на зиявшие окна. Пахло горько гарью. А небо, теперь безоблачное, синело над пожарищем, как будто бы ничего не случилось.

К Лунину подошла Анна Григорьевна.

— Какая тоска! — сказала она. — Какая тоска! По-едем к нам, Борис. Тебя хочет видеть Наташа. Ей совсем худо. Был доктор и сказал, что ни за что не ручается. Подумать страшно. Господи!

В комнате Наташи пахло креозотом. Она сидела в кресле у окна — вся прозрачная, с обозначившимися голубоватыми линиями под тонкой кожей.

Она печально улыбнулась Лунину и прошептала:

— Солнце какое! Солнце!

И в самом деле четырехугольник окна сиял золотом. А за ним томно дышал благоуханный июль.

— Я счастливая, — сказала Наташа, — я люблю... Я тебя люблю, Анна.

Анна села на пол, у ног Наташи, и прижалась головой к ее коленям.

— А его можно любить? — прошептала Наташа, показывая глазами на Лунина. — Ведь теперь мне можно? Теперь мне не стыдно сказать, что люблю я...

Лунин стал на колени и прижался губами к маленькой прозрачной руке.

IX

«Не убоишися от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тьме преходящая, от сряца и беса полуденного»⁸.

Казалось, что не умерла Наташа, что спит она, что цветы и ладан и все вокруг — сон ее и что вот проснется она — и тогда жизнь будет истинная.

И вот прозвучал вечный зов, влекущий сердце: «Богородице безневестная, верных спасение...»

Тихо было в церкви; один только Эксакустодиан то рыдал, то повторял громко тропарь: «Погибшее овца аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя...»

— «Бес полуденный...» — думал Лунин. — Что это значит?»

А когда он, после Анны Григорьевны поднялся на возвышение и, перекрестившись, коснулся губами руки Наташи, а потом венчика, он вспомнил, как три дня назад говорила Наташа: «Теперь мне не стыдно сказать, что люблю я...»

Был знойный день. Под ногами трава шуршала, как бумага, когда Лунин, Бешметьев, Чепраков и Эксакустодиан несли гроб Наташи на кладбище.

Вокруг могилы пряно пахло вербеной и резедой. Тонко и нежно пели мальчишки-певчие: «Упокой, Господи, рабу Твою...»

— Можно зайти к вам сегодня вечером? — спросил шепотом Бешметьев, наклонившись к Лунину.

— Пожалуйста.

А хор пел: «Ты мене утверди в любви Твоей».

На могилу положили три венка. Один был с красной лентой. И на нем была надпись: «Товарищу Наталии». Положили его какие-то смуглые парни в рабочих блузах.

Вечером пришел к Лунину Бешметьев.

— Я к вам по делу, Борис Андреевич... А если не вовремя, я уйду.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Княжна поручила мне просить вас написать ее портрет. Она — ваша почитательница и была бы счастлива, если бы вы согласились ее написать.

— Только не теперь, только осенью, в городе... Здесь не могу, право, — сказал Лунин, виновато улыбаясь.

— Хорошо. Я так и скажу княжне.

Граф поднялся, чтобы проститься, но Лунин задержал его руку в своей.

— Вы спешите? А я так был бы рад, если бы вы посидели.

— Нет, я не спешу. Я думал, вы заняты.

— Вот ваш портрет я бы с охотой написал, — сказал Лунин, взглядываясь в темные огни его глаз и в рот страстный и как бы надменный.

— И ваше лицо волнует меня, — сказал граф, — мне кажется, что во многих портретах, вами написанных, есть ваши черты; как будто из души вашей что-то отдаете вы...

— Да ведь это всегда так. Ведь иначе и нельзя... А вот Анну Григорьевну пробовал я писать. Ничего не вышло. Не сумел. А жаль мне.

— Как странно!

— А это потому, должно быть, что я боялся с в о е вложить: мне хотелось совсем просто написать, чтобы красоту ее сохранить. И вот не вышло.

— Как страшно жить так, как вы: всегда около искусства. Ведь искусство — колдовство... Ведь один шаг — и уже разучишься верить, что дважды два — четыре. А без таблицы умножения с ума можно сойти...

— А я думаю, что не только художникам, но и вообще многим современникам нашим трудно теперь верить в логику и в прочность нашего отношения к миру. Все мы живем фантастически.

— О да! Да! — поспешил согласиться Бешметьев. — Это вы правду сказали: мы живем фантастически. Отчего бы это? Вот сейчас революцию переживаем мы — и я совсем вне политики, но представьте себе,

я чувствую революцию как-то особенно, и мне все кажется, как будто бы веют над Россией какие-то силы тайные. Я об этом не говорю никогда, но вот с вами мне хочется говорить. И я думаю, что силы эти на все влияют... И особенно на любовь нашу. В восьмидесятых, скажем, годах люди не так любили, как мы теперь. Отчего бы это? Мы любим болезненно, тревожно, а иногда видим свет какой-то голубой и слепнем от сияния, потому что его недостойны.

— Я это очень понимаю, — сказал Лунин тихо, как бы взвешивая свои слова, — я это понимаю, но, может быть, все, что вы говорите о новой любви и о тревоге нашей, все это — участь немногих, а там где-то, среди полей, да и вообще в провинциальной России, по-иному переживают революцию — более трезво, плоско и деловито.

— А я этого не думаю, Борис Андреевич. Там, в глубине России, не такими словами говорить станут на эту тему, но в сущности полевая Россия так же безумна, как и наш безумный Петербург.

Бешметьев посмотрел на часы и стал торопливо прощаться.

— Ах, мне пора, пора. А вы знаете, Борис Андреевич, у меня какое-то предчувствие есть: что-то нас должно связать в жизни. А что именно — Бог знает.

В это время на террасу, шлепая босыми ногами, вошел мальчишка и подал Лунину письмо.

— Простите, пожалуйста! — сказал, почему-то волнуясь, Лунин и распечатал конверт.

В письме было сказано:

«Борис! Приехал муж неожиданно. Сидит у меня. Приходи сейчас. Не хочу, не могу оставаться с ним с глазу на глаз. Пока не сказала ему ничего. Приходи, милый. Жду. Твоя Анна».

Х

Дача Анны Григорьевны стояла на краю просеки, по соседству с дачей отца Григория. Перед террасой росли

кусты роз, и благоухание их всегда волновало Лунина. И сейчас, когда он взялся рукой за калитку, голова его блаженно закружилась и сердце забилось чаще и радостнее.

Маркизы были спущены, и только видно было, что на столе лампа и кто-то высокий стоит посреди террасы.

Лунин вошел молча, со смутной надеждой, что выяснится наконец все — и скоро, сейчас же. И ему казалось, что он ко всему готов.

Перед Луниным стоял высокий плотный господин в инженерной форме, красивый и надменный, с серыми пустыми глазами, с чертами лица как бы геометрически правильными, с русой бородой, расчесанной безукоризненно.

Инженер вопросительно глядел на Лунина.

— Я — Лунин... Анна Григорьевна дома?

Инженер протянул руку:

— Полянский... Я хотел с вами познакомиться... Слышал о вас от моего beau-frere *, Эксакустодиана Григорьевича... Вчера он был в Москве, и мне довелось его видеть.

«Знает или не знает», — подумал Лунин, нерешительно пожимая руку Полянского.

Рука Полянского была как из стали, и что-то было в нем твердое, механическое. «Автомобиль», — вспомнил Лунин Наташино сравнение.

В это время вышла Анна, в траурном платье, бледная и строгая. Она поздоровалась с Луниным и пристально посмотрела ему в глаза, как будто спрашивая его, что надо делать теперь.

— Петр Ильич приехал сегодня вечером, — сказала она, как будто удивляясь его приезду.

— Да, да... Такие дела... И сегодня в половине первого еду в Москву на три дня. Потом вернусь.

— Я год учился в политехническом институте, — сказал Лунин неожиданно и некстати, — и потом бросил, поступил в академию и на филологический одновремен-

* Шурин (фр.).

но: испугался математики, точности и, главное, необходимой деловитости. Я ленив безнадежно... Вот вы сейчас сказали: «дела», а мне даже страшно стало.

— А я без точного плана жить не могу, — сказал Полянский серьезно и строго. — Лаплас⁹ когда-то высказал мысль, что возможна идеальная математическая формула, охватывающая всю сложность жизни. Я разделяю эту мысль. И мне кажется, что мы должны жить, облегчая задачу гипотетического математика, то есть жить проще, планомернее, яснее. Лень всегда фантастична. Лентяй — всегда поэт. А поэзию труднее всего выразить в математических терминах. По-моему, поэзия для человечества — занятие преждевременное и потому вредное. Ведь нельзя одиннадцатилетнему мальчику заниматься любовью. Это для него безнаказанно не пройдет. Мы еще арифметики не знаем, а нам предлагают Петрарку и Гёте.

— То, что вы говорите, Петр Ильич, весьма остроумно, может быть, но я никак с вами не могу согласиться, по причинам отчасти неожиданным. Вы думаете, я буду доказывать, что искусство полезно и необходимо для всех возрастов человечества? Нет, я полагаю, что искусство — болезнь опасная, а иногда и смертельная. Но я не хочу «естественного» развития человечества. Я хочу бороться с глупой закономерностью мирового порядка — вот смысл художества. Бетховен, Винчи, Достоевский — это все великолепные безумцы, и они заразительны. Мир сойдет с ума, если все станут художниками, и это неестественный, но зато воистину достойный конец мира. А думать о конце мира надо, потому что идея конца — благородная и чистая идея, и всегда бескорыстная.

— Если бы я был законодатель, — сказал медленно Полянский, направляя свой упорный, стальной взгляд прямо в лицо Лунину, — я бы казнил всех художников. Я с вами согласен: художество — болезнь. И надо истреблять заразу и паразитов.

— Художника невозможно убить, — улыбнулся не без горечи Лунин, — художник всегда воскресает так или иначе. Умрет художник, и картины его могут испепелиться, но останется легенда о нем, и это, быть может, опаснее, чем самая картина. Пример — Леонардо да Винчи.

— Как странно, — сказала Анна Григорьевна, с тревогой и любовью смотря на Лунина, — как странно: вы только что познакомились, и вот разговор об искусстве, и т а к о й разговор!

— А вы с кем из нас согласны? — спросил Лунин и тотчас пожалел о том, что спросил так.

— Я ничего не знаю. У меня мыслей об этом нет. Я слепая. И, должно быть, искусством я больна безнадежно. Я люблю его и гибну, быть может.

Все замолчали.

— Я люблю и гибну, быть может, — повторила Анна, грустно и тихо.

— А мне пора уходить отсюда, — сказал Полянский, взглянув на часы.

— Значит, в четверг.

— Да, Анна.

— Позвольте и мне проститься, — сказал Лунин нерешительно.

Они сошли вдвоем со ступенек террасы во мрак сада.

— Сегодня луны нет, — пробормотал Лунин.

Полянский молча вынул из кармана электрический фонарь. Засиял мертвый свет, а по сторонам мрак стал чернее и ужаснее. Они отошли шагов сорок от террасы, не разговаривая.

Неожиданно Полянский рассмеялся.

— Прощайте! — сказал он. — Я раздумал ехать в город. Он быстро зашагал домой, освещая себе путь фонарем. Лунин остался один во мрак.

— Что делать? Что делать? — шептал он в ужасе.

С трудом добрал он до своей дачи, шатаясь как пьяный, едва угадывая узенькую дорожку.

Не снимая шляпы и не выпуская из рук палки, он ходил по террасе. На столе горела лампа.

— Что делать? Что делать? — шептал Лунин.

И вдруг ему показалось, что скрипнула калитка и кто-то идет по дорожке.

— Кто это? — громко спросил Лунин и уже знал кто, и уже шел навстречу.

Анна была бледна и дрожала.

Лунин прижался губами к ее руке.

— Ты ему все сказала?

— Да.

XI

Когда Бешметьев в коляске подъехал к даче Лунина, только что рассвело: был шестой час. Лунин стоял перед зеркалом и завязывал галстук. У него болели зубы, и мучительная боль мешала ему сосредоточиться и обдумать свое положение.

— Как вы себя чувствуете? — спросил граф, пожимая Лунину руку.

— Болят зубы, — сказал Лунин, с завистью взглянув на здорового Бешметьева, — ни о чем думать не могу.

— Вот еще история! Не отложить ли?

— Нет, что вы! Что вы, — испугался Лунин, — как можно...

Они сели в коляску. Ящик с пистолетами поставили в ногах. Утро было туманное.

— Вам удобно? — спросил граф таким тоном, каким говорят с тяжелобольными или с детьми.

— Да. Очень.

Коляска миновала просеку, и вокруг стало просторно, но туман кутал землю своей пеленой, и трудно было поверить, что за серо-лиловой завесой ничего не таится.

Ехали сначала мимо парового поля, с которого поднялась стая ворон, протяжно каркая. Солнечные лучи как будто растворились во влажном тумане. Было сыро.

Неожиданно из мглы серой выросла мельница. Крылья двигались как живые и жалобно скрипели. Потом глухо зазвучал колокол, потом раздался жидкий звон маленьких колоколов: выдвинулась из тумана черная церковь, колокольня, погост с алеющими кое-где лампадками.

Коляска тихо спускалась с горы, и теперь туман похож был на молоко — густой и белый. Лошади фыркали.

Оттого что у Лунина мучительно болели зубы, чувство общего здоровья у него повысилось, как это всегда бывает, когда человек испытывает острую боль в одной точке тела. И от этого повышенного чувства здоровья и силы все казалось Лунину необыкновенно красивым, влекущим и милым. Смутные краски тумана и неопределенные контуры построек, возникавшие время от времени, волновали Лунина. И он думал о том, что прекраснее этого мира — пусть исполненного боли и скорби — ничего быть не может, и ему хотелось жить. И он твердо верил, что не умрет.

Граф крикнул кучеру:

— Направо!

Коляска свернула с дороги и, покачиваясь, ехала теперь напрямик, по кочковатому лугу. Вдали виднелась синяя полоска — озеро.

Проехали так шагов двести, и тогда можно было рассмотреть черные силуэты около одинокой березы, сухой, сожженной когда-то грозой.

Полянский, Эксакустодиан и маленький, круглый человек с сонными глазками, незнакомый Лунину, очевидно — доктор, стояли около березы и курили. По-видимому, экипаж свой они отправили куда-то.

Граф поклонился и сказал:

— Прошу извинить. Мы, кажется, опоздали.

Полянский посмотрел на часы.

— Нет, граф, вы точны.

Бешметьев предложил Эксакустодиану осмотреть пистолеты. И тот взял их и неумело повертел в руках, очевидно, не зная, что с ними делать.

Солнце, закутанное до того времени в лохматые ткани облаков, теперь сбросило покровы и неожиданно расцвело на небе. Туман стал таять и уползал куда-то, расплываясь по земле.

— Итак, на пятнадцать шагов, — сказал граф, ни к кому не обращаясь.

Он отломил две сухие ветки и поставил барьер.

Когда Полянский и Лунин взяли пистолеты и разошлись, граф сказал сухо и холодно, как заученный урок:

— Господа! Вы доказали вашу готовность драться и тем поддержали ваше достоинство. Ссора, которая произошла между вами пять дней тому назад, может быть предана забвению, на мой взгляд. Господин Полянский, я считаю своим долгом предложить вам отказаться от вызова и примириться с господином Луниным.

— Я не хочу примирения, — сказал Полянский твердо.

— Дуэлянты дерутся до первой крови? — спросил Эксакустодиан.

— Да. Условия не меняются, — пробормотал тихо Бешметьев и, возвысив голос, сказал: — Сходитесь, господа. Раз... Два... Три...

Первым выстрелил Полянский.

— А... О... А!.. — крикнул Лунин и уронил пистолет.

Полянский опустил руку и спокойно стоял у барьера. Лицо его не изменилось. Своими серыми пустыми глазами он смотрел на Лунина, побледневшего от боли, как будто не замечая его.

— За вами выстрел, если можете стрелять, — сказал граф Лунину.

— Хочу, хочу, — сказал Лунин, улыбаясь, и, неловко нагнувшись, взял пистолет. Он выстрелил, не подходя к барьеру...

Когда доктор, чтобы нащупать сердце, повернул Полянского на спину, глаза его, теперь неподвижные, были, как всегда, пусты; лицо было похоже на маску. И борода его показалась Лунину приклеенной.

XII

В один из тех редких октябрьских дней в Петербурге, когда прозрачность воздуха неожиданно открывает перспективу длинных и прямых улиц, обычно закутанных в туман, из дома номер первый по улице Жуковского вышел господин с усталым лицом, с глазами до странности тревожными и со скорбною морщиною около бровей. Изпод мягкой шляпы выбивались седые пряди. Это был Борис Андреевич Лунин. Три года прошло с тех пор, когда около озера пустынинского убил он на дуэли инженера Полянского...

Лунин повернул по Литейному на Невский; шел, постукивая палкой, любуясь предвечерними красками, чувствуя как близкую торопливую петербургскую толпу... И от строгой прелести северного города и этой изнемогающей осени голова художника кружилась сладостно.

Осень воистину была прекрасна; она веяла над старым гранитом, над великолепием темных камней, веяла своим нежным опахалом. Петербургский вечер окутывал замороженной сетью дома, церкви, лица прохожих... Сверкали электрические огни, кинематографы, витрины, вывески; голубые зарницы трамваев загорались на миг — и вновь, и вновь...

И вечерний запах морского ветра, тонкий, едва уловимый, раздражал чуткие ноздри, дразнил, волновал и звал куда-то в иные страны, где простор и фиолетовое небо...

Лунин ходил неустанно по улицам, переулкам, площадям, не думая о пути, пока не очутился около здания театра.

Подъезжали экипажи вереницей, и усатый пристав грозно кричал на извозчиков:

— Пошел! Не задерживай! Пошел!

Лунин вмешался в толпу и вошел в театр.

Контролерша-барышня поклонилась ему почтительно. В белом с колоннами зрительном зале сдержанно шумела публика первых представлений.

— Я не люблю Ибсена за его нарочитую серьезность и, по правде сказать, дурной вкус, — говорил известный художник с подстриженными усами и с женственными губами, капризно очерченными.

Какой-то молодой человек, с красным маком в петлице, почтительно его слушал, счастливый, что говорит с самим Ломовым.

Прошла высокая дама в черном. И за ней следовал, никого, по-видимому, не замечая вокруг, молодой человек, бледный, безбородый, с бескровными губами, с глазами мертвенно-серыми.

Кто-то сказал соседу:

— Это Герт, поэт.

Несколько человек обернулось, чтобы посмотреть на Герта.

— Мечтай, люби и улыбайся, мой друг, и не надо, не надо резонерствовать, — говорил неизвестной Нузматов, с огромными круглыми глазами, подведенными, темно блистающими...

И грустная умная улыбка накрашенных губ не вязалась с оптимизмом его заповеди.

Русоволосый студент с круглым ребяческим лицом смущался и краснел. Ему что-то нашептывал господин небольшого роста, с холеными усами, улыбаясь не то нежно, не то насмешливо.

— Нет... Нет... Я не могу, Петроний...¹⁰

Тот, кого студент назвал Петронием, засмеялся и продекламировал:

«Любви утехи длятся миг единый...»¹¹

Кто-то в толпе сказал:

— Смотри направо... Это — Лунин...

— Тот самый?

— Да.

— Но какова Томилина! В один год завоевать театр, публику... Это не часто случается...

— Талант, братец.

Раздвинулся занавес.

Вот — Анна. Опять близкая и чужая, с новым и непонятным лицом. Вот она, в траурном платье, подходит к окну и смотрит в какую-то даль, чуждую для него, Лунина, но ее влекущую.

«Он и вчера там прошел. Но вот посмотрим теперь...»

Потом входит какой-то высокомерный господин и указывает на цветы.

«Везде цветы...»

«Он ужасно любит свежие, живые цветы вокруг себя».

«И вы, по-видимому, также?»

«Да. По-моему, они так сладко одурманивают своим ароматом. Прежде нам приходилось отказывать себе в этом удовольствии».

Тогда высокомерный и строгий господин качает головой:

«Бедная покойница не выносила запаха цветов».

Лунин плохо понимал, о чем говорят там, за рампой, но он чувствовал, что Анна живет сейчас какой-то настоящей жизнью, недоступною для него, и страдал от этого.

Голос Анны чаровал Лунина.

«Боюсь, что привидения эти...»

Лунин вздрогнул.

— Что? Что такое?

И опять звучит в сердце голос:

«Боюсь, что привидения эти...»

Занавес сдвинулся.

В антракте Лунин с трудом узнавал тех, кто подходил к нему здороваться, и рассеянно слушал любезные слова о таланте Анны Григорьевны. И к волнению, которое он испытывал от игры Анны, примешивалось еще странное беспокойство. Ему казалось, что кто-то упорно смотрит на него сейчас, кого он не видит.

Начался второй акт.

Неизвестный господин, с чужими и страшными глазами, стоит рядом с Анной и говорит:

«Ведь радость облагораживает душу».

И снова, волнуя, звучит голос Анны:

«А ты не думаешь, что и горе тоже? Великое горе?»

«Да... Если человек сможет пережить его. Превозмочь его. Перешагнуть через него».

«Вот это и надо сделать».

Кому говорит это Анна? Не ему ли?

И Лунину казалось, что глаза их встретились.

Во втором антракте к Лунину подошел господин лет тридцати, с низким лбом, с черными на нем кудрями, с глазами мечтательными и злыми. Он улыбался, обнажая зубы, неестественно белые.

— Вы не узнаете меня?

— Простите, не узнаю, — сказал Лунин.

— Граф Бешметьев.

— Ах, Боже мой!

— Моя жена хотела бы возобновить с вами знакомство. Она сейчас здесь, в ложе. Вы ведь помните ее девушкой — княжна Ховрина...

— Как вы изменились! — невольно вырвалось у Лунина, когда он вошел в ложу Бешметьевых.

— А мне кажется, я мало изменилась, — сказала графиня, протягивая маленькую нежную руку с тонкими пальцами.

— Значит, раньше я не умел вас видеть.

— Я показала вам тогда такой незначительной, — улыбнулась графиня, — вы даже отказались писать мой портрет.

— Не совсем так, — сказал серьезно Лунин, — я хотел отложить — писать осенью. А осенью не пришлось: я должен был уехать за границу.

— А если бы я теперь попросила вас написать меня? Вы согласились бы?

Лунин посмотрел на ее надменную голову, на серые, гордые и жестокие глаза, на нежно-алые чувственные губы и сказал, как бы раздумывая:

— Да. Я буду писать вас... Да. Я буду писать вас...

В третий раз раздвинулся занавес.

Кто-то говорит шепотом:

«Никогда не восторжествовать тому делу, начало которому положено в грехе».

И Анна отвечает:

«Ах, эта родовая мнительность... У вас тут ходит поверье, что мертвецы возвращаются на землю...»

Странные и жуткие слова волновали Лунина. И что-то еще по-иному волновало его. Он остался в ложе Бешметьевых, и запах духов Любви Николаевны, освещенная наполовину ее розовая шея и вьющиеся волосы на затылке — все мешало Лунину сосредоточиться.

После третьего акта Лунин пошел за кулисы.

Около уборной Анны стояла новая горничная, которая не знала Лунина, и когда он хотел отворить дверь, она взялась за ручку и сказала строго:

— Нельзя-с так... Как прикажете доложить?

В это время из уборной вышел прославленный беллетрист Ардальон Сергеев. Пахло от него коньяком...

Он фамильярно пожал руку Лунину и для чего-то пробормотал с пьяной улыбкой:

— Таланты и поклонники... А? Что?

В уборной Лунин застал целое общество. Здесь торчал высокий господин с бритой физиономией — рецензент большой газеты; меценат Туберозов жиденьким голосом пел хвалы Анне; умирали от конфуза два по уши влюбленных в Анну студента... В уборной от множества цветов было душно, как в теплице. Анна сидела перед зеркальным триптихом загримированная и потому чужая для Лунина: теперь лицо ее казалось страшным и особенно значительным, как будто бы она не надела, а совлекла личину, ту обыкновенную личину, которая наскучила ей наконец. И как ужасно, как очаровательно было теперь это сумасшедшее лицо.

Увидев Лунина в зеркало, Анна кивнула ему головой и протянула руку для поцелуя.

Узнав художника, меценат перестал петь свои хвалы, и все как будто ждали, что Лунин что-нибудь скажет, и смотрели на него.

Тогда Лунин сказал:

— У тебя хорошо, Анна, прозвучало в третьем акте... Как это? «Мертвецы возвращаются...» Да... «Мертвецы возвращаются...»

И Анна повторила: «У вас тут ходит поверье, что мертвецы возвращаются на землю».

Постучали в дверь, и вошел режиссер.

— Начинаем! Начинаем! Пожалуйста, господа...

И вот опять ходит по сцене, как слепой, человек в черном, обреченный на гибель, и Анна разделяет с ним его странную судьбу.

О чем говорят они? О смерти? Они уходят в парк? Зачем это? Там водопад?

Как странно все, как странно...

«Покойница взяла их...»

XIII

Когда Лунин вошел в комнату Анны, она уже лежала раздетая в постели с томиком Бальзака в руках.

Лунин уже три недели не оставался с Анной наедине. Каждый вечер то Анна, то сам он возвращались домой поздно, утомленные, и, торопливо обменявшись незначительными фразами, уходили каждый в свою комнату.

И теперь, когда Лунин вошел в спальню Анны, на ее лице появилось беспокойство, как будто бы она боялась, что помешают ее уединению.

Лунин сел в кресло около постели и сказал нерешительно:

— Можно поговорить с тобою, Анна?

— Можно, милый...

— Видишь ли, со мной, Анна творится что-то неладное, и вот мне хочется рассказать тебе... А зачем, не знаю, право...

— Да, да... Расскажи непременно! — прошептала Анна, выронив из рук французский томик, который мягко упал на ковер.

Анна с боязливым любопытством смотрела на Лунина, и он смущался, не зная, как начать.

— Мне так трудно, так трудно, — сказал Лунин. — Ты, может быть, заметила, Анна, что я мало работаю теперь и наши отношения с тобою как будто не те, что раньше... Или нет? Или я ошибаюсь?

Анна с тоской посмотрела на Лунина:

— Не знаю, не знаю...

— Ты не знаешь? Припомни историю нашу, Анна... Я встретил тебя в Петербурге, когда муж твой был на Алдане. Я влюблен был тогда. По правде сказать, у меня слепая тогда была страсть. Может быть, это единственное настоящее, что дано людям узнать на земле...

— О нет! Нет, — сказала Анна. — Страсть — убийственна, губительна... Неужели недостойны мы иного?

— Вот я об этом и думаю, Анна. Мы были влюблены... Что случилось потом? Я убил твоего мужа... Странно. Я не мучаюсь тем, что убил человека. Я помню лицо его. Пустые глаза и как будто приклеенная борода... Совесть, Анна, не мучит меня, но что-то иное меня тревожит... Но что? Что? Я сам этого не знаю...

Анна побледнела. Она лежала с закрытыми глазами и чутко прислушивалась.

— Я себя потерял, Анна, мне жить страшно. Понимаешь? Как-то мир дробится вокруг меня. Вот эти краски мне приятны, вот эти нет... Вот эта мелодия созвучна сердцу, вот эта нет... Но почему это? Почему? Прости меня, Анна, я говорю нескладно и несвязно, но для меня во всем этом есть связь. Я хочу сказать, что я не умею любить и, значит, жить не умею...

— Ты не любишь меня?

— Люблю, люблю, но не так, как надо. Я не знаю, как надо, но любовь моя — недостойная, несовершенная любовь...

— Я, кажется, понимаю тебя, Борис. И я люблю недостойно. Что значит любить? Значит, увидеть человека лицом к лицу, а мы видим душу того, кого любим,

как в зеркале, как в гадании... Я люблю тебя, Борис, но я не знаю тебя... Боже мой! Как страшно это! Как страшно...

— Я так ценю тебя, Анна. Ты прекрасна. Но ты сама по себе, а я один, один...

— О, как мы одиноки!

— Да. Мы любим слепо... И вообще нет ничего прочного в нашей жизни... Все проходит, все течет в причудливой смене звуков, красок, мыслей... Сегодня меня волнует запах моря, завтра я влюблен в облако, которое загорелось странным огнем на вечерней заре, но все это как сладостный бред, а иногда мучительный бред.

— Да, ты правду говоришь. Да, Борис, и я чувствую, что все — туман, туман. И я не знаю, где мое я. Я вот играла сегодня Ребекку¹², и я верила, что это жизнь, то есть п о ч т и верила. Понимаешь? Все смешалось. Я иногда в комнате одна стою перед зеркалом и говорю: «Анна Томилина, Анна Томилина». И это так странно звучит, Борис.

— Я не знаю, что делать, Анна... Я вспоминаю иногда Михневича и завидую ему. Этот человек умеет быть простым и наивным. Все у него выходит складно — и огород, и супружество его, и социализм как требование чистоплотности... А мы сумасшедшие с тобою, Анна...

Анна вздрогнула и приподнялась на постели.

— Я, Борис, получила сегодня письмо от отца и до сих пор не распечатала... Все боюсь чего-то, все мне кажется, что он о чем-нибудь неприятном пишет. Но надо прочесть... Конверт на столике. Дай мне его...

Когда Анна прочла письмо, у нее задрожали губы и она с ужасом посмотрела на Лунина.

— Несчастье, — прошептала она, — несчастье какое! Эксакустодиан заболел душевно. Его вчера отвезли в психиатрическую клинику.

XIV

На следующую ночь Лунин опять пришел к Анне и опять сел в кресло около ее постели.

Он взял ее за руку и сказал:

— Анна! Брось сцену!

Анна со страхом посмотрела на Лунина:

— Что ты! Что ты! Как можно!

Лунин опять сказал:

— Анна! Брось сцену.

— Но почему, милый? Почему?

— И без театра жить страшно, Анна... А когда ты на сцене, я теряю голову: кто-то отнимает тебя у меня... Демон какой-то. Я этого не хочу, Анна.

— Нет, Борис, не надо так говорить. Я не могу бросить сцену.

— Почему не можешь?

— Потому же, почему ты не можешь бросить живописи. Так суждено. Ты — художник; я — актриса.

— Но ты пойми, Анна: человек выше искусства. Ведь мы гибнем, гибнем, Анна... Надо всем пожертвовать и спасти себя.

— Однако ты не бросишь живописи? Ведь нет?

Лунин молчал.

— Вот видишь, ты молчишь. А ты требуешь, чтобы я бросила театр. Я не могу.

— Я требую этого, Анна.

— Оставь меня! — крикнула Анна. — Оставь.

— Да, мы безнадежно одиноки, — прошептал Лунин. — Прощай, Анна.

— Постой, — сказала она, — постой... Куда ты?

Анна приподнялась на постели и схватила маленькой рукой его рукав:

— Не уходи, Борис.

Лунин подумал, что надо уйти сейчас, и хотел уйти, но где-то в глубине сердца как будто прошла темная тень, и он остался, и стал на колени, и вдруг почувствовал знакомый запах тела. Горячие пальцы Анны прижались к его губам, и Лунин, уже слепой и безвольный, ни о чем не думал.

Утром Лунин почувствовал, что душа его опустошена, и не мог работать. Все вокруг казалось простым, плос-

ким, скучным... Лунин ненавидел такие дни и боялся их. В эти дни пил вино он. И на этот раз в час завтрака, когда Анна ожидала его в столовой, он вышел из дому и направился в кафе.

Кафе, как всегда, было наполнено сутенерами, биржевыми зайцами, ворами, сыщиками, загулявшими приказчиками и немцами-конторщиками. Под низкими сводами этого каменного коридора носились сизые клубы дыма. Пахло кофе, сигарами, духами, пудрой и чем-то острым и пряным. От дыма, от хриплых криков, от пестрых туалетов и, главное, от близости этих доступных женщин пьянела голова и все казалось фантастическим.

Проститутки, старые и молодые, веселые и грустные, представительницы всех стран, сидели за столиками, как стая пестрых птиц, слетевшихся на петербургские камни в какой-то смутной надежде: иные — на большую добычу, иные — на нищенские крохи.

Одни из них сидели в непринужденных позах, заложив ногу за ногу, приподняв юбки, множество разноцветных юбок, из-под которых торчали ноги в черных чулках и желтых ботинках с высокими каблуками; эти женщины курили папирсы и болтали на международном языке кокоток, на этом циничном и насмешливом языке; их грим был преувеличенно ярок и жесты преувеличенно развязны. Другие, в огромных шляпах со страусовыми перьями, в черных платьях в белых перчатках, казались закутанными в траур. Наконец, были здесь и совсем молоденькие девушки, недавно выброшенные на улицу, в наивных платьях, похожие на горничных, с большими деревенскими руками.

Здесь был рынок, где посредники в красных галстуках, с перстнями на пальцах, вербовали женщин, подходящих для публичных домов; здесь содержательницы хоров, сводни в черных мантильях, поставщицы детей с лицами богомолков — все имели свой кусок и копошились, как черви на падали. Тут же подозрительные безусые молодые

люди, в мягких шляпах, с цветами в петлицах, манерничали, как женщины.

Лунин спросил себе виски. И скоро затуманилась голова художника. Нравилось Лунину сидеть так в кафе среди гнусного сброда и этих сумасшедших женщин; ему нравилось, что вот грязный ужас нелицемерно поет здесь свою уличную песню поруганной любви...

Уже больная пьяная улыбка змеилась на губах Лунина, когда он вышел на тротуар Невского. Он знал, что лишь утром вернется домой, что началась его темная болезнь, и он жадно вдыхал ядовитый петербургский воздух, как эфироман вдыхает окрыляющий сердце эфир.

Петербургское октябрьское небо! Как понимал, как чувствовал Лунин эти бледные краски, этот серо-серебристый тон облачных тканей, это больное, увядающее солнце. Лунин прошел Невский, Морскую, зашел в Исаакиевский собор и там, прижавшись к огромной колонне, наслаждался торжественным сумраком. Потом он пошел к фальконетовскому Петру и стоял как замороженный, смотрел упорно на «кумир с простертой рукою»¹³, потом он очутился на Васильевском острове, зашел там в маленький немецкий ресторан и опять спросил виски...

Уже не мысли, а что-то иное волновало Лунина: какие-то мечтания, похожие на правду более, чем сама правда обычных дней. Взгляд случайный, встретившийся с его взглядом, жег ему сердце, как яркий факел. И кто-то пел там, за фиолетовым туманом, в который погружался вечерний город. Тонкий высокий голос, нежный, как флейта, а иногда похожий на скрипку, пел там песню странную, но как будто знакомую.

Лунин уже не знал, где он сейчас, и шел неустанно, не замечая пути. Казалось ему, что вот сейчас откроется то, что так нужно, так желанно, так близко, но голос нежный только дразнил и звал куда-то. И напрасно ждал Лунин, что вот увидит он чье-то лицо — и тогда умрет...

Лунин очутился перед освещенным подъездом и прочел сверкающую электричеством вывеску — «Аполло». Болезненная улыбка, бессмысленная и порочная, кривила его губы, и Лунин сам испугался своего лица, увидев его в большом зеркале.

Лунин шел неуверенно по фойе, и ему казалось, что вокруг — фантомы, а не живые люди, и что вот они подойдут сейчас, окружают его, приблизят к его лицу свои ужасные маски и раздавят его своими жесткими деревянными туловищами.

На эстраде плясала француженка. Лунин видел огромный красный рот, зеленые пятна под глазами, золотую волну юбок и бесстыдное движение ноги, обтянутой в черное трико...

Лунин тяжело опустился на стул, и лакей поставил перед ним бутылку клико¹⁴.

Неожиданно прозвучал знакомый голос:

— И вы здесь! И вы!

Как новая маска возникло лицо перед Луниным: бледный лоб с черными на нем кудрями и глаза, полные страсти мрачной.

— Ах, это вы, граф. Вы один? Ну, что же. Будем вместе пить. Будем пить, граф.

— А ведь у нас с вами был однажды разговор, — сказал Бешметьев. — Помните? Это было три года назад... Мы с вами говорили, что многие живут теперь фантастически, что силы тайные влияют на события.

— Помню.

— Не правда ли, теперь, после революции, хуже стало? Лунин молчал.

— Я не про политику говорю, — продолжал граф задумчиво, — я в политике весьма наивен; я про наши души говорю. Года три тому назад у нас мечта какая-то была. И вот, казалось, воплотится она. Идешь, бывало, по вечерней улице и как будто шорох слышишь волнующий и поступи такую гордую и прекрасную. Чью? Бог знает. А помните, с каким глупым лицом я следовал повсюду за

княжной Ховриной, ныне женой моей? Кстати — ей очень хочется, чтобы вы написали ее портрет. Вы согласны? Нет? Я был бы очень рад, если бы вы написали ее портрет. Чтобы понять ее лицо, надо отца ее разгадать. Вы видели князя?

— Раза два видел.

— Не правда ли, любопытное лицо?

— Да. В нем какая-то усталость мудрая.

— Вот именно: как будто бы не одну жизнь пережил он. Вы знаете, князь — астроном по специальности и даже какие-то открытия сделал; но если с ним поговорить как следует, то наука его во что-то другое превращается — в магию, так сказать. Говорит он точно и трезво и даже с улыбкой материалистом себя называет, но при этом как будто бы есть у него тайная мысль. Я боюсь этого колдуна, ей-Богу.

Граф засмеялся.

— Вы начали, граф, о фантастичности, о мечте, — сказал Лунин, — я бы хотел послушать. Я не совсем понимаю.

— Как странно! А я думал, что именно вы поймете меня. Я сужу по вашим картинам. Вот у вас есть «Дама в черном». У нее глаза тревожные. Она такой же крови, что и я. Вы должны понимать.

— Если в этом смысле, то понимаю, пожалуй. Только я думал, граф, что вы можете сообщить что-нибудь реальное на эту тему.

— Откуда у вас надежда такая?

— Я вам скажу откуда. Я по лицу вашему вижу. Вот вы растревожены событиями, что-то предчувствуете; вы — человек ожидающий, ищущий... Все это мне близко, но вы еще обладаете тем, чем я не обладаю. У вас цельность есть и страсть в сердце. А я как художник не умею всего себя отдавать: силы берегу на мастерство.

— Да, вы скупы и холодны, пожалуй, — согласился Бешметьев, — но, может быть, это оттого, что вы стыдливы очень, несмотря на всю вашу суровость...

— И брезглив.

— Да... Да... И брезгливы, конечно.

— Вы знаете, мне кажется, что скоро убивать себя будут многие... — неожиданно сказал Лунин. — Я вот хожу по улицам и думаю: это — все самоубийцы бродят... И у всех такие пустые глаза.

Лунин вздрогнул.

— Да, граф, нет ничего страшнее пустых глаз, и вот еще когда кажется, что борода приклеена.

— И я много боюсь. Женщины боюсь особенно. Когда она говорит: «да, милый», «нет, милый», а сама думает о чем-то своем.

— Но я скептик, граф, — сказал серьезно Лунин, — мне иногда неудержимо хочется весь свой опыт отвергнуть, назло самому себе... Иногда мне хочется сказать: «Страшно? Ну и прекрасно... Это не что иное, как р о м а н т и ч е с к и й и с п у г, болезнь психическая, отмеченная и в истории литературы, между прочим». Так цинично мне хочется иногда сказать.

— Ах, Боже мой! Я это очень понимаю. Вот новая любовь, новая любовь... Все так таинственно в наших сердцах, и какие-то противоречия безумные как будто разрешаются. Но придет историк и бесстрастно скажет: «Распушенность нравов во время революции». И, может быть, педант будет прав. То есть, с одной стороны, разумеется. Определенность научная всегда однобока, несмотря на всю свою святую правоту...

В это время к столику подошла высокая женщина с бледным овальным лицом и злыми красивыми глазами. Граф взял ее за руку и посадил рядом.

— Рекомендую... Клара... Прекрасная Клара... Я влюблен в нее...

Клара повела глазами, которые казались пушистыми, когда она их прищуривала, и сказала лениво:

— Глупости какие. Влюблен. До утра влюблен, милый, а утром к жене поедешь.

— Не говори о жене! — сказал Бешметьев, и яркая краска выступила у него на щеках.

— Вот все вы такие: «Влюблен... Влюблен», — а о жене не смей и говорить...

Клара засмеялась и с презрением посмотрела на Бешметьева.

— Влюблен я, — сказал упрямо граф, — сама знаешь, третью ночь в вертепе вашем...

— Ну, прощай, милый... Меня вон офицеры ждут.

Но граф, разговаривая с Луниным, все время подливал шампанское и теперь, совсем охмелевший, не хотел отпустить Клару.

— В «Пятьдесят девять» поедем, — бормотал он, целуя у локтя руку Клары, — а потом на Острова...

Лунин расплатился и, не прощаясь, вышел из «Аполло».

XV

Лунин не знал, когда и при каких обстоятельствах возобновила Анна знакомство с Любовью Николаевной, но уже не раз он заставал их вместе в маленькой гостиной. Прощаясь, они целовались нежно, и, по-видимому, у них были какие-то общие интересы, о которых ничего не знал Лунин.

Иногда Анна говорила ему:

— Сегодня из театра я поеду к графине. Не жди меня.

Лунин так был занят собою и большими мечтами своими, что дружба Анны с графиней не очень его интересовала.

С Анной редко оставался Лунин наедине, и отношения их потускнели.

В конце февраля Анна объявила Лунину, что едет в Москву и надолго, может быть, на целый месяц: опасно заболел отец.

Когда Лунин и Анна стояли на перроне вокзала и ожидали второго звонка, оба чувствовали, что надо сказать что-то, произнести какое-то слово значительное, но сердца их были холодны и пусты. И слова нужного не сумели они произнести...

— Ты не забывай меня, смотри, — сказала Анна с такою же улыбкой и с тем же выражением глаз, какие

волновали Лунина год назад, но теперь ему казалось, что и улыбка, и взгляд Анны — только хорошее подражание той прежней улыбке и прежнему взгляду.

Лунин, не отвечая Анне на ее полувопрос и тоже улыбаясь, сказал:

Я тот же преданный, я раб твоей любви...

Анна коснулась губами темных роз, которые нежно и пьяно пахли, увядая.

— Да, — сказала она, — а я тебя забыла спросить: когда же ты будешь писать портрет графини? Она так умоляла... Пожалуйста, милый, не отказывайся на этот раз. Она тебе на днях письмо пришлет.

— Да, да... Я буду писать портрет графини, — сказал Лунин, припоминая ее лицо, — я охотно напишу ее портрет.

Раздался звонок, и Анна прижала свою руку к губам Лунина.

Лунин стал бывать у Бешметьевых. Ему нравился старый бешметьевский дом на Мойке, около Певческого моста. И обстановка дома казалась ему приятной, и самый быт бешметьевский, сохранивший личину благообразия, нравился ему, быть может, потому особенно, что не было у него, Лунина, связи с его прошлым, что давно он жил, как бродяга, оторвавшийся от земли...

И то, что Бешметьев был последним в роде, уже утомленным потомком когда-то не знавших усталости графов, волновало воображение Лунина.

Впрочем, самого Бешметьева он редко заставал дома. А с Любовью Николаевной он провел несколько долгих вечеров, прежде чем решился приступить к ее портрету. И в эти вечера, когда вглядывался Лунин в лицо ее, неотступно возникало перед ним другое лицо — низкий упрямый лоб с черными на нем кудрями, глаза с темным блеском и страстные губы, шепчущие имя Клары... Лунин хотел разгадать тайну семьи Бешметьевых и не мог ее разгадать. Но непонятные глаза графини, ее губы, алчно-

чувственные и злые, великолепные светлые волосы с золотистым оттенком и гибкая линия шеи радовали художника... И ничего не рассудив, но что-то разгадав бессознательно, Лунин решился наконец писать портрет.

Однажды во время сеанса Любовь Николаевна сказала Лунину:

— Вы знаете, я жду портрета с волнением и со страхом... И это для меня испытание, право... Сказать вам, чего я боюсь?

— Скажите.

— Я боюсь, что вы меня сделаете слепой.

— Как слепой?

— Ну, да... Слепой. Понимаете? Д у ш е в н о
с л е п о й...

Лунин смущенно улыбнулся.

— Я, по правде сказать, не люблю объяснять мои портреты. Я сам не знаю, как напишу. Но меня интересует это... В ы боитесь слепоты душевной? В ы?

— Да, я. Почему вы удивляетесь?

— У вас взгляд самоуверенный. Вот почему.

— Ах, это так. Привычка и гордость моя. А вам я не стану лгать. Я слепая, слепая... Я как в лабиринте живу. Меня пожалеть надо. Заблудилась я.

— И вы! — пробормотал Лунин. — И вы! Боже мой...

— Мы, женщины, живем любовью. Не правда ли? Но что значит любовь? Татьяна пушкинская умела любить. А мы все безнадежно холодны и жестоки. Когда мы любим, мы убиваем, губим... И нас убивают.

— Как странно, — сказал Лунин, — кажется, что вот наступил час признаний... Все признаются в том, о чем до сих пор молчали. Или уже невозможно молчать? Что это? Или, быть может, мы в самом деле вырождающиеся, отпавшие от настоящей жизни? Но где она — настоящая жизнь? А я? Что ж, я готов признаться в самом дурном и стыдном. Я в с е з а б ы в а ю. Вы понимаете? Я могу влюбиться, убить — и все забуду чистосердечно. Может быть, я поступка не забуду, но с е б я того времени забуду

ду, то есть что я тогда чувствовал, как я тогда переживал. А забыть себя — это значит свое «я» потерять. Ведь это ужасно... Ведь это гибель...

— Да, гибель, — повторила тихо Любовь Николаевна.

В это время вошел князь Николай Николаевич и, здороваясь, сказал:

— О какой гибели ты говоришь, Люба?

— Вот об утомленных людях вообще... О слабости нашей...

— Да, да, — сказал князь, — если посмотреть на вас, господа, со стороны, можно подумать, что вы в самом деле последние, что вы обреченные какие-то... Слава Богу, что кроме вас есть иная молодежь... Слава Богу...

— А вы как думаете, князь, — спросил Лунин, — откуда слабость наша? И почему лет пять тому назад мы не унывали еще, а вот теперь разучились жить, любить и даже картины пишем вяло и все по-старому, как прежде выучились?

— Я думаю, — сказал князь серьезно, — что причин много было, но одна, быть может, особенно повлияла на судьбу вашу. Это — революция, друзья мои. Она совсем прошла мимо вас, и поэтому вы устали больше, чем другие. Кто больше устанет: тот, кто плывет по течению, или тот, кто пытается удержаться на месте? Вы ничего не делали — и за это история растоптала вас.

— Мы для тебя, папа, статистические материалы, — засмеялась графиня, — а вот нам жить хочется, жить хочется.

— И то хорошо! — засмеялся князь. — А вот я все в газетах читаю о самоубийцах. «Жить не хочется», — в записках пишут. Что же это?

— Это все наши братья-декаденты, — сказал Лунин, — только мы на эту тему картины и стихи сочиняем, а у них нет стихов, нет картин, они честнее нас, откровеннее... Я это понимаю, но вот чего я не понимаю, так это вас, князь. Откуда у вас бодрость такая? Как это так легко вы мир принимаете?

— Потому что я наивный реалист, — улыбнулся князь, — у меня с миром, признаюсь вам, отношения очень близкие: нам друг без друга никак не обойтись. При-

ходится взаимно извинять слабости и пороки... Вот у меня склероз, и сейчас голова кружится, и мир отчасти виноват в этом, но я великодушен и не слишком жалею на мою судьбу. Прощай, Люба, однако...

Когда князь ушел, Любовь Николаевна с грустью сказала:

— Отец дурно выглядит сегодня. А мне он так нужен теперь, так нужен...

Потом, когда Лунин собрался уходить, она удержала его.

— Покажите, наконец, портрет мой! — сказала она с вкрадчивой нежностью.

— Смотрите, пожалуйста, — сказал Лунин.

Портрет был написан в розовато-белых и золотисторыжих тонах. Глаза и губы были влажны, как у тициановской Магдалины¹⁵. И на лице была печать как бы утомившейся страсти...

— Я бываю такой, — прошептала смущенно графиня, — но как вы угадали это? При вас я никогда такой не была... Но вы жестоки, Борис Андреевич: ведь здесь я куртизанка какая-то.

— Разве? — сказал Лунин, ничуть не смутившись. — Я бы не сказал так... И вообще я ничего не хотел...

— А вы сегодня вечером свободны? — неожиданно спросила Любовь Николаевна. — Если свободны, приходите к нам. Графа, впрочем, дома не будет... Мне так хотелось бы поговорить с вами о разных вещах.

— Я приду, — сказал Лунин, всматриваясь в светлые преступные глаза графини.

XVI

Когда Лунин вошел вечером в гостиную Бешметьевых, Любовь Николаевна сидела за роялем и играла шопеновский «Marche Funébre»^{*}.

— Это так, — сказала она, протягивая обе руки Лунину, — я больше не буду... Я не хочу меланхолии. Мы

^{*} Похоронный марш (фр.).

слишком часто грустим с вами, художник. Зачем? Нет, право, я молода еще.

Она подошла к зеркалу и сказала:

— И э т о во мне есть...

— Чт о э т о?

— То, что вы написали... Портрет ваш... А ведь живу я как монахиня. Вы знаете?

— Я так и думал...

— Вот как. Почему же вы думали? Ах да. Я понимаю. Граф говорил мне, что вы встретили его в кафешантане... А что эта Клара? Она в самом деле красива? Какие глаза у нее? Она брюнетка?

— Я не знаю, про кого вы говорите... Я не помню...

— Вы, может быть, думаете, что граф скрывает от меня свои увлечения? — Она засмеялась. — Нет, Борис Андреевич, граф — откровенный и благородный человек...

Любовь Николаевна была взволнована, возбуждена и теперь еще более походила на портрет, написанный Луниным. Казалось, что на глазах у нее слезы и что она смеется, чтобы утаить их. И рот ее был похож на цветок альпий, томно распутившийся, благоуханный и жаждущий влаги...

— Я не хочу умных слов, даже мыслей умных не хочу, — сказала графиня, — мне хочется говорить и делать глупости сегодня... Эта злая и праведная жизнь убивает меня... Я не могу больше, не могу. Я не хочу быть такой строгой, как ваша жена. Она прекрасна, я влюблена в нее, но она не умеет щадить никого, никого... Только вас. Почему она только вам все прощает?

— Я не знаю, я не совсем понимаю вас...

Тогда она дерзко и вызывающе засмеялась в глаза Лунину.

— Хотите быть сегодня милым и делать глупости вместе со мной?

— Но ведь я стар и скучен.

— Неправда. Вы просто боитесь меня?

— Может быть, и боюсь.

Глаза графини засияли лукаво и нежно.

— Художник! Поедемте кутить... Повезите меня куда-нибудь в невозможный притон или в клуб какой-нибудь подозрительный.

Любовь Николаевна взяла газету.

— Вот, смотрите: объявления... Вот клуб на Владимирской... Маскарад в пятницу. Сегодня пятница. Очаровательно. Мы едем? Не правда ли?

— Но там грязно и скучно.

— Грязно... Может быть... Но скучно не будет, потому что я сама полна радости и веселья. Ха-ха-ха! Почему вы так мрачны? Вы думаете, что это пир во время чумы?.. Не надо так думать. Не надо. Я совсем простая. И вы будьте простым. Мы будем пить шампанское...

Любовь Николаевна послала прислугу за домино.

И там, в клубе, она продолжала смеяться, а когда она сняла маску, на глазах у нее были слезы.

Возбуждение Любви Николаевны влияло на Лунина. И грязная роскошь клубных зал, бессмысленные шутки грубоватых масок, холодное шампанское — все поддерживало в Луinine настроение странное и тревожное.

И слезы графини пугали его.

— Нет, вы не умеете веселиться, — смеялась Любовь Николаевна, — почему вы мрачны? Вы думаете о жене вашей? Она — прекрасна, прекрасна... Но зачем такие строгие глаза? Ведь все проходит, все проходит. Мы слабы. И пусть. Правду я говорю?

— Да. Все проходит, — улыбнулся Лунин, пьянея.

— А мой муж? Нравится он вам?

— Очень.

— Ну да, конечно. Я так и знала. Я влюблена в вашу жену, а вы — в моего мужа. И потому мы вместе, должно быть, в этом прелестном дворце.

Она опять истерически рассмеялась.

— А знаете, когда-то мой отец был против нашего брака. У нас были тайные свидания с мужем... И он простаивал на морозе по три часа, ожидая меня. А вы... вы... Ха-ха-ха! Вы могли бы на морозе... Так... Боже! Что я го-

ворю! Простите меня. Он — рыцарь, мой муж. А эта Клара? Я хотела бы с ней познакомиться, право.

— Довольно! — сказал Лунин, отнимая шампанское у Любови Николаевны.

— Как хотите...

— Все проходит, — повторил Лунин рассеянно. — Нет, не все проходит, — как-то особенно серьезно и значительно прошептала Любовь Николаевна. — Любовь не проходит. А вы? Вы могли бы влюбиться, Борис Андреевич?

Лунин посмотрел в пьяные и томные глаза Любови Николаевны, на ее нежные губы и неожиданно для себя сказал:

— Да.

Когда они вышли из клуба, мартовский влажный вечер обвеял их горячие лица. Любовь Николаевна теперь не смеялась.

— Я не хочу домой, — капризно сказала она, прижимаясь к плечу Лунина, — я хочу на Острова...

На Каменноостровском она торопила извозчика:

— Скорей! Скорей!

Неожиданно она запрокинула голову.

— Милый! Милый! Целуй!

Лунин покорно прижал свои холодные губы к ее тоже холодным губам.

— Мы мертвые, — прошептала в ужасе Любовь Николаевна. И вдруг она вскрикнула: — Что это? Что это?

Они проезжали мимо дома старого князя. Во втором этаже все окна были освещены ярко. Двигались черные тени.

— С отцом случилось что-то... — сказала Любовь Николаевна, судорожно сжимая руку Лунина. — Боже мой! Как страшно... Боже мой!

— Вы домой хотите? — с тревогой спросил Лунин.

— Домой? Нет, нет... Я боюсь. Боже мой! Я схожу с ума. — Она повернула заплаканное лицо к Лунину: — Я к вам хочу, Борис Андреевич.

— На Жуковскую! — крикнул Лунин извозчику, и ему не казалось странным, что Любовь Николаевна так

неожиданно, ночью, решила ехать к нему и вот сейчас целовала его холодными губами.

Когда Лунин и Любовь Николаевна очутились вдвоем в лифте, она закрыла лицо руками и вздрогнула.

— Зачем это? Зачем?

— Рассуждать не надо, — сказал Лунин, — судьба такая. Все как сон. И мы кому-то пригрезились, должно быть, такими.

— Какие у вас холодные руки.

Лунин отпер квартиру и без звонка, не разбудив прислуги, провел Любовь Николаевну к себе в мастерскую.

— Светает, — сказала графиня, — шесть часов.

Лунин отдернул штору на огромном окне, и открылся Петербург утренний: туманная, желтая даль Литейного проспекта, скучная сеть трамвайных, телеграфных и телефонных проволок; сине-зеленые пятна ночных гуляк, проституток, дворников...

Любовь Николаевна, в тоске ломая руки, отошла от окна. Она стояла посреди мастерской бледная теперь, с темными кругами под глазами, улыбаясь растерянно, как будто недоумевая, зачем она попала сюда.

— Ну, целуйте, целуйте руки мои... Мыслей не надо. Правда? Ведь мы влюблены? Влюблены?

Лунин молча стал на колени перед нею. Злые сладострастные огоньки загорелись в ее глазах.

— Вы во мне куртизанку увидели, — сказала она тихо, — может быть, вы правы... Я бы и натурщицей могла быть. Тело мое прекрасно...

Она села на диван.

Казалось, что холодный желтый туман вошел в мастерскую художника. Станный мертвый свет струился по стенам, тканям, картинам. Он оплетал душу паутиною, как огромный паук. И казалось, что никогда не развеется слепой туман, что город задохнется в этом трауре...

Неожиданно Любовь Николаевна вскрикнула:

— Страшно мне! Сейчас случилось что-то... Ах, не хочу я думать, не хочу...

Она протягивала руки к Лунину, но смотрела куда-то в сторону, как будто видела иного, кого Лунин не видел.

Потом она сказала печально:

— Разве так надо было? Ах, все равно... Пусть...

Она раскинулась на диване, как была, неодетая, и тотчас заснула.

Лунин сидел у окна и думал о том, что вот сейчас произошло то, что могло бы быть важным и значительным и что прошло, испепелилось, исчезло, как исчезает этот желтый неживой туман.

Лунин не верил, что он обнимал и целовал графиню. Не верил, что он, Лунин, как убийца, холодно и бесстыдно обладал телом этой несчастной утомленной женщины, которая возбуждала в нем теперь только жалость.

Уже развеялся туман; оживал город; шумела улица; под солнцем огнем черным светился гранит...

Графиня спала: распустились ее рыжие волосы; не слышно было, как дышит она. Казалось, что она лежит в глубоком обмороке.

Лунин очнулся, когда услышал звонок, когда кто-то прошел по коридору торопливо.

Дверь распахнулась, и в мастерскую вошла Анна.

Увидев спящую графиню, она слабо вскрикнула и закрыла лицо руками.

Потом они сидели рядом на диване — одна в черном траурном платье и шляпе; другая почти нагая...

Графиня целовала руки Анны, бессвязно умоляя ее о чем-то.

— Это ужасно, это страшно — то, что случилось, но в сущности не было ничего. Это так, так... Это кошмар, сон... О, я недостойная! Недостойная! Прости... Прости...

Анна, бледная, с глазами, полными ужаса, гладила нежно рыжие волосы графини и говорила тихо:

— Я... Я виновата во всем... Так должно было случиться... Мы все такие холодные, такие утомленные... Боже! Но что же делать? Что делать?

XVII

В ту ночь, когда графиня была в мастерской Лунина, умер от удара князь Ховрин.

В начале апреля Бешметьевы уехали в свое подмосковное имение. Анна была приглашена на гастроли в Киев.

Лунин жил в Петербурге и почти не выходил из мастерской: писал большую картину — «Марию Египетскую в пустыне»¹⁶.

В страстную субботу, вечером, когда уже электричество горело на улицах, вышел Лунин из дому и вдруг почувствовал, что апрель опять зовет его куда-то... Но куда?

Все прошлое казалось ему ненастоящим, случайным, и хотелось верить, что вот откроются иные миры, но сердце было как в плену.

Лунин бродил по улицам в полусне, не замечая времени. Когда он очнулся, перед ним расстилалась огромная черная Нева, и от огней на мостах в глубине водной сияли золотые колонны торжественно и безмолвно.

И две черные фигуры таких же, должно быть, скитальцев, как Лунин, стояли на берегу недвижно.

«Не мертвый ли я? — думал Лунин. — Почему сердце так слепо? Не все ли в гробах мы?»

Потом опять, как ведомый кем-то, пошел Лунин прочь от черной Невы, и неожиданно открылась перед ним площадь и церковь. Вокруг церкви стояла толпа со свечами, и у притвора теснился клир и червонились хоругви.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех...»

Лунин слушал песню, как древний зов таинственный.

— Но я — мертвый, мертвый, — шептал Лунин, склонив голову.

А клир пел: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...»¹⁷



ОТМЩЕНИЕ

I

Ровно семь лет тому назад пришлось мне провести лето на берегу океана, в Ипоре, маленьком курорте и рыбацком селении, где жизнь протекает мирно и слепо и где лишь бури время от времени напоминают о непрочности земного счастья.

В этом уединенном и всеми забытом уголке Нормандии (впрочем, теперь, я слышал, туристы чаще стали навещать этот берег) мне пришлось быть невольным свидетелем не совсем обычной любовной истории, о которой я хочу рассказать, утаив, разумеется, настоящие имена тех, кто в ней участвовал, хотя главного героя этого ненаписанного романа уже нет в живых.

Я буду краток, конечно.

Однажды, после купанья, я заметил на пляже господина среднего роста в сером сюртуке и в серой шляпе; я раньше не видел его здесь, а так как в Ипоре все друг друга знают, я хотел было спросить у англичанина, который купался вместе со мною, кто этот незнакомец, как вдруг господин в сюртуке обернулся, и я тотчас же узнал его по портретам и остановился изумленный. Это был *он* — самый гениальный и необычайный современник наш, победивший после упорной борьбы весь мир и признанный, наконец, всеми — первый, единственным и несравненным.

Признаюсь, я испытывал волнение, наблюдая за этим человеком, чьи книги так повлияли на мою судьбу уже в юные годы. Этот старик был тот самый чародей, который напомнил миру забытую истину о его божественном происхождении, указал на фатум в нашей повседневности и властно потребовал от человека быть самим собою прежде всего. Это был художник ледяных вершин¹. От его творений веяло холодом; его видения были снежны; воздух, где жили его герои, был слишком разрежен и слишком прозрачен, — и слабые задыхались там, но сам он на этих вершинах жил вольно и дивно, гадая по звездам.

Он шел прямо на меня. Я видел его огромный лоб, седые развевающиеся пушистые волосы, сдвинутые лохматые брови и зоркие со стальным блеском глаза. Плотные сжатые губы обличали в нем человека замкнутого, сосредоточенного и равнодушного к чувственной прелести нашего обыденного мира.

Я невольно снял шляпу и поклонился. Он ответил мне вежливым поклоном, не обнаружив ни малейшего любопытства, и невозмутимо продолжал прогулку.

— Вы знаете, кто это? — спросил я англичанина.

Он утвердительно кивнул головою. Да, он знает, кто этот старик. Он читал его произведения. Его «Умирающее светило» произвело на мистера сильнейшее впечатление. Его можно поставить наряду с Шекспиром.

Я не говорю по-английски, и мистер Грэй объяснялся со мною на ужасном французском языке.

Желая быть любезным, он заговорил о русской литературе. Ему довелось прочесть прекрасное произведение одного русского поэта, замечательного поэта, но, к сожалению, он не может вспомнить сейчас его фамилию. Имя он помнит, но фамилию забыл.

— Я знаю всех замечательных русских поэтов, — сказал я. — Назовите мне его имя, а я вам напомним его фамилию.

— Габриэль... Его звали Габриэлем...

Я недоумевал. Мистер поднял брови и ожидал, что я ему подскажу фамилию поэта. Наконец я сообразил, кого имеет в виду англичанин.

— Державин... Гавриил Державин...

— Да, да, конечно... У него есть превосходная философическая ода «Бог»...²

Это был единственный русский поэт, которого знал мистер Грэй.

II

Я жил в пансионе госпожи Розетт, вдовы рыбака. Нас садилось за стол обыкновенно человек пятнадцать — двадцать. Почти все были французы, буржуа из Руана, приехавшие сюда на лето отдохнуть и подышать морским воздухом. Русских было трое: я и одна молоденькая барышня со своею старою глухою теткою. Барышню звали Валентиною. В ней, пожалуй, ничего не было примечательного, но я невольно был очарован ее молодостью и тем хмелем жизни, который играл и пенился в каждом ее жесте, взгляде и в каждом звуке ее светлого, юного и нежного голоса. Мы встречались с нею часто и во время купанья, и на прогулках; я любовался ее томными и лукавыми глазами, ее улыбкою невинною, но уже таившею в себе возможности чувственных порывов, и ее тонкими душистыми пальцами, которыми она непрестанно перебирала цветы.

Мы болтали с нею обо всем непринужденно и откровенно. Ее суждения были часто неглубоки, но они никогда не были пошлы, потому что она умела вовремя замолчать, прекрасно сознавая, что слово не ее стихия и что ее очарование в ней самой, в ритме ее сердца и в бессознательных предчувствиях ее души.

Однажды, когда она, купаясь, проплыла совсем близко от меня и я увидел в зеленой волне ее розоватое, нежное плечо и заметил упругое движение ноги, я вдруг почувствовал, что голова моя пьянеет, и я после этого уже с неожиданно приятным волнением ожидал минуты, когда мы можем с нею встретиться.

Мы гуляли с нею по фалезам. Был час прилива. Океан шумел внизу, разбивая о скалы свои зеленопенные волны. Ветхая изгородь отделяла нас от бездны, где пела, плакала и смеялась, и страшно стонала, и страшно роптала чуждая нам стихия, скрывавшая в своей глубине Бог знает какие тайны морских чудовищ с невероятными инстинктами, со своим особенным пониманием мира и, конечно, со своею особенною верою в Бога. Немудры те, которые думают, что вера в Бога свойственна только человеку. В Бога верят и лев, и голубь, и пчела. И у подводных обитателей океана есть свое слепое и темное томление по дивному Богу. Мы, люди, быть может, дальше отстоим от него, чем немые рыбы или дремлющие морские звезды... Какие сны им снятся — этим молчаливым и загадочным существам, не ведающим ни добра, ни зла!

Я высказал что-то в этом роде моей спутнице, и она радостно с этим согласилась и призналась с улыбкою, что она иногда чувствует себя птицею и готова славить Бога нехитрою песнею, как славят его полевые и лесные твари, по уверению св. Франциска³.

Мы, смеясь, сели на лугу под ивою. У Валентины на коленях был ворох цветов. Она перебирала нежными пальцами желтые и зеленые стебли, вдыхала жадно благоухания, непохожие на приторно-сладкие ароматы садовых питомцев.

Валентина учила меня плести венки, пальцы наши иногда встречались, и ее прикосновения волновали меня, как мальчика.

— Жизнь прекрасна, — сказала Валентина, улыбаясь. — Я знаю, вы философ и обо всем рассуждаете свысока. Все философы всегда рассуждают свысока. Но так не надо рассуждать, мой друг. Впрочем, то, что вы сказали про морские звезды, мне нравится, потому что это смиренная мысль. Мы все должны быть, как дети. Христос так давно об этом сказал...⁴ Жизнь прекрасна, и нельзя к ней подходить с нашим человеческим мериллом разумно-

сти и вообще нельзя к ней предъявлять категорические требования, как это делают иные...

— То, что вы сказали сейчас, тоже философия. Но предоставим мыслителям рассуждать, а мы будем наслаждаться несомненным и чудесным, противоречивым и согласным вместе с тем.

— Будем наслаждаться, — повторила она, смеясь, и протянула мне несколько ирисов.

Я прижал губы к ее душистым пальцам, и она медлила их отнять у меня.

Одним словом, я влюбился в Валентину, и она была, по-видимому, благосклонна ко мне. Мы то ездили на рыбацких лодках в море в обществе ее глухой тетки и любезного мистера Грэя, то с каким-нибудь руанским семейством отправлялись в каретке в Фекан, где есть ныне бездействующее старинное аббатство, прославившееся когда-то благочестием своих монахов, щедрю благотворительностью, а также умением готовить изысканные ликеры... Но, разумеется, я мечтал о тайных свиданиях с прелестною Валентиною, и, наконец, она согласилась прийти ночью на берег моря, где стояли рыбацкие суда.

Я полчаса ходил по гравию в приятном волнении. Ночь была лунная, но облака, как темные бараны, бежали диким стадом по небу, и причудливый зыбкий свет делал все вокруг обманчивым... К тому же время от времени яркие лучи маяка, направляемые подвижным прожектором, освещали море, задевая иногда и берег своими слепительными стрелами. Рыбацкие лодки с убранными парусами казались теперь скелетами каких-то допотопных животных, выброшенных на берег океаном.

Наконец я услышал легкие шуршащие шаги и тотчас же бросился навстречу Валентине, которая шла ко мне вся закутанная в черную шаль.

— Вы пришли, Валентина. Вы пришли, — бормотал я, сжимая ее тонкую руку, наслаждаясь теплотою ее нежной ладони.

— Ах, как все таинственно сейчас! — сказала она шепотом.

Мы подошли совсем близко к морю, и Валентина села на камень. Я стал на колени у ее ног и стал говорить те несвязные слова, неразумные и неубедительные для трезвого человека, которые так понятны и необходимы любовникам. В сущности, эти любовные фразы нужны лишь для того, чтобы оправдать как-то наше безумие, придать ему видимость смысла и логики.

Валентина коснулась своими пальцами моих волос. Я уже не мог рассуждать и быть благоразумным. Я поднял голову, и мои губы встретились с ее губами. Этот горячий полуоткрытый рот, похожий на алый нежный цветок, одурманил меня. Я чувствовал ее стройное гибкое тело, прильнувшее ко мне. Повинуясь непонятному инстинкту, я поднял Валентину и стал ходить с нею по берегу взад и вперед, наслаждаясь тем, что она у меня на руках, что я чувствую ее всю, что она почти принадлежит мне безраздельно...

Она приходила ко мне на свидание каждую ночь. Наконец она обещала прийти ко мне в комнату. Я ждал ее нетерпеливо и страстно, не рассуждая о том, чем все это может кончиться. Она пришла ко мне в полночь. Едва она переступила порог моей комнаты, я бросился к ее ногам, целуя ее платье, обнимая жадно ее колени... Но она была почему-то пуглива и холодна на этот раз... Она слегка отстранилась от меня и произнесла какую-то обыкновенную фразу, на которую надо было ответить... Мой праздник погас почему-то. Мы обменивались незначительными словами. Какой-то демон внушил мне спросить ее:

— Вы не обратили внимания на седого старика в сером сюртуке и в серой шляпе, который на днях появился здесь, в Ипоре?

— Нет, я не видала его, — сказала она тихо и прибавила, как бы припоминая что-то: — Я знала одного человека, который всегда носил серый сюртук и серую шляпу. Этот человек имел большое значение в моей жизни...

А почему вы спросили, видела ли я старика, который недавно сюда приехал?

— Этот старик, — сказал я, запинаясь, — этот старик...

И я назвал имя, известное всему миру.

Валентина внезапно встала и прижала руки к груди, как будто задыхаясь.

— Он здесь! Вы уверены, что он здесь? Боже мой! Боже мой! — шептала она в странном волнении.

Теперь настала моя очередь спросить ее:

— Вы были раньше с ним знакомы?

Она странно и неясно ответила мне:

— Да... То есть нет... Лично я не была знакома, но я видела его однажды... Впрочем, я, кажется, говорю неправду. Не спрашивайте меня, Бога ради...

— Вы так взволнованы! — пробормотал я, недоумевая и уже почти ревнуя.

— Не думайте об этом, мой дорогой, — прервала она меня, бледнея, однако. — Я когда-то зачитывалась произведениями этого человека. Они произвели на меня исключительное впечатление... Но я не признаю его в конце концов. То есть я хочу сказать, что его гений на ложном пути. Он слишком умен, этот старик. И он был всегда слишком холодным, кроме того.

Я чувствовал, что мысли об этом старике отвлекли мою Валентину от того, что более всего меня волновало сейчас, и, слегка разочарованный и смущенный, я сказал, опустив голову:

— И вы сегодня, кажется, чувствуете себя более рассудительной, чем вчера и вообще в эти счастливые для меня дни.

— Не совсем так, — проговорила она задумчиво. — Но вместе нам сегодня нельзя быть. Я покажусь вам неприятной... Прощайте.

И она неожиданно выбежала из комнаты. Это было наше последнее свидание. Тщетно старался я снова встретиться с ней без посторонних свидетелей, с глазу на глаз. Она под разными предлогами уклонялась от свиданий.

Я видел ее лишь за завтраком, обедом или на пикниках, когда приходилось говорить по-французски и когда каждый мог вмешаться в нашу беседу.

Однажды все общество пошло на мол, и там все любовались закатом, в самом деле красивым. Кто-то затеял разговор о любви. И добрые буржуа с удовольствием обменивались сантиментальными афоризмами. Неожиданно Валентина приняла участие в беседе.

— Нет большего преступления, — сказала она серьезно, — как пожертвовать любовью. Я знала одного замечательного человека, одного писателя, который прекрасно понимал это и выразил это в своих творениях, но у него была тайная мысль, что творчество выше любви. И что же! Он погиб в конце концов...

— Погиб! Как погиб? — спросил кто-то.

— Да, погиб в своих собственных глазах... Я уверена в этом. Он бежал от своей возлюбленной, полагая, что все земное его недостойно... Но я верю, что судьба ему отомстит... И отмщением будет возвращенная немилосердная любовь...

Добрые буржуа не поняли, разумеется, ничего из этих слов Валентины. А у меня явилось странное подозрение, и я жадно слушал эту девушку, в которой проснулась женщина или, быть может, сама чародейка Медея⁵.

Я хотел проводить ее домой, но она взяла под руку свою глухую тетушку и поспешила уйти, покинув меня.

Мой друг, мистер Грэй, заметив мою печаль, старался развлечь меня, но его добрые намерения не увенчались успехом. Напрасно катал он меня на яхте, напрасно предлагал состязаться в плавании и сам показывал чудеса ловкости.

Я тосковал. Я избегал общества и даже мистера Грэя.

Однажды, гуляя вечером по фалезам, я подошел к обрыву и сел на выступе скалы. Обхватив одною рукою ствол каштана, я перегнулся и заглянул вниз, на берег, где валялись камни, всегда влажные, омываемые морскою пеною во время прилива.

То, что я увидел там, внизу, было так неожиданно, что у меня закружилась голова и я едва не упал со скалы...

На одном из камней стояла моя Валентина с охапкой цветов в руках, а перед нею, на коленях, уронив свою серую шляпу, стоял мой старик, этот гениальный человек, предлагавший миру принять его безусловные заповеди...

Я ничего не мог понять: этот одинокий скиталец по горным вершинам склоняет теперь свои седины к ногам миловидной девчонки, у которой такие лукавые глаза и так прелестны душистые розовые пальцы...

«Отмщение! — подумал я. — Это безумная жизнь, вечно юная, отвергнутая разумом, мстит за себя...»

ШУРОЧКА И ВЕНЯ

I

На углу Бульмиша и улицы Monsieur le Prince, в тесной и пыльной лавчонке, где продаются гвозди, проволока и домашняя утварь, стоял Веня Павлушин с жестяною кастрюлею в руке.

— Феть ле тру, мосье... Иси, иси, — говорил Веня мастеру, указывая на дно купленной им кастрюли.

Веня очень скверно говорил по-французски, но это ничуть его не смущало. Хозяин лавчонки, толстый, краснотубый и, по-видимому, веселый человек с недоумением посмотрел на Веню. «Сделать дырку в кастрюле»... Зачем? Но Веня твердил все то же:

— Феть ле тру, мосье... Иси, иси...

Веня вытащил из кармана маленькую метелку из разноцветных перьев и приставил ее к кастрюли. Если сделать дырку и всунуть туда метелку, кастрюля будет похожа на пернатый шлем. Такой шлем носили ассирийские воины.

Веня надел на голову кастрюлю. Его серьезное озабоченное лицо и неожиданный жест весьма развеселили почтенного лавочника и двух покупательниц.

Теперь все стало ясным. Сегодня на Монмартре художники устраивают бал, и молодой иностранец готовит себе наряд. Превосходно. Ничего не стоит провертеть дырку в кастрюле и прикрепить метелку. В самом деле, шлем будет хоть куда.

Веня — художник. Год тому назад он приехал в Париж, недели на две, но нечаянно остался в нем и, перебиваясь кое-как, живет теперь на бульваре Монпарнас и усердно пишет яблоки и бананы, подражая Сезанну. Когда-нибудь он напишет великое монументальное произведение. Веня твердо верит в это. И почему знать, может быть, его оценят современники. Ему поручат расписать стены общественных зданий, и он, Веня, покроет великолепными фресками множество квадратных саженей. Какой это будет праздник искусства! Но путь художника — тернистый путь. Иногда Веня нуждается в двух-трех франках — ничего не поделаешь. Но разве можно смутить художника такими пустяками? Кроме того, Веня увлекается теософией¹, а это учение, как известно, требует от адепта² духовной твердости и чистоты при всякого рода житейских испытаниях.

На Монмартре, в здании Большого цирка, было уже много народу, когда Веня вошел туда в своем шлеме с длинным копьём в руке. За огромными кулисами, на которых намалеваны были ассирийские быки и фаллические эмблемы, играл оркестр, и в зале стоял неясный гул, гул смеющейся, разговаривающей, восклицающей толпы, от которого, как от вина, пьянеет голова и является неопределенное желание как-нибудь заявить о себе, чтобы спасти свое маленькое человеческое я, поглощенное этим множеством равнодушных к вам незнакомцев. Веня пошел по зале, нескладно махая рукою и крича по-русски:

— Почему никто не танцует? Танцуйте, господа! Право же, надо танцевать...

И, как будто следуя его призыву, оркестр заиграл польку, и пара за парой закружились художники со своими дамами, топоча усердно. Танцевали так, как всегда танцуют французы на балах Монмартра или в Латинском квартале или просто на улицах в июле в дни национальных празднеств³ — танцевали, сбиваясь с такта, прижимая нескромно дам, касаясь руками их бедер... Только на этот раз Веня заметил, что дамы одеты как-то странно,

как-то уж очень легко, и ему казалось, что все эти пестрые наряды из дешевых тканей сшиты на живую нитку, чтобы легко можно было их сорвать, сбросить одним движением руки, ничего не расстегивая.

За столиками, расставленными вдоль стен и перед эстрадами, сооруженными, очевидно, на один вечер, сидели парочки за бутылками шампанского, и по рассеянным и влажным глазам этих французов Веня догадался, что уже многие пьяны, и ему тоже захотелось выпить, хотя это и противоречило строгим моральным требованиям теософии.

Веня подошел к буфету и положил три франка на влажный от пены прилавок. Ему налили бокал шампанского, и Веня, выпив, повеселел и еще громче закричал:

— Танцуйте, господа, танцуйте!

За столиком, в двух шагах от Вени, сидел большей француз с приклеенною красною ассирийскою бородою. Француз держал у себя на коленях голую женщину в одних ботинках. Веня часто видел голых натурщиц. Но они раздевались обыкновенно за ширмами и потом выходили оттуда позировать, пожимаясь от холода, с озабоченными и скучными лицами. И нагота их была не такая, как сейчас. И то, как эта теплая раскинувшаяся женщина вздрагивала от прикосновения длинной, должно быть, щекочущей бороды художника, задело и укололо целомудренного Веню. Он отвернулся и пошел от них прочь. Но и в другом углу опять сидела раздетая парочка, мужчина и женщина — они пили вино смеясь. Что это такое? Веня никак не мог сообразить, почему надо раздеваться на этом балу. Он, правда, слышал, что на монмартрском балу художников всегда так бывает, но он как-то не верил в это до сих пор. И теперь он не без смущения озирался вокруг, заметив, что все женщины или сами торопливо сбрасывают пестрые маскарадные наряды, или позволяют мужчинам срывать бесцеремонно эти платья и туники и потом бегут по зале голые не стыдясь. Уже мчались вереницей раздетые французженки, крупные и маленькие, брюнетки

и блондинки, миловидные и дурнушки. Под звуки галопа, припрыгивая не в такт, торопились мужчины присоединиться к неожиданному хороводу. И сотни рук сплелись, и сотни ног топотали и путались в полосатых тряпках, валявшихся повсюду на полу.

Веня с трудом пробрался к буфету и опять бросил на прилавок три франка, и ему опять дали бокал шампанского. Дико звучали медные трубы оркестра, как невероятный сон, возникали эти бедра, изогнутые спины, груди с розовыми сосцами, животы, подобранные и гибкие, а иные уже дряблые с заметными складками немолодой кожи.

Под руками, поднятыми кверху, мелькали пучки светлых и темных волос; мелькали потемневшие от пыли ступни ног; трепетали пальцы рук, розовые и нежные, сжимались судорожно темные мужские кулаки: многообразие тела, неожиданность жестов, странность ракурсов — все волновало Веню. Он видел в этой пляске нагих тел великолепную игру светотени, любовался всем красивым и смешным, наивным и бесстыдным, веселым и мрачным. Ему хотелось зарисовать — то ставшую на цыпочки тонкую девушку, чьи маленькие груди как бы стремились, как она сама, вперед и вверх; то ленивую расплывшую куртизанку, должно быть, не в первый раз посетившую монмартрский бал; то стройного мальчика-художника, который кружился с маленькою брюнеткою, звонко и весело смеясь.

II

В полночь почти все женщины были раздеты. И те немногие, которые до сих пор медлили еще сбросить с себя измятые тряпки, готовы были сделать это теперь, потому что мужчины нарочно обливали их шампанским. Веня бродил среди чуждой ему толпы недоумевая. Он улыбался растерянно и виновато, когда чья-нибудь маленькая ручка фамильярно касалась его плеча или чьи-нибудь подведенные глаза, влажные и пьяные, заглядывали ему в лицо, или в толпе какая-нибудь раздетая натурщица прижима-

лась к нему, и он чувствовал теплоту ее тела и видел совсем близко на ее спине красную полоску от корсета или случайную царапину.

— Ах, Боже мой, какие нахалы! — крикнул по-русски чей-то женский голос, и Веня увидел блондинку, которую окружила ватага пьяных художников.

Эти веселые французы, конечно, требовали, чтобы маленькая русская мадемуазель разделась, как и все. Они уверены, что ее формы не менее прелестны, чем ее глаза и рот. Право художников — любоваться наготою. Зачем же упрямится эта кокетка?

— Вы в самом деле не хотите раздеваться? — крикнул Веня через головы французов.

— Ах, вы русский! Не хочу, конечно, — засмеялась незнакомка, протискиваясь сквозь толпу и давая ему знак, чтобы он взял ее под руку.

Вот при каких обстоятельствах Веня познакомился с Шурочкою.

На рассвете они возвращались в таксомоторе через весь Париж — с Монмартра на Левый берег. Они обогнали банды замаскированных художников, которые тащили на носилках раздетых натурщиц. Какая-то веселая компания даже купалась в фонтане на их глазах.

Веня был молчалив, а Шурочка болтала неумолчно о себе и обо всем, что приходило ей на ум, доверчиво прижимаясь к плечу своего нового знакомого. Давно ли она в Париже? Вот уже третий год. Ей пришлось уехать потому, что она была замешана в одном политическом деле⁴. Собственно говоря, она равнодушна к политике, но она оказала услугу, как говорится. Ее попросили спрятать чемодан, а там, представьте, оказались бомбы. Сделали обыск, но ее не было дома, по счастью. Кухарка Матрена (такая умница!) успела ее вовремя предупредить. Вот она и бежала за границу.

Сначала ей помогала партия, а потом ее за равнодушные лишили поддержки. Да и денег у них не так уж много. Какая она революционерка, в самом деле!

— Как же вы живете, Шурочка? — спросил Веня, смущаясь несколько близостью этой маленькой полуоде-той женщины.

— Как живу? Я умею делать шляпы... В мастерской работаю... Modes... M-me Leanne... Rue des Apennines... * Знаете? Кроме того, я позирую иногда художникам...

— Так...

Они переехали мост. Сена казалась серебряною. Воздух был прозрачен. И Вене нравилось, что сейчас на крышах розовый отблеск от зари и слышно, как шуршат каштаны. Пусто было на улицах и бульварах.

— Я домой не хочу, — сказала Шурочка. — У меня хозяйка сердитая. Я ей должна.

Шурочка помолчала.

— А к вам нельзя?

— Я очень рад, — пробормотал Веня. — Только у меня одна комната... Ничего, впрочем. Вы ложитесь. Я погулять пойду. Я, знаете ли, очень люблю на рассвете гулять.

— Нет уж, это несправедливо будет, — засмеялась Шурочка. — Мы уж как-нибудь устроимся... Вам тоже спать надо... Вон у вас под глазами круги какие...

Мотор остановился. Веня робел. Он в первый раз возвращался домой с женщиною. Невидимая рука отворила дверь, и парочка поднялась по витой деревянной лестнице на четвертый этаж, где жил Веня. В комнате у него был беспорядок. От утренних лучей — окно выходило на юго-восток — все линии были четкими и определенными: как будто все предметы были обведены углем по краям и граням. Это была комната, похожая на все комнаты старых отелей. Амбирные часы на камине, широкая кровать красного дерева, занимавшая почти всю комнату, пара старомодных кресел и мольберт, повернутый к стене, — вот и все, что в ней было.

— У вас здесь хорошо, — сказала Шурочка, оглядываясь на кровать. — Как я спать хочу, однако...

* Модные товары... Мадам Жанна... Улица Апеннин... (фр.).

— Вот ложитесь, а я уйду сейчас.

— Ах, глупости какие! Отвернитесь только, пока я разденусь, а то меня всю шампанским облили, просто беда. Я в одеяло завернусь...

Веня покорно пошел в угол, за мольберт, и стал лицом к стене.

— Вот и чудесно, — улыбнулась Шурочка, снимая свой незатейливый наряд, измятый и пахнувший вином. — Выходите теперь. Я легла. Разговаривать будем.

Веня нерешительно вышел из своего угла и покорно сел, в кресло, на которое указала Шурочка.

На вид Шурочке было лет двадцать — не больше. У нее были карие глаза и золотые ресницы и золотой едва заметный пушок на щеках и шее. Она была белокура. И на ее губы Веня обратил внимание еще там, на балу. Они были странно подвижны, и нельзя было уловить их очертания. Что-то капризное и, пожалуй, порочное было в лице этой Шурочки.

— Вы так и будете ассирийцем всю ночь сидеть? ⁵ — засмеялась Шурочка. — Вот я какая эгоистка: заняла вашу постель, а вам и лечь негде.

— Я и в кресле усну прекрасно. Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Ну, как хотите...

Шурочка натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Но Вене не очень хотелось спать. Он видел из окна буро-красные черепичные крыши, трубы, карнизы, пепельные облака, чуть окрашенные по краям зарею...

Почему-то он вспомнил о Москве, об ее кривых переулках, об Остоженке, где жила в старом особняке его единственная родственница, у которой он гимназистом бывал по воскресеньям и пил чай с вкусными булочками и жирными топлеными сливками. И Веня вдруг почувствовал себя одиноким, никому не нужным, и ему вдруг мучительно захотелось вернуться в Россию, в Москву, услышать воскресный колокольный звон...

— О чем вы думаете? — спросила Шурочка, опираясь на локоть и разглядывая с любопытством лицо Вени.

Веня вздрогнул и покраснел.

— Я так, я ничего... Я о Москве думал...

— А обо мне не думали? — улыбнулась Шурочка.

— Нет, не думал.

— А вообще... О женщинах вы думали когда-нибудь?

— О, да, конечно... Я, мне кажется, их очень хорошо знаю. То есть я их совсем не знаю, но я душу женскую понимаю, — запутался Веня.

— Как вы непонятно говорите... Вы женщину целовали когда-нибудь?

— Никогда, представьте.

Шурочка села на кровати. Одеядло спустилось у нее на колени, и Шурочка движением плеча все старалась поддержать сползавшую рубашку.

— Нет, вы правду говорите? — спросила она, изумляясь. — А ведь вам лет двадцать пять. Это интересно, право.

— Я правду говорю. Только в этом нет ничего особенного. И очень многие теперь вовсе не спешат отказаться от девственности, уверяю вас.

Шурочка громко засмеялась.

— Почему вы смеетесь? — нахмурился Веня, несколько обиженный ее смехом.

— Нет, не обижайтесь, пожалуйста. Вы очень хороший, право, — улыбалась Шурочка. — Только зачем вам девственность эта? Зачем она вам?

— Как зачем? — удивился Веня. Я хочу совсем свободным быть... А если я с женщиною соединюсь, я буду рабом.

— Рабом?

— Рабом моих страстей, моей низменной природы... Я вот два бокала шампанского выпил. И этого не надо было делать. Когда меня женщины касались, у меня желание являлось. А вовсе не надо, чтобы желание являлось.

— А сейчас у вас нет желания меня целовать?

— Вы мне очень нравитесь, но, слава Богу, у меня такого желания нет.

— Ах, какой милый! А у меня есть.

— Вы смеетесь надо мною и больше ничего.

— Да, смеюсь. Знаете что? Если у вас нет желания, так вы ложитесь спать — вот и все. Кровать вон какая широкая.

— А раздеться можно?

— Можно.

— Хорошо. Я лягу. Только вы не целуйте меня, пожалуйста.

Шурочка натянула одеяло на голову, задыхаясь от смеха.

Веня разделся и скромно лег, стараясь не коснуться Шурочки.

— Спокойной ночи, — сказала Шурочка и задула свечку.

III

Когда Веня проснулся и открыл глаза, он сразу не мог сообразить, кто у него в комнате. Шурочка, уже одетая, варила кофе.

— Вы проснулись, — улыбнулся Веня. — Отвернитесь. Я встану сейчас, Шурочка.

— Вы только поскорее, пожалуйста, а то кофе остынет.

Через несколько минут Веня уже пил кофе и сбоку посматривал на Шурочку.

— Вы бы не согласились позировать мне? А? — сказал Веня, запинаясь. — Мне вас написать хочется...

— Непременно. Я даже решила так.

И вот Веня стал писать Шурочку. Он воспользовался этюдами берега и воды, которые делал в Сен-Клу, и писал теперь купальщицу. Шурочка раздетая сидела перед ним часа два в день, а он, хмурясь и покусывая губы, писал ее с азартом и, по-видимому, очень был доволен своей работой.

После работы они покупали в лавочке вареные артишоки, фасоль и масло и завтракали дома, а обедать ходи-

ли к Шартье, где старались истратить не более трех-четырех франков. Они бродили по Парижу, и Веня показывал Шурочке все, что ему нравилось, что он успел полюбить — *musée de Cluny* *, где они разгуливали по термам или сидели в садике, как два друга; маленькие средневековые церковки вроде *St.-Séverin* ** или часовенку *St.-Julien-le Pauvre* ***, где служат мессы по греческому обряду... Они слушали орган св. Сульпиция, кормили хлебом «мартина» в *Jardin des Plantes* **** ... По вечерам они сидели в кафе и барах, а к двенадцати возвращались домой и спали на одной постели все так же целомудренно, как и в первую ночь. Они привыкли друг к другу, и скоро Веня не мог уже себе представить, как бы он стал жить один, без этой маленькой блондинки с золотыми ресницами. Она в первый же день их знакомства осмотрела все его картины и этюды и тотчас же поверила в его талант. Веня чувствовал ее искренность. И все в ней было ему приятно: приятны ее мягкие движения, ее маленькие теплые руки, ее певучий голос, который он любил слушать и поэтому часто просил ее читать ему вслух Верлена... И она читала охотно, ничуть не смущаясь своим не очень хорошим выговором.

Она рассказала ему всю свою жизнь, она призналась ему во всем. Она читала ему письма своих любовников и потом сжигала их в камине на его глазах. Веня был смущен ее признаниями и тронут ее откровенностью. Он не спрашивал ее так, как ревнивцы спрашивают своих любовниц, у которых были романы до встречи с ними. Но Шурочка сама возвращалась вновь и вновь к своим приключениям, подробно повествуя о своих падениях и пороках. Она постепенно ввела Веню в свой мир, нескромный и легкомысленный, чувственный и свободный, забавный и нежный. И Веня, выслушав какую-нибудь историю Шурочки, спешил высказать ей свои сентенции

* Музей Клони (фр.).

** Святой Северин (фр.).

*** Святой Юлиан Блаженный (фр.).

**** Ботанический сад (фр.).

о желанной чистоте, о высшем благе и о несовершенстве земной любви. Она кивала покорно своей белокурой головкой и соглашалась с ним во всем.

Однажды они сидели в Люксембургском саду около *fontaine de Medicis* * — она с романом в руках, он с альбомом, куда он зарисовывал ее профиль.

Шурочка в рассеянности уронила желтую книжку и, мечтательно устремив глаза в воду, где плавали золотые рыбки, начала рассказывать новые подробности об одном из своих приключений.

— Ты не поверишь, Веня, как я тогда низко пала, — говорила она шепотом, взволнованная, по-видимому, воспоминанием. — Я так любила его ласки, так любила... Он стал изменять мне, он меня прогнал наконец... Но я не могла не ходить к нему. Он и теперь живет здесь, совсем близко, на *rue de Tournoy*... Представь себе, я пришла к нему однажды, а у него была другая женщина, румынка. Он был пьяный и сказал мне: «Ах, и ты пришла... Хорошо... Проведем эту ночь втроем...».

— И ты осталась? — спросил Веня, хмурясь.

— Конечно, осталась, — виновато улыбнулась Шурочка и нагнулась, чтобы поднять книжку.

— Это ужасно, — пробормотал Веня. — Впрочем, теперь все будет по-иному. Ты понимаешь? В любви есть надежда на вечную гармонию и на вечную жизнь... А когда мужчина и женщина соединяются и у них рождаются дети — это свидетельствует о несовершенстве любви...

— Почему?

— Потому что вместо личного бессмертия возникает новое звено в этой тленной жизни — ребенок... Это как дурная бесконечность. Понимаешь? Родить ребенка и знать, что он обречен на смерть, как и сам ты...

— Да, это грустно, — вздохнула Шурочка. — Но у меня не было детей, и мне почему-то кажется, что их и не будет у меня никогда...

* Фонтан Медичи (фр.).

— Это все равно. Важно то, что они м о г у т быть.

— Ах! — вскрикнула вдруг Шурочка и схватила Веню за руку. — Это он!

— Где? Кто?

— Около фонтана... Тот самый актер с rue de Tournon...

— Он актер?

— Да. У него маленькие светлые усы.

— Я вижу... Пойдем домой, Шурочка.

— Подожди. Смотри: он мне кланяется... Какой нахал...

Высокий малый в белых штанах и в соломенной шляпе на затылке весело улыбался и кивал Шурочке.

— Я к нему подойду... А? — смущенно проговорила Шурочка, не решаясь взглянуть на Веню.

— Как хочешь... А я домой пойду.

Он закрыл альбом и встал.

— Не уходи, не уходи, — сказала Шурочка, цепляясь за его рукав.

Но он отвернулся и зашагал к выходу.

IV

Когда Веня вернулся к себе в мастерскую — один, без Шурочки, ему показалось, что в комнате пусто и скучно. И то, что на кровати валяется юбка Шурочки, а рядом на полу стоят ее маленькие башмачки, как-то странно повлияло на Веню. У него вдруг сильно забилося сердце, он покраснел, и ему вдруг стало стыдно и грустно. Он вспомнил сентенции, которые он произносил каждый раз, когда Шурочка говорила о любви, вспомнил, как они спали на этой постели, стараясь не коснуться друг друга...

— Страсть унижает человека, а художник должен быть свободным и гордым, — сказал Веня громко, как будто в комнате был еще кто-то, кто мог услышать его слова.

Веня взял кисть и, выпустив из тюбика на палитру краску, стал ожесточенно писать начатый *nature morte**. Однако Веня поработал так не более десяти минут. Стремительно

* Натюрморт (фр.).

схватил шляпу и, сунув в банку кисть, он бросился вон из комнаты и, натыкаясь на прохожих, побежал в Люксембургский сад прямо к фонтану Медичей. Шурочки там не было. Веня посидел около бассейна с рыбками, потом пошел смотреть, как играют в теннис, потом купил в киоске «*Matin*» * и попробовал читать, но строчки мелькали у него перед глазами и чтение совсем не ладилось. Мерещились почему-то башмачки Шурочки и актер с *vue de Tournon*.

Веня в рассеянности вышел из сада и побрел по *avenue de l'Observateur*. Каштаны стояли недвижно, запыленные и усталые, изнемогая под лучами июньского солнца. Пахло бензином от автомобилей. Прохожих было немного. Все сидели в кафе за аперитивами ⁶: был шестой час. Но Веничке не хотелось ни пить, ни есть. И Париж ему показался скучным и душным.

«Надо в Сен-Клу уехать или в Медон что ли», — подумал он, шагая по горячему песку.

Веничка не заметил, как очутился на углу бульвара Монпарнас перед столиками кафе, выдвинутыми на улицу. Он присел на скамейку и как-то неожиданно для самого себя крикнул гарсону:

— Абсент ⁷, пожалуйста.

Пока таял сахар на ножичке и сладкие капли падали в зеленую влагу, Веничка думал о том, как прекрасно целомудрие и как ужасны чувственные наслаждения.

«Бедная Шурочка не может предаваться чистому созерцанию, потому что ее кровь отравлена вожделием и она забыла, какое счастье быть невинной».

В это время Веничка взглянул на свой абсент и покраснел. Несколько раз давал он себе слово не пить этого пьяного яда, но время от времени его все-таки тянуло к столику кафе и ему снова хотелось испытать легкое приятнее головокружение, хотелось опять изведать это странное чувство безответственности и фантастической свободы.

* «Утро» (фр.) — газета.

И Веничка приник губами к изумрудной влаге. После второго стакана он уже смотрел на себя со стороны с добродушною иронией: «Как-то художник Павлушин покажется на глаза Шурочке. Она ведь, пожалуй, заметит, что Веничка не способен теперь к чистому созерцанию».

Улыбаясь, Веня пробормотал:

— Анкор, сильву пле!*

Гарсон принес ему третий стакан.

Когда Веничка, допив свой абсент, встал и пошел домой, у него во всем теле было ощущение легкости, и строгие скучные мысли исчезли сами собою. Он шел торопливо, размахивая тростью, и представлял себе, как Шурочка ждет его сейчас в мастерской и как он скажет ей что-нибудь дружеское и нежное.

«Только не надо к ней близко подходить, — подумал он, — а то она почувствует запах абсента».

И эта лукавая мысль совсем развеселила Веню.

Но когда Веня вернулся домой, Шурочки в мастерской еще не было, и это показалось ему странным. Он попробовал работать, но из этого ничего не вышло. Был уже восьмой час. Веня, походив из угла в угол, решил вдруг поехать на Монмартр: он уже отвык сидеть дома один. Ему захотелось толпы, шума, электрического света, и он опять вышел из мастерской, сел у «Одеона» в автобус и, стараясь не думать о Шурочке, принялся разглядывать своих случайных спутников. Но и это не помогло. Ему мерещились глаза Шурочки, ее рыжие волосы, маленькие руки. Он слышал ее голос, негромкий смех, чувствовал запах фиалки — ее любимых духов.

На Монмартре Веничка ходил из кинематографа в кафе, из кафе в бар, тянул через трубочку лимонад со льдом, рассуждал сам с собою вслух, а когда девицы заговаривали с ним, он, по своему обыкновению, отвечал им по-русски, и они как будто его понимали.

Но то, что Шурочки не было дома, беспокоило его, и когда он вспомнил об актере с rue de Tournon, ему захо-

* Еще, пожалуйста! (фр.).

телось опять пить абсент, и он не удержался и выпил еще один стакан, на этот раз без сахара, в каком-то грязном баре, на перекрестке, у остановки автобусов.

В полночь, однако, он был дома. Прежде чем войти к себе в комнату, он постучал:

— Шурочка! Вы здесь?

Никто не откликнулся. Он вошел. На постели по-прежнему валялась юбка и на полу стояли башмачки.

— Шурочка! Я люблю тебя! — сказал Веня тихо и оглянулся. В комнате никого не было.

— Я люблю тебя! — повторил он еще тише.

— Я никогда не буду говорить тебе о высшем знании, о нравственном долге, — сказал он так, как будто бы Шурочка была тут, рядом, около него. — Я буду покорен и молчалив. Слышишь, Шурочка? Я буду целовать твои ноги и совсем не буду рассуждать о том, какая д о л ж н а быть любовь... Любовь всегда разная... И она всегда одна, всегда неизменная... У меня путаются мысли в голове... Но ты сама прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Хочешь, Шурочка, я тебя возьму на руки и отнесу в Сен-Клу, например? Мы там с тобою поселимся в маленьком отеле, и я там буду писать твой портрет... Я тебя напишу теперь по-новому, потому что во мне что-то открылось...

— Любовь! — прошептал Веня.

Он опустился на колени около кровати и прижал к губам Шурочкины башмачки.

В это время послышались на лестнице легкие шаги Шурочки и еще чьи-то осторожные, но все-таки тяжелые шаги, шаги мужчины, должно быть, который старался не стучать каблуками. Послышались сдержанные задыхающиеся голоса. И через минуту кто-то постучал:

— Веня! Ты дома?

— Это ты, Шурочка?

— Да, я...

— Войди.

Шурочка вошла и притворила за собою дверь.

— Что с тобою? — спросила Шурочка, заметив, что Веня стоит на коленях.

— Ничего. Так, — сказал он рассеянно, не выпуская из рук башмачков.

У Шурочки был тоже рассеянный и смущенный вид. Рыженькие волосы ее растрепались, глаза блестели, и влажные губы виновато и растерянно улыбались.

— Он там, за дверью, — прошептала Шурочка, прижимая руки к груди.

— Кто он?

— Тот самый... Противный... с rue de Tournon.

Веня молча кивнул головой.

— Мы не могли к нему пойти, потому что — понимаешь? У него теперь другая женщина, и она ревнивая... Мы все ходили по улицам и очень устали, — сказала Шурочка и вздрогнула, прислушиваясь.

Заметив, что Веня взглянул на нее вопросительно, она прибавила:

— Мне показалось, что закрипели ступени... Я испугалась, что он ушел...

— Я люблю тебя... Я...

Но Шурочка не расслышала признания.

— Послушай, — пробормотала она едва слышно, бледнея от волнения. — Я не могу...

— Что?

Тогда она совсем близко подошла к Веничке, повисла у него на шее, прижалась к нему маленьким горячим телом и прошептала ему на ухо:

— Веничка! Уйди сегодня на ночь куда-нибудь... Уйди, милый...

— Зачем? — удивился Веничка.

— У него нет денег... У того, с rue de Tournon. Какой он глупый, если бы ты знал! Без денег нельзя пойти в отель. Понимаешь? Я его позвала сюда... Ты не сердишься? А?

— Нет, нет, — сказал Веня, — я уйду. И он выронил из рук башмачок Шурочки.

— Ангел! Ты ангел! — задыхаясь, засмеялась Шурочка и стала на цыпочки, чтобы поцеловать его в лоб.

— Я сейчас, я сейчас, — торопился Веня.

Но Шурочка сама сунула ему в руку шляпу и отворила дверь. На площадке стоял господин в белых штанах, нетерпеливо постукивая палкою.

— Ну, идите скорее, противный! — крикнула Шурочка и громко засмеялась.



НЕНАВИСТНИКИ

I

Я был тогда молод, а вы знаете, как в юные годы мы впечатлительны и самолюбивы. Но, признаюсь, и до сих пор я вспоминаю не без горечи эту печальную историю.

В те дни жил я в провинции, в городе, где было немало древних церквей и иной любопытной старины. Наши предки умели строить дивно, мудро и строго. А какие иконы тогда писали! Но в мое время старина стала уже ветхой, а современность была какой-то неудачной и ничтожной. Нашим городом правили, конечно, купцы. В глупом рвении они понастроили такой мерзости, так изуродовали древние стены, так бесстыдно замазали превосходную старинную живопись, что смотреть на все это варварство было больно и стыдно. И жизнь была вокруг некрасивая, бестолковая, ленивая.

Стоит наш город у реки, когда-то прославленной, но человек и ее сумел испортить: отравленная и грязная, мелеет она все больше и больше, а берега ползут в воду неудержимо вместе с избушками, кузницами, пристанями, а иногда и товарами, залежавшимися как-нибудь случайно.

Грязно и мрачно у нас жили. Богатые скупко копили золото, и сами не знали в конце концов, зачем оно им. Время от времени кутили бешено и безобразно, а потом опять запирались у себя и стерегли свои сундуки. И бедные жили не умнее. По ночам на Нижнем базаре Бог зна-

ет что творилось. Я видел, как гуляли в трактире босяки-крючники¹ — то же самодурство, тот же скучный разврат, та же грубость...

Но я, господа, художник... И вот, бывало, выйдешь из города, спустишься слободою к реке, когда вечерняя заря золото роняет в воду, когда пахнет остро речною влагою и где-то там, на далеком берегу, в дикой тишине, вдруг запоют девки свое, грустное, деревенское, когда почувешь так великий земной простор и сердце непонятно и трепетно затоскует по желанной воле: в такой час простишь людям всю их грубость, их неладный быт, их нечистую жизнь — простишь и оправдаешь как-то жалких слепых людей. Ведь и они — думаешь — созданы по образу и подобию Божию; ведь и они когда-нибудь в вечерней заре увидят волшебный свет и устыдятся своей низости и темноты.

Но не все так думали, однако. Я знал в нашем городе одного человека, который непримиримо ненавидел все наши порядки и обывателей наших. Звали этого ненавистника Сергеем Матвеевичем Бережиним.

Он в моей жизни сыграл немалую роль. Так вот бережинского сердца уж никакая заря не смягчила бы. В лице человеческого никогда он не видел образа Божия. Ненависть в нем была какая-то странная, сама себя поедающая.

Маленький, сухонький, с глазами холодными и недобрými, ходил он по городу на своих маленьких подламывающих ножках, тупо постукивая палочкой с резиновым наконечником. Ходил он так, подглядывал, кое с кем заговаривал, в рассеянности путая имена-отчества, а вид у него всегда при этом был такой хитрый, как будто ему кое-что известно, чего другим и присниться не может.

У Сергея Матвеевича своя была вера, тоже особенная, бережинская. Он полагал, или ему в самом деле какой голос был, что всему скоро конец, что все сроки исполнились и вот-вот зазвучит труба. Я, впрочем, в богословии не очень силен, боюсь напутать, но все-таки приближи-

тельно так выходило. Больше всего ценил Сергей Матвеевич Апокалипсис². Он мне сам кое-что объяснял на этот счет. Особенно любил Сергей Матвеевич то место, где говорится про порочных поклонников нечистого зверя. У меня до сих пор звучат в душе неумолимые слова: «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его».

При этом Сергей Матвеевич подымал кверху свой желтый сухой палец, как бы угрожая кому-то...

— И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, — совсем захлебывался в странном восторге Сергей Матвеевич.

Под конец он даже нараспев произносил пророческие слова грозной книги:

— И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю.

Тут он давал обыкновенно объяснения. По его словам, все это и к нашему народу относится. И обыватели наши суть зверопоклонники. И будто бы они будут гореть в огне и сере, а ангелы смотреть будут на эти жестокости.

И, признаюсь, иногда убедительно говорил. Одно только мне казалось странным, что никаких исключений Сергей Матвеевич не допускал. И это у него само собою выходило. Он, бывало, перечислять начнет:

— Разве Лука Лукич, исправник наш, не зверепоклонник? — говорит. — А городской голова? А прокурор? А протоиерей Горбачев?

И пойдет, и пойдет. А потом мелких сошек начнет на чем свет стоит ругать, да и всех решительно — мужиков на базаре и тех не забудет. Пытался я противоречить, но он и слушать не хочет.

Кстати, еще одна черта.

Наши обыватели ленивый народ, однако всякий к какому-нибудь делу приставлен, к худому или к хорошему; это, конечно, как говорится, другой вопрос, и, кажется, один только Сергей Матвеевич решительно ничего не де-

лал. Был он человек обеспеченный. В разных бумагах лежали у него деньги в банке. Его там время от времени видели. Сухонькими своими руками перебирал он, считая, шуршащие разноцветные билеты. И я однажды застал его при подобном занятии. Он тогда от меня отвернулся: боялся, должно быть, со счета сбиться. Мне, помнится, тогда же пришло в голову: а что, если бы у Сергея Матвеевича не было этих билетов, от родителей ему доставшихся, ведь он, пожалуй, не стал бы путать имена-отчества, а, может быть, и самое высокомерие свое куда-нибудь подальше спрятал, не стал бы им любоваться так безмерно, как теперь.

Хорошо ему со всеми ссориться при его независимости, а другой бы и рад в своем углу запереться, да не запрешься, когда есть нечего. Бережин со многими, разумеется, ссорился, но ко мне явно благоволил. Ценил он во мне знатока старины и старинной живописи. Я ведь и сам тогда уже картины писал. По правде сказать, я в те дни вовсе и не надеялся на признание, какого теперь достиг, но внутренняя уверенность во мне всегда была, что я в этом деле кое-что понимаю.

II

Наш брат художник не очень хорошо словом владеет, поэтому, пожалуйста, господа, извините, что я говорю как будто без плана. Вот, например, я о Бережине довольно наговорил, а не успел сказать о самом, можно сказать, существенном. Дело в том, что у Бережина жена была, Антонина Петровна, особа в высшей степени любопытная, и сам Бережин от нее во многом зависел.

Сколько тогда было лет Антонине Петровне, я вам сказать не смогу. Антонина Петровна была существо неопределенного возраста. К тому же она подкрашивала себе губы и глаза подводила, и холила себя очень — провинциалу, знаете ли, трудно разобрать суть под такую маску. Что у нее действительно было прекрасно, так это волосы — густые, темные, с синим отливом, куда ниже та-

лии — чудесные были волосы. Я ее с распущенными волосами раза два видел. Глаза у нее были холодные, как у Сергея Матвеевича, но где-то в глубине зрачков иной раз загорались кошачьи беспокойные огоньки. Роста она была среднего, тонкая и гибкая.

Вот какая была Антонина Петровна.

Еще, должен признаться, был один странный такой случай. Прихожу я как-то к этим Бережиным довольно поздно. Сергей Матвеевич извинился и пошел к себе в кабинет, шлепая туфлями: он в то время греческий язык вздумал изучать, чтобы Новый Завет по-гречески прочесть.

А Антонина Петровна говорит мне:

— Вам со мною скучно не будет, Александр Николаевич?

— Конечно, нет, — говорю.

Разговариваем мы, и она, по обыкновению, город наш высмеивает. Все кругом дураки, трусы, рабы и ничтожество. Женщин особенно ненавидела Антонина Петровна.

— Женщины наши, — говорит, — кроме беременности да еще постели своей, ничего не знают. Презираю женщин.

Я слушаю. Мне любопытно.

— А вы? — спрашивает вдруг. — Как вы живете? Чем увлекаетесь?

Я подумал и говорю откровенно:

— Вы сами знаете, Антонина Петровна: я — художник... И больше всего я люблю живопись старинную. Вот мое увлечение.

— Это, — говорит, — я знаю. Я не про то спрашиваю. Знаете ли вы женщин? Влюблялись ли? Или, может быть, у вас даже и любовницы были?

Этот нескромный вопрос меня, юношу, смутил, конечно; однако я ответил ей, ничего не скрывая, что никогда никаких любовниц у меня не было, но что я это за подвиг не считаю, и если влюблюсь, то женюсь. И что аскетизм вовсе, по-моему, и не нужен никому.

— Аскетизм не нужен, а целомудрие нужно. — А сама смеется загадочно. — Брак, говорит, один разврат. Детей родить стыд и грех. Все равно все умрут.

Я, помнится, ей сказал тогда, что деторождение — закон, самим Богом установленный.

А она даже нахмурилась.

— Ветхий, — говорит, — закон. Когда этот закон был дан, люди на зверей были похожи. А мы теперь как боги должны быть.

Я ей что-то возразил, а она мне тогда слова апостола Павла напомнила: вы боги³.

Разговор этот меня заинтересовал было, но она сама все в шутку обратила.

— А я вам нравлюсь? — спрашивает.

Я, знаете ли, молчу, а она вдруг вынула шпильки из головы, распустила волосы и как-то странно улыбается.

— На русалку похожа я. — У русалок, говорит, детей не бывает, но они все-таки влюбляются.

Я совсем смутился и не знал, как себя вести. В конце концов стал прощаться и ушел было. Но вот тут-то и случилось такое, чего до сих пор понять не могу. Вышел я в переднюю, и вдруг слышу голос Антонины Петровны:

— Александр Николаевич! Александр Николаевич!

Я стою, пальто у меня в руке; и вдруг выходит в переднюю Антонина Петровна, дверь за собой притворила и спиной к ней стала.

— Подите сюда, — шепчет.

Я подхожу и сообразить ничего не могу, право.

— Ближе, ближе, — едва слышно так говорит.

И вдруг, как сон: обвила мою шею руками — и губами к губам. От этих волос ее душных, от горячих, чем-то пахнувших губ и от тела ее полумальчишеского, полуженского у меня голова закружилась, а через минуту какую-нибудь она уже бросила меня и убежала, дверью хлопнув.

Странный такой случай. Я только руками развел и никакого решения принять не мог. Да уж задала мне задачу, загадала загадку Антонина Петровна. На другой день мы

с нею встретились, и — представьте — как будто ничего не случилось. И потом ничего. Мне даже иногда кажется, не померещилось ли мне это все.

III

Приехала к Бережиным сестра Антонины Петровны, девушка лет восемнадцати. Звали ее Любовью. В это время Бережины на даче жили, в Лужниках — такое у нас под городом местечко есть, недалеко от казенного бора.

Я часто по реке туда на лодке ездил. Вот так однажды приезжаю. Привязал лодку и поднимаюсь по деревянным ступенькам наверх, иду так, а сам думаю: «Увижу сейчас моих чудаков». Я их мысленно моими называл, потому что все от них отшатнулись, один я, кажется, продолжал у них бывать.

Так вот я говорю: поднимаюсь я по ступенькам, и вдруг навстречу мне девушка — и похожа как будто бы на Антонину Петровну, и совсем не то... Было такое мгновение, что я даже принял ее за Бережину, но тотчас же опомнился. Как сейчас вижу, стоит она передо мной, а в руках у нее сирень — не букет, а целая охапка. И очень к ней шла эта сирень. Я до сих пор себе простить не могу, что я ее не написал так. Очень уж ее руки золотистые с тонкими такими пальцами дивны были на сиреневых лепестках.

— Сергей Матвеевич дома? — спрашиваю, а сам от нее глаз отвести не могу. Что-то было светлое и тихое в улыбке у Любви Петровны, такое светлое и милое, какое редко можно встретить в наши темные и торопливые дни. Я, по крайней мере, такой светлой тишины в глазах и в улыбке никогда ни у кого не видал.

— Нет, — говорит, — Сергей Матвеевич в город уехал, и сестра тоже. Я одна в доме.

— Так вы, — говорю, — сестра Антонины Петровны, а я не знал, что у нее сестра есть.

— Потому что, — говорит, — я в Иркутске жила и вот только недавно сюда приехала. А вас я узнала. Вы — художник. У Тони в комнате ваш автопортрет висит.

Она говорила эти простые слова так спокойно, так внятно, так ласково. Мне приятно было слушать ее светлый и молодой голос. Я подошел совсем близко, нагнулся к сирени и стал вдыхать сладкий запах, наслаждаясь цветами и голосом этой девушки, которая, признаюсь, в тот же миг показалась мне родной и близкой.

Она, не смущаясь, протянула мне огромную охапку цветов и сказала, улыбаясь:

— Помогите мне на дачу отнести. А я вас чаем напою.

Мы сидели с нею на террасе за самоваром, и у меня было такое чувство, как будто я уже давно знаком с этою девушкою. Сначала меня пугало сходство Любви Петровны с ее сестрою, но потом я уже не думал об этом.

Любовь Петровна рассказала мне про себя, про свою жизнь в Сибири. Она ездила по Лене к своим родным в Олекминск. В незатейливом рассказе мне чудилось что-то новое, и я вдруг ясно представил себе тайгу, эту великолепную северную глушь, я вдруг почувствовал красоту дремлющих лесных озер, прелесть смолистых таежных запахов, очарование одиноких костров на полянах, где торчат иногда поставленные шаманами высокие шесты с священными изображениями вещей птицы гагары...

В глазах этой русоволосой девушки, такой спокойной и сдержанной, загорались иногда какие-то странные, таинственные огни, и я мечтал о том, как я напишу когда-нибудь эти глаза. Мне хотелось показать их волшебный тихий свет, отражение таежной пустыни, как я думал тогда.

Когда мы говорили о людях, я не чувствовал в ее голосе гнева, раздражения или насмешки, и мне странно было, что я сижу сейчас в доме Бережиных, где мне довелось услышать столько злых слов о мире, и вот эта девушка своими тихими словами и спокойною красотой так убедительно внушает мне веру, что в мире есть какая-то единая неумирающая душа, и что не все еще погибло, и что надо понять и простить слабых, слепых, заблудившихся

людей, и что в недобром презрении к ним нет ни силы, ни мудрости.

Была полночь, когда Бережины вернулись из города.

Мы не заметили, как с другой стороны сада подъехал экипаж. Сергей Матвеевич и Антонина Петровна прошли через калитку по боковой дорожке. В саду было темно, и мы узнали, что они вернулись по громкому капризному крику Сергея Матвеевича, который звал горничную:

— Даша! Даша! Фонарь принесите. Ничего не видно здесь.

Утомленные и запыленные вошли на террасу Бережины.

— А, здравствуйте, здравствуйте, Александр Иванович, — пробормотал Бережин, путая мое отчество.

— Николаевич, вы хотели сказать, — засмеялся я, не обижаясь на его рассеянность.

— Ах, простите! — и он прошел к себе в комнату.

Оттуда раздались его жалобные и капризные крики:

— Даша! Даша!

И Даша, сломя голову, полетела к крикливому барину.

Антонина Петровна тем временем, не спеша, сняла шляпу и, как мне показалось, подозрительно оглядела меня и Любовь Петровну.

— Познакомились?

— Познакомились, — сказал я, стараясь не замечать ее беспокойного почему-то взгляда. — У вас сестра чудесная, Антонина Петровна...

— Вы находите? — И она довольно кисло улыбнулась и что-то, нагнувшись, шепнула Любове Петровне.

Та кивнула головой и ушла куда-то. Мы остались вдвоем.

— Люба еще девочка совсем, — сказала она холодно. — С ней нельзя разговаривать, как со взрослою. Я только хочу предупредить вас, Александр Николаевич... Вы уж меня, пожалуйста, извините.

Я молча пожал плечами. По-моему, Любовь Петровна вовсе не была девочкой, но это, конечно, было их дело.

Значит, так решили Бережины, что Любовь Петровну надо держать в положении гимназистки, хотя она уже два года как кончила свою иркутскую гимназию.

— Прощайте, — сказал я, вставая.

— Нет, подождите. Расскажите что-нибудь. Вы у нас давно не были, Александр Николаевич. Что вы теперь делаете? Все ваши яблоки пишете?

— Да, я пишу яблоки, — ответил я, стараясь одолеть недоброе чувство против нее, невольно возникавшее у меня в душе.

Этот ее вопрос о «яблоках» был продолжением нашей беседы об искусстве. Антонина Петровна сердилась на меня за то, что я пишу, по ее словам, бесцельно и бессмысленно.

— Вы художник, не птица. Нельзя же писать в с е, и надо знать, в о и м я ч е г о писать, — говорила она, обыкновенно прищуривая глаза.

И на этот раз она мне опять сказала что-то в этом роде.

Тогда я ответил довольно грубовато:

— Нет уж, Антонина Петровна, лучше о чем-нибудь другом поговорим с вами. Не надо об искусстве. Признайтесь, что к искусству вы равнодушны, в конце концов.

— Когда в доме пожар, искусством нельзя заниматься.

— Какой пожар? — сказал я, раздражаясь, хотя и чувствовал смутно, что какая-то тяжелая, мне неприятная правда есть в словах Антонины Петровны.

— Все сгорает и гибнет. Пожар в доме, — повторила она упрямо и жадно затянулась папиросою. — Люди вырождаются. Вокруг нас ничтожные глупцы, и городом управляют какие-то звери. Человек важнее, чем искусство. А какой у нас быт? Как у нас живут? Женщина забыла, что она личность, а чувствует себя наложницею и самою. Брак! Супружество! Какая это мерзость...

— Позвольте, Антонина Петровна... Какой брак! Ведь и вы тоже замужем.

Она посмотрела на меня насмешливо.

— У меня нет детей, не было и не будет. Понимаете?

По правде сказать, я всегда догадывался, что между Бережиными нет супружеских отношений.

Признание Антонины Петровны лишь укрепило меня в этом мнении.

— Вы непонятное говорите, — пробормотал я и смутился, вспомнив почему-то, как однажды зимою Антонина Петровна целовала меня в передней. — Вы непонятное говорите... Когда-нибудь вы объясните мне, а сейчас прощайте. Я домой...

Она протянула мне руку.

— Вы в лодке поедете?

— Да.

— Я вас провожу до берега.

— Ведь темно совсем...

— Ничего. Я все ступеньки наизусть знаю.

Мы медленно спускались вниз, нащупывая ногами шаткие ступени. Молодой месяц, закутанный облаками, едва светил. Сладко благоухала сирень. Тихий рокот речки и мерные постукивания лодки о сваю казались таинственными, и весь этот ночной мир был дивен и волшебен.

А рука Антонины Петровны, которою она коснулась меня, оступившись, была такая холодная, и голос ее звучал так холодно и строго:

— Я хочу вам еще сказать, Александр Николаевич: Люба совсем еще девчонка. И еще я хочу сказать: не внушайте ей, пожалуйста, ваших мыслей об искусстве...

Мы помолчали.

— Вы, однако, навестите нас как-нибудь, — прибавила Антонина Петровна, когда я уже сидел в лодке и упирался веслом в сваю, чтобы отчалить.

— Спасибо.

Лодка, послушная веслам, отошла от берега. Два-три взмаха — и я уже с трудом различал во мраке фигуру Антонины Петровны. Я чувствовал, однако, что она еще стоит на берегу.

«Почему она медлит?» — подумал я, но тотчас же иные мысли и образы возникли у меня на душе.

Я думал о ее сестре. Она мне представилась пленною царевною. Бережины заперли ее у себя в доме и стерегут. Зачем нужна им ее свобода? Зачем?

— Ах, ненавистники! — прошептал я.

Лодка моя быстро скользила по реке. Вода была совсем черная, и только молодой месяц, выглянувший наконец из-за облаков, робко засветился серебром в зыбких струях.

Странная это была ночь. Я не забуду ее никогда. Мне казалось, что я не один. Я не знал сам, кто этот мой незримый спутник. Но я был уверен, что вместе со мною сейчас кто-то прислушивается к сумраку, вдыхает речную влагу, смотрит на молодой месяц.

Я не думал о Любове Петровне, но я ощущал сладкий запах сирени, и мне мерещилась тихая улыбка этой девушки.

Вдруг яркие огни ослепили меня. За поворотом реки, мерно дыша и стуча, шел большой пароход. Я постарался поставить лодку против волн и смотрел, как уверенно шел этот великолепный пароход. Я видел на палубе пассажиров. И мне показалось, что на плетеном диванчике целуются какие-то счастливые любовники.

IV

Теперь, когда картины мои появляются на столичных выставках и даже за границей, когда обо мне пишут, когда у меня есть друзья и поклонники и когда меня бранит, если верить газетным репортерам, маститый наш академик, известный тем, что он брюзжит и злится на все талантливое, — теперь душа моя не воспринимает с прежним трепетом и страстью явлений жизни. А в те дни, когда я никуда не выезжал из нашего городка и без блеска и ловкости, но с любовью и тайным восторгом писал мои яблоки, деревья, небо и землю, — как значительна была моя жизнь. И как верилось, что дали в самом деле светлеют.

Целую неделю я не выходил из дома и упрямо писал крыши и небо из моего окна. Я питался молоком и хлебом,

которые приносила мне Мавра, рябая служанка, кроткая и молчаливая. У меня не было никаких мыслей в голове. Я только видел, чувствовал, осязал глазами и душою линии и массы, поверхности и солнце. Да, у меня не было никаких мыслей в голове, но где-то в глубине души что-то сияло и пело.

— Праздник! Праздник! — повторял я иногда, не сознавая в сущности, о каком празднике шепчут мои губы.

Когда наконец мне удалось написать по-настоящему городскую мрачную крышу и свинцовое небо над нею, я положил кисть и как будто очнулся от сна.

— Праздник! Праздник! — повторял я, улыбаясь. И вдруг я понял, что значит для меня ликование моего сердца.

— Любовь Петровна! Я хочу видеть ее! Я хочу видеть ее, тихую, светлую, мудрую...

Я бросился к пристани и взял лодку, чтобы ехать в Лужники. Кажется, никогда я не греб с таким азартом. Я ни на минуту не бросал весел.

Когда я поднялся по знакомым шатким ступенькам в бережинский сад, я должен был помедлить немного, потому что у меня сердце стучало и я чувствовал, что все заметят мое смущение.

На террасе пили чай. Я не видел Любви Петровны, но я чувствовал, что она там. И в самом деле — она сидела за столом. У Бережиных был гость, маленький монашек, мне незнакомый.

— Вот и прекрасно. Художник пришел, — сказал громко Сергей Матвеевич. — Вот и он вам скажет, что монастырь ваш никому не нужен. И верующим, и неверующим — никому не нужен...

— Однако приходят к нам молиться; однако у мощей преподобного исцеляются даже, — пробормотал монашек, робея.

— Исцеляются! — в негодовании воскликнул Сергей Матвеевич. — Знаем мы эти исцеления! Истеричных там разных или эпилептиков, может быть, и можно таким

монастырским способом исцелить, а что вы поделаете со всеми прочими? Да еще и неизвестно, надо ли кого из недужных-то исцелять. Умный немец⁴ сказал: падающего подтолкни. И в самом деле, на что нам калека. Пусть себе погибает... Не правда ли, Александр Николаевич?

Я смотрел на Любовь Петровну и ответил как-то невпопад, но Сергею Матвеевичу было все равно. Ему самому хотелось говорить.

— Наша монашествующая Церковь, — кричал он, — в рабском состоянии. Монахи — или обманщики-тунеядцы, или изуверы. И все историческое православие судьбу свою связало с ветхою государственностью...

Последние выражения как-то задели меня. Конечно, много правды было в словах Сергея Матвеевича, но неделю тому назад он с таким же пафосом кричал о том, что наша интеллигенция «ожидовела» и что она ничего не понимает в православии, и я чувствовал, что Сергей Матвеевич ничего и никого не любит, и в этом вся суть.

Тогда я сказал:

— Когда вы, Сергей Матвеевич, рассуждаете о Церкви, все как будто бы справедливо и мудро, только нельзя понять, чего вы хотите. Церковь не рассуждениями создавалась и не рассуждениями можно ее изменить. Церковь созидалась святыми, чудесами, молитвами... Церковь, как дерево, растет, питаясь земною влагою и живым солнцем. Мысли потом приходят, а сначала поет сердце... В стенах Церкви много порочных и слабых людей, но разве оттого хуже стали дивные творения Ефрема Сирина⁵ или «Отче наш» перестало быть молитвой Господней?

— Так, так, — пробормотал монашек, краснея. — Вы как раз мою мысль изволили выразить....

— Вот видите, — вскричал Сергей Матвеевич. — Вы — монах, наставник наш, стало быть, а не можете даже как следует мысли ваши выразить. Все вы монахи такие...

И опять как будто бы прав был красноречивый Сергей Матвеевич, но мне, признаюсь, симпатичнее был застенчивый монашек, не умевший складно говорить.

— Люба! — сказала строго Антонина Петровна. — Ты мне обещала помочь... Так пойдем сейчас...

— Хорошо. Сейчас? Пойдем, пожалуй...

Они ушли, а через полчаса вернулась на террасу одна Антонина Петровна. В это время Сергей Матвеевич бранил уже не монахов и не правительство, а наших либералов...

— Вот у нас почитают Павла Петровича, которого губернатор выслал, — кричал он, размахивая руками. — А позвольте вас спросить, что хорошего сделал этот вольнодумец. То, что он не жалел денег на школы и на все прочее, это еще ровно ничего не доказывает. И по-моему, если правду говорить прямо, он больше зла наделал, чем добра. Школа! Школа! А какая школа? Учителя — недоучки, нахватавшиеся полунауки, учат ребят ерунде. Везде трафарет, банальность и пошлость в конце концов. Все эти либералы воображают, что полумерами можно чем-нибудь помочь. Вздор, вздор и вздор!

— Послушать вас, Сергей Матвеевич, — улыбнулся я, — можно подумать, что вы радикал и революционер.

— Все нет, — воскликнул он тотчас же, не замечая моей иронии. — Я терпеть не могу этих так называемых эсдеков и эсеров. Невежественные хулиганы — вот кто они, эти революционеры. Во имя чего они грабят, жгут, убивают? Во имя чего? Им на все наплевать... Их вешают, но ведь и они вешают. Кто лучше? Ничтожные лодыжки и там и тут... Пауки в банке...

Он долго еще бранился, а бедный монашек (я так и не узнал, почему он попал в тот день к Бережинным), сидел, потупив глаза, красный как рак.

Наконец мне надоело слушать брюзжание Сергея Матвеевича. Я пошел в сад, с тайной надеждой встретить там Любовь Петровну, но ее там не было. Я сел на старую скамейку под липою, спиною к дорожке, и стал смотреть на муравейник. Кто-то разрушил жестоко часть мудреной постройки, и вот теперь множество трудолюбивых работников хлопотали вокруг своего жилища. Я так увлекся

наблюдением, что не заметил Антонины Петровны, которая подошла ко мне.

— Ненавижу муравьев, — сказала она, когда я поднял голову и наши глаза встретились. — Ненавижу муравьев...

— Почему?

— На людей похожи. Строят, строят, строят! А зачем? Плодятся, размножаются, умирают... И опять плодятся, и опять умирают... Зачем строят? Противно это...

Она подняла сухую ветку с дорожки и воткнула ее в муравейник.

— Я всегда муравейники разоряю.

— Ах, какая вы ненавистница, — сказал я. — Вот вы и Сергей Матвеевич читаете постоянно Евангелие, но в словах ваших я не чувствую любви. Вы никого не жалеете.

— А кого жалеть? И зачем?

Она сказала это тихо, почти с грустью.

— Вы рассуждаете, философствуете, Антонина Петровна, — сказал я, думая в это время о ее сестре. — Но мысли наши и философия всегда не равны жизни и творчеству. Ах, Антонина Петровна, мудрость молчалива, а в любви и вовсе нет слов. Мы должны смиренно отказаться от всяких отвлеченных истин, потому что они всегда мнимые истины. Надо полюбить жизнь непосредственно — милую, глупую, слепую жизнь с ее болью, влюбленностью и очарованием. Мы слишком нетерпеливы и стараемся предвосхитить какое-то знание добра и зла, а между тем у нас на это нет прав, потому что мы еще не предвосхитили смерти.

— Я не могу вам это объяснить, — пробормотал я, вставая. — Я не могу... Но я верю, что в искусстве, например, мы что-то угадываем такое...

Я совсем спутался.

— Вы, я вижу, влюблены. Вот и все, — насмешливо улыбнулась Антонина Петровна.

Я молчал. Так мы стояли над разоренною муравьиною кучею. Я посмотрел прямо в злые, холодные и ум-

ные глаза этой не совсем обыкновенной женщины, которая — я чувствовал это — начинает меня ненавидеть. И она, как будто отвечая на мои мысли, проговорила внятно и брезгливо:

— Вы мне не нравитесь, Александр Николаевич.

V

Я уехал от Бережных, не прощаясь с Сергеем Матвеевичем, и Любовь Петровна так и не вышла ко мне. Садясь в лодку, я думал о том, что больше я не увижу Любви Петровны никогда, и от этой мысли у меня кружилась голова.

«С Бережными все кончено, — думал я. — И как странно, что до сих пор я бывал у них. Что общего у меня с ними? Они холодные, самолюбивые гордецы. Они умничают, философствуют, но в сущности они боятся смерти, изнемогают от страха и не могут ни на что решиться. У них есть какая-то своя правда. И, быть может, они более достойные, умные и чистые люди, чем многие обыватели наши, и я первый хуже них, конечно, в тысячу раз, но нам трудно понять друг друга, потому что я художник, и каждый цветок для меня чудо, каждый взгляд девушки событие, а они спешат растоптать все цветы и осмеять все улыбки».

Так я думал тогда сбивчиво и, должно быть, несправедливо.

Я заперся у себя в комнате. Молчаливая Мавра приносила мне каждый день молоко и хлеб. Я пробовал работать, но у меня ничего не выходило, и это смущало и волновало меня.

«Нет, так жить нельзя, — решил я однажды. — Надо избавиться как-нибудь от этого томления. Ведь не околдован же я, на самом деле!»

Я оделся и вышел на улицу. Солнце стояло уже низко: был девятый час пополудни. Я сел на трамвай и поехал на вокзал. Я люблю иногда сидеть на вокзале и мечтать. Все вокруг напоминает о путешествии, о новых стра-

нах и людях, и я воображаю тогда, что мне предстоит какой-то дальний путь, что меня ждут невероятные приключения и неожиданные события.

И в этот вечер я пришел в вокзальный буфет, спросил себе красного вина и уселся за столик, как всегда. Но вдруг сердце мое забилось и пальцы на руках похолодели. В английском темном костюме и темной фетровой шляпе, под вуалью, прошла какая-то девушка и скрылась в толпе. Я был уверен почему-то, что это Любовь Петровна. Я торопливо расплатился и бросился на платформу в надежде, что я ее увижу там. Меня толкали носильщики и пассажиры; я видел сотни чужих лиц, рассеянных, озабоченных, равнодушных; газетчик-мальчик в синей куртке все попадался мне на дороге; я ходил взад и вперед, как во сне; помню две большие стрелки на круглых часах, висевших наверху под железными брусьями вокзальной крыши; прозвонил второй звонок; я пошел вдоль платформы, заглядывая в окна поезда...

— Здравствуйте, Александр Николаевич, — раздался вдруг совсем близко светлый, певучий голос Любви Петровны.

Она стояла на площадке в английском костюме и фетровой шляпе. Я бросился к ней, и, должно быть, у меня был очень странный вид, потому что она как-то нерешительно протянула руку, смущенно улыбаясь.

— Вы уезжаете. Куда? — спросил я, задыхаясь.

— Я еду к тете на месяц, в Петербург... А вы? Почему вы на вокзале? Вы тоже едете?

— Нет... Да... Нет... — сказал я, с восторгом рассматривая ее волосы, выбившиеся из-под шляпы, шею, плечи и тонкие руки в белых перчатках.

В это время колеса дрогнули и поезд тронулся. Я не слышал третьего звонка и обер-кондукторского свистка. То, что Любовь Петровна едет куда-то одна, а я остаюсь в нашем городе, показалось мне нелепым и страшным. Мне почудилось, что кто-то внятно мне сказал на ухо: поезжай. И тотчас же, повинуясь голосу двойника, я вскочил

на площадку и, дрожащей рукой отворив дверцу, вошел в вагон.

— А ваши вещи? — спросила меня Любовь Петровна, но по ее смущенному виду и виноватой улыбке я понял, что она догадывается о моем сумасбродстве.

— Я только потому, что вы. Я ведь не знал, что все так случится, — говорил я, робея и восхищаясь тем, что мы едем вместе в одном вагоне.

Как все это было странно! Любовь Петровна не ложилась спать совсем в ту ночь, и мы стояли все время то на площадке, то в узком коридорчике. Иногда приходили какие-то железнодорожные служащие с фонарем, иногда заспанный пассажир выходил из купе и с недовольным видом оглядывал вагон — а мы все стояли рядом у окна, за которым был непроницаемый мрак, и я неумолчно говорил о ней, о том, как она мне снится, о том, как я люблю мое искусство, и о том, что теперь я буду писать только для нее и буду уничтожать все, что ей не понравится.

Она слушала мой бред с нежной и покорной улыбкой и, кажется, верила каждому моему слову, и я чувствовал это и был бесконечно счастлив.

Утром мы были в Москве. Из Москвы в Петербург поезд шел вечером, и мы целый день были вместе, ходили по московским улицам, обедали в «Праге», побывали в Успенском соборе⁶, смотрели Александра Иванова в Румянцевском музее⁷... Все мне казалось чудесным, светлым и дивным. И Любовь Петровна заразилась, должно быть, моим настроением. Она как-то по-новому стала прекрасна, и какая-то серебристая тень пробегала время от времени по ее лицу... От Москвы до Петербурга нам пришлось ехать в разных вагонах, и, кажется, Любовь Петровна спала эту ночь, а я не мог заснуть... Я лежал в темноте и чувствовал себя пленником. К досаде моей, у меня было верхнее место, и мне приходилось молча томиться под потолком. Я то и дело смотрел на часы при слабом свете, который тонким лучиком выходил из задернутого зеленой тканью фонаря.

В Петербурге на вокзале, по желанию Любви Петровны, мы расстались: она поехала на Елагин остров, где была дача ее тетки, а я отправился куда глаза глядят и случайно нанял себе комнату у Тучкова моста⁸ на Ждановской набережной. Любовь Петровна обещала прийти в Летний сад на другой день, в шесть часов вечера, и то, что я так долго ее не увижу, смущало и огорчало меня. Из окон моей комнаты был виден Петровский остров, городские питомники, река, Тучков мост и так называемый замок Бирона⁹, а вдали над морем крыши можно было различить купол Исакия¹⁰. Я целый день просидел у окна, ничего не делая, как замороженный. За стеной стучала пишущая машинка, и от этого стука в конце концов у меня стало ныть сердце. К вечеру стук прекратился, и часа два была тишина, я по-прежнему сидел у окна, не зная, что делать. Вдруг за стеною раздался тихий жалобный плач. Этого я уже не мог перенести и, схватив шляпу, выбежал на улицу.

Целую ночь я бродил по Петербургу, и в эту ночь я понял его очарование, его таинственную и строгую красоту. Я стоял на набережной Васильевского острова и смотрел на огромный белый пароход, и у меня было такое чувство, как будто и я наконец участвую во всемирной жизни. Я вспомнил о нашем городе, о Бережных, и мне стало стыдно моей прежней жизни. Я думал, что не случайно встретился с Любовью Петровною, и вот она привела меня за собою на этот гранитный берег, где веет морской вольный ветер. Потом я очнулся перед Петром Фальконета и, как пушкинский Евгений¹¹, смотрел на дивный кумир и с ужасом, и с восторгом.

«Ах, только здесь и можно жить теперь, — думал я. — И страшно, и мучительно жить так, но иного нет перед нами. Древние сны не приснятся нам больше: так уж лучше развеять их вовсе и соединить себя с новым и вольным миром».

Когда я вернулся домой, было совсем светло. Я, не раздеваясь, задремал в кресле. Днем я опять бродил по

Петербургу, а в пять часов был в Летнем саду. Я ждал Любовь Петровну, волнуясь и радуясь, и мне казалось, что я ей многое должен высказать и многое объяснить. Но когда наконец я увидел ее скромную фетровую шляпу, я почувствовал прежнее неизъяснимое волнение, и все мысли исчезли куда-то. Мы два часа говорили с нею, но, признаюсь, мало связного успел сказать я ей тогда. Когда мы прощались, она со своею спокойною улыбкою сказала мне, что я должен познакомиться с ее теткою. И я обещал ей приехать на Елагин остров на другой день в два часа.

Тетка Любви Петровны оказалась чопорной старушкой. У ее ног вертелся фокстерьер. Около нее сидела компаньонка, тоже старушка, которая держала в руках французский роман. В комнатах все окна были закрыты, чтобы мухи не беспокоили, и мух в самом деле не было, но зато было душно и пахло какими-то пряными духами, от которых у меня слегка закружилась голова. Старушка спросила меня почему-то, не теософ ли я и правда ли то, что Владимир Соловьев принял католичество.

— Я, знаете ли, с Владимиром Сергеевичем была знакома, — сказала она, перебирая сухонькими руками кружевной платочек. — И вот однажды я спросила его об этом. Но он так странно засмеялся, так странно. Мне даже страшно стало...

Сказав это, она тотчас же обратилась с каким-то вопросом к своей компаньонке: моим мнением она, по-видимому, не очень интересовалась.

Любовь Петровна мне сделала знак, и мы подошли к роялю. Она сыграла мне известный *prelude* Шопена¹², сочиненный им во время грозы. И этот тревожный *prelude* взволновал меня, как всегда.

Тетушка уже не вмешивалась в нашу беседу, и я был счастлив, счастлив... Но какая-то смутная тревога возникла у меня в душе.

На другой день утром Любовь Петровна сама пришла ко мне. Мне показалось, что ее глаза заплаканы. Она рас-

сеянно со мною поздоровалась и, вынув конверт, сказала тихо, не садясь и не снимая шляпы:

— Я получила письмо от сестры, Александр Николаевич... Она пишет, между прочим, что была в городе и заходила к вам на квартиру, чтобы «помириться» с вами, как она выражается, но вот не застала вас там... Ей какая-то Мавра сказала, что никто не знает, где вы... Я написала сестре, что вы здесь и что я встречаюсь с вами.

— Вы нашли это нужным, — сказал я, предчувствуя недоброе, — значит, так надо.

Она стояла потупившись.

— Я сегодня не спала всю ночь почему-то, — прошептала она едва слышно, — может быть, нам не следует видеть друг друга так часто...

— Я вижу, — ответил я, пораженный мучительным выражением ее лица, — я вижу, что сестра ваша внушает вам какие-то мысли, какие-то чувства, которые лишают вас свободы...

— Нет, нет! — возразила она, бледнея. — Я совсем свободна. И я написала ей совсем откровенно... И я только спросила вас. Я сама не знаю, как жить, как думать, право...

— Вы обещали ехать сегодня со мною в Царское Село, — проговорил я нерешительно, помолчав.

Она кивнула головою и улыбнулась.

— Хорошо. Я поеду.

VI

Ах, этот день в Царском Селе! Он не повторится уже никогда. Мы бродили по парку, как сомнамбулы, и нам казалось, что это сон — весь этот волшебный мир белых очарований, дворцы и беседки, озера и статуи; мы все припоминали пушкинские строфы, чувствуя непрестанно его самого, как будто его тень преследовала нас.

Где-то далеко играл военный оркестр; пахли душно и сладко липы; золотые от солнца зайчики дрожали на песке; плескалась тихо вода в озере; мы смотрели на тра-

ву, на деревья, на каждый камень с каким-то новым любопытством, с какою-то новою радостью.

Когда мы подошли к дворцу, оранжевые лучи заката видны были в сквозных оконных стеклах, и весь флигель дворца, с его кариатидами и пышными барельефами, был странно дивен, как чудесная декорация.

— Ах, я бы хотел остаться здесь, — сказал я и вырвался из рук трость.

Я не поднял моей трости. Взглянув на Любовь Петровну, я заметил в ее лице какое-то новое выражение. Она тоже пристально смотрела на меня. Тогда я невольно обнял ее и стал жадно целовать ее шею, лицо... И когда губы наши встретились, я почувствовал, что она хочет меня, моей близости, и, кажется, это была самая счастливая минута в моей жизни.

В это время слабо прогремел гром. Мы не заметили, как с востока подошла гроза. Упало несколько крупных дождевых капель. Так неожиданно настигла нас гроза. Мы торопливо вышли из парка и наняли извозчика на вокзал.

В вагоне Любовь Петровна была молчалива, а мне тоже не хотелось говорить. И определенных мыслей у меня не было тогда. О будущем мне не хотелось думать.

Гремел гром, и дождевые ручьи текли по стеклам вагона. Зеленые ленты молний развевались время от времени, ослепляя нас.

Какие-то офицеры, сначала громко говорившие об авиации, теперь замолчали. В вагоне было душно. Когда мы приехали в Петербург, гроза прошла.

Любовь Петровна, прощаясь со мной, задержала мою руку в своей и сказала тихо:

— Мне хорошо сейчас, мне хорошо... Но сестра говорит, что в любви только это и хорошо...

— Что это?

— Эти первые желания, эта надежда...

— И вы верите вашей сестре?

— Она мудрая.

— Ах, у сестры вашей недоброе сердце.

— Она мудрая, — повторила Любовь Петровна шепотом.

— Нет, нет! — сказал я. — Я люблю вас. Я не могу без вас жить.

— Прощайте, прощайте... У меня голова почему-то кружится.. До завтра? Не правда ли? Вы приедете к нам на Елагин в шесть часов. Хорошо?

Я сказал, что приеду, и так мы расстались

На другой день, в шесть часов, я приехал на дачу, как мы условились.

Меня приняла старушка-тетка не без некоторого удивления. Компаньонка ее смотрела на меня насмешливо. Так мне казалось, по крайней мере. И даже фокс-терьер тетушки рычал на меня и скалил зубы. Я, робея, осведомился о Любви Петровне, и тетушка спокойно сказала мне, что Любочка сегодня в двенадцать часов уехала к сестре. Потом тетушка, заметив, вероятно, мое смущение и желая меня ободрить, заговорила со мной о теософии, но я плохо понимал то, что она мне говорила тогда.

На другой день я уехал из Петербурга. Когда извозчик вез меня с вокзала домой через большой ветхий деревянный мост и я увидел знакомые пристани, Нижний базар и наши грязные улицы, я вдруг почувствовал, что я недолго проживу здесь. Я вспомнил о Бережных. Зачем они, возненавидевшие наш город, не покинули его до сих пор? Или они понимают, что дело не в городе, а в них самих, в их утомленных и бессильных сердцах.

«Но мне-то здесь делать нечего, — думал я. — Довольно сидел я отшельником. Я уеду в Петербург или еще куда-нибудь, где шумит море».

Однако, вернувшись домой, я вымыл палитру и принялся за работу. Я работал, и мне казалось, что я уже не влюблен и что мне все равно, живет или не живет в нашем городе та, из-за которой я приехал сюда.

Моя Мавра заболела, и мне приходилось самому ходить за хлебом и молоком. Однажды, когда я шел по ули-

це с бутылкою молока и большим ломтем ситного хлеба, завернутого в тонкую желтую бумагу, я встретил Любовь Петровну с сестрою. Они ехали на извозчике с чемоданами, и мне показалось, что Любовь Петровна сделала жест рукою и что-то крикнула, как будто бы хотела остановить извозчика, но я даже не успел снять шляпы: руки мои были заняты.

Я вернулся домой расстроенный, угнетенный и усталый, как будто бы я исполнил какую-то тяжелую и мучительную работу.

Кисти валились у меня из рук, и в душе было как-то пусто и сухо.

На другой день ко мне пришел неожиданный гость — Сергей Матвеевич Бережин. До того времени он ни разу у меня не был.

По-видимому, он хотел быть приветливым на этот раз, но это не шло к нему. Вскоре он принялся бранить, как водится, наш город, губернатора, городского голову, а потом тотчас же и таким же тоном, чуть ли не в тех же выражениях забастовавших рабочих на судостроительном заводе Пруста.

Мне скучно и трудно было его слушать.

— Да, вот еще что, — сказал он, — я пришел, собственно, по поручению Антонины Петровны. Она вас просит к нам. Приходите, в самом деле. Любовь Петровна уехала теперь в Иркутск. Вы знаете?

— Спасибо, — ответил я, — если смогу, приду.

Он стал торопливо прощаться. Когда я подавал ему пальто, он вдруг обернулся ко мне.

— Какую я сейчас мерзкую сцену на улице видел, — проговорил он, сделав гримасу. — Баба на тротуаре родила. Ведь дура какая! А! Не могла заблаговременно устроиться где-нибудь! Валяется в грязи, как свинья. Какой-то мужик ребенка взял, — знаете, такой кусок мяса поганый. Смотреть противно.

Я не пошел к Бережиным. Через три дня уехал в Петербург.

КРАСНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ

I

Конский завод Степана Федоровича Булатова всем был известен. Сам Степан Федорович умер еще в 1905 году, умер он без покаяния, как вольнодумец, зато, когда почувствовал, что дело плохо, велел к себе в спальню привести своего любимого жеребца Султана. Степан Федорович даже о тяжелой болезни своей забыл, когда застучали копыта по ступенькам крыльца. Пришлось одну деревянную перегородку свалить, но конь все-таки, храпя, подошел прямо к изголовью.

— Милый! Сынок! — сказал Степан Федорович, когда конь, фыркнув, мотнул головой, как будто кланяясь, как будто прощаясь с хозяином.

Степан Федорович протянул руку (правая еще действовала) — и потрепал Султана по шее, теплой, живой и чуть влажной.

Крепкий запах конского пота, черный косящий умный глаз великолепного коня, старый объездчик Трофим и молодой конюх Илья, державшие Султана за узду, — все это напомнило помещику конюшни обряд случки и весь этот земной, навозный, терпкий, пахучий, трепетный мирок.

В это время Султан повернулся и свалил крупом столик с фарфоровым китайцем. Но этого уже не видел Степан Федорович: он запрокинул голову на подушку, силь-

но побледнев. Коня увели. Хозяин закрыл глаза и тяжело дышал. Вошли в комнату, робея, жена Марья Николаевна и дочь Наташа...

С тех пор много воды утекло — четырнадцать лет не шутка. Марья Николаевна, тихая, застенчивая, богомольная и давно уже смирившаяся женщина, вдовствовала покорно. Наташа, тоже тихая, как мать, по приемам речи, в сердце была, подобно отцу, не бесстрашна... А чуть косенькие глаза и насмешливая улыбка внушали невольно мысль, что у этой Наташи за видимым смирением таится, пожалуй, и еще кое-что иное.

В косенькие глаза влюбился сын соседа, молодой помещик. Прожил он с Наташей на хуторе ровно четыре года и умер неожиданно от грудной жабы, оставив молодой жене троих ребят. Наташа с хутора опять перебралась в большой дом, и обе вдовы — молодая и старая — возились с детьми, худо вникая в хозяйство.

А конский завод, гордость Степана Федоровича, столь славный у нас на юге, пришел в упадок.

Уже сменилось три поколения заводских жеребцов. Теперь был Султан Третий — конь породистый, сильный, тонконогий, с чудесной спиной и красивою шеей. Но, по видимому, это был последний производитель на Булатовском заводе. Не было таких кобыл, как прежде. Некому было править заводом, как правил покойный Степан Федорович. Кучера, конюхи и объездчики относились к чужому делу спустя рукава. Имение вовсе доходу не давало, и было странно, что барская усадьба так обширна, дом так велик, что в двадцати четырех комнатах, уставленных александровской мебелью¹, ютятся две женщины и ребята, беспомощные и боязливые, и что постоянно не хватает денег, несмотря на то, что Булатовым принадлежала тысяча десятин. Лошадей продавали то и дело. Управляющий, по фамилии Трепетовский, был как-то загадочен: Марья Николаевна и Наташа боялись его, а крестьяне боялись и ненавидели.

У Трепетовского были жесткие колочие глаза. Он расхаживал, помахивая стеком. И казалось, что он приехал

откуда-то издалека, может быть, из Южной Америки — в чужую сторону, где купил себе рабов. Девки, возвращаясь с работы на вечерней заре, спускались с горы, приплясывая и горланя непристойные песни. И даже они, охмелевшие от южного солнца и полевых запахов, умолкали в смущении, встретив управляющего.

В деревне была вражда к чему-то не совсем понятному, не совсем определенному, и все думали почему-то, что в Трепетовском все зло.

Мужики говорили шепотом:

— Дьявол.

С некоторых пор стало страшно в деревне. Все чего-то боялись. Старики и молодые боялись Трепетовского, молодые боялись стариков, бабы мужей, ребята родителей, Марья Николаевна и Наташа боялись мужиков. Над ними подсмеивались добродушно и обманывали при случае лениво.

Никто не знал, почему теперь так страшно жить в деревне. А между тем все чувствовали, что дело плохо, что жизнь скудеет, что хлеб стал горьким, что зори по утрам не такие веселые, как прежде, а по вечерам небо в каком-то страшном предсмертном пламени, а за красною завесою звучит труба, тоже страшная. Поет труба о том, что всему конец.

В деревне, в Булатовке, были свои философы. Они толковали сны и явь и вообще объясняли, как все устроено и к чему все это поет. Только это помогало худо, ибо мудрецы не спелись. Получилось разногласие: один в лес, другой по дрова. Ничего нельзя было разобрать.

Мудрецами считались Кассиан-огородник и Агафья Родионовна, старуха, которую обучил премудрости один персиянин, когда она, будучи молодой и служа горничной, попала с господами куда-то на Кавказ, кажется, в Азербайджан.

Агафья Родионовна, шестидесятилетняя, плешивая, все как будто приплясывала, рыжими глазенками впивалась в собеседника. Она уверяла, что придут с Востока

какие-то косоглазые и все разъяснят. Виноваты будто во всем мы сами, то есть русские, ибо зазнались, полагаясь чрезмерно на Святейший правительствующий Синод². Забыли секрет. А косоглазые пояснят. Вот они придут и всех перемешают, как ложкою баба кашу. Тогда будет все хорошо, и секрет разъяснится.

Кассиан-огородник был вдовец — лет двадцать вдовствовал и жил примерно, как монах. У него была Триодь Постная и Триодь Цветная и Минеи на каждый день, Ирмологий тоже и Октоих³. Он уверял, что наш поп давно уже продал душу Антихристу, а он, Кассиан, знает, как правильно служить. И в самом деле служил у себя в сарае за огородом. К нему кое-кто ходил. Но Кассиан уверял, что бабка Агафья врет, что ее сбил с толку персиянин, что восточные косоглазые ни при чем. Правду знал один Пасий из Молдавии да еще кое-какие иноки, что ходят по морю, как по суше, а если по земле идут, цветов не мнут.

У Кассиана лицо было бледное, одутловатое, голубые глазки навькате. И был у него слезный дар.

Впрочем, и Агафья и Кассиан на одном сходились — что пришли будто бы последние времена.

Так говорили мудрецы. А простые люди — известно — как слепые щенята, тычутся мордами зря, без всякого понимания. А суки нету. Некому отогреть, приютить, накормить жалкое песье отродье... Ведь все мы люди — как псы смердящие. А духовной трапезы нету — крох-то и негде подобрать. Монахи, что ходят по морю, как по суше, далече — где их достать.

Говорят, потом завелась особая порода людей. Это так называемые сознательные. У этих все было точно и ясно. И они все понимали. Гром ли грянет, они сейчас об электричестве что-нибудь скажут умное; умрет ли кто, они сейчас спешат разрезать мертвецу живот и, посолив внутренности, посмотреть, что у него там такое в животе; изменит ли баба мужу, сейчас они ей объяснят, что это ничего, что с нее не взыщется, ибо она трудовая пчела⁴, а не какая-нибудь дармоедка-буржуйка. Одним словом, созна-

тельные совсем наших мужиков посрамили. Только это было позднее. А раньше вот что было.

Было у нас в деревне все бессознательное — пели, плясали, молились, а потом опять пили, опять пели. Трудились, конечно, в страдную пору до изнеможения. Воистину в поте лица добывали хлеб свой. Одним словом, старый порядок и никакого сознания. При этом был, между прочим, какой-то страх, о котором и псалмопевец говорит. А потом другой страх пришел. Ему даже имени нет. Тут началась карусель, то есть верчение вокруг точки. А точка эта и была тот страх велий⁵, от которого мы окончательно потеряли головы.

От великого страха начались поджоги и грабежи. Поджигатели и грабители пуще всех боялись. Доходил боязливый человек до предела, тогда хватал нож и бежал на большак резать кого придется. Около горбатого моста в одну неделю трех зарезали: профессора-старичка — чудака гулять вздумал с книжечкою! — еще одного нищего, потом девочку-сиротку. Сознательные потом укоряли, что не тех зарезали, кого следовало. Ошибка. Ничего не поделаешь.

Из соседней деревни Чернявки пришел однажды Семен-трактирщик и рассказал, что там мужики вспомнили, что земля в сущности Божья. Князь уехал, а землю поделили. Управляющий сидит в подвале, где свалены огурцы. Его там заперли. Он уж неделю огурцами питается. Другой пищи ему не дают, пока распоряжение не выйдет... В Вязниках, в Башиловке, в Грачевке — везде сожгли помещичьи усадьбы, а в Грачевке, кроме того, застрявшего там помещика убили, отрезав ему уши за то, что он ходил по деревне с лягашом⁶ и все подслушивал.

В самом деле, шпионов стало как будто чрезмерно много. Все подслушивают, все подслушивают... Просто беда. Что ж! Ежели за нами подслушивают да подглядывают — и мы тоже не дураки, понаблюдаем. Двух парнишек послали, Ивана и Гаврилу-сапожника, — пусть ревизию учинят в господском доме. Три ночи подряд ходили

наблюдать за Булатовыми. Марья Николаевна и Наташа, задергивая на ночь шторы, встречались с черными глазами, возникавшими из мрака.

Барыни пугались. Крестили спящих ребят и готовились к отъезду. Но Трепетовский не давал денег, говорил, что нету. Усадьба так же, как и деревня, страшилась неизвестного — того, что приблизилось, стало рядом вплотную. Откуда-то издалека летели голоса — лихие, мятежные, разудалые... А вокруг, здесь, близко, глухая немота и сумрак черный. Первым заговорил кузнец Трифон:

— Я больше не желаю. Довольно. У меня в голове засело, что хорошо бы все наоборот. Сидел у меня на загривке и помещик, и купец, и становой. Ладно. Довольно. Мне это, господа хорошие, надоело...

Пробовал ему возразить Кассиан-огородник, что ежели все будет наоборот, то какой же толк. Хорошо бы иначе... По справедливости, по-Божьи...

Но кузнец стал смеяться громко:

— Справедливости! Во чего захотел! А ты этого не видел?

И кузнец показал такое срамное, чего даже наши мужики застыдились, и, хотя нельзя было понять, при чем, собственно, этот срам, то есть какое он отношение имеет к справедливости, однако все поняли, что кузнец победил Кассиана-огородника. И сам Кассиан не нашелся, что сказать. Только погрозил пальцем, пробормотав:

— Ужо тебе.

После кузнеца заговорил Петр, хозяйственный мужичок:

— Тысяча десятин, братики, немалая земляца. Ежели ее разверстать, то всем лучше будет. Давайте, ребяташки, посчитаем... К чему барыням сия земля? Пушай едут в город. А дьявола управляющего мы в холодную посадим, ибо он — по моему расчету — виноват в эксплуатации населения. Мне это фельдшер разъяснил. А эксплуатация ноне не допускается. И за это можно судить. Кроме того, он девок портит.

Слово «эксплуатация» всем особенно понравилось. И сразу все поняли, что теперь дело ясное.

— Погромить бы чего, — с тоскою и страхом сказал маленький рыжий мужик, давно не пивший, а был он горьким пьяницей и все эти дни вздыхал, ощущая под ложечкою змею.

Мужики нахмурились, косясь на рыжего.

— Зачем громить, — сказал Петр рассудительно, — мы строго, мы по-грамотному. Поделим все, и более никаких.

В это время столбиками закружилась пыль; ласточки заметались низко над землею; стало вдруг темно: надвинулась откуда-то неожиданно туча, и где-то еще, неблизко, прогремел гром сдержанно и глухо.

Мужики сняли шапки и перекрестились. Помолчав, Петр сказал деловито:

— Власию-старику надо сказать, чтобы он предупредил барынь. И я с ним пойду, и Семен тоже. Пусть уезжают.

Упало несколько капель дождя, и мужики стали расходиться по домам.

Марья Николаевна утром варила малиновое варенье перед террасой, а Наташа, окруженная ребятишками, читала им сказку о рыбаке и рыбке:

Глядь: опять перед ним землянка,
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто...

В это время к террасе подошли три степенных бородатых мужика — Петр, Власий и Семен — все были одеты по-праздничному, торжественные, напомаженные, с руками, сложенными на животе. Петр сказал:

— Мы к вам, барыни. Вы уж уважьте нас. Степан Федорович, покойный, царство ему небесное, хороший был человек. Мы ведь с ним жили, сама знаете, ладно... Вот и вы нас уважьте...

— А в чем дело, Петр? — сказала Марья Николаевна, недоумевая.

— Да вот мир порешил, значит, землю вашу поделить и все прочее, так чтобы вам покойнее было, просим вас уехать сегодня в город — и молодую барыню тоже.

Марья Николаевна широко открыла глаза и выпустила из рук ложку, которой мешала варенье.

— Наташа! Что вы думаете об этом? — спросила Марья Николаевна по-французски, оглянувшись на дом.

— Ах, Боже мой?! Но ведь у нас нет денег, — сказала Наташа также по-французски, озираясь в свою очередь на детей.

В разговор вмешался старик Власий:

— Барыня, голубушка! Уезжай от греха. Мы и сами не рады, что так выходит. Нам самим небось страшно... Да ведь податься некуда. Сознательных у нас нету. Кто посоветует? А сроки пришли. Сама догадайся. Некуда нам податься. Земля гудит. О чем гудит? Ночью выйдешь и слушаешь, а она гудит... Агафья говорит, что желтолицые, косоглазые грядут. Будто они топочут.

— Что там! — сказал Семен сердито. — Гудит так гудит. Не в этом суть. Мужики погулять захотели. А им разве перечишь... Мы тебе, барыня, и телегу приготовили. Гаврюха довезет до Грачевки, а там наймешь до станции...

Наташа вдруг поняла и встала торопливо:

— Мама! Скорей же, скорей... Ах, мой чемодан английский на хуторе остался...

Дети заплакали сразу в один голос, как будто сговорились, и все трое уцепились за платье Наташи.

А Трепетовский как в воду канул. Кинулись его искать. Барыни с детьми давно уж ехали в темноте по большаку, а мужики в Булатовке все еще не могли отыскать управляющего, наконец догадались послать ребят к леснику в сторожку. Туда из соседней деревни приходила к Трепетовскому его краля. Вызвалось человек десять, во главе Трифон. Застали управляющего с девкою. Юбку девкину дегтем вымазали, а косу отрезали, а Трепетовскому отрезали кое-что поважнее. Он, когда

очнулся, стал сразу нестрашным и смирным, как маленький. Его заперли в сторожке, а леснику велели вернуться в деревню, потому что лес, как и земля, в охране не нуждаются. Вот эта десятка, а главное сам Трифон, и начали погром. Они охмелели еще там, в лесниковой сторожке, когда пришлось скрутить девку и, повалив управляющего, засунуть ему в рот кляп на время, пока Трифон прикладывал «большую печать», орудуя ножом неострым.

Сначала никто не думал о погроме, а когда пьяница рыжий бормотал в тоске и страхе: «Погромить бы чего», — мужики недовольные хмурились даже и отвергивались от него. Собрались на сходку, лушили семечки, поджидая десятку с Трифоном. Хозяйственный Петр принес пачку серой бумаги и карандаш и стал объяснять, как и что надо делить. Мужики слушали рассеянно и равнодушно. И когда пришел Трифон с товарищами, все и вовсе перестали слушать Петра, столпившись вокруг Трифона, без вина — охмелевшего, который противоестественно весело рассказывал о том, как он засунул в рот кляп управляющему и как тот плакал, когда он, Трифон, оголил его и взял в руки нож.

В это время подошел к рассказчику Кассиан-огородник и сказал сурово:

— Сказано: не убий. А ты что, окаянный, сделал? Это хуже убийства... Вот и выходит, что ты сукин сын, Антихрист...

Старик Власий погрозил Кассиану пальцем:

— Буде, буде... Ты что ж молчал, когда управляющий Машку испортил. А ведь она Трифону сестра...

Сапожник Гаврилка вместе с Иваном сбили замок в подвале и вытащили ящик с бутылками.

— Это уж, собственно, ни к чему, — сказал хозяйственный Петр, когда ящик очутился на сходе среди мужиков.

Стали вытаскивать пробки и разливать вино по зеленым стаканчикам. Вино оказалось густое, темное, сладкое...

— Это надо девкам отдать, — заметил тот же Петр, вытирая рукавом сладкие и липкие усы. — Ты бы, Гаврилка, пошарил еще в подвале, может, там есть что покрепче.

Принесли и другой ящик, и в самом деле там было кое-что покрепче. Мужики пили морщась, как будто нехотя, даже с отвращением. Вдруг заспорили о том, надо или не надо делить господское имущество. Потом все сразу и те, кто были против, пошли гурьбою к усадьбе. В доме двери были отперты. Марья Николаевна ключи оставила старухе няньке, а та ни о чем и не думала, не слыхала даже, как громили подвал: так же, как барыня, сидела перед террасою и варила варенье. Увидев мужиков, она всплеснула руками и закричала:

— Куда это сапожищами прямо на паркет!

Мужики засмеялись невесело. А Трифон показал ей кулак.

— Молчи, ведьма. Отъелась на господских харчах.

И вот стали вытаскивать из дома что попало. Долго кряхтели над роялем, отвинчивая ножки. Под конец все-таки уронили, и внутри что-то загудело, как будто живое. Александровскую гостиную выволокли в сад. Потом павловскую столовую⁷ карельской березы. Решили в каждую избу по креслу. Диван взял себе хозяйственный Петр, убедительно объяснив, что так будет лучше. Посуду решили не делить, а чтобы не было обидно, швыряли фарфор из окон, метясь в старую липу. Вся площадка перед домом усеяна была осколками. Но и эта забава как-то не веселила. Все было чего-то страшно. И даже мужики озирались, как будто сейчас придет судья, власть имеющий. А когда стало смеркаться, на всех напал непонятный ужас и захотелось настоящего хмеля. Опять пошли обыскивать подвал и нашли еще два ящика с водками. Пожалели, что посуда перебита. Пришлось пить из горлышка.

Совсем пьяные, шатаясь и горляня песню, пошли мужики из господского дома в конюшни. Там метали жребий, кому какая лошадь достанется. Хозяйственный Петр, сравнительно трезвый, повел домой трех кобыл. Другие

ничего не получили. Дележ кончился. Остался один только Султан Третий, внук того коня, которого целовал на смертном одре покойный Булатов.

Султан был красавец. Мужики вдруг заспорили. Такого, мол, коня нельзя по жребию. Его надо холить. Производитель. Семь мужиков требовали — каждый себе. И начался большой беспорядок. Тогда порешили пока запереть Султана в конюшне, а всем вернуться в господский дом. Там нашли еще бочку.

Был уже вечер. Погасла заря. Малая ущербная луна чуть светила. Казалось, что господский дом окружили со всех сторон огромные черные призраки. Большие овчарки, привязанные в саду, дико выли. От этого воя, от черных теней, надвинувшихся на сад и двор, сжималось сердце. Не верилось, что когда-нибудь заалееет утренняя заря.

Когда мужики вернулись из конюшни в дом, они там нашли баб и девок. Они уже допили бутылки и, хмельные, громили сундуки и гардеробы. Иные тут же сбрасывали с себя юбки и напяливали господские платья. Матрена, жена хозяйственного Петра, надела на себя платье булатовской бабушки с кринолином. Две девки, обнявшись, валялись на огромной кровати Марьи Николаевны.

Но все чувствовали, что все это скучно, тоскливо и тошно, что жизнь вообще страшна, что на земле все равно будет тесно, хотя барыни и уехали в город, испуганные и обиженные.

— Погромить бы чего! — опять стонал рыжий мужичок, теперь уже пьяный.

— Да ведь и так громим, — мрачно засмеялся Трифон.

— Это что! — бормотал рыжий. — Разве так громят! Надо бы всюю. Разгуляться бы надо.

— Тебе что ж — весь мир поджечь, что ли, охота?

— Не худо бы.

Трифон засмеялся еще громче и со страхом оглянулся назад: ему показалось, что кто-то черный, лохматый положил ему лапу на плечо.

У старика Власия в руках оказался топор. Старик разбил шкаф с книгами и теперь стоял над ним, недоумевая.

В толпе, которая сгрудилась вокруг бочки, заговорили опять о жеребце. Хозяйственный Петр отступился, чувствуя, что это добром не кончится. Зато упрямо требовал себе жеребца Игнат, бывший объездчик.

Трифон, озлившийся почему-то, подошел к Игнату вплотную и сунул ему кулак под нос:

— Видал? Я беру жеребца...

Игнат отступил на шаг, размахнулся и ударил Трифона в висок тяжело и звонко. Трифон пошатнулся, но удержался на ногах и крикнул хрипло:

— Ударь. Ударь. Ударь Трифона...

Игнат испугался, но все-таки не удержался и еще раз ударил противника по голове.

Тогда Трифон, оскалив зубы, бросился на Игната и, дав ему подножку, повалил на землю. Придавив ему живот коленом, Трифон схватил мужика за горло.

Из толпы выскочил рыжий и закричал:

— Никому жеребца не дадим! Сожжем его, ребята! Все к черту на рога! Светопреставление, братцы!

И он бросился опрометью в конюшню. Мужики завыли, засвистели, заулюлюкали и повалили толпою вон из дому.

На дворе было совсем темно, потому что луну закрыла большая туча. Кто-то зажег красный фонарь. Жеребца вывели из конюшни. Он стоял огромный, статный, перебирая ногами и чутко пошевеливая ушами.

— Пакли, ребяташки, пакли!

Оказалась и пакля, и несколько мужиков принялись увязывать паклю по спине у Султана.

— Где керосин? Тащи, ребята, керосин! — вопил рыжий. Откуда-то принесли керосину, и сам Трифон, довольный, что конь никому не достанется, подошел к жеребцу и окатил его керосином.

Султан шарахнулся в сторону, и один мужик застоялся, опрокинутый на землю, но на него никто не обратил внимания.

— Теперь поджигай, ребяташки, поджигай!

Костер на спине у жеребца задымился, заискрился, вспыхнул красным огнем. Конь рванулся и вылетел в открытые настежь ворота.

Толпа заревела. Казалось, что вместе с горящим жеребцом вылетел из этой усадьбы ночной страх. Конь помчался мимо пруда на большак, светясь во мраке красным заревом.

Мужики побежали свистя. Иные падали, ругаясь непристойно.

ВРЕДИТЕЛЬ

Один мой приятель, старый чекист, немало зловредных людей отправивший туда, «где же несть болезни, печали и вздыханий»¹, и в конце концов сам застрелившийся в Серебряном бору по мотивам весьма сокровенным, оставил мне в наследство прелобопытную тетрадку, копию документика, оказавшегося у него в руках при ведении одного следствия. Это записки явного контрреволюционера, который наивно воображал, что их никак не найдут представители нашей советской власти. Но этому тарантулу не удалось утаить от нас свои ядовитые свойства. Правда, пришить эти мемуары к какой-нибудь реальной политике нет никакой возможности. Дела из них состряпать нельзя... Но психология! Психология!.. Тут особого рода вредительство — тончайшее и, так сказать, высшего порядка. Хитрец и сам догадывался, что с нашей точки зрения, он паук и вообще гад.

Он, к сожалению, ускользнул от нашего возмездия, но его мемуары говорят сами за себя. Они, можно сказать, назидательны и не требуют никаких объяснительных примечаний. Все ясно. Автор — типичнейший представитель вырождающегося класса, обреченного на гибель. Итак, вот вам документик.

I

Я пишу эти записки по ночам, но я не так прост, и у меня, на случай приезда незваных гостей, все приготовлено. Я просовываю руку в форточку, вынимаю кирпич — и моя рукопись в надежном месте. Это дело одной минуты, даже менее. Я многократно упражнялся. Моя комната в конце длиннейшего коридора. Пока они будут преодолевать пространство, стучать в дверь и прочее, я успею закрыть форточку, и у меня ничего не найдут. Впрочем, по стенам у меня портреты вождей, и сам я пользуюсь репутацией безупречного советского гражданина. Едва ли придут ко мне с обыском. Вот разве кто-нибудь сочинит донос. Но и это маловероятно. Я живу скромно. Я помощник бухгалтера в Сопиковском тресте. Я холостой. И в прошлом у меня все благополучно, если только не считать подозрительным моего университетского образования. Я математик и был оставлен при кафедре нашим известным ныне покойным профессором Б. Ну теперь, разумеется, я спрятался и о кафедре не помышляю. Теперь надо быть незаметнее. Мне вот предлагали место главного бухгалтера, но я, конечно, уклонился. Главное, надо спрятаться.

Может быть, вы думаете, что я пишу что-нибудь политическое, против нашего советского правительства? Ничуть. Совать свой нос в политику я вовсе не намерен. Вы спросите, вероятно, зачем же такие предосторожности, зачем прятать рукопись. Как «зачем»? Затем, что я давно уже догадался, в чем секрет нашего быта. Дело вовсе не в политике и не в моем социальном положении или происхождении, а совсем в ином. В чем же? В моем культурно-психологическом типе. Я существую, потому что я спрятался. Стоит мне только обнаружиться, и я буду тотчас же уничтожен, несмотря на все мое советское благополучие. Я не беру взятки, я превосходный бухгалтер, я безупречно исполняю все обязанности советского гражданина — член профсоюза, подписываюсь на все займы,

марширую во всех демонстрациях неуклонно, несу общественную нагрузку безропотно и отнюдь не убегаю от предвыборных собраний, когда требуют разрушения храмов или «высшей меры наказания» для вредителей. И однако я трепещу.

Итак, я начинаю мои невиннейшие мемуары. Я, конечно, не писатель — и вот даже затрудняюсь, с чего начать... Ну, да что там! Начну с афоризма, который я подслушал вчера в кухне. Георгий Николаевич Курденко (из комнаты номер один), самый солидный у нас жилец, человек партийный и, по-видимому, большой ревнитель «генеральной линии», чистил свою толстовку около печки, а я в это время вышел с портфелем, смотрю, вылезла из комнаты номер семь Марфа Петровна. А Курденко любит пошутить:

— Что, — говорит, — Марфа Петровна, давно с вами не беседовали, как вы настроены? Ворчите на нас, большевиков, или нет? Довольны ли властью?

— Ох, батенька, — говорит, — не все ли мне равно? По мне хоть пес, лишь бы яйца нес...

Как вам это нравится! Я чуть портфель не выронил. А Курденко — представьте — смеется. Афоризм старухи меня поразил своею мрачностью. Что она этим хотела сказать? В ее интонации почудилась мне какая-то безмерная усталость. Я эту старушку давно заприметил. Она совсем не цивилизованная. Аэропланы, автомобили, успехи нашей индустрии — все это нисколько ее не интересует. У нее вкусы довольно странные для нашего времени — к ней приходит какая-то бледненькая, в платочке, гражданочка с книжками в узелке (кажется, внучка) — они что-то читают с упоением (я выяснил потом — жития, патерики²). Ну, разумеется, перед иконою «Всех скорбящих радость» горит лампадка. Допустим, что это все культура не наша, чужая, не своевременная, но все же культура. Откуда же этот цинизм и материализм при такой духовности? Что может быть циничнее? «По мне хоть пес, лишь бы яйца нес!» Если она это всерьез сказала, какая же она

бесстыдница! Ведь этот афоризм что значит? Мне, мол, дела нет до вашего нравственного лица, лишь бы только вы дали мне возможность как-нибудь просуществовать. Какая грубость мысли! Какая жалкая обывательщина! Но, однако, это можно истолковать совсем иначе. Как иначе? А вот как: не сказала ли эта старуха свое изречение иронически? То есть не открою, мол, вам моего секрета, как я на вас смотрю. Были бы яйца... Но в том-то и штука, что этих самых яиц нет, и хитрая старуха издевается над товарищем Курденко. Она уверена, что яиц не будет. А между тем, отвергнув ее патерики, жития, иконы и лампадки, товарищи обещали вместо всей этой духовности материальные блага, но их тоже нет. Псы никаких яиц не снесли.

Курденко отнесся весьма добродушно к старухе. И он прав. Ее ирония решительно неопасна. Я, по крайней мере, уверен, что вопрос надо ставить совсем не так. Имеются яйца или нет — это неважно. Сегодня нет — завтра будут. Я даже охотно верю, что их будут даром раздавать всем гражданам, равно как и все прочее. Ну и что же? Будет ли тогда Марфа Петровна довольна своей судьбой? Разумеется, нет, и вся ее хитрость обнаружится с очевидностью. Я считаю, что материальные неудачи весьма даже полезны для Курденко: они отвлекают внимание от самого главного — от утраты человеческой свободы. Мы все как будто на бивуаке, на поле брани — где уж тут требовать свободы, когда нужна дисциплина ввиду военных обстоятельств! А тем временем люди умирают, а кто не умирает, те торопятся умереть, и новое поколение подрастает, даже не догадываясь, что можно жить не в тюрьме, не в доме номер тринадцать, а как-то иначе.

Сам Курденко, между прочим, мне очень нравится. Он совсем новый тип. Он, так сказать, биологически новый тип. Кожаная куртка, которую он никогда, кажется, не снимает, срослась со всей его статной фигурой. В нем даже есть что-то мифологическое. Я подозреваю, что у него копыта. А между тем — поговорить с ним — и он бу-

дет рассуждать презрительно о мифологии, не догадываясь, что он сам является прямым доказательством ее реальности. В Курденко есть что-то привлекательное. Вероятно, его неколебимая вера в мессианскую идею, которую Карл Маркс заимствовал у библейских пророков и приписал пролетариату. Сотерианская проблема³ неожиданно оказалась связанной не с личностью, а с классом. То, что у Маркса было замаскировано его политической экономией и его социологией, у честнейшего и откровеннейшего Курденко обнаружилось и оголилось без всякого прикрытия: пролетариат-мессия.

То, что в это не верит Марфа Петровна, неважно. А вот что важно: сам пролетариат, кажется, не очень-то в эту идею верит. Но несмотря на такой скептицизм Марфы Петровны и пролетариата, я разделяю отчасти веру товарища Курденко. Пролетариату действительно суждено сыграть некую провиденциальную роль в истории человечества. Тут, разумеется, надо определить, какую именно роль. Она превосходно характеризуется самими специалистами: «Пролетариат — могильщик буржуазии». Великолечно! Удачнейшее выражение! Подписываюсь под ним обеими руками! Ну, конечно, могильщик, и... не более того... Кстати, у нас в десятом номере живет Вонифатий Григорьевич Погостов. Он, правда, не могильщик, а гробовщик — человек, достойный внимания и отчасти философ. Гробовщик он, вероятно, потомственный. По крайней мере, на это намекает его фамилия.

Я очень извиняюсь, что начал свои записки несколько отвлеченно и теоретично. Постараюсь в дальнейшем ограничивать себя в этом отношении. Читатель не без основания любит все конкретное. Рассуждения в самом деле надоедают. Идеология чаще всего напоминает мочалу, которую жуют под давлением обстоятельств. Вот, например, Курденко. Представьте, если бы у него не было идеологии, ведь он бы, несомненно, пленял сердца. И нимфы бегали бы за этим кентавром. А теперь даже комсомолочки шарахаются от него. Да и ему самому вовсе нелегко,

будучи в известном смысле четвероногим, тащить эту идеологическую обузу. Но, ничего не поделаешь: назвался груздем, полезай в кузов; назвался партийным, храни «заветы».

Тем не менее я настаиваю на том, что Курденко превосходный человек. У него слово соответствует делу. Он прямолинеен, как абсолютный метр, хранящийся где-то в Париже⁴. Он добросовестно не знает истории и знать ее не хочет. И в этом смысле сохраняет первобытную девственность.

II

Итак, в нашей тринадцатой квартире, как солнце в капле воды, отразился весь наш обывательский быт. На кухне батареи примусов, объявления на стенах об очереди по уборке коридоров и сортира, жужжание домашних хозяек о продовольственных карточках, гриппозный кашель и чихание... Все это, разумеется, пустяки, и к концу какой-нибудь пятой пятилетки никаких гриппозных примусов и сортирных очередей не будет и в помине. Порядок будет идеальный, если только Земля не попадет в хвост ядовитой кометы или на Европу не обрушится пятисотмиллионная масса китайцев, организованная японцами, как предсказывал национальный чудак⁵, узревший глазами поэта «клочки» российских знамен, доставшиеся на забаву «желтым детям». Впрочем, еще неизвестно, под какими знаменами двинутся на Европу «желтые дети», может быть, и под нашими красными, советскими. Тут бабушка надвое сказала. Но что они двинутся — это факт. Неизвестны также сроки этого нового переселения народов. По части сроков все пророки хромают, даже величайшие. Они, очевидно, привыкли иметь дело с вечностью, а во времени путаются, как малые дети. Очень может быть, что до китайского нашествия мы успеем наделать дел, — ну хотя бы изничтожить остатки греко-римской культуры, оплодотворенной «откровением» двух последних тысячелетий. Я, разумеется, в качестве безбожника, заключил слово «откровение» в кавычки, но надо считаться и с те-

ми, кто этих кавычек не признает. Между ними были ведь не только глупцы, но и умницы первого ранга — хотя бы, например, Паскаль или Достоевский⁶. Я уже не говорю про канонизированных: эти ведь тоже были нередко люди отнюдь не наивные. Над этим можно призадуматься. Но Курденко спешит; ему некогда думать; у него темпы... Впрочем, если бы свершилось чудо, и он в самом деле призадумался, получился бы всемирный скандал: он бы вдруг увидел, что все наоборот...

Очень трудно писать, потому что в соседней комнате кричит девочка. Ее зовут Наташей. Я знаю, почему она кричит. Ее сечет отец. Он уже третий день ее сечет. Случай весьма запутанный. Некоторые жильцы хотели заступиться за Наташу (ей одиннадцать лет), но потом трусили. И я трусил. Сечь девочку — дело как будто реакционное, и наша советская педагогика подобных мер воздействия не одобряет. Однако тут все тоже наоборот. У этой самой Наташи заметили в школе крестик на шее. Пошли расспросы, как и что. Она сказала, что крестик на нее мать надела. А тут, как на грех выяснилось, что отец, сапожник, — кандидат в партию. Вот этот кандидат и сечет, пользуясь тем, что мать стоит в очереди; выдают колбасу из баранины. Сейчас ночь на исходе — светает: вот она и стала в очередь. Конечно, это чепуха, и партия не одобрит подобной расправы, но мы все боимся, что нас заподозрят в приверженности к христианскому культу. Одна только Марфа Петровна пыталась заступиться за глупенькую Наташу, но сапожник пригрозил ей милицией. Жалко, что Пантелеймонова нет, Михаила Васильевича, типографского рабочего; у него ночное дежурство; этот, пожалуй, заступился бы; ему на днях одна жиличка показывает цветочки магнолии (ей из Крыма прислали), а он и ляпнул: — И есть же такие дураки, которые уверяют, что Бога нет!

Как это вам нравится! Какой уклон в мыслях — то есть, значит, откуда, мол, красота, ежели Бога нет. Доказательство бытия Бога, разумеется, слабое. Кант его

будто бы опроверг⁷. Ну, одним словом, Пантелеймонов не читал Канта и, наверное, заступился бы за Наташу, но у него ночное дежурство. Курденко тоже, разумеется, заступился бы, несмотря на крестик, но Курденко некогда — у него темпы; он ударник, он очень спешит. А Наташе одиннадцать лет, кажется, даже скоро будет двенадцать. Она стройненькая. Ножки как стебельки. Она кричит:

— Папенька, не буду! Папенька, не буду!

Я не понимаю, почему она так кричит. Что это значит... «не буду»? Крестик она что ли не будет носить? Так чего же кричать? Дело ясное, что не будет.

На днях возвращаясь домой с Усачевки — в двенадцатом часу ночи, — я натолкнулся еще на один непонятный факт. Из неосвященного переулка (недалеко от Зубовской площади) раздавались ужасные вопли. Туда уже бежали прохожие. И я побежал. Несмотря на поздний час, набралась порядочная толпа, и я даже сразу не рассмотрел из-за спин, что там такое происходит. Вертелся какой-то клубок из людей, и вся эта куча подвигалась в сторону Долгого переулка. Наконец я разобрал, что два милиционера в полной амуниции тащат девочку лет четырнадцати, никак не более. Но странно было то, что она в одной рубашке. Девочка отчаянно боролась и билась в руках у милиционеров. Ее несли на руках. Рубашка у нее сбилась чуть не в комок, и девочка была совсем голая. И милиционеры тащили ее как-то неловко, спешили, недовольные, что собралась толпа. За милиционерами бежала какая-то ведьма, простоволосая, очень разъяренная.

— Что это такое? Куда тащат девочку? — нелепо приставал я то к одному, то к другому из толпы. Мне отвечали неохотно:

— Беспризорная, вишь ты... Пристала, значит, к гражданке...

— Как пристала? К какой гражданке?

— Да вот к ведьме этой... Три дня у нее жила...

— Странно как...

— Ну, да... А вот теперь надоела ей. Она, значит, милицию вызвала, чтобы убрать. А девочка боится, не хочет идти в милицию, платишко свое изодрала, — думала, голую не поведут... Ан, повели.

Девочка продолжала кричать и отбивалась отчаянно. Я видел, как толпа завернула в Долгий переулок. Там отделение милиции недалеко от угла.

Вот и весь факт, товарищи. Разумеется, к концу второй пятилетки ничего подобного не будет, то есть не будет беспризорниц, не будет растрлений, не будет изнасилований, да и девственности не будет. То есть как не будет девственности? А очень просто. При рождении девочек у них, конечно, немедленно будут хирургическим способом уничтожать признаки девственности во имя эгалитарного⁸ принципа. Эта мера необходима, чтобы впоследствии не было привилегий. Я, мол, девственница, а ты нет. С этой девственностью очень много хлопот, а тогда, к концу второй пятилетки, не будет никаких хлопот, а также и всех этих глупых трагедий по поводу утраты целомудрия. Я однажды попробовал заговорить на эту тему с Курденко, разумеется, осторожно. Он, кажется, не понял. Впрочем, он очень торопился. Он в это время агитировал за социалистическое соревнование по экономии топлива — ему было не до целомудрия, да и сердит был отчасти, потому что Михаил Васильевич Пантелеймонов только что предложил ему социалистическое соревнование по экономии питания, заметив у него в руках какую-то дефицитную пищу из закрытого распределителя. Я доподлинно знаю, что Курденко питается почти так же, как сам Пантелеймонов, то есть очень плохо, и вовсе не было надобности дразнить товарища его привилегированным распределителем. Курденко, я уверен, без малейшего сожаления откажется от своих привилегий, жертвуя ими для успехов крупной индустрии. У него в комнате сейчас собачий холод, но он терпит во имя принципа. Повторяю без всякой насмешки: Курденко прекраснейший человек

как нравственный тип, и если он остался равнодушным к воплям девочки, то исключительно по причине темпов. У него не было времени обратить на это внимания. Не обращал же внимания на вопли своего собственного сына, столь жестоко истязуемого, император Петр Великий⁹, тоже весьма озабоченный успехами по тем временам крупной индустрии и тоже весьма торопившийся. Курденко даже мягче и как-то добродушнее знаменитого императора. Впрочем, Курденко и не претендует на прозвище Великого.

III

У нас в квартире умер на днях один лишенец. Богатейший был землевладелец в свое время; в тогдашнем Петербурге был у него дворец, весь наполненный сокровищами — Тицианами и Рубенсами¹⁰, и фарфором каким-то необыкновенным, — он в начале революции сам кому-то привез ключи, но по рассеянности забыл там, во дворце, собственные штаны и подштанники. Потом спохватился (подштанники особенно понадобились), но было уже поздно, все это вместе с Тицианами было кому-то распределено. Так вот этот самый лишенец помер, по-видимому, от голода. Дверь была заперта. Стало попахивать. Взломали — а он, голубчик, лежит на постели, прикрытый какими-то тряпками, с довольно презрительным выражением лица, несмотря на такое унижительное положение. Погостов гроб ему из бюро доставил, но по ошибке красный. Родственников и друзей не оказалось: иные сидели на Лубянке, иные в Бутырках, а большинство в Соловках и Нарыме. Марфа Петровна хотела было проводить тело на кладбище, но увидела красный гроб, испугалась и спряталась к себе в комнату. После этого лишенца освободились две комнаты (другую комнату занимал его племянник, только что арестованный за неуместные разговоры на английском языке с каким-то джентльменом). Вот в эти самые две комнаты въехали к нам новые жильцы — Иван Васильевич Лапин; доктор, и его супруга — Татьяна Ми-

хайловна, актриса «малых форм», как теперь принято выражаться. На другой же день, вернувшись со службы, я был неприятно поражен, наткнувшись на гражданку Лапину, которая без малейшего смущения проследовала в костюме Евы из ванной к себе в комнату. Расстояние от ванны до ее двери было, правда, небольшое, аршина полтора, не больше, но я успел убедиться, что жена доктора сложена не худо и даже скорее похожа на девушку, чем на женщину. Однако зачем же она такая бесстыдница! Мне это очень не понравилось. На меня она взглянула рассеянно и, кажется, приняла за предмет неодушевленный. Ее долговязый супруг, очевидно, нисколько не интересуется репутацией своей жены. Их комнаты у нас помечены номерами — три и пять; хотя они рядом, но дверь у каждого особая — прямо в коридор. Эта парочка меня заинтересовала, муж называет свою супругу Таточкой, она его — Ванюшей; уходят они из дому всегда в разное время; вместе бывают редко; по утрам, однако, долговязый Ванюша идет в комнату к Таточке, выносит ведро, заваривает кофе или чай и поит супругу, которая нежится в постели; при всем том в их браке есть что-то непонятное. Таточка не красавица, но, вероятно, мужчинам нравится; глаза огромные, с цыганским огнем, и все лицо — изменчивое, выразительное и как будто утомленное страстью; поэты, конечно, найдут в ней «что-то волшебное»... Впрочем, нынешние поэты смотрят на все биологически и ничего волшебного не признают. Кстати, один из них — Арсений Кудефудров — живет тоже в нашей квартире. Этот, конечно, без волшебства, с одним барабаном. Рекомендован. Ребята в школах учат его стихи о попах, которые с корыстной целью придумали Богородицу. Мне почему-то было очень неприятно, когда я увидел в открытую настежь дверь, что в комнате Таточки сидит Кудефудров. Надо сказать, что он высокого роста, с весьма развитой мускулатурой и жирным задом. Таточка — маленькая, с крошечными ножками и ручками. Не то ребенок, не то Афродита¹¹. И представьте! Это «божественное» существо сидит против Ку-

дефурова и делает ему маникюр. Что это такое? И балбес принимает это ухаживание с дурацким удовольствием. Какое мне, собственно, дело до поведения Таточки? Не дорожит собою — но мне-то что? Но я почему-то негодую и на нее, и на ее долговязого доктора. Если буду умирать, не позову этого эскулапа ¹².

У нас в гресте открыли новое клубное помещение для служащих и рабочих. Во вторник был концерт, и мне пришлось пойти, хотя я терпеть не могу поспешные программы, где голодные актеры декламируют стихи о страданиях безработных, выброшенных на улицу кровожадными буржуа. Я прекрасно знаю, что в Европе немало безработных, но стоит мне только выслушать несколько куплетов на эту тему, как я тотчас же перестаю верить в этот несомненный факт, ибо фальшивая интонация наших замученных клубами лицедеев убивает всякое сочувствие к зарубежным товарищам, и хочется прежде всего накормить самих этих худо выбритых людей с чахоточными пятнами на щеках. Не менее отвратительны все эти басы «под Шаляпина» и тенора «под Собинова» ¹³ с их истрепанным репертуаром или невозможными новинками, состряпанными по заказу и никому не нужными. С трудом удерживая зевоту, я отбывал мою повинность в третьем ряду кресел, как вдруг конферансье объявил, что артисты Лапина, Ванхчнов — исполнят «Карманьолу». И вот неожиданно я увидел на сцене Татьяну. Зрительный зал как будто проснулся при первом же всплеске ее руки, при первом же полете ее стройных ножек. Таточка, оказывается, волшебница. Танцевала она с таким огнем и блеском ¹⁴, что наш клуб совсем ожил от летаргии, в которую его погрузил советский репертуар. Таточка не только танцевала — она играла. «Карманьола» оказалась «скетчем», где было все — и слова, и танцы, и пение. Ее партнер был неплохой актер, а плясал и вовсе не худо. Во всяком случае он Таточке не мешал, и я, сорокапятилетний ворчун, почти влюбился в эту маленькую женщину, которая заразительно смеялась, шалила и вдруг с таким страстным увлечением

запела «Карманьолу», что я почувствовал себя якобинцем и готов был, как Марат, покончить со всеми контрреволюционерами сразу, если бы только у нас были гильотины и она могла бы сделать эту операцию в один миг. Я кричал «браво», хотя я терпеть не могу выражать свое одобрение актерам, да и вообще это противоречит моей идее: мне надо спрятаться, а всякое изъяснение чувств этому, разумеется, мешает и даже очень. Пройти в комнату для артистов я не решился. Поджидая трамвая (я должен был возвращаться на семнадцатом нумере), я вдруг вспомнил, как Таточка намазывала ногти Кудефудрову. Это воспоминание показалось мне совершенно неправдоподобным, и я хотел себя уверить, что вся эта сцена мне приснилась. Я не успел переступить порог своей комнаты, как щелкнул английский замок и вошла Таточка (у нее свой ключ). Мне хотелось сказать ей, что я видел ее на сцене, но я не успел. В коридор вышел Кудефудров и развязно попросил Таточку напоить его чаем. Они скрылись в ее комнате.

IV

Вчера у нас были полотеры и, пока они возились с мастикою и порхали по полу в комнате Кудефудрова, поэт ввалился ко мне. Этот болван думал, что он мне, бухгалтеру, оказывает великую честь, ежели сидит у меня в комнате и со мною разговаривает на литературные темы. Под его толстым задом все время отвратительно трещал стул.

— Вы мои стихи знаете? — спросил он, не сомневаясь, что я отвечу утвердительно.

Но я обозлился:

— А вы разве пишете стихи?

— Это забавно, — произнес он сквозь зубы... — Но имя-то мое знаете по крайней мере? Если книг моих не читали, на афишах это имя видели сотни раз.

— А я думал, что вы не тот Кудефудров, а какой-нибудь другой.

— Почему же?

— Я думал, что Кудефудров — брюнет, а вы — блондин.

— Да, вы, я вижу, шутник.

— Нет, это я так, по простоте.

— Вы, должно быть, стихов не любите.

— Как вам сказать... Вот Пушкина люблю...

— Ну да. Это полагается. Учителя в гимназии объяснили, что Пушкин монумент.

— Нет, у него хорошо сказано:

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю¹⁵.

— А вы что? Бухгалтер? Мне говорили, что вы по специальности математик...

— Кто вам говорил? — нахмурился я, потому что не люблю, когда обнаруживается прошлое.

— Актриса Лапина из третьего номера.

— Странно. Почему она знает, что я математик?

— Она училась в каком-то пансионе, где вы были преподавателем.

— В самом деле, — пробормотал я. — Я припоминаю эту крошку... Да, да... Лапина... Кажется, ужасная была шалунья...

— Да, она и теперь...

Кудефудров не договорил фразы.

— Послушайте, — сказал я, — почему это у вас два ногтя отделаны, как будто вы пользуетесь услугами маникюрши? И почему только два, а прочие нет?

Поэт криво усмехнулся.

— Это, знаете, глупое пари... Одна фантазерка забавлялась... Уж если хотите знать, все та же гражданка из третьего номера... Я должен ей за это достать французское издание «Тысячи и одной ночи» в переводе Мардрюс¹⁶... А где достать? Она любительница сказок... Все это довольно глупо...

И он громко засмеялся и затрещал стулом.

«А ведь у него нет романа с Таточкой», — решил я почему-то и не так уж враждебно стал рассматривать грустные собачьи глаза стихотворца, который сделал оптимизм своей профессией и «Гром победы раздавайся»¹⁷ своим лозунгом.

— Любовь, луна, Прекрасная Дама, — сказал Кудефудров неожиданно, — все это вздор. Хороший трактор в тысячу раз поэтичнее романтического хлама, которым нас угощали символисты...

Я промолчал.

— Писатель должен быть бодрым¹⁸, — прибавил он уныло и взглянул на меня грустными собачьими глазами.

Я вспомнил, что среди его барабанных стихов мне как-то попались живые строки, где он вдруг с какой-то целомудренной нежностью вспоминает о матери. Мне стало его жалко.

— Послушайте, Кудефудров, — сказал я. — Не думаете ли вы, что разудалый оптимизм весьма вреден для пролетариата (я бы сказал «для человечества», но из вежливости говорю «для пролетариата»)?

— Не знаю, — пробормотал он застенчиво. — Во всяком случае пессимизм еще хуже оптимизма.

— Вот это верно, — обрадовался я, чувствуя, что этот Кудефудров о чем-то догадывается. — Пессимизм еще хуже. Но ведь есть нечто третье!¹⁹

Он не ответил. Встал, прошелся по комнате и, как будто просыпаясь, потянулся.

— Эта Лапина очень смешная. Советская актриса «малых форм», а перед иконою зажигает лампадку, как Марфа Петровна, и верит в то, что придет Антихрист и будет Страшный суд. Очень смешная.

— Вы находите смешным, когда верят в Страшный суд?

— Да.

— А я вот не верю и боюсь, что это мое неверие еще смешнее, чем вера Таточки.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал Кудефудров серьезно. — Не понимаю, но, кажется, вам так же скучно, как и мне...

Это признание меня очень заинтересовало. Полотеры ворвались в мою комнату, и Кудефудров ушел.

«Не наговорил ли я лишнего? — подумал я. — Берегись, Макковеев».

Странное дело! Когда мы переживали голод и разруху в первые годы революции, когда кипела так называемая гражданская война, когда на Волге и Каме сжигали великолепные пароходы, да и везде все горело, когда белые доходили чуть не до самой Москвы, когда в Крыму пекли пирожки с начинкою из человеческого мяса и с этую целью резали и взрослых и детей — все это было кроваво, страшно, бесстыдно, но, кажется, тогда еще не было этого тихого ужаса от близости мировой катастрофы. Вот именно теперь, когда мы строим социализм, когда возникают огромные центры индустрии, когда мы приближаемся к сплошной коллективизации, вот именно теперь в доме тринадцать стало невыносимо душно и мрачно... Если Кудефудров заговорил о том, что ему скучно, — это уже последнее дело. Ведь если этот рекомендованный оптимист обнаружит вдруг свою гнилую сущность, тогда что же? Вот когда поэт Есенин повесился, то это было в природе вещей: он ведь пел кабацкую Русь... Ну, а если Кудефудров затоскует, это уже будет не в порядке вещей, а решительно беспорядок и скандал.

Правда, у нас в квартире большинство состоит из мелких буржуев, но и пролетариат представлен довольно солидно: во-первых, Курденко, потом Пантелеймонов, хотя и не партийный, однако самый настоящий рабочий у станка; двое Трофимовых — оба с завода «Каучук»; Погостова тоже из пролетариев никак не вычеркнешь... Да и, наконец, сам Кудефудров... Ведь его в семилетке зубрят наизусть...

Недавно Курденко, как будто угадывая мои мысли, без всякого повода стал мне объяснять, что всеобщий испуг и какая-то зловещая тишина вовсе не так уж всеобща, что даже, например, где-то в каких-то будто бы колхозах удивительная бодрость и удивительные достиже-

ния, а что вся эта кислота и мрак только в среде мелко-
травчатой интеллигенции, которая чувствует свою классовую
неудачу. Я ему не возражал. Я даже готов был внутренне
согласиться, что, например, мое настроение ничего
еще не доказывает, ибо у меня эмфизема, я бухгалтер,
и, главное, я знаю по секрету высшую математику, но
ведь Пантелеймонов-то, или эти самые с партбилетами
Трофимовы из «Каучука» эмфиземою не страдают и о выс-
шей математике понятия не имеют — они-то почему нос
повесили?

Правда, сам Курденко не унывает, но ему невозможно
унывать, ему некогда унывать, он, как белка, в колесе;
ведь у него такая нагрузка, что ему, кажется, не то что
унывать, но даже и подумать о чем-нибудь нет времени. За
него другие думают. А его обязанность самому торопиться
и всех прочих торопить, не щадя ни своего, ни чужого
живота.

Братья Трофимовы из «Каучука» весьма неразговор-
чивы и боязливы (это с тех пор, как они получили партби-
леты). А раньше, помнится, они были очень словоохотли-
вы, и у них не было в глазах такого испуга. У меня с ними
были кое-какие дела по дому (я ответственный съемщик
квартиры номер тринадцать), и они удивили меня своей
мнительностью, решительно болезненной. Постучишь
к ним в комнату, они никогда не скажут: «Войдите», —
а всегда медлят, что-то прячут и отворяют дверь наполю-
вину, как будто боятся пустить посетителя. А когда вой-
дешь, все в порядке: на стене очередной вождь (они строго
следят за уклонами), на столе «Правда», у них радио
и громкоговоритель — бедствие для всей квартиры. Люди
они, вообще говоря, очень порядочные, но до того блюдут
партийную линию, что у них на это уходит вся энергия.
У Курденко — это его профессия. Ему легче. А Трофимо-
вы работают в своем «Каучуке» не на шутку, а малогра-
мотным людям следить за уклонами вовсе нелегко.

Что до Михаила Васильевича Пантелеймонова, то
этот беспартийный вольнодумец меня решительно пуга-

ет. Я, по правде сказать, избегаю с ним встречаться. Я даже удивляюсь, как это до сих пор он гуляет на свободе. Ему бы давно уже следовало сидеть где-нибудь в Соловках или где там полагается теперь, я уж не знаю. Правда, в типографии им очень дорожат: квалифицированный наборщик, грамоту знает очень хорошо, латинский алфавит тоже, да и в политике не слепой, но у него «навязчивая идея»... И притом, по-моему, весьма опасная... Ну, об этом чудеке потом. Сейчас кто-то стучит, а уже ночь. Рукопись не буду прятать; слышу скрипучий голос Погостова.

V

Совершенно не понимаю, зачем являлся ко мне (да еще ночью) этот гробовщик, Вонифатий Григорьевич.

— Я, знаете ли, Яков Адамович, — сказал он, — я, собственно, потому к вам зашел, что хотел с умным человеком посоветоваться. Вы, как ученый к тому же, должны меня успокоить. Я больше не могу.

— Да в чем дело, Погостов? И почему вы ночью пришли?

— Я ночью пришел, потому что у меня душа ночная. Днем я, хотя и среди гробов, но все в суете, а вот ночью у меня и начинается.

— Да что начинается?

— А вот как будто кто насвистывает — иносказательно то есть, а иногда, впрочем, и буквально... И голос довольно, знаете ли, ядовитый, начинает всякие этакие рассуждения... А спать тоже невозможно. Сны снятся, будто бы я залез в красный гроб и делаю что-то не соответствующее моему возрасту. Но это сны, а, значит, отчасти и фантазии. А действительность гораздо хуже, чем сны. Мне страшно.

— Ничего не понимаю, почему страшно.

— В том-то и дело, что я не знаю, почему. Я бы хотел, чтобы вы мне объяснили.

— У вас, очевидно, расстроены нервы — может быть, в связи с вашей профессией. На Девичьем поле име-

ется, кажется, институт социальных болезней. Вы бы — туда. Не знаю, имеют ли товарищи врачи опыт относительно гробовщиков.

— Врачи? Да они меня запрячут в дом умалишенных...

— Тогда уж не знаю, что вам посоветовать.

— Вы не уклоняйтесь, Яков Адамович. Это и вас касается.

— Нет уж, извините, — сказал я, хмурясь. — Я тут ни при чем. У меня нет никаких страхов.

— Будто бы? — довольно желчно засмеялся Погостов. — Вы человек умный, а это только одни дураки ничего не боятся, как сказал стихотворец. Значит, и вам иной раз страшновато. А я думаю, что в наше время особенно.

— О каких страхах вы говорите? — пробормотал я, чувствуя невольное, что и у меня как будто бы сердце начинает биться неровно и я в самом деле чего-то боюсь.

— Я не про Объединенное Государственное Политическое Управление²⁰... Это исключается...

— Надеюсь. Еще бы вы об этом заговорили. Я чист. У меня нагрузка. Когда голосовали за высшую меру наказания, я, было, хотел сказать, что рабоче-крестьянское правительство не может руководствоваться в своих решениях чувством мести, но не решился сказать. От этой моей тайной мысли я целую ночь не спал, боялся, что кто-нибудь догадается. Но вы ведь знаете, что в правительственном сообщении черным по белому было сказано как раз именно то, чего я не решился выговорить. Это я к тому, Погостов, что даже тайные мои мысли совпадают с линией советского правительства.

— Это у вас все политические остроты, — вдруг оскалил зубы гробовщик. — А я вам говорю о более важном... Будет Страшный суд или не будет?

— Да что вы точно сговорились! — воскликнул я в настоящем гневе. — И вы тоже о Страшном суде! Вам-то уж стыдно... Вы ведь теперь не предприниматель, а пролетарий.

— А еще кто?

— Да эта из третьего номера Таточка. Мне Кудефудров сказал.

— И еще один есть, — сказал задумчиво Погостов. — Я говорю о товарище Пантелеймонове...

— Однако у нас в тринадцатом номере коллекция... Стыдно, граждане, быть суеверными...

— Так, значит, все это не более как суеверия, то есть все эти страхи?..

— А вы думали, Погостов, что я тоже трубы архангельской ожидаю?

Я насилу выпроводил от себя этого гробовщика. Эти глупые разговоры о Страшном суде меня решительно раздражают. Для Курденко это пустяки. Он только посмеется. Это фельетон для очередного номера «Безбожника» (Курденко там что-то пописывает). Но для меня это нечто посерьезнее, чем фельетон. Я знаю, что ненавистная мне идея Страшного суда возникала в течение веков не раз и не два, что она упорствует в своем влиянии на умы и сердца, что никакие атеистические журнальчики и книжечки не могут победить этот огромный миф, очевидно, нужный для миллионов людей, жаждущих во что бы то ни стало космической катастрофы. А я не хочу. Я безбожник. Я умру основательно и бесповоротно. Я не хочу никакого суда и не признаю его, если бы он даже каким-нибудь фокусом-покусом осуществился. Тут две непримиримые психологии — моя и этих одержимых, поверивших в двадцать четвертую главу Евангелия от Матфея с каким-то слепым энтузиазмом²¹. Они уверяют, что к какому-то сроку непременно «охладеет любовь», что будто бы к этому самому сроку «по причине умножения беззакония» появятся лжепророки (меня недавно один православный изувер уверял, что знаменитый Рудольф Штейнер²² — тоже антихрист, небольшого калибра, но все-таки антихрист, то есть по своему духовному типу), — это наконец «как молния исходит от востока и видна бывает даже на западе, так будет пришествие Сына Человеческого...». Спектакль, как хотите, весьма

занимательный. Ну, тут, конечно, «звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются...». Труба архангела, разумеется, и, наконец, этот вожделенный Страшный суд. Не хочу! Не хочу!

Но вот чего Курденко не понимает: он не понимает, что за этим грандиозным мифом стоят целые пласты мировой жизни, что человечество вознесло этот миф из сокровеннейших глубин своей религиозной жизни до величайших культурных высот, что, не будь этого мифа, не было бы ни видений Патмоса²³, ни Данта²⁴, ни Кальдерона²⁵, ни Чимабуэ²⁶, ни Андрея Рублева²⁷, ни Достоевского... Или на все это надо плюнуть (что, может быть, не так плохо, если только сознавать по-настоящему, что делаешь и на что посягаешь) — или надо к этому мифу отнестись почтительно и снять перед ним «головной убор», как теперь выражаются.

Братья Трофимовы вызубрили наизусть, что Христа не было, что православие употребляет с ритуальными целями не то красное вино, не то человеческую кровь по своему невежеству, что религия вообще выдумана богатыми классами для усмирения трудящихся: если бы у этих Трофимовых не было написано на лице какого-то перманентного испуга, их можно было бы почестить за сверхчеловеков, достигших гармонии: для них все ясно и просто. Почему же у них такие испуганные физиономии? Впрочем, к этим Трофимовым приходят иногда другие Трофимовы (кажется, их дяди или двоюродные братья — у них вся деревня Трофимовы), — так вот эти другие Трофимовы даже испугом не отмечены. У этих двоюродных братьев не лица человеческие, а какие-то тарелки. Я их внимательно рассматривал и никаких следов лица человеческого в них не нашел. Эти разговаривают исключительно о «закрытом распределителе». По-моему, Курденко непременно должен их снабдить поскорее партбилетом: они, так сказать, прирожденные безбожники, ну, а все прочее приложится, ибо ведь в безбожии самая суть, если это безбожие трофимовское.

А вот из моего безбожия ничего нельзя выжать полезного для товарища Курденко. У меня бесполезное безбожие.

VI

Нет, я не летописец. Справедливости от меня не ждите. Какая там справедливость! Я — откровенно говоря — человек пристрастный... Кстати о справедливости. Есть у меня одна знакомая гражданка, — увы! — христианка и благоговейная подвижница. Ну, одним словом, голубиная кротость и само смирение. Однако при всем том умница. Ей лет тридцать — не больше. Однажды в ее присутствии кто-то взывал к справедливости. Моя смиренница заметила не без остроумия:

— А зачем справедливость? Не надо справедливости...

Я заинтересовался:

— Это что же?.. Отвращение к справедливости соответствует святоотеческому учению?²⁸

Смиренница ничуть не смутилась:

— Конечно, — говорит, — во имя человеческой справедливости пришлось бы уничтожить все многообразие бытия. Да, справедливость, — говорит, — широко понимаемая и последовательно проводимая в жизнь, должна неминуемо привести нас к ничтожеству, к небытию, к нулю...

Я восхитился, признаюсь:

— А ведь тут мысль: я, — говорю, — давно уже собираюсь перечитать великих Святых отцов. У них, наверное, немало найдется кое-чего остренького.

Смиренница не совсем была довольна моей интонацией, однако заметила, что достаточно познакомиться с святоотеческой апофатикой²⁹, чтобы вся внецерковная философия показалась чем-то пресным и даже наивным.

Все это было сказано с необычайной скромностью и тихоньким голосом, без малейшей торопливости, только на бледных щечках вспыхнул румянец.

Я любовался этой особой. Должен в этом покаяться.

Вот этого стиля Курденко, конечно, не оценит, да и вообще в стилях он плохо разбирается. Но ничего не поделаешь — он деятель. Аттила³⁰ едва ли разобрался в стилях, однако был «бичом Божьим», а не случайным разбойником. Таким образом, Курденко может не унывать, ежели даже ему вздумается взорвать Успенский собор³¹ или продать американским миллиардерам икону Владимирской Божьей Матери³², или «Троицу» Андрея Рублева. Разумеется, это не от него зависит, но я говорю иносказательно.

Польский декадент Ян Каспрович³³ в своей поэме пытался реабилитировать Иуду Предателя, но я отнюдь не в этом порядке оправдывал Аттилу. Я только хочу сказать, что появление Курденко вызвано внутренней нравственной необходимостью, ибо только он и может покарать мещанский мир, действительно достойный «бича Божьего».

Но — согласитесь — мое положение при данных обстоятельствах можно назвать трагикомическим. Разумеется, всякий марксист, какого угодно возраста, стажа и грамотности, без труда определит мое место в плане социальных противоречий, и я заранее соглашаюсь, что я «мелкий буржуа» или какая-нибудь другая категория — но не все ли это равно с точки зрения меня да и высших интересов? Психологическая тема несколько не меняется от того, как я буду называться на языке социологии. Вопросы остаются вопросами, а субъективно я ощущаю свою трагикомедию. Я называю свое положение трагикомическим, ибо, указывая на нравственную необходимость суда и возмездия для мировой буржуазии, сам отнюдь не могу похвастаться твердой уверенностью, что вообще существует какая-то нравственная необходимость. Я употребляю этот термин для того, чтобы выразить свой моральный вкус, но в качестве безбожника никак не могу обосновать своей оценки правления буржуазии, то есть солидно обосновать. Вот у верующих всегда найдется критерий добра и зла, а у нас, безбожников (коммунистов и некоммунистов), такого критерия, конечно, нет.

Поэтому я считаю свое положение несколько ридикульным³⁴. Не вижу причины считать положение товарища Курденко менее смешным, чем мое, — в этом вопросе, разумеется. Но он, впрочем, едва ли заинтересуется когда-нибудь этой проблемой.

Я все возвращаюсь к Курденко, потому что Курденко символ. Он в некотором смысле *momento*^{*}. Однако если вам угодно извлечь какой-нибудь сюжет из этого моего дневника, то Курденко в сюжете не играет большой роли. Главный персонаж этого повествования я сам. Я даже не извиняюсь за эту нескромность. К чему китайские церемонии, когда все равно все прекрасно знают, что человек прежде всего интересуется собою; да и зачем мне врать при подобных обстоятельствах. Итак, я, Яков Адамович Макковеев, младший бухгалтер Сопиковского треста, и являюсь самым главным лицом трагикомедии.

Хорошо этой моей христианской умнице утешаться тем, что она знает Истину, пришедшую во плоти, но ведь я безбожник и, значит, у меня этого утешения нет. Но, с другой стороны, я отнюдь не склонен упрощать мои взгляды до уровня понятия товарища Курденко. Вот в чем комедия. Я прекрасно понимаю, что не будь христианства, не будь вообще религии — не было бы никакой культуры. Единственный источник поэзии, например, как думал Пушкин, есть положительная религия³⁵. С этим ничего не поделаешь. Даже такие третьестепенные писатели, как Вольтер³⁶, верили в Бога, правда, Бога довольно художочного в полном соответствии со своим сомнительным стихотворством. Шелли³⁷ был, конечно, пантеист³⁸, а не безбожник, да и поэт был все-таки отнюдь не великий. Впрочем, это дело ясное. Все гиганты мировой поэзии, начиная с Гомера³⁹ и кончая Дантом, пламенно верили в богов. Я говорю, кончая Дантом, потому что так называемое Возрождение есть уже упадок культуры; на-

^{*} Помни (*лат.*). Возможно, обыгрывание слова «*momento*» по аналогии со словом «момент» (исторический момент).

чинается бесплодная критика и ее прелюбопытная связь с нигилизмом⁴⁰.

Все это я прекрасно понимаю. Но вот беда, у меня самого, бухгалтера Сопиковского треста, никакой веры нет. Я бы хотел верить, как Дант, что земля центр мира, что грешные и бесстыдные римские папы будут жестоко наказаны в подходящем для них адском помещении, что божественная Беатриче⁴¹ в самом деле существует, но веру в реторте приготовить нельзя, и лишенный благодатной помощи я оказываюсь — увы! — самым настоящим атеистом и попадаю в общество товарища Курденко. Разница в том, что товарищ Курденко даже понятия не имеет о том, что, собственно, он утратил благодаря своему безбожию, а я не только имею точные об этом сведения, но даже предвижу, что на безбожии никакой культуры построить нельзя⁴² и что даже торжествующая как будто бездумная машина в конечном счете обратится против человека и раздавит его безжалостно своей железной бездарностью. Даже хлеб, добытый машиной, будет горьким, если только человек не забудет основательно тот хлеб, который с любовью, перекрестясь, пекла его мать, и не будет жрать без толка и благоговения фабричную кухонную «обезличку». Возможно, что будущий человек так озверет, что согласится на это общее свиное корыто, и тогда все начнется сызнова, то есть тоска по богам, рождение их из бессмысленного хаоса жизни, мифотворчество, культы, а из культа уже, разумеется, и культуры. Без культа, то есть без песен, пляски, жертвы, любви и молитвы, человек превращается в нечто столь жалкое и ничтожное, что ему следует в таком положении стремиться к самоуничтожению и отнюдь не воображать, что выйдет толк из его цивилизации и прогресса. Прогресс в этом смысле является самой тупенькой фикцией, какую когда-либо выдумывал человек.

Мне кажется, что мои мысли неопровержимы, но мне от этого ни тепло ни холодно. Я-то ведь все-таки в богов не верю. И рассуждениями тут не поможешь.

VII

В сущности, мне нет никакого дела до этой Таточки из третьего номера. Я заходил к ней раза два как ответственный съемщик квартиры. Она сама заговорила со мною, напомнила, что была моей ученицей и меня «очень боялась». Довольно странное существо! Если она не в театре, значит, вы наверное найдете ее в постели, где она ест, пьет, принимает гостей и запоем читает книжки, которые у нее торчат из-под подушки. Я полюбопытствовал, что она читает. Книжки оказались неожиданными для актрисы «малых форм» — Достоевский, Гомер, Софокл⁴³...

— Кто вам дал эти книги? — спросил я, недоумевая. — Кудефудров?

— Нет, он мне принес свой сборник стихов. Вот он, — сказала она, указывая на ковер, где валялся томик рядом с ночными туфлями.

Я не удержался и сказал, что видел ее на сцене.

— Понравилась я вам?

— Да.

Но она вдруг нахмурилась.

— Эта «Карманьола» — ужасный вздор. Я хочу другого. Я хочу совсем другого.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу сыграть Саломею⁴⁴.

— Это не советский репертуар, — пробормотал я, удивляясь странному выражению ее глаз.

— Что вы так смотрите на меня?

— У вас тысячелетия в глазах⁴⁵.

— Что это вы так странно выражаетесь, господин учитель... Вы, может быть, тоже пишете стихи?

— Нет. Я не пишу стихов. Я даже теперь не учитель. Я бухгалтер в Сопиковском тресте.

— Это смешно.

— Что смешно?

— Быть бухгалтером и думать о тысячелетиях. Впрочем, у моего мужа есть знакомый философ (у него, кажет-

ся, несколько книг напечатано). Этот философ, знаете, женские чулки вяжет.

— Да, это теперь бывает.

Я поторопился уйти, потому что, в сущности, мне нет никакого дела до этой Таточки.

Позволю себе сделать одно примечание к моей записи. Казалось бы, что может быть невиннее моего разговора с этой танцовщицей. Однако я перечитал страницу и вижу, что она решительно нецензурна. Посудите сами: явное порицание советского репертуара. Ну как же тут обойтись без форточки? Я вчера забыл рукопись на столе. Ночью проснулся, вспомнил и, хотя было очень холодно, вылез из-под одеяла и запрятал рукопись под кирпич.

Одно наблюдение, достойное внимания. Кудефудров стучал в дверь к Таточке. Послышался голосок:

— Кто там?

— Кудефудров.

— Я занята. Не могу вас принять.

Кудефудров вообще в эти дни мрачнее тучи. Зачем ему Таточка? У футуристов, как известно, вся красота в темпах. Маринетти, по крайней мере, так и формулировал — *la beauté de la vitesse* *. В сущности, этот принцип тот же, что у Форда ⁴⁶. Ничего лучшего буржуазия и не могла придумать. Кудефудров как футурист должен, мне кажется, ограничить свои вожеления фордовской машиной.

Правда, он работает под коммуниста, но этот жанр нисколько не приблизит его ни к Софоклу, ни к Данту, коими увлечена Таточка, и у него нет никаких оснований претендовать на благосклонность этой плясуньи. А муж? Почему этот долговязый малый нисколько, по-видимому, не ревнует своей супруги?

Со мною Кудефудров не очень приветлив. Я по глупой своей деликатности первый ему кланялся при встре-

* Красота скорости (*фр.*).

чах, но он так небрежно кивает головой, что я решил вовсе не здороваться. У него какая-то странная дружба с Погостовым. Кажется, они запираются в комнате гробовщика и пьют горькую. Воображаю, как они объясняются. Диалог, должно быть, получается прелюбопытный.

Сегодня, когда я проходил мимо комнаты Курденко, дверь к нему была открыта настежь и там за бутылками пива сидело человек пять. Увидев меня, Курденко крикнул:

— Заходите к нам, товарищ. У нас, видите, пир. Редкий случай.

Я зашел.

— Вот вы удивляетесь, — похлопал меня по плечу Курденко, — что я все спешу и не даю себе отдыха никогда... А мы вот пируем... Это мы тут устроили угощение по поводу Трофимовых.

И он указал пальцем на двух парней.

За столом сидело четверо Трофимовых. Двое испуганных и двое двоюродных братьев (без лица).

— Они теперь кандидаты в партию, — продолжал весело Курденко, доверчиво мне улыбаясь. — Пора и вам, Яков Адамович, подумать о партбилете. За вами ничего порочного не числится. Я знаю. Быть нейтральным — ни то ни се; положение незавидное. Человек вы сознательный. Религиозных предрассудков у Вас нет.

— Это верно, — оказал я. — Но старость, знаете...

— Торопитесь, торопитесь, — засмеялся Курденко. — Скоро настанет время, когда надо будет решать точно, с кем вы... И какие могут быть сомнения? Подумайте, что делается на Западе. В Америке (давно ли Форд хвастался, что у них нет безработных!) голодные рабочие окрестили приюты для бездомных Гуверовскими гостиницами⁴⁷. Вот вам и пресловутое благополучие Соединенных Штатов. Да что там доказывать очевидность! И в Америке, и в Европе все проваливается в тартарары... Все чепуха... Келлоговский пакт?⁴⁸ Хо-

рошенький пакт, когда на глазах всего мира Япония распоряжается Маньчжурией как своей вотчиной, а Лига Наций⁴⁹ то сюсюкает лицемерно, то с совершенным бесстыдством поощряет грабительницу... За кулисами, конечно, готовятся кулаки против нас... Но это будни. Нашла коса на камень. А вот что сами они сядут в лужу, это ясно. Конференции по разоружению... Ах, сукины дети... Нет-с, какие бы проекты ни придумывали пацифисты (например, этот паяц Эррио⁵⁰), все равно все буржуазные государства будут грызть друг другу горло, пока не уступят нам свое место... Трофимовы! Верно я говорю, товарищи?

— Верно-с! — в один голос рявкнули два Трофимовых (те, что без лица).

Так и рявкнули с этим самым «эс...».

Испуганные Трофимовы тоже издали какой-то звук.

— Да, — продолжал Курденко, воодушевляясь, — как Макдональд⁵¹ ни старается прикрыть скандальное положение дел в Англии, шила в мешке не утаишь. Сам Болдуин⁵² недавно проговорился, что пока не предвидится конца кризису... Ну, товарищ Макковеев, что вы скажете по поводу всех этих обстоятельств?

— Вы правы, — сказал я серьезно. — Положение Европы безвыходное... Да и вообще... Вот кто не останется безработным, так это наш квартирант Погостов...

— А почему он? — не сообразил Курденко.

— Да ведь он гробовщик...

Курденко сначала засмеялся, а потом нахмурился:

— Вы что-то путаете, Макковеев; ведь Погостов не в Европе, а у нас...

— Скоро все границы будут стерты, — поспешил я разъяснить. — А мы ведь могильщики буржуазии...

— Да, да... Могильщики! — вдруг неожиданно угрюмо пробасил один из Трофимовых.

— Но мы не только могильщики, — стукнул кулаком по столу Курденко, — вон, глядите в газеты за вчерашний день: сталинградский завод дал сто двадцать

тракторов, красный путиловец — восемьдесят три, харьковский — сорок пять... Идет? Московский автозавод имени Сталина — двадцать шесть автомашин, два автобуса и двадцать восемь моторов. А посмотрите, сколько угля добыто в Донбассе, Уралугле, Кузбассе, Дальугле... А сколько по всему Союзу выплавлено чугуна и стали... Нет, мы не только могильщики старого мира: мы строители нового мира... Верно, товарищ Макковеев?

— Конечно, строители, — согласился я. — Только вот вредители мешают... А то бы мы давно за пояс заткнули Европу.

— Ну, вредителей теперь уж мало осталось, — добродушно засмеялся Курденко. — Мы их убрали...

— Убрали явных или тех, кого принимали за явных, а сколько осталось неуловимых, тайных! — заметил я, чувствуя, что «не могу молчать»⁵³.

— То есть каких вы имеете в виду?

— А вот, знаете, тех, которые безупречны... Они, может быть, самые опасные. Они ничего не делают противозаконного. Но внутри — яд.

— А шут с ними, ежели внутри. Нам-то какое дело.

— Конечно, пока внутри — ничего... А вдруг ужалят... В пяту... Ведь мы все Ахиллесы⁵⁴... И у советского правительства есть пята...

— Плюньте. Это все догадки. Нам этой психологией заниматься некогда. Работать надо, Макковеев...

Он был воодушевлен, и мне нравился все больше и больше. Я вспомнил, как Белинский⁵⁵ ходил смотреть на строящуюся тогда Николаевскую железную дорогу и плакал от умиления, веруя в прогресс. От этих восторгов Белинского и пошел весь наш индустриальный романтизм. Что и говорить — ездить по железной дороге куда удобнее, чем тянуться в тарантасе*, но все-таки едва ли весь этот железнодорожный пафос стоит хотя бы одной

* Слово в рукописи неразборчиво; дается предположительно.

слезы умиления. Я даже полагаю, что как-то неловко сентиментальничать по поводу паровозов, когда мы, несмотря на весь этот паровозный прогресс, не подвинулись со времен инквизиции ни на шаг. В отношении морали, конечно. Ну, хотя бы, например, пытки. Ведь пытаем же мы друг друга. Разве газовая война не прямое применение пытки, правда, к иноплеменнику, но ведь это все равно? Да и как способ вести судебное дознание разве теперь пытка не применяется? Применяется, да еще как! Вот тебе и прогресс!

— Плюньте! Работать надо, Макковеев.

— Плюю, товарищ Курденко... Да и работаю тоже по мере сил.

— Да, я знаю, знаю... А насчет вредителей не беспокойтесь: ни одного не останется. Мы и партийных почи- стим. У нас тоже есть задумчивые. Есть, знаете, такие физиономии. Сразу видно, что человек размышляет. Конечно, это не запрещается. Но как размышляет — вот в чем вопрос. Тут я с вами согласен, Яков Адамович, бывает вредительство даже просто в одних глазах. Ничего человек контрреволюционного не делает, даже не говорит. А в глазах! В глазах!

— То есть что в глазах?

— Да вот это самое вредительство. Говорит с тобою любезно и предупредительно, а в глазах ненависть, а у иных мерзавцев даже презрение. И придраться нельзя. Это вы, пожалуй, правы, Макковеев. Знаете, мне почему-то кажется, что все эти негодяи мемуары пишут. Небось, по ночам, тайно. К каждому шороху прислушиваются, а потом — чуть по коридору шаги — сразу куда-нибудь под кирпич рукопись — и сидят, читают, будто бы какой-нибудь том Ленина. Они первые подписались на полное собрание сочинений Ильича.

— Да, да, — подтвердил я. — Это вы, Курденко, очень проникательно изобразили. Я тоже уверен, что эти все господа непременно мемуары пишут. И сколько там, в этих мемуарах, желчи и злобы, воображаю...

— Да уж, наверное, душу отводят...

Один из Трофимовых сказал боязливо и угрюмо:

— Вот и дай таким свободу печати! Ведь они что напишут! Даже подумать страшно...

Курденко оскалил зубы:

— Бодливой корове бог рог не дает...

VIII

Прошло три дня, а я все еще не могу забыть этого страшного совпадения. Почему Курденко вздумал заговорить об этих «негодях», которые пишут мемуары и прячут их под кирпич? Я, конечно, очень охотно согласился (и это находчиво с моей стороны), что вредители действительно «мемуары пишут», но у меня все-таки на сердце скребут кошки. Разумеется, моих записок никто не читал, но, может быть, кто-нибудь подсмотрел, что я по ночам пишу. Но как? Дверь у меня всегда заперта; под дверью в щель разве край сапога увидишь; на окнах шторы, да и квартира наша в третьем этаже; кроме того, наш дом стоит в проезде бульвара, и никак уж нельзя ни из каких окон заглянуть в мое окно, да и шторы, шторы... Я нарочно добыл очень плотные... Однако, говорят, у ГПУ замечательные есть методы. Эти необыкновенные люди все знают. От них ничто не может скрыться. В этом отношении наши достижения удивительны. И все-таки решительно невозможно уличить меня в том, что я пишу мемуары.

И вдруг меня ужалила дикая мысль: «Да ведь когда ты просовываешь руку в форточку и вынимаешь кирпич, может ведь кто-нибудь заметить эти твои фокусы!» Я стал утешать себя: «Во-первых, я всегда предварительно осматриваю улицу и только тогда рискую просунуть руку, когда убежден, что на тротуаре никого нет. По ночам по проезду нашего бульвара почти никто не ходит. Во-вторых, если бы кто-нибудь и увидел просунутую в форточку руку, едва ли мог бы сообразить, зачем человек тянется к кирпичу; вероятнее всего, такой прохожий, даже самый про-

нищательный, объяснил бы эту руку тем, что жилец прячет баранью колбасу (дневник всегда у меня завернут в газетную бумагу, и никак нельзя догадаться, что это рукопись — на колбасу очень похоже)».

И тем не менее мысль о том, что моя тайна открыта, засела у меня в голове. Я чувствую, что мне надо немедленно сжечь мою рукопись, и, однако, продолжаю писать, как за гипнотизированный. Мало того, я уверен, что вот, написав две-три страницы, я опять полезу на табурет и спрячу под предательский кирпич эти мои страшные записки, разоблачающие мой секрет. Мне доставляло до сих пор наслаждение это мое сознание, что никто, решительно никто не знает моей тайны, что все воображают, будто Яков Адамович Макковеев действительно верноподданный советского правительства, добросовестнейший бухгалтер и больше ничего, и никому в голову не приходит, что этот самый Яков Адамович — ужаснейший вредитель и непримиримый враг советского порядка. Правда, во внешнем мире от моего вредительства ничего не меняется; все на своем месте: враг я или друг большевиков, колесо истории вертится неизменно, и я не могу его остановить или повернуть назад... Казалось бы, зрелище довольно плачевное: в квартире номер тринадцать живет некий бухгалтер и где-то в самой глубине своей трусливой душонки лелеет контрреволюционные мысли, которые никому не нужны и не страшны. Это с одной стороны, но ведь с другой стороны, этот самый факт можно разъяснить иначе.

А что, если эти мои мысли, не имеющие как будто ни малейшего практического значения, заключают в себе, однако, неотразимую внутреннюю логику, а, значит, убедительность? Ведь, пожалуй, в таком случае эти мысли не менее реальны, чем самый настоящий заговор, за который расстреливают беспощадно сумасбродов. Как бы я ни скрывал своих взглядов, но взрывчатая сила моей энергии, под прессом цензурного давления только увеличивается. Малейшего моего намека, малейшей догадки со стороны

или моей чуть-чуть проскользнувшей иронии уже достаточно, чтобы произвести пожар. А тут еще рукопись — это уж настоящий провод, ведущий к адской машине. Но рукопись — под кирпичом. Рукописи нет. А вдруг Курденко догадался? Правда, он не следователь ГПУ, но он честнейший коммунист и уж, конечно, узнай он в самом деле о существовании такой рукописи, немедленно сообщит куда следует. А что тогда? А тогда даже не смерть, а хуже смерти — отсутствие комфорта: в тюрьме нет комфорта и в Нарыме тоже нет комфорта. Я не шучу. Больше всего на свете я люблю комфорт. Разумеется, не надо его понимать узко. Я, конечно, люблю основательно мыться, ежедневно принимать душ, разумно питаться, спать в хорошей постели, пользоваться библиотекой, но комфорт не только в этом. В тюрьме, конечно, ничего этого нет, но там нет и кое-чего поважнее — нет уединения. Там торжествуют по-настоящему коммунисты. Это самое страшное. Это самая унижительная пытка. Правда, для важных злодеев существуют одиночки, но такая механическая изоляция вовсе не то желанное уединение, которого ищет человек. Одиночка так же унижительна. Но одиночка все-таки лучше. В понятие комфорта входит, между прочим, непременно условием *свобода*. Вот в ней-то, свободе, и вся суть.

Я нарочно стараюсь не возносить свободы до какой-то абсолютной идеи. Для меня, безбожника, ничего абсолютного нет. Но относительную-то свободу неужели нельзя ценить? Вот почему я и настаиваю на этой скромнейшей идее — свободы как необходимого комфорта.

В советском строе этого насущного блага нет и быть не может. Советская тюрьма — это предел. Я не хочу тюрьмы. Я не хочу этого предела. Мы сейчас живем и дышим только потому, что еще есть какая-то контрабанда, какое-то нарушение принципа. Не будь этого — мы давно уже были бы все мертвецами. Представьте себе, например, годы так называемого военно-

го коммунизма. Что было бы с населением городов, если бы не было мешочников — смерть! Самая настоящая неизбежная голодная смерть! Это дважды два четыре. С этим даже Курденко согласится, если с ним разговаривать с глазу на глаз. Эта мысль, кажется, усвояна теперь всеми беспартийными и партийными. И очень странно, что, несмотря на этот убедительный опыт, никто не делает из него надлежащего вывода. Опыт остался опытом, а наша канитель продолжается на тех же основаниях.

Вчера в полночь я спрятал рукопись и ушел из опостылевшей мне моей комнаты, куда глаза глядят. Плохо освещается Москва. Улицы тонут в каком-то сизом сумраке. Эта угрюмость города мне даже нравится. Веселые улицы при наших обстоятельствах были бы, пожалуй, еще противнее. Очень хорошо, что разрушили Храм Спасителя⁵⁶. Было бы нелепым нарушением стиля, если бы сохранился этот характернейший памятник нашей официальной государственной церковности, столь охлажденной и одеревеневшей в течение двух последних столетий. Московские патриоты плачут, что не будет этого золотого купола, который возвышался над городом и сверкал на солнце столь победно. И пусть не будет. Это я говорю так не потому, что безбожник, а по соображениям, так сказать, объективным. Я бы на месте православных христиан радовался, что изничтожен наконец этот казенный и бездушный храм, столь пышный и столь чуждый «благодатной тайне», какую дышит, например, Успенский Собор да и вообще всякий храм, созидавшийся органически, с верою и любовью, а не по заданиям правящей бюрократии. Я, безбожник, отлично это понимаю. Храм Спасителя компрометировал православие. Радуйтесь и веселитесь, христиане, что безбожники взорвали это каменное лицемерие. Однако мне рассказывали, что, когда снимали крест с купола и, закинув петлю, тащили его канатом, стояла толпа и глядела в мрачном безмолвии. А когда крест рух-

нул, один мужчина снял шапку, истово перекрестился и сказал внятно:

— Прости им, Господи! Не ведают, что творят...

Мужчина, кажется, прав. Разрушители воистину «не ведают». Но значительность события тем не менее нисколько не умаляется этим наивным неведением.

Когда я в эту ночь проходил мимо храма, он еще не весь был уничтожен. Огромные развалины, как на фантастических гравюрах Пиранезе⁵⁷, пугали прохожих своей зловещей мрачностью...

Это впечатление как нельзя лучше согласовывалось с моим душевным состоянием. У меня в душе были тоже какие-то развалины. Мною овладел тогда какой-то непонятный ужас. В сущности, чего мне бояться? Я одинок, совершенно одинок... У меня нет никого. Тому, у кого есть близкие, которыми он дорожит и о которых он заботится, естественно страшиться за их судьбу, если они останутся беспомощными. Такому страшно сесть в тюрьму или ждать расстрела, но мне-то чего бояться? Обо мне никто не будет плакать, и у меня нет ни возлюбленной, ни детей... Но я боялся. Я трепетал. Я чувствовал страх, как невыносимую боль. Нет, решительно мой страх был какой-то особенный, необъяснимый и загадочный! Я вовсе не трус. На пароходе, когда он однажды тонул в Отрантском проливе⁵⁸, я сохранил полное хладнокровие. В 1905 году девятого января я попал случайно в толпу рабочих, которые стояли около Адмиралтейства⁵⁹: тогда над моей головой свистели пули, но я нисколько не боялся. А сейчас я трепещу. Почему так? Может быть, потому, что в Отрантском проливе и у Адмиралтейства мне угрожала только смерть, так сказать *простая* смерть, а теперь мне угрожает нечто иное. Сейчас мне угрожает неслыханное поругание моей личности. И, пожалуй, здесь дело не во мне одном. Мне страшно, потому что какой-то огромный камень, целая гора, навис надо мною и не только надо мною, бухгалтером Макковеевым, но и над человеческой личностью вообще. Под угрозой личность. Кам-

ни вопиют, но совсем не то и не так, как надеялся пророк⁶⁰. Они теперь вопиют не человеческими голосами, а своими каменными, бездушными и бессмысленными. Торжествует косность. И с нею бороться невозможно. Это хуже, чем стихия. Стихия все-таки нечто живое. Море, например, не просто море, а живой бог Посейдон⁶¹. А здесь даже не стихия, а тупая фикция, которую сделали идолом, и этот мертвый, но безмерно огромный идол требует себе все новых и новых жертв. Нет, это решительно страшно, и я не стыжусь своего страха. Ведь я все-таки человек. Ну, вот у меня и начался тогда этот проклятый бред. Мне показалось, что за мной кто-то следит. Я вдруг сообразил, что еще на Зубовской площади, когда я повернул на улицу Кропоткина, у меня вдруг мелькнуло какое-то странное ощущение (не мысль, а чисто животное ощущение), что за мной следят. Я, помнится, обернулся, но позади никого не было. Я пошел, притворяясь, что никого не боюсь. На самом деле мне ужасно хотелось проверить свое ощущение, идет за мной кто-нибудь или не идет. И вдруг я услышал отчетливые шаги. У меня сердце упало. Конечно, это глупо. На улице Кропоткина ночью все-таки прохожие попадают, хотя и редко, но попадают. Почему же непременно этот прохожий шпион? Да и какие у нас шпионы? Это в царской России за нами гонялись остолопы в черных очках, а у нас теперь этот аппарат поставлен не так глупо и кустарно. Такие уличные сыщики нам вовсе не нужны. Это устарело. Однако я боялся шпиона, вероятно, шпиона в высшем смысле, так сказать... Я трепетал. Прохожий, который шел за мною, оказался, однако, невинным человеком и с самым беззаботным видом, опередив меня, вошел в подъезд какого-то дома недалеко от Лопухинского переулка. Но пройдя несколько шагов, я опять ощутил за спиною незнакомца. На этот раз мой ужас достиг какого-то предела. Мне мучительно захотелось закричать, завизжать, броситься на того, кто шел позади меня, вцепиться ему в галстук, плюнуть ему в физиономию.

Я обернулся. Представьте мое изумление... За мною шел Курденко. Тут произошло нечто необъяснимое. Я ему обрадовался, как брату. Я боялся, что увижу какое-то совершенно незнакомое злое лицо с кошачьими глазами — и вдруг передо мною симпатичнейший товарищ Курденко.

— Ах, это вы, — сказал я, протягивая ему руку. — А я думал...

По счастью Курденко не стал спрашивать меня, что я думал.

— Да, — улыбался он приветливо (в темноте я не видел его улыбки, но чувствовал ее), — да, товарищ, это я самый, Курденко, и притом в превосходном настроении.

— А что? — спросил я, заражаясь его бодростью.

— Да как же! Вы разве не следите за телеграммами? В Европе все летит к чертовой матери...

— Да, да... Как же! Я слежу... Чем хуже, тем лучше, — бормотал я.

— Нет, вы подумайте! — восклицал Курденко, уверенный, по-видимому, в том, что я непременно должен разделять его восторг. — Кто мог бы поверить еще год назад, что единственная страна, свободная от кризиса, будет наш Союз. Единственная! Империалисты пожирают друг друга, как пауки в банке...

— Как пауки! — согласился я, чувствуя с каждым словом Курденко, что он далек от того, чтобы заподозрить меня во вредительстве.

— Вы знаете, что наши финансы блестящи? Наш бюджет растет...

Я готов был согласиться и с этими оптимистическими взглядами на наши финансы, хотя у меня, как у бухгалтера Соликовского треста, на этот счет могло быть особое мнение, но я вдруг неожиданно для самого себя брякнул нелепейшую фразу:

— А они все еще пишут!

— Что?

— Я говорю: пишут они все свои мемуары.

— Какие мемуары?

Я ужасно обрадовался, когда заметил, что Курденко забыл про наш тогдашний разговор и совсем уже развязно продолжал:

— Мы вот с вами радуемся, что у нас нет финансового кризиса и что вообще у нас всякие достижения, а они там пишут...

— Да кто они? — недоумевал Курденко.

— Ах ты, господи! Да вредители, вредители, товарищ Курденко. Ведь им другого ничего не остается, как мемуары писать.

— Плюньте вы на этих гадов, — засмеялся Курденко. — Пусть шипят в подполье. Ну, разумеется, если попадутся, тогда тюк.

— Как вы сказали? Тюк?..

Не дождавшись ответа, я спросил Курденко:

— А вы почему не дома? Сейчас ведь ночь...

— Да вот, знаете, как подумую о наших достижениях, как будто хмель ударит в голову... Вышел, чтобы освежиться...

— А у меня тоже как будто голова... Старость, должно быть...

И я почувствовал вдруг, что у меня все-таки на сердце скребут кошки.

Курденко сказал, зевая:

— Однако пора спать. Прощайте.

Я устремился к развалинам Храма Христа Спасителя.

«А ведь уж если быть безбожником, — подумал я, — то надо быть как Курденко, а я с моим безбожием и с этими секретными мемуарами, в самом деле, пожалуй, настоящий гад». И почему на сердце у меня кошки? А вдруг Курденко все-таки знает про этот кирпич? А вдруг он хитрит? Что-то он чересчур откровенен... Не ловит ли меня Курденко?

IX

В сущности, все было очень просто — пойти домой, сжечь мою тетрадку, и ни единая живая душа не узнала бы, что скромнейший бухгалтер, Яков Адамович — злей-

ший вредитель и упрямый контрреволюционер. Казалось бы, чего лучше. Но какая-то сверхъестественная сила удерживала меня, и я твердо знал, что единственно компрометирующий меня документ будет цел и рано или поздно кто-то его прочтет.

«Вероятнее всего, что в конце концов эти записки прочтет следователь ГПУ, — думал я. — Конечно, мало шансов найти их в стене под кирпичом. Но жизнь, как я убеждался не раз, так фантастична, что случается почти всегда самое неожиданное и неправдоподобное. И следователь найдет мои записки».

Тогда я решил их уничтожить немедленно. Я так спешил домой, что посреди улицы Кропоткина остановился, задыхаясь. У меня эмфизема легких, и ходить быстро я не могу. Наконец я вошел к себе в комнату очень довольный, что все решено, что гордые узел я могу, наконец, разрубить и буду по-прежнему благонамеренно есть советские консервы, читать в «Известиях» приятнейшие сообщения об успехах нашей крупной индустрии, носить в соответствующие дни на длинных палках плакаты с изображениями Пуанкаре⁶² и митрополита Сергия⁶³... Записки будут уничтожены. Тайного Макковеева не будет. Будет явный Макковеев, Яков Адамович, бухгалтер Сопиковского треста. Я взял табурет и полез к форточке, чтобы достать рукопись. Я уже просунул руку, как вдруг в двери раздался стук и, не успев я крикнуть, как уже на пороге стоял Кудефудров. Очевидно, я забыл запереть дверь.

Не обращая внимания на мою странную позу на табурете (я так и замер с простертой рукой), Кудефудров сказал своим бархатным баритоном:

— Я слышал, что вы только что вернулись, значит, еще не спите, — и вот зашел к вам на десять минут. Придется вам терпеть незваного гостя.

— Пожалуйста, — пробормотал я, удивляясь этому действительно неожиданному визиту; мы даже не кланялись друг другу месяца полтора.

Кудефудров прошелся по комнате в странной растерянности: у меня было такое впечатление, что он за три минуты до визита сам не поверил бы, если бы кто-нибудь ему сказал, что он «возобновит знакомство» с бухгалтером Макковеевым.

Я слез с табуретки, негодуя на себя за то, что не запер двери. Какая непростительная небрежность! Вот из-за каких мелочей погибают люди!

— Вы мне, конечно, не товарищ, — сказал Кудефудров глухо и тоскливо (баритон как будто потускнел). — Да, да... Не товарищ... Я знаю, что я говорю. Но именно поэтому я к вам пришел. Надоело молчать. Больше не могу. С женщинами — что за разговоры! С товарищами приходится жевать мочалу — все одно и то же, все одно и то же... Больше не могу. Вы, гражданин Макковеев, человек неглупый. Кроме того, вы знаете эту маленькую фокусницу из третьего номера. А мне хочется поговорить о ней. Зачем она читает Софокла? Ну, зачем? Вы ей преподавали когда-то математику... Ну, а Софокла-то кто ее научил читать? Она не говорит. Будто бы сама. Она меня этим Софоклом уничтожит. Ей, оказывается, не нравится мой оптимизм. Софокл, оказывается, умнее, чем я. Поэтому она мне дала пощечину, когда я хотел ее... приласкать. Как по-вашему? Есть тут строгая логика или нет?

— Послушайте, Кудефудров, вы, кажется, пьяны. И завтра вы, наверное, пожалеете о том, что были со мною откровенны. Ступайте к себе в комнату и ложитесь спать.

— Я пьян, но не очень. Спать не могу. Дайте мне сказать, как теперь выражаются, пару слов... (Сукины дети! Испакостили язык! Я сам стал писать на каком-то поганом аргю.) Ну, ладно... Главное — эта ваша Таточка не любит меня... Поняли? Это, конечно, нелепость. Любит — не любит. Что такое любовь — никто не знает. Ну, не хочет меня, одним словом. Я — не Софокл. Все это можно назвать сущим вздором... В эпоху сплошной коллективиза-

ции заниматься любовью довольно смешно, но что поделаешь, когда это входит каким-то углом в диалектику бытия... Надстройка или не надстройка — не все ли равно, когда у меня болит вот здесь... Пониже сердца... Софокл думал, что душа помещается в грудобрюшной преграде. Так вот, значит, у меня болит душа.

— Это очень хорошо, что Таточка вас не любит. Я очень рад.

— Почему рады? Вы что — влюблены в нее, что ли?

— Нет, я не влюблен. У меня эмфизема. Задыхаясь, трудно любить женщину — так же, как молиться (аскеты, когда молятся, дышат на особый лад, ритмически).

— Это я слышал. Йоги тоже дышат с фокусами. Но вы не хитрите. Именно задыхаясь-то, и можно любить женщину. Так и умереть у ее ног, в судорогах, как рыба на берегу. То есть любви, конечно, нет. Ну, все равно что-то биологическое. Однако от этого биологического дураки пускают себе пулю в лоб.

— Дураки?

— Ну, конечно, не умные... Но, послушайте, гражданин Макковеев, видали вы когда-нибудь такую причудницу, как эта крошечная Таточка? Что же мне делать, гражданин, если я без нее не могу... что за идея — Софокл! Или еще нелепее — Сервантес! Она, оказывается, влюблена в Дон Кихота... Нет, вы мне скажите, гражданин, что за идея!

— Это еще что! — не утерпел я, чувствуя, что сам заражаюсь волнением Кудефудрова. — У нее есть идея посмешнее..

— Какая идея?

— Идея, будто бы мы непременно очень скоро потерпим космическую аварию...

— Как?

— Ну Земля наша, ничтожная пылинка вселенной, будто бы очень скоро волею Провидения попадет в четвертое или какое-нибудь иное измерение... Как вам это нравится?

— Ну, а вы ей что сказали как математик?

— Да я астрономией мало занимался...

— Однако что вы ей сказали?

— Сказал, что шансы есть.

— А это нельзя было говорить.

— Почему?

— Нецензурно. Такие секреты открывать нельзя. Это вредно для классового сознания. Об этом можно только в мемуарах писать...

У меня дыхание перехватило. Я чувствовал, что бледнею и руки у меня стали, как лед.

— В каких мемуарах?

— Вообще в мемуарах... Да на это наплевать... Дело не в астрономии... Я только хочу, чтобы вы сознали, что Таточка очаровательна...

— Да... Когда пляшет...

— Ага! И признайтесь, что вы в нее влюблены...

— Я вам сказал, что у меня эмфизема. Я задыхаюсь. Поняли? Ступайте спать.

— Прощайте. Мы еще с вами поговорим, гражданин Макковеев.

И он вышел — какой-то жалкий, несмотря на свой огромный рост.

Я выплянул в окно. Светало. Появились прохожие. Я не решился тогда вынуть рукопись и уничтожить, как хотел.

Х

Кухня — это клуб квартиры номер тринадцать. Вчера, возвращаясь из треста, я остановился на пороге с портфелем и медлил спрятаться у себя в комнате, весьма заинтересованный любопытнейшим разговором. Почти вся квартира была в сборе. Не было только Курденко и Трофимовых. Когда я вошел, витийствовал Михаил Васильевич Пантелеймонов, тот самый, который узрел доказательство бытия Божия в цветке магнолии.

Увидев меня, Михаил Васильевич сказал, указывая на Погостова:

— Вот, рассудите вы нас, Яков Адамович. Товарищ Погостов не верит в истину... Вы послушайте, что он говорит! Нет, вы послушайте, какую он тут мрачность развел... Ну можно ли, Яков Адамович, так людей пугать!..

— Что есть истина? — сказал Погостов угрюмо. — Пилат⁶⁴ был образованный человек и так же, как я, не верил в истину... Ну, а ваш Христос? Почему он молчал⁶⁵, когда его спросил Пилат, что есть истина? Нет, вы мне скажите, товарищ Пантелеймонов, почему он молчал?

— Да потому, слепой вы человек, что Он Сам был Истина! Об этом было сказано — и хорошо, да и не раз. Если Пилат не видел ее, не видел воплощенной Истины, которая была перед ним, какие же могли тут быть пояснительные слова? В молчании Христа и был ответ... Но в том-то и дело, что Пилат, кажется, догадывался, что перед ним стоит существо необыкновенное, но умыл руки, потому что как избалованный, ленивый и развращенный человек не захотел взять на себя ответственность... А тут еще националисты кричали лицемерно: «Не убьешь этого человека, будешь врагом кесаря!» Видите, товарищ Погостов, какая тут была провокация! А ведь стоило Христу сказать: «Я буду вашим царем и устрою вам владычество ваше на земле» — и все бы эти националисты пошли за ним и растерзали бы прежде всего этого самого Пилата как представителя кесаря... Верно я говорю, Яков Адамович?

— А я что за судья? — пришлось мне отозваться на вызов, хотя мне очень не хотелось говорить на эту тему. — Я не знаю, верно или нет... Ежели в мире есть какой-нибудь смысл, то вы правы, Михаил Васильевич, а ежели в мире никакого смысла нет, то прав Погостов.

— Ну, а вы сами как думаете?

— А вы спросите у товарища Курденко. Он знает, что я свободен от религиозных предрассудков... Ну, вот... Я очень дорожу мнением обо мне товарища Курденко. Я, граждане, люблю комфорт... Комфортом можно пользоваться, ежели даже в мире нет никакого смысла.

— Комфорт — буржуазнейшая чепуха, — пробормотал Кудефудров, который сидел на столе рядом с Таточкой.

— Может быть, — сказал я. — Но ведь это идеал всякой социальной утопии... Ничего другого социалисты придумать не могли. Я вполне сочувствую этому идеалу. Впрочем, простите... Я не точно выразился: я не идеалу такому сочувствую, а просто и откровенно я люблю комфорт, ежели он мне достался, как синица в руки, а не как журавль — в небе...

— Зачем вы о комфорте заговорили? — с тоскою и упреком воскликнул Михаил Васильевич. — Не о нем речь сейчас! Не о нем! Вы хитрите, Яков Адамович. Речь идет совсем о другом... Есть истина или нет? Есть в мире смысл или нет?

— Напрасно стараетесь, Михаил Васильевич, — сказал Погостов иронически. — Гражданин Макковеев ничего вам не скажет все равно, ежели он и догадывается о чем-нибудь. Я к нему однажды пришел, правда, ночью, правда, в нетрезвом виде, и тоже спрашивал кое о чем как ученого человека. Он от меня политическими остротами отделался.

— А вы о чем спрашивали гражданина Макковеева? — уронил небрежно Кудефудров.

— О Страшном суде. Как он думает — будет Страшный суд или не будет?

— Я вам не ответил на ваш вопрос, потому что наперед знал, что это с вашей стороны подвох, — сказал я в некотором раздражении, чувствуя, что эта кухонная компания желает меня вызвать на откровенность.

— Какой там подвох, — окрысился Погостов. — Я в ту ночь убоился тьмы. От страха зуб на зуб не попадал.

— Это я верю, — заметил Михаил Васильевич очень серьезно. — Это с ним бывает. Он не просто истину отрицает. Он сам в ужасе от того, что истины нет. Сам боится и других пугает. Он говорит, что в бытии никакого смысла нет...

— Погостов! Ты очень умен. Я тебя одобряю, — брякнул Кудефудров. — Только не понимаю, чего ты от страху дрожишь. Нет истины, ну и наплевать.

— Чудак! — сказал с невыразимым презрением гробовщик. — Неужто не понимаешь, что если истины нет, значит, миром кто управляет? Догадался? Отец лжи... Понял? Дьявол управляет миром...

Кудефудров громко засмеялся и продекламировал:

Поймаем дьявола за хвост,
Фокстрот пропляшем с ним на диво!
Нет, дьявол не мудрен, а прост.
И даже пляшет некрасиво...

— Это к чему же? — ядовито спросила Таточка, сверкнув цыганскими глазами. — Кажется, Кудефудров, вы что-то выскочили некстати...

— Одним словом, я не Софокл, — пробормотал поэт обидчиво и сердито. — А почему все надо делать кстати? А может быть, я и хотел как раз, чтобы вышло не кстати, а совсем напротив?

— Можно и так, конечно, — засмеялась Таточка.

— Гражданин Макковеев! — обратился Кудефудров ко мне, указывая пальцем на Пантелеймонова. — Видите вы у этого товарища в руках книжицу? Полубобпытствуйте... дайте ему высказаться... Он уже целую неделю с нею не расстается.

— Неправда, — отозвался Пантелеймонов. — Отнюдь не целую неделю, а вот уже лет восемь...

— Ну, виноват... я хотел сказать, что вы с нами поделились вашими мнениями об этой книжке дней семь назад и все продолжаете разьяснять это сочинение...

— Какая книжка? — спросил я.

— Да Апокалипсис, конечно, — как будто обрадовался Пантелеймонов и тотчас же, раскрыв книгу, стал тыкать в нее пальцем. — Вот слушайте... Восемнадцатая глава⁶⁶... Дело идет о кризисе капиталистического общества как европейского, так и американского, хотя — заметьте себе — в те времена, то есть почти две тысячи лет назад, об Америке никто не знал (в географическом смысле), но автор книжки дух американский уже чуял... Одним словом, там, на острове Патмосе, прозрел этот необыкновен-

ный человек весь позор, грех, ужас, мерзость и падение всемирной буржуазии... Дело идет как раз о нашей эпохе... Посмотрите, здесь черным по белому все сказано. Извольте посмотреть. «Вавилонская блудница...» Кто же эта блудница? Ну, конечно, буржуазия. Вот посмотрите третий стих восемнадцатой главы: «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Ну, разве не буржуазия? Разве цари, короли, императоры не соединились с нею прелюбодейно? Но за всю эту мерзость погибнет блудница... И вот читайте: «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее...» А дальше еще лучше — одиннадцатый стих: «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товары их никто уже не покупает...» Ну, разве это не наше время, товарищи?.. Ведь эти купцы ревут белугою во всем мире... В этой восемнадцатой главе все изложено точка в точку.

— Это он правду говорит, — вдруг раздался голос Таточки. — В этой главе и про нас есть, то есть про артистов, поэтов, художников...

— А что там? — уронил как будто небрежно Кудефудров.

— А вот, — пояснила Таточка, — когда там описывается гибель всего этого грешного порядка и наступают всякие ужасы, когда хлеба не будет хватать, когда везде будет хаос и беспорядок, тогда — там сказано — «не будет уже никакого художника, никакого искусства...».

— Верно! — восхитился Пантелеймонов. — Умница вы, Татьяна Михайловна. Это действительно так и сказано в двадцать третьем стихе. Там же и о том сказано, что не будет больше ни женихов, ни невест, а будет один только блуд...

В это время в кухню вошла та самая Марфа Петровна, которая сказала как-то товарищу Курденко, что она будто бы равнодушна к советской власти. «По мне хоть пес, лишь бы яйца нес...»

Пантелеймонов тотчас же к ней пристал:

— Марфа Петровна! Позвольте обратить ваше внимание на один факт... Вот вы благочестивая особа и признаете православную церковь. Объясните мне в таком случае, почему это наша восточная церковь, признавая Апокалипсис канонической книгой, никогда сию книгу не предложит верующим для чтения. За службою, в храме, все новозаветные книги читаются, а вот Апокалипсис — никогда. Почему?

— Нашел кого спрашивать, миленький?! Спроси епископов. Я высоко не заношусь, где уж мне об Откровении толковать... Я вот гласы и то путаю — когда шестой, когда пятый...

— Вон она какая благочестивая! И критерии такие же. От тропаря⁶⁷ к кондаку⁶⁸. От кондака к тропарю... А то, что весь мир рушится, это их не касается... ведь это, бабушка, на храмовом благолепии можно было при царях сидеть, а теперь цари тю-тю! Мы теперь, милая, как в те времена, когда Павел⁶⁹ обходил весь мир со своей проповедью, на покровительство властей рассчитывать никак не можем... Вот Апокалипсис о наших временах и пророчествует, а вы его читать не хотите.

— Да что ты, родненький, ко мне пристал? Да и в каких это храмах будешь ты Апокалипсис читать? Храмов-то ведь уж нету...

— Потому и нету, что не звучал там голос громовый, а все больше налегали на акафисты⁷⁰... А в наше время, бабушка, такая буря свистит, что только грома и молнии с этого самого острова Патмоса и могут кого-нибудь подвинуть... Ну, да что там!

И Пантелеймонов махнул рукою. Все вдруг сразу заговорили, перебивая друг друга, а я шмыгнул в свою комнату с намерением окончательно спрятаться и уже никак никому не показывать своего лица. Я был собою недоволен. Не так-то легко, господа читатели, стать бессловесною тварью, имея все-таки на плечах голову человеческую.

XI

После кухонного митинга прошло, кажется, не более недели. Я в эти ночи не брал пера в руки. Настроение было у меня довольно мрачное. Я буквально места себе не находил. Дело в том, что я нечто заметил. Определеннее мне трудно выразиться — именно нечто, ибо никаких прямых фактов нет, однако я чувствую, что эта зловещая неопределенность должна в конце концов разъясниться и тогда мне будет «тюк», как выразился товарищ Курденко. Впрочем, почему нет фактов? И факты имеются. Разве Курденко не говорил про негодяев, которые злорадно пишут мемуары. Почему он заговорил о мемуарах?

Кудефудров тоже помянул о каких-то мемуарах. Он, кроме того, застал меня на стуле, когда я просунул руку в форточку, чтобы взять кирпич. Кудефудров, правда, сделал вид, что он будто бы не заметил даже моей странной позы. Едва ли не заметил! Наконец третий факт. О нем я сейчас скажу.

Однажды вечером, когда, по-видимому, у Таточки не было спектакля, она, встретив меня в коридоре, сказала, смеясь:

— Дорогой учитель! Почему вы никогда ко мне не зайдете? Знаете, вы мне один раз единицу поставили? И знаете за что?

— Не помню.

— Я должна была доказать на доске, что сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым. Я доказала, как было в учебнике, а потом прибавила от себя: «А я все-таки не верю. Почему знать, может быть, не равна: треугольники бывают разные». Вы очень рассердились и поставили — единицу. По-моему, вы неправильно поступили. Я ведь все сказала точно, как в учебнике Киселева. Но разве я виновата, если я не верю. Я и сейчас не верю.

— Я бы вам теперь за это единицу не поставил.

— Да я не сержусь. Ничего. Пойдемте чай пить.

Я зашел к ней в комнату. Не люблю я этот стиль богемы, особенно театральной. У этой Таточки буквально на каждом кресле валялись принадлежности туалета — и все в кружевах. Противно. Чтобы сесть, пришлось фильдеперсовые чулки переложить на диван. И вот в такой обстановке разговоры о Софокле или Достоевском! На этот раз она заговорила о другом.

— Вы помните, как тогда в кухне Пантелеймонов об Апокалипсисе говорил?

— Помню, конечно.

— По-моему, интересно. Жаль, что я писать не умею. А вы, наверное, умеете складно писать. Вы бы записали весь этот кухонный разговор у себя в мемуарах.

Я вскочил, как ужаленный.

— В каких мемуарах?

— Что вы так удивились? Мне почему-то показалось, что вы должны непременно писать какие-нибудь записки.

Я был удручен.

— Никаких записок у меня нет, — сказал я мрачно.

Заметив, что я нахмурился, Таточка в каком-то будто бы недоумении вытаращила на меня свои цыганские глаза. Я говорю «будто бы», потому что я далеко не уверен в невинности ее разговоров относительно этих злополучных мемуаров. И что им всем дались эти мемуары! Конечно, Таточка не агент ГПУ... Но мало ли какие у нее могли быть соображения. А женщины по своей природе существа двусмысленные. За них поручиться нельзя. Софокл Софоклом, а там — глядишь — предательство. Почему бы Таточке не тарашить как будто удивленные глаза, прекрасно понимая, что я должен испытывать при упоминании о моих мемуарах.

Однако не проще ли, вместо того чтобы писать все эти рассуждения и дрожать от страха, сжечь немедленно эту, может быть, даже никому не нужную тетрадь. В том-то и дело, что я как будто загишнотизирован. Я чувствую, что сам я, несмотря на весь мой мучительный страх, ни за что рукописи моей не сожгу. Поймите вы, что ведь я все-

таки человек! И как бы Левиафан⁷¹ ни наложил бы на меня своей железной лапы, все-таки во мне останется какая-то жажда свободы, опаляющая все мое существо. Конечно, для какого-нибудь газетного борзописца моя свобода, воплощенная в этой рукописи, не более как «кукиш в кармане», как выражаются эти лакеи, но человек с головою поймет, что это не так просто. С другой стороны, какой-нибудь индусский мистик или православный монах с буддийским уклоном (очень распространенный тип)⁷² скажут с каменным спокойствием, что, мол, внутренняя свобода вовсе не требует никаких рукописных закреплений. Но это, конечно, вздор. Нет, именно необходимо запечатлеть мою свободу в каком-то реальном символе. Этот символ и есть мемуары. Пусть их никто не прочтет, но, однако, их может и прочесть кто-нибудь. Пусть наконец их прочтет один только следователь ГПУ. И это немало. Спасено мое натуральное, неотъемлемое право на свободу. Если я обладаю мужеством написать и не сжечь написанного, значит, я — личность. Если струшу и сожгу, значит я — не человек, а гад пресмыкающийся... Нет, я не сожгу мою рукопись! Но врать не хочу и не буду хвастаться, что мне не страшно. Не уступив главного, могу откровенно признаться во всем прочем... Да, я боюсь. Да, я трепещу... Я прекрасно понимаю, что нервы мои расстроены чрезвычайно. И эти разные, такие странные явления легко объясняются моей ненормальностью. Я имею в виду все эти голоса и прочее. Я подобные фокусы, конечно, не считаю доказательством того, что против меня существует заговор. У меня другие доказательства, основанные на несомненных фактах, которые нисколько не противоречат здравому смыслу. И если я теперь запишу о голосах и всей этой чепухе — то исключительно как любопытную деталь. Чепуха эта началась у меня недели полторы назад. Я проснулся ночью, потому что кто-то стянул у меня со спины одеяло. А у меня такая привычка — тщательно закрывать себе спину. Для этого не надо какого-нибудь особенно теплого и толстого одеяла. Достаточно легкого бай-

кового. Вся суть в том, чтобы воздух не проходил. И вдруг кто-то, желая меня подразнить, стягивает одеяло. Меня поразила дерзость, и я — помнится — спросонья не удивился, что кто-то вошел в комнату, хотя дверь была закрыта. Я зажег электричество, никого не увидел, но зато услышал внятный голос, который, как бы дразня меня, говорил из-под кровати:

— Тепленький. А? Тепленький!

Я рассердился и спросил, худо соображая:

— Это что? Провокация?

— Не провокация, а точное определение вашего характера, гражданин вредитель, — прошипел голос.

— Вздор, вздор! Суть моя вовсе не в этом... Я понимаю, вы изволите намекать на мои компромиссы, но компромиссы только видимость, а по существу...

— Что по существу? Ледяной что ли? Или горячий? ⁷³

— Я не позволю над собой издеваться! — заревел я, вскакивая с постели, и вдруг сообразил, что это все галлюцинация.

Я стал на четвереньки, в одной рубашке, в самой униженной позе заглядывая под кровать. Разумеется, ничего не было. Однако же голос был удивительно внятен и убедителен. Не довольно ли? Я мог бы сообщить целый ряд подобных каверз. Но я забыл сказать главное: среди этих фокусов были *предупреждения*. Голоса меня предупреждали о том, что против меня заговор. Так, например, когда я однажды после вечернего заседания в нашем тресте шел с портфелем по Большой Никитской, ко мне пристал этот непрошенный собеседник, который следовал за мной по пятам и довольно громко говорил мне, что песенка моя спета, что все кончено.

XII

Сегодня день исключительных событий. Ко мне пришел Курденко. Это, конечно, не событие. Событие — другое. Событие в том... Однако буду рассказывать по порядку.

Пришел Курденко и заявил, что он смертельно устал, что он решил отдохнуть две недели и уезжает в какой-то санаторий, а сегодня вот пришел ко мне поговорить по душам.

Я, конечно, насторожился.

— Не понимаю я, почему вы не вступите в партию, Макковеев. Я думал о вас и пришел к заключению, что это, несомненно, ошибка.

— Почему ошибка?

— А вот почему, дорогой товарищ. Ежели от партийной деятельности уклоняется человек иных, так сказать, верований, например, Марфа Петровна, — засмеялся он, — тогда, конечно, это можно постигнуть, но вы ведь безбожник... Тогда в чем же вопрос? Дело пролетариата вы признали исторически необходимым и оправданным. Фактически как честный советский сотрудник вы уже содействуете нам. Зачем же медлить с открытым признанием уже совершившегося факта?

— Я подумаю, — сказал я, изнемогая от нетерпения.

Мне казалось, что Курденко непременно заговорит о моих мемуарах. Но он заговорил совсем о другом.

— Знаете, Макковеев, у меня недавно был любопытнейший разговор с товарищем Пантелеймоновым. Вот этого человека я в партию не приглашаю. У этого субъекта, должен вам сказать, такая неколебимая убежденность, что его никак не своротишь. Это, я вам скажу, — кремень... А вы ведь человек гибкий...

— У Пантелеймонова убежденность?

— Ну да. Его верования, конечно, безумный бред, но, знаете, когда он тычет пальцем в Апокалипсис и сверкает своими глазищами, я чувствую, что это опаснейший фанатик.

— Значит «тюк»? — спросил я, чувствуя, что у меня холодеют руки.

— Таких опасно расстреливать, — сказал Курденко очень серьезно. Одного расстреляешь, а на его место явится новый десяток, а то и сотня. Нам невыгодно плодить мучеников. Это римские кесари, кажется, христиан уби-

вали почему зря! Но казни не помогли. Нам не надо повторять их ошибку.

— Повторите. Непременно повторите. *Dei volentem ducunt, nolentem trahunt.*

— Это что? По-латыни? Я по-латыни не понимаю.

— Я говорю, кто сам идет, того боги ведут, а кто упирается, того они насильно тащат.

— А ведь вы в богов не верите!

— Это я иносказательно. Не боги — так судьба, необходимость.

— Так вы думаете, что мы христиан распинать будем?

— Непременно будете.

Я сам ужаснулся тому, что сказал. Как я, решивший спрятаться, вдруг без всякой серьезной причины наговорил таких откровений. Но меня, как будто на санках с ледяной горы, несло. Я не мог удержаться.

— И знаете, — сказал я, — почему вы так распорядитесь с этими фанатиками?

— Почему?

— Вы им завидуете! Я вас понимаю. Я тоже им завидую. Они веселятся. С ними ничего поделаться нельзя. Вы им язык отрежьте, в кипящий котел швырните — а они будут улыбаться. У вас ведь о христианах какое было понятие? Вы до сих пор о них судили по жирным монахам да по развратным архиереям... С этими-то легко управиться, а вы попробуйте с товарищем Пантелеймоновым.

— И монахи бывают разные, — пробормотал Курденко.

— Да, да, — сказал я. — Вы хотите непременно быть веселыми, а они веселее вас. Вы им завидуете.

— Чему завидовать? Да и что-то вы путаете... Христианство — пессимистическое учение... Аскетизм... Проклятие жизни.

— А вы знаете, Курденко, я прихожу к заключению, что мы с вами худо знаем христианство. У них там что-то очень много в их кондаках всяких и тропарях разных по-

ется именно о веселии. Вот и Пасху они тоже выдумали. Чего-то ликуют. И будто бы странствующий раввин, сын плотника, казненный государственным политическим управлением две тысячи лет назад, воскрес, как-то странно. Говорю, странно, ибо, являясь ученикам, проходил в горницу через запертые двери, <сл. неразб.> поклонницы не сразу узнавали Его... А Фома, не поверивший в Его Воскресение, вложил перст в Его рану и тогда закричал, как безумный: «Господь мой, и Бог мой»⁷⁴. Ну, как же тут не веселиться! Вот они и поют в своих песнях: «Друг друга обнимем!» А у вас нет таких песен. Вы все поете, что надо кого-то расстрелять, кого-то повесить, и вам поэтому не так весело, как им. Вы им завидуете...

— Вздор! Вздор! — сказал Курденко. — У нас все бодрое и веселое. Мы плюем на все эти сентиментальности... У нас и поэты не унывают...

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Раздался выстрел, как будто в соседней комнате. По коридору затопали ноги. Курденко, не договорив фразы, бросился туда же — и я за ним.

Дверь в комнату Таточки была раскрыта настежь. Она стояла на пороге, бледная, даже до странности (я таких лиц не видел). Глазища ушли куда-то в глубину. Она прижимала к груди крошечные свои ручки и, как будто никого не видя, шептала:

— Убил! Убил себя! Безумный! А! Безумный!..

В комнате Таточки, на ковре, уткнувшись носом в фильдеперсовый чулок, тут валявшийся, лежал Кудефудров. Крови на ковре было мало...

На этом месте записки бухгалтера Якова Адамовича Макковеева прерываются. Его отвезли в психиатрическую лечебницу дня через три после смерти Кудефудрова, бред Макковеева навел медицинский персонал больницы на подозрение, что у него есть какие-то записки. Догадались, где они спрятаны. Вот каким образом стали они нашим достоянием.

Макковеев умер не от душевной своей болезни и даже не от эмфиземы легких, а от острого колита, неизвестно почему с ним случившегося, несмотря на больничную диету.

Зеленый Мыс — Тифлис

Декабрь — январь

1931—1932 гг.



КОММЕНТАРИИ

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Печ. по кн: Чу л к о в Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930. Орфография и пунктуация приведены, по возможности, в соответствие с современными нормами.

Юность

¹ *Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907) — русский государственный деятель, юрист, в 1880—1905 гг. — оберпрокурор Святейшего Синода.

² *Михайловский* Николай Константинович (1842—1904) — идеолог народничества, социолог, публицист, литературный критик.

³ *Соколов* Андрей Владимирович (партийный псевд. Ст. Вольский; 1880 — после 1943) — большевик, впоследствии входил в группу «Вперед», образованную в 1909 г. отзовистами и богостроителями. После Октября 1917 г. — в эмиграции. Вернувшись в Россию в середине 1920-х гг., отошел от политической деятельности и занялся литературным трудом. Основные работы — «Философия борьбы. Опыт построения этики марксизма» (1909); «Мещанство и социализм» (1917); «Кромвель» (1934); «Фома Кампанелла» (1936).

⁴ «*Исполнительный комитет объединенных землячеств и организаций*» — студенческая организация в Московском университете, стремившаяся объединить революционно настроен-

ное студенчество всех учебных заведений Москвы. На сходках решались различные вопросы: допущение евреев в средние и высшие учебные заведения без процентного ограничения, борьба с государственной формой правления как идущей вразрез с «идеалами науки и нравственно развитой личностью» и т.д. В этом комитете Чулков выполнял обязанности редактора бюллетеней, а также участвовал в создании объединения слушательниц женских курсов в Москве, составлении резолюций собраний, писем для пропаганды среди рабочих.

⁵ *Александр III* (1845—1894) — российский император с 1881 г.

⁶ *Церетели* Иракий Георгиевич (1881—1959) — студент юридического факультета, впоследствии один из лидеров меньшевиков. В 1917 г. — министр Временного правительства Грузии. С 1921 г. — эмигрант.

⁷ *Будилович* Игорь Александрович (1881—1915?) — сын священника, учился на филологическом факультете Московского университета *

⁸ *Сыромятников* Аркадий Степанович (1874—1954) — социал-демократ с 1904 г., один из руководителей борьбы за советскую власть в Рязани.

⁹ *Орлов* Василий Иванович (1880—1931) — студент естественного факультета Московского университета, математик, неоднократно судим за революционную деятельность, отбывал наказание в Бутырках, ссылках в Якутской губернии, на поселении в Иркутской губернии. Его воспоминания печатались в книгах «Пятый год» (М., 1925), «Путь к Октябрю» (Вып. 5. М.; Л., 1926).

¹⁰ *Швейцер* Максимилиан Ильич (Эдуардович) (1881—1905) — из мещан, студент естественного факультета Московского университета, член боевой террористической организации. О его судьбе см.: С а в и н к о в Б.В. Воспоминания террориста. М., 1991; И в а н о в с к а я П.С. В боевой организации. Воспоминания. М., 1928.

* Приводимые сведения о товарищах Г.И. Чулкова по университету и сибирской ссылке, а также их деятельности в «Исполнительном комитете» взяты из донесений Департамента полиции (ГАРФ).

¹¹ *Руднев* Вадим Викторович (1874—1940) — сын коллежского регистратора, окончил университет в Базеле, доктор медицины. В годы учебы в Московском университете некоторое время был председателем исполнительного комитета, представлял Воронежское землячество, занимался созданием делегатского объединенного органа студентов всех высших учебных заведений Москвы. Издал бюллетень об антисемитском движении в Харьковском университете, был связан с центральной (московской) группой социал-демократической организации «Рабочее дело». В 1907 г. — член летучего боевого отряда. В дни Октября городской голова Москвы, правый эсер, создал Комитет общественной безопасности. Эмигрировал в 1919 г. Был секретарем редакции газеты «Еврейская трибуна», участвовал в выпуске газета «Родина» (Лозанна), был одним из редакторов газеты «Дни» (Берлин), издавал вместе с М. Вишняком эсеровскую газету «Свобода» (Париж), в 1937—1939 при его участии выходил журнал «Русские записки». Огромную роль сыграл в издании журнала «Современные записки», став, по выражению М. Вишняка, «своего рода Иваном Калитой» для этого органа печати (см.: В и ш н я к М. «Современные записки». Воспоминания редактора. СПб., 1993).

¹² *Ховрин* Александр Алексеевич (1878—?) — сын коллежского советника, студент математического факультета Московского университета, представитель тамбовского землячества, эсер. Отбывал ссылку в Олекминске. В 1909 г. вошел в ЦК партии социал-революционеров, участвовал в экспроприации Чимкентского казначейства (Туркестанское генерал-губернаторство), за что был приговорен к каторжным работам.

¹³ *Аджемов* Моисей Сергеевич (Мовсес Серпович) (1878—1950) окончил медицинский и юридический факультеты Московского университета. Член II, III, IV Государственной Думы. Сотрудничал в «Русских ведомостях», «Вестнике права». Во время русско-японской войны был врачом.

¹⁴ *Педель* — младший служащий при высших учебных заведениях в дореволюционной России, следящий за поведением учащихся.

¹⁵ *Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель. В 1920 г. Чулков написал о нем воспоминания, включены в «Книгу о Леониде Андрееве» (Берлин, 1922). Дополненные публикацией 18 андреевских писем к автору, они вошли в книгу Чулкова «Письма Л. Андреева» (Л., 1924). Чулков, высоко оценивая талант писателя («андреевское творчество едва ли не самое замечательное явление нашей растерявшейся и ужаснувшейся современности»), в статье «Глухие выстрелы» отметил, что его сила не в идеях, а в «эмоциональности»: «...он кричит, когда ему страшно, и горько плачет, когда ему больно» (Чулков Г. Вчера и сегодня. М., 1916).

¹⁶ На банкете речи произнесли И.А. Бунин и Н.Н. Златовратский.

¹⁷ Этот эпизод воспроизведен Чулковым в автобиографической поэме «Весенний лед» (1934—1935) (другие названия — «Башня», «Юность»; рукопись хранится в РГАЛИ): «... но рядом // Известный беллетрист сидел... // «Елагин! (имя главного героя поэмы, под которым автор вывел себя. — М.М.). Право, порют вздор, // Скажите правду им в упор...» В той же поэме ситуация на банкете памяти Н.А. Добролюбова описана следующим образом:

В Москва седые радикалы
 В те дни устроили банкет
 В честь Добролюбова. Бокалы
 Звенели дружно. Много лет,
 Собравшись здесь, в «Континентале»,
 Интеллигенты утешали
 Себя речами и вином
 И рассуждали все о том,
 Что после зим бывают весны,
 Что в это верить надлежит,
 Что, к сожаленью, не изжит
 Дух крепостничества...

¹⁸ В донесениях Департамента полиции (ГАРФ. 1898. 3 ч. 150 т. 2/1) «слово потомственного дворянина» Г.И. Чулкова оценено как носившее «горячий, часто революционный характер»; указано, что оно «было встречено громом рукоплесканий».

Мои тюрьмы

I

¹⁹ Чулкова Анна Ивановна (в первом браке Гренцион, во втором Ходасевич; 1887 — 1964). С братом ее связывали очень тесные отношения: он морально поддерживал ее после развода с В. Ходасевичем, оказывал ей существенную материальную помощь в 1920-е гг., когда и сам очень нуждался. Позже Чулковы жили вместе с ней на их последней квартире в Москве (Смоленский бульвар, д. 8 — не сохранился). В цикле «Послания» (Стихотворения Георгия Чулкова. М., 1922) есть стихотворение «Сестре»:

Соблазненные суетным веком
Никогда не поймут, что дерзгать
Значит просто простым человеком
В тихом домике жизнь коротать,
Что при свете смиренной лампы
Можно солнце увидеть вдали,
Где сияют чудесно громады
И в лазури плывут корабли.

31 октября 1920

Воспоминания А.И. Ходасевич о В.Ф. Ходасевиче опубликованы в сборнике «Ново-Басманная, 19» (М., 1990).

²⁰ Зубатов Сергей Васильевич (1864—1917) — в 1880-е гг. член народовольческого кружка, с середины 1880-х гг. — «секретный сотрудник» Московского охранного отделения, с 1896 г. — его начальник. Создатель так называемого «полицейского социализма», именовавшегося в просторечии «зубатовщиной». Путем экономических уступок стремился отстранить революционные партии от руководства рабочим движением и с помощью полиции осуществлять контроль за деятельностью социалистических кружков.

²¹ Спиридович Александр Иванович (1873—1952) — генерал отдельного корпуса жандармов, агент политической «охранки». Автор книг «Партия социалистов-революционеров и ее предшественники» (Пг., 1918), «Записки жандарма» (Л., 1930; репринт. М., 1991).

²² О своем одиночном заключении Чулков рассказал в новелле «Как я бежал из тюрьмы» (Чулков Г. Люди в тумане. М., 1916).

²³ Чулкова Надежда Григорьевна (урожд. Петрова, в первом браке Степанова; 1875—1961). Добровольно поехала за мужем в сибирскую ссылку. Занималась переводческой деятельностью (напр.: В е р х а р н Э. Издыхающие равнины. Города-чудовища. М., 1909), оставила воспоминания (хранятся в ОР РГБ). В автобиографии 1918 г. Чулков писал, что с ее именем «связано неразрывно самое значительное в моей жизни» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 243). Его книга «Кремнистый путь» (1904) вышла с посвящением Н.Г.С. В стихах, вошедших в IV том Собрания сочинений писателя (СПб., 1911—1912), ей посвящены «Сонеты», стихотворение «Осень», а в книге «Стихотворения Георгия Чулкова» (М., 1922) — цикл «Верность». В поэме «Весенний лед» черты ее облика приданы главной героине — Надежде Львовне Добрыниной (в других вариантах — Тамариной):

Нас не пленишь всегда условной
Холодной прелестью лица.
Нет, было в ней иное что-то,
И не житейскою заботой
Светились строгие глаза.

Существует иной вариант последних строк:

Иное в ней очарованье
В душе будило ликованье —
Желанье славить тонкий плен...
Ах, это чудо перемен
В сиянье глаз, в рисунке даже
Ее бровей и милых губ...

Дочь Вяч. Иванова вспоминает: «Надежда Григорьевна была женщина красивая, очень южного типа, большой духовности, проникновенности и доброты» (Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1990. С. 26).

²⁴ Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — театральный деятель, режиссер-новатор. С 1898 г. актер МХТ. В 1906—1907 гг. главный режиссер Театра В.Ф. Комиссаржевской, затем Петербургского императорского театра. В 1920—

1938 г. руководил в Москве театром (с 1923 г. Театр им. В.Э. Мейерхольда). Постановки — «Мистерия-Буфф» (1921), «Ревизор» (1926), «Клоп» (1928), «Баня» (1930). Расстрелян; прах похоронен в общей могиле № 1 на территории кладбища Донского монастыря в Москве. С Чулковым его связывали тесные дружеские отношения. В РГАЛИ сохранилась их обширная переписка. В поэме «Весенний лед» выведен под именем Вундерхольда. Строки, характеризующие его, звучат у Чулкова несколько иронично:

О Вундерхольде будут речи
В занятой повести моей,
А в те года с ним были встречи
У нас, когда с женой своей
Он скромно жил. Тогда дерзаний
Не ведал он; рукоплесканий
Не поднимался ураган;
Тогда он просто был актером,
Тогда мистический скандал
Он сквозь магический кристалл
Не различал, и верным хором
Ему не вторили друзья,
И с ним дружил один лишь я.

²⁵ *Зонов* Аркадий Павлович (1875—1922) — актер, режиссер, работал в МХТ, в труппе В.Ф. Комиссаржевской, театре П.П. Гайдебурова, Камерном театре. В поэме «Весенний лед» выведен под именем Онов.

²⁶ *Казанская демонстрация* была проведена на Казанской площади в Петербурге 19 февраля (4 марта) 1901 г. студентами и рабочими в 40-ю годовщину крестьянской реформы (1861) с требованием отмены «Временных правил об отдаче студентов в солдаты».

²⁷ *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, критик, основоположник символизма. С Чулковым его связывали длительные и сложные взаимоотношения. В статье «Исход» (Ч у л к о в Г. Покрывало Изида. М., 1909) Чулков назвал его «поэтом для всех», имея в виду «определенность и ясность» его настроений и отчетливую «программность» его поэзии, и сделал вывод: «Стихи Брюсова — прекрасная литерату-

ра. В его творчестве много изящества, труда и остроумия. Брюсовы нужны. Это — эклектики, которые своим собственным примером показывают, как надо учиться у классиков». И в поэме «Весенний лед» Чулков дал Брюсову нелестную характеристику:

Валерий Яковлевич Брюсов
 В то время, стоя во главе
 Эстетов крайних, жил в Москве.
 Не разделял бунтарских вкусов
 В те годы славный наш поэт,
 Секрета ныне в этом нет.

И далее:

Старался Брюсов доказать,
 Что тщетно бьется наша рать
 И что «ручи сольются в море»,
 И что самодержавный стяг
 Народу русскому не враг.

²⁸ *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт-символист. Чулков в своих статьях и заметках неоднократно приводит первую строку его стихотворения «Искусство поэзии» («*Art poétique*», 1874) — «*De la musique avant toute chose*» («Музыка прежде всего»). Анализ творчества поэта посвящена статья Чулкова «Верлен» (Речь. 1911. № 147. 1 июня).

²⁹ *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский поэт и драматург, представитель символизма. В статье «Метерлинк» Чулков писал, что основа его мирозерцания — мистический агностицизм, который, однако, не мешает автору «оправдывать мир с его печалью, пороками и страданиями», что и делает его книги «светлыми и дивными» (Чулков Г. Вчера и сегодня). Но в заметке «Мечников и Метерлинк» (Речь. 1913. № 165. 20 июня) он определял оптимизм художника как «оптимизм утомившегося денди», который со всем примирился и на все махнул рукой». Чулков перевел «Двенадцать песен» Метерлинка, выпущенных отдельным изданием в 1905 г. Этот перевод подверг резкой критике В. Брюсов. См. его заметку «Фиалки в тигеле» (Весы. 1905. № 7).

³⁰ *Скрышник* Николай Александрович (1872—1933) — участник революционного движения, в советское время — видный партийный и государственный деятель. Покончил жизнь самоубийством.

³¹ Выражение Ф. Энгельса, обозначающее начало сознательного исторического творчества, которое осуществится в бесклассовом коммунистическом обществе. (См.: М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 20. С. 295).

³² *Паля* — свая (диал.).

³³ Рецензента мемуаров Г. Чулкова возмутило, что тайга была воспринята автором «преимущественно внешне, со стороны ее экзотики» и что он променял неустанные думы о революции на восхищение «голубой весенней пустыней» и ее «золотыми ночами» (С и т н и к о в И. Блуждающий символист // Книга и революция. 1930. № 13—14). Впечатления Чулкова от пребывания в сибирской ссылке отразились в таких его произведениях, как «Тайга», «Тревога», «Сулус», «В плену», «На этапах», «Северный крест», «Медвежье озеро» и др.

II

³⁴ *Шуга* — скопление рыхлого губчатого снега на реках.

³⁵ *Бундовцы* — члены националистической еврейской партии («Всеобщий еврейский рабочий союз» в Литве, Польше и России), основанной в 1897 г. До 1912 г. существовала как автономная организация в РСДРП.

³⁶ *Сладкопевцев* Михаил Дмитриевич — эсер, известный террорист, действовал под кличками «Князь», «Верченый».

³⁷ *Дзержинский* Феликс Эдмундович (1877—1926) — участник польского и российского революционного движения, с 1917 г. — председатель ВЧК (с 1922 г. — ОГПУ). В автобиографической поэме Чулкова ему посвящена отдельная глава, в которой дан портрет политического лидера:

Он гибкий был и худощавый,
И взгляд — пернатая стрела,
С улыбкой доброй и лукавой
Он говорил. Душа была
Его чутка и музыкальна,

Мечтательна, полупечальна;
 Но иногда кривилась бровь
 На лбу высоком. Тотчас кровь
 Румянцем вспыхнет. И, бывало,
 В глазах дрожащих огонек,
 Как яркий жгучий уголек,
 Мелькнет — и сразу покрывала
 Как будто нет... И видишь ты
 Под пеплом грозные черты.

³⁸ *Урицкий* Моисей Соломонович (1873—1918) — деятель революционного движения, с марта 1918 г. — председатель Петроградского ЧК. Убит 30 августа 1918 г. студентом-эсером, поэтом Л.А. Канегиссером. Похоронен на Марсовом поле в Петербурге.

³⁹ *Ашмарин* (наст. фам. Ахрамович) Витольд Францевич (1822—1930) — участник студенческого движения. Учился на филологическом факультете Московского университета, работал в Нижегородской партийной организации, сотрудничал в дореволюционных периодических изданиях («Голос Москвы»), литератор, секретарь издательства «Мусажет», в дальнейшем деятель советской кинематографии. О его судьбе Чулков собирался написать рассказ (см.: Записная книжка. РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 61).

⁴⁰ *Зильберберг* Лев Иванович (1880—1907) — из мещан, студент математического факультета Московского университета, участвовал в революционном движении. В 1903 г. ему было разрешено выехать за границу, проживал в Париже. В 1906 г. возглавил Боевой отряд, созданный при ЦК партии эсеров. По доносу Азефа арестован и повешен в Петроградской крепости под именем Владимира Штифтаря.

⁴¹ *Паузок* — речное мелководное судно.

⁴² *Попов* Владимир Евграфович (псевд. В. Владимиров) — инженер, журналист, печатал корреспонденции в газетах «Бакинец», «Каспий», «Утро России», «Русское слово», «Русские ведомости», автор книг «Мария Спиридонова» (М., 1905), «Карательная экспедиция отряда лейб-гвардии Семеновского полка в декабрьские дни на Московско-Казанской железной дороге» (М., 1906), «Очерки современных казней» (М., 1906) и др.

⁴³ *Спиридонова* Мария Александровна (1884—1941) — известная революционерка, лидер партии эсеров. Расстреляна в Орловском центре органами НКВД.

⁴⁴ *Троцкий* (наст. фам. Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940) — партийный и государственный деятель, публицист и литературный критик. Активный участник революции 1905—1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. В июле 1917 г. вступил в РСДРП(б). Один из организаторов Красной Армии и обороны страны в годы гражданской войны. В 1927 г. исключен из партии. В 1929 г. по обвинению в антисоветской деятельности выслан из СССР. Убит в Мексике агентом НКВД Р. Меркадером.

Якутская ссылка

⁴⁵ *Бибергаль* Виктор Александрович — студент естественного факультета Московского университета, издавал прокламации во время студенческих беспорядков.

⁴⁶ *Касаткин* Федор Сергеевич — студент Московского университета. В 1903 г. ему было разрешено выехать за границу. Впоследствии видный ученый-химик, специалист по пищевой технологии. В начале 1910-х гг. Чулков ходатайствовал о его вступлении в Религиозно-философское общество.

⁴⁷ *Сбитников* Сергей Георгиевич — студент Московского технологического училища, впоследствии служил в Смоленском земском управлении.

⁴⁸ *Столыпин* Николай Александрович — студент Московского технологического училища.

⁴⁹ Чулков озаглавил IV том своего Собрания сочинений «Золотая ночь».

⁵⁰ *Мартынов* Николай Федорович (др. имя Калинин; ок. 1860—1903) — старейший участник революционного движения. Военным судом в 1883 г. приговорен к 12 годам каторжных работ, которые были заменены заключением в Шлиссельбургской крепости. В 1896 г. отправлен в ссылку в Виллойск.

⁵¹ *Ионов* Всеволод Михайлович (1851—1922) — этнограф, историк, редактор газет «Якутский край», «Якутская жизнь».

⁵² *Пекарский* Эдуард Карлович (1858—1934) — языковед, этнограф, фольклорист, историк, составитель фундаментального словаря якутского языка; автор работ по этнографии якутов и эвенков.

⁵³ *Теслер* Лев Всеволодович (1871—?) — социал-демократ, был близок к группе «Освобождение труда». В поэме «Весенний лед» Чулков перечислил встреченных им в Якутске ссыльных: «А жили здесь по воле царской // Борцы прославленных дружин // — Ионов, Теслер, Шебалин, // Мартынов, Эдуард Пекарский... // Мятежников сибирских рать // Не так легко перечислять».

⁵⁴ *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — видный деятель российского революционного движения, член исполкома «Народной воли», 20 лет провела в Шлиссельбургской крепости. После 1917 г. отошла от политической деятельности.

⁵⁵ *Скрипицын* Владимир Николаевич — действительный статский советник, генерал-губернатор Якутска — с 1892 г.

⁵⁶ *Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель. В Сибирь был сослан в 1881 г. за отказ подписать текст специальной присяги для политических заключенных. Впечатления ссылки составили основу его сибирских рассказов. Он откликнулся на драму Г. Чулкова «Тайга», оценив ее как «издевательство над здравым смыслом», поскольку обнаружил в ней переоценку «ясных понятий» с «декадентской точки зрения» (Русское богатство. 1907. № 5).

⁵⁷ *Вяльцева* Анастасия Дмитриевна (1871—1913) — эстрадная певица, исполнительница цыганских песен и романсов.

⁵⁸ *Шаяпин* Федор Иванович (1873—1938) — великий русский певец, режиссер.

⁵⁹ «*Сон Макара*» (1883) — рассказ В.Г. Короленко. Прототипом героя явился крестьянин Захар Цунков, в избе которого жил писатель.

⁶⁰ *Скотцы* — русская религиозная секта, возникшая в России в конце XVIII в.

⁶¹ *Кухлянка* — вид теплой верхней рубахи из оленьей шкуры у северных народов.

⁶² *Камосы* — высокие сапоги из оленьей шкуры.

⁶³ *Майтрук* — подобие высокого мехового воротника, надеваемого на шею.

⁶⁴ *Святополк-Мирский* Петр Данилович (1857—1914) — князь, генерал-лейтенант, с 1900 г. командующий Отдельным корпусом жандармов, министр внутренних дел России в 1904—1905 гг.

Под гласным надзором

I

⁶⁵ Слова апостола Павла звучат так: «Если кто не хочет трудиться, то не ешь» (2 Послание к Фессалоникийцам).

⁶⁶ Судьба *Н.Ф. Мартынова*, судимого третейским судом ссыльных за любовную связь с замужней женщиной и покончившего с собой вскоре после суда, воспроизведена в повести Г. Чулкова «Мертвецы» (1912).

⁶⁷ *Лисев* Александр Иванович — из мещан, студент естественного факультета Московского университета. О нем говорит Чулков в поэме «Весенний лед»:

...и невеж

Бюрократических столичных,
В ямбических стихах отличных
Воспел партийный наш пиит,
Покойный Лисев. Он лежит
На кладбище Новодевичьем.
Вертляв и юрок, ростом низок,
За словом он в карман не лез,
И, может быть, какой-то бес
Из благодушных был с ним близок.
Его забавный каламбур
Смушал нередко наших дур.
На вечерах, концертах, всюду
Он был желанный всеми гость;
И там, где он, — подобно чуду —
Все изменялось. Даже злость
Невинною казалась шуткой:
Так он веселой прибауткой
Умел педантов рассмешить
И глупых в лужу посадить.

⁶⁸ «Гейша» — популярная в начале XX в. оперетта. Музыка Сиднея Джонса, либретто Овенс Хайля. Ставилась также под названием «Чайный домик».

II

⁶⁹ М. Горький (наст. имя и фамилия Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — писатель. В критических статьях, опубликованных в журнале «Новый путь», Чулков оценивал драмы М. Горького и его поэму «Человек» как выпренные и натуженно риторические, однако в статье «Правда Максима Горького», написанной по поводу «Исповеди», приветствовал возвращение писателя в «живую стихию» и, рассуждая об «объекте» и «пафосе» его веры, назвал Горького «самым верующим из современных писателей», чья вера в социализм и человечество исполнена «наивности и сумасшествия» (Чулков в Г. Покрывало Изиды).

⁷⁰ «Нижегородский листок» — ежедневная общественно-литературная, политическая и биржевая газета Нижнего Новгорода. Выходила в 1901—1916 гг.

⁷¹ Возможно, речь идет о *Скитальце* (наст. имя и фам. Степан Гаврилович Петров; 1869—1941), писателе, рассказывавшем, как и Горький, в своих ранних произведениях о жизни босяков.

⁷² Н.Н.М. — лицо неустановленное.

⁷³ Достоевский Федор Михайлович (1821—1891) — писатель. Его идеи оказали значительное влияние на творчество Чулкова. Много работал Чулков и над изучением жизни и творческого наследия писателя. Одна из первых статей Чулкова, посвященных Достоевскому, опубликована в книге «О мистическом анархизме» (1906).

⁷⁴ Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962) — литератор, историк. Автор трудов «История социалистических идей» (1928—1931), «Аграрный вопрос и крестьянское движение 50—70-х годов XIX века» (1936).

⁷⁵ Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польский писатель-декадент, увлекался ницшеанством. Его роман «Нотариус» оказал значительное влияние на русскую символическую прозу. Чулков рецензировал постановку его пьесы «Вечная сказка» (Товарищ. 1906. 6 декабря. № 132).

⁷⁶ *Бодлер Шарль* (1821—1867) — французский поэт, предшественник символизма.

⁷⁷ *Рембо Артюр* (1854—1891) — французский поэт, один из ранних представителей символизма.

⁷⁸ *Демель Рихард* (1863—1920) — немецкий писатель, соединявший традиции натурализма с увлечением декадентством.

⁷⁹ *Ведекинд Франк* (1864—1916) — немецкий драматург и актер, предшественник экспрессионизма. Чулков написал рецензию на постановку его пьесы «Пробуждение весны» в театре В.Ф. Комиссаржевской (Товарищ. 1907, 18 сентября. № 374), в которой творчество писателя характеризовалось как «циничный натурализм», а его пьеса трактовалась как «глубоко мещанская».

⁸⁰ *Шницлер Артур* (1862—1931) — австрийский драматург и прозаик. В пьесе «Крик жизни» в постановке театра В.Ф. Комиссаржевской Чулков увидел сочетание характерной для писателя «поверхностности мышления с тонким внешним мастерством». В целом же, оценивая Шницлера как «одного из самых талантливых буржуазных писателей современной Австрии», Чулков замечал: «Этот изящный писатель с истинно изящным самодовольством упивается роскошью городской культуры, и вся жизнь для него игра, веселая и приятная; с едва заметным налетом грусти он может иногда философствовать по поводу крайности этой житейской прогулки по садам удовольствия...» (Наша жизнь. 1906. 8 февраля. № 364).

⁸¹ *Мельников Павел Иванович* (псевд. Андрей Печерский; 1818—1883) — писатель, автор романов о жизни старообрядцев и раскольников.

⁸² *Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921) — писатель, представитель натуралистического течения в русской литературе.

⁸³ *Иванов Вячеслав Иванович* (1866—1949) — поэт, представитель младосимволизма. Книга «Кормчие звезды» вышла в 1902 г. По мнению Чулкова, она «ввела поэта в «сенакль» современных декадентов, но в этой книге заключается уже яд, который неизбежно должен был разложить декадентство» (Чулков Г. Покрывало Изида). О сборнике стихов «Сог Ardens» он написал статью «Поэт» (Чулков Г. Вчера и сегодня). В 1924 г., возможно, в связи с отъездом Вяч. Иванова за грани-

цу Чулков посвятил ему сонет «Третий завет» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 9). Несколько ранее в цикл «Послания» (Стихотворения Георгия Чулкова) им было включено стихотворение «Поэту», обращенное к Вяч. Иванову.

⁸⁴ *Вейниток* — вероятнее всего, речь идет о Илье Матвеевиче (1878—1904?), бывшем студенте юридического факультета Московского университета, учившемся вместе с Чулковым.

⁸⁵ *Стогны* — улицы, площади города.

⁸⁶ В судьбе Л.Н. Толстого (1828—1910) Чулкова более всего занимал вопрос, что заставило этого «вольнодумца... отказаться от таинства евхаристии». Свои соображения по поводу «душевной значительности» писателя он высказал в связи с книгой Р. Роллана «Жизнь Толстого», 1911. (Нейтральный писатель // Чу л к о в Г. Наши спутники. М., 1992).

⁸⁷ *Мирэ* — Моисеева Александра Михайловна (1874—1913) — прозаик, критик. История ее жизни послужила основой рассказа Чулкова «Шурочка и Веня» (Чу л к о в Г. Люди в тумане). В некрологе, посвященном Мирэ, Чулков отметил сильное влияние Мопассана на ее творчество, но в то же время подчеркнул, что произведения писательницы, «искренние и умные, тонкие и точные по стилю», написаны рукой мастера, «любящего слово» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 208). В несколько измененном виде некролог напечатан в «Историческом вестнике» (1914. № 1).

⁸⁸ *Борисоглебск* — город в Воронежской области на р. Ворона. Основан в 1646 г.

⁸⁹ *Сак* (фр. sac) — мешок, сумка.

⁹⁰ *Гриневицкий* Станислав Иванович (1863—1929) — журналист, двоюродный брат Игнатия Гриневицкого, убившего Александра II.

⁹¹ *Зиновьева-Аннибал* Лидия Дмитриевна (1866—1907) — прозаик, драматург, критик. Чулков написал рецензию на ее драму «Кольца» (Вопросы жизни. 1905. № 6), в которой рассмотрел произведение как «опыт приобщения к дионисийскому искусству». Ее творческую манеру он определил как «стихийный реализм» (Г. Ч. Трагический зверинец // Товарищ. 1907. 18 мая. № 269), исполненный «страстного протеста против раб-

ства и гнета». В той же газете (1907. 21 октября. № 403) он поместил некролог, в котором написал о «большом, чутком и мятежном сердце» писательницы, постоянно требовавшем «от неба последнего ответа, <...> оправдания <...> человека <...> на этой оскорбленной и поруганной земле». В повести «Полунощный свет» в образе героини рассказа Людмилы, жены писателя Сергея Савинова (в его облике угадываются черты Вяч. Иванова), отразился характер Л.Д. Зиновьевой-Аннибал.

III

⁹² *Саблин* Владимир Михайлович (1872—1916) — переводчик, журналист (сотрудничал в «Русских ведомостях»), книгоиздатель, выпускал «Библиотеку классиков современной мысли».

⁹³ «*Кремнистый путь*» — книга прозаических и стихотворных опытов Г. Чулкова. Издана в Москве в 1904 г. Впоследствии автор избрал псевдоним Кремнев при публикации статей общественно-политического характера.

⁹⁴ Этим эпизодом завершается автобиографическая поэма Чулкова «Весенний лед».

«Новый путь»

I

⁹⁵ *Вел. кн. Сергей Александрович* (1857—1905) — сын императора Александра II, московский генерал-губернатор в 1891—1905 гг., убит эсером Иваном Каляевым.

⁹⁶ *Попов* Николай Александрович (1871—1949) — режиссер, драматург, театральной деятель, руководил в начале XX в. «Народным театром» Василеостровского общества народных развлечений, осуществлял постановки в театре В.Ф. Комиссаржевской. В 1930—1940-е гг. — режиссер Малого и Большого театров в Москве.

⁹⁷ Подробно общественно-политическая программа и литературно-критическая позиция журнала освещена в статьях Д. Максимова «Новый путь» (Е в г е н ь е в - М а к с и м о в В. и М а к с и м о в Д. Из прошлого русской журналистики. Статьи

и материалы. Л., 1930) и И.В. Корецкой «Новый путь», «Вопросы жизни» (Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. М., 1982).

⁹⁸ *Штук* Франц (1863—1928) — немецкий живописец и скульптор, представитель стиля «модерн». Его произведения отличают эротика и брутальность. Так, М. Волошин считал его «развязным и размашистым живописцем», создателем «блестящих и наглых полотен, <...> оскорбляющих мещанский вкус европейской публики как раз в меру, для того чтобы заставить всех уверовать в свою гениальность» В о л о ш и н М. Лики творчества. М., 1988. С. 454).

⁹⁹ *Allegro* — (наст. имя и фам. Поликсена Сергеевна Соловьева; 1867—1924) — поэтесса, издательница детского журнала «Тропинка», сестра философа Вл.С. Соловьева, автор одной из первых рецензий на книгу Чулкова «Кремнистый путь» (Новый путь. 1904. № 2).

¹⁰⁰ *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — прозаик, поэт, драматург, критик. В эмиграции с 1920 г. Чулков признавал незаурядный критический талант писателя, значительность его философской концепции, ценил «музыкальность» его идей, однако не соглашался со многими его критическими «приговорами» — нападки на Ф.И. Тютчева, Ф.М. Достоевского и др. (Ч у л к о в Г. Болящий дух // Вчера и сегодня; эссе «О Мережковском» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 207). Вместе с З.Н. Гиппиус и Д.В. Философовым явился провозвестником «нового религиозного сознания».

¹⁰¹ *Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэт, прозаик, критик. В эмиграции с 1920 г. Оставила резкие отзывы о теоретических построениях Чулкова (Иван Александрович Неудачник // Весы. 1906. № 8; Трихина // Весы. 1907. № 5). Об их взаимоотношениях см. ст. М.В. Михайловой «З.Н. Гиппиус и Г.И. Чулков» (Вестн. Моск. ун-та. Серия «Филология». 1996. № 5).

¹⁰² *Философов* Дмитрий Владимирович (1872—1940) — литературный и художественный критик, публицист, юрист по образованию. С 1920 г. в эмиграции.

^{102a} «Русский вестник» — литературный и политический журнал (1856—1906, Москва и Петербург). Редактор — в начале

века — М.М. Катков (сын М.Н. Каткова). Проводил идеологию самодержавия и консервативных общественных кругов.

¹⁰³ *Архимандрит Мефодий* (в миру Великанов Михаил Матвеевич; 1852—1914) — автор работ по синтаксису и истории ударения в русском языке.

¹⁰⁴ *Гностицизм* — религиозно-философское движение поздней античности, связавшее идеи платонизма и стоицизма с представлениями восточных религий.

¹⁰⁵ *Философско-филологическая заметка* Вяч. Иванова носила название «К вопросу об орфографической реформе» и развивала мысль о недопустимости поспешного проведения грамматической реформы в стране, «малоимущей в культуре».

II

¹⁰⁶ *Статья «Перевал»* опубликована Г. Чулковым (под псевд. Кремнев) в разделе «Политическая хроника». Ее главная идея: «социализм... должен быть освещен религиозной истиной».

¹⁰⁷ *Бердяев* Николай Александрович (1874—1948) — религиозный философ, разрабатывал проблему свободы личности в духе экзистенциализма, персонализма и христианской эсхатологии. В 1922 г. был выслан за границу. В послании «Н. Бердяеву» (1920) Чулков отметил его «трудолюбие», «веселость» и «мудрое сердце» (Стихотворения Георгия Чулкова).

¹⁰⁸ *Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944) — экономист и философ, был выслан из России в 1922 г. Он полемизировал с Чулковым в связи с пониманием последним идейного смысла поэзии Вл. Соловьева (Б у л г а к о в С. Без плана. Несколько замечаний по поводу статьи Г.И. Чулкова о поэзии Вл. Соловьева // Вопросы жизни. 1905. № 5).

¹⁰⁹ Свои статьи политического характера Чулков подписывал псевдонимами Б. Кремнев, Б.К., театральные рецензии — Tch, Ч. и др.

¹¹⁰ *Франк* Семен Людвигович (1877—1950) — религиозный философ, автор трудов по гносеологии, психологии, социальной философии. В 1922 г. выслан за границу.

¹¹¹ *Лосский* Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ-идеалист, представитель интуитивизма и персонализма. Выслан за границу в 1922 г. До 1945 г. жил в Праге, в 1947—1950 гг. — в Нью-Йорке.

¹¹² *Новгородцев* Павел Иванович (1866—1924) — юрист и философ, профессор Московского университета. Философская основа его правовых воззрений — неокантианство. В эмиграции — с 1920 г.

¹¹³ *Водовозов* Василий Васильевич (1864—1933) — публицист, общественный деятель, экономист, юрист. Выехал в Берлин (в 1922), затем — в Прагу (1924). Существует версия, что он покончил жизнь самоубийством.

¹¹⁴ *Туган-Барановский* Михаил Иванович (1865—1919) — экономист, видный представитель «легального марксизма».

¹¹⁵ *Яснопольский* Леонид Николаевич (1873—после 1917) — журналист, сотрудник «Русских ведомостей», с 1902 г. — приват-доцент Киевского и Харьковского университетов.

¹¹⁶ *Семенов* Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт и прозаик символистского направления, религиозный пропагандист, внук ученого и общественного деятеля П.П. Семенова-Тян-Шанского. После 1905 г. стал странником.

¹¹⁷ *Кондратьев* Александр Алексеевич (1876—1967) — поэт, прозаик, автор стилизаций на античные темы (роман «Сатиресса»), товарищ Блока по университету. С 1919 г. жил на Вольни, в 1939 г. переехал в Варшаву, затем в Белград и Швейцарию. Умер в США.

¹¹⁸ *Гюисманс* Шарль Мари (1848—1907) — французский писатель-импрессионист. Его роман «Наоборот» (1884) получил известность как «библия декадентства». Чулков относил Гюисманса к эпигонам декадентства и утверждал, что «после опыта таких высоких поэтов-декадентов, как Поль Верлен и Федор Сологуб, современные декадентские эксперименты нередко кажутся ребяческими забавами, достойными разве героя романа Гюисманса «Наоборот» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 219. Л. 31; план работы «Кризис символизма»).

¹¹⁹ *Вилье де Лиль-Адан* Филипп Огюст Матисас (1838—1889) — французский писатель, в среде символистов особенной популярностью пользовались его «Жестокие рассказы» (1883).

¹²⁰ Имеется в виду субъективный идеализм и агностицизм немецкого философа Иммануила *Канта* (1724—1804).

¹²¹ Положительная, или катафатическая, религия описывает Бога посредством позитивных атрибутов и обозначений (в отличие от апофатической теологии).

¹²² А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (Сцена: Ночь. Келья в Чудовом монастыре).

¹²³ Эту формулу Ф.М. Достоевского в применении к своему творчеству и философским построениям Чулков использовал неоднократно. Так, в одном из вариантов повести «Вредитель» он, характеризуя особенности избранной им манеры повествования, писал: «Пусть в этом пункте (композиция. — *М.М.*) у меня будет некоторый изъян, зато я выиграю на реализме, т.е., разумеется, не на глупеньком псевдореализме, который нужен бездарностям, а на том реализме в высшем смысле, без которого все летит к черту на рога <...> я не верю в сущее абсолютное, зато верю в становящееся абсолютное. По-моему, это все-таки реализм» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 121).

¹²⁴ А.С. Пушкин. «Полтава». Песнь вторая.

¹²⁵ *Журфикс* (фр.) — определенный день недели, предназначенный для приема гостей.

«Вопросы жизни»

I

¹²⁶ Вяч. Иванов. «Да, сей пожар мы поджигали» (1919). Стихотворение написано в ответ на послание Г. Чулкова «Поэту», в котором была строка: «Ведь вместе мы сжигали дом, где жили наши предки чинно». *Эолов мех* — согласно Гомеру, Эол, бог ветров, вручил Одиссею завязанный мешок с бурными ветрами, но спутники Одиссея развязали его, что повлекло страшную бурю.

¹²⁷ *Жуковский* Дмитрий Евгеньевич (1868—1943) — переводчик, издатель философской литературы, биолог по образованию. С 1909 г. муж поэтессы Аделаиды Герцык. Его сын Даниил был женат на сестре Чулкова — Анне.

¹²⁸ *Штильман* Георгий Николаевич (1877—1916) — юрист, публицист, печатался в газетах «Товарищ», «Русское слово», редактор петербургской газеты «Слово».

¹²⁹ *Плеве* Вячеслав Константинович фон (1846—1904) — министр внутренних дел и шеф отдельного корпуса жандармов в 1902—1904 гг., убит эсером Е. Созоновым.

¹³⁰ «*История государства Российского*» — многотомный исторический труд Николая Михайловича Карамзина (1766—1826), писателя и историка.

¹³¹ «*Сын отечества*» — ежедневная общественная, политическая и литературная газета либерального направления. Издавалась с 1862 г. В 1888—1897 гг. газетой руководил А.К. Шеллер-Михайлов, с 1897—1900 гг. — С.Н. Кривенко. После четырехлетнего перерыва была возобновлена в 1904 г. под ред. Г.И. Шрейдера. В ноябре 1905 г. в редакцию вошли от партии эсеров — Н.С. Русанов и В.М. Чернов, от партии народной свободы — В. Мякотин и А. Пешехонов. Издание было закрыто в декабре 1905 г.

¹³² *Анненский* Николай Федорович (1843—1912) — публицист, экономист, общественный деятель.

¹³³ *Витте* Сергей Юльевич (1849—1915) — государственный деятель, председатель Совета Министров в 1905—1906 гг., автор Манифеста 17 октября 1905 г.

¹³⁴ *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867—1933) — политический деятель, публицист, был близок к эсерам, входил в редакцию журнала «Русское богатство». В 1922 г. выслан из России.

¹³⁵ *Мякотин* Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, публицист, член редакции журнала «Русское богатство». В эмиграции с 1918 г.

¹³⁶ *Семевский* Василий Иванович (1848/49—1916) — историк, был близок к народникам, редактировал журнал «Голос минувшего».

¹³⁷ *Гапон* Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, с осени 1905 г. агент охраны. При поддержке ряда высших чинов Министерства внутренних дел организовал в 1904 г. легальную рабочую организацию «Собрание русских фабрично-

заводских рабочих Санкт-Петербурга», которая распалась после 9 января 1905 г. Инициатор петиции рабочих Николаю II и шествия к Зимнему дворцу. С января по октябрь 1905 г. — в эмиграции. Пытался сблизиться с эсерами, но вскрылись его связи с охранкой. Разоблачен как провокатор. Повешен по приговору партийного суда в марте 1906 г. В 1915 г. Чулков писал: «Наша революция воистину заключала в себе черты фантастические, и образ попа Гапона сочетался своеобразно с кошмаром тысяча девятьсот пятого года» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 210. Л. 12—18). В неопубликованной поэме Чулкова «9 января» о нем сказано: «И вот приходит старый поп // Как выходец из тьмы столетий...» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 21—24).

¹³⁸ *Тенишевское училище* — было основано в 1896 г. в Петербурге кн. В.Н. Тенишевым (1844—1903), инженером, предпринимателем как общеобразовательная школа. В 1900—1917 гг. — коммерческое училище. Высокая плата за образование определяла его социальный состав. Воспоминания о годах учебы в нем оставили О.Э. Мандельштам и В.В. Набоков.

¹³⁹ *Вольное экономическое общество* (1765—1915) — первое русское научное общество, основанное для содействия развитию помещичьего хозяйства.

¹⁴⁰ *Александринский театр* (ныне — Санкт-Петербургский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина) был создан в 1756 г. как первый публичный театр (Русский для представления трагедий и комедий театр). Свое название получил в 1832 г. в честь жены Николая I Александры Федоровны и под этим названием просуществовал до 1920 г. В 1920 г. переименован в Петроградский государственный академический театр драмы. Имя А.С. Пушкина он получил в 1937 г.

¹⁴¹ *Капельдинер* — служащий театра или концертного зала.

II

¹⁴² *Статья «Поэзия Владимира Соловьева»* была напечатана в «Вопросах жизни» (1905. № 4—5). В ней содержалось противопоставление религиозно-метафизической системы русского философа Вл. Соловьева его поэтическому творчеству. «Между сияющей ледяной вершиной и цветущей долиной разверзается

пропасть. Перебросить через эту пропасть мост не сумел Соловьев, как не сумело это сделать все и с т о р и ч е с к о е христианство». Впоследствии Чулков пересмотрел свой взгляд на историческое христианство, о чем писал жене в письме от 24 декабря 1934 г. (6 января 1935 г.): «Мой взгляд тогдашний (имеется в виду начало литературной деятельности. — М.М.) на историческое христианство ложен <...> я решительно заблуждался в оценке и понимании богочеловеческого процесса. Главное мое заблуждение, противоречившее <неразб.> моему внутреннему миру, — это уклончивое отношение к исповеданию той Истины, что две тысячи лет назад была воплощена до конца и явлена была человечеству в своей единственности и абсолютности» (ОР РГБ. Ф. 371. Карг. 2. Ед. хр. 31). В отличие от Чулкова, проводившего тезис «о трагическом разладе, аскетическом мировоззрении и черной победе смерти» в творчестве Вл. Соловьева, А. Блок в нем увидел «деятельное веселье наконец освобождающегося духа». Не менее важно отметить и его несогласие с интерпретацией Чулковым темы смерти: «... сквозь все это проросла лилейная по сладости, дубовая по упорству ж и з н е н н а я сила, сочность Соловьева... Эту силу принесло Соловьеву то Начало, которым я дерзнул восхититься, — Вечно Женственное <...>», а также перспективу принципиально иного прочтения соловьевского наследия: «<...> именно в нем, может открыться и Земля, и Орфей, и пляски, и песни...» (Письмо Г.И. Чулкову от 23 июня 1905 г. См. с. 368—371). Вскоре после написания статьи Чулков изменил свое мнение и о Вл. Соловьеве, более того, стал последовательнейшим «соловьевцем». Имя философа возникало всякий раз, когда речь заходила о предвосхищении символизма и «оправдании христианства». Однако позднее он еще раз вернулся к прежней трактовке Вл. Соловьева как человека, не приемлющего «земную» любовь, выведя его в образе известного писателя, которого в конце жизни настигает безответное страстное чувство (рассказ «Отмщение»). Подробнее об эволюции отношения Г. Чулкова к философскому наследию Вл. Соловьева см.: Чу л к о в Г. И. «Автоматические записи Вл. Соловьева» / Публикация, предисл. и примеч. М.В. Михайловой // Вопросы философии. 1992. № 8.

¹⁴³ Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт, литературный критик, активный участник движения младосимволистов, близкий друг Андрея Белого и родственник А. Блока. Его «Ответ г. Чулкову по поводу его статьи «Поэзия Владимира Соловьева» был напечатан в «Вопросах жизни» (1905. № 8) и содержал утверждение, что «поэзия жизни» в стихах Вл. Соловьева «празднует свою победу» и что философ «никогда не враждует со стихией плотской жизни».

¹⁴⁴ Статья С.Н. Булгакова «Без плана» была помещена в № 6 журнала «Вопросы жизни» за 1905 г. В ней развивалась мысль, что «...подлинный Соловьев в своих стихотворениях вовсе не тот скорбный и анемичный монах, какого рисует нам Чулков, а тот же могучий дух, многогранный, многообъемлющий, каким мы знаем его и в философских творениях».

¹⁴⁵ Хотя Чулков был убежден, что со временем он далеко отошел от идей мистического анархизма, на самом деле его трактовка исторического процесса как трагического (в противовес его эпическому пониманию) оставалась неизменной до конца его жизни. При трагическом понимании истории все события мировой жизни «рассматриваются как нечто, совершающееся во временном единстве. Мы ждем развязки. Мы ждем конца. Мы ждем очищения... Тогда все страдания, весь ужас, кровь истории приобретают значение неслучайной жертвы...». При эпическом же понимании истории «ее внутреннее содержание по существу утрачивает всякий смысл. Погибшие поколения, безмерные муки мятущихся народов, крушение культур — все остается неопределенным, ибо ведь нельзя строить счастье будущего человека на позоре и страдании поколений, ушедших в темную могилу» (Чулков в Г. Достоевский и судьба России // Огни. Пг., 1918. С. 142—143). Та же мысль получает обоснование в подготовительных материалах задуманной Чулковым статьи «Смысл революции», куда он записывает изречение Карлейля о том, что революция — это «трансцендентальное отчаяние», и Жозефа де Местра: «Я из тех, которые хотели бы, чтобы разразилась революция и чтобы нестерпимой тирании буржуа, старого врага авантюра, были бы противопоставлены современные волнения буржуа-сорви-головы, который не за-

хочет больше слушать ни о каких границах. Эта катастрофа была бы хоть некоторым утешением на нашей планете». Эту же идею высказал Чулков в одной из бесед с А. Луначарским: «Для того, чтобы содействовать поступательному ходу истории, надо быть или наивным оптимистом и верить в прогресс как накопление ценностей, приносящих людям счастье, или надо смотреть на историю трагически (по-христиански) и торопить события для последней развязки. Все же срединное и пессимистическое особенно не располагает к социальной активности» (Записная книжка. РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 28, 58 об.).

¹⁴⁶ *Зелинский* Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, историк литературы, преподавал в Петербургском и Варшавском университетах. С 1920 г. жил в Польше.

¹⁴⁷ В греческой мифологии спартанская царица, прекраснейшая из женщин, дочь Зевса и Леды (по другим источникам — Немезиды). Похищение Елены Парисом из дома ее мужа Менелая послужило началом Троянской войны.

¹⁴⁸ *Философова* Анна Павловна (1837—1912) — деятель женского движения в России, организатор Высших женских курсов и первых женских артелей в России.

¹⁴⁹ Имеется в виду комическая опера Ж. Оффенбаха (1819—1880) «Прекрасная Елена» (1864), где в жанре пародии дается версия возникновения Троянской войны.

¹⁵⁰ *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик, автор фантастических произведений и сказок, художник, композитор.

¹⁵¹ *Моммзен* Теодор (1817—1903) — немецкий историк, автор исследований по римскому праву и монографий по истории Древнего Рима.

¹⁵² Диссертация Вяч. Иванова о государственных откупах в Риме называлась «De societatibus vectigalius» («О сборщиках податей»).

¹⁵³ «*Эллинская религия страдающего бога*» печаталась в виде серии статей, представлявших курс лекций о религии Диониса, которые Вяч. Иванов читал в Париже в Высшей школе общественных наук в начале 1900-х гг. Главная идея этой рабо-

ты — общность дионисийства и христианства. Она явилась в значительной степени полемической по отношению к трактату Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».

¹⁵⁴ Стихи были принесены на суд Вл. Соловьеву первой женой Вяч. Иванова, Дарьей Михайловной Дмитриевской. Отметив их «безусловную самобытность», философ предложил передать их в журналы (см.: И в а н о в Вяч. Собр. соч. Т. I. Брюссель, 1971. С. 34).

¹⁵⁵ Подробнее об их взаимоотношениях см.: М и х а й л о в а М.В. Лидия Зиновьева-Аннибал и Вячеслав Иванов: сотворчество жизни // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996.

¹⁵⁶ В рассказе Г. Чулкова «Полунощный свет», написанном по свежим впечатлениям от знакомства с Вяч. Ивановым и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, отразился несколько иной взгляд на жизнь и содружество этой супружеской четы. В черновых набросках к рассказу сохранились строки: «В Башне, где жил мой учитель-поэт, все давно уже сошли с ума. Сам поэт перестал обладать тем, что называют обычно «умственным равновесием». В его глазах, помутившихся от слепой страсти, все качалось в безумном дионисическом ритме, и сам он с белокурыми развевающимися волосами походил на религиозного плясуна древности и вечно танцевал. Жена его, также обезумевшая, носила хитоны, сколотые небрежно, обнажавшие ее темно-золотые руки...» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 59—60).

¹⁵⁷ Чулков одним из первых дал высокий отзыв о «Трагическом зверинце». В рецензии на этот сборник (Товарищ. 1907. 18 (31) мая. № 269) он писал, что рассказы пронизаны «идеями об ответственности личности перед самой собой за все, что совершается вокруг нее... Вся книга исполнена страстного протеста против рабства и гнета, ломающих бесстыдно нашу жизнь <...> от книги веет сильным стихийным реализмом». В своем сборнике «Покрывало Изиды» он оценил книгу как «замечательную и характерную для <...> психологического и религиозно-эстетического перелома», совершающегося в России.

¹⁵⁸ Перед рассказом «Царевна-Кентавр» помещено: «Посв. Георгию Чулкову».

¹⁵⁹ Г. Чулков подразумевает свою духовную близость с Вяч. Ивановым в годы возникновения теории «мистического анархизма». Книжке Чулкова «О мистическом анархизме» (1906) была предпослана вступительная статья Вяч. Иванова «Идея неприятия мира и мистический анархизм». Сама книга содержала статьи: «На путях свободы», «Достоевский и революция», «О софианстве», «Об утверждении личности».

«Факелы»

¹⁶⁰ За полтора года существования газеты «Наша жизнь» (впоследствии «Товарищ») Чулковым напечатано более 70 рецензий (в основном на спектакли театра В.Ф. Комиссаржевской, Александрийского, Михайловского, Нового и Старинного театра, театра в Териоках и др.).

¹⁶¹ Речь идет или о Л.В. Ходском, основателе газеты, или о редакторе В.В. Португалове.

¹⁶² Выпады против Г. Чулкова и «мистического анархизма» содержались во многих статьях журнала «Весы»: Аврелий (В.Я. Брюсов) «Факелы» (1906. № 5); его же. «Мистические анархисты» (1906. № 8); А. Крайний (З.Н. Гиппиус) «Иван Александрович Неудачник» (1906. № 8), «Трихина» (1907. № 5); А. Белый «На перевале. VII. Штемпелеванная калоша» (1907. № 5).

¹⁶³ Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы» (ч. 4, кн. 10). Иносказательное определение русских интеллигентов, спорящих о смысле бытия.

¹⁶⁴ Такой точки зрения придерживался, например, глава русских народников Н.К. Михайловский, развивая ее в статьях «Русское отражение французского символизма» (1893), «Еще о декадентах, символистах и магах» (1893).

¹⁶⁵ Деление культуры на органическую и критическую было распространено в культурологии символистов (см.: Вяч. Иванов. «О русской идее»), религиозных философов (В.В. Розанов. «Декаденты»). Сам Чулков оставался сторонником этой концепции до конца жизни (ср. его рассуждение в повести «Вредитель»: «Все гиганты мировой поэзии, начиная с Гомера и кончая Дантом, пламенно верили в богов. Я говорю — кончая Дантом,

потому что так называемое «Возрождение» есть уже упадок культуры; начинается уже бесплодная критика и ее прелюбопытная связь с нигилизмом».

¹⁶⁶ С 1918 г. Чулков работал над книгой об А.С. Пушкине, которая была завершена к 1921 г., но не появилась в печати. Об этом факте Чулков сообщал в письме к Ф. Сологубу (предположительно в 1922 г.): «Я, кажется, не поеду за границу, хотя у меня есть уже берлинская виза и есть основательные надежды на разрешение выехать из России. Ничего мне не хочется. И никуда я не поеду. Даже окончательное запрещение цензурой моей книги о Пушкине (уже набранной и готовой к печати) не повлияло на мое решение ждать своей участи здесь...» (ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 27. Л. 3). «Жизнь Пушкина» была впервые напечатана в журнале «Новый мир» (1936. № 5—12; отд. издание: ГИХЛ. 1938). По этому поводу в своем дневнике, озаглавленном «Откровенные мысли», Чулков замечал: «Весь этот год прошел для меня под знаком Пушкина. <...> Каким-то чудом с мая по декабрь в журнале публикуется моя работа. Но появится ли отдельной книгой — большой вопрос. <...> Чем кончится эта моя борьба за Пушкина — не знаю. Е.К. Герцык, будучи в Москве, успела прочитать первые две главы и сказала, что она почувствовала за видимо объективным изложением мою руководящую идею. Вот это, вероятно, и злит моих врагов» (23 декабря 1936 г. . ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 1. Л. 23). Спустя год 25 декабря 1937 г. он записывает: «В Госиздате печатается «Жизнь Пушкина», искаженная и сокращенная непристойно по воле редактора и зав. отделом. И я все-таки не знаю, выйдет ли эта книга (она должна была выйти год назад). Замечания для будущего моего редактора и текстолога: надо восстановить журнальный текст, *но не все*: кое-что я сам выкинул <...>. Есть журнальный экземпляр с моими поправками. Моя книга лишена, между прочим, комментария, мною приготовленного. <...>» (Л. 26). А несколько ранее, 5 апреля 1935 г., он формулирует основную идею книги: «Почему Пушкин нам так дорог? Почему так высоко его ценим? Неужели потому, что в нем отразился «процесс движения русской жизни от «средневековья» к новому буржуазному обществу?» Пусть так — но ведь отразился с «дворянской»

точки зрения, по мнению этих истолкователей. Какой же нам толк от этого отражения? Значит, как ни уклоняйся от прямого ответа, а приходится признать, что в Пушкине было *нечто*, независимое от его дворянства, от его класса, от его даже эпохи. Вот как раз это *нечто* и есть высокое в его поэзии, то, что будет нужно и дорого «бесклассовому обществу». Какова же сущность его поэзии? Пушкин потому дорог нам, что он почувствовал мир как живое, цельное и положительное начало. Он за множественностью ущербного мира угадал его первооснову как *плерому*, как полноту «заполняющего все во всем». Ни один русский поэт не дал такого утверждения бытия, как Пушкин. И это утверждение тем драгоценнее, что оно явилось у поэта не как наивное, идиллическое приятие данности, а прошло через «горнило сомнений». Смысл духовной биографии Пушкина заключается в том, что к середине двадцатых годов, примерно, Пушкин решительно преодолел навязанную ему «проклятым», по его словам, воспитанием французскую цивилизацию и стал ревнителем *органической культуры*» (л. 15, 15 об., 16). О «Пушкиане» Чулкова см.: М и х а й л о в а М.В. «...Ничего, кроме Пушкина, в ум нейдет» // Филологические науки. 1997. № 3.

¹⁶⁷ Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — живописец, для полотен которого характерно сочетание принципов классицизма с философско-романтическими мотивами. Чулков причислял А. Иванова к создателям монументального всенародного искусства, на которое призывал ориентироваться современников (см.: Чу л к о в Г. Демоны и современность // Вчера и сегодня. М., 1916).

¹⁶⁸ Федоров Николай Федорович (1823—1903) — религиозный философ. Основной труд «Философия общего дела» является духовной утопией о преодолении смерти.

¹⁶⁹ Подразумевается пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906) «Когда мы, мертвые, пробуждаемся (драматический эпилог в трех действиях)» (1899), основные мотивы которой использовались Чулковым в его лекции «Пробуждаемся мы, мертвецы, или нет?» и повести «Слепые» (1911).

¹⁷⁰ «Анархические идеи в драмах Ибсена» опубликованы в 1907 г. издательством «Шиповник».

¹⁷¹ Например, А. Белый «О проповедниках, гастрономах, мистических анархистах и т.д.» (Золотое руно. 1906. № 10), В. Брюсов (подп. Аврелий) «Мистические анархисты» (Весы. 1906. № 8).

¹⁷² Всеобщее недовольство вызвала опубликованная в «Mercure de France» статья Е.П. Семенова (1907. № 242), который причислил к «мистическим анархистам» помимо Чулкова Вяч. Иванова, А. Блока, С. Городецкого, сославшись при этом на свою беседу с Чулковым.

¹⁷³ «Слова о кризисе индивидуализма» в те годы произносились не одним Чулковым (см. ст.: И в а н о в Вяч. Кризис индивидуализма // Вопросы жизни. 1905. № 9).

¹⁷⁴ К проблеме разграничения этих двух понятий Чулков предполагал вернуться в статье, скорее всего, писавшейся в середине 1910-х гг. Сохранился ее план: «1. Что такое декадентство? 2. Что такое общественность? 3. Предел декадентства — анархический мистицизм. 4. Предел общественности — мистический анархизм. 5. Положительное содержание мистического анархизма — Эрос. 6. Религиозное содержание совершенной общественности — Церковь. 7. Предел церкви — Христос» (Записная книжка. РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107).

¹⁷⁵ Написанная в 1908 г. пьеса Чулкова носит название «Семена бури».

¹⁷⁶ Здесь Чулков цитирует строку из дифирамба Вяч. Иванова «Огненосцы», полностью звучащую:

Из Хаоса родимого
Гляди — Звезда, Звезда!
Из Нет непримиримого
Слепительное Да!

(Сборник «Cor Ardens». 1911—1912).

¹⁷⁷ Плерома (от греч. plerome — полнота, обилие, множество) — термин ортодоксальной и особенно еретической христианской мистики, означающий некую сущность в неусеченном объеме. Во Христе «обитает вся плерома божества телесно». В душе первого человека Адама заключена некая сверхличность, «плерома душ», раскрывающаяся в человеческом множестве, которые составляют органическое целое. Идея «соборнос-

ти» в философии славянофилов, Вл. Соловьева и Вяч. Иванова во многом питается положениями этой теории.

¹⁷⁸ *Никодим* — по преданию, тайный ученик Христа, посетивший его ночью с целью более глубоко усвоить свет учения Христова (Евангелие от Иоанна. 3:1—21). Фарисей, член синедриона, открыто восстал против первосвященников и фарисеев, когда они посылали слугителей схватить Иисуса Христа, помогал Иосифу Аримафейскому при снятии его с креста и погребении. Чулкову был дорог этот образ. В одном из задуманных произведений («Древо познания») должен был действовать учитель Приволин — «по внешности — дикий чудак, по существу — «Никодим» (Записная книжка. РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 10).

¹⁷⁹ *Первую книгу «Факелов»* (1906) открывало следующее предисловие: «Стоустый вопль — «так жить нельзя!» — находит созвучие в сердцах поэтов, и этот мятеж своеобразно преломляется в индивидуальной душе. «Факелы» должны раскрыть — по нашему плану — ту желанную внутреннюю тревогу, которая так характерна для современности. Мы не стремимся к единогласию: лишь одно сближает нас — непримиримое отношение к власти над человеком внешних обязательных норм. Мы полагаем смысл жизни в искании человечеством последней свободы. Мы поднимаем наш факел во имя утверждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на любви к будущему преображенному миру».

^{179a} Имеется в виду заметка Вяч. Иванова «О “факельщиках” и других именах собирательных» (1906. № 6).

¹⁸⁰ *Вторая книга «Факелов»* вышла уже без фамилии Г. Чулкова как редактора-издателя на обложке. В сборнике были помещены две его статьи: «Об утверждении личности» (опубликованная ранее в книге «О мистическом анархизме») и «Гайна любви». Впоследствии он писал: «...перечитал свою статью «Об утверждении личности». Эта статья — дурная, и я дорого бы дал, если бы можно было ее изничтожить». (Письмо жене от 6 января 1935 г. — ОР РГБ. Ф. 371. Оп. 2. Д. 31. Л. 1.)

¹⁸¹ *Давыдов* Иосиф Александрович (1866—1942) — экономист, философ-эмпириомонист.

¹⁸² *Мейер* Александр Александрович (1875—1939) — философ, публицист, в его книге «Религия и культура» (1909) разрабатывалась культурологическая концепция экзистенциального толка. Анализ философских работ А. Мейера см.: И с у п о в К.Г. Слово как поступок // Вопросы философии. 1992. № 7.

¹⁸³ *Шестов* Лев (наст. имя и фамилия Лев Исакович Шварцман; 1866—1938) — философ и писатель, предвосхитивший основные идеи экзистенциализма. Традиционной философии он противопоставил «философию трагедии», в центре которой — абсурдность человеческого существования.

¹⁸⁴ *Третья книга «Факелов»* вышла в 1908 г. с предисловием, в котором говорилось: «Продолжая защищать наши идеи в книгах и сборниках, посвященных вопросам литературно-философским и религиозно-общественным, мы в то же время в области поэзии остаемся верными заявлению, которое сделали раньше: «Полагая, что искусство само по себе является могучим орудием для борьбы с духом мещанства и косности, мы будем стремиться к тому, чтобы наши идейные цели раскрывались не в тенденциозности, а в свободном независимом творчестве».

В.Я. Брюсов

I

¹⁸⁵ «*Русские ведомости*» — одна из крупнейших русских газет (1863—1918), издавалась в Москве. С 1870 г. — орган либеральной интеллигенции. После 1905 г. перешла к кадетам.

¹⁸⁶ Чулков написал некролог А.П. Чехову (Новый путь. 1904, июль), перепечатанный под названием «Памяти Чехова» в сб. «Покрывало Изиды». Эволюцию Чехова-художника критик рассмотрел как переход от внешнего реализма к символизму: «конкретный мир» в произведениях писателя постепенно начал «трепетать иным светом», произошло раскрытие «реальности сокровенного», постижение «смысла реальной жизни как тайновидения» (Покрывало Изиды. С. 166—167). Статья очень понравилась М. Волошину, который писал автору: «Со статьей

о Чехове я очень и очень согласен. Она очень сильна и ярка в своей краткости» (ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 76).

¹⁸⁷ *Татьянин день* — 12 января по старому стилю. В этот день в 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета. В XIX — начале XX вв. студенты, преподаватели и выпускники университета ежегодно его отмечали: днем — торжественным актом в университете, вечером — традиционным ужином в ресторане «Эрмитаж».

¹⁸⁸ «Яр», «Стрельна» — загородные рестораны. При «Стрельне» имелся зимний сад с тропическими деревьями. «Яр» был открыт в Петровском парке (ныне Ленинградский проспект, 32); в нем выступали лучшие цыганские хоры, он был местом кутежей купцов и «золотой молодежи». В начале 1950-х гг. здание было перестроено для гостиницы «Советская».

¹⁸⁹ *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, представитель поэзии 1880-х гг., отразившей скорбь честного, не находящего места в жизни интеллигента и гражданские «некрасовские» мотивы. Даже после смерти имел множество поклонников, так называемых «надсонутых».

¹⁹⁰ В то время репертуар Малого театра составляли пьесы А.И. Сумбатова-Южина, И.В. Шпажинского, И.Н. Потапенко, П.П. Гнедича, Н.И. Тимковского

¹⁹¹ *Медичи* — знаменитый флорентийский род XV—XVIII вв., прославившийся покровительством искусству.

¹⁹² *Левитан* Исаак Ильич (1860—1900) — живописец-пейзажист, создатель пейзажа настроения.

¹⁹³ *Морозова* Варвара Алексеевна (урожд. Хлудова; 1850—1917) — вдова крупного московского капиталиста А.А. Морозова, гражданская жена В.М. Соболевского, редактора газеты «Русские ведомости».

¹⁹⁴ *Иванов* Иван Иванович (1862—1929) — историк литературы, критик.

¹⁹⁵ *Ермилов* Владимир Евграфович (1859—1918) — педагог, журналист, лектор. В поэме «Весенний лед» ему посвящены строки: «Москвич известнейший, Ермилов, // И журналист, и лицедей, // В среде скучнейшей и унылой // Он был, ей-Богу,

чародей...». И еще: «Ермилов пользовался лестной // Известностью. В московской пресной // Тогдашней жизни каждый знал, // Что он большой оригинал».

¹⁹⁶ *Эфрос* Николай Ефимович (1867—1923) — театральный критик, историк театра, журналист.

¹⁹⁷ *Кара-Мурза* Сергей Георгиевич (1878—1956) — журналист, книговед, библиофил.

¹⁹⁸ «*Курьер*» — ежедневная газета, выходявшая в Москве с 1897 г., превратившаяся из умеренного буржуазно-либерального издания в орган демократической печати. В 1904 г. была закрыта властями за оппозиционное направление.

¹⁹⁹ *Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, эссеист, собиратель сказок, легенд, апокрифов. О его творчестве Чулковым написана статья «Сны в подполье» (Наши спутники. М., 1922).

²⁰⁰ Брюсов записал в дневнике 15 января 1901 г.: «Вчера у Морозовых Чулков читал реферат обо мне, очень восторженный, но очень поверхностный. Я первый напал на референта и разобрал его реферат жестоко...» (Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 100—101).

²⁰¹ Чулков цитирует неточно: у Брюсова — «свои...».

²⁰² Речь идет о рецензиях-пародиях поэта, помещенных в «Вестнике Европы» (1894. № 8 и 1895. № 1).

²⁰³ *Яценко* Александр Семенович (1877—1934) — юрист, библиограф, литератор, издатель. В 1918 г. уехал в Берлин. Редактировал журнал «Русская книга». В статье «Пессимистическое искусство» сопоставил творчество Чулкова, Ф. Сологуба и Б. Зайцева (Новая жизнь. 1913. № 1).

²⁰⁴ *Балтрушайтис* Юргис (1873—1944) — русский и литовский поэт-символист, переводчик. В 1921—1939 гг. — полномочный представитель Литвы в СССР. В декабре 1919 г. Чулков обратился к нему с посланием «Юргису Балтрушайтису», опубликованным в сб. «Стихотворения Георгия Чулкова»:

Твоя душа похожа на тайгу:
Пустынность в ней и хмель зеленой влаги, —
Видение на сонном берегу,
Где тайно действуют шаманы-маги.

Но в час иной крылатая душа
Тебя влечет на светлые поляны.
Как даль ясна! Как странно хороша!
И как цветы весенним солнцем пьяны!

И жизнь твоя — дыхание земли —
Как рост зерна под гробовым покровом.
Где ж силы зла? Они изнемогли
Завороженные волшебным словом.

²⁰⁵ *Поляков* Сергей Александрович (1874—1942) — переводчик персидской и японской поэзии, владелец издательства «Скорпион» и издатель журнала «Весы».

²⁰⁶ Чулков намекает на свою первую книгу «Кремнистый путь».

²⁰⁷ *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт-символист, создатель «певучих» стихов, пронизанных «солнечным» настроением. Эмигрировал в 1920 г.

²⁰⁸ В отличие от многих, Чулков высоко ценил богатую инструментовку стихов Бальмонта, пленительную напевность его поэзии. Он считал, что «Бальмонт имеет право на опубликование всего, что он пишет» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 210).

II

²⁰⁹ О магическом воздействии В. Брюсова на современников А. Белый писал уже в сборнике «Золото в лазури». В 1904 г. он создает стихотворение «Маг», начинающееся строчками: «Упорный маг, постигший числа // И звезд магический узор».

²¹⁰ *Спиритизм* — магическое течение, согласно которому души умерших людей способны являться живым и даже влиять на события реального мира.

²¹¹ *Агриппа Неттесгеймский* Корнелий Генрих (1486—1535) — немецкий оккультист, алхимик, теолог, маг, врач, философ, писатель. Подробнее см.: Орсье Ж. Агриппа Неттесгеймский. М., 1913.

²¹² *Парацельс* (1493—1541) — немецкий врач, алхимик, естествоиспытатель.

²¹³ *Сведенборг* Эмануэль (1688—1772) — шведский философ-мистик.

²¹⁴ *Шюре* Эдуард (1841—1929) — французский писатель, историк религии.

²¹⁵ *Кардек* Аллан (Ипполит-Леон-Денизар; 1804—1869) — французский врач, спиритуалист. В России была переведена его работа «Философия спиритуализма» (1908).

²¹⁶ *Дю-Прель* Карл (1839—1899) — французский врач, оккультист, некоторые его труды («Философия мистики» и «Спиритизм») были переведены на русский язык в 1895 и 1904 гг.

²¹⁷ *Верхарн* Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт и драматург. Интерес к его произведениям сказался в переводческой деятельности Чулкова (им переведена пьеса Верхарна «Зори». СПб., 1906), а также в его оригинальном творчестве. В частности, явно подражательный характер носили опубликованные в «Вопросах жизни» (1905. № 9) стихотворения Чулкова «Башни», «Город».

²¹⁸ «Русские символисты» — известны три выпуска этих сборников (один в 1894 и два в 1895 гг.).

²¹⁹ *Белый* Андрей (наст. имя и фам. Бугаев Борис Николаевич; 1880—1934) — поэт, прозаик, теоретик символизма.

²²⁰ *Мореас* Жан (наст. имя Яннис Пападиамандопулос; 1856—1910) — французский поэт греческого происхождения. Ему принадлежит сам термин «символизм», теоретически обоснованный в «Манифесте символизма» (1886).

²²¹ *Маллармизм* — понимание символизма в духе французского поэта Стефана *Малларме* (1842—1898), развивавшего мысль о «постоянном параллелизме между миром идей и миром чувственных явлений», но одновременно создававшего светлую, утонченно-трепетную поэзию.

²²² В.Я. Брюсов. «Царю Северного полюса» (1898—1900).

²²³ *Сологуб* Федор (наст. фам. и имя Тетерников Федор Кузьмич (1863—1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Чулков утверждал, что, «отмежевываясь от общественности, Сологуб, помимо своей воли, ей служил» (Памяти Ф. Сологуба. На вечере в «Обществе друзей книги» // Вечерняя Москва. 1928. 16 января. № 13). В августе 1920 г. Чулков посвятил Сологубу стихотворение (опубл. в сб. «Стихотворения Георгия Чулкова»:

Ты иронической улыбкой
 От злых наветов огражден,
 И на дороге скользко-зыбкой
 Не утомлен и окрылен.

Ты искушаешь — искушаем —
 Гадаешь — не разгадан сам,
 Пренебрегаешь светлым раем,
 Кадишь таинственным богам.

Но ты предвидел все печали,
 И муку пламенных ночей,
 Когда ключи тебе вручали
 От заколдованных дверей.

²²⁴ С 1895 по 1912 г. Мережковские жили в знаменитом «доме Мурузи» (Литейный проспект, 24). Завсегдатаями их салона были первоначально сотрудники журнала «Мир искусства», позднее к ним присоединились священники, философы, молодые поэты-символисты.

²²⁵ Чулков, как и А. Блок, М. Кузмин, С. Городецкий и другие, был постоянным участником собраний у Вяч. Иванова. В поэме «Весенний лед» есть глава «Башня». В набросках к повести «Пустое небо» упоминается «Кружок 13», члены которого напоминают посетителей «Башни» — Горич (Блок), Маргарита, «известная своим прелестным дилетантизмом во всех областях искусства» (Маргарита Сабашникова). Они собираются, чтобы, «уединившись, отдыхать от уличной крикливости и защищаться от скуки жизни каламбурами, насмешливой дружбой, тонким вином и любовным притворством» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 29—30).

²²⁶ Деятельность *Московского литературно-художественного кружка* (1898—1920), проводившего свои вечера по вторникам на Б. Дмитровке, 15, играла значительную роль в культурной жизни дореволюционной Москвы. В 1902 г. Брюсов входил в состав дирекции, в 1908 г. был избран председателем дирекции этого кружка.

²²⁷ Правильнее «*Общество свободной эстетики*», или «*Единение*» (1906—1917); объединяло представителей различных кругов московской интеллигенции — музыкантов, актеров, художников, поклонников «нового искусства». Участни-

ки собирались по средам в доме Вострякова (Б. Дмитровка, 15). На одном из первых заседаний часть членов основала «Общество Леонардо да Винчи», других, впервые собравшихся в среду 8 ноября 1906 г., интересовали преимущественно литературные проблемы. С докладами и чтением своих произведений часто выступали А. Белый, В. Брюсов, Эллис.

²²⁸ Это, в частности, проделал А. Белый в статье «Апокалипсис в русской поэзии» (1905). Некоторые идеи этой статьи он развил в публикации «В. Брюсов (Силуэт)» (Свободная молва. 1908. № 1).

²²⁹ «Золотое руно» — литературно-художественный журнал (1906—1909), оппозиционно настроенный по отношению к «Весам». Редактор-издатель Н.П. Рябушинский (1876—1951) — меценат, пробовавший также свои силы в живописи и литературе. Чулков напечатал в журнале статьи, направленные против В. Брюсова: «Разоблаченная магия» (1908. № 1), в которой писал, что Брюсов уже не способен оказывать плодотворное влияние на современную литературу, и «Исход» (1908. № 7—9), где Брюсов был назван «поэтом для всех».

²³⁰ Рецензия напечатана в журнале «Перевал» (1907. № 4). В ней говорилось о «механичности» брюсовского искусства, являющего собой лишь подражание С. Пшибышевскому и Э. По.

²³¹ В.Я. Брюсов. «В ответ» (1902).

²³² Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, автор «Божественной комедии» (1307—1321). В лекции Чулкова «Достоевский и современность», которую он читал в 1910-е гг., говорилось, что Данте, в отличие от «неприемлющих мира» художников, является «архитектором» мира, «хранителем ключей от лабиринта культуры».

²³³ *Сервантес* Сааведра Мигель де (1547—1616) — испанский писатель, автор трагикомического пародийного романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский...». Чулков мечтал написать «комедию о Дон Кихоте настоящем, т.е. как у Сервантеса, об испанце XVII века» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 58 об.), и осуществил это намерение в начале 1930-х гг. Пьеса «Дон Кихот» была издана в 1935 г. и поставлена в Ленинграде в 1936 г.

²³⁴ Слова, отсылающие к философии Вл. Соловьева, ожидавшего преобразования мира. Показательно в этом плане название сборника Чулкова «Вечерние зори» (М., 1924), в подтексте намекающего на обман и иллюзии ложных верований.

III

²³⁵ Брюсовым написан критико-биографический очерк к полному собранию сочинений Ф.И. Тютчева (СПб., 1911). В стихотворении Чулкова «Памяти Тютчева» (Кремнистый путь) Федор Иванович *Тютчев* (1803—1873) назван «поэтом разлада, раздвоения», себя же автор определил как его «неизменного спутника». Впоследствии Чулков создал целую «тютчевяну»: отредактировал и прокомментировал полное собрание стихотворений (1933—1934, т. 1, 2), отредактировал и написал биографический очерк и примечания к сборнику «Стихотворения» (1935), собрал эпиграммы, афоризмы и остроты поэта («Тютчевяна». 1922), составил «Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева (1933), опубликовал несколько научных статей о наследии поэта.

²³⁶ Ф.И. Тютчев. «Цицерон» (1830).

²³⁷ «*Карманьола*» — французская народная революционная песня-пляска, созданная в 1792 г. восставшим народом Парижа по поводу взятия дворца Тюильри и падения королевской власти; исполняется на различные тексты. У Чулкова есть пьеса под этим названием (на сюжет П. Эрвье). В 1919 г. она была поставлена на сцене Государственного Показательного театра в Москве.

²³⁸ *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — революционер, публицист, теоретик анархизма. Чулков всегда проявлял интерес к его личности и философскому наследию. Он написал книгу «Михаил Бакунин и бунтари 1917 года» (М., 1917).

²³⁹ А.С. Пушкин. «Пир во время чумы» (1830).

²⁴⁰ *Робеспьеры* — Робеспьер Максимильен (1758—1794) и его брат Робеспьер Огюстен (1763—1794) — деятели Великой французской революции, якобинцы, казнены термидорианцами. *Мара* — Марат Жан Поль (1743—1793) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев, сподвижник М. Робеспьера, фактически возглавивший в 1793 г. революционное правительство. Организатор народного восстания

31 мая — 2 июня 1793 г. Издатель газеты «Друг народа». Убит Ш. Корде.

²⁴¹ В.Я. Брюсов. «Довольным» (1905). *Ассаргадон* — вернее, Асархаддон — ассирийский царь (680—669 до н.э.).

²⁴² Цитируются вторая и четвертая строфы стихотворения В.Я. Брюсова «Близким» (1905).

²⁴³ *Цезарь* Гай Юлий (102 или 100 — 44 до н.э.) — римский государственный деятель, полководец, диктатор (в 49, 48 — 46, 45, с 44 — пожизненно).

²⁴⁴ *Брут* Марк Юлий (85—42 до н.э.) — глава республиканского заговора против Цезаря и его убийца.

²⁴⁵ *Август* (63 до н.э. — 14 н.э., до 27 до н.э. Октавиан) — внучатый племянник Цезаря, усыновленный им в завещании. Император с 27 г. до н.э.

²⁴⁶ В.Я. Брюсов. «Братьям соблазненным» (1899).

^{246a} Цитата из «Книги от основания города» (XI) римского историка Тита Ливия (59 до н.э. — 17 н.э.).

Леонид Андреев

I

²⁴⁷ *Николай II* (1868—1918) — последний российский император (с 1894 г.), сын Александра III.

²⁴⁸ «Жизнь» — ежемесячный журнал для семейного чтения, один из ведущих органов демократической печати (1897—1901). Фактическим редактором являлся В. Поссе.

²⁴⁹ *Грузины* — район Большой и Малой Грузинских улиц в Москве.

²⁵⁰ *Зайцев* Борис Константинович (1881—1972) — писатель. Ранние произведения — в русле импрессионистической прозы. В эмиграции с 1922 г. Чулков посвятил его творчеству статью «Оправдание земли», а в марте 1920 г. обратился к нему с посланием (Стихотворения Георгия Чулкова).

²⁵¹ Имеется в виду отзыв Н.К. Михайловского на первую книгу Л. Андреева «Рассказы» Леонида Андреева. «Страх смерти и страх жизни» (Русское богатство. 1901. № 11).

²⁵² Возможно, Чулков имеет в виду стихотворение Ф.И. Тютчева «Вот от моря и до моря...» (1855), проникнутое мрачными предчувствиями, и его перевод «Из Микеланджело» (1855), где есть строки о «преступном и постыдном веке». Известно, что падение Севастополя во время Крымской войны (1853—1856) произвело на поэта «подавляющее и ошеломляющее впечатление».

²⁵³ *Тан* Н.А., или *Тан* В.Г. (наст. имя и фамилия Владимир Германович Богораз; 1865—1936) — поэт, писатель, этнограф, общественный деятель, одним из первых начал изучать историю, быт и нравы народов Севера. Помимо повестей и рассказов о жизни северных народов писал пафосно-революционные стихи-призывы. Его повесть «Дни свободы» (1906) посвящена событиям первой русской революции в Москве. Был близок к народолюбцам, неоднократно привлекался к суду.

²⁵⁴ Часовня Иверской Божьей матери располагалась у входа на Красную площадь. Рядом — на внешней стороне Воскресенских ворот висела чудотворная Иверская икона, список с Иверской иконы, находящейся в Иверском монастыре на Афоне. В настоящее время икона находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

²⁵⁵ А.С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум» (1835).

²⁵⁶ *А н д р е е в* Л. Памяти Владимира Мазурина (СПб., 1906). *Мазурин* Владимир Владимирович (1882—1906) — эсер-«максималист», активный участник Декабрьского вооруженного восстания в Москве, начальник летучей боевой дружины, выполнявшей приговоры созданного на Пресне военно-революционного трибунала, совершил ряд убийств московских полицейских; сторонник экспроприации (руководил экспроприацией Московского общества взаимного кредита — сумма похищенного 875 000 рублей); повешен.

II

²⁵⁷ *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, литературный критик, создатель так называемой органической критики, идеолог почвенничества — течения русской об-

щественной мысли 1860-х гг., родственного славянофилам, которое проповедовало сближение образованного общества с народом («почвой») на религиозно-этической основе.

²⁵⁸ *Успенский* Глеб Иванович (1843—1902) — писатель-народник, автор очерков «Власть земли» (1882). Последние годы жизни провел в психиатрической лечебнице.

²⁵⁹ «*Голубой цветок*» — синоним недостижимой мечты, романтического томления. Понятие возникло под влиянием главного символа неоконченного произведения немецкого поэта-романтика Новалиса (наст. имя Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) «Генрих фон Офтердинген» (опубл. в 1802 г.). Герою снится удивительный цветок, из голубых лепестков которого выступает нежное девичье лицо.

²⁶⁰ О глубоко потаенной, но всегда ощущаемой близости своего мироощущения андреевскому А. Блок рассказал в очерке «Памяти Л. Андреева» (1920).

²⁶¹ Сам Чулков тоже ориентировался на поэтическую традицию М.Ю. Лермонтова (1814—1841), а в 1900-е гг. работал над критической статьей о его творчестве (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед хр. 205). Книге «Кремнистый путь» он предпослал эпиграф из стихотворения «Выхожу один я на дорогу...».

²⁶² *Фет* Афанасий Иванович (наст. фам. Шеншин; 1820—1892) — поэт, оказал значительное влияние не только на раннего Блока, но и на все развитие русской поэзии конца XIX в.

²⁶³ Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской был создан в 1904 г. актрисой Верой Федоровной *Комиссаржевской* (1864—1910). Существовал до 1909 г.

²⁶⁴ Блок высоко оценил драму «Жизнь человека» в статье «О драме» (1907), но уже в статье «Ирония» (1908) он писал, что трагизм пьесы вызывает недоверие. Чулков же в рецензии на спектакль театра В. Комиссаржевской ограничился рассмотрением своеобразия режиссерского решения (Товарищ. 1907. 24 февраля. № 200).

²⁶⁵ *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ, представитель волюнтаризма, теоретик искусства. Основной философский труд — «Мир как воля и представление» (1819—1844).

III

²⁶⁶ Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и график, передвижник, член «Мира искусства», автор таких известных полотен, как «Девочка с персиками» (1887), «Девушка, освещенная солнцем» (1888), «М.Н. Ермолова» (1905). Дачу в поселке Ино (ныне Приветнино), неподалеку от Териок (ныне Зеленогорск), Серов приобрел в самом начале 1900-х гг.

²⁶⁷ «Знание» — издательство (1898—1919), а также крупнейшее литературное объединение писателей реалистического направления во главе с М. Горьким, издававшее сборники (1903—1913). Всего вышло 40 сборников. В 1901—1907 гг. «Знание» выпустило собрание сочинений Л. Андреева (в 4 т.).

²⁶⁸ «Шиповник» — частное издательство в Петербурге (1906—1918), основанное З.И. Гржебиным и С.Ю. Копельманом, выпускало литературно-художественные альманахи «Шиповник» (кн. 1—26; 1907—1917), тон в которых задавали писатели модернистского лагеря. Альманахи были полемически направлены против горьковских сборников «Знание».

²⁶⁹ «Издательство писателей» — Чулков имеет в виду «Книгоиздательство писателей в Москве», выпускавшее (1912—1919) последние тома собрания сочинений Л. Андреева.

²⁷⁰ В первой книге «Факелов» был помещен рассказ Л. Андреева «Так было».

²⁷¹ Например, «Девушка пела в церковном хоре...» (1905).

²⁷² «Северные цветы» — альманах, в котором печатались в основном символисты. Вышло четыре выпуска (1901, 1902, 1903, 1905). Андреев упоминает «последний» выпуск «Северные цветы ассирийские» (1905), где были опубликованы произведения А. Ремизова, З. Гиппиус, Вяч. Иванова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, В. Брюсова и др.

²⁷³ Речь идет о первой жене Л.Н. Андреева — Александре Михайловне (урожд. Велигорской; 1881—1906), смерть которой после рождения сына Даниила он тяжело переживал.

²⁷⁴ Это определение весьма показательно для Чулкова. Через все его творчество, начиная с повести «Слепые» и кончая

признанием: «личная моя жизнь <...> была слепая. И до сего дня я влачу бремя моей слепоты и греха» (ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 31. Л. 2), — проходит мотив религиозной слепоты человека и его надежды на религиозное прозрение. И в связи с Первой мировой войной он писал: «Надо быть религиозно слепым, чтобы не видеть в этот час «сверкающих мечей ангелов» (Чулков в Г. Судьба России. Пг., 1916).

Александр Блок

I

²⁷⁵ *Шмидт* Анна Николаевна (1851—1905) — нижегородская журналистка, автор религиозно-мистических сочинений, считавшая себя воплощением Софии — «вечной женственности», души мира, о чем она объявила Вл. Соловьеву.

²⁷⁶ «Третий завет» — произведение мистической литературы — был опубликован в 1916 г. в издании «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт». В архиве Чулкова (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 9) хранится рукопись сонета «Третий завет» с посвящением Вяч. Иванову, помеченная 16—18 августа 1924 г.:

Как опытный бретер владеет шпагой,
 Так диалектикой владеешь ты;
 Ты строишь прочные, как сталь, мосты
 Над бездною с великою отвагой.
 Патриотическим иль красным флагом
 Отмечены дороги красоты, —
 Под знаком белизны иль черноты:
 В руках художника все станет благом.
 Антиномический прекрасный ум, —
 Великолепны золотые сети
 Готических средневековых дум.
 Но слышишь ли, поэт, великий шум?
 То — крылья ангелов, — и мы, как дети,
 Поем зарю иных тысячелетий.

²⁷⁷ *Соловьев* Михаил Сергеевич (1862—1903) — педагог, переводчик, издатель сочинений Вл.С. Соловьева.

²⁷⁸ *Софианство* — центральное понятие философии Вл. Соловьева, воплощающее идею соборности, всечеловеческое единство, нерасторжимую цельность истины, добра и красоты, постигаемые «цельным» знанием, которое, в свою очередь, является синтезом эмпирического (научного), рационального (философского) и мистического (религиозно-созерцательного) знания.

²⁷⁹ *Метнер* Эмилий Карлович (1872—1936) — музыкальный критик, журналист, философ, руководитель издательства «Мусагет».

²⁸⁰ *Метнер* Николай Карлович (1879—1951) — композитор, пианист, писатель.

²⁸¹ См. публикацию М.В. Михайловой статьи Чулкова «Автоматические записи Вл. Соловьева» в журнале «Вопросы философии» (1992. № 8).

²⁸² *Дева Радужных Ворот* — одно из обозначений Софии — мифологемы, положенной Вл. Соловьевым в основу религиозного учения.

²⁸³ Первая книга А. Блока — «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

²⁸⁴ «*Нечаянная радость*» — второй сборник стихов А. Блока (1907). «*Снежная ночь*» — третья книга А. Блока (1912).

²⁸⁵ Имеется в виду известный портрет поэта, написанный Константином Андреевичем *Сомовым* (1869—1939) в 1907 г.

²⁸⁶ *Бекетов* Андрей Николаевич (1825—1902) — ученый-ботаник, дед А. Блока по материнской линии. Но родные находили у Блока сходство не с ним, а с другим дедом — по отцовской линии — Л.А. Блоком.

²⁸⁷ *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт-романтик, драматург, теоретик искусства.

²⁸⁸ Таким Блок выведен в рассказе Чулкова «Парадиз».

²⁸⁹ *Кублицкий-Пиоттух* Франц Феликсович (1860—1920) — гвардейский офицер, второй муж матери Блока — А.А. Бекетовой.

²⁹⁰ *Блок* Любовь Дмитриевна (урожд. Менделеева, 1881—1939) — жена А. Блока, актриса, стала прообразом героини повести Чулкова «Слепые» (1911). Написала воспоминания об

А. Блоке «И были и небылицы о Блоке и обо мне». В последние годы жизни занималась исследованиями в области хореографии.

²⁹¹ *Эзотеризм* (г р е ч. — таинство) — учение о «тайном», понятное только посвященным. Таким «тайным» для младосимволистов было «соловьевство».

²⁹² См коммент. 129 на с. 682.

²⁹³ *Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891) — философ, прозаик, публицист, литературный критик.

Оригинальные философские идеи были развиты им в работах «Византизм и славянство», «Племенная политика как оружие всемирной революции».

²⁹⁴ В «Жизни» печатались К. Бальмонт, И. Бунин и др.

²⁹⁵ А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (1816).

²⁹⁶ «*Последние дни императорской власти*» — хроникальное повествование, написанное на основе документов А. Блоком.

В 1917 г. Блок был привлечен к работе в Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию действий царских министров и других высших чиновников. Книга опубликована в 1921 г.

²⁹⁷ *Рекамье* Юлия Аделаида (1777—1849) — француженка, светская красавица, хозяйка известного литературного салона.

²⁹⁸ *Люцифер* (л а т. светоносец). — У древних греков считался сыном Авроры. В раннехристианской литературе одно из имен дьявола.

²⁹⁹ О горьком запахе миндаля А. Блок писал в стихотворении «Здесь в сумерки в конце зимы» (1909) и в статье «О современном состоянии русского символизма» (1910). «Горький миндаль» — название рассказа Г. Чулкова (1935).

³⁰⁰ «*Дом Мурузи*» — см. коммент. 224 (с. 698)

³⁰¹ *Летний сад* — парк в центральной части Санкт-Петербурга на острове, образованном реками Фонтанка, Мойка и Лебяжьим каналом, памятник садово-паркового искусства первой трети XVIII в.

Заложен в 1704 г. по повелению и первоначальному плану Петра I при его летней резиденции.

³⁰² Речь идет об исследованиях Д.С. Мережковского «Толстой и Достоевский». Т. 1—2. (СПб., 1901—1902), «Гоголь и черт» (1906).

³⁰³ *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, публицист, религиозный мыслитель. Изречение Розанова «Пусть я не талантлив: тема-то моя гениальна» было известно (в нескольких вариантах), вероятно, в устной передаче; в его произведениях оно не обнаружено.

³⁰⁴ *Минский* Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855—1937) — поэт, автор работ по философии, религии, общественным вопросам. Самые известные из них — «При свете совести. Мысли и мечты о смысле жизни» (1890) и «Религия будущего (Философские разговоры)» (1905), в которых разрабатывалась теорию «меонизма».

³⁰⁵ *Карташев* Антон Владимирович (1875—1960) — религиозный мыслитель, историк церкви, доцент Петербургской Духовной академии, преподавал на Высших женских курсах. С 1909 г. — председатель Религиозно-философского общества в Петербурге, в правительстве А.Ф. Керенского занимал пост обер-прокурора Синода.

³⁰⁶ *Успенский Владимир* (по некоторым данным Василий) Васильевич — богослов, профессор Петербургской Духовной академии, член Религиозно-философского общества в Петербурге, сотрудник «Нового пути».

³⁰⁷ *Смирнов* Александр Александрович (1883—1962) — поэт, историк зарубежных литератур, переводчик.

³⁰⁸ *Пестовский* Владимир Алексеевич (псевд. Пяст; 1886—1940) — поэт, переводчик, стиховед, мемуарист. О событиях литературной жизни начала XX в. рассказал в мемуарах «Встречи» (1930).

³⁰⁹ Статья принадлежала З.Н. Гиппиус.

³¹⁰ В Религиозно-философское общество было преобразовано в 1907 г. Религиозно-философские собрания, открывшиеся в Петербурге в 1901 г. по инициативе Д.С. Мережковского, В.С. Миролубова, А.Н. Бенуа, В.В. Розанова, В.А. Тернавцева. Председателем был ректор Духовной академии епископ Сергей. Главным принципом проведения собраний стали условия «со-

вершенной терпимости», возможность высказать любые суждения, независимо от их религиозного и философского содержания. Цель — возрождение интеллигенции, претерпевающей нравственный кризис, на почве истинного христианства. Отчеты публиковались в журнале «Новый путь».

³¹¹ *Тернавцев* Валентин Александрович (1866—1940) — писатель-богослов, деятель Религиозно-философского общества в Петербурге, с 1907 г. чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода.

³¹² *Сенакль* — в первоначальном значении — зала, где проходила Тайная Вечеря; *зд.* — собрание людей, объединенных общими интересами.

³¹³ Слова, сказанные Пушкиным в разговоре с Гоголем (Г о г о л ь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 8. М., 1952. С. 229).

³¹⁴ *Мякотин* Венедикт Александрович (1867—1937) — историк и публицист, после 1917 г. в эмиграции.

³¹⁵ Слова Блока из его статьи «Интеллигенция и революция» (1918).

³¹⁶ Возможно, имеется в виду один из островов: Васильевский, Петроградский, Каменный, Елагин.

³¹⁷ *Одегетика* (г р е ч.) — руководство, путеводительство, ведущая идея.

^{317a} На «Башне» неоднократно бывал Луначарский, участвовавший, в частности, в одной из дискуссий об Эросе. По словам Бердяева, он видел «в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса» (Б е р д я е в Н.А. Ивановские среды // И в а н о в а Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 322).

³¹⁸ Чулков имеет в виду обострение своих личных взаимоотношений с А. Блоком, З.Н. Гиппиус и А. Белым.

II

³¹⁹ *Отречение Блока от «мистического анархизма»* было официально подтверждено в его «Письме в редакцию», в котором он писал: «...высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с «мистическим анархизмом», о чем свидетельствуют мои стихи и проза» (Весы. 1907. № 8).

³²⁰ Чулков ошибается. Заглавие доклада Блока — «Обожествление народа в литературе» (название предложил С.А. Венгеров); в «Золотом руне» (1909. № 1) доклад опубликован под заголовком «Россия и интеллигенция». Статья «Интеллигенция и народ» написана Д. Мережковским (Речь. 1908. 16 ноября); впоследствии печаталась под названием «Народ и интеллигенция». Литературное общество было основано в Петербурге в 1907 г.

³²¹ Книга статей Блока называлась «Россия и интеллигенция».

³²² Чулков имеет в виду свою статью «Memento mori» (Речь. 1908. 22 декабря. № 315).

³²³ «Овца без стада» — очерк написан в 1877 г. В нем отразились впечатления автора от встреч с народниками за границей.

³²⁴ Чулков ошибается относительно времени чтения блоковского доклада. Блок прочитал его 30 декабря 1908 г., а статья Чулкова появилась в «Золотом руне» спустя месяц (1909. № 1).

³²⁵ Подразумевается книга Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Цитаты из нее приводятся Блоком в статье «Народ и интеллигенция».

³²⁶ Статья А. Блока «Ирония» была опубликована в газете «Речь» 7 декабря 1908 г.

³²⁷ Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, прозаик, публицист. В произведениях Гейне (впрочем, как и у Дж. Байрона и Н.А. Некрасова) романтическая ирония, обнажавшая разлад мечты и действительности, претерпела эволюцию, приобретя оттенок «горечи», «провокаторства». Поэт равно иронизирует и над объективным злом, и над собственным бессилием в его преодолении.

³²⁸ В петербургском альманахе «Белые ночи», вышедшем в 1907 г., напечатаны произведения М. Кузмина, М. Волошина, Вяч. Иванова, С. Городецкого. Редакторами были А. Блок и Г. Чулков.

³²⁹ Чулков неточно воспроизводит название пьесы Ф. Сологуба «Победа смерти» (1908). Пародирование и ироническое переосмысление мотивов блоковской поэзии можно обнаружить в репликах Поэта, являющегося действующим лицом пролога.

³³⁰ «Одна ночь» — незаконченный рассказ Чулкова. Рукопись хранится в РГАЛИ.

³³¹ Стихотворение «Белая ночь» датировано А. Блоком 28 мая 1908 г.

³³² «Снежная маска» — книга стихов, изданная в 1907 г., написана под впечатлением знакомства с актрисой драматического театра В.Ф. Комиссаржевской — Натальей Николаевной Волоховой (1878—1966). Ее черты воспроизведены в образе одной из героинь повести Чулкова «Слепые».

³³³ Поэзия Е.А. Баратынского (1800—1844) была близка и Чулкову. Над статьей о поэте он работал в середине 1910-х гг. (черновик хранится в РГАЛИ).

³³⁴ «Роза и Крест» — драма А. Блока. Написана в 1912—1913 гг.

³³⁵ Песня героя пьесы Бертраана, прозванного Рыцарь-Несчастье.

³³⁶ По-видимому, речь идет об Эдгаре Аллане По (1809—1849) — американском писателе, оказавшем влияние на французских и русских символистов. Его произведения строились на «тотальном эффекте», который должен был являться интегральной суммой многочисленных компонентов, включая железную целесообразность звеньев сюжета, единство предмета и стиля. По высоко ценил сознание, которому доступны интуитивные прозрения, но которое ставит их под железный контроль логического анализа. Эти особенности творчества писателя Чулков и обозначил термином «математический символизм».

³³⁷ «Ночные часы». Четвертый сборник стихов Блока. 1908—1910 (М., 1911).

³³⁸ «Белая лилия» — пьеса (1880) Вл. Соловьева, впервые опубликована в 1893 г.

³³⁹ «Оправдание добра» (1897) — богословское сочинение Вл. Соловьева, трактующее этические вопросы.

³⁴⁰ Анапест — трехсложный стихотворный размер с ударением на последнем слоге.

Федор Сологуб

I

³⁴¹ *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — поэт-сатирик, фельетонист, критик.

³⁴² В статье «Светлеют дали» («Весы» 1904. № 4) Чулков провозглашал: «Мы... накануне великих откровений... Мы делаемся причастными величайшему прозрению, отвергая те пути познания, которыми следовало заблудившееся человечество».

³⁴³ Портрет (1902) Бориса Михайловича *Кустодиева* (1878—1927) воспроизведен в сборнике стихов Ф. Сологуба «Пламенный круг» (1908).

^{343*} Тетерникова Ольга Кузминична (1865—1907) зарабатывала на жизнь шитьем. Окончив повивальный институт, получила диплом повивальной бабки. Умерла от туберкулеза.

³⁴⁴ Такое название получили беседы, которые вел на философские, политические и религиозные темы со своими учениками Платон Афинский (428 или 427—348 или 347 гг. до н.э.).

³⁴⁵ *Ареопаг* (греч.) — высший орган судебной и политической власти в древних Афинах, зд. — собрание авторитетных лиц для решения каких-либо вопросов.

³⁴⁶ *Кузмин* Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, критик, композитор. Написал рецензию на вторую книгу рассказов Чулкова (Аполлон. 1910. № 6).

³⁴⁷ Пьеса «Дар мудрых пчел» читалась на одной из «суббот» в театре В.Ф. Комиссаржевской.

³⁴⁸ *Великий четверг* — день страстной недели, когда Римская церковь примирялась со всеми кающимися грешниками и изрекала анафему на всех упорствующих, день когда служится литургия Василия Великого. В Евангелии этому дню соответствует Тайная Вечеря и Моление о чаше.

³⁴⁹ Ср.: «... и на ложе, приготовленном будто для Венеры или царицы Клеопатры, полулежал седой человек...

— Зачем вы устроили ему такое поэтическое ложе?

— Я же не знал, какого он вида и возраста...

Повернув свое бледное с лоснящимся, как у покойника, лбом лицо на минуту к шепчущимся, перевернув шумно и не-

спешно страницу, сидящий на ложе снова начал...» (К у з м и н М. Картонный домик // Белые ночи. СПб., 1907. С. 123—124).

³⁵⁰ «Куранты любви» — стихи М. Кузмина, положенные им на музыку. Впервые опубликованы в «Весах» (1909. № 12).

³⁵¹ «Мелкий бес» — один из символов художественного мира Ф. Сологуба. Так назван его самый знаменитый роман (отдельной книгой опубликован в 1907 г.).

³⁵² Чеботаревская Анастасия Николаевна (1875—1922) — прозаик, критик, переводчица. Составила сб. «О Федоре Сологубе. Критика, статьи и заметки» (СПб., 1911), в который были включены главным образом хвалебные отзывы о писателе.

II

³⁵³ В «Вопросах жизни» были опубликованы только шесть (18—23) глав романа (1905. № 6—11).

³⁵⁴ Строки из стихотворения А.С. Пушкина «Поэту» (1830).

³⁵⁵ В 1913—1914 гг. было выпущено 20 томов.

³⁵⁶ Речь идет о стихотворении Чулкова «Песня» («Стоит шест с гагарой...»).

³⁵⁷ Стихотворение опубликовано в собрании сочинений Ф. Сологуба (СПб., 1913—1914. Т. XVII. С. 215); датировано 29 декабря 1913 г.

³⁵⁸ Имеется в виду сборник «Стихотворения Георгия Чулкова».

³⁵⁹ «Перевал». 1906. № 1.

³⁶⁰ Здесь Ф. Сологуб отсылает адресата к своей статье «Истинно русские люди» (Новости и Биржевая газета. 1905. 17 января. № 10. С. 2). Ср.: «Существует в России не очень многочисленная, но довольно шумливая и самоуверенная группа людей, которая отличается тем, что настойчиво уверяет всех и каждого:

— Мы — истинно русские люди. Наш образ мыслей — и только наш — основан на исконно русских началах. Только не русские люди могут думать не согласно с нами. Всех не согласно с нами мыслящих следует презирать и ненавидеть, так как они — враги. Внутренние враги. И они заодно с внешними врагами. Только еще опаснее».

³⁶¹ *Монада* — понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения основополагающих, конструктивных элементов бытия. У Г.В. Лейбница (1646—1716) — психическая активная субстанция.

³⁶² *Говеть* — поститься, посещать церковные службы, готовясь к исповеди и причастию.

³⁶³ *Нарцисс* — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, наказанный Афродитой за то, что отверг любовь нимфы Эхо: влюбившись в собственное отражение в воде, он умер и был превращен в цветок, названный его именем.

³⁶⁴ Книги с таким названием у Чулкова нет, но она была анонсирована в брошюре «О мистическом анархизме».

³⁶⁵ Стихотворение помечено 29 ноября 1892 — 27 января 1900 г. (С о л о г у б Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 240).

³⁶⁶ *Геликон* — музыкальный инструмент, разновидность басовой и контрабасовой трубы, сконструированной в России в первой половине XIX в.

³⁶⁷ «*Давно в степи блуждая дикой...*» (1904) (С о л о г у б Ф. Стихотворения. С. 302).

³⁶⁸ Правильно: «Земле». Чулков приводит неточно седьмую строку: у Сологуба — «детей святого Феба» (С о л о г у б Ф. Стихотворения. С. 322).

³⁶⁹ Строки из стихотворения «Раб французский иль германский...» (1914) (С о л о г у б Ф. Стихотворения. С. 391).

³⁷⁰ С о л о г у б Ф. Соборный благовест. Пб., 1922. С. 34.

III

³⁷¹ *Эрберг* (наст. фам. Сюннерберг) Константин Александрович (1871—1942) — теоретик искусства, критик, поэт. У Чулкова есть развернутая рецензия на его книгу «Цель творчества. Опыт по теории творчества и эстетике» (М., 1913), в которой он проводит мысль, что автор оригинально освещает старые идеи безусловной свободы творчества, характеризуя художника как раба, возжелавшего свободы (Пустое небо // Аполлон. 1913. № 10). «Воспоминания» Эрберга опубликованы С.С. Гречишкиным и А.В. Лавровым в «Еже-

годнике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год» (Л., 1979).

³⁷² Речь идет о А.М. Ремизове, который был организатором «Обезьяньей Великой и Вольной палаты» («Обезвелволпал») и ее бессменным «канцеляриусом», с чем и были связаны его многочисленные мистификации.

³⁷³ Имеется в виду А.Н. Толстой.

³⁷⁴ Переписка по этому поводу сохранилась в архиве Чулкова в ОР РГБ. В письме от 6 февраля 1911 г. Сологуб писал:

«Дорогой Георгий Иванович,

Я с большим огорчением узнал, что Вы продолжаете поддерживать отношения с гр<афом> Алексеем Ник<олаевичем> Толстым. Образ действий графа Ал<ексея> Ник<олаевича> Толстого вынуждает меня не посещать тех домов, где он принят.

*Преданный Вам
Федор Тетерников»*

(Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 76. Л. 34).

В ответе Чулков замечает, что не раз происходили ссоры с кем-то из общих знакомых, но никогда никто не требовал, чтобы «прекращали отношения с теми, кто поссорился с нами». Далее он так поясняет свою мысль: «чтобы судить человека, надо выяснить его преступный «образ действий» и выслушать его самого». Он также уверяет, что «уважает, ценит, любит и дорожит добрым отношением к себе Сологуба и, конечно, предпочтет поддерживать отношения с ним, а не с графом Толстым, с которым познакомился недавно, но не согласен официально отказать ему от дома» (Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 27. Л. 1).

³⁷⁵ Возможно, подразумевается стихотворение «И я провел безумный год...» (1907), в котором есть строка «И вьется шлейф, как хвост кометы...»

³⁷⁶ А. Блок. «Поэты» (1908).

³⁷⁷ Стихотворение датировано 8 апреля 1919 г.

³⁷⁸ *Апостол Петр* — один из двенадцати апостолов, учеников Христа, о которых говорится в Евангелии. После вознесения Христа проповедовал в Антиохии, Малой Азии и в Коринфе, оставил Послание, вошедшее в книгу Нового

завета. По приказанию императора Нерона был заключен в темницу, где принял мученическую смерть.

Современники

³⁷⁹ Во второй половине 1920-х гг. М. Кузмин выпустил лишь книгу стихов «Форель разбивает лед» (1929). В эти годы он интенсивно занимался переводами.

³⁸⁰ Впервые частично опубликованы: Весы. 1906. № 1. Полностью вошли в сб. «Сети» (1908).

³⁸¹ «Зеленый сборник стихов и прозы» вышел в Петербурге в 1905 г. В нем помимо упомянутых в тексте были напечатаны произведения Ю. Верховского, П. Конради, Вл. Волькенштейна. В рецензии на сборник А. Блок отметил излишнюю «литературность» и «начитанность» авторов (Вопросы жизни. 1905. № 7).

³⁸² *Менжинский* Вячеслав Рудольфович (1874—1934) — видный партийный деятель, член РСДРП с 1902 г. С 1918 г. — нарком финансов РСФСР. Председатель ОГПУ с 1926 г. От литературной деятельности отошел очень рано.

³⁸³ См.: Весы. 1906. № 11. В повести описаны гомосексуальные отношения героев.

³⁸⁴ Портреты Кузмина (один — акварелью, второй — гуашью) написаны К.А. Сомовым в 1909 г., представляют собой варианты.

³⁸⁵ Портрет Блока создан в 1907 г. (цв. карандаш, гуашь), портрет Вяч. Иванова — в 1906 г. (карандаш).

³⁸⁶ Намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию К.А. Сомова.

³⁸⁷ *Александрия* — город, основанный Александром Македонским в 332—331 гг. до н.э. В Египте, был международным торговым и культурным центром Востока. В IV—V вв. постепенно наступил экономический и культурный упадок города.

³⁸⁸ «Пролог» — сборник житий святых, патериковых легенд, созданных в Византии в X—XI вв. Название «Пролог» на

русском языке появилось в результате ошибки редактора, принявшего вступление (пролог) за название сборника.

³⁸⁹ *Казанова* Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский писатель, авантюрист, оставивший «Мемуары» (написаны в 1791 — 1798 гг., опубликованы в 1822—1828 гг.).

³⁹⁰ Подразумевается направление в поздней античной культуре, отличающееся внешней изощренностью формы и внутренним творческим упадком.

³⁹¹ *Городецкий* Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, критик. Отозвался о прозаических произведениях Чулкова (Речь. 1911. 21 марта. № 78). В августе 1920 г. Чулков написал послание «Сергею Городецкому» (см.: Стихотворения Георгия Чулкова).

³⁹² Сборник «Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические» вышел в Петербурге в 1907 г. О скифских мотивах этого сборника упомянул М. Волошин, сказав, что его автор «молодой фавн, прибежавший из глубины скифских лесов», воплотивший «самые глубины древнего творческого сознания», «самые недра народного духа» (Русь. 1906. 19 дек. № 80). Рецензия в «Весах» (1907. № 2) акцентировала внимание читателей на «мощи смелого взлета, юношеской дерзости обещаний, новизне песен, запетых на свой лад» (с. 83). Более строго отнесся к книге С. Соловьев, написавший, что, обладая «даром мифотворчества», Городецкий тем не менее многое сшил на «живую нитку», и сборник местами «расползается от прикосновения критического анализа» (Золотое руно. 1907. № 2. С. 89).

³⁹³ О каком рассказе идет речь, установить не удалось.

³⁹⁴ Место публикации стихотворения не найдено.

³⁹⁵ «*Крестовые сестры*» впервые опубликованы в альманахе «Шиповник» (1910. Кн. 13).

³⁹⁶ Действительно, первой публикацией А.М. Ремизова был рассказ-причитание «Плач девушки перед замужеством» (под псевдонимом Н. Молдованов), напечатанный в «Курьере» (1902. 8 сентября. № 242).

³⁹⁷ *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — историк литературы и революционного движения, драматург (его пьеса «Заговор императрицы» в соавторстве с А.Н. Толстым — име-

ла сенсационный успех), сценарист. Наиболее известное его исследование «Дуэль и смерть Пушкина» (1916).

³⁹⁸ *Луначарский* Анатолий Васильевич (1875—1933) — советский государственный и партийный деятель, критик, публицист, писатель, член РСДРП с 1895 г., с 1917 г. — нарком просвещения.

³⁹⁹ «*Лимонарь*» — точнее, «Лимонарь, сиречь: Луг духовный» (СПб., 1907); «*Сказки*» — скорее всего Чулков имеет в виду не отдельное издание, а жанр произведений; «*Посолонь*» — книга сказок была выпущена в Москве в 1907 г.

⁴⁰⁰ *Буслаев* Федор Иванович (1818—1897) — филолог и искусствовед, академик Петербургской Академии наук (1860), представитель мифологической школы и миграционной теории в словесности.

⁴⁰¹ *Тихонравов* Николай Саввич (1832—1893) — литературовед, археограф, основатель культурно-исторической школы.

⁴⁰² *Афанасьев* Александр Николаевич (1826—1871) — историк, литературовед, фольклорист, адепт мифологической школы.

⁴⁰³ *Веселовский* Александр Николаевич (1838—1906) — филолог, историк литературы, основоположник сравнительно-исторического метода, родоначальник исторической поэтики.

⁴⁰⁴ *Аничков* Евгений Васильевич (1866—1937) — историк литературы, фольклорист, критик. Им написана рецензия на драму Чулкова «Адония».

⁴⁰⁵ Рецензия А. Ремизова на книгу Л. Шестова опубликована в «Вопросах жизни» (1905. № 7. С. 204).

⁴⁰⁶ *Верховский* Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, литературовед, переводчик.

⁴⁰⁷ *Пелей* — мифический царь Фтии в Фесалии, от брака которого с нимфой Фетидой родился Ахилл, герой гомеровского эпоса «Илиада».

⁴⁰⁸ За четыре месяца до этого, 22 июня 1924 г., Чулков посвятил Юрию Верховскому сонет:

Поэта сердце влажно, как стихия,
Здесь на земле рожденных Небом вод.
В нем вечен волн волшебных хоровод —
Вопль радости иль жалобы глухие.

Немолчно в нем звучат струи живые,
 Сам океан в ином как бы поет,
 В ином поток крушит суровый лед,
 В ином вздыбилась водопада выя.

А ты, поэт, и прост, и величав.
 Так озеро в таинственной долине
 Незыблемо от века и донныне.

Поэт взыскательный! Ты мудр и прав.
 Любезен мне твой безмятежный нрав;
 Слышней грозы безмолвие пустыни.

(РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 4).

⁴⁰⁹ Видимо, речь идет о несогласии В. Пяста с блоковской оценкой революции. После чтения Л.Д. Блок поэмы «Двенадцать» на вечере «Арзамаса» в Тенишевском училище в 1918 г. от выступлений отказались В. Пяст, А. Ахматова, Ф. Сологуб. Подробнее об этом: Переписка А. Блока с Вл. Пястом // Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Кн. 2. М., 1981. С. 191. С. Алянский вспоминал, что после появления поэмы «Двенадцать» Владимир Пяст в каком-то общественном месте отказался пожать протянутую Блоком руку (Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 263).

⁴¹⁰ *Ауслендер* Сергей Абрамович (1886—1943) — прозаик, критик. Рецензировал вторую книгу рассказов Чулкова (Речь. 1910. 8 марта. № 65). Репрессирован.

⁴¹¹ *Кларизм* (от фр. clair — ясный) — имеется в виду основная идея статьи М. Кузмина «О прекрасной ясности» (1910).

⁴¹² *Толстой* Алексей Николаевич (1882/83—1945) — прозаик, драматург, поэт. Написал рецензию на вторую книгу рассказов Чулкова в «Новом журнале для всех» (1910. № 18), в которой отметил, что творчество писателя «созвучно эпохе революции и религиозных движений».

⁴¹³ Чулков не совсем точен: А.Н. Толстой дебютировал рассказом «Архип» в «Новом журнале для всех» (1909. № 1).

⁴¹⁴ Чулков ошибается: Лев Николаевич и Алексей Николаевич имели общего предка — Петра Андреевича Толстого, сподвижника Петра I.

⁴¹⁵ Чулков написал несколько статей о творчестве А.Н. Толстого. Так, «Проклятая десятина» появилась в «Откликах» (№ 6 — Приложение к газете «День». 1914. 13 февраля. № 43). Ранее им была опубликована рецензия на первую книгу повестей и рассказов А.Н. Толстого (Новая жизнь. 1910. Декабрь. № 1), в которой критик сравнивал Толстого с Рубенсом, но тем не менее уточнял, что писатель «смотрит на мир с полубеспечным, полугрустным изумлением», а в сумерках изображаемого им быта таится начало страшное и вечное».

⁴¹⁶ *Званцева* Елизавета Николаевна (1864—1922) — художница. В 1899 г. открыла в Москве художественную мастерскую, просуществовавшую до 1906 г. Затем в 1909—1916 гг. организовала студию в Петербурге.

⁴¹⁷ *Кармина* Елена Ивановна — художница. Сотрудничала с Е.Н. Званцевой в Петербурге.

⁴¹⁸ Имеется в виду письмо с обращением «Благодарю Вас, милый брат Леонид» от 19 ноября 1909 г. (Т о л с т о й Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 80. С. 203—204). Чулков мог прочитать его в издании: Письма Л.Н. Толстого / Под ред. П.А. Сергиенко (Т. 2. М., 1911.)

⁴¹⁹ *Нечаев* Сергей Геннадиевич (1847—1882) — участник российского революционного движения, руководитель тайного общества «Народная расправа», сторонник самых крайних мер, вплоть до убийства. Его деятельность, получившую нарицательное обозначение нечаевщина, критиковали деятели I Интернационала и русские революционеры.

⁴²⁰ *Пугачев* Емельян Иванович (1740 или 1742—1775) — предводитель крестьянской войны (1773—1775). В 1774 г. был выдан заговорщиками властям. Казнен.

⁴²¹ *Разин* Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — предводитель крестьянской войны (1670—1671). Выдан правительству. Казнен.

⁴²² Скорее всего, Чулков упоминает «Собрание стихотворений» (СПб., 1905).

⁴²³ *Добролюбов* Александр Михайлович (1876—1944 ?) — поэт, религиозный проповедник. Им была основана секта «добролюбовцев». В статье «Александр Добролюбов» (Ч у л к о в Г.

Покрывало Изида) Чулков писал, что он «один из тех людей, вся жизнь которых — поэма» (С. 96).

⁴²⁴ *Франциск Ассизский* (1181 или 1182—1226) — см. о нем коммент. 3 (с. 792).

⁴²⁵ Несколько перефразированные слова из Евангелия: «Кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12. 48).

⁴²⁶ *Эол* — повелитель ветров, живший на о. Эолия. Он подарил Одиссею мешок, в который были спрятаны бурные ветры. Спутники Одиссея его развязали, чем навлекли страшную бурю.

⁴²⁷ Это стихотворение Вяч. Иванова датировано 3 декабря 1919 г. Существует вариант, отличающийся от приведенного Чулковым: первая строка — «Да, сей пожар мы поджигали...» и конец последней строфы: «Поет Трагедия: «Все грех, // Что действие, Жизнь: «Все за всех», // А Воля действенная: «Действуй!»

⁴²⁸ *Лещенко Дмитрий Ильич* (1876—1939) — профессиональный революционер, журналист, впоследствии деятель советской кинематографии.

⁴²⁹ *Каменева Ольга Давыдовна* (урожд. Бронштейн; 1883—1941) — участница революционного движения, жена Л.Б. Каменева, сестра Л.Д. Троцкого, заведовала театральным отделом Наркомпроса. Расстреляна в Орловском центре органами НКВД.

⁴³⁰ *Коллонтай Александра Михайловна* (урожд. Домонтович; 1872—1962) — советский государственный деятель, дипломат, литератор, публицист.

⁴³¹ Здесь Чулков явно льстит большевикам. Его слова опровергают сборники «Литературный распад» (I — 1908; II — 1909), в которых была объявлена непримиримая война модернистам, хотя А. Луначарский и занимал в этом споре особую позицию — цена их достижения.

Кризис декадентства

⁴³² Философские идеи Фридриха *Ницше* (1844—1900) — немецкого философа, филолога, писателя, представителя иррационализма и волюнтаризма, и Макса *Штирнера* (наст. имя

Каспар Шмидт; 1806—1856) — немецкого философа, младогегельянца, отстаивавшего последовательный эгоцентризм, послужили основанием философско-эстетической концепции старших символистов.

⁴³³ «*Перевал*» — ежемесячный журнал (1906—1907); редактор — С.А. Соколов (Кречетов).

⁴³⁴ *Тастевен* Генрих Эдмундович (1880—1915) — литературный критик, журналист, секретарь редакции журнала «Золотое руно». В некрологе (Речь. 1915. 9 июня. № 186) Чулков отмечал его веру в культурное и религиозное возрождение России.

⁴³⁵ *Фор* Поль (1872—1960) — французский поэт-символист, драматург, деятель культуры, автор сборников «Французские баллады» (стихи в форме ритмической прозы). В 1912 г. избран «королем французских поэтов», посетил Россию в 1914 г. В черновиках Чулкова сохранились переводы из П. Фора (например, стихотворение «Ты красивее всех...»). П. Фора переводили Брюсов и Бальмонт.

⁴³⁶ *Мерсеро* Александр (псевд. Эсмер-Вальдор; 1884—1945) — французский поэт, прозаик, критик, член литературного кружка «Аббатство». В 1908 г. жил в России, печатался в журнале «Золотое руно».

⁴³⁷ В «Золотом руно» напечатаны статьи: «Ницше и современный кризис» (1907. № 7—9), «Импрессионизм и новые искания» (1908. № 7—9), «По звездам» (1909. № 6), «Возрождение стиля» (1909. № 12). В последней анализируется творчество Г. Чулкова.

⁴³⁸ «*Разоблаченная магия*». Золотое руно. 1908. № 1.

⁴³⁹ «*Фауст и мелкий бес*». Речь. 1908. 8 декабря. № 301.

⁴⁴⁰ См.: *Перевал*. 1907. № 4.

⁴⁴¹ *Зоил* (греч. Zoilos) — известный древнегреческий философ и ритор IV в. до н.э. Его имя стало нарицательным и обозначает несправедливого, придиричливого, язвительного критика. За гиперкритические суждения о Гомере был прозван «бичом Гомера».

⁴⁴² *Белый* Андрей (наст. фам. и имя Бугаев Борис Николаевич; 1880—1934) — поэт, прозаик, теоретик символизма. В кни-

ге статей «Арабески» (М., 1911) опубликована статья «Люди с «левым устремлением» («О мистическом анархизме»).

⁴⁴³ Характеристика Ф.М. Достоевским своего художественного метода. Обычно Чулков употребляет это выражение или в значении высшей правды (как в данном случае), или подразумеваемая символистское религиозное мировоззрение.

⁴⁴⁴ «Аполлон» — литературно-художественный журнал (1909—1917). Предоставлял свои страницы главным образом акмеистам. Редактор — С.К. Маковский; в 1911—1912 гг. совместно с Н.Н. Врангелем. Выпускались приложения «Литературный альманах» (1909—1910) и «Русская художественная летопись» (1911—1912).

⁴⁴⁵ «Мир искусства» — ежемесячный иллюстрированный художественный журнал объединения «Мир искусства» (1899—1904). В 1899 г. издателями были М.К. Тенишева и С.И. Мамонов, затем С. Дягилев и А. Бенуа. Популяризировал русское искусство XVIII—XIX вв. и народное искусство.

⁴⁴⁶ Рецензия была опубликована в журнале «Мир искусства» 1904. № 4.

⁴⁴⁷ Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — театральный и художественный деятель, один из создателей художественного объединения и журнала «Мир искусства». Единомышленниками Дягилева по эстетической программе журнала были художники и критики-искусствоведы — А.Н. Бенуа (1870—1960), И.Э. Грабарь (1871—1960) и другие, а также литераторы — Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, С.А. Андреевский.

⁴⁴⁸ О значении подлинной убежденности художника как особой «позиции уверенности» Чулков размышлял в своей книге «Анархические идеи в драмах Ибсена» (1907), в частности, анализируя пьесу драматурга «Претенденты на корону».

⁴⁴⁹ Чулков намекает на таких представителей поэзии 1880-х гг., как С.Г. Фруг, А.А. Голенищев-Кутузов, П.И. Вейнберг, С.А. Андреевский. В то же время он с восхищением писал о Н.А. Некрасове, «открывшем в стихе целый мир новых мелодий» (Чулков в Г. Около быта // Покрывало Изиды. С. 114).

⁴⁵⁰ Врубель Михаил Александрович (1856—1910) — живописец. Чулков посвятил ему статью «Памяти Врубеля» (1910)

(Чулков Г. Вчера и сегодня). В статье «Москва и демон» (Золотое руно. 1909. № 6) он отмечал, что «Врубель сочетает русское со всемирным».

⁴⁵¹ *Пиррова победа* — эфирский царь Пирр (319—272 гг. до н.э.) одержал победу над римлянами при Аукуле в 279 г. до н.э., стоившую ему чрезмерных усилий и тяжелых потерь. Означает сомнительную победу, не оправдывающую принесенных ради нее жертв.

⁴⁵² Во время русско-японской войны (1904—1905) военноморская крепость Порт-Артур была сдана противнику 2 января 1905 г. генералом А.М. Стесселем.

⁴⁵³ Пушкинским был назван выпуск «Мира искусства» № 13—14 за 1899 г.

⁴⁵⁴ Статья Вл. Соловьева «Особое чествование Пушкина» опубликована в «Вестнике Европы» (1899. № 7) под заголовком «Письмо в редакцию». Основная ее идея — критика попыток В. Розанова объявить Пушкина «ненужным», осуждение намерения Н. Минского изобразить поэта «своим единомышленником».

⁴⁵⁵ Название работы (1886) Ф. Ницше, ставшее крылатым выражением.

⁴⁵⁶ Подразумеваются рецензии Вл. Соловьева, содержащие весьма остроумные пародии (Вестник Европы. 1894. № 8; 1895. № 1, 10).

⁴⁵⁷ Чулков, видимо, имеет в виду статьи Д.В. Философова «Серьезный разговор с нигчеанцами (ответ г. Соловьеву)» (1899. № 16—17) и В.В. Розанова «Еще о смерти Пушкина» (1900. № 7—8), «К лекции г. Вл. Соловьева» (1900. № 9—10).

⁴⁵⁸ Так называли себя последователи учения и идей Вл. Соловьева — А. Блок, Андрей Белый, С.М. Соловьев, Эллис.

⁴⁵⁹ *Маковский* Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, художественный критик, редактор «Аполлона», автор воспоминаний «На Парнасе Серебряного века».

⁴⁶⁰ *Маковский* Константин Егорович (1839—1915) — художник, создатель жанровых картин («Дети, бегущие от грозы») и эффектных красочных полотен на исторические темы («Боярский пир», «Убийство детей Годунова», «Выбор невесты»), портретист.

⁴⁶¹ *Зноско-Боровский* Евгений Алексеевич (1884—1954) — драматург, театровед.

⁴⁶² *Дендизм* — понятие, обозначающее не только умение элегантно одеваться, но и шире — высокомерие, тщеславие, презрение к окружающим, духовный аристократизм.

⁴⁶³ *Скрябин* Александр Николаевич (1871/72—1915) — композитор и пианист. Развивал идею светомузыки. В творчестве воплощены идеи экстатической устремленности к неведомым «космическим» сферам.

⁴⁶⁴ *Анненский* Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, критик, драматург, переводчик. В статье «Закатный звон» (Ч у л к о в Г. Вчера и сегодня) Чулков писал, что поэт «не смог <...> выйти из пределов драматического мироотношения в сферу мироотношения трагического», что многие переживания он «не успел <...> воплотить символически по трепетной боязни святотатственно оскорбить Единую» (С. 74—75).

⁴⁶⁵ *Анненский* Николай Федорович (1843—1912) — экономист, публицист-народник, сотрудник «Дела», «Отечественных записок», «Русского богатства». Основатель партии народных социалистов.

⁴⁶⁶ *Еврипид* (ок. 485/84 или 480—406 гг. до н.э.) — древнегреческий драматург. Сохранились 17 трагедий и сатир, драма «Киклоп». И.Ф. Анненский перевел следующие его трагедии: «Вакханки» (1894), «Геракл» (1896), «Финикиянки» (1898), «Ифигения-жертва» (1898), «Электра» (1899), «Орест» (1900), «Алкеста» (1901), «Ипполит» (1902), «Медея» (1903) — и написал о них статьи.

⁴⁶⁷ *Тихие песни* — название первого сборника (1904) И.Ф. Анненского.

⁴⁶⁸ *«Парнасцы и проклятые»* — сборник, куда вошли переводы И. Анненского из Горация, Г. Лонгфелло, Ш. Бодлера, П. Верлена, Ш. Леконт де Лиля, Сюлли-Прюдома, А. Рембо, С. Малларме, Ш. Кро, Т. Корбьера, М. Роллина, Ф. Жамма и др. *Парнасцы* — группа французских поэтов (название утвердилось после выхода сборников «Современный Парнас» — 1866, 1871, 1876), в которую входили ориентировавшиеся на эстетические принципы Т. Готье и Ш. Леконта де Лиля — Т. де Банвиль, Л. Дьеркс, Ф. Коппе,

К. Мендес, Сюлли-Прюдом и др. *Проклятые* — обозначение поэтов — Т. Корбьера, С. Малларме, А. Рембо, М. Деборд-Вальмора, О. Вилье де Лиль-Адана — которое они получили после появления книги литературно-критических статей (1884) П. Верлена.

⁴⁶⁹ *Лафорг* Жюль (1860—1887) — французский поэт, ввел во французскую поэзию «свободный стих».

⁴⁷⁰ «*Академия стиха*» — название заседаний «Общества ревнителей художественного слова» в редакции «Аполлона» (с осени 1909 г.), возникших из домашнего курса лекций Вяч. Иванова по инициативе А. Толстого, Н. Гумилева, П. Потемкина.

⁴⁷¹ Так определил Чулков статьи И. Анненского, объединенные общим заглавием «О современном лиризме» (Аполлон. 1909. № 1—3), в которых анализировались стихи М. Шагинян, А. Герцык, Л. Столицы, Т. Щепкиной-Куперник и др.

⁴⁷² Аполлон. 1909. № 3.

⁴⁷³ Аполлон. 1910. № 7.

«Весы»

I

⁴⁷⁴ Чулков передает содержание эпизода романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (1868). Часть IV. Глава 6.

⁴⁷⁵ *Антон Крайний* — псевдоним З.Н. Гиппиус.

⁴⁷⁶ *Бердслей* Обри (1872—1898) — английский рисовальщик и график стиля «модерн». В его творчестве преобладают эротические мотивы. Иллюстрировал «Саломею» О. Уайльда.

⁴⁷⁷ В. Брюсов. «З.Н. Гиппиус» (1901).

⁴⁷⁸ «*Athenaeum*» — литературно-художественный журнал, издававшийся с 1826—1921 гг. «*Mercure de France*» — старейший французский журнал, выходявший с 1672 г. В 1890-е гг. его руководителем становится Реми де Гурмон, ориентировавший издание на модернистские тенденции в литературе. «*Literarische Echo*» — литературно-художественный журнал, издававшийся в Штутгарте с 1898 г. Редактор И. Этглинггер.

⁴⁷⁹ Статья «Ключи тайн» открывала первый номер журнала «Весы» (1904).

⁴⁸⁰ *Потебня* Александр Афанасьевич (1835—1891) — филолог-славист, теоретик литературы, фольклорист, этнограф, языковед, создавший учение о внутренней форме слова.

⁴⁸¹ *Натюризм* — течение, возникшее как реакция на символизм, декларировало возврат к природе. Его манифест (автор Сен-Жорж де Бузье) опубликован был в 1897 г. *Гуманизм* — течение, близкое к натюризму. В 1902 г. под названием «Интегризм» появилась статья поэта и критика Фернана Грега (1873—1960). *Интегризм* требовал от искусства утраченной целостности.

II

⁴⁸² М.Ю. Лермонтов. «Демон». Гл. XV.

⁴⁸³ *Бергсон* Анри (1859—1941) — французский философ, представитель интуитивизма.

⁴⁸⁴ Трактат о наркотиках «*Искусственный рай*» написан Ш. Бодлером в 1860 г.

Художники

⁴⁸⁵ *Добужинский* Мстислав Валерианович (1875—1957) — график и театральный художник. Им оформлены книги Чулкова «О мистическом анархизме», «Тайга». Драма в трех актах (СПб., 1907); «Весною на север». Лирика (СПб., 1908). В его работах изящная стилизованная манера сочетается с чертами трагического гротеска.

⁴⁸⁶ *Лансере* Евгений Евгеньевич (1875—1946) — живописец и график. Оформлял сборники «Факелы». В 1910 г. Чулков посвятил ему сонет:

Мир поллюбил, взыскательный художник,
Твоих картин живую красоту, —
И я, беглец, пустынный и таежник,
Увидел в них желанную мечту.

Я — варвар злой, тайги слепой заложник;
Ты — сын изысканных времен: но что
Твой нежный дар. Торжественный Треножник
Не поколеблю. Тайную черту

В гармонии рисунков я заметил,
Тобою созданных. И вот пленен
Я знаком тем, которым ты отметил

Искусство милое. Заворожен
Нежданно я, средь буйных восклицаний,
Безмолвием пластических исканий.

(РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 53).

⁴⁸⁷ *Бакст* Лев Самойлович (наст. фам. Розенберг; 1866—1924) — живописец, график, театральный художник, декоратор «Русских сезонов» Дягилева.

⁴⁸⁸ *Яремич* Степан Петрович (1869—1939) — художник, искусствовед, коллекционер, музейный работник.

⁴⁸⁹ *Нувель* Вальтер Федорович (1871—1949) — композитор-любитель, организатор кружков «Вечера современной музыки» в Петербурге (1907—1912), служил чиновником особых поручений по императорским театрам канцелярии Министерства императорского двора. С 1919 г. в эмиграции.

⁴⁹⁰ *Нурок* Альфред Павлович (псевд. Силен; 1860—1919) — искусствовед, композитор, автор статей и заметок на злободневные темы культурной жизни, участвовал в создании упомянутого кружка, ревизор Государственного контроля по департаменту армии и флота.

⁴⁹¹ *Петроний* Гай или Тит (? — 66 н.э.) — римский писатель, автор романа «Сатирикон», сохранившегося во фрагментах. Здесь употреблено как имя нарицательное. Возможно, содержится намек на критика Петра Моисеевича Пильского, опубликовавшего несколько язвительных фельетонов о творчестве Чулкова. Он иногда подписывал свои статьи псевдонимом «Петроний».

⁴⁹² «*Дама в голубом*» — картина К.А. Сомова, созданная в 1897—1900 гг. На портрете изображена Е.М. Мартынова.

⁴⁹³ *Лансере* Евгений Александрович (1848—1886) — скульптор. Работал в жанре мелкой пластики. Различные статуэтки и скульптурные группы посвящены сценам из народной жизни, а также животному миру. Отец Е.Е. Лансере.

⁴⁹⁴ Чулков здесь, возможно, обыгрывает название статьи Вяч. Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» (1907).

⁴⁹⁵ *Лансере* Екатерина Николаевна (урожд. Бенуа; 1850 — после 1925) — жена Е.А. Лансере. В юности занималась живописью.

⁴⁷⁶ Именем *Глинки* названа бывшая Никольская улица.

⁴⁹⁷ *Никольский Морской собор* — памятник архитектуры в стиле барокко с использованием традиционных форм русской церковной архитектуры. Построен в 1753—1762 гг. (арх. С.И. Чевакинский).

⁴⁹⁸ *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — архитектор. По происхождению итальянец, приехавший в Петербург в 1716 г. Крупнейший представитель русского барокко, создатель ансамбля Зимнего дворца и Большого (Екатерининского) дворца в Царском Селе и других проектов.

⁴⁹⁹ *Лансере* Николай Евгеньевич (1889—1942) — архитектор и график, брат Е.Е. Лансере.

⁵⁰⁰ *Серебрякова* Зинаида Евгеньевна (урожд. Лансере; 1884—1967) — художница. Дочь Е.А. Лансере и Е.Н. Бенуа. В «Элегии» Чулкова, посвященной З.Е. Серебряковой, есть такие строки:

... Я вспоминаю дом, поля и тихий сад,
Где ты являлась мне порою,
И вновь сияет мне призывно-нежный взгляд
Путеводящею звездою.

И верю снова я, что путь один — любовь,
И светел он, хотя и зыбок;
И прелесть тайная мне снится вновь и вновь
Твоих загадочных улыбок.

(Чулков Г. Сочинения: В 6 т. Т. 4. СПб., 1911).

В 1910 г. ей был посвящен сонет, завершающийся словами:

В улыбке Вашей ночь и милый день
Венчались тайно. Джотто ли в ней нежность?
Иль Винчи в ней безумная мятежность?

(РГАЛИ. Ф. 549. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 97).

Портрет Чулкова, написанный З. Серебряковой, был воспроизведен в его книге «Годы странствий» (1930).

⁵⁰¹ *Кроки* (фр.) — легкий набросок, быстрая зарисовка, чаще всего с натуры.

⁵⁰² *Венециановская живопись* — Алексей Гаврилович *Венецианов* (1780—1847) — живописец, создатель идеализированного поэтического образа крестьянской жизни. В работах Серебряковой также имеются элементы идеализации действительности.

⁵⁰³ *Тициан* (наст. имя и фамилия Тициано Вечеллио; ок. 1476/77 или 1489/90—1576) — итальянский живописец, глава венецианской школы живописи Высокого и Позднего Возрождения.

⁵⁰⁴ *Тинторетто* Якопо (наст. фам. Робусти; 1518—1594) — итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения, выдающийся мастер венецианской школы.

⁵⁰⁵ Так обобщенно Чулков называет кубофутуристические направления в живописи, критику которых он дал в статье «Демоны и современность» (1914).

⁵⁰⁶ *Белкин* Вениамин Павлович (1884—1951) — график и живописец, преподавал в Академии художеств.

⁵⁰⁷ *Серова* Валентина Семеновна (урожд. Бергман; 1846—1924) — пианистка и композитор, жена композитора и музыкального критика Александра Николаевича *Серова* (1820—1871), мать художника В.А. Серова.

⁵⁰⁸ «*Тайга*» — пьеса, издана в Санкт-Петербурге в 1907 г.

⁵⁰⁹ Скорее всего, Чулков имеет в виду выставки общества художников «Московский салон» (1910), регулярно проводившиеся в Москве с 1911 г. Это общество показало семь выставок живописи, графики, скульптуры, театрально-декоративного искусства, архитектуры (1911—1917). Последнее выступление художников «Московского Салона» — XX выставка отдела ИЗО Наркомпроса (Москва, 1920).

⁵¹⁰ *Голубкина* Анна Семеновна (1864—1927) — скульптор, ученица О. Родена. Наиболее известна ее работа «Березка» (1927), выполненная в импрессионистическом духе, а также обобщенно-символические образы рабочих («Железный», 1897).

⁵¹¹ «*Страдные дни*» — так должен был называться сборник публицистических статей Чулкова, куда предполагалось включить статьи, печатавшиеся в журнале «Народоправство» (1917—1918).

⁵¹² *Конфуций* (ок. 551—479 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства. Основные взгляды изложены в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»).

⁵¹³ *Магомет* — основатель ислама Муххамед (ок. 570—632), почитается в исламском мире как пророк. Получив, по преданию, ок. 609 (или 610 г.) откровение от Аллаха, выступил в Мекке с проповедью новой веры. В 630—63 гг. мусульмане под его руководством подчинили Мекку и значительную часть Аравии. Он стал главой теократического государства.

⁵¹⁴ *Роден Огюст* (1840—1917) — французский скульптор. Энергичную живописную лепку, текучесть формы (роднящие его творчество с импрессионизмом) сочетал со стремлением к философским обобщениям.

⁵¹⁵ Книга была издана в Москве тиражом в 1000 экз.

⁵¹⁶ *Литавра* — ударный мембранный музыкальный инструмент котлообразной формы. Распространен с древнейших времен. В состав симфонического оркестра входит с XVII в.

⁵¹⁷ А.А. Фет. «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).

⁵¹⁸ Видимо, Чулков цитирует по источнику, подвергнутому редакторской обработке. У А. Голубкиной в первоисточнике нет слов «Вы не найдете ни единой хорошей статуи без этого чувства» (см.: Камениск и й А.А. Анна Голубкина. Личность. Скульптура. Эпоха. М., 1990).

⁵¹⁹ *Кругликова* Елизавета Сергеевна (1865—1941) — художница, график, мастер офорта, монотипии и силуэта. В 1916 г. в Петрограде был выпущен альбом «Париж накануне войны в монотипиях Е.С. Кругликовой». Мастерская художницы в Париже играла роль центра русской художественной жизни во Франции.

⁵²⁰ *Монотипия* — вид печатной графики, когда краски наносятся от руки на гладкую поверхность металлической доски; полученный оттиск всегда бывает единственным. Тонкостью цветовых отношений напоминает акварель. Кругликова, по сути, возродила эту забытую область графического искусства.

⁵²¹ *Волошин-Кириенко* Максимилиан Александрович (1877—1932) — поэт, художник, критик. Возможно, что ста-

тьи Чулкова, посвященные проблемам живописи, явились результатом общения с Волошиным. Чулков участвовал в диспуте, устроенном в феврале 1913 г. в Политехническом музее в связи с актом вандализма, учиненным А. Балашовым над полотном И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван», в котором принимали участие кубисты и Волошин. Создавая поэму «Весенний лед», он ориентировался на «Письмо» М. Волошина. Подробнее об их взаимоотношениях см.: М и х а й л о в а М.В. Максимилиан Волошин и Георгий Чулков // Серебряный век русской литературы. М., 1996.

⁵²² *Бёме Яков* (1575—1624) — немецкий философ, мистик и пантеист. Оказал большое влияние на немецкий романтизм.

⁵²³ *Мафусаил* — в Библии дед Ноя, проживший, по преданию, 969 лет.

Театральные заметки

⁵²⁴ Театр основан в 1882 г. предпринимателем Ф.А. Коршем (1852—1927) в Москве. Просуществовал до 1932 г. В его репертуаре классика (Островский, Гоголь, Писарев) соседствовала с легкими развлекательными пьесами. Славился сильной труппой. В разное время на его сцене выступали А. Остужев, А. Кторов, М. Блюменталь-Тамарина.

⁵²⁵ Старейший русский драматический театр в Москве. Формирование труппы началось с середины XVIII в., с 1824 г. стал называться Малым театром.

⁵²⁶ Имеется в виду В.А. Александров — см. коммент. 9 (с. 782).

⁵²⁷ Герои пьес В. Шекспира «Гамлет» (1601) и «Макбет» (1606).

⁵²⁸ *Ермолова Мария Николаевна* (1853—1928) — трагическая актриса, в труппе Малого театра с 1871 г. В 1920 г. ей первой среди актеров присвоено звание Народной артистки республики.

⁵²⁹ *Федотова Гликерия Николаевна* (наст. фам. Позднякова; 1846—1925) — трагическая актриса, в труппе Малого театра с 1863 г. Народная артистка республики с 1924 г.

⁵³⁰ *Ленский* Александр Павлович (наст. фам. Вервиццотти; 1847—1908) — актер, режиссер, педагог. С 1876 г. в Малом театре. Один из создателей Нового театра (филиала Малого театра), в который вошли его ученики — В.Н. Пашенная, Е.Д. Турчанинова.

⁵³¹ *Горев* Федор Петрович (наст. фам. Васильев; 1850—1910) — актер московских и провинциальных театров.

⁵³² *Макшеев* Владимир Александрович (1842—1902) — комедийный и характерный актер.

⁵³³ *Шпажинский* Ипполит Васильевич (1848—1917) — драматург, пытавшийся приспособить приемы драматургии А.Н. Островского к вкусам «широкой публики».

⁵³⁴ Бытовое название Малого театра, связанное с именем основоположника реалистической школы актерского искусства Михаила Семеновича *Щепкина* (1788—1863), утверждавшего просветительское значение театра, разрабатывавшего принципы искусства перевоплощения.

⁵³⁵ *Станиславский* Константин Сергеевич (наст. фам. Алексеев; 1863—1938) — режиссер, актер, театральный педагог, один из основателей Московского Художественного театра, теоретик театра, оказал значительное влияние на русский и мировой театр.

⁵³⁶ «Общество любителей искусства и литературы» (прав.: «Общество искусства и литературы») было основано в 1888 г. в Москве. Любительским драматическим кружком общества руководил К.С. Станиславский. Среди участников: М.П. Лилина, М.Ф. Андреева, А.Р. Артем и др., вошедшие в созданный в 1898 г. Московский Художественный театр.

⁵³⁷ «Чайка» — пьеса (1896) А.П. Чехова.

⁵³⁸ «Одинокие» (1891) — пьеса Герхарта Гауптмана (1862—1946).

⁵³⁹ *Мимеограф* — устаревшее название ротатора — аппарата для получения оттисков с текста, подобие гектографа.

⁵⁴⁰ *Роксанова* Мария Людвиговна (наст. фам. Петровская; 1874—1958) — актриса, работавшая в труппе МХТ. Посвященный ей Чулковым рассказ «Что-то черное» опубликован в сб. «Кремнистый путь» (1904).

⁵⁴¹ *Александринский театр* — старейший русский драматический театр в Санкт-Петербурге, основан в 1756 г. Назван в честь жены Николая I Александры Федоровны в 1832 г.

⁵⁴² *Савина* Мария Гавриловна (1854—1915) — актриса, на сцене Александринского театра с 1874 г. Прославилась в пьесах Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.Н. Островского.

⁵⁴³ *Давыдов* Владимир Николаевич (наст. имя и фам. Горелов Иван Николаевич; 1849—1925) — известный актер, выступал в самых разнообразных амплуа, исполнял и женские роли.

⁵⁴⁴ См. коммент. 263 (с. 703).

⁵⁴⁵ *Театр Яворской* (Новый театр) — открыт в Петербурге в 1901 г. драматической актрисой Лидией Борисовной *Яворской* (урожд. Гюббенет; 1872—1921), игравшей в театрах Суворина и Корша. На сцене театра ставились преимущественно пьесы мужа актрисы — князя В.В. Барятинского (1874—1941).

⁵⁴⁶ *Стриндберг* Юхан Август (1849—1912) — шведский писатель, драматург. Пьеса «Фрёкен Жюли» (в тексте — дореволюционный перевод названия) была написана в 1888 г.

⁵⁴⁷ *Суворинский театр* — частный театр в Петербурге в 1895—1917 гг. Так же назывался: Петербургский Малый театр, театр Литературно-художественного общества. Открылся как театр Литературно-артистического кружка, но вскоре перешел во владение самого крупного пайщика Алексея Сергеевича *Суворина* (1834—1912), известного журналиста, издателя петербургской газеты «Новое время» (с 1876 г.), а также сочинений русских и иностранных писателей. В настоящее время в помещении театра (Фонтанка, 65) находится Большой Драматический театр.

⁵⁴⁸ *Идея символического театра* по-разному понималась представителями символизма: речь шла и о дионисийском действе, и о театре марионеток, и о театре «для себя». Театральная эстетика символизма была разнообразно представлена в сборнике статей «Театр» (СПб., 1908).

⁵⁴⁹ *Сулержицкий* Леопольд Антонович (1872—1916) — режиссер, литератор, художник, театральный деятель, один из организаторов (1912) и руководителей I студии МХТ.

⁵⁵⁰ Видимо, речь идет о М. Горьком, который с гражданской женой актрисой М.Ф. Андреевой (1868—1953) в это время находился в Финляндии.

⁵⁵¹ *Кугель* Александр Рафаилович (1864—1918) — литературный критик, драматург, режиссер, редактор журнала «Театр и искусство» в 1897—1918 гг.

⁵⁵² *Батайль* Анри (1872—1922) — французский поэт и драматург. Прославился как мастер пьес, отличающихся напряженным психологическим действием. Рецензия Чулкова на пьесу «Мама-Колибри» была опубликована в газете «Товарищ» (1907. 6 января. № 158).

⁵⁵³ *Михайловский театр* — открыт в 1833 г. в Петербурге. До революции на его сцене играла постоянная французская труппа. В репертуаре были главным образом модные новинки французской драматургии (в настоящее время — Малый театр оперы и балета).

⁵⁵⁴ *Сумбатов-Южин* Александр Иванович (1857—1927) — драматург, актер и руководитель (с 1909 г.) Малого театра в Москве.

⁵⁵⁵ *Крылов* Виктор Александрович (1838—1906) — драматург, театральный критик.

⁵⁵⁶ Рецензия была опубликована в газете «Товарищ» (1906. 26 января). *Софокл* (ок. 496—506 до н.э.) — древнегреческий драматург. Чулков отводил ему, наряду с Достоевским и Данте, одно из первых мест в мировой литературе. «Антигона» написана ок. 442 г.

⁵⁵⁷ *Головин* Александр Яковлевич (1863—1930) — театральный художник, живописец.

⁵⁵⁸ *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский драматург и прозаик. Некоторые произведения (пьеса «Анатоль», 1893, повесть «Фрау Беата и ее сын», 1913) написаны в импрессионистической манере. Социально-критический пафос присутствует в повести «Лейтенант Густль» (1901), пьесе «Профессор Бернгарди» (1912).

⁵⁵⁹ *Аш Шолом* (1880—1957) — еврейский писатель. Чулков рецензировал постановку его пьесы «Бог мести» (Товарищ. 1907. 11 апреля. № 239).

⁵⁶⁰ «Дикарка» — пьеса (1879) А.Н. Островского (1823—1886) и Н.Я. Соловьева (1845—1898), в которой В.Ф. Комиссаржевская исполняла роль Вари. Чулков в своей рецензии в газете «Наша жизнь» (1905. 28 декабря) подчеркивал: «Мы оценим настоящий, подлинный талант г-жи Комиссаржевской, но не примиримся с этим ужасным, косным, самодовольным театром быта, на фоне которого вспыхнула эта живая душа».

⁵⁶¹ *Комиссаржевский* Федор Федорович (1882—1954) — режиссер, педагог, теоретик театра, брат В.Ф. Комиссаржевской. Вместе с К.С. Станиславским — один из организаторов МХТ. В эмиграции с 1919 г.

⁵⁶² См. его статью в сб. «Памяти В.Ф. Комиссаржевской» (СПб., 1911. С. 214).

⁵⁶³ Имеется в виду театр В.Ф. Комиссаржевской.

⁵⁶⁴ Разрыв Мейерхольда с Комиссаржевской произошел в 1907 г. Причиной его был отказ актрисы от принципов условного театра.

⁵⁶⁵ «Кукольный дом» — пьеса (1879) Г. Ибсена. Рецензия Чулкова на ее постановку была напечатана в газете «Товарищ» (1906. 20 декабря. № 144).

⁵⁶⁶ «Балаганчик» — лирическая драма А. Блока (1905).

⁵⁶⁷ *Сапунов* Николай Николаевич (1880—1912) — театральный художник и живописец. Член объединения художников «Голубая роза». Его работы отмечены яркостью фантазии, напряженной эмоциональностью колорита. В 1908 г. пытался вместе с С. Дягилевым организовать экспериментальный «балаганный» театр в Териоках. Во время катания на лодке вместе с поэтом М. Кузминым по Финскому заливу трагически погиб.

⁵⁶⁸ Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Т. 1. М., 1968. С. 250.

⁵⁶⁹ Стихотворение написано в июле 1905 г.

⁵⁷⁰ Чулков, видимо, имеет в виду стихотворение «Песня» («Стоит шест с гагарой...»), которое Блок процитировал в своей статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1907).

⁵⁷¹ Вероятно, Чулков говорит о своей статье, напечатанной в газете «Товарищ» (1907. 7 декабря. № 443). Полное название пьесы — «Бесовское действо над неким мужем, а также смерть

грешника и смерть праведника, сиесть прение Живота со Смертью» (1907).

⁵⁷² «По поводу пьесы Ремизова» напечатано: Товарищ. 1907. 12 декабря. № 447.

⁵⁷³ *Ведекинд* Франк (1864—1918) — немецкий писатель, предшественник экспрессионизма. В театре Комиссаржевской была поставлена его пьеса «Пробуждение весны» (1891).

⁵⁷⁴ «*Сестра Беатриса*» — пьеса (1900) М. Метерлинка. В рецензии Чулков писал, что «Беатриса — Комиссаржевская — это уже новое приближение к свободе-красоте» (Товарищ. 1906. 29 ноября. № 126).

⁵⁷⁵ «*Жизнь человека*» — пьеса (1907) Л. Андреева. В рецензии на постановку (Товарищ. 1907. 24 февраля. № 200) Чулков высоко оценил режиссерскую идею высвечивать на сцене только то место, где происходит действие, «когда вокруг <...> царствует глубокая тьма».

⁵⁷⁶ Чулков отозвался на постановку пьесы Ф. Сологуба рецензией (Товарищ. 1907. 7 ноября. № 417).

⁵⁷⁷ Чулков рецензировал спектакли МХТ «Дядя Ваня» (Товарищ. 1907. 11 (14) мая. № 263), «Иванов» (Товарищ. 1907. 5 ноября. № 424), «Бранд» (Товарищ. 1907. 3 мая. № 256), «Борис Годунов» (Товарищ. 1907. 27 ноября. № 434). Рецензии на «Росмерсгольм» (1886) были напечатаны в газетах «Товарищ» (1907. 6 декабря. № 442), «Современное слово» (1908. 16 апреля. № 185). Реплики персонажей «Росмерсгольма» играют значительную роль в развитии сюжета повести Чулкова «Слепые» (1910): ее героиня Анна Томилина, актриса, участвует в спектакле, поставленном по этой пьесе.

⁵⁷⁸ Рецензия на спектакль была напечатана в газете «Товарищ» (1907. 5 мая. № 259). «*Драма жизни*» — пьеса, входящая в трилогию (две другие: «У врат Царства» и «Вечерняя заря») норвежского писателя и драматурга Кнута Гамсуна (1859—1952).

⁵⁷⁹ *Книппер* Ольга Леонардовна (1868—1959) — актриса, жена А.П. Чехова, в труппе МХТ с 1898 г.

⁵⁸⁰ *Вишневский* Александр Леонидович (1861—1943) — актер МХТ со дня основания, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР.

⁵⁸¹ *Москвин* Иван Михайлович (1874—1946) — актер, в труппе МХТ с 1898 г. Народный артист СССР. Среди ролей: Федор («Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого), Протасов («Живой труп» Л.Н. Толстого), Лука («На дне» М. Горького).

⁵⁸² *Егоров* Владимир Евгеньевич (1878—1960) — художник-декоратор. Наиболее известны его декорации к постановке «Синей птицы» М. Метерлинка в МХТ.

⁵⁸³ *Ульянов* Николай Петрович (1875—1949) — живописец, график, театральный декоратор, иллюстратор книги. Развивал жанр «исторического портрета».

⁵⁸⁴ *Старинный театр* существовал в Петербурге два сезона — 1907/08 и 1911/12. Был организован Н.Н. Евреиновым и Н.В. Дризенем. Создателей театра интересовала не столько драматургия, сколько зрелищность постановки. С театром сотрудничали Н.К. Рерих, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, И.Я. Билибин. В театре работали режиссеры А.А. Санин, М.Н. Бурнашев.

⁵⁸⁵ *Мольер* (наст. имя Жан Батист Поклен; 1622—1673) — французский комедиограф и актер.

⁵⁸⁶ «*Лицедейство о Робене и Марион*» (ок. 1283) — первая пьеса на буколический сюжет, ставшая прототипом комической оперы. Рецензия Чулкова на этот спектакль напечатана в газете «Товарищ» (1907. 20 декабря. № 454).

⁵⁸⁷ *Галль* Адам де ла (ок. 1238—1286) — средневековый французский поэт, драматург, композитор.

⁵⁸⁸ *Трувер* — французский средневековый поэт-певец (XII—XIII вв.), часто одновременно автор музыки и слов.

⁵⁸⁹ *Трзскé* (точнее: треска́) — средневековый танец, мелодия которого с XIII в. исполняется как самостоятельное произведение.

⁵⁹⁰ *Фарандола* — провансальский народный танец в быстром темпе.

⁵⁹¹ *Фокин* Михаил Михайлович (1880—1942) — артист балета и балетмейстер. Реформатор балетного театра XX в. Организатор Русских сезонов в Париже (1909, 1912, 1914). С 1918 г. — в эмиграции.

⁵⁹² *Comédie Française* («Комеди Франсез»; офиц. назв.: «Театр Франсе») — французский драматический театр, основанный в Париже в 1680 г. Людовиком XVI.

⁵⁹³ *Сальвини* Томмазо (1820—1915) — итальянский актер. Герои Сальвини увлекали зрителя духовной силой и страстностью. Гастролировал в России в 1880, 1882, 1885, 1900—1901 гг.

⁵⁹⁴ Статья о Сальвини «Великий трагик» написана А. Григорьевым в 1859 г.

⁵⁹⁵ *Росси Эрнесто* (1827—1896) — итальянский актер. Гастролировал в России в 1877, 1878, 1890, 1895, 1896 гг.

⁵⁹⁶ *Дузе Элеонора* (1858—1924) — итальянская актриса. В 1891/92 и 1908 гг. была на гастролях в России. В сборник Чулкова «Покрывало Изиды» включена статья «Элеонора Дузе».

⁵⁹⁷ *Очищение* (катарсис) — в аристотелевской поэтике — непереносимое условие воздействия трагедии на зрителя: следя за ее событиями, он испытывает душевное волнение, переживает за судьбу героя, что возвышает человека и нравственно очищает его душу.

⁵⁹⁸ Достоверно установить, о каком театре идет речь, не представляется возможным, так как по этому адресу в разное время располагались разные театры. Скорее всего, Чулков имел в виду Современный (или Московский) театр миниатюр, открывшийся в 1911 г. и принадлежавший М. Арцыбушевой.

⁵⁹⁹ *Ганако-Оота* (1868—1945) — японская актриса. Гастролировала со своей труппой по России с 1909 г. Ее выступления в 1913 г. широко освещались в печати (см.: Театр. 1913. № 1228).

⁶⁰⁰ *Оленина-д'Альгейм* Мария Алексеевна (1869—1970) — камерная певица (меццо-сопрано). Пропагандист творчества русских композиторов, особенно М.П. Мусоргского.

⁶⁰¹ «Дом песни» — музыкально-просветительская организация, созданная Олениной-д'Альгейм в 1908 г. в Москве.

⁶⁰² Установить, о каком театре говорит Чулков, трудно, так как в послереволюционные годы на Б. Дмитровке располагались «Интимный театр» Б.С. Неволлина, «Летний сад», сад «Летучая мышь», «Театр миниатюры» и др.

⁶⁰³ *Лебедева* Людмила Михайловна — актриса, танцовщица, возлюбленная Чулкова. Ей посвящено множество его стихов, она стала прообразом Татьяны Михайловны Лапиной в повести «Вредитель» (1931—1932).

М.Н. Ермолова

⁶⁰⁴ *Мельпомена* — в греческой мифологии муза трагедии.

⁶⁰⁵ «*Король Лир*» — пьеса (1605) В. Шекспира.

⁶⁰⁶ *Мария Стюарт* — героиня одноименной трагедии (1801) Ф. Шиллера (1759—1805).

⁶⁰⁷ *Орлеанская дева* — Жанна д'Арк. Здесь — героиня драмы Ф. Шиллера «Орлеанская дева» (1801).

⁶⁰⁸ Подразумевается портрет М.Н. Ермоловой (1905) работы В. Серова.

⁶⁰⁹ *Каботенка* — актриса, преувеличенно-подчеркнуто ведущая свою роль, переносящая в жизнь привычки сцены (каботенство — позерство, амбициозность).

Годы странствий

⁶¹⁰ Одну из своих стихотворных книг 1906 г. Чулков предполагал озаглавить «Из плена» (об этом есть упоминание в гл. «Федор Сологуб»).

⁶¹¹ Не случайно один из рассказов Чулков озаглавил «Гишина». Он включил его во вторую свою книгу (СПб., 1910).

⁶¹² *Овсянко-Куликовский* Дмитрий Николаевич (1853—1920) — филолог, литературовед. Вместе с А.А. Потембней сформировал психологическое направление в русском литературоведении. Творчеству Чулкова он посвятил статью «Заколдованный круг» (Речь. 1910. 21 марта. № 78; 1 апреля. № 89).

⁶¹³ *Палаццо* (и т. palazzo) — итальянский городской дворец-особняк, имеющий величественный фасад.

⁶¹⁴ *Собор св. Марка* построен в IX—XI вв. византийскими мастерами. Работы по наружной и внутренней отделке продолжались до XV в. *Марк* — один из четырех евангелистов, был спутником Павла и Варнавы в их ранних миссионерских путешествиях. Распространено мнение, что он записал слова своего Евангелия под диктовку Петра. Проповедовал Евангелие в Александрии, где и был замучен. Его предполагаемые останки были привезены в Венецию в IX в. Эта история и рассказана в цикле

мозаик собора св. Марка. Как святой покровитель Венеции он часто изображается на картинах Венецианской школы.

⁶¹⁵ *Джотто* ди Бондоне (1266/67—1337) — итальянский живописец и архитектор Раннего Возрождения.

⁶¹⁶ *Capella de l'Arena* (Капелла дель Арена) — капелла Скровеньи, названа по имени ее строителя — Энрико Скровеньи; церковь была построена в начале XIV в. на месте арены в Падуе. Фрески (1303—1306) Джотто на стенах и куполе А. Бенуа назвал «Евангелием в картинах», где «трагедия Христа разыграна с небывалой до тех пор ясностью и убедительностью» (Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Кн. 4—5. С. 39).

⁶¹⁷ *Пантеон* — первоначально храм для поклонения всем богам. Величайшее античное купольное сооружение, было построено в Риме (118—128 н.э.) при императоре Адриане. С VII в. является христианской церковью (Санта Мария Ротонда). В Пантеоне находится гробница Рафаэля. В Средние века название стало применяться для сооружений, где похоронены знаменитые люди.

⁶¹⁸ *Форум* — в Древнем Риме рыночная площадь, то же, что греческая агора, представляет собой парадный архитектурный ансамбль, где находились Сенат, храмы Сатурна, Согласия, Августа, мемориальные триумфальные арки. Особой пышностью отличались форумы императорской эпохи (форум Цезаря, форум Августа, форум Траяна).

⁶¹⁹ *Церковь св. Климента* — находится недалеко от Колизея, построена на месте древней базилики — святилища Митры, вновь перестроена в конце XI—XII вв.

⁶²⁰ *Эзотерические* — тайные, скрытые, предназначенные исключительно для посвященных.

⁶²¹ *Менада* (греч. безумствующая) — вакханка, спутница греческого бога виноградарства и виноделия Диониса. Менады сопровождали его во время шествий, носивших шумный, экстатический характер. Экстаз — непереносимое условие приобщения к божественному началу в мистериальных и гностических культах; симптом воплощения в человеке высшего божества.

⁶²² Вяч. Иванов. «Менада» (1906).

⁶²³ *Дионис* — в греческой мифологии бог растительности, виноградарства и виноделия, связан со стихийными силами земли.

Шествия Диониса носили экстатический характер, в них участвовали вакханки, сатиры, менады. Охваченные священным безумием, они все сокрушали на своем пути. Дионис славился как освободитель людей от мирских забот.

⁶²⁴ *Начало аполлоновское* — начало гармонии и равновесия. Аполлон — в греческой мифологии сын Зевса, бог солнца и света, покровитель искусств, предводитель муз.

⁶²⁵ *«По звездам»* — название сборника статей (1909) Вяч. Иванова.

⁶²⁶ А. С. Пушкин. «Арион» (1827).

⁶²⁷ Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «В годину горя».

⁶²⁸ *Рублев Андрей* (ок. 1360—70 — ок. 1430) — живописец, крупнейший мастер Московской школы живописи. Наиболее известна икона «Троица».

⁶²⁹ *«Слово о полку Игореве»* — памятник древнерусской литературы конца XII в.

⁶³⁰ *Судейкин Сергей Юрьевич* (1882—1946) — живописец и театральный художник, член объединения «Голубая роза», «Мир искусства». В красочных композициях соединял стилизованные мотивы искусства рококо с яркой декоративностью в духе русского народного творчества.

⁶³¹ *«Вечер»* — первый сборник стихов А. Ахматовой (1889—1966), вышел в 1912 г. У Чулкова немало статей, в которых он высоко оценивает ее поэзию («Пятьдесят девять», «Хомуз», «Закатный звон», рецензия на поэму «У самого моря»). Объединяющая их мысль — творчество Ахматовой «заключает в себе <...> глубину и очарование, и значительность символической поэзии» (День. 1915. 11 июня. № 158). В середине 1920-х гг. он выражал сожаление, что «мало печатаются, а иногда и совсем не печатаются такие поэты, как Ахматова, Мандельштам, Кузмин, Юрий Верховский...» (Выступление на дискуссии в редакции журнала «Красная новь». РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 220. Л. 2). Но уже в 1935 г. в своем дневнике «Откровенные мысли» Чулков замечал, что, приезжая в Москву, Ахматова каждый раз заходит к нему, но у них мало общего (ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 1). Однако имя Ахматовой стояло под его некрологом.

Письма из Парижа

(1911 г.)

Праздник

⁶³² *Кайо* Жозеф (1863—1944) — премьер-министр и министр внутренних дел Франции. Придерживался политики экономического и политического сближения с Германией.

⁶³³ *Жорес* Жан (1859—1914) — деятель международного и французского социалистического движения, историк, публицист, возглавлял реформистское крыло французской социалистической партии, основатель газеты «Юманите».

⁶³⁴ *Клюни* — музей средневекового искусства в Париже с богатейшей коллекцией прикладного искусства V—XV вв. С 1844 г. музей размещен в монастырской гостинице, построенной в 1495—1500 гг. в стиле поздней, так называемой «пламенеющей» готики, направления в архитектуре, распространенного в основном во Франции и Англии XVI в. Название происходит от мотивов архитектурного декора, напоминающих языки пламени или рыбий пузырь.

⁶³⁵ *Термы* — античные общественные бани.

⁶³⁶ *Флавий* Валерий Констанций I Хлор (Бледный; 264—306) — римский император с 305 г., отец Константина I Великого. Своим правлением основал династию Констанциев, или Вторую династию Флавиев.

⁶³⁷ *Лютеция* — древнее поселение паризиев, на месте которого расположен современный Париж (о. Сите). После 358 г. получило название «Париж».

⁶³⁸ Ср. письмо Чулкова от 7 (20) мая 1911 г. из Парижа к Блоку: «Париж не только французский город: он и наш, русский (не потому, конечно, что здесь много «соотечественников»), а по существу, по традиции... Все камни и картины, театры и небо, Сена и кафе — все это наше, не обходимое, печальное и милое, предсмертное и влекущее» (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 415).

⁶³⁹ *Notre Dame* — (Нотр Дам) — Собор Парижской Богоматери, возводился с 1163 по 1245 гг. Известен один из его создателей — Жан де Шелль. *Saint-Etienne-du-Mont* (Сен-Этьен-

дю-Мон) — собор на площади Св. Женевьевы (ок. 422—502), покровительницы Парижа, которая, по преданию, спасла народ от нашествия гуннов, построен на месте церкви XIII в. в 1492—1626 гг. *Saint-Germain-l'Auxerrois* (Сен-Жермен л'Оксфруа) — церковь XIII—XV вв. напротив Лувра, украшенная каменными кружевами «пламенеющей готики», многократно перестраивалась с XII по XVI вв. Звон ее колоколов 24 августа 1572 г. возвестил о начале Варфоломеевской ночи. *Saint-Germain-des-Prés* (Сен-Жермен-де-Пре) — знаменитое аббатство бенедиктинцев, основанное в 543 г. (или 558 г.) на левом берегу Сены, с XV в. — в черте Парижа. Церковь строилась в XI—XVII вв.

⁶⁴⁰ *Синдикалисты* — сторонники синдикализма — течения в рабочем движении, находящегося под влиянием анархизма. Синдикалисты считают высшей формой организации рабочего класса профсоюзы.

⁶⁴¹ Праздник, отмечаемый 14 июля. В этот день в 1789 г. восставшим народом была взята и разрушена крепость, служившая государственной тюрьмой. С 1880 г. отмечается как национальный праздник.

⁶⁴² *«Интернационал»* (в тексте — «интернационалка») — международный гимн пролетариата. Написан французским рабочим Э. Потье (текст) и П. Дегейтером (музыка); получил распространение с конца XIX в.; «Карманьола» — см. коммент. 237 (с. 700).

⁶⁴³ *Марокканская авантюра* (в тексте Мароккская) — международный конфликт 1911 г. Оккупация французскими войсками столицы Марокко — города Рабата и последовавший за этим вход германских судов в порт Агадир привели франко-германские отношения на грань войны.

⁶⁴⁴ *Латинский квартал* — квартал в Париже. В древности на этом месте располагались монастыри и церковные школы, где преподавание велось на латинском языке. Отсюда — его название. Здесь находится университет Сорбонна (по имени духовника Людовика IX Робера де Сорбона, основателя одного из колледжей), и проживают преимущественно студенты. В начале XX в. — своеобразный центр русской художественной интеллигенции, приезжавшей в Париж.

Катзар

⁶⁴⁵ *Катзар* — дословно в пер. с фр. бал «четырёх искусств» — живописи, скульптуры, архитектуры, гравюры.

⁶⁴⁶ *Плюмо* (ф р. plume) — перо.

⁶⁴⁷ *Гамен* (ф р. gamin) — уличный мальчишка.

⁶⁴⁸ *Вестон* (ф р. veston) — пиджак.

⁶⁴⁹ *Фаллические символы* — изображение мужского детородного органа как символа производительной силы и плодородия. Они играли важную роль в культе Деметры, Гермеса и особенно Диониса.

⁶⁵⁰ *Музей Гимэ* — музей восточных культур на площади Иены в Париже. Назван по имени его основателя, лионского путешественника и коллекционера — Гимэ; открыт в 1879 г. в Лионе, но после того как Гимэ подарил свою коллекцию государству, переведен в Париж в специально построенное здание.

Мона Лиза

⁶⁵¹ Портрет Моны Лизы (ок. 1503), созданный Леонардо да Винчи был украден из Лувра в 1911 г. (см.: Аполлон. 1911. № 7).

⁶⁵² *Леонардо да Винчи* (1452—1519) — итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер. Основоположник художественной культуры Высокого Возрождения.

⁶⁵³ Намек на эстетику А. Бергсона, утверждавшего примат импульсивности и непосредственности.

⁶⁵⁴ Чулков, имеет в виду, видимо, четыре статуи рабов или гигантов (ок. 1532/34 — неоконченные) Микеланджело, атлетически мощные фигуры которых как бы пытаются вырваться из плена каменной глыбы.

⁶⁵⁵ *Микеланджело Буонарроти* (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Высокого Возрождения.

⁶⁵⁶ *Давид* — статуя, созданная Микеланджело в 1501—1504 гг.

⁶⁵⁷ *Владимирский собор* в Киеве построен в XIX в.

⁶⁵⁸ *Кирилловская церковь* в Киеве сооружена в XII в. Врубель расписывал и реставрировал фрески Кирилловской церкви с 1884 по 1889 г.

⁶⁵⁹ *Гоген Поль* (1848—1903) — французский живописец, один из главных представителей постимпрессионизма. Использовал синтетические обобщения и упрощения цвета и линий. В статье «Демоны и современность (мысли о французской живописи)» (Аполлон. 1914. № 1—2) Чулков писал, что «он всегда преображал действительность... Он один мог создать монументальное искусство...».

⁶⁶⁰ *Ван Гог Винсент* (1853—1890) — голландский живописец, представитель постимпрессионизма. Для него характерно остродраматическое восприятие жизни, страстная эмоциональность. Работы отличаются предельно экспрессивной манерой. В той же статье (см. коммент 659). Чулков отмечал, что этот художник ясно «сознавал ответственность перед самим собою».

⁶⁶¹ *Сезанн Поль* (1839—1906) — французский живописец, представитель постимпрессионизма. Особое внимание уделял предметному миру, его пластическому богатству. По мнению Чулкова (Аполлон. 1914. № 1—2), «он претендовал на синтетический метод. Но этот синтез был внешним синтезом <...> его искусство — это странная, замкнутая в себе страсть, слепая и косная, как земля».

⁶⁶² Учениками Сезанна Чулков считал А. Ле Фоконье (1881—1947), А. Глеза (1881—1953), Ф. Леже (1881—1955), Ж. Брака (1882—1963), Х. Гри (1887—1927) (см. его ст. «Демоны и современность (мысли о французской живописи)»).

⁶⁶³ «Салон независимых» возник в 1894 г. как «Общество независимых художников», которое положило начало учреждению новых Художественных Салонов (выставок) в противовес официальным Салонам «Общества французских художников». Работы кубистического направления, к которому Чулков относил пишущих «под Сезанна», впервые были выставлены в «Салоне независимых» в 1908 г.

⁶⁶⁴ *Матисс Анри* (1869—1954) — французский живописец, график, мастер декоративного искусства. Чулков считал его ярким представителем «оптимистического нигилизма».

⁶⁶⁵ *Щукин* Сергей Иванович (1854—1936) — фабрикант и коллекционер, собиратель французской живописи конца XIX — начала XX в., основатель домашней галереи, открытой для обозрения в 1905 г. В 1918 г. его коллекция была национализирована. Основная часть вошла в состав собрания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

⁶⁶⁶ *Ромен Жюль* (наст. имя Луи Фаригуль; 1885—1972) — французский прозаик, поэт, драматург, представитель унаимизма — течения, прославляющего надсоциальное единодушие массы.

⁶⁶⁷ *Гутировать* (фр. *gouter* — пробовать на вкус) — смаковать, ощущать.

⁶⁶⁸ Так называется статья Чулкова, посвященная Ж. Роме-ну, опубликованная в книге Чулкова «Наши спутники» (1922).

⁶⁶⁹ *Бетховен* Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор, пианист, дирижер. Создал героико-драматический тип симфонизма. У Чулкова есть стихотворение «Со мною ты...», вдохновленное «Пятой симфонией» Бетховена (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 123). В нем говорится: «Я слышу музыку: судьба зовет сурово... // Бетховен пламенный ведет меня к Тебе». Заключительный хор «Девятой симфонии» (1823) написан на слова оды «К радости» И.Ф. Шиллера.

⁶⁷⁰ Ветхий завет. Первая книга Моисеева. Бытие. 1: 26.

⁶⁷¹ Показательно, что именно так была названа одна из статей Чулкова (1908).

⁶⁷² *Кузнецов* Павел Варфоломеевич (1878—1968) — живописец, создавший эгегический стиль. Один из организаторов московского объединения художников «Голубая роза». Во многих полотнах отразилось его увлечение Востоком.

⁶⁷³ Скорее всего, Чулков имеет в виду группу художников, входивших в объединение «Бубновый валет» — П.П. Кончаловского (1876—1956), А.В. Куприна (1881—1944), Р.Р. Фалька (1886—1958).

Нижняя Сена

I

⁶⁷⁴ *Проприэтер* — (ф р. *propriété* — собственность) — владелец.

⁶⁷⁵ *Табльдот* (ф р. *table d'hôte*) — общий стол.

⁶⁷⁶ *Благер* (ф р. *blaguer* — бахвалиться) — шутник, хвастун.

⁶⁷⁷ «*Le temps*» («Время») — буржуазная газета, фактически официальный орган Министерства иностранных дел, издававшаяся в Париже (1861—1942).

⁶⁷⁸ *Молле* — скорее всего, имеется в виду А. Молль — французский психиатр и психолог, автор книги «Исследование сексуального либидо» (1898). На русский язык были переведены его работы «Гипнотизм, с включением главных основ психотерапии и оккультизма» (СПб., 1909), «Прорицание и ясновидение» (Л., 1925).

⁶⁷⁹ См. коммент. 483 (с. 727).

II

⁶⁸⁰ *Фалез* (ф р. *falaise*) — утес.

⁶⁸¹ *Флобер* Гюстав (1821—1880) — французский писатель, автор романа «Мадам Бовари» (1857), действие которого происходит в Руане. Блестящий стилист, он оказал влияние на развитие реализма в мировой литературе.

⁶⁸² *Руанский собор* — готический собор (строительство начато в XIII в., основные постройки XIII—XIX вв.).

⁶⁸³ *St. Maclou* (Сен-Маклу) — церковь, построенная в духе «пламенеющей готики» (1434—1470).

⁶⁸⁴ *Жанна д'Арк* (ок. 1412—1431) — народная героиня Франции. Во время Столетней войны (1337—1453) возглавила борьбу французского народа против английских захватчиков.

⁶⁸⁵ Прав.: *Пюви де Шаванн* Пьер (1824—1898) — французский живописец-символист, создатель монументально-декоративных полотен.

⁶⁸⁶ Прав.: *Рибера* Хусепе де (1591—1652) — испанский живописец и гравер. Прославился реалистичностью изображе-

ния, пристрастием к воспроизведению ужасного, приобретающего у него ирреальный, мистический оттенок.

⁶⁸⁷ *Боттичелли* Сандро (наст. имя и фам. Алессандро ди Мариано Филипепи; 1445—1510) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения. Принадлежал к флорентийской школе, учился у Филиппино Липпи.

⁶⁸⁸ *Веласкес* Диего (наст. имя и фам. Родригас де Сильва Веласкес; 1599—1660) — испанский живописец, создатель картин на религиозные и исторические сюжеты, острохарактерных портретов, сцен из народной жизни.

⁶⁸⁹ Прав.: *Пинтуриккьо* (наст. имя Бернардино ди Бетто ди Бьяджо; ок. 1454—1313) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения. Мастер умбрийской школы, его картины отличаются тонкой поэтичностью, жизнерадостностью, тщательностью письма и богатством орнаментами.

⁶⁹⁰ *Босх* Хиеронимус (наст. имя Хиеронимус ван Акен; 1460—1516) — нидерландский художник, причудливо соединявший фантастику, сатиру и реалистические наблюдения жизненных явлений. Один из наиболее ярких мастеров Раннего Северного Возрождения.

⁶⁹¹ *Моне* Клод Оскар (1840—1926) — французский живописец, один из основоположников импрессионизма, направления в искусстве, получившего свое наименование от названия его картины «Впечатление» («Impression», 1872).

⁶⁹² *Ренуар* Пьер Огюст (1841—1919) — французский художник-импрессионист, график, скульптор. Блестящий колорист, в живописи добивался впечатления монохромности с помощью тончайших сочетаний близких по цвету тонов.

⁶⁹³ *Сислей* Альфред (1839—1899) — французский живописец, англичанин по происхождению, один из ведущих мастеров импрессионизма, создатель пейзажей, отмеченных тонким лиризмом и мягкостью световоздушной атмосферы.

⁶⁹⁴ *Пуссен* Никола (1594—1665) — французский живописец и рисовальщик. Его творчество, проникнутое высокими идеалами, стало ярким выражением классицизма в европейской живописи.

⁶⁹⁵ *Жерико* Теодор (1791—1824) — французский живописец и график, основоположник романтизма во французской живописи. Его искусство повлияло на реалистов середины XIX в.

⁶⁹⁶ *Милле* Жан Франсуа (1814—1875) — французский живописец и график, его картины на темы повседневной крестьянской жизни отмечены реалистичностью и высоким социально-критическим пафосом.

Возвращение на родину

⁶⁹⁷ «*Среда*» — литературный кружок в Москве, собиравшийся по средам у писателя Н.Д. Телешова (1867—1957). Про существовал с 1899 по 1916 г. Участниками его были В.В. Вересаев, А.И. Куприн, И.А. Бунин и др.

⁶⁹⁸ Чулков говорит о своем знакомстве с Евдокией Ивановой *Лосевой* (1881—1936), которой он посвятил стихотворение «*Психея*» («Стихотворения Георгия Чулкова»). Портрет Е.И. Лосевой работы В.А. Серова написан в 1903 г.

⁶⁹⁹ *Милиоти* — вероятнее всего, речь идет о Николае Дмитриевиче Милиоти (1874—1950), живописце, члене обществ «Мир искусства» и «Голубая роза», так как с Василием Дмитриевичем Милиоти (1875—1943) Чулков был знаком раньше, когда тот заведовал издательским отделом журнала «Золотое руно» и оформлял его книгу «Покрывало Изиды».

⁷⁰⁰ *Кузнецов* П.В. — см. коммент. 672 (с. 747).

⁷⁰¹ *Крымов* Николай Петрович (1884—1958) — живописец, мастер синтетического, гармонично организованного пейзажа-картины.

⁷⁰² *Феофилакт* Николай Петрович (1878—1941) — живописец и график, был близок к объединению «Голубая роза», испытал влияние графики О. Бердслея. Его даже называли «Московским Бердслеем». Оформлял журнал «Весы». В его графике преобладали болезненные фантазии, в которых участвовали химеры, сфинксы, летучие мыши, бесполое марионетки и гермафродиты.

⁷⁰³ *Маринетти* Филипп Томмазо (1876—1944) — итальянский писатель, глава и теоретик футуризма, впоследствии сподвижник Муссолини. В статье «Маринетти» (Чулков Г. Вчера и сегодня) Чулков писал о «гениальной наивности» этого «художника-ребенка», но в то же время утверждал, что «его поэзия — самый вульгарный модернизм, подновленный и подкрашенный неудачно и безвкусно».

⁷⁰⁴ *Фор* Поль — см. коммент. 435 (с. 722).

⁷⁰⁵ Показательно, что свою повесть (1916), действие которой разворачивается на фоне «петербургских туманов», Чулков назвал «Осенние туманы».

⁷⁰⁶ *Яценко* Александр Семенович (1877—1934) — профессор права Петербургского университета, с 1918 г. жил в Берлине, основал журнал «Русская книга» (1921), в 1922—1923 гг. выходил под названием «Новая русская книга».

⁷⁰⁷ «Жатва». 1914. Кн. 5.

⁷⁰⁸ «Сатана» (М., 1915).

⁷⁰⁹ «Сатана» (Пг., 1917).

⁷¹⁰ Роман получил большое количество отзывов: о нем писали Ю. Айхенвальд (Речь. 1915. 31 августа. № 71), Н. Ашешов (День. 1915. 1 октября. № 270), Л. Столица (Столичная молва. 1915. 26 октября. № 449), И. Игнатов (Русские ведомости. 1914. 7 июня. № 130), Н. Гиляровская (Голос Москвы. 1914. 24 мая. № 118), Ал. Ожигов (Современное слово. 1914. 24 мая. № 2286), В. Розанов (Новое время. 1914. 18 июня. № 13744) и др.

⁷¹¹ На это обратил внимание в своей статье В. Розанов.

⁷¹² Антон Крайний. Мятающаяся душа. (Отклики. № 26. Литературное приложение к газете «День». 1914. 3 августа. № 178). В статье как большая удача оценивался характер княжны Оленьки: «нарисованная почти одной чертой, — светится как живая», «все <...> что говорит о ней сам автор, все, что он заставляет ее делать <...> художественно верно и хорошо». Критик похвалила также образный, сочный, «всегда интересный и живой язык» автора.

⁷¹³ Известный футурист приехал в Россию в 1913 г.

⁷¹⁴ *Хлебников* Велимир (наст. имя Виктор Владимирович; 1885—1922) — поэт-футурист, или, как он называл себя, будет-

лянин. Создатель утопического общества Председателей Земного Шара, реформатор поэтического языка. Оказал воздействие на русский и европейский авангард, в том числе в области живописи и музыки.

⁷¹⁵ Доклад «Оправдание символизма» Чулков читал в 1914 г.

⁷¹⁶ Сборник увидел свет в 1916 г.

⁷¹⁷ Книга, изданная в 1922 г., называлась «Наши спутники».

Лета (м и ф.) — река забвения в царстве мертвых, испив воду которой, души умерших забывают свою былую земную жизнь.

В горах

⁷¹⁸ *Цветковская* Елена Константиновна (1880—1943) — третья жена К.Д. Бальмонта.

⁷¹⁹ *Шато* (фр. *château*) — замок, величественное здание.

⁷²⁰ *Саваоф* — в Ветхом завете одно из имен Божиих, обозначающее беспредельное величие Его, всемогущество Божие и славу. Знаменует Его владычество над всем сотворенным.

⁷²¹ *З.С.* — Зинаида Серебрякова.

⁷²² 10 (23) июля правительство Австро-Венгрии предъявило Сербии ультиматум, составленный в провокационном тоне, и, не удовлетворившись ответом, 5 (28) июля объявило войну. Поводом к ультиматуму послужило убийство эрцгерцога Фердинанда.

⁷²³ В настоящее время название город произносится Сьер.

⁷²⁴ *Гогенцоллерны* — династия бранденбургских курфюрстов в 1415—1701 гг., прусских королей в 1701—1918 гг. и германских императоров в 1871—1918 гг. Основные представители: Фридрих Вильгельм, Фридрих II, Вильгельм I, Вильгельм II.

⁷²⁵ *Гинденбург* Пауль фон (1847—1934) — генерал-фельдмаршал (1914), фактически главнокомандующий войсками Германии в Первой мировой войне, президент Германии с 1925 г. В январе 1933 г. передал власть в руки национал-социалистов, поручив Гитлеру формирование правительства.

⁷²⁶ *Патуа* — местное наречие во Франции на границе с Италией.

*От Женева до Софии**Письма 1915 года*

I

⁷²⁷ *Колокольня св. Сульпиция* построена на месте церкви XII в. в XVII—XVIII вв.

⁷²⁸ *Готье Теофиль* (1811—1872) — французский поэт, прозаик и критик, один из вдохновителей «Парнаса». Обосновал теорию «искусства для искусства».

⁷²⁹ Франко-прусская война 1870—1871 гг. В ходе войны пала Вторая империя во Франции и завершилось объединение Германии.

⁷³⁰ *Гед Жюль* (наст. фам. Базиль; 1845—1922) — деятель французского и международного социалистического движения, один из основателей Французской рабочей партии.

⁷³¹ Намек на развитие идей федерализма, которые могли бы привести к окончательному согласию франкоязычную, немецкоязычную и итальянскую части Швейцарии, объединившиеся в единое федеративное государство в 1848 г.

II

⁷³² *Салоники* — город и порт в Греции на берегу залива Гермаикос Эгейского моря. Второй по значимости город после Константинополя в Византии. В XIII в. был столицей Фесалоникского королевства.

⁷³³ *Гарибальди Джузеппе* (1807—1882) — народный герой Италии, участник национально-освободительного движения, боровшийся за объединение Италии. Участник Итальянской революции 1848—1849 гг., организатор обороны Римской республики (1849). В 1848, 1859 и 1866 гг. во главе добровольцев участвовал в освободительных войнах против Австрии. Обеспечил победу Итальянской революции 1859—1860 гг. Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. сражался добровольцем на стороне Франции. Его жена Анита (1821—1849) участвовала с ним в партизанских боях в Южной Америке и в обороне Римской республики в 1849 г.

⁷³⁴ *Валона* — административный центр одной из провинций Албании.

⁷³⁵ Хотя в 1912 г. Албания получила независимость, фактически над ней установился протекторат Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, России, Франции, и во время Первой мировой войны на ее территории шли бои между воюющими державами.

III

⁷³⁶ *Бриндизи* — город и порт на берегу пролива Отранто в Южной Италии.

⁷³⁷ Евангелие от Луки (23: 34).

⁷³⁸ *Позор семидесятого года* — имеется в виду тяжелое поражение Франции во Франко-прусской войне (1870—1871).

⁷³⁹ *Марнское сражение* — сражение на реке Марне (север Франции) между французской и германской армиями произошло 5—12 сентября 1914 г.

⁷⁴⁰ В марте—апреле 1915 г. Англия и Франция официально согласились по окончании войны передать столицу Турции Константинополь России с условием не препятствовать им в разделе азиатской части Турции.

⁷⁴¹ *Пролив Отранто* находится между Италией и Грецией, соединяет Адриатическое и Ионическое моря.

⁷⁴² *Шевкет-бей* — Шевкет Махмуд (1858—1913) — турецкий паша в 1901—1903 гг., германофил. В 1912 г. — военный визирь. Был убит членом оппозиционного Либерального союза в Константинополе, после чего вспыхнула II Балканская война.

⁷⁴³ Так Чулков характеризует ситуацию, при которой Турция, выступившая в Первой мировой войне на стороне Германии, была превращена ею в своего военного и финансового вассала.

IV

⁷⁴⁴ *Патрас* — прав.: Патры — город и порт в Греции на полуострове Пелопоннес, административный центр нома Ахея.

⁷⁴⁵ *Венизелос* Элефтериос (1864—1936) — премьер-министр Греции в 1910—1915 гг.

⁷⁴⁶ Строки из стихотворения А.С. Пушкина «Опять увенчаны мы славой...» (1829), посвященного Адриановскому миру, по которому Россия приобрела острова в устье Дуная и ряд городов на Черноморском побережье, а Греция получила независимость (у Пушкина: «Страна героев и рабов расторгла...»).

⁷⁴⁷ Дж. Байрон (1788—1824). «Паломничество Чайльд-Гарольда». Песнь вторая, строфа 73.

⁷⁴⁸ *Коринфский залив* Ионического моря у западных берегов Греции.

⁷⁴⁹ В Коринфе согласно греческому мифу, оказались Медея и Ясон, и там Ясон задумал жениться на дочери коринфского царя. Узнав об этом, Медея погубила ее, ее отца, рожденных ею от Ясона детей и улетела на запряженной Драконами колеснице в Афины.

⁷⁵⁰ *Коринфский канал* пересекает Коринфский перешеек, соединяющий центральные районы Греции и полуостров Пелопоннес.

⁷⁵¹ *Пирей* — город в Греции в Эгейском море. Входит в состав Больших Афин.

⁷⁵² *Эвбея* — остров в Эгейском море, близ побережья Балканского полуострова, с которым соединен мостом.

V

⁷⁵³ Несколько измененное выражение из Евангелии от Матфея (6: 26). От Луки (12: 24).

⁷⁵⁴ В Салониках находится множество византийских церквей IV—XIV вв., украшенных мозаиками и фресками, в том числе купольная базилика св. Софии (V—VIII вв.).

⁷⁵⁵ *Ниш* — город в Сербии на реке Нишаве.

⁷⁵⁶ *Драгоман* — переводчик при дипломатических представительствах и консульствах, преимущественно в странах Востока.

⁷⁵⁷ «*Реки вавилонские*» — выражение из повествования о падении Вавилона (Псалтырь. Кафисма 19. Псалом 136).

⁷⁵⁸ В 1915 г. был подписан болгаро-германский договор, по которому Болгарии были обещаны компенсации за счет территории Сербии, Греции, Румынии, Турции. Болгария в составе

германских и англо-венгерских дивизий выступила против Сербии, захватив всю ее территорию.

⁷⁵⁹ Данное утверждение основано на том, что в VII в. на территории Болгарии появились протоболгары, народность тюркского происхождения, которые во главе с ханом (ок. 644 — ок. 700) вместе с жившими здесь славянскими племенами образовали первое Болгарское царство.

⁷⁶⁰ «*Страдные дни*» — см. коммент. 511 (с. 730).

VI

⁷⁶¹ *Барк* Петр Львович (1869—1937) — государственный деятель, в 1907—1911 гг. директор-распорядитель Волжско-камского коммерческого банка. С 1914 г. и до Февральской революции министр финансов. С 1918 г. в эмиграции.

⁷⁶² «*Гебен*» — германский линейный крейсер, прорвавшийся вместе с крейсером «Бреслад» в начале Первой мировой войны из Средиземного моря в Стамбул. В октябре 1914 г. совершил пиратское нападение на Севастополь.

⁷⁶³ *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк, публицист, один из организаторов партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства, читал лекции по всеобщей истории в Софийском высшем училище в 1897 г. С 1920 г. в эмиграции.

⁷⁶⁴ Чулков перечисляет издания либеральной и демократической ориентации.

⁷⁶⁵ Как и русские, болгары пользуются кириллицей.

⁷⁶⁶ «*Третий элемент*» — условное обозначение демократической интеллигенции — врачей, учителей и т.п. «Первый элемент» — администрация, «второй» — земские служащие.

⁷⁶⁷ *Вильгельм II* (1859—1941) — германский император и прусский король с 1888 г. Отрекся от престола 28 ноября 1918 г.

⁷⁶⁸ Только в 1916 г. правительство Румынии решило вступить в Первую мировую войну на стороне Антанты, которая обещала ей Трансильванию и другие австро-венгерские территории.

На родине

⁷⁶⁹ *Софийский собор* (в Киеве) — заложен Ярославом Мудрым в 1037 г. в память своей победы над печенегами, был построен византийскими мастерами.

⁷⁷⁰ *Евхаристия* — причащение, одно из высших таинств русской православной церкви. Зд.: мозаичное изображение этого обряда.

⁷⁷¹ «*Византийская идея*» — понятие «византизм» возникает в культурологии с конца XIX в. Под этим словом понимается деспотическая сторона византийского государства и быта. Особенности византийского образа мысли являются аскетизм и догматизм.

⁷⁷² См. коммент. 658 (с. 746). Врубель специально изучал образцы византийского и древнерусского искусства, знакомился с образцами итальянского искусства в Венеции.

⁷⁷³ В основу образа Богородицы легли портретные черты Э.Л. Праховой, жены историка искусств А.В. Прахова, пригласившего Врубеля в Киев. Это, по мнению историков искусства, сделало отвлеченный образ ближе, человечнее и эмоциональнее.

⁷⁷⁴ Резкое ухудшение зрения у М.А. Врубеля наступило в декабре 1905 г.

⁷⁷⁵ *Васнецов* Виктор Михайлович (1848—1926) — художник, создатель монументально-эпических полотен на темы русской истории, народных былин и сказок. Расписывал собор Св. Владимира в Киеве в 1885—1896 гг.

⁷⁷⁶ Чулков имеет в виду не только картины Врубеля «Демон», «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный», но и свою теорию «пессимистического демонизма», которую он развивал в статье «Демоны и современность» (1914), а также в подготовительных материалах к большой работе о «демонизме» в искусстве («Художники и демоны». РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 223).

⁷⁷⁷ А.С. Пушкин. «Медный всадник»: «над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом...»; Е.А. Боратынский. «Н.И. Гнедичу»: «Увидеть бы желал я пышный Петроград...»

⁷⁷⁸ *Вигель* Филипп Филиппович (1786—1856) — государственный чиновник, коллекционер, мемуарист, автор воспоминаний (впервые опубликованы с купюрами в 1864—1865 гг.).

⁷⁷⁹ «Жатва». 1915. № 6.

⁷⁸⁰ *Ярцев* Петр Михайлович (1861—1930) — драматург, режиссер, театральный критик.

⁷⁸¹ *Петров* Николай Васильевич (1890—1964) — режиссер, театральный педагог, доктор искусствоведения. В Александринском театре с 1910 г. Народный артист РСФСР (с 1945 г.).

⁷⁸² *Карпов* Евтихий Павлович (1857—1926) — главный режиссер Александринского театра, драматург, сторонник театрального консерватизма.

⁷⁸³ *Тиме* Елизавета Ивановна (1884—1968) — актриса, в труппе Александринского театра с 1908 г.

⁷⁸⁴ *Аполлонский* Роман Борисович (1865—1928) — актер, в труппе Александринского театра с 1881 г.

⁷⁸⁵ *Лаврентьев* Андрей Николаевич (1882—1935) — актер и режиссер Александринского театра в 1910—1918 гг.

⁷⁸⁶ Пьеса шла на сцене в течение всего трех месяцев.

⁷⁸⁷ Пьеса получила много отзывов: «Биржевые ведомости» (1915. 17 октября. № 15154), «День» (1915. 28 мая. № 144), «Петроградские ведомости» (1916. 21 сентября. № 190), Б а т ю ш к о в Ф. Театральные заметки [«Невеста»] // Вестник Европы. 1917. № 1 и др.

⁷⁸⁸ Это убеждение не оставляло Чулкова до конца дней. В его архиве сохранилось немало символистских пьес, написанных уже в 1920—1930-х гг. («Кабачок невинных»), «Конец директора Паскале», «Карнавал», «Хромой Франциск»). Ранее, помимо упоминавшейся «Тайги» (1907), им были написаны пьесы «Семена бури» (1908), напоминавшая блоковского «Короля на площади», «Адония» (1910), в чем-то предвосхитившая романтические пьесы Н. Гумилева, а также «Дети греха» (1918).

⁷⁸⁹ *Некрасов* Николай Виссарионович (1879—1940) — лидер левых кадетов, инженер-технолог, профессор, депутат III и IV Государственных Дум. Один из руководителей «Земгора». С 1921 г. — в Центросоюзе.

⁷⁹⁰ *Портплед* (ф р. porté — носить и англ. plaid — шерстяное одеяло) — дорожная сумка или чехол для пледа и постельных принадлежностей.

Мартовские дни

⁷⁹¹ По всей вероятности, речь идет о Алексее Дмитриевиче *Протопопове* (1866—1917/1918) — министре внутренних дел России и главноначальствующем корпуса жандармов (дек. 1916 — февр. 1917). Являлся основателем и редактором газеты «Русская воля» (1916—1917). После Октябрьских событий расстрелян по приговору ВЧК.

⁷⁹² Документ, по которому 2 марта 1917 г. Николай II отрекался от престола и за себя, и за сына и передавал власть Вел. князю Михаилу Александровичу, который уже 3 марта вынужден был подписать свое «отречение».

ПИСЬМА

Печ. с соблюдением орфографии и сокращений, использованных в кн.: Ч у л к о в Г. Годы странствий. М., 1930. В настоящее издание внесены только некоторые пунктуационные изменения, соответствующие требованиям современной литературной нормы. Отдельные письма А. Блока сверены по изд.: Б л о к А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1960—1963.

Письма В.Я. Брюсова

I

^{1*} «Скорпион» — издательство, существовавшее в Москве в 1900—1916 гг. Принадлежало С.А. Полякову (1874—1948), инженеру и переводчику.

^{2*} «*Homo sapiens*» — роман (1895—1898) С. Пшибышевского.

^{3*} D'Annunzio G. Francesca da Rimini. Milano, 1902. Перевод этой пьесы был заказан Брюсову В. Комиссаржевской в 1907 г. Ввиду срочности разделен между ним и Вяч. Ивановым. Издан в 1908 г.

^{4*} Так назвал В. Брюсов работу Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», публикация которой с подзаголовком «Христос и Антихрист в русской литературе» началась в «Мире искусства» (1900, № 1—2) и продолжалась два года. Отдельным изданием том 2 (Религия Л. Толстого и Достоевского) вышел в 1902 г.

^{5*} Литературно-художественный кружок — см. коммент. 226 (с. 698).

III

^{6*} Уистлер Джеймс Эббот Мак Нил (1834—1903) — живописец, офортист, литограф, писатель. Свои картины называл «аранжировками», «симфониями», «ноктюрнами», стремился соединить лаконичность композиции и обобщенность формы с импрессионистическими приемами, романтизмом и символизмом художественного мышления.

^{7*} М. Денис — прав.: Дени Морис (1870—1943) — французский художник-постимпрессионист, живописец, график, театральный декоратор, теоретик искусства. В его индивидуальном стиле, называемом «интимизмом», причудливо переплетались неоклассицизм, итальянские влияния с синтетизмом Гогена. Он сочетал спиритуализм, христианскую духовность с чувственностью и декоративностью изображения. Собственную «музыку линий» сравнивал с мелодиями Дебюсси.

^{8*} Шопен Фридерик (1810—1848) — польский композитор и пианист. Его музыке присущи лиризм, тонкость в передаче различных настроений, романтическая взволнованность. Соединил классичность формы с мелодическим богатством и фантазией.

IV

^{9*} В «Новом пути» Брюсов напечатал поэму «Конь блед» (1904. № 5), стихотворения «Орфей и Эвридика» (1904. № 8), «Орфей и аргонавты», «Гребцы триремы» (1904. № 11).

^{10*} В «Новом пути» был опубликован единственный перевод Брюсова: Ог Э., де. Смерть последнего папы. Рассказ (1904. № 2).

V

^{11*} Имеется в виду рецензия Брюсова (подпись Аврелий) «О•книгах». Ad. Van Bever. Mauris Maeterlinck. Paris. 1904 (Весы. 1904. № 12). В 1904 г. Брюсов опубликовал свой перевод этого критико-библиографического очерка и рассказа французского писателя в книге «М. Метерлинк. Избиение младенцев. Рассказ».

VI

^{12*} Автором «Гнили» был Вацлав Берент (1873—1940) — польский прозаик. Помимо романа «Гниение» (переводившегося на русский язык и как «Гнилушки», «Блестящая пыль», «Гниль») написал романы «Новые пути» (1894—1895), «Озимь» (1911).

VII

^{13*} «Русское слово» — ежедневная газета, издававшаяся И.Д. Сытиным в Москве (1901—1916).

^{14*} «Русь» — ежедневная газета, выходившая в Санкт-Петербурге (1903—1908) под редакцией А.А. Суворина.

^{15*} «Русские ведомости» — см. коммент. 185 (с. 693).

^{16*} «Наша жизнь» — ежедневная общественно-политическая, литературная и экономическая газета. Выходила в Санкт-Петербурге в 1904—1906 гг.

^{17*} «Право» — ежедневная юридическая газета. Выходила в Санкт-Петербурге (1901—1916).

VIII

^{18*} «Мятеж» — стихотворение Верхарна из книги «Черные факелы» (1891) (перевод напечатан: В е р х а р н Э. Стихи о современности. М., 1906), посвященное теме революционного действия масс. Влияние его идей отразилось и в стихотворении Брюсова «Мятеж» (1920) с пометкой «Памяти Эмиля Верхарна

как поэта и друга». Было помещено в сборнике «В такие дни» (1921).

^{19*} Перевод стихотворения Эдгара По «Ворон» был опубликован в «Вопросах жизни» (1905. № 1).

IX

^{20*} Рассказы Брюсова в «Вопросах жизни» не появились.

X

^{21*} Рецензии Мирэ в «Весах» не обнаружены. Вероятно, рецензия, о которой говорится в письме, действительно не подошла и была отослана обратно. Возможно, ее опубликовали «Вопросы жизни», так как в этом журнале рецензии Мирэ печатались неоднократно.

^{22*} «Мор» — стихотворение из книги Верхарна «Обезумевшие селенья», опубликовано в «Вопросах жизни» в октябре. Его заключительная часть переведена в 1923 г. для издания стихотворений Верхарна (М.; Пг., 1923); «Мадонна на перекрестке» — стихотворение из книги Верхарна «Черные факелы» (1891), получившее в конечной редакции название «Женщина на перекрестке». Всего из предложенных Брюсовым переводов Верхарна в «Вопросах жизни» были опубликованы в октябре — ноябре 1905 г. стихотворения «Трибун», «Банкир», «Мор», «Города и поле. К будущему».

^{23*} В альманахе «Северные цветы Ассирийские» (вып. IV, 1905) была напечатана драма Брюсова «Земля».

XI

^{24*} «Фонарики» (1904) — опубликовано в сборнике В. Брюсова «Stephanos» (1906).

XII

^{25*} Рецензия В. Иванова на переводы «песен» Метерлинка появилась в «Весах» (1905. № 7). В ней высоко оценивался сам автор, много внимания уделялось иллюстрациям Шарля Дудле, но весьма сдержанно говорилось о работе переводчика. Рецензия Брюсова, опубликованная в том же номере «Весов», называлась

«Фиалки в тигеле» и содержала неллицеприятный отзыв о переводах Чулкова.

XIII

^{26*} Летом 1905 г. В. Брюсов и Н. Петровская (1884—1928) отдыхали в Финляндии. В письмах к ней Брюсов вспоминал об этом, как о «днях несбыточного счастья». Впечатления от пребывания в Финляндии отразились в рассказах сборника Н. Петровской «Sanctus amor» (1908) и цикле стихотворений Брюсова «На Сайме», где упоминается и пансион Рауха.

XV

^{27*} Летом 1905 г. Брюсов работал над романом «Огненный ангел», прототипами главных героев которого были сам поэт, Андрей Белый, Н. Петровская.

XVI

^{28*} Переводы Дж. Байрона были заказаны Брюсову С. Венгеровым для «Библиотеки великих писателей». Брюсов выразил желание переводить «Пророчество Данте», первую из «Европейских мелодий», оды, посвященные Наполеону и Венеции, «Сон», стихи к финской девушке и стихотворение «Пришло время утихнуть этому сердцу...». Из названных произведений ему был предложен для перевода лишь наполеоновский цикл и стихи из книги «Часы досуга». Спустя полтора десятилетия Брюсов по собственной инициативе перевел фрагмент из «Дон Жуана».

^{29*} Рассказы «Республика Южного креста» и «В подземной тюрьме» напечатаны в журнале «Весы» (1905. № 12 и 1906. № 5).

XVII

^{30*} «Слово» — политическая, общественная и литературная газета. Выходила в Санкт-Петербурге (1903—1909).

^{31*} Брюсов переводил Верлена с 1892 по 1911 гг. Итогом этого труда стало фундаментальное издание «Верлен» (М., 1911). Этюд «П. Верлен. Биографический очерк» напечатан в кн.: В е р л е н П. Избранные стихотворения в переводах русских поэ-

тов (М., 1912); «Эмиль Верхарн — как человек и поэт» опубликовано в качестве предисловия к кн. «Э. Верхарн. Стихи о современности» (М., 1906). Стихотворения Верхарна «Голова» из книги «Разгромы» (1888) и «Лондон» из книги «Вечера» (1887) напечатаны в «Журнале для всех» (1905. № 11 и 1906. № 1); *Этюд о А. Рембо*, по всей видимости, написан не был, подготовительные материалы к нему были использованы в статье «К истории символизма». Впервые опубликованы: «Литературное наследство» (Т. 27—28. М., 1937); очерк «Рене Гиль. (Ghil R. Oeuvre. En méthode à l'oeuvre. Paris. 1904)» напечатан в «Весех» (1904. № 12).

Гиль Рене (наст. имя Гильбер; 1862—1925) — французский поэт, автор книг стихов «Легенда душ и крови» (1885), «Обет жизни» (1906) и эстетических трактатов — «Трактат о слове» (1885), «Научная поэзия» (1909).

^{32*} Брюсов перевел стихотворения Анри де Ренье «Упрек», «На отмели», «Других пусть радуют прекрасные закаты...»; С. Малларме — «Из поэмы «Иродиада», «Лебедь», «Луна печалилась. Томились серафимы...», «У окна, где пурпур старый...»; Р. Демеля — «Вечерняя песня», «Простор! грудь, рвись за пределы!..», «Есть вечно в нас, что вечно одиноко...». Из наследия А. Стриндберга Брюсовым переведен только рассказ «Чудо» (Ребус. 1900. № 46. 13 ноября).

Ренье Анри Франсуа Жозеф де (1864—1934) — французский прозаик и поэт, близкий к символизму. В романах («Героические иллюзии Тито Басси», «Грешница») эстетизировал быт французской аристократии XVII—XVIII вв.

^{33*} Эллис Лев Львович (наст. фам. Кобылинский; 1879—1947) — поэт и критик, теоретик символизма, автор книги «Русские символисты» (1910). Раздраженный по отношению к нему тон Брюсова объясняется тем, что в 1904—1907 гг. они находились в конфликте. С 1907 г. у Эллиса начался период неумеренного поклонения Брюсову.

XIX

^{34*} В IV сборнике «Знания» (1905) был напечатан перевод стихотворения «Кузнец» (Из Верхарна) в переводе А. Лукьяно-

ва. Брюсовский перевод опубликован в «Журнале для всех» (1905. № 12).

^{35*} Ответа в печати на статью Брюсова «Фиалки в тигеле» от Чулкова не последовало.

^{36*} Литературно-критические статьи Брюсова о Верлене были опубликованы в кн.: В е р л е н П. Записки вдовца. М., 1911 (предисловие); В е р л е н П. Избранные стихотворения в переводах русских поэтов. СПб., 1911 (Биография и характеристика творчества).

^{37*} *Альтенберг* Петер (наст. имя Рихард Энглендер; 1859—1919) — австрийский писатель. В русском переводе опубликованы сборники рассказов, стихов в прозе, афоризмов, импрессионистических зарисовок «Как я это вижу» (1908), «Сказки жизни» (1908). Брюсовских переводов не обнаружено. Перевод этого автора М.Н. Семеновым упоминается в переписке Брюсова с Поляковым (см.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. С. 68, 70, 72).

XX

^{38*} «Трибун» — был опубликован в «Вопросах жизни» (1908. № 10—11).

XXI

^{39*} В публикации стихотворение названо «Города и поле. К будущему».

^{40*} «Отплытие» — вступительное стихотворение Верхарна к книге «Черные факелы» (1891). Перевод опубликован в кн.: В е р х а р н Э. Стихи о современности (1906).

XXII

^{41*} «Города» — то же, что и «Города и поле. К будущему».

XXIV

^{42*} *Кобеко* Дмитрий Фомич (1837—1918) — государственный и общественный деятель, историк, генеалог. С 1902 по 1918 гг. — директор Императорской публичной библиотеки в Петербурге. В феврале — декабре 1905 г. возглавлял Особое

совещание для составления нового устава о печати, выступал сторонником свободы слова и печати.

^{43*} *Дума* — в данном случае речь идет о представительном законодательном учреждении, созданном согласно Манифесту Николая II (6.8.1905) и получившем название Булыгинской думы (по имени министра внутренних дел А.Г. Булыгина; (1851—1919). Однако дума так и не была созвана. Кроме того, в «Положении о выборах в Государственную думу» содержалось большое количество ограничений для разных лиц. С момента назначения в апреле 1905 г. товарищем министра Д.Ф. Трепова влияние Булыгина значительно ослабло. Все это, вероятно, и позволило Брюсову охарактеризовать ее как «кастрированную».

^{44*} «*Цусима*» впервые напечатана в сборнике Брюсова «Stephanos».

^{45*} «*Гунны*» и «*Брат*» — то же, что «Грядущие гунны» и «Одному из братьев». Вместе со стихотворением «К счастливым» напечатаны в «Вопросах жизни» (1905. № 9) под общим заголовком «Из современности».

XXV

^{46*} Речь идет о сборнике «Огни».

XXVI

^{47*} Стихотворения, предназначавшиеся для «Огней» (см. коммент. 46*) и помещенные в альманахе «Факелы» (1906), действительно не были включены Брюсовым ни в один сборник. Речь идет о стихотворении «Близким», состоящем из двух частей: «Нет, я не ваш!..» и «Нам руки свободные свяжут...». Первая часть этого цикла была напечатана в 1905 г. в книге «Песни борьбы и труда» (Самара).

^{47**} Стихотворения с таким названием у Брюсова нет.

^{48*} Корреспонденция Брюсова в «Вопросах жизни» не появилась. Статья «Искания новой сцены» (за подписью Аврелий) была опубликована в «Весак» (1905. № 12) и посвящена «Театру-студии» К.С. Станиславского, Вс. Мейерхольду, а также «Театру Диониса» Н.Н. Вашкевича. Кроме того, Брюсов напечатал ре-

цензию (Весы. 1905. № 9—10) на книгу Н.Н. Вашкевича «Дионисово действо современности. О слиянии искусств. Эскиз» (М., 1905).

^{49*} Имеется в виду молодежная студия на Поварской (филиал МХТ), организованная в мае 1905 г. под руководством Вс. Мейерхольда; Брюсов был председателем Литературного бюро студии. На открытии студии предполагалось показать «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка, репетировалась пьеса Г. Гауптмана «Шлюк и Яу». Однако студия так и не была открыта, и в декабре Мейерхольд переехал в Петербург.

^{50*} «Дионисово действо» — имеется в виду «Театр Диониса» — студия, руководимая бывшим актером МХТ Н.Н. Вашкевичем (организована в Москве в 1905 г.). Это была попытка создать «Театр эмоций, или Театр мистической трагедии». В инициативную группу вошли С.А. Поляков, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин, В.В. Гофман. Для открытия выбраны «Сны» Д'Аннунцио, а также поставлена драма К. Бальмонта «Три расцвета». Рецензенты увидели в постановках «образцы вульгарного модернизма» (Правда. 1906. Янв. Кн. 2. С. 97) и «самые шаблонные приемы того же реализма» (Золотое руно. 1906. № 1. С. 120).

XXVIII

^{51*} О какой рецензии идет речь, установить не удалось. Впервые о Р. Гиле Брюсов отозвался в рецензии на его книгу «Oeuvre. En méthode à l'oeuvre» (Paris. 1904), которую напечатали в «Весях» (1904. № 12). Следующая публикация — статья «Литературная жизнь Франции. Научная поэзия», явившаяся отзывом на книгу: G h i l R. De la Poésie scientifique. Paris. 1909, — появилась только в 1909 г. (Русская мысль. № 6).

XXIX

^{52*} Роман «Огненный ангел» опубликован в «Весях» (1907. № 1—3, 5—12; 1908. № 2—3, 5—8).

^{53*} Существует мнение, что молодежная студия была закрыта по решению К.С. Станиславского, который объяснял свои действия тем, что в ней неопытные актеры «показывали свою дет-

скую беспомощность», а режиссер смог «только демонстрировать свои идеи, принципы, искания» (Станиславский К.С. *Моя жизнь в искусстве*. М., 1983. С. 293, 294).

XXXI

^{54*} «Довольным» — стихотворение впервые напечатано в сборнике «Stephanos».

^{55*} «Слава толпе» — стихотворение впервые напечатано в сборнике «Stephanos».

XXXIV

^{56*} «Юлий Цезарь» — стихотворение впервые напечатано в сборнике «Stephanos».

^{57*} Решение открыть в «Весах» отдел художественной литературы было продиктовано желанием найти контакт с читателем. Попытка Брюсова отказаться от руководства журналом объяснялась изменением его взглядов на символизм, а также тем, что, по его мнению, углубился кризис современной культуры. Однако в сентябре — октябре он возвратился к редакционной работе.

^{58*} В Петербурге 27 октября 1905 г. вышел первый номер ежедневной политической и литературной легальной большевистской газеты «Новая жизнь». Большевики вынуждены были прибегнуть к формальному «редакторству» поэта-символиста Н. Минского, поскольку у него имелось разрешение на издание и он согласился вести все отделы газеты в духе марксизма.

XXXV

^{59*} ...сбила «в раздранных ризах» — так Брюсов отозвался о Л.Д. Зиновьевой-Аннибал.

XXXVI

^{60*} Брюсов одобрил опубликованные в «Факелах» «Балаганчик» А. Блока, стихи Вяч. Иванова «Факелы. Дифирамб», «Неприятие мира», «Odi et spero», «Бессонницы», «Казни ль вестник предрассветный...», «Парнас», «Перед жертвой»

(с посвящением: «Георгию Чулкову, зачинателю «Факелов», и рассказ Л. Андреева «Так было», но остался недоволен сказками Ф. Сологуба «Нетопленные печи» и К. Эрберга «Порядок», рассказами С. Сергеева-Ценского «Проталина» (впоследствии — глава романа «Бабаев»), О. Дымова «Бунтовщики», А. Ремизова «Серебряные ложки», Л. Зиновьевой-Аннибал «Нет», а также стихами С. Рафаловича, И. Бунина, С. Городецкого, А. Белого, Г. Чулкова, К. Эрберга, Ф. Сологуба, Allegro (П. Соловьевой).

^{61*} Статья Брюсова о «Факелах» появилась в «Весах» (1906. № 5).

^{62*} «Адская почта» — иллюстрированный журнал сатиры, ставивший перед собой задачу бороться «против насилия и насильников, рабства и поработителей». Издавался в Петербурге в 1906 г. Издатель — Е. Лансере, редактор — П. Трояновский. В нем принимали участие И. Бунин, Ф. Сологуб, М. Горький, Вяч. Иванов, а также художники — М. Добужинский, И. Билибин, Б. Кустодиев и др.

^{63*} О каких рецензиях идет речь, установить не удалось. Отзывы о переводах Брюсовым «Стихов о современности» Э. Верхарна появились одновременно в нескольких изданиях в 1906 г. Поскольку письмо Чулкову написано, вероятнее всего, в середине июня, то это могли быть рецензии в «Мире Божиим», «Золотом руне», «Образовании» (все — № 7). На цикл «Современность» (из сборника «Венок») отозвался В. Гофман (Дело и отдых. № 7. 19 февраля). Пьеса Э. Верхарна «Зори» в переводе Г. Чулкова появилась только в XI сборнике «Знания», вышедшем 19 августа 1906 г. Сам Брюсов сопоставил перевод Чулкова с переводами С. Шамбинаго и А. Воротникова в статье «Новые перевода Верхарна» (Весы. 1906. № 9).

XXXVII

^{64*} В июньском номере журнала «Весы» в разделе «О книгах» опубликована заметка В. Брюсова «Сборник Знания. X» за подписью Пентуар, в которой он писал, что пьеса Л. Андреева «К звездам» — «очень заурядное» произведение с «шаблонными типами революционеров».

^{65*} «К звездам» — драма Л. Андреева (1906) получила в целом доброжелательную оценку критики (см.: Современный мир. № 3; Вестник жизни. № 8, 9, 12).

^{66*} Вышло всего три номера «Адской почты», № 4 был конфискован в типографии. В первом номере В. Брюсов напечатал перевод стихотворения Верхарна «Свиньи».

XXXVIII

^{67*} Результатом поездки в Швецию было выступление Брюсова на страницах «Весов» (№ 8): «Письмо из Швеции (Художественная выставка в Норчепинге)».

XXXIX

^{68*} Гюнтер Иоганнес фон (1886—1973) — немецкий поэт и переводчик, в его переводе вышел в Мюнхене (1908) сборник рассказов В. Брюсова «Республика Южного креста». В 1969 г. В Мюнхене издана книга его литературных воспоминаний «Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München». Весной 1906 г. Гюнтер жил в Петербурге на квартире А. Ремизова, который дал ему рекомендательное письмо к Брюсову.

XLI

^{69*} *Каллаш* Владимир Владимирович (1866—1919) — историк литературы, библиограф, познакомился с Брюсовым в феврале 1900 г., неоднократно публиковал историко-литературные материалы в «Весах».

^{70*} *Чуковский* Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882—1969) — писатель, историк литературы, литературный критик. В 1908 г. появился его сборник литературно-критических статей «От Чехова до наших дней» и «Нат Пинкертон и современная литература», в 1911 г. — «Критические рассказы», в 1914 г. — «Лица и маски» и «Книга о современных писателях». Неоднократно публиковался в «Весах». О своих встречах начала XX века оставил мемуары (см.: Из воспоминаний. М., 1959).

^{71*} *Волынский* Аким Львович (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер; 1861—1926) — литературный и балетный кри-

тик, историк и теоретик искусства. В «Северном вестнике» (1895. № 9) дал отрицательный отзыв на сборник «Русские символисты» (вып. 1 — 2) и стихи В. Брюсова. О «скудости таланта» Брюсова он писал в рецензии на книгу «Шедевры» (Северный вестник. 1895. № 11). Брюсов опубликовал рецензию на его «Книгу великого гнева» (Весы. 1904. № 2).

XLII

^{72*} Д.С. Мережковский опубликовал в «Весах» среди прочих следующие работы: в 1905 г. — «Умытые руки» (№ 9—10), «О Чехове» (№ 11); в 1906 — «Пророк русской революции. К юбилею Достоевского» (№ 2, 3—4), «Декадентство и общественность» (№ 5). А. Белый напечатал в журнале статьи «Критицизм и символизм» (1904. № 2), «Вишневым сад» (там же), «Чехов» (1904. № 8), «Химеры» (1905. № 6), «Сфинкс» (1905. № 9 —10). Непосредственно социал-демократическому учению он посвятил свои статьи в № 9—10 (1905) и № 7 (1906).

^{73*} *Расин Жан* (1639—1699) — французский поэт и драматург, представитель классицизма. Наиболее известны его трагедии в стихах «Британик» (1669), «Береника» (1670), «Федра» (1677).

^{74*} Скорее всего, здесь Брюсов отсылает адресата к стихотворению Вяч. Иванова «Кочевники красоты» («Прозрачность». М., 1904), в котором так названы художники, писатели. Это выражение встречается и в статье Л. Зиновьевой-Аннибал «В раю отчаяния. Андре Жид. Литературный портрет» (Весы. 1904. №10), где оно использовано для характеристики воззрений О. Уайльда и А. Жида.

XLIII

^{75*} *Ликуардопуло* Михаил Федорович (1883—1925) — переводчик, главным образом произведений О. Уайльда, автор исследований о нем, критик. После закрытия «Весов» неоднократно приезжал в Англию, где встречался с Г. Уэллсом; публиковался в английских русских периодических изданиях. После октябрьских событий 1917 г. остался за границей.

Письма Александра Блока

II

^{76*} *Гофман* Виктор Викторович (1882—1911) — поэт и прозаик, автор сборников: «Книга вступлений. Лирика. 1902—1904», «Искус» (1910), «Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры. 1909—1911». Покончил жизнь самоубийством.

^{77*} *Рашильд* (наст. имя и фам. Маргарита Эймери; 1862—1953) — французская писательница, критик. А. Ремизов перевел ее пьесу «Продавец солнца» (Новый путь. 1904. № 6).

III

^{78*} Намек на слова Ивана Карамазова (Кн. 5. Гл. III).

^{79*} Рецензия Блока на роман Рашильд «Подпочвенные воды» (пер. Н. Надеждина) опубликована в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 3).

IV

^{80*} *Дымов* Осип Исидорович (наст. фам. Перельман; 1878—1959) — прозаик, драматург, журналист. В 1913 г. эмигрировал в США. Блок пишет о книге импрессионистических рассказов Дымова «Солнцеворот», разделенных на части, соответствующие временам года. Понравившаяся Блоку «Весна» — или второй рассказ в части, озаглавленной «Весна», или сама эта часть.

V

^{81*} *Котляревский* Нестор Александрович (1863—1925) — литературовед, критик, публицист, первый директор Пушкинского Дома (с 1910 г.). О его книге «М.Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения» (1905) Блок написал статью «Педант о поэте», напечатанную в газете «Слово» (1906. 27 февраля. Литературное приложение № 4).

^{82*} В книге «Из жизни идей» (Т. 2. «Древний мир и мы». СПб., 1905) известный ученый-эллинист Ф.Ф. Зелинский высказался в пользу классического образования, чье мнение по этому вопросу поддержал Блок в рецензии на «Амур и Психею» Апулея и «Науку любви» Овидия.

VI

^{83*} Намек на то, что письмо С. Соловьева было опубликовано в журнале в отделе «Из частной переписки»; в печати по поводу статьи Чулкова Блок не выступил.

^{84*} Возможно, такие «формулировки» высказываний В.В. Розанова сложились у Блока под впечатлением следующих работ философа: «На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьева» (1900); «Памяти Вл. Соловьева» (1900); «Размолвка между Достоевским и Соловьевым» (1902); «Христианство пассивно или активно?» (1897), в которых Розанов полемизировал со статьей Вл. Соловьева «Судьба Пушкина» (1897), считая, что тот осудил Пушкина за «активность»; не согласился с трактовкой философом плотской любви как «низменного инстинкта» (эти мысли он в дальнейшем развил в исследовании «Люди лунного света» (1909).

^{85*} *Величко* Василий Львович (1860—1903) — литератор, автор первой книги о Соловьеве — «Владимир Соловьев. Жизнь и творения» (СПб., 1902). О ней Блок отзывался весьма пренебрежительно.

^{86*} Первоначально (в 1910 г.) свою речь «Рыцарь-монах» Блок хотел озаглавить «Невидимый образ Вл. Соловьева», что явно перекликается с использованным в письме к Чулкову определением.

^{87*} Имеется в виду предисловие к третьему изданию стихотворений Вл. Соловьева (СПб., 1900).

^{88*} Зд.: Орфей — создатель особой греческой религии — слияния личности с изначальным единством бытия, провозвестник учений и мистерий Диониса — воплощения жизненной силы природы.

^{89*} Очевидно, имеются в виду рецензии на книги: Мирз «Жизнь»; «Зеленый Сборник»; А. Ернефельта «Три судьбы», — опубликованные в «Вопросах жизни» (1905. № 7).

VII

^{90*} «Осенняя воля» — стихотворение (осень 1904—июль 1905).

^{91*} «Пляски осенние» — стихотворение, написанное 1 октября 1905 г., впервые опубликовано в «Золотом руне» (1906. № 7) с посвящением Андрею Белому.

VIII

^{92*} В январе 1906 г. в письме к А. Белому Блок весьма иронично охарактеризовал начинания, связанные с созданием нового театра: «Только что вернулся с большого собрания, где «Факелы» и «Жупелы» обсуждали свои театры».

X

^{93*} Стихотворение «Митинг» в «Журнале для всех» напечатано не было. Впервые опубликовано в сборнике «Нечаянная радость» (1907). «Журнал для всех» — издание демократического направления (редактор-издатель в 1895—1897 гг. — Д.А. Генник, с осени 1897 — В.С. Миролюбов). В сентябре 1906 г. журнал был закрыт.

XI

^{94*} *Куприн* Александр Иванович (1870 — 1938) — прозаик, наиболее известные произведения: повести «Олеся» (1898), «Поединок» (1905), отмеченные социальным критицизмом и романтической приподнятостью.

^{95*} *Тан* Н.А. — см. коммент. 253 (с. 702).

^{96*} Трудно сказать, о каком из Гофманов — Викторе Викторовиче или Модесте Людвиговиче (1887 — 1959) — поэте, критике, литературоведе, авторе книги «Соборный индивидуализм» (1907) и редакторе сборника «Книга о русских поэтах последнего десятилетия» (1909), оказавшемся с 1923 г. в эмиграции, идет речь. Но, вероятнее всего, о последнем, так как уже к 1907 г. у него с Блоком установились довольно тесные отношения.

XVIII

^{97*} Чулков сделал следующую надпись на книге: «Александру Блоку в знак любви. — Георгий Чулков».

^{98*} На полях книги Чулкова «О мистическом анархизме» против этих слов стоит помета NB! Следующие за ними: «Он

сделался практикой и борьбой, жизнью и необходимостью. *И с тех пор, как социализм потерял свой утопический характер, невозможно убежать от него, обнаруживая тем самым свою рабскую и мещанскую природу, скрыть которую не в состоянии никакие догматы и никакие доктрины»* (С. 37) — подчеркнуты Блоком.

^{99*} В стихотворении «Рожденные в года глухие...» (1914) Блок использовал найденный в этом письме образ:

И пусть над нашим смертным ложем
Возьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое!

^{100*} Возможно, под «событием эпохи Александра III» Блок подразумевал политику контрреформ, усиление административно-полицейских мер, акцентирование русской «национальной самобытности», которыми характеризовалось его царствование (1881—1894 гг.).

^{101*} *Лейкин* Николай Александрович (1841—1906) — писатель-юморист, автор более чем 10 000 рассказов-сцен, вошедших в сборники «Шуты гороховые» (1879), «Саврасы без узды» (1880) и др., романов-сериалов, комедий. Какое «собрание» в данном контексте имеет в виду Блок, не совсем ясно.

^{102*} Заметка «От издателей», подписанная «Скорпион», в кн.: В е р х а р н Э. Стихи о современности — в переводе В. Брюсова (М., 1906) начиналась так: «Круг развития той литературной школы, которая известна под названием «новой поэзии», можно считать замкнувшимся». Рецензия Блока на это издание опубликована в журнале «Золотое руно» (1906. № 7).

XX

^{103*} Стихотворение Чулкова было процитировано в статье Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1907).

XXI

^{104*} «*Беатриса*» — пьеса М. Метерлинка «Сестра Беатриса» (1900), поставленная в театре В. Комиссаржевской.

XXII

^{105*} Блок в 1905 г. перевел лишь одно стихотворение Э. Верхарна — «Шаги» из сборника «Вся Фландрия» (Нива. 1907. № 1).

XXIII

^{105**} Философский этюд Е.П. Иванова «Всадник. Нечто о городе Петербурге» (Белые ночи. СПб., 1906) получил двойственную оценку Блока (см. письмо к матери от 3 сентября 1905 г.

XXIV

^{106*} «Драма жизни» (1896) — пьеса К. Гамсуна, поставленная на сцене МХТ К.С. Станиславским и Л.А. Сулержицким, была привезена на гастроли в С.-Петербург в 1907 г. Об этой постановке Чулков опубликовал рецензию (Товарищ. 1907. 6 (19) мая. № 259).

XXX

^{107*} Возможно, речь идет о Николае Дмитриевиче *Соколове* — юристе, присяжном поверенном, впоследствии сенаторе, в 1917 г. — члене исполкома Петроградского Совета и Чрезвычайной следственной комиссии. В письме к матери (30 мая 1917 г.) Блок охарактеризовал его как «остервенелого».

XXXI

^{108*} «Зуб за зуб» — Вторая книга Моисеева. Исход. 21: 24. (полностью: «Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу»). Блок шутливо противопоставляет «законодательство» Ветхого завета — благодати Нового.

XXXIV

^{109*} Статья Блока «О лирике» появилась в «Золотом руне» (1907. № 6). В ней опровергаются основные положения работы А. Белого «Против музыки» (Весы. 1907. № 3). Против критических выступлений «Весов» Блок высказался и в статье «О современной критике» (1907).

XXXV

^{110*} Из стихотворения С. Городецкого «Дьявол»; 4-я строка приведенной строфы читается: «В моем невиданном аду».

XXXVI

^{111*} См. стихотворение С. Городецкого «Дьявол».

^{112*} Источник цитаты не установлен.

^{113*} Г. — З.Н. Гиппиус.

^{114*} Б. — Андрей Белый.

XXXVII

^{115*} Приблизительно в это же время Блок пишет в письме к матери (28 сентября 1907 г.): «С Чулковым вижусь изредка, всегда неприятно и для него и для себя».

XXXVIII

^{116*} «Дама с камелиями» — пьеса французского писателя А. Дюма-сына (1824—1895), созданная в 1852 г. по одноименному роману (1848). Эта пьеса была в репертуаре Э. Дюзе (1858—1924) на ее гастролях в России в 1908 г.

XL

^{117*} В 1908 г. в «Золотом руне» были опубликованы статьи А. Блока «Три вопроса» (№ 2), «О театре» (№ 3—4, 5), «Письма о поэзии» (№ 7—9, 10), «Солнце над Россией» (№ 7—9).

XLI

^{118*} «Песня судьбы» — лирическая драма (1908) А. Блока.

^{118**} По-видимому, Блок так отозвался о статье А. Белого «Обломки миров» (Весы. 1908. № 5), посвященной его лирическим драмам.

^{119*} «Корабль» — драма (1908) Д'Аннунцио. В письме к жене (14 июня 1908 г.) Блок оценил ее как «очень искусную трагедию».

XLII

Судя по содержанию, письмо должно быть датировано маем 1907 г.

XLIII

^{120*} К.С. Станиславский репетировал «Синюю птицу» М. Метерлинка, которой хотел открыть сезон. На премьеру ожидался приезд самого автора.

^{121*} *Рябушинский* Николай Павлович (1876—1951) — крупный предприниматель, меценат, художник-дилетант, издатель «Золотого руна». Покушался на самоубийство, которое в прессе объяснялось неудачами в делах. Чулков «от избытка чувств» послал в «Золотое руно» телеграмму.

^{122*} «Образование» — журнал общедемократического направления (1892—1909). Основателем и бессменным редактором-издателем (до июля 1895 г.) был Василий Дмитриевич Сиповский (1895—1943). Авторитетом и расцветом журнал обязан Александру Яковлевичу Острогорскому (1868—1908).

^{123*} «Утро» — общественно-литературная и политическая газета (1908—1909), выходила в Петербурге. Редактор-издатель — Д.Г. Мунтянов (до № 30), затем — И.М. Василевский.

^{124*} Имеется в виду письмо Н.А. Клюева к литератору В.С. Миролубову с ответом на вопросы, знают ли крестьяне Олонезкой губернии, «что такое республика, как они относятся к царской власти, к нынешнему царю, и какое общее настроение среди них». Это письмо, отражающее рост революционных настроений среди крестьянства, было вложено Клюевым в его письмо к Блоку (получено 11 сентября 1908 г.) с просьбой переслать во Францию Миролубову. Блок процитировал письмо в статье «Стихия и культура».

^{125*} Речь идет о заметках «Солнце над Россией» (Золотое руно. 1908. № 7—9) и «О Льве Толстом» Последняя написана для сборника к восьмидесятилетию Л.Н. Толстого, который готовился С.А. Венгеровым по заданию Комитета съезда представителей русской печати, но издан не был.

XLV

^{126*} А.А. Блок и Л.Д. Блок отправились 14 апреля 1909 г. в заграничное путешествие по Италии и Германии (Венеция, Равенна, Флоренция, Сеттиньяно, Перуджия, Ассизи, Фолиньо, Сполето, Орвьето, Сиена, Пиза, Марина ди Пиза, Милан, Франк-

фурт-на-Майне, Бад Наугейм, Рейн, Кельн, Берлин), возвратились в Петербург 21 июня.

XLVI

^{127*} «Новое слово» — ежемесячный журнал (1908—1914).

Примечания

I

^{128*} *Перцов* Петр Петрович (1868—1947) — критик и публицист, официальный редактор-издатель «Нового пути». Автор «Литературных воспоминаний. 1890 — 1902 гг.» (М., 1933).

^{129*} *Княжнин* Владимир Николаевич (наст. фам. Ивойлов; 1883—1942) — поэт, литературовед.

IV

^{130*} *Галич* Леонид Евгеньевич (наст. фам. Габрилович; 1878—1953) — критик, публицист, сотрудник «Русской мысли», «Речи», «Руля», «Полярной звезды», «Столичного утра». Эмигрировал после 1917 г., жил в США.

^{131*} *Иванов* Евгений Павлович (1879—1942, умер от голода в ленинградскую блокаду) — член Петербургских религиозно-философских собраний, Вольной философской ассоциации, сотрудничал в газетах (кадетской «Страна», баптистской «Утренняя звезда»); работая конторщиком-счетоводом в Правлении Китайско-Восточной железной дороги, писал рассказы для детей (опубликованы в журнале «Тропинка»). В годы советской власти подвергся репрессиям, сослан в Великий Устюг. Перед войной работал кассиром в Музыкальной школе при Ленинградской консерватории.

VI

^{132*} Статья А. Блока «Рыцарь-монах» — обработка выступления поэта 14 декабря 1910 г. на вечере в Тенишевском училище, посвященном 10-й годовщине со дня смерти Вл. Соловьева.

XVI

^{133*} «Освободительное движение» — вышел только один номер журнала (март 1906 г.).

XXIII

^{134*} *Рафалович* Сергей Львович (1875—1943) — поэт и драматург. С 1922 г. в эмиграции.

^{135*} *Потемкин* Петр Петрович (псевд. Фома Прутков, Пикуб, Леонидов А.; 1886—1926) — поэт-сатирик, драматург, переводчик, эмигрировал после октябрьских событий 1917 г.

^{136*} *Лундберг* Евгений Германович (1883—1965) — прозаик, критик, журналист, автор мемуаров «Записки писателя» (1930).

^{137*} *Кондратьев* А.А. — см. коммент. 117 (с. 680).

^{138*} *Дикс* Борис (наст. имя и фам. Борис Алексеевич Леман; 1882—1945) — поэт, критик, педагог. Как антропософ в середине 1920 гг. был выслан в Среднюю Азию. В 1940-е гг. заведовал музыкальной частью в одном из театров Алма-Аты.

^{139*} *Беляевская* Ольга Александровна — поэтесса и критик, сотрудничала в детском журнале «Тропинка», посещала лекции Вяч. Иванова в Поэтической Академии 1909 г.

XXV

^{140*} *Гиппиус* Татьяна (Тата) Николаевна (1877—1957) — художница, автор портрета Блока, с которым познакомилась в 1903 г. Уехала в эмиграцию.

^{141*} *Ге* Николай Петрович (1884—1957) — публицист, искусствовед.

XXXVII

^{142*} «Свободные мысли» — газета, издавалась в 1908 г. Блок предполагал в ней сотрудничать.

XLI

^{143*} *Бекетова* Мария Андреевна (1862—1938) — тетка Блока по материнской линии, первый биограф поэта.

^{144*} *Штильман* Г.Н. — см. коммент. 128 (с. 682), юрист, автор публицистических статей.

ВОСПОМИНАНИЯ

Печ. по машинописи, хранящейся в РГАЛИ (Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 244. Л. 58—71, 74). Г.И. Чулков написал большое количество автобиографий, сохранившихся в архивах и напечатанных, например, в таких изданиях, как: «Литературный календарь-альманах» (СПб., 1908), Ф и д л е р Ф.Ф. Первые литературные шаги (М., 1911). Они разнятся полнотой приводимых фактов, объемом, отдельными деталями. Настоящие «Воспоминания» выделяются полнотой историко-литературного содержания и могут быть рассмотрены как введение в творческую лабораторию начинающего писателя: многие эпизоды, описанные в них, послужили затем основой произведений.

¹ Иван Иванович Чулков (ок.1850—1905?) — составитель книг «О правах крестьян», «Обязанности сельских обществ» и др.

² Александра Александровна Чулкова (урожд. Александрова; середина 1859—1903) — дочь богатого купца-винозаводчика.

³ Сестры — Анна — А.И. Чулкова — см. коммент. 19 (с. 665). После разрыва с В.Ф. Ходасевичем Анна Ивановна вышла замуж за сына писательницы Аделаиды Герцык (1874—1925) и известного книгоиздателя Д.Е. Жуковского (1868—1943) — Даниила. Любовь Ивановна — в первом замужестве Рыбакова, вторым мужем был искусствовед Н.М. Тарабукин. Имела сына, в воспитании которого принимал участие Г. Чулков. О третьей сестре сведений не найдено.

⁴ Дядя по линии отца.

⁵ Николай Чудотворец — Николай Угодник, Николай Мирликийский, святой из ряда церковных иерархов. В православной традиции — заступник за несправедливо осужденных, покровитель хлебопашцев, исцелитель больных.

⁶ Соловьев Михаил Сергеевич (1862 — 1903) — педагог, переводчик, брат и издатель сочинений философа Вл.С. Соловьева, сын историка С.М. Соловьева.

⁷ Феклуша — воспоминания об этой встрече нашли отражение в одноименном рассказе (Сочинения. Т. 3. СПб., 1911),

а также в начальных главах романа «Salto mortale, или Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском» (1930).

⁸ Графы Шереметевы (у Чулкова — Шереметьевы) владели усадьбами Кусково и Останкино.

⁹ Владимир Александрович *Александров* (1856 — после 1918 — до 1929) — брат матери Чулкова, адвокат, драматург, автор пользовавшихся популярностью пьес «Спорный вопрос», «В новой семье», «История одного брака», шедших главным образом на сцене Малого театра.

¹⁰ *Александр II* (1818—1881) — российский император с 1855 г., старший сын императора Николая I. Отменил крепостное право, провел земскую, военную, судебную реформы.

¹¹ Болезнь дяди Гриши стала сюжетной канвой рассказа «Разлад» («Кремнистый путь»). Отголоски мотива сумасшествия на религиозной почве звучат и в рассказе «Северный крест» (Сочинения. Т. 1. СПб., 1911).

¹² *Положительная религия* — катафатическая теология, описывающая Бога посредством позитивных, рационалистических атрибутов и обозначений (в отличие от апофатической, или отрицательной, которая считает невозможным выразить абсолютную потусторонность Бога с помощью всех относящихся к нему представлений и понятий как несоизмеримых с его природой).

¹³ По слухам, Гаврила Петров приходился побочным сыном Л.Н. Толстого. Его часовой магазин располагался на Остоженке (дом 30).

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Публицистические статьи и заметки Чулкова печатались в редактируемом им журнале «Народоправство»: «Вчера и сегодня» (1917. № 12), «Честный большевик» (1917. № 18—19). Журнал издавался в 1917—1918 гг. в Москве и ориентировался на программу партии «народной свободы». В журнале сотрудничали Н. Бердяев, А. Ремизов, Вяч. Иванов, Н. Иорданский, С. Соловьев и др. Почти в каждом номере (еженедельно) появ-

лялись работы Чулкова на общественно-политические темы (отдельные — под псевдонимом Б. Кремнев), напр.: «Страшное слово» (1917. № 2), «Самоопределение России и Максим Горький» (1917. № 10), «Судьба России и наше правительство» (1917. № 13), «Канун Учредительного собрания» (1917. № 14), «Политический маскарад» (1917. № 17), «Торжествующий коммунизм», «Красный призрак», «Начало или конец?» (1918. № 23—24). Регулярной рубрикой, которую в журнале вел Чулков, были «Листики из дневника», «Письма со стороны», имеющие непосредственное отношение к происходящим в стране событиям.

В годы Первой мировой войны и революции политическая проблематика выходит на первый план в творчестве Чулкова. Он пишет работы «Судьба России. Беседа о современных событиях» (1916), «Михаил Бакунин и бунтари 1917 года» (1917). В это время его мировоззрение можно определить как мистический национализм. В 1918 г. Чулков собирался выпустить свои статьи, напечатанные в «Народоправстве», отдельной книгой «Страдные дни». В его архиве (ИМЛИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 85) сохранилось предисловие к ней, в котором он писал: «Ничего в этом мире нельзя понять и с должной справедливостью оценить, если не примем во внимание тех таинственных сил, светлых и темных, которые влияют на многообразие нашей жизни. От влияния этих сил не свободны — и быт, и политика, и культура.

Оценивая явления литературы, искусства и социальной жизни, автор никогда не забывал об этих таинственных началах. И его оценки всегда сочетались с некоторым синтетическим мироотношением.

Вот почему автор не смущается разнообразием затронутых в этой книге случайных тем и надеется, что непритязательная форма дневника будет оправдана единством руководящей точки зрения.

<...> Но есть и внешнее оправдание для издания этой книги. Читатель найдет в ней отражение немаловажных событий. Незначительные, на первый взгляд, явления культуры и общественности — книга скромного поэта, беседа со случайным спутником во время скитаний <...> впечатления от улицы, сгорающей в революционной горячке, — все это вовсе не безразлич-

ное эхо событий, возникающих на путях истории по воле Провидения <...>. Мы еще во власти прошлого, несмотря на все наши предчувствия будущего и связанные с ним надежды».

Издать книгу не удалось. И возможно, что все последующие гонения и запреты на публикации были впрямую связаны с политической и общественной позицией Чулкова, отчетливо выразившейся в этих статьях, Чулков считал даже, что лишение его академического пайка происходит из-за его «внутренних философских убеждений, ныне, надо сказать, совершенно безопасных, хотя бы уже потому, что у нас существует цензура, достаточно бдительная» (Письмо Чулкова А. Луначарскому от 20 ноября 1922 г.). ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 18. Л. 1 об.).

В настоящем издании статьи воспроизводятся по указанным изданиям, с купюрами, сделанными составителем.

¹ Литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов», преемник кабаре «Бродячая собака», существовало в Петрограде в 1916—1919 гг. Подробнее о нем см.: К о н е ч н ы й А.М., М о р д е р е р В.Я., П а р н и с А.Е., Т и м е н ч и к Р.Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1989.

² *Ной* — в библейской мифологии праведник, спасшийся вместе с семьей во время всемирного потопа в ковчеге, построенном по велению Бога.

³ *Пьеро, Колумбина* — традиционные персонажи итальянской комедии масок (commedia dell'arte), импровизированных театральных представлений. В литературе Серебряного века встречается частое обращение к этим образам (Блок, Ахматова и т.д.).

⁴ *Керенский* Александр Федорович (1881—1970) — политический деятель. Занимал различные министерские посты во Временном правительстве. Летом 1917 г. распространялись слухи о намерении Керенского оставить семью и сочетаться браком с актрисой Александринского театра Е.И. Тиме.

⁵ Так Чулков обозначил переезд Ленина из Швейцарии через территорию Германии в запломбированном вагоне, поскольку придерживался версии об особой заинтересованности немцев в его возвращении в Россию.

⁶ В оформлении кабаре принимали участие С.Ю. Судейкин (1882—1946), Б.Д. Григорьев (1886—1939), А.Н. Яковлев (1887—1938), В.П. Белкин (1884—1951), Н.И. Кульбин (1868—1917). Роспись не сохранилась.

⁷ Речь идет об Ольге Афанасьевне *Глебовой-Судейкиной* (1885—1945), актрисе Александринского театра, театра В.Ф. Комиссаржевской, Суворинского театра в Петербурге. В августе 1920 г. Чулков написал ей послание:

В жизни скучной, в жизни нищей
Как желанен твой уют...
В этом сказочном жилище
Музы нежные поют.

В старых рамах бледны лица,
Как в тумане странный быт.
Здесь бывшее тайно снится,
Злободневное молчит.

Ты среди своих игрушек —
Как загадочный поэт.
В мире фижм и в мире мушек
Отраженье давних лет.

Ты — художница. С улыбкой
Оживляя век любви,
В жизни призрачной и зыбкой
Куклы чудом оживи.

Век безумный Казановы,
Дни дуэлей и страстей
Вечно юны, вечно новы
В милой комнатке твоей.

(РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 17).

⁸ Чулков рассказывает о писателе М.А. Кузмине, который создавал вокальные произведения (часто на собственные тексты, например, «Куранты любви»), писал музыку для драматических спектаклей.

⁹ *Архангел Михаил* — старший ангел, небесный архистратиг (военачальник), ангел-хранитель всех верующих в Христа.

¹⁰ *Ватто* Антуан (1684—1721) — французский живописец и рисовальщик. В своих картинах, отмеченных изыскан-

ностью и точностью красочных деталей, стремился воссоздать мир тончайших душевных состояний. У Кузмина атмосфера галантного XVIII в. воссоздана в цикле «Ракеты» (1907).

¹¹ *Козьма Прутков* — коллективный псевдоним, под которым выступали А.К. Толстой и братья А.В. и А.М. Жемчужниковы. Цитируется 122-е изречение.

ЧЕСТНЫЙ БОЛЬШЕВИК

¹ Партия «народной свободы», или конституционно-демократическая партия, — ведущая либерально-монархическая партия в России (1905—1917). Лидеры: П.Н. Милюков, В.Д. Набоков, А.И. Шингарев и др.

² *Фатерланд* — родина (нем. — Vaterland).

³ *Ангажемент* — контракт, заключаемый с артистами на определенный срок.

⁴ Обывательское обозначение евреев-торговцев.

⁵ *Гешефт* (нем. Geschäft) — сделка мелкоспекулятивного характера, «выгодное дельце».

⁶ *Учредительное собрание* — представительское учреждение в России, созданное на основе всеобщего избирательного права, предназначенное для установления формы правления и выработки конституции. Созыв Учредительного собрания считался главной задачей Временного правительства. Выборы проходили с 12 (25) ноября 1917 г. до начала 1918 г. Заседание состоялось 5 (18) января 1918 г. в Петрограде. Было разогнано 6 (19) января, так как отказалось принять ультимативное требование большевиков о признании декретов съездов Советов.

ПАРАДИЗ

Печ. по: Чу л к о в Г. Сочинения. Т. 1. СПб., 1911. Рассказ написан в 1909 г.

¹ Слова *Воскресной всенощной* молитвы благочестивого Патриарха Царьградского Анатолия.

² *Клеопатра* (69—30 до н.э.) — последняя царица Египта, с 51 г. была любовницей Юлия Цезаря, после — Марка Антония. После поражения в войне с Римом покончила жизнь самоубийством. В рассказе имя Клеопатры призвано подчеркнуть и гордость героини, и ее будущую «профессию» блудницы.

³ Образ Сергея Гребнева во многом автобиографичен.

⁴ *Матчиш* — модный в начале XX в. танец.

⁵ Герт развивает здесь основные идеи статьи А. Блока «О лирике» (1907).

⁶ «*Буфф*» — название театра-кабаре или театра-варьете.

⁷ *Чимабуэ* (наст. имя Ченни ди Пепо, ок. 1240—1302) — представитель течения, ориентированного на византийские традиции в искусстве Проторенессанса. *Дуччо ди Буонинсенья* (ок. 1255—1319) — итальянский живописец. Основоположник сиенской школы живописи XIV в. Лирические по духу, изысканные по ритму и колориту, его произведения остаются в рамках средневековой традиции.

⁸ «*Садко*» — опера Н.А. Римского-Корсакова (1844—1908), написанная в 1896 г. по мотивам новгородской былины.

⁹ В. Шекспир. Гамлет. Акт 3. Явл. 1.

ПОЛУНОЩНЫЙ СВЕТ

Печ. по: Чу л к о в Г. Рассказы. Книга вторая. СПб., 1910.

Этот рассказ Чулков читал 31 января 1909 г. в Петербурге на квартире Е.Е. Лансере. Он предполагал опубликовать его в «Русской мысли», но в журнал рассказ не был принят (в это время беллетристическим отделом там заведовал Д.С. Мережковский). «Испуг» Мережковского можно объяснить: рассказ был полон аллюзий на современную петербургскую жизнь. В образе писателя Сергея Савинова отразились черты Вяч. Иванова, его молодая жена напоминает Л.Д. Зиновьеву-Аннибал и в тоже время ей приданы некоторые черты М. Сабашниковой. Друг Савиновых — Анна Николаевна Калиновская — это теософка Анна Рудольфовна Минцлова, близкая кругу Ивановых. В квартире Савиновых происходят собрания литературных зна-

менитостей по пятницам, аналогично «средам» на «башне» Вяч. Иванова. Иван Иванович Кассандров, говорящий о «параличе церкви» и о необходимости связи религии с общественной борьбой, в общем виде излагает идеи Мережковского. Тарбута Чулков наделил «своим и блоковским» умонастроением, а в словах Андриюшина слышны отзвуки рассуждений Андрея Белого.

В черновых набросках к рассказу эти аллюзии были еще более прозрачны. Так, там говорится, что: «в башне, где жил мой учитель-поэт, все давно уже сошли с ума. Сам поэт перестал обладать тем, что называют обычно «умственным равновесием». В его глазах, помутившихся от слепой страсти, все качалось в безумном дионисическом ритме, и сам он с белокурыми развевающимися волосами походил на религиозного плясуна древности и вечно танцевал, простирая руки», «...жена его, также обезумевшая, носившая хитоны, сколотые небрежно, обнажавшие ее темно-золотые руки...» и т.п. (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 59, 60).

¹ *И мертвые восстанут.* — Перифраза библейского выражения «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!» (Ис. 26: 19.).

² «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоан. 4: 18.).

³ *Александр I* (1777—1825) — российский император, старший сын Павла I, прозванный «Благословенным». Это определение получило широкое распространение в литературе.

⁴ «*Серафита*» («*Séraphita*») — мистико-эротический роман О. Бальзака (1833—1835), написанный под влиянием идей шведского философа Э. Сведенборга и посвященный Э. Ганской, в которой действует персонаж, соединивший мужское и женское начала, — Серафита-Серафитус. Ему «дано воздействовать на людей, на природу и делить оккультную власть с Богом» (Б а л ь з а к О. Серафита. М., 1996. С. 101).

⁵ Имеются в виду Высшие Женские Бестужевские курсы, открытые в 1878 г. Названы по имени их официального руководителя историка К.Н. Бестужева-Рюмина. Курсы готовили врачей и учителей.

⁶ *Лассаль* Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист, философ, публицист. Организатор и руководитель Всеоб-

шего германского рабочего союза (1863—1875). Выдвигал идеи о всеобщем избирательном праве как универсальном политическом средстве освобождения труда от эксплуатации.

⁷ *Бebelь* Август (1840—1913) — один из основателей (1869) и руководитель германской социал-демократической партии и II Интернационала. Борец против милитаризма, поборник эмансипации женщин.

⁸ Тема религиозного иступления, связанного со сладострастием, исследовалась русской литературой Серебряного века. Л.Д. Зиновьева-Аннибал одной из первых описала мазохистские ощущения своей жаждущей веры маленькой героини в «Трагическом зверинце». Подробно осветила эту тему в своем романе «Женщина на кресте» Анна Мар (1916).

⁹ Чулков дает точное описание тематики картин и художественной манеры В.Э. Борисова-Мусатова.

¹⁰ Эта черта — особенный, неожиданный, обращающий на себя внимание смех — Чулковым явно взята у Вл. Соловьева.

¹¹ В образе А.Н. Калиновской Чулков вывел Анну Рудольфовну Минцлову (ок. 1860—1910?), известную деятельницу теософского движения, переводчицу, близкого друга семьи Ивановых, пытавшуюся приобщить Иванова к теософии и антропософии. Подробнее о ней см.: Б о г о м о л о в Н.А. *Anna-Rudolph* // Новое литературное обозрение. 1998. № 29 (1).

¹² Внешность Анны Николаевны ни в чем не совпадает с внешностью Минцловой, которая была очень полной женщиной.

¹³ *Иоанн Богослов* — согласно христианскому преданию, апостол, автор одного из канонических евангелий, Апокалипсиса и трех посланий.

¹⁴ Намек на обвинения, бросаемые Мережковскими в адрес Г. Чулкова. См.: А. К р а й н и й (З.Н. Гиппиус). Иван Александрович Неудачник // Весы. 1906. № 8.

¹⁵ Здесь, несомненно, имеется в виду Анни Безант (1847—1933) — участница индийского национально-освободительного движения. По национальности англичанка, последовательница Е.П. Блаватской. Возглавляла в Индии теософское общество.

¹⁶ «Патетическая соната» (1798) Л. ван Бетховена.

¹⁷ Иоан. 1: 5.

СЛЕПЫЕ

Печ. по: Чу л к о в Г. Сочинения. Т. 3. Повести и рассказы. СПб., 1911.

В повести воспроизведены реальные события «снежной» зимы 1907 г., закружившей в своем вихре А.А. Блока, Н.Н. Волохову, Л.Д. Блок и Г.И. Чулкова. Страстное увлечение Блока Волоховой вызвало к жизни знаменитый цикл «Снежная маска».

Г. Чулков, перенеся в повесть реальную ситуацию, в первую очередь попытался избежать «легкости», сделав более рельефными отношения между людьми, составлявшими знаменитый «четырёхугольник». Эту намеренную «прочерченность» сразу же отметила критика. Так, М.В. Морозов писал, что в великолепной в техническом отношении, в смысле языка и архитектоники, вещи «нет той непосредственности, вдохновения, которые бы заслонили авторское умное лицо... Всегда вы чувствуете его присутствие, как будто он шептывает — здесь следует понимать так, а здесь — этак, а тут я нарочно туману напустил, чтобы вызвать у позитивного читателя мистическую неразбериху ощущений» (Всеобщий ежемесячник. 1911. № 1).

Неизвестно, как воспринял повесть Блок (выведенный в ней под именем графа Бешметьева). Однако в дневниковой записи от 27 октября 1912 г., вспоминая связь жены с Чулковым, он расценил ее увлечение как «ответ на мои никогда не прекращавшиеся преступления» (Б л о к А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 170).

¹ Гапон Г.А. — см. коммент. 137 (с. 682).

² Каляев Иван Платонович (1877—1905) — революционер, 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Повешен.

³ «Противящийся власти, противится Божью установлению» — Послание к Римлянам Святого Апостола Павла. XIII. 2.

⁴ Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис): «Ты не холоден, не горяч: если бы ты был холоден, или горяч!» и далее: «как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (3: 15, 16).

⁵ А.С. Пушкин. «Воспоминание» (1828).

⁶ *Киприда* — одно из имен богини любви Афродиты — образованное от названия места ее культа — острова Кипр; *Громовержец* — верховный бог греческой мифологии Зевс, отец богов и людей; *Марс* — в римской мифологии бог войны.

⁷ *Кудряш* — персонаж пьесы А.Н. Островского «Гроза».

⁸ «*Не убоишься...*» — Псалтырь. Псалом 90. Исполняется на службу «Великое повечерие» (перевод: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень») и далее: «Ты мене утверди...» — Песнь 3. Входит в службу «Последование по исходе души от тела».

⁹ Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — французский астроном, математик, физик. Классический представитель механистического детерминизма.

¹⁰ Зд., возможно, намек на кого-то именовавшегося так в кругу символистов (см. коммент. 491 на с. 728).

¹¹ «*Любви утехы...*» — стихотворение М.А. Кузмина из сб. «Сети» (1908).

¹² *Ревекка* — героиня драмы Г. Ибсена «Росмерсгольм» (1886). В тексте повести цитируются диалоги из 1, 2 и 3 действия пьесы.

¹³ «*...кумир с простертою рукою*» — цитата из «Медного всадника» А.С. Пушкина.

¹⁴ *Клико* — название марки шампанского (по имени владельца виноградника).

¹⁵ *Тициановская Магдалина* — известная картина венецианского живописца Тициана (1476/77 или 1489/90—1576) «Кающаяся Мария Магдалина», созданная в 1560-е гг.

¹⁶ *Мария Египетская*, — преподобная (VI в.) По преданию, была в молодости блудницей, но, присоединившись к паломникам, шедшим в Иерусалим, обратилась к вере и прожила 47 лет в покаянии в пустыне Заиорданской.

¹⁷ «*Воскресение Твое...*» — «Стихира», глас. 6; «Христос воскрес из мертвых...» — «Тропарь», глас. 5. И то и другое читается на Пасху.

ОТМЩЕНИЕ

Печ. по: Чу л к о в Г. Люди в тумане. М., 1916.

¹ Здесь Чулков повторяет мысли своей первой работы о Вл. Соловьеве — «Поэзия Владимира Соловьева», в которой он противопоставил религиозно-философскую систему русского ученого его поэтическому творчеству, обнаружив в последней «черный разлад» и «черную победу» смерти в противовес «любви и творчеству», властвующим на земле. «Между сияющей ледяной вершиной и цветущей долиной разверзается пропасть. Перебросить через эту пропасть мост не сумел Соловьев...», — писал Чулков (Вопросы жизни. 1905. № 4—5. С. 113).

² Ода «Бог» написана Гаврилой Романовичем Державиным (1743—1816) в 1784 г.

³ Имеется в виду св. *Франциск Ассизский* (1181 или 1182—1226), основатель монашеского ордена францисканцев, канонизированный католической церковью. Он не ушел в монастырь, а остался в миру, ухаживая за нищими и больными, проповедовал Евангелие, поэтически перелагая его и называя себя «трубадуром Божьим». Ему принадлежит «Песнь о Солнце» — произведение проникновенной религиозной лирики. Братская любовь ко всему живому составляет основу его поэзии, где все растения и животные суть одушевленные существа, единая семья, происходящая от одного бога и славящая его в своих хвалебных песнях. Очевидно, именно эти, трогательные в своей наивности поэтические образы, навеянные философией св. Франциска, подсказали герою новеллы слова о том, что «в Бога верят и лев, и голубь, и пчела».

⁴ См.: Мф. 13.3 («и если... не будете как дети»).

⁵ *Медея* — в греческой мифологии волшебница. Помогла предводителю аргонавтов Ясону добыть золотое руно.

ШУРОЧКА И ВЕНЯ

Печ. по: Чу л к о в Г. Люди в тумане. М., 1916.

Атмосфера рассказа, написанного в 1913 г., навеяна парижскими впечатлениями автора. Парижские праздники, в частности, и тот, что описан в очерке — «Катзар», достопримеча-

тельности Парижа, его музеи, улицы, площади, зоологический сад подробнейшим образом воспроизведены в путевых заметках писателя, объединенных заголовком «Письма из Парижа» (Ч у л к о в Г. Вчера и сегодня. Очерки. М., 1916. Частично вошли в его книгу «Годы странствий»).

Париж сразу же при первом знакомстве вызвал восторг у Чулкова. Зовя туда Блока, он писал ему: «Париж не только французский город; он и наш русский, не потому, конечно, что здесь много «соотечественников», а по существу, по традиции... <...> Какие здесь темные каштаны! Какие камни седые и «видавшие виды». И как благоуханны леса вокруг Парижа...» (из писем от 7/20 мая и 13/26 июня 1911 г. // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. М., 1987. С. 415). В критике также отмечалось, что Чулков «растроган и восхищен воспоминаниями о Париже» (Л е в и н с о н А. Париж накануне войны // Речь. 1916. № 45. 15 февраля).

¹ *Теософия* (греч. *theos* — бог и *sophia* — мудрость) — мистическая доктрина Е.П. Блаватской и ее последователей, в которой соединились буддизм, оккультизм и элементы христианства.

² *Адепт* (лат. *adeptus* — букв.: достигший) — посвященный в тайны какого-либо учения, секты; ревностный приверженец какой-либо идеи.

³ *Дни национальных празднеств* — 14 июля отмечается (с 1880 г.) день взятия Бастилии, штурм которой послужил началом Великой французской революции (1789).

⁴ Об участии прототипа Шурочки — Александры Михайловны Моисеевой (писательницы Мирэ) в революционном движении) — Чулков писал в «Годах странствий». «Политика» присутствует как фон во многих рассказах ее первого сборника «Жизнь» (Н. Новгород, 1904), в которых описываются сходки, рабочие собрания, выступления ораторов Франции и Бельгии.

⁵ *Сидеть ассирийцем* — зд., вероятно, в смысле «бесконечная осада» (ассирийское сидение). Имеются в виду многочисленные и длительные завоевания Ассирийской державой в VIII в. до н.э. Вавилонии, Финикии, Палестины, в том числе осады иудейских городов.

⁶ *Аперитив* — спиртной напиток для возбуждения аппетита.

⁷ *Абсент* — спиртной напиток, настоенный на полыни.

НЕНАВИСТНИКИ

Печ. по: Чу л к о в Г. Вечерние зори. М., 1924.

Под именем Бережных выведена чета Мережковских, о чем говорят следующие совпадения: Сергей Матвеевич — Дмитрий Сергеевич, Антонина Петровна — Антон Крайний (псевдоним З.Н. Гиппиус как литературного критика). Исключая сюжетный ход, — Чулков не был влюблен в сестру Гиппиус, — все остальное: атмосфера дома, тематика разговоров, злое, жизнеотрицающее мироощущение — автором передано верно, он достаточно точно воспроизвел философско-религиозную основу жизни супругов, их отношение к искусству.

¹ *Босяки-крючники* — грузчики, таскающие на себе тяжести, которые они, поднимая крюком на веревке, взваливают себе на спину.

² *Апокалипсис* — одна из книг Нового завета. Основной мотив ее сводится к пророчеству о Страшном суде и конце света.

³ *...вы боги* — в Ветхом и Новом завете есть несколько близких по смыслу высказываний. Например: «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: я сказал: вы боги («Евангелие от Иоанна», 10: 34), «Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего» («Псалтирь»), «Откроются глаза ваши и вы будете, как боги, знающие добро и зло» («Книга Бытия»).

⁴ *Умный немец* — Ф. Ницше речь идет об афоризме из его книги «Так говорил Заратустра»: «...земля полна таких, которым необходимо проповедовать смерть: не поддерживать их нужно, а толкать, чтобы они скорее падали».

⁵ *Ефрем Сирин* — святой, родился в начале IV в. н.э. в Месопотамии, чудотворец, сподвижник Василия Великого.

⁶ *Успенский собор* — памятник архитектуры в Московском Кремле (1475—1479).

⁷ *Румянцевский музей* — создан путем объединения нескольких частных коллекций произведений искусств, рукописей и книг. Основу составила коллекция графа Николая Петровича Румянцева (1754—1826), русского государственного деятеля, дипломата. Работы А. Иванова экспонировались в первом зале.

В советское время коллекция русского искусства была передана в Третьяковскую галерею.

⁸ *Тучков мост* (быв. Никольский) — через М. Неву. Соединяет 1-ю линию Васильевского острова с Большим проспектом Петроградской стороны. Назван, по одним источникам, от находившихся неподалеку лесных складов купца А. Тучкова, финансировавшего строительство моста, по другим — от имени инженера А.В. Тучкова, строившего мост в XVIII в.

⁹ *Замок Бирона* — такое название получило сооружение середины XVIII в. Тучков буян (склад). Легенда приписывает его принадлежность графу Э.И. Бирону (1690—1742), фавориту императрицы Анны Иоанновны.

¹⁰ *Купол Исакия* — отливающий золотом купол Исаакиевского собора (1818—1858), памятника архитектуры позднего классицизма. Заложен в честь Петра I и назван по имени св. Исаакия Далматского, день которого (30 мая ст. стиля) совпадает с датой рождения Петра I. Сооружен по проекту архитектора А.А. Монферрана.

¹¹ *...пушкинский Евгений* — герой поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».

¹² *Prelude Шопена* — прелюдия № 15 ре-бемоль мажор польского композитора Ф. Шопена (1810—1849).

КРАСНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ

Печ. по машинописной рукописи, хранящейся в архиве Института мировой литературы им. М. Горького.

Рассказ не датирован, но, по всей видимости, создан в первой половине 1920-х гг. (первая публикация: Начало. 1994. № 19).

¹ Александровская мебель — обстановка в стиле русского классицизма начала XIX в. по имени императора Александра I.

² *Синод* (Святейший Синод) — один из высших государственных органов в России в 1721—1917 гг. Ведал делами православной церкви. Учрежден Петром I. Возглавлял Синод обер-прокурор, назначаемый царем.

³ *Триодь Постная и Триодь Цветная* — богослужебные книги в православной церкви; первая содержит песнопения и молитвы к Великому посту, вторая — посвящена прославлению Пасхи и последующих праздников. *Минеи-Четви* — церковные сборники, содержащие жизнеописания святых в порядке празднования их памяти. *Ирмологий* — богослужебная книга православной церкви, содержащая молитвы, которые назначаются для пения (а не чтения) при богослужении (иногда по нотам): ирмосы, все песнопения литургий, тропари и др. *Октоих* — книга песнопений православной церкви на восемь голосов; оформился в IX в.; представляет собой сборник отдельных песен, молитв и канонов.

⁴ *...ибо она трудовая пчела* — намек на теорию свободной любви, развиваемую А.М. Коллонтай в книге «Любовь пчел трудовых» (из серии рассказов «Революция чувств и революция нравов». М.; Пг., 1923). Аналогичные идеи высказывались ею и в более ранних работах.

⁵ *Велий* — церковная огласовка слова «великий».

⁶ *Лягаш* — легавый пес (ищейный, подружный).

⁷ *Павловская столовая* — мебель в стиле павловского романтизма (по названию Павловска — загородной усадьбы Павла I (1796—1801).

ВРЕДИТЕЛЬ

Печ. по рукописи, хранящейся в РГАЛИ (Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 121). Первая публикация: Знамя. 1992. № 1. Варианты названия рукописи — «Дом тринадцать» и «Записки безбожника» — зачеркнуты автором. В текст, написанный чернилами, внесены незначительные исправления карандашом или чернилами другого цвета, касающиеся в основном стилистических уточнений и незначительных сокращений. Так, Курденко первоначально носил фамилию Буланидзе, которая недвусмысленно указывала на прототип персонажа и, видимо, поэтому была изменена.

Расширенное вступление к повести включало следующий текст (после слов «обреченного на гибель»): «Нет, господа тарантулы! Вы никого не обманете. История против Вас. И сколь-

ко бы вы ни шипели в вашем подполье, не придется вам увидеть желанной вам «свободы». Для вас — свобода, для нас — рабство. Это арифметика, и мы от нее не отказываемся, хотя, вообще-то говоря, математику надо пересмотреть с пролетарской точки зрения, высшую, по крайней мере, математику — «воображаемую геометрию», например, да и сама идея «бесконечности» весьма двусмысленна. Но тут, повторяю, дважды два — четыре». Автор уточнял характер различия между своим «безбожием» и безбожием Курденко. После слов «он добросовестно не знает истории...» следовало: «Он даже безгрешен, ибо не знает никакого нравственного закона, и если бы его осенила благодать, он отвечал бы тому типу человека, который так нравится апостолу Павлу, этому свободолобцу, угадавшему тайну христианской диалектики. Кстати, меня не без основания считают безбожником, что, однако, не мешает мне восхищаться остроумием «Послания к Коринфянам». Есть, конечно, существенная разница между моим безбожием и безбожием Курденко. Отрицая бытие Бога и тем более церковное учение, он даже не подозревает, что собственно он отрицает — и поэтому очень доволен своим, так сказать, миропониманием. Что касается меня, то я отрицаю положительную религию, превосходно сознавая, что рублю сук, на котором сижу, — и поэтому очень огорчен своим собственным безбожием. Не правда ли, разница довольно существенная?»

Чулков сократил также рассуждения о типе, характере повествования, о его философских основах. Первоначально IV глава начиналась словами: «Я ведь не обещал читателю (его я дождусь нескоро, однако — зачем душой кривить — надеюсь все-таки, когда-нибудь дождусь) — я ведь не обещал читателю, что у меня все будет благополучно в отношении композиции. Пусть в этом пункте у меня будет некоторый изъян, зато я выигрываю на реализме, т.е., разумеется, не на глупеньком псевдореализме, который нужен бездарностям, а на том «реализме в высшем смысле», без коего все летит к черту на рога. Это моя жажда реализма ничуть не противоречит тому, что я безбожник. Имеющие уши да услышат. Я не верю в «сущее абсолютное», зато я верю в «становящееся абсолютное». По-моему, это все-

таки реализм. Но, признаюсь, такой реализм поймать за хвост очень трудно. Однако я стараюсь в меру сил. Мои записки о «доме тринадцать» — и есть опыт в этом роде. Не знаю только, удачный ли. Что же делать, если действительность предстала мне в таком «раздранном» виде... Не знаю, виновата ли в этом эпоха или мой субъективизм, или сама природа нашего, с позволения сказать, бытия. В этом вся суть: по-видимому, существует не бытие, а только «с позволения сказать бытие». Я держусь такого скептического мнения, хотя я вовсе не кантианец. При таком взгляде на вещи «Дом тринадцать» становится как бы весьма удобным зеркалом для созерцания так называемой жизни. Только надо быть философом и отнюдь не увлекаться Таточкой. Тогда все становятся назидательными — и Курденко с его льготами, и Пантелеймонов с его восторгом перед прелестью магнолии, и Марфа Петровна с ее патериками, тропарями и кондаками (она сейчас — глупая — плачет, потому что ее приходской храм завтра начнут ломать) и даже Таточка с этим Кудефудровым, если у них в самом деле что-то есть).

Был сокращен также замедляющий действие отрывок о проекте «Веселого комбината», т.е. о соединении под одной крышей мюзик-холла и похоронного бюро, рассказываемый герою Погостовым.

Чулковым также исключены слова Курденко из его диалога с героем перед самоубийством Кудефудрова: «У нас и стихи веселые. У нас, вот, и Маяковский есть...», — которые слишком явно соотносили образ Кудефудрова с личностью Маяковского.

Первые упоминания о замысле произведения имеются в «Записной книжке» писателя (РГАЛИ. Ф. 549. Оп. 1. Ед. хр. 107) и относятся, по-видимому, к началу или середине 1920-х годов. Сохранилась запись (Л. 62): «Макковеев Яков Адамович тайно пишет мемуары и умирает от страха, как бы начальство не узнало. Душенька (Соломонова) жаждет жениха; Капустина Марфа Петровна («По мне хоть пес, лишь бы яйца нес»); Брагина Наталья Михайловна, танцовщица; Бреве Евдокия Павловна (сны об умершем муже, изменившем ей); Упрямов, мастер-гробовщик, философ; Барбаросов Зиновий Петрович, поэт, жела-

ет быть оптимистом; Нахрапов Никита Петрович, лишенец, мечтает о реставрации; Нахрапова Серафима Николаевна, тоже не утратила надежд, ведьма; Курденко — журналист — у него есть аргументы в пользу коммунизма; Ершова Феничка, комсомолка; Петров Степан Иванович, рабочий; Попиков Сергей Тимофеевич, рабочий; Бряхин Игорь Петрович, инженер».

Возможно, что вначале повесть задумывалась как сатирическое произведение (на это указывают некоторые фамилии). Обывательский быт 1920-х гг. — тема весьма популярная в то время. Причем острие сатиры было направлено скорее на «бывших», мечтающих о реставрации прошлого, о женихе и т.п. И сакраментальная фраза Марфы Петровны о псе и яйцах поначалу относилась к области матримониальной, а не политической и подразумевала, что стоит удовлетвориться и самым захудалым женихом.

¹ «Где же несть болезни, печали и въздыханий» — слова кондака (глас 8-й), читаются в субботу, всем святым и за умерших («Последование по исходе души от тела»). Зд.: в значении «того света», «загробного мира».

² *Патерик* — сборники жизнеописаний отцов церкви, монахов, обычно признанных церковью святыми (иначе — Жития святых).

³ *Сотерианская проблема* (греч. Εωτερίου — средство спасения, избавления) — доктрина личного спасения человека в различных религиях (христианство, иудаизм, буддизм).

⁴ Прототип (эталон) метра представляет собой платиново-иридиевую линейку со специальной формой сечения, хранящейся в Севре (Франция).

⁵ Имеется в виду философ В.С. Соловьев (1853—1900), в стихотворении «Панмонголизм» (1894) писавший о «желтой опасности». Далее Чулков приводит слова из следующего четверостишия: «О Русь! Забудь былую славу: // Орел двуглавый сокрушен, // И желтым детям на забаву // Даны клочки твоих знамен».

⁶ *Паскаль Блез* (1623—1682) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик, поставивший проблему границ «научности», апеллировавший к «доводам сердца» <...> *Достоевский* — в данном ряду имя русского писателя возника-

ет в связи с пониманием им христианской традиции в духе антропологии, восходящей к Паскалю.

⁷ Видимо, речь идет о работе немецкого философа Иммануила *Канта* (1724—1804) «О религии и пределах только разума», в которой собраны различные опровержения бытия Бога, но в то же время утверждается необходимость веры как единственной возможности примирить требования нравственного сознания с фактами зла, царящего в мире.

⁸ Эгалитарный (ф. р. *égalité* — равенство) — уравнилельный.

⁹ *Петр Великий* (1672—1725) — русский царь Петр I Великий, первый российский император. Чулков интересовался личностью и деятельностью Петра, но трактовал его роль в судьбе России как отрицательную (см. поэму «Мария Гамильтон», 1921).

¹⁰ *Рубенс* Питер Пауэл (1577—1640) — фламандский художник, чьи произведения отмечены характерным для барокко драматизмом, бурным движением, яркими цветовыми контрастами.

¹¹ Ср.: в письме Чулкова к Людмиле Михайловне Лебедевой (1925): «В молодости и в старости мы, мужчины, ищем в женщине не одно и то же. Когда мы юны, *слепострастны, эгоистичны в наших привязанностях*, мы ищем в женщине Афродиту. Это значит, что мы стараемся угадать, прозреть, почувствовать в нашей возлюбленной какое-то воплощение чувственной красоты. На склоне наших лет мы, по выражению поэта, любим «суевернее». Это, конечно, правда, но я хочу сказать, определить то *новое*, чего мы в юности не замечаем. <...> Это прозрение в женщине *ребенка*. Мы, седые и старые, видим в женщине одновременно и Афродиту, и ребенка (ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 8. Ед. хр. 6).

¹² *Эскулап* — название бога врачевания в древнегреческой мифологии. Зд. ирон.: врач, медик.

¹³ *Собинов* Леонид Витальевич (1872—1934) — певец (лирический тенор). Народный артист Республики (1923). Солист Большого театра, один из лучших исполнителей партии Ленского.

¹⁴ Восхищение Чулкова танцевальным мастерством Л.М. Лебедевой, ставшей прообразом Татьяны Михайловны Ла-

пиной, нашло отражение и в поэтическом творчестве писателя, и в его воспоминаниях.

¹⁵ А.С. Пушкин. «Воспоминание» (1828).

¹⁶ Французское издание «1001 ночи» в этом переводе Л. Деларю-Мардюс было осуществлено в Париже в 1899—1903 гг.

¹⁷ «Гром победы раздавайся»... — слова из стихотворения Г.Р. Державина «Хор для кадрили», положенного на музыку О.А. Козловским (1758—1831).

¹⁸ *Писатель должен быть бодрым...* — Своего рода продолжением полемики Макковеева с Кудефудровым стало стихотворение Чулкова «Веселому поэту» (впервые опубликовано М.В. Михайловой. Кодры. Молдавия литературная. 1990. № 4. С. 127).

¹⁹ Чулков имеет в виду христианскую веру. Ср. его подготовительную запись к статье о Пушкине: «Пушкин преодолел религиозным (сознанием) опытом, трагическим в своем существе, свой психологический пессимизм. «Психологического оптимизма» в нем не было и таковым поэтому он не мог преодолевать «метафизического пессимизма». Пушкин, слава Богу, не Михайловский и не Иванов-Разумник, так сказать (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 41 об.). С этой же проблемой связана и трактовка Чулковым (в духе Вл. Соловьёва) исторического процесса как трагического в своей основе, то есть имеющего в себе оправдание и смысл и требующего «развязки».

²⁰ Имеется в виду *ОГПУ* — Орган государственного политического управления по охране государственной безопасности (1923—1934). Впоследствии включено в НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) и переименовано в Главное управление государственной безопасности.

²¹ Эта глава содержит пророчества Иисуса на горе Елеонской, в которых говорится о разрушении Храма и кончине века, пришествии Сына Человеческого.

²² *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий философ-мистик, основатель антропософии. Известно отрицательное отношение Чулкова к этому учению, приверженцев которого он

высмеял в романе «Метель» (1917). В одном из задуманных писателем произведений («Древо познания») появится Рудольф Карлович Цвиттер, бездушно манипулирующий людьми.

²³ На острове Патмос Иоанну Богослову были даны видения («Апокалипсис»).

²⁴ В данном контексте имя итальянского поэта возникает потому, что для Чулкова он, в отличие от «не приемлющих мира» художников, всегда являлся «строителем мира», «хранителем ключей от лабиринта мировой культуры».

²⁵ *Кальдерон* де ла Барка Педро (1600—1681) — испанский драматург, создатель религиозно-философских драм («Жизнь есть сон», 1636) и комедий интриги («Дама-невидимка», 1629).

²⁶ См. коммент. 7 (с. 787).

²⁷ *Рублев* Андрей — см. коммент. 628 (с. 742).

²⁸ Богословские труды церковных авторов — отцов церкви Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, которые имеют особое значение в богословии. Упоминаемые святые олицетворяли святость жизни, заслуги перед церковью, ортодоксальность учения.

²⁹ Апофатическая (отрицательная) теология, стремящаяся выразить сущность Бога путем последовательного отрицания всех относящихся к нему определений, как несоизмеримых с его природой.

³⁰ *Аттила* (ок. 424—453) — могущественный царь, который, объединив своей властью гуннов и другие племена, возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию. После его внезапной кончины (в ночь после своей свадьбы) государство распалось. В «Песне о Нибелунгах» изображен под именем короля Этцеля.

³¹ *Успенский собор* — имеется в виду Успенский собор во Владимире, построенный в 1158—1160 гг. по заказу владимирского князя Андрея Боголюбского. Сохранились фрагменты фресок Андрея Рублева и Даниила Черного.

³² Владимирская икона Богородицы привезена в Киев из Константинополя в XII в. Андрей Боголюбский перенес ее в Вышгород, потом в Боголюбово, затем она попала во Влади-

мир. Ввиду ожидаемого нашествия Тамерлана в 1395 г. была перенесена в Москву. На месте ее встречи был заложен Сретенский монастырь.

³³ *Каспрович Ян* (1860—1926) — польский поэт, один из главных представителей «Молодой Польши». Реалистические стихотворения и драмы 1890-х гг. посвящены крестьянской жизни. Придя к религиозно-мистическому мировоззрению, создал ряд произведений на библейские сюжеты. В поэме «Христос» (1890) Люцифер — олицетворение недовольства и возмущения — побеждает Христа. В гимне «День гнева» (*Dies irae*) изображен день Страшного суда и возмущение поэта Всевышним, который карает людей за грехи, которые мог предотвратить. В книге гимнов «*Salve Regina*» нарисованы портреты грешников — Иуды, Саломеи и др.

³⁴ *Ридикюльный* — зд.: смешной, нелепый.

³⁵ Приписывая Пушкину данное убеждение, Чулков основывался на высказывании поэта: «Ничего не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов...» (см.: Пушкин А.С. О ничтожестве литературы русской). Эти слова Чулков записал в тетрадь, где делал подготовительные наброски к книге о Пушкине (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 45). Напомним, что положительная (катафатическая) теология описывает Бога посредством позитивных атрибутов и обозначений (в отличие от апофатической теологии).

³⁶ *Вольтер* (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский писатель, философ-просветитель. Автор философских повестей («Кандид, или Оптимизм», «Простодушный»), сатирической поэмы «Орлеанская девственница», трагедий в стиле классицизма.

³⁷ *Шелли* Перси Биш (1792—1822) — английский поэт-романтик. Философски осмыслял проблемы тирании и свободы в поэмах и лирических драмах.

³⁸ *Пантеист* — приверженец пантеизма, философского учения, сближающего или полностью сливающего в единое целое Бога и природу.

³⁹ Гомер — древнегреческий эпический поэт, которому приписывают авторство «Илиады» и «Одиссеи». Уже в древности о его личности и времени жизни ничего не было известно достоверно. Принято считать, что он жил приблизительно в VIII в. до н.э.

⁴⁰ Теория об упадке культуры в эпоху Возрождения была распространена в среде символистов и философов идеалистической ориентации (ср. у В.В. Розанова в статье «Декаденты»). Чулков также придерживается взгляда, что с Возрождения начался упадок органической культуры, и возникла культура критическая, которая должна завершиться в XX в. Он надеялся на появление новой монументальной культуры и искусства, образцами которых будет древнерусское наследие.

⁴¹ *Беатриче* — возлюбленная Данте, которой он посвятил свои сонеты, созданные в духе «дольче стиль нуово». В поэме «Божественная комедия» он поместил ее в рай (часть «Рай»).

⁴² Данное утверждение согласуется с приведенной выше мыслью Пушкина. Эту идею Чулков намеревался развить в статье или лекции, план которой сохранился в его записной книжке и состоит из следующих пунктов: 1. Идея культуры. 2. Современная Европа. 3. Мировая катастрофа. 4. Буржуазное общество и его критики. 4. Театр революции. 5. За кулисами революции. 6. Драма Дантона. 7. Драма Бакунина. 8. Оправдание анархизма. 10. На развалинах мировой культуры. 11. Христос и Антихрист (зачеркнуто). 12. Страшный суд (нумерация нарушена в самом тексте. — М.М.) (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 29 об.).

⁴³ Возможно, что делая свою героиню поклонницей Софокла, Чулков хотел напомнить об идее «непобедимого Эроса», весьма значимой для древнегреческого поэта.

⁴⁴ Видимо, речь идет о героине трагедии английского писателя О. Уайльда «Саломея» (1893).

⁴⁵ Несколько измененная фраза Вяч. Иванова, которую Чулков поставил эпиграфом к своему стихотворению «Инфанта» (впервые опубликовано М.В. Михайловой. Кодры. Молдавия литературная. 1990. № 4), начинающемуся словами «Тысячелетия в твоих глазах...». Эпиграф звучит так: «В ваших глазах тысячелетия...»

⁴⁶ *Форд* Генри (1863—1947) — владелец автомобильных заводов в США, на которых впервые была введена система организации поточно-массового производства, основанная на применении стандартизации, типизации и конвейеризации производственных процессов.

⁴⁷ По имени Герберта Кларка *Гувера* (1874—1964), 31 президента США (1929—1933).

⁴⁸ *Келлогговский пакт* — пакт Бриана — Келлога (Парижский пакт, 1928) об отказе от войны как орудия национальной политики. Назван по имени его инициаторов — французского министра иностранных дел А. Бриана (1862—1932) и государственного секретаря США Ф. Келлога (1856—1937), получившего в 1929 г. Нобелевскую премию мира.

⁴⁹ *Лига Наций* — международная организация (учреждена в 1919 г.), имевшая целью развитие сотрудничества между народами и гарантию мира и безопасности.

⁵⁰ *Эррио* Эдуард (1872—1957) — лидер французской партии радикалов. Премьер-министр в 1924—1926, 1932 гг. Правительство Эррио установило дипломатические отношения (1924) и подписало договор о ненападении с СССР (1932).

⁵¹ *Макдональд* Джеймс Рамсес (1866—1937) — один из основателей и лидеров лейбористской партии Великобритании. В 1924 и 1929—1931 гг. — премьер-министр. Правительство Макдональда в 1924 г. установило дипломатические отношения с СССР.

⁵² *Болдуин* Стенли (1867—1947) — премьер-министр Великобритании в 1923—1924, 1924—1929, 1935—1937 гг. В 1927 г. правительство Болдуина разорвало дипломатические отношения с СССР.

⁵³ Чулков использует выражение, ставшее крылатым после статьи Л.Н. Толстого «Не могу молчать» (1908), направленной против смертных казней, которые получили распространение вслед за революцией 1905—1907 гг.

⁵⁴ *Ахилл* — один из храбрейших греческих героев, осаждавших Трои. Его мать Фетида, желая сделать сына бессмертным, погрузила его в священные воды Стикса. Лишь пятка, за которую она его держала, не коснулась воды и осталась

уязвимой. Отсюда выражение «ахиллесова пята», т.е. уязвимое место.

⁵⁵ *Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский критик, революционер-демократ.

⁵⁶ *Храм Христа Спасителя* заложен был в 1837 г., посвящен победе русского народа в Отечественной войне 1812 г. Создавался на народные пожертвования. Отстроен в 1883 г. Сооруженное в так называемом русско-византийском стиле, грандиозное по масштабам здание отличалось роскошью внешнего и внутреннего убранства (арх. К. Тон, скульпторы П. Клодт, Ф. Толстой, художники В. Верещагин, К. Маковский, В. Суриков). Разрушен в 1931 г. В настоящее время восстановлен.

⁵⁷ *Пиранезе* (правильно Пиранези) Джованни Баттиста (1720—1778) — итальянский гравер. Графические «архитектурные фантазии» Пиранези поражают грандиозностью пространственных решений, драматической игрой светотени (цикл «Виды Рима»).

⁵⁸ *Отрантский пролив* — см. коммент. 741 (с. 754).

⁵⁹ Здание Главного Адмиралтейства в Петербурге (в стиле русского ампира), в котором с XIX в. помещались центральные учреждения Морского министерства. Заложено в 1704 г. Рядом с ним 9 января 1905 г. (в «Кровавое воскресенье») мирное шествие петербургских рабочих с петицией к царю было расстреляно царскими и войсками.

⁶⁰ Здесь и далее Чулков отсылает читателя к книге пророка Аввакума, в которой содержатся слова о наказании насильников, угнетателей и людей, ослепленных злобой, алчностью и суеверием: «Камни из стен возопиют, и перекладыны из дерева будут отвечать им: «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!» (Авв. 2: 11—12).

⁶¹ *Посейдон* — в греческой мифологии один из богов-олимпийцев, повелитель всех морей, источников и вод, управляющий ими с помощью трезубца.

⁶² *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920, премьер-министр в 1912—1913, 1922—1924, 1926—1929 гг.

⁶³ *Митрополит Сергей* (в миру Иван Иванович Страгородский; 1867—1944) — был избран Патриархом Московским и Всея Руси в 1943 г. Известна «Декларация митрополита Сергея» (1927), в которой однозначно утверждалось, что «верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть... и самые ревностные приверженцы его (православия. — М.М.)... Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радость и успехи которой — наши радости, а неудачи — наши неудачи».

⁶⁴ *Пилат Понтий* — римский прокуратор (правитель), управлявший Палестиной во время земной жизни Христа. Он согласился, хотя и неохотно, на казнь Христа.

⁶⁵ Этот и следующий за ним эпизод должны были войти в задуманный Чулковым в 1917 г. рассказ «Дисма и Геста», подробные подготовительные записи к которому имеются в «Записной книжке» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107).

⁶⁶ Восемнадцатая глава Апокалипсиса повествует о падении великого Вавилона и о ликовании народа по поводу суда над ним. Таточка и Пантелеймонов допускают мелкие неточности по сравнению с каноническим текстом. Стих 22 читается: «...не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества». Стих 23: «...и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе».

⁶⁷ *Тропарь* — в православном богослужении песнопение, в котором раскрывается сущность отмечаемого церковью праздника или события, перечисляются подвиги православного святого.

⁶⁸ *Кондак* — православное песнопение, в котором содержится краткое описание церковного праздника или наиболее важные моменты, связанные с деяниями прославляемого святого.

⁶⁹ *Павел* — один из апостолов христианства. Первоначально был гонителем христиан, но после того, как однажды ему явился Христос, он стал столь же ревностным христианином. Легенда о Павле изложена в «Деяниях апостолов». В Новом завете содержится 14 посланий, авторство которых приписывается Павлу.

⁷⁰ *Акафист* — особые церковные службы восточной церкви, состоящие из панегирических, хвалебных песнопений и молитв в честь Иисуса Христа, Богородицы и святых. Исполняются стоя всеми молящимися.

⁷¹ *Левиафан* — в библейской мифологии огромное морское чудовище. Чулков следует традиции английского философа Томаса Гоббса (1588—1679), уподобившего государство Левиафану в своем трактате «Левиафан» (1651), и понимает под Левиафаном российскую государственность.

⁷² Чулкова интересовала связь христианства с буддизмом. Об этом свидетельствуют многочисленные выписки и заметки из книг, посвященных этой проблеме. Сам он, видимо, не был склонен отождествлять буддизм и христианство (см.: Записная книжка. РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 33 об., 35 об. Заметки к статье «Смысл христианства»).

⁷³ Слова, отсылающие читателя к «Откровению Иоанна Богослова» (Апокалипсису) — см. коммент. 4 (с. 790).

⁷⁴ Здесь Чулков пересказывает «Евангелие от Иоанна» (20: 11—29).



УКАЗАТЕЛИ

○

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аввакум Петрович, протопоп
806
- Август (Октавиан), имп. 124,
351, 701, 741
- Аврелий см. Брюсов В.Я.
- Агриппа Неттесгеймский К.Г.
111, 696
- Аджемов М.С. 36, 663
- Адриан, имп. 741
- Азеф 670
- Айхенвальд Ю.И. 751
- Ал. Бл. см. Блок А.А.
- Александр I 415, 591, 788,
795
- Александр II 415, 782, 676—677
- Александр III 8, 34, 124, 126,
143, 375, 662, 701, 775
- Александра Федоровна, царица
683, 734
- Александров А.М. 413—414
- Александров В.А. 223, 243,
413—414, 732, 782
- «В новой семье» 782
- «История одного брака» 782
- «Спорный вопрос» 782
- Александрова А.А. 405—410,
414—415, 419—420
- Александрова А.П. 405, 413—
414
- Александровы 414
- Алексей, царевич 19, 732
- Альтенберг П. 334, 765
- «Как я это вижу» 334, 765
- «Сказка жизни» 334, 765
- Алянский С.М. 719
- Анатолий, патриарх 786
- Андреев Д.Л. 135, 704
- Андреев Л.Н. 12, 31, 36, 105,
109, 124—136, 345—346,
358—359, 381, 383, 390,
664, 701—705
- «Жизнь человека» 132, 237,
703, 737
- «К звездам» 346, 769—770
- «Памяти Владимира Мазурина» 129, 702
- Собрание сочинений (в 4 т.)
704
- «Рассказ о семи повешенных» 129

- «Рассказы» 701
 «Так было» 133, 704, 769
 Андреева А.М. 125, 135, 704
 Андреева М.Ф. 227, 733, 735
 Андреевский С.А. 723
 Андрей Боголюбский 802
 Андрей Критский, св. 9
 Аничков Е.В. 182, 350, 718
 Анна Иоанновна, царица 795
 Анненский И.Ф. 19, 88, 201—204, 725, 726
 «Алкеста» (пер. из Еврипида) 725
 «Вакханки» (пер. из Еврипида) 725
 «Геракл» (пер. из Еврипида) 725
 «Ипполит» (пер. из Еврипида) 725
 «Ифигения-жертва» 725
 «О современном лиризме» 726
 «Орест» (пер. из Еврипида) 725
 «Тихие песни» 202, 725
 «Финикиянки» (пер. из Еврипида) 725
 «Электра» (пер. из Еврипида) 725
 Анненский Н.Ф. 88, 201, 682, 725
 Аннибалы 97
 Антиох IV 26
 Антон Крайний см. Гиппиус З.Н.
 Аполлонский Р.Б. 313, 758
 Апулей 367—368, 391
 «Амур и Психея» 391, 772
 Аристотель 739
 Артем А.Р. 733
 Арцыбашев М.П.
 «Ассаргадон» 122, 701
 Арцыбушева М. 739
 Ауслендер С.А. 187—188, 719
 Афанасьев А.Н. 53, 182, 719
 Ахматова А.А. 19, 254—255, 719, 784
 «Вечер» 254, 742
 «У самого моря» 742
 Ахрамович В.Ф. см.
 Ашмарин В.Ф.
 Аш Шолом 230, 735
 «Бог мести» 735
 Ашешов Н.П. 751
 Ашмарин В.Ф. 24, 44, 63—65, 670
 Байрон Дж. Г. 299—300, 378, 710, 763
 «Дон Жуан» 763
 «Европейские мелодии» 763
 «Паломничество Чайльд-Гарольда» 299, 755
 «Пришло время утихнуть этому сердцу...» 763
 «Пророчество Данте» 763
 «Сон» 763
 «Часы досуга» 763
 Бакст Л.С. 210, 728
 Бакунин М. А. 106, 119, 693, 700, 804
 Балашов А. 732
 Балтрушайтис Ю.К. 109—110, 695

- Бальзак О. де 365, 368, 382, 389, 400, 451, 788
«Серафита» 451, 464—465, 788
- Бальмонт К.Д. 110, 114, 207, 279—281, 325—326, 330, 342, 344, 696, 704, 707, 722, 752
«Горные вершины» 388
«Литургия красоты» 368, 391
Собрание стихов 389
«Три расцвета» 767
- Банвиль Т. де 725
- Баратынский
(Боратынский) Е.А. 185, 202, 312, 711, 757
«В дни безграничных наслаждений...» 158
«Когда взойдет денница золотая...» 158
«Н.И. Гнедичу» 757
«Наслаждайтесь: все проходит...» 158
- Барк П.Л. 305, 756
- Барятинский В.В., кн. 734
- Батайль А. 228, 735
«Мама-колибри» 228—229, 735
«Свадебный марш» 228
- Батюшков Ф.
«Театральные заметки [«Невеста»]» 758
- Бебель А. 453, 789
- Безант А. 789
- Бекетов А.Н. 140, 706
- Бекетова А.А. см. Кублицкая-Пиоттук
- Бекетова М.А. 385, 403, 780
«Александр Блок. Воспоминания» 389, 780
- Бекетовы 389
- Белевская О.А. 397, 780
- Белинский В.Г. 154, 632, 806
- Белкин В.П. 215, 730, 785
- Белый А. 5, 6, 7, 13, 81, 112, 157, 197, 328, 346, 350, 358, 359, 369, 371, 380, 382, 384—385, 399, 401—402, 404, 685, 697, 699, 709, 722, 724, 763, 769, 774, 777, 788
«Апокалипсис в русской поэзии» 699
«Арабески» 197, 403, 723
«В. Брюсов (Силуэт)» 699
«Вишневый сад» 771
Дневник 403
«Золото в лазури» 696
«Критицизм и символизм» 771
«Люди с «левым устремлением» (О мистическом анархизме)» 723
«Маг» 696
«Между двух революций» 7, 10
«На перевале VII. Штемпелеванная калоша» 688
«На рубеже столетий» 10
«Начало века» 10
«О проповедниках, гастрономах, мистических анархистах и т.д.» 691
«Обломки миров» 385, 777
«Против музыки» 776

- «Старый Арбат» 6
 «Сфинкс» 771
 «Чехов» 771
 «Химеры» 771
 Бёме Я. 222, 732
 Бенуа А.Н. 201, 205, 210—211, 213, 215, 708, 723, 741
 «Мои воспоминания» 741
 Бенуа, семья 213
 Бергсон А. 209, 263, 269, 727, 745
 Бердслей О. 205, 726, 750
 Бердяев Н.А. 8—83, 86, 95, 106, 166, 181, 383, 679, 709, 782
 «Ивановские среды» 709
 Берент В. 158, 354, 761
 «Гниль» («Гниение», «Гнилушки», «Блестящая пыль») 325, 354, 761
 «Новые пути» 761
 «Озимь» 761
 Бертран де Борн 158, 160, 711
 «Сердцу закон непреложный...» 158, 711
 Бестужев-Рюмин К.Н. 788
 Бетховен Л. ван 266, 509, 747
 Девятая симфония 226, 747
 Патетическая соната 469, 789
 Пятая симфония 747
 Бибергаль В.А. 49, 671
 Билибин И.Я. 738, 769
 Бирон Э.И. 584, 795
 Блаватская Е.П. 789, 793
 Блок А.А. 11—18, 23, 26—27, 31, 81, 93, 105, 111, 131—132, 133, 137—160, 174—175, 179—180, 186—187, 213, 232—235, 355, 365—404, 358—359, 365, 404, 430, 698, 691, 680, 684—685, 705—711, 716, 724, 759, 768, 772—780, 784, 788, 790, 793
 «Балаганчик» 14, 140, 157, 213, 232—235, 237, 345, 373, 375, 395, 396, 401, 736, 768
 Арлекин 14, 235, 237
 Пьеро 14, 232
 «Балаганчик» («Вот открыт балаганчик...») 233, 736, 768
 «Белая ночь» 157, 378, 397, 711
 «Болотные чертенята» 397
 «Владимир Соловьев и наши дни» 394
 «Возмездие» 144—145
 «Вольные мысли» 15, 106
 «Двенадцать» 719
 «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» 236, 377, 397, 704, 736, 775
 Дневники 234
 «Здесь в сумерки в конце войны...» 145, 707
 «И снова подхожу к окну...» 388
 «И я провел безумный год...» 176
 «Интеллигенция и народ» см. «Россия и интеллигенция»

- «Интеллигенция и революция» 23, 151, 709
«Ирония» 156, 703, 710
«К Музе» 159
«Король на площади» 758
«Митинг» 372, 374, 394, 774
«Мы встречались с тобой на закате...» 388
«Невидимый образ Вл. Соловьева» («Рыцарь-монах») 773
«Незнакомка» 157, 395
«Нечаянная радость» 140, 364, 376, 401, 706, 774
«Ночные часы» 159, 711
«О драме» 132, 703
«О лирике» 380, 776, 787
«О Льве Толстом» 386, 778
«О современной критике» 776
«О современном состоянии русского символизма» 145, 707
«О театре» 384, 777
«Обожествление народа в литературе» см. «Россия и интеллигенция»
«Осенняя воля» 372, 374, 384—395, 773
«Памяти Л. Андреева» 131, 703
«Педант о поэте» 772
«Песня судьбы» 15, 385—386, 404, 777
«Письма о поэзии» 384, 777
«Письмо в редакцию» 153, 709
«Пляски осенние» 372, 774
«Погружался я в море клевера...» 388
«Последние дни императорской власти» 143, 707
«Потемнели, поблекли залы...» 388
«Поэты» 176, 715
«Рожденные в года глухие...» 775
«Роза и крест» 158, 160, 711
«Россия и интеллигенция» 153, 710
«Рыцарь-монах» (Невидимый образ Вл. Соловьева) 370, 393, 773, 779
«Снежная маска» 157, 378, 398, 790
«Снежная ночь» 140, 711
Собрание сочинений (в 12 т.) 24, 759
«Солнце над Россией» 386, 759, 777—778
«Стихи о Прекрасной Даме» 138—139, 147, 706
«Стихия и культура» 155, 778
«Сытые» 150
«Три вопроса» 384, 777
«Ты у камина, склонив седины...» 388
«У забытых могил пробивалась трава...» 388
«Целый год не дрожало окно...» 388
«Шаги» (пер. из Э. Верхарна) 776

- «Чулков «Одною ночью» занят...» 157
- «Я вырезал посох из дуба...» 388
- «Я изнуренный и премудрый...» 388
- «Я тварь дрожащая. Лучами...» 140
- Блок Л.А. 706
- Блок Л. Д. 12, 16—17, 141, 368, 371, 374, 386, 387, 391, 404, 706—707, 778, 790
- «Были и небылицы о Блоке и обо мне» 17, 706—707
- Блюменталь-Тамарина М.М. 732
- Боборыкин П.Д. 64, 675
- Богомолов Н.А.
- «Anna Rudolph» 789
- Бодлер Ш. 64, 109, 194, 202, 209, 225, 323, 354, 675, 725
- «Искусственный рай» 209, 727
- Болдуин С. 631, 805
- Боратынский см. Баратынский Е.А.
- Борисов-Мусатов В.Э. 789
- Босх И.Х 271, 749
- Боттичелли С.С. 271, 749
- Брак Ж. 746
- Бриан А. 805
- Брут М.Ю. 124, 701
- Брюсов В.Я. 12, 31, 41, 74—75, 105—124, 195—196, 200, 205, 208, 279—280, 321—364, 367, 382, 390, 400, 402, 667—668, 693—701, 704, 722, 759—771
- «Ахиллес у алтаря» 327, 355
- «Банкир» (пер. из Э. Верхарна) 327, 333, 762
- «Близким» («К близким») 121, 123, 331, 339, 343, 356, 701, 766
- «Брат» 337
- «Братьям соблазненным» 124, 701
- «В ответ» 116, 699
- «В подземной тюрьме» 330, 763
- «В такие дни» 762
- «Венок» 117, 338—339, 363
- «Верлен», кн. 763
- «Вечерняя песня» (пер. из Р. Дюмеля) 332, 764
- «Ворон» (пер. из Э. По) 326, 355, 762
- «Голова» (пер. из Э. Верхарна) 332, 764
- «Города и поле. К будущему» (пер. из Э. Верхарна) 333, 335, 762, 765
- «Гребцы триремы» 323, 760
- «Грядущие гунны» 122, 331, 337, 342, 356—357, 766, 768
- «Довольным» 122—123, 342—343, 701, 768
- «Дон Жуан» (пер. из Дж. Байрона) 763
- «Других пусть радуют прекрасные закаты...» (пер. из А. Ренье) 332, 764

- «Есть вечно в нас, что вечно одиноко...» (пер. из Р. Димеля) 332, 764
- «З.Н. Гиппиус» 206, 726
- «Звезды» (пер. Из Э. Верхарна) 327
- «Земля» 327, 762
- «Земная ось» 115, 197, 362—364, 699
- «Знакомая песня» 121, 331—332, 356
- Из поэмы «Иродиада» (пер. из С. Малларме) 332, 764
- «Из современности», цикл. 334, 336—339, 345, 357, 766
- «Искания новой сцены» 339, 766
- «Исход» (пер. из Э. Верхарна) 333
- «К истории символизма» 764
- «К ним» 121, 356
- «К согражданам» 121
- «К счастливым» 121, 331, 337, 356, 766
- «Карманьола» (пер. с. фр.) 118—119
- «Кинжал» 117—121, 325, 355
- «Ключи тайн» 206, 726
- «Конь-блед» 323, 760
- «Кузнец» (пер. из Э. Верхарна) 764
- «Лебедь» (пер. из С. Малларме) 332, 764
- «Лик медузы» 343—344, 358
- «Литературная жизнь Франции. Научная поэзия» 767
- «Лондон» (пер. из Э. Верхарна) 332, 764
- «Луна печалилась. Томились серафимы...» (пер. из С. Малларме) 332, 764
- «М. Метерлинк. Избиение младенцев. Рассказ» 761
- «Мадонна на перекрестке» (пер. из Э. Верхарна) 327
- «Мистические анархисты» 688, 691
- «Мор» (пер. из Э. Верхарна) 323, 326, 327, 333, 761, 762
- «Мятеж» (пер. из Э. Верхарна) 325—326, 761
- «На отмели» (пер. из А. Ренье) 764
- «На Сайме» 763
- «Нам руки свободные свяжут...» 337, 766
- «Нет, я не ваш!..» 339, 766
- «О, закрой свои бледные ноги...» 195, 695
- «О книгах» (Ad. Van Bever Mauris Maeterlink) 324, 761
- «Огненный ангел» 196—197, 330, 342—343, 358, 763, 767
- «Одному из братьев» 121, 331, 337, 356, 766

- «Орфей и аргонавты» 323, 760
- «Орфей и Эвредика» 323, 760
- «Отплытие» 765
- «П. Верлен. Биографический очерк» 763
- «Письмо из Москвы» 339
- «Письмо из Швеции (Художественная выставка в Норчепинге)» 770
- «Простор! Грудь, рвись за пределы!..» (пер. из Р. Демеля) 332, 764
- «Рене Гиль» 764
- «Республика Южного креста» 330, 763, 770, 763
- «Романсы без слов» 112
- «Рысь» 339, 766
- «Сборник Знания X» 346, 769
- «Свинья» (пер. из Э. Верхарна) 770
- «Слава толпе» 342, 768
- «Смерть последнего папы» (пер. из Э. Ог) 761
- Собрание сочинений 790
- «Стихи о далеком» 337
- «Стихи о современности» (пер. из Э. Верхарна) 69, 761, 765, 769, 775
- «Трибун» (пер. из Э. Верхарна) 327, 334—335, 357, 762, 765
- «У окна, где пурпур старый...» (пер. из С. Маларме) 332, 764
- «Упрек» (пер. из А. Ренье) 332, 764
- «Факелы» 688
- «Фиалки в тигеле» 330, 334, 356—357, 688, 763, 765
- «Фонарики» 328, 762
- «Царю Северного полюса» 113, 697
- «Цусима» 121, 335—337, 357, 766
- «Часы досуга» (пер. из Дж. Байрона) 330, 763
- «Числа» (пер. из Э. Верхарна) 333
- «Чудо» (пер. из А. Стринберга) 332, 764
- «Эмиль Верхарн — как человек и поэт» 764
- «Юлий Цезарь» 344, 768
- «Я люблю тебя, Россия» 12, 334
- «Я на темных полях...» 348, 361
- «Chefs d'oeuvre» («Шедевры») 109
- «Me eum' esse» («Это я») 109
- «Oeuvre. En méthode à l'oeuvre» 767
- «Stephanos», сб. 762, 766, 768
- «Tertia vigilia» («Третья стража») 109
- Бугаев Б.Н. см. Белый А.
- Будилович И.А. 34—35, 44, 49, 51—52, 283, 662
- Булгаков М.А. 28

- Булгаков С.Н. 80—84, 86, 93, 149, 166, 368, 391—292, 396
«Без плана. Несколько замечаний по поводу статьи Г.И. Чулкова о поэзии Вл. Соловьева» 93, 391, 396, 679, 685
- Булыгин А.Г. 766
- Бунин И.А. 105, 358—359, 664, 707, 750, 769
- Буренин В.П. 160, 712
- Бурнашев М.Н. 738
- Буслаев Ф.И. 182, 718
- В.А.Е. 391
«Амур и Психея» (пер. из Апулея) 367, 391
«В такие дни» 762
- Ван Гог В. 265, 746
- Василевский И.М. 778
- Василий Великий, св. 794, 802
- Васнецов В.М. 312, 757
- Ватто А. 425, 785
- Вашкевич Н.Н. 766—767
«Дионисово действо современности. О слиянии искусства. Эскиз» 767
- Ведекинд Ф. 64, 236, 675, 737
«Пробуждение весны» 675, 737
- Вейншток И.М. 65, 676
- Веласкес Д. 271, 749
- Великанов см. Мефодий, архимандрит
- Величко В.Л. 370, 773
«Владимир Соловьев. Жизнь и творчество» 773
- Венгеров С.А. 330, 710, 763, 778
- Венецианов А.Г. 214, 730
- Венизелос Э. 298, 754
- Вересаев В.В. 750
- Верещагин В.В. 806
- Верлен П. 41, 64, 82, 112, 116, 159, 248, 258, 268, 272, 331—332, 334, 338, 680, 703, 763, 765, 769—770, 725—726
«Записки вдовца» 765
Избранные стихотворения в переводах русских писателей 765
«Искусство поэзии» 41, 183, 668
- Верн Ж. 406
- Верхарн Э. 112, 123, 196, 274, 328—330, 332, 335, 336—340, 343—344, 358, 367, 377, 381, 697, 761, 762, 764
«Банкир» («Буйные силы») 333, 335
«Близким» 339, 766
«Вечера» 332, 764
«Вся Фландрия» 776
«Голова» 332, 764
«Города и поле. К будущему» 333, 335, 762, 765
«Города-спруты» 335
«Грядущие гунны» 337, 766
«Звезды» 327—328
«Знакомая песнь» 343, 358
«Зори» 330, 345, 356, 697, 769

- «Из современности» 337, 766
- «Избранные стихотворения в переводах русских поэтов» 763
- «Исход» 333
- «К счастливым» 337, 766
- «Кузнец» 333—334, 764
- «Лик медузы» 343—344, 358
- «Лондон» 332, 764
- «Мадонна на перекрестке» («Женщина на перекрестке») 327—328, 762
- «Мор» 327—328, 333, 335—336, 338, 762
- «Мятеж» 326, 339, 343, 358, 761
- «Нет, я не воин!..» 339, 766
- «Нам руки свободные свяжут...» 339, 766
- «Обезумевшие деревни» 333
- «Одному из братьев» 337, 766
- «Разгром» 332, 764
- «Свинья» 770
- «Стихи о современности» 761, 764—765, 775, 769
- «Трибун» 335, 357, 762
- «Черные факелы» 761—762, 765
- «Числа» 333
- «Шаги» 776
- Верховский Ю.Н. 185—186, 397, 716, 718, 742
- «Скажи, когда твоей встревоженной души...» 186
- «Так, милый, вот мы и старики...» 185
- Веселовский А.Н. 182, 719
- Вигель Ф.Ф. 312, 758
- Вильгельм I 752
- Вильгельм II 308, 429, 752, 756
- Вилье де Лиль-Адан Ф.О. 82, 268, 391, 680
- «Жестокие рассказы» 680
- Витте С.Ю. 88, 682
- Вишневский А.Л. 238, 737
- Вишняк М.В.
- «Современные записки. Воспоминания редактора» 663
- Владимир, св. 757
- Водовозов В.В. 81, 680
- Войтоловский Л.Н.
- «Журнальное обозрение» 24
- Волгин В.П. 64
- «Аграрный вопрос и крестьянское движение 50—70-х годов XIX века» 674
- «История социалистических идей» 674
- Волохова Н.Н. 12, 16, 711, 790
- Волошин (Кириенко) М.А. 10, 222—223, 350, 373, 397, 678, 690, 693, 710, 717, 731—732
- «Лики творчества» 678
- «Письмо» 732
- Волынский А.Л. 350, 770—771 «Книга великого гнева» 771
- Волькенштейн Вл. 716

- Вольтер 626, 803
 «Кандид, или Оптимизм» 803
 «Орлеанская девственница» 803
 «Простодушный» 803
 Воротников А. см. Шамбинаго С., Воротников А.
 «Новые переводы Верхарна» 769
 Врангель Н.Н. 723
 Врубель М.А. 199, 211, 251, 264, 267, 311—312, 723—724, 746, 757
 «Демон» 757
 «Демон летящий» 757
 «Демон поверженный» 757
 «Демон сидящий» 757
 «Плач Богородицы» 312
 «Сошествие святого духа на апостолов» 311
 Высоцкий В. 354
 Вяльцева А.Д. 56, 672
 Габрилович Л.Е. 307, 391, 779
 «Новейшие русские метафики (Идеализм П. Струве)» 391
 Гайдебуров П.П. 667
 Галич Л.Е. см. Габрилович Л.Е.
 Галль А. де ла 239, 738
 «Лицедейство о Робене и Марионе» 239—240, 738
 Марион 239
 Робишон 239
 Рыцарь 241—242
 Гамсун К.
 «Вечерняя заря» 737
 «Драма жизни» 237—238, 378, 737, 776
 Энс Спиро 238
 Карено 238
 Отерман 238
 Терезита 238
 «У врат Царства» 737
 Ганако-Оота 242—243, 739
 Ганская Э. 788
 Гапон Г.А. 89, 91, 482, 682—683, 790
 Гарибальди А. 290, 753
 Гарибальди Дж. 290—291, 753
 Гауптман Г. 224, 230
 «Одинокие» 224, 733
 Иоганн 224
 «Шлюк и Яу» 767
 Ге Н.Н. 378, 397, 786
 «Белая ночь и мудрость» 397
 Ге Н.П. 397, 780
 Гед Ж. (Базиль) 287, 753
 Гейне Г. 156, 710
 Геник Д.А. 774
 Герцык А.К. 681, 781
 Герцык Е.К. 689, 726
 Гёте И.В. 66—67, 138, 140, 178, 273, 351, 460, 475, 509
 «Фауст» 139
 Маргарита 178
 Гиль Р. 332, 341, 764, 767
 «Легенда душ и крови» 764
 «Научная поэзия» 764
 «Обет жизни» 764
 «Трактат о слове» 764

- «De la Poésie scientifique»
767
«Oeuvre. En méthode à l'oeuvre» 767
- Гиляровская Н. 751
Гиме 262, 745
Гинденбург П. фон 286, 309, 752
Гиппиус З.Н. 6, 14, 25, 74—77, 81, 84, 138, 143, 145—148, 189, 205, 275, 326, 382, 388—389, 397, 407, 678, 704, 708, 709, 723, 726, 777, 794
«Иван Александрович Неудачник» 688, 789
«Мятущаяся душа» 25, 404, 751
«Трихина» 14, 688
Гиппиус Т.Н. 378, 397, 780, 794
Портрет А. Блока 780
Гитлер А. 752
Глебова-Судейкина О.А. 785
Глез А. 746
Глинка М.И. 102, 213, 729
Гнедич Н.И. 757
Гнедич П.П. 694
Гоббс Т. 808
«Левиафан» 808
Гоген П. 265, 746, 760
Гогенцоллерны 285, 428—429, 724, 752
Гоголь Н.В. 102, 145—146, 156, 708—709, 732, 734
«Выбранные места из переписки с друзьями» 156, 710
- «Невский проспект» 114
«Ревизор» 667
Хлестаков 462
«Шинель» 114
Голенищев-Кутузов А.А. 723
Головин А.Я. 230, 237, 735
Голубкина А.С. 217—221, 730
«Березка» 221, 730
«Железный» 730
«Лев Толстой» 221
«Несколько слов о ремесле скульптора» 219, 731
Гомер 626, 628, 681, 688, 718, 722, 804
«Илиада» 804
«Одиссея» 804
Гораций 725
Горев Ф.П. 223, 243, 246, 733
Городецкий С.М. 105, 180—181, 358, 373, 380, 383, 397—398, 691, 698, 709—710, 769, 717
«Дьявол» 381, 777
«Тайным утром, в час все-снежный...» 717
«Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические» 180, 717
Горький М. 9—10, 62, 65, 88, 125—126, 130, 133, 227, 230, 288, 453, 674, 704, 735, 769, 783, 795
«Исповедь» 674
«На дне»
Лука 738
«Человек» 674
Готье Т. 287, 725, 753

- Гофман В.В. 365, 373, 378,
767, 769, 772, 774, 767, 769
«Искус» 770
«Книга вступлений. Лирика. 1902—1904» 390, 772
«Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры. 1909—1911» 772
- Гофман М.Л. 774
«Книга о русских поэтах последнего десятилетия» (редактор) 774
«Соборный индивидуализм» 397, 774
- Гофман Э.Т.А. 96, 183, 187, 686
- Грабарь И.Э. 723
- Грег Ф. 727
«Интегризм» 727
- Гречишкин С.С. 714
- Гржебин З.И. 704
- Гри Х. 746
- Григорий Богослов, св. 802
- Григорий Нисский, св. 802
- Грибоедов А.С.
«Горе от ума» 378
- Григорьев А.А. 130—131, 241, 702
«Великий трагик» 241, 739
- Григорьев Б.Д. 785
- Гриневицкий И. 676
- Гриневицкий С.И. 68, 676
- Гувер Г.К. 630, 805
- Гумилев Н.С. 726, 758
- Гюисманс Ш.М. 82, 680
«Наоборот» 680
- Гюнтер Г. фон 361, 348, 770
- «Республика Южного Креста» (пер. из В. Брюсова) 770
- «Ein Leben in Ostwind. Zwischen Petersburg und München» 770
- Д.С. см. Мережковский Д.С.
- Давыдов В.Н. 225, 734
- Давыдов И.А. 106, 692
«Индивидуалистический анархизм» 106, 692
- Д'Аннунцио Г.
«Корабль» 385, 777
«Сны» 767
«Франческо да Римини» 321, 760
- Даниил Черный 802
- Данте А. 20, 116, 251, 267, 273, 623, 626—627, 629, 688, 699, 735, 763, 802
«Божественная комедия» 699, 804
Беатриче 267, 804
- Дантон Ж.Ж. 804
- Деборд-Вальмор М. 726
- Дебюсси К.А. 760
- Дегейтер П. 744
- Деларю-Мардрюс Л.
«1001 ночь» (пер.) 616, 801
- Демель Р. 64, 332, 675
«Вечерняя песня» 764
«Есть вечно в нас, что вечно одиноко...» 764
«Простор! грудь рвись за пределы...» 764
- Демьевилль, проф. 282

- Дени М. 323, 760
 Державин Г.Р. 541, 792
 «Бог» 541
 «Хор для кадрили» 617, 801
 Джонс С., Хайль О.
 «Гейша» («Чайный домик») 62, 674
 Джотто ди Бондоне 250, 741
 Дзержинский Ф. Э. 44, 46—47, 49—50, 53, 669
 Дикс Б. 397, 780
 Дмитриевский Д.М. 687
 Добролюбов А.М. 191, 348, 720
 «Natura naturata» 348
 Добролюбов Н.А. 36, 64, 664
 Добужинский М.В. 11, 210, 215, 240, 727, 738, 769
 «Воспоминания» 11
 Долинские 418
 Достоевский Ф.М. 7, 17, 19—20, 63, 84, 94, 101—102, 114, 116, 145—146, 169, 180, 189—190, 192, 202, 205, 246, 253, 275, 460, 509, 609, 623, 628, 652, 674, 678, 681, 685, 688, 723, 735, 760, 771, 773, 799
 «Белые ночи» 20
 «Бесы» 20, 275
 «Братья Карамазовы» 20, 366, 688, 772
 Иван Карамазов 360, 772
 Коля Красоткин 412
 «Идиот» 204, 208, 726
 Аглая 204
 Епанчина 208
 Мышкин 28, 84, 204
 «Неточка Незванова» 20
 «Униженные и оскорбленные» 20
 Дризен Н.В. 738
 Дудле Ш. 356, 390, 762
 Дузе Э. 241, 245, 402, 739, 777
 Дуччо ди Буонинсенья 441, 787
 Дымов О. 367, 368, 390, 772
 «Бунтовщики» 769
 «Весна» 368, 772
 «Солнцеворот» 390, 772
 Дюма А. (сын)
 «Дама с камелиями» 384, 777
 Дю-Прель К. 111, 697
 «Спиритизм» 697
 «Философия мистики» 697
 Дягилев С.П. 198, 205, 723, 736
 Русские сезоны 728
 Дьеркс Л. 725
 Евгеньев-Максимов В., Максимов Д.
 «Из прошлого русской журналистики» («Статьи и материалы») 677
 Евреинов Н.Н. 738
 Еврипид 202, 725
 «Алкеста» 725
 «Вакханки» 725
 «Геракл» 725
 «Ипполит» 725
 «Ифигения-жертва» 725
 «Киклоп» 725

- «Медя» 725
«Орест» 725
«Финикиянки» 725
Егоров В.Е. 238, 738
Елизавета Петровна, имп. 694
Ермилов В.Е. 108, 694—695
Ермолова М.Н. 223, 243—248,
732, 740
Ернефельт А.
«Три судьбы» 371, 773
Есенин С.А. 618
Ефрем Сирин, св. 9, 578, 794, 802

Жамм Ф. 725
Жанна д'Арк 246, 271, 274,
740, 748
Жемчужников А.В. 786
Жемчужников А.М. 786
Женевьева, св. 744
Жерико Т. 272, 750
Жид А. 771
Жорес Ж. 256, 743
Жуковский Д.Е. 86, 389, 681,
781

З.С. см. Серебрякова З.Н.
Зайцев Б.К. 126, 358, 695, 701
«Волки» 126
Захар Цунков см. Цунков За-
хар
Званцева Е.К. 189, 720
Здобнов Н.В. 174, 371
Зелинский Ф.Ф. 95—96, 368,
686, 772
«Из жизни идей» (Т. 2.
«Древний мир и мы») 368, 772

Зильберберг Л.И. 44, 670
Зиновьева-Аннибал Л.Д. 69,
96—98, 105, 345, 347, 358,
397, 676—677, 687, 768—
769, 787—788
«В раю отчаяния. Андре
Жид. Литературный пор-
трет» 771
«Кольца» 98, 676
«Нет» 769
«Трагический зверинец»
98, 676, 687, 789
«Тридцать три уroda» 98
«Царевна-Кентавр» 98, 687
Златовратский Н.Н. 664
Зноско-Боровский Е.А. 201,
725
Зоил 722
Зонов А.П. 39, 667
Зубатов С.В. 37, 665

Ибсен Г. 20, 102—103, 169,
190, 230, 349, 515, 690
«Брандт» 237, 737
«Когда мы, мертвые, про-
буждаемся» 103, 690
«Кукольный дом» 231, 736
«Претенденты на корону»
723
«Росмерсгольм» 237, 737
Ребекка 521, 791
Иван IV Грозный 19
Иван Калига 663
Иванов А.А. 102, 267, 583,
690, 794
Иванов Вяч. И. 12, 22—23, 26,
64, 79, 85, 96—99, 103,

- 105—106, 114—115, 151—152, 192—194, 196, 203, 207, 212, 215, 251—252, 323—324, 328, 345—348, 356, 358—359, 373, 380, 383, 390, 394, 396—398, 400—403, 691—692, 666—667, 687—688, 698, 704, 709, 710, 726, 769, 780, 782, 787—789, 804
- «Бессонница» 768
- «Да, сей пожар (костер) мы поджигали...» 85, 193, 681, 721
- «Идея неприятия мира и мистический анархизм» 688
- «Менада» 251, 741
- «К вопросу об орфографической реформе» 679
- «Казни ль вестник предрасветный...» 768
- «Кормчие звезды» 64, 675—676
- «Кочевники красоты» 771
- «Кризис индивидуализма» 691
- «О любви дерзующей» 106
- «О неприятии мира» 361, 396
- «О мистическом анархизме» (вступ. ст.) 22
- «О русской идее» 688
- «О факельщиках и других именах собирательных» 692
- «Огненосцы» 104, 691
- «Перед жертвой» 768
- «По звездам» 252, 742
- «Прозрачность» 388, 771
- «Религия Диониса» 389
- Собрание сочинений 687
- «Таежник» 99
- «Парнас» 768
- «Эллинская религия страдающего бога» 97, 686
- «Cor Ardens» 691, 675
- «De societatus vectigalius» («О сборщиках податей») 686
- «Odi et Spero» 768
- Иванов Е.П. 367, 374, 377, 378, 391, 776, 779
- «Всадник (Нечто о городе Петербурге)» 337, 397, 776
- Рассказы для детей 779
- Иванов И.И. 108, 694
- Иванов-Разумник Р.В. 801
- Иванова Л.В.
- «Воспоминания. Книга об отце» 666, 709
- Ивановская П.С.
- «В боевой организации. Воспоминания» 662
- «Из рукописей Анны Шмидт» 137, 705
- «Третий завет» 137, 705
- Игнатов И. 751
- Иоанн Богослов, св. 25, 448, 460, 473, 788—790, 802, 808
- Иоанн Дамаскин, св. 9

- Иоанн Златоуст, св. 802
Ионов В.М. 53—54, 671—672.
Иорданский Н.И. 782
Исаакий Далматский, св. 795
Исупов К.Г.
 «Слово как поступок» 693
- Казанова Д.Д. 180, 717, 785
 «Мемуары» 717
Кайо Ж. 236, 256—257, 743
Каллаш В.В. 349, 770
Кальдерон де Барка П. 623,
 802
 «Дама-невидимка» 802
 «Жизнь есть сон» 802
Каляев И.П. 482, 677, 790
Каменев Л.Б. 721
Каменева О.Д. 193, 721
Каменский А.А.
 «Анна Голубкина. Лич-
 ность. Скульптура. Эпо-
 ха» 731
Канегиссер Л.А. 670
Кант И. 83—84, 609—610, 681,
 800
 «О религии в пределах толь-
 ко разума» 800
Кара-Мурза С.Г. 108, 695
Карамзин Н.М. 682
 «История государства Рос-
 сийского» 87, 682
Кардек А. 111, 697
 «Философия спиритуализ-
 ма» 697
Карлейль 685
Кармина Е.И. 189, 720
Карпов Е.П. 313, 758
- Карташов А.В. 146, 708
Касаткин Ф.С. 49, 61, 671
Каспрович Я. 625, 803
 «День гнева» 803
 «Христос» 803
 «Salve Regina» 803
Катков М.М. 679
Катков М.Н. 679
Келлог Ф. 630, 805
Керенский А.Ф. 424, 708, 784
Клеопатра, царица 430—431,
 436, 438—445, 712, 787
Клико, владелец винзаводов
 525, 791
Климент, св. 741
Клодт П.К. 806
Клюев Н.А. 386, 778
Книппер О.Л. 238, 737
Княжнин В.Н. 389, 779
 «А.А. Блок» 389, 393, 779
Кобеко Д.Д. 337, 765
Козловский О.А. 801
Козьма Прутков 426, 786
Коллонтай А.М. 193, 721
 «Любовь пчел трудовых»
 796
Комиссаржевский Ф.Ф. 230,
 736
 «Памяти В.Ф. Комиссар-
 жевской» 736
Комиссаржевская В.Ф. 14—15,
 131, 225, 230—232, 236—
 237, 394, 396, 401, 424,
 666—667, 675, 688, 711—
 712, 736, 737, 760, 775, 785
Кондратьев А.А. 81, 397, 680,
 780

- «Сатиресса» 680
 Конечный А.М., Мордерер В.Я.
 Парнис А.Е., Тименчик Р.Д.
 «Артистическое кабаре «При-
 вал комедиантов» 784
 Конради П. 716
 Константин I Великий 743
 Констанции, династия (вторая
 династия Флавиев) 256, 743
 Конфуций 219, 731
 «Лунь юй» («Беседы и суж-
 дения») 731
 Кончаловский П.П. 747
 Копельман С.Ю. 704
 Корбьер Т. 725, 726
 Корде Ш. 701
 Корецкая И.В.
 «Новый путь» 678
 Короленко В.Г. 55, 62, 109, 672
 «Сон Макара» 56, 672
 Корш Ф.А. 223, 732, 734
 Котляревский Н.А. 368, 772
 «Лермонтов» 392, 368
 «М.Ю. Лермонтов. Лич-
 ность поэта и его произ-
 ведения» 772
 Кривенко С.Н. 682
 Кро Ш. 725
 Кругликова Е.С. 222, 731
 «Париж накануне войны в
 монотипиях Е.С. Кругли-
 ковой» 222, 731
 Крылов В.А. 229, 735
 Крымов Н.П. 274, 750
 Кторов А.П. 732
 Кублицкая-Пиоттух А.А. 378,
 397, 706
 Кублицкий-Пиоттух Ф.Ф.
 141, 706
 Кугель А.Р. 228, 735
 Кузмин М.А. 24, 162—173,
 178—180, 187—188, 208,
 232, 374, 397, 424—426,
 698, 710, 712, 716, 736, 742,
 785—786
 «Александрийские песни»
 178, 716
 «Георгий Чулков. Расска-
 зы» 2 24
 «Картонный домик» 162,
 713
 «Крылья» 178, 716
 «Куранты любви» 163, 785
 «Любви утечи длятся миг
 единый...» 515, 791
 «О прекрасной ясности»
 188, 719
 «Ракеты» 786
 «Сети» 716, 791
 «Форель разбивает лед» 716
 Кузнецов П.В. 267, 274, 747,
 750
 Кузмина-Караваева Е.Ю. 19
 Кульбин Н.И. 785
 Куприн А.И. 373, 750, 774
 «Олеся» 774
 «Поединок» 774
 Кустодиев Б.М. 161, 712, 769
 Портрет Ф. Сологуба 161,
 712
 Л.В. см. Львов-Рогачевский
 Лаврентьев А.Н. 313, 758
 Лавров А.В. 714

- Лансере Е.А. 213, 728, 729
Лансере Е.Е. 210, 213—215,
727, 728, 729, 738, 769, 787
Лансере Е.Н. 213, 729
Лансере Н.Е. 213, 729
Лансере, семья 213
Лаплас П.С. 506, 791
Лассаль Ф. 453, 788
Лафорг Ж. 202, 726
Ле Фоконье А. де 746
Лебедева Л.М. 25—27, 243,
739, 800
Левинсон А.
 «Париж накануне войны» 793
Левитан И.И. 108, 694
Леже Ф. 746
Леконт де Лиль Ш. 725
Лейбниц Г.В. 714
Лейкин Н.А. 375, 775
 «Саврасы без узды» 775
 «Шуты гороховые» 775
Ленин В.И. 424—425, 633, 784
Ленский А.П. 223, 343, 733
Леонардо да Винчи 263—264,
266, 509—510, 699, 745
 «Мона Лиза» («Джоконда»)
 263—266, 745—747
Леонтьев К.Н. 142, 707
 «Византизм и славянство»
 707
 «Пламенная политика как
 орудие всемирной рево-
 люции» 707
Леонтьев Я.В. 9
Лермонтов М.Ю. 102, 131,
202, 208, 216, 323, 368, 392,
703, 727, 772
 «Выхожу один я на доро-
 гу...» 702
 «Демон» 208, 727
 «Дума» 478
Лещенко Д.И. 193, 721
Ликиардопуло М.Ф. 352, 771
Лилина М.П. 733
Лисев А.И. 61, 67, 673
Лобачевский Н.И. 102
Ломоносов М.В. 102, 418
Лонгфелло Г. 725
Лосева Е.И. 274, 750
Лосский Н.О. 81, 86, 389, 680
Лукьянов А. 764
 «Кузнец» (пер. из Э. Вер-
 харна) 764
Луначарский А.В. 181, 193,
686, 719, 721, 784
Лундберг Е. 397, 780
 «Записки писателя» 780
Львов-Рогачевский В.Л.
 «Георгий Чулков. Рассказы.
 Кн. 1» 24
Людовик XIV 738
Мазурин В.В. 129, 702
Макдональд Д.Р. 631, 805
Маковский К.Е. 200—201,
724, 806
 «Боярский пир» 724
 «Выбор невесты» 724
 «Дети, бегущие от грозы»
 724
 «Убийство детей Годунова»
 724
Маковский С.К. 200—201,
367, 390, 723—724

- «На Парнасе Серебряного века» 724
- Максимов Д. см. Евгеньев-Максимов В., Максимов Д.
- Макшеев В.А. 223, 733
- Малларме С. 113, 202—203, 332, 697, 725—726
- «Из поэмы «Иродиада» 764
- «Лебедь» 764
- «Луна печалилась, томилась серафимы...» 764
- «У окна, где пурпур старый...» 764
- Мамонтов С.И. 723
- Мандельштам О.Э. 742
- Манн А.И.
- «Наука любви» (пер. из Овидия) 391
- Марат Ж.П. 122, 333, 357, 615, 700
- Маринетти Ф.Т. 274—276, 629, 751
- Мария Стюарт 246, 740
- Марк, св. 250, 740—741
- Марк Антоний 787
- Маркс К. 32—34, 106, 453, 607, 693
- Маркс К., Энгельс Ф.
- Сочинения 669
- Мартынов Н.Ф. 53, 60, 70—71, 671—673
- Мартынова Е.М. 212, 728
- Матисс А. 265—266, 746
- Маяковский В.В. 798
- «Баня» 667
- «Клоп» 667
- «Мистерия-Буфф» 667
- Медичи 108, 558, 560, 694
- Мейер А.А. 106, 693
- «Бакунин и Маркс» 106, 693
- «Религия и культура» 693
- «Прошлое и настоящее анархизма» 106
- Мейерхольд В.Э. 39, 163, 224—228, 230—233, 236—237, 342, 373, 394—396, 401, 666—667, 736, 766—767
- «Статьи. Письма. Речи. Беседы» 736
- Мельников П.И. (Печерский) 64, 675
- Менделеев Д.И. 102, 391
- Менделеева Л.Д. см. Блок Л.Д.
- Мендес К. 726
- Менжинский В.Р. 178, 716
- Мережковские 12, 70, 75—77, 79—80, 84, 113—115, 138, 141, 145—149, 160—161, 165—166, 205, 207, 339, 698, 787—789, 794
- Мережковский Д.С. 74, 76—77, 81, 84, 88, 92, 96, 145—147, 168, 312, 230, 339, 350, 356, 359, 369, 384, 388, 708, 723, 771
- «Гоголь и черт» 146, 708
- «Декадентство и общественность» 771
- «Интеллигенция и народ» 153, 710
- «Л. Толстой и Достоевский. Христос и Антихрист в русской литературе» 146, 322, 708, 760

- «О Чехове» 711
«Петр и Алексей»
«Пророк русской революции (К юбилею Достоевского)» 771
«Религия Льва Толстого и Достоевского» 760
«Умытые руки» 771
Меркадер Р. 671
Мерсеро А. 196, 722
Местр Ж. де 685
Метерлинк М. 41, 328, 330, 366, 377, 386, 688
«Двенадцать песен» (пер. Г. Чулкова) 19, 226, 355—356, 688
«Избиение младенца» 761
«Монна Ванна» 321, 353
«Песни» 762
«Сестра Беатриса» 237, 377, 737, 775
«Синяя птица» 386, 738, 778
«Смерть Тентажиля» 767
Метнер Н.К. 138, 706
Метнер Э.К. 138, 706
Мефодий, архимандрит 78—79, 679
«К вопросу о реформе русского православия» 79
Микеланджело Буанаротти 263, 745
«Давид» 265, 745
«Освобождающиеся рабы» 265
Милиоти В.Д. 274, 750
Милиоти Н.Д. 274, 750
Милле Ж.Ф. 272, 750
Миллоков П.Н. 306, 756, 786
Минский Н.М. 146, 205, 326, 344, 358, 708, 724, 768
«При свете совести. Мысли и мечты о смысле жизни» 708
«Религия будущего (Философские разговоры)» 708
Минцлова А.Р. 375, 396, 787, 789
Миролюбов В.С. 334, 708, 774, 778
Мирэ А. (Моисеева А.М.) 12, 66—70, 327, 333, 355, 357, 676, 762, 793
«Жизнь» 69, 355, 773, 793
«Черная пантера» 355
Михаил Александрович, вел. кн. 319, 759
Михайлова М.В. 801, 804
«Автоматические записки Вл. Соловьева» 706
«З.Н. Гиппиус и Г.И. Чулков» 678
«Лидия Зиновьева-Аннибал и Вячеслав Иванов: сотворчество жизни» 687
«Максимилиан Волошин и Георгий Чулков» 732
«...Ничего, кроме Пушкина в ум нейдет...» 690
Михайловский Н.К. 32, 35, 102, 108, 126, 142, 661, 688, 801
«Еще о декадентах, символистах и магах» 688

- «Рассказы Леонида Андреева. Страх жизни и страх смерти» 701
- «Русское отражение французского символизма» 680
- Моисеева А.М. см. Мирэ
- Моль А. 269, 748
- «Гипнотизм, с включением главных основ психотерапии и оккультизма» 748
- «Исследование сексуального либидо» 269, 748
- Молчанова О. 20
- Мольер Ж.Б.П. 239, 248, 272, 738
- Моммзен Т. 97, 686
- Моне К.О. 271, 749
- «Впечатление» 749
- Монферран А.А. 795
- Мопассан Ги де 676
- Мордерер В.Я. 784
- Мореас Ж. 113, 687
- Морозов М.В. 790
- Морозова В.А. 108—110, 694
- Москалев 414
- Москалева С.А. 73, 414
- Москвин Н.Я. 238, 738
- Мунтянов Д.Г. 778
- Мусоргский М.П. 739
- Мякотин В.А. 88, 150, 682, 709
- Н.А.Ф. 33
- Н.Г.С. см. Чулкова Н.Г.
- Н.И.С. см. Соколова Н.И.
- Н.Н.М. 63, 674
- Набоков В.В. 683
- Набоков В.Д. 786
- Надсон С.Я. 108, 199, 694
- Надеждин Н. 772
- «Подпочвенные воды» (пер. из Рашильд) 772
- Наполеон I 763
- Неволин Б.С. 739
- Некрасов Н.А. 199, 694, 710, 723
- «В годину горя» 252, 742
- Некрасов Н.В. 314, 758
- Нерлер П. 27
- Нечаев С.Г. 191, 720
- Ник. Т-о см. Анненский И.Ф.
- Николай I 683, 734, 782
- Николай II 124, 126, 319, 683, 701, 759, 766
- Николай Чудотворец (Николай Угодник, Николай Мирликийский), св. 59, 410
- Ницше Ф. 194, 196, 200, 460, 721
- «По ту сторону добра и зла» 200, 724
- «Рождение трагедии из духа музыки» 687
- «Так говорил Заратустра» 578, 794
- Новалис 131, 140
- «Генрих фон Офтердинген» 131, 703
- Новгородцев П.И. 81, 680
- Новиков И.А. 358
- Нувель В.Ф. 210, 728
- Нурок А.П. 210, 728

- Обида, хан 405
Овидий 367—368, 391
 «Наука любви» 376, 391,
 772
Овсяннико-Куликовский Д.Н.
249, 740
 «Заколдованный круг» 740
Ог Э. де
 «Смерть последнего папы»
 (пер. В.Я. Брюсова) 324,
 761
Ожигов Ал. 751
Оленин 60
Оленина-д'Альгейм М.А. 242,
739
Олеша Ю.К. 28
Орлов В.И. 35, 662
 «Воспоминания» 662
Орсье Ж.
 «Агриппа Неттесгеймский»
 696
Островский А.Н. 92, 732—734
 «Гроза» 494
 Катерина 494
 Кудряш 494
Островский А.Н., Соловьев
Н.Я.
 «Дикарка» 230, 736
 Варя 736
Острогорский А.Я. 778
Остужев А.А. 732
Оффенбах Ж.
 «Прекрасная Елена» 96, 686
Павел I 8, 599, 796, 788
Парацельс 111, 696
Парнис А.Е. 784
Паскаль Б. 609, 799, 800
Пастернак Б.Л. 139
Пашенная В.Н. 733
Пекарский Э.К. 53—54, 672
Пелерен (Пеллерэн) 265,
280—281
Перцов П.П. 365, 388, 779
 «Литературные воспомина-
 ния. 1890—1902» 779
 «Ранний Блок» 388
Петр I 143, 524 584, 612, 707,
719, 795, 800
Петрарка Ф. 509
Петров Б.Г. 419
Петров В.Г. 419
Петров Г. 418, 782
Петров Н.В. 313, 758
Петров С.Г. см. Скиталец
Петровская Н.И. 329, 356, 358,
763
 «Sanctus amor» 763
Петроний (согр. журн. «Весы») 385, 403, 515, 728, 791
Петроний Г. 211, 728
 «Сатирикон» 728
Пешехонов А.В. 88, 682
Пильский П.М. 728
Пинтуриккьо 271, 749
Пиранези Д. В. 363, 638, 806
Пирр, царь 201, 724
Писарев Д.И. 732
Платон 460, 475
Плеве В.К., фон 87, 141—142,
682, 707
По Э.А. 159, 162, 326, 355,
699, 711, 763
 «Ворон» 326, 355, 762

- Победоносцев К.П. 32, 88, 661
 Полонский В.П.
 «Из жизни и литературы»
 24
 Поляков С.А. 110, 324, 354,
 696, 704, 759, 765, 772, 767,
 768
 Попов В.Е. 47, 149, 670
 «Карательная экспедиция
 отряда лейб-гвардии Се-
 меновского полка в де-
 кабрьские дни на Мос-
 ковско-Казанской желез-
 ной дороге» 670
 «Мария Спиридонова» 670
 «Очерки современных каз-
 ней» 670
 Попов Н.А. 73, 677
 Попова, жена 73, 677
 Португалов В.В. 100, 688
 Поссе В.А. 701
 Потапенко И.Н. 694
 Потемкина А. А. 206, 727, 740
 Потемкин П.П. 397, 727, 780
 Потье Э. 744
 Прахов А.В. 757
 Прахова Э.Л. 757
 Протопопов А.Д. 316, 759
 Пуанкаре Р. 642, 806
 Пугачев Е.И. 191, 720
 Пуссен Н. 272, 749
 Пушкин А.С. 7, 97, 102, 114,
 145, 149, 186, 191, 200, 207,
 214, 253, 299, 312, 323, 362,
 626, 683, 689—690, 709,
 724, 773, 755, 801, 803—804
 «Арион» 252, 742
 «Бесы» 244
 «Борис Годунов» 83, 237,
 681, 737
 «Воспоминание» 485, 616,
 790, 801
 «Евгений Онегин»
 Татьяна 179, 530
 «Медный всадник» 114,
 524, 584, 757, 791, 795
 Евгений 584
 «О ничтожестве русской ли-
 тературы» 803
 «Опять увенчаны мы сла-
 вой...» 299, 755
 «Памятник» 177
 «Пиковая дама» 114
 «Пир во время чумы» 119,
 700
 «Полтава» 84, 681
 «Поэту» 166, 713
 «Путешествие в Арзрум»
 128, 702
 «Руслан и Людмила» 143,
 707
 «Сказка о рыбаке и рыбке»
 596
 Пшибышевский С. 64, 362,
 674, 699
 «Вечная сказка» 674
 «Homo sapiens» 321, 674,
 759
 Пюви де Шаванн П. 271, 748
 Пяст В.А. 147, 186—187, 395,
 397, 708, 719
 «Воспоминания о Блоке»
 395
 «Встречи» 708

- Разин С.Т. 191, 720
Расин Ж. 350, 771
 «Береника» 771
 «Британик» 771
 «Федра» 771
Растрелли В.В. 213, 729
Рафалович С. Л. 397, 769, 780
Рафаэль 351, 741
Рашильд 365, 367, 772
 «Подпочвенные воды» 367, 390, 772
 «Продавец Солнца» 772
Рекамье Ю.А. 144, 707
Рембо А. 64, 332, 675, 725—726, 764
Реми де Гурмон 726
Ремизов А.М. 109, 175, 181—185, 358, 695, 704, 737, 770, 772
 «Апофеоз беспочвенности» 183, 710
 «Бесовское действо над неким мужем, а также Смерть грешника и смерть праведника, сестра прение живота со Смертию» 235—236, 736
 «Крестовые сестры» 181, 717
 «Лимонарь, сиречь: Луг духовный» 182, 718
 «Обезьянья Великая и Вольная палата» («Обезвелеволпал») 715
 «Плач девушки перед замужеством» 181, 717
 «Посолонь» 182, 718
 «Продавец солнца» (пер. из Рашильд) 772
 «Серебряные ложки» 769
Ренуар П.О. 271, 749
Ренье А., де 332, 764
 «Героические илпозии Титто Басси» 764
 «Грешница» 764
 «Других пусть радуют прекрасные закаты...» 764
 «На отмели» 764
 «Упрек» 764
Репин И.Е.
 «Иван Грозный и сын его Иван» 19, 732
Рерих Н.К. 738
Рибейра Х. Де 271, 748
Рид М.Т. 406
Римский-Корсаков Н.А.
 «Садко» 441, 787
Робеспьер М.И. де 122, 333, 357, 700
Робеспьер О. 122, 700
Роден О. 219, 730
Рождественский З.П. 121, 329
Розанов В.В. 48, 146, 148, 369, 370—371, 688, 708, 724, 751, 773
 «Декаденты» 804
 «Еще о смерти Пушкина» 724
 «К лекции г. Вл. Соловьева» 724
 «Люди лунного света» 773
 «На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьева» 773

- «Памяти Владимира Соловьева» 773
- «Размолвка между Достоевским и Соловьевым» 773
- «Христианство пассивно или активно» 773
- Розенберг К.Б. 321, 352
- Роксанова М.Л. 225, 733
- Роллина М. 725
- Ромен Ж. 266, 747
- Росси Э. 241, 739
- Роллан Р.
«Жизнь Толстого» 65, 676
- Рубенс П.П. 612, 720, 800
- Рублев А. 253, 623, 628, 742, 800, 802
«Троица» 625, 742
- Руднев В.В. 35, 663
- Румянцев Н.П. 583, 794
- Русанов Н.С. 682
- Рябушинский П.П. 378, 386, 397, 699, 778
- Сабашникова М.В. 698, 787
- Саблин В.М. 70, 356, 360, 677
- Савина М.Г. 225, 229, 734
- Савинков Б.В.
«Воспоминания террориста» 662
- Санин А.А. 738
- Сальвини Т. 241, 248, 739
- Сапунов Н.Н. 232—233, 736, 767
- Сбитников С.Г. 49, 671
- Сведеборг Э. 111, 696, 780
- Святополк-Мирский П.Д. 57—58, 88, 482, 673
- Северин, св. 557
- Сезанн П. 265, 267, 280—281, 549, 746
- Семевский В.И. 88, 682
- Семенов Е.П. 691
- Семенов Л.Д. 81, 189—191, 367—68, 380—382, 390, 398—400, 680
«Русские письма» 399
Собрание стихотворений 191, 390, 720
- Семенов М.Н. 765
- Семенов-Тянь-Шанский П.П. 680
- Сен-Жорж де Буэлье 727
- Сервантес С.М. 116, 644, 699
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 644, 699
Дон Кихот 28, 192
- Сергеев-Ценский С.Н.
«Проталина» 769
- Сергей Александрович, вел. кн. 72, 107, 677, 790
- Сергиенко П.А. 190, 720
- Сергий, митрополит 708
«Декларация митрополита Сергия» 642, 807
- Серебрякова З.Н. 214—215, 264, 283, 729—730, 752
«За туалетом» 214, 264
Портрет Г.И. Чулкова 729
- Серов А.Н. 216, 247, 274, 267, 730
- Серов В.А. 132, 730
«Девочка с персиками» 704

- «Девушка, освещенная солнцем» 704
Портрет Е.И. Лосевой 274, 750
Портрет М.Н. Ермоловой 249, 704
Серова В.С. 216, 730
Серова О. 216
Сиповский В.Д. 778
Сислей А. 271, 749
Ситников И.
 «Блуждающий символист» 10, 669
Скиталец 63, 674
Скрипицын В.Н. 53—54, 57, 672
Скровеньи Э. 250, 741
Скрыпник Н.А. 42, 44, 47—49, 669
Скрябин А.Н. 201, 725
Сладкопевцев М.Д. 44, 47, 49—50, 669
Смирнов А.А. 146, 706
Собинов Л.В. 373, 614, 800
Созонов Е.С. 682, 707
Соколов А.В. 33, 661
 «Кромвель» 661
 «Мещанство и социализм» 661
 «Философия борьбы (опыт построения этики марксизма)» 33, 661
 «Фома Кампанелла» 661
Соколов Н.Д. 379, 776
Соколов С.А. 722
Соколова Н.И. см. Петровская Н.И.
Соловьев Вл. С. 14, 19—20, 92, 97, 102, 109, 117, 131, 131, 137—139, 145, 147, 149, 153, 159, 169, 190, 200, 334, 354, 368—371, 382, 389, 391—394, 678, 683—685, 687, 679, 692, 700, 705—707, 773, 779, 781, 789, 792, 801
 «Автоматические записи Вл. Соловьева» 706
 «Белая лилия» 159, 711
 «Оправдание добра» 159, 711
 «Особое чествование Пушкина (Письмо в редакцию)» 200, 724
 «Панмонголизм» 608, 799
 Стихотворения Вл. Соловьева 371, 773
 «Судьба Пушкина» 773
Соловьев М.С. 137, 410, 705, 781
Соловьев Н.Я. 137
Соловьев С.М. 93, 149, 368, 371, 391—392, 678, 685, 717, 724, 773, 781—782, 769
 «Ответ г. Чулкову по поводу его статьи «Поэзия Владимира Соловьева» 685
Соловьева П.С. 74, 138, 146, 358—359, 678, 769
Сологуб Ф.К. 12, 26, 31, 105, 113, 143, 148, 160—177, 207, 234, 237, 254, 347, 358—359, 373, 377, 397,

- 680, 689, 695, 697, 704,
712—716, 719, 740
- «Давно в степи блуждая ди-
кой...» 172, 714
- «Дар мудрых пчел» 163,
712
- «Дарованный тебе, Георг-
гий...» 167
- «Зачем, скажи...» 171, 714
- «Земле» 172, 714
- «И я провел безумный
год...» 715
- «Истинно русские люди»
168, 713
- «Мелкий бес» 164—165,
173, 389, 713
- «Нетопенные печи» 769
- «О недописанной книге»
167, 713
- «Парижские песни» 173
- «Победа смерти» 157, 165,
237, 710, 737
- Полное собрание сочине-
ний 166, 713
- «Поэт» 157
- «Раб французский иль
германский...» 173,
714
- «Соборный благовест»
171—173, 714
- Стихотворения (1975) 714
- «Фимиамы» 177
- «Я испытал превратности
судеб...» 177, 715
- Сомов К.А. 141, 210—213,
264, 378, 398, 716
- «Дама в голубом» 212, 728
- Портрет А. Блока 140, 179,
706, 716
- Портрет М. Кузмина 179,
716
- Портрет Вяч. Иванова 179,
716
- Сорбона Р. де 744
- София, св. 370, 755
- Софокл 230, 351, 628—629,
643—644, 648, 652, 735, 804
- «Антигона» 229, 735
- Спиридович А.И. 38, 665
- «Записки жандарма» 665
- «Партия социалистов-рево-
люционеров и ее пред-
шественников» 665
- Спиридонова М.А. 47, 670—
671
- Сталин И.В. 8, 632
- Станиславский К.С. 224,
236—238, 386, 238—240,
688, 733, 736, 766—768,
776, 778
- «Моя жизнь в искусстве»
768
- Старосельская 373
- Стессель А.М. 724
- Столица Л.Н. 726, 751
- Столыпин Н.А. 49, 671
- Стринберг Ю.А. 226, 323
- «Графиня Юлия» (Фрёкен
Жюли) 226, 734
- «Чудо» 764
- Струве П.Б. 391
- Суворин А.С. 226, 734, 761
- Судейкин С.Ю. 254, 424, 742,
767, 785

- Сулержицкий Л.А. 227, 238, 734, 776
Сульпиций, св. 287, 557, 753
Сумбатов-Южин А.И. 229, 694, 735
Суриков В.И. 806
Сыромятников А.С. 35, 49, 662
Сытин И.Д. 761
Сюлли-Прюдом 725—726
Сюнненберг К.А. 372, 394
 «Цель творчества» 394

Тамерлан 803
Тан В.Г. (Н.А.) 128, 373, 702, 774
 «Дни свободы» 128, 702
Тарабукин Н.М. 781
Тастевен Г.Э. 195—196, 275—276, 402, 722
 «Возрождение стиля» 24, 196, 722
 «Импрессионизм и новые искания» 196, 722
 «Ницше и современный кризис» 196
 «По звездам» 196, 722
Телешов Н.Д. 750
Тенишев Н.В. 693
Тенишева М.К. 723
Тернавцев 148, 708—709
Тетерникова О.К. 161, 163, 170, 176, 712
Теслер Л.В. 53, 672
Тиме Е.И. 313, 758, 784
Тименчик Р.Д. 784
Тимковский Н.И. 694
Тинторетто Я. 214, 311, 730

Тит Ливий 124, 701
 «Книга от основания города» 124, 701
Тихонравов Н.С. 182, 718
Тициан 214, 311, 532, 612, 730, 791
 «Кающаяся Мария Магдалина» 532, 791
Толстой А.К. 674, 677, 682, 687—688, 703, 786
 «Царь Федор Иоаннович» 738
Толстой А.Н. 175, 188—189, 715, 719—720, 726
 «Архип» 719
 «Заговор императрицы» (с П.Е. Щеголевым) 717
Толстой Л.Н. 65, 107, 146, 189—190, 221, 227, 236, 288, 386, 418—419, 425—426, 632, 676, 708, 719, 720, 760, 778, 782, 805
 «Живой труп» 738
 Протасов 738
Толстой П.А. 189, 719
Толстой Ф.П. 806
Тон К.А. 806
Трабша К.Ф. 274
Траян М.У. 741
ТрEDIAKовский В.К. 400
Трепов Д.Ф. 766
Троцкий Л.Д. 48, 671, 721
Трояновский П. 769
Туган-Барановский М.И. 81, 680
Тургенев И.С. 189, 386, 734
Тургенева 189

- Турчанинова Е.В. 733
 Тучков А. 795
 Тучков А.В. 795
 Тютчев Ф.И. 7, 102, 117, 127,
 186, 265, 354, 678
 «Вот от моря до моря...»
 127, 702
 «Из Микеланджело» 127,
 702
 «Цицерон» 117, 700
- Уайльд О. 771
 «Саломея» 726, 804
 Саломея 804
 Уистлер Д. 323, 760
 Ульянов Н.П. 238, 274
 Урицкий М.С. 44, 49, 670
 Успенский В.В. 146, 708
 Успенский Г.И. 130, 501,
 703
 «Власть земли» 703
 «Овца без стада» 155, 710
 Уэллс Г. 771
- Фальк Р.Р. 747
 Фальконе Э.М.
 Памятник Петру I 524
 Федоров Н.Ф. 102, 690
 «Философия общего дела»
 690
 Федотова Г.Н. 223, 245, 732
 Феклуша 412—413, 781
 Феофилактов Н.П. 274, 750
 Фердинанд, эрцгерц. 752
 Фет А.И. 131, 354, 703
 «На книжке стихотворений
 Тютчева» 219—220, 731
- Фигнер В.Н. 53, 673
 Фидлер Ф.Ф.
 «Первые литературные ша-
 ги» 781
 Филиппино Липпи 749
 Филиппов, влад. булочных
 427
 Философов Д.В. 79, 146, 323,
 340, 354, 382, 388, 678
 «Дела домашние» 400
 «Серьезный разговор с нитче-
 анцами (ответ г. Соловье-
 ву)» 724
 Философова А.П. 95, 686
 Флавий Валерий Констанций I
 Хлор (Бледный) 256, 743
 Флобер Г. 270, 748
 «Мадам Бовари» 748
 Фокин М.М. 240, 738
 Фор П. 196, 274, 276—277,
 722, 751
 «Французские баллады»
 722
 Форд Г. 629, 805
 Франс А. 362, 391
 Франциск Ассизский, св. 191,
 542, 721, 792
 «Песнь о Солнце» 792
 Фридрих Вильгельм 752
 Фридрих II 752
 Фруг С.Г. 723
- Х. см. З.Н. Гиппиус
 Хайль О. см. Джонс С., Хайль О.
 Хлебников В.В. 276, 751
 «Общество Председателей
 Земного Шара» 752

- Ховрин А.А. 35, 44, 49, 52—53, 663
- Ходасевич В.Ф. 665, 781
- Ходский Л.В. 100, 680
- Цветаева М.И. 12
«Герой труда» 12
- Цветковская Е.К. 280—281, 752
- Цезарь Г.Ю. 124, 256, 344, 351, 363, 701, 741, 768, 787
- Церетелли И.Г. 34—35, 41, 44, 662
- Цунков Захар 56, 672
- Чеботаревская А.Н. 164, 174—177, 713
«О Федоре Сологубе. Критика, статьи, заметки» 713
- Чевакинский С.И. 729
- Чернов В.М. 682
- Четвериков С.А. 273
- Чехов А.П. 13, 107—109, 142, 229—230, 237, 324, 328, 354, 693—694, 737, 770—771
«Дом с мезонином» 13
«Дядя Ваня» 737
«Иванов» 737
«Чайка» 224—225, 229, 733
Нина Заречная 225, 733
Треплев 224, 733
- Чимабуэ 441, 623, 787—788, 802
- Чуковский К.И. 349, 770
«Из воспоминаний» 770
«Книга о современных писателях» 770
- «Критические рассказы» 770
- «Лица и маски» 770
- «Нат Пинкертон и современная литература» 770
- «От Чехова до наших дней» 770
- Чулков И.И. 37—38, 40, 67, 72, 195, 223, 405, 407, 410—411, 415—417, 781
«О правах крестьян» 781
«Обязанности сельских обществ» 781
- Чулков Г.И. 409, 411—413, 416—417
- Чулкова А.А. 67, 73, 781
- Чулкова А.И. 37, 665, 681, 781
- Чулкова Л.И. 406, 781
- Чулкова Н.Г. 9—10, 26, 39, 42, 48, 52, 55, 57—58, 60—61, 63, 65, 71—73, 98, 163—165, 170, 214—215, 217—218, 250, 272, 274, 278—280, 282—285, 313, 368, 371—374, 376—378, 381, 383, 385, 388, 391, 420, 666
«Э. Верхарн. Издыхающие равнины. Города-чудовища» 666
- Чулкова С.И. 406—407
- Чулкова С.Я. 411, 417
- Шалапин Ф.И. 56, 86, 614, 672
- Шамбинаго С., Воротников А.
«Новые переводы Верхарна» 769
- Шагинян М.С. 726

- Швейцер М.И. 35, 44, 49, 662
 Шебалин 672
 Шевкет-бей 297, 754
 Шекспир В. 223, 248, 540
 «Гамлет» 223, 444, 467, 732
 Гамлет 223, 444, 787
 «Король Лир» 246, 740
 «Макбет» 223
 Макбет 223, 732
 «Отелло» 241
 Отелло 243
 Яго 241
 Шеллер-Михайлов А.К. 682
 Шелли П.Б. 626, 803
 Шелль Ж. де 743
 Шереметев Н.П. 413, 782
 Шереметевы 413, 782
 Шестов Л. 106, 183—184, 205, 693
 «Апофеоз беспочвенности» 183—184, 718
 «Похвала глупости» 106
 Шиллер И.Ф. 140, 223, 246—247, 327, 706
 «К радости» 747
 «Мария Стюарт» 246, 740
 Елизавета 247
 Мария Стюарт 246—247, 740
 «Орлеанская Дева» 246—247, 740
 Жанна 248—249
 Шингарев А.И. 786
 Шмидт А.Н. 137—139, 365, 388—389, 705
 Дневник 389
 «Из рукописей А.Н. Шмидт» 386, 705
 «О будущем» 389
 «Третий завет» 137, 148, 389, 705
 Шницлер А. 64, 230, 675, 735
 «Анатоль» 735
 «Крик жизни» 675
 «Лейтенант Густль» 735
 «Профессор Бернгард» 735
 «Фрау Беата и ее сын» 735
 Шопен Ф. 323, 760
 Похоронный марш 532
 Прелюдия № 15 ре-бемоль мажор 585, 795
 Шопенгауэр А. 132, 703
 «Мир как воля и представление» 703
 Шпажинский И.В. 223, 694, 733
 Шрейдер Г.И. 682
 Штейнер Р. 622, 801
 Штильман Г.Н. 86—87, 385, 403, 682, 780
 «Внутреннее обозрение» 86—87
 Штирнер М. 194, 721
 Штук Ф. 74, 678
 Шюре Э. 111, 697
 Щеголев П.Е. 181, 717
 «Дуэль и смерть Пушкина» 718
 «Заговор императрицы» (с А.Н. Толстым) 717
 Щепкин М.С. 224, 733

- Щепкина-Куперник Т.Л. 726
Щукин С.И. 265, 747
- Эйфель А.Г. 303
Эллис 332, 699, 724, 764
 «Русские символисты» 764
Энгельс Ф. 43, 669
Этглингер И. 726
Эрберг К.А. 174, 358, 397, 714, 769
 «Воспоминания» 714
 «Порядок» 769
 «Цель творчества. Опыты по теории творчества и эстетике» 714
Эрвье П. 700
Эррио Э. 631, 805
Эфрос Н.Е. 108, 695
- Юлиан Блаженный, св. 557
- Юшкевич П. 355
Юшкевич С. 355
- Яворская Л.Б. 225—226, 734
Яковлев А.Н. 785
Яремич С.П. 210, 728
Ярослав Мудрый 757
Ярцев П.М. 313, 758
Яснопольский Л.Н. 81, 680
Яценко А.С. 109, 274, 277, 322, 334, 353, 357, 695, 751
 «Пессимистическое искусство» 695
- Allegro см. Соловьева П.С.
Grandes chroniques de St.-Denis (Большие хроники св. Дени) 240
Homo Novus см. Кугель А.Р.

УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И БИБЛЕЙСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

- Аврора 707
 Адам 253, 691
 Амур 125, 367, 391, 486, 772
 Антихрист 593
 Аполлон 281
 Афродита (Киприда) 486, 613,
 714, 791, 800
 Ахилл 632, 718, 805
 Ахиллес 327, 355
 Богородица (Богоматерь,
 Божья мать, Дева Мария)
 256, 271, 311, 312, 447, 613,
 625, 702, 743, 757, 802, 808
 Варнава 740
 Венера 712
 Гермес 745
 Давид 263, 745
 Деметра 745
 Дионис (Дионисий) 94, 251,
 373, 389, 461, 686—687,
 734, 741—742, 745, 766,
 767, 773, 788
 Ева 613
 Елена Прекрасная 95—96, 686
 Зевс 486, 686, 742, 791
 Иаков, апостол 26
 Иисус Христос 26, 393, 417—
 418, 444, 449, 461—462,
 473, 476, 623, 691—692,
 715, 760, 782, 784—785,
 791, 797, 794, 801, 803,
 807—808
 Иоанн Креститель (Предтеча),
 св. 11, 26
 Иов 360
 Иродиада 332, 764
 Иуда 803
 Левифан 653, 808
 Леда 686
 Лука 754
 Люцифер 144, 707, 803
 Магдалина 532, 791
 Магомет 219, 731
 Мария Египетская 538, 791
 Марс 486, 791
 Мафусаил 223, 733
 Медея 546, 755, 792
 Мельпомена 244, 740

- Менада 251, 741
Менелай 686
Михаил Архангел 425, 785
Моисей 747, 776
Муза 32
Нарцисс 170, 714
Немезида 686
Никодим 105, 692
Ной 423, 732, 784
Одисей 681, 721
Орфей 323, 371, 760, 766, 773
Павел, апостол 59, 570, 650,
673, 740, 790, 797, 807
Парис 686
Пелей 185, 718
Петр, апостол 26, 177, 715, 740
Пилат Понтий 26, 646, 807
Посейдон 639, 806
Психея 367, 391, 772
Саваоф 281, 752
Саломея 726, 804
Сатурн 741
София—Дева радужных ворот
139, 706
Фетида 718, 805
Фома 657
Эвридика 323, 760
Эммануил 430, 446
Эол 85, 193, 681, 721
Эрос 364, 709, 804
Эскулап 674, 800
Эхо 714
Ясон 755

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

- Адская почта 345, 347, 360, 376, 396, 769—770
 Аполлон 24, 197, 200—201, 203—205, 252, 254, 390, 712, 714, 723—724, 726, 742, 745
 Бакинец 670
 Безбожник 622
 Белые ночи 156—157, 162—163, 391, 397, 710, 713, 776
 Берлинер Тагеблатт 288
 Биржевая газета 713
 Биржевые ведомости 758
 Болгария 307
 Вестник Европы 695, 724, 758
 Вестник жизни 770
 Вестник Московского университета 678
 Вестник права 663
 Весы 14, 102, 106, 110—117, 157, 160, 178, 181, 194, 196—197, 202, 204—210, 231, 324—325, 327—328, 330—332, 344, 339, 341, 344—346, 348, 350, 353—354, 356, 359, 361—362, 380—383, 386, 390, 398, 399, 400, 403, 668, 678, 688, 691, 696, 699, 709, 712—713, 716—717, 726—727, 750, 761—764, 766—771, 776, 789
 Вечерняя Москва 697
 Вопросы жизни 19, 69, 79, 85—99, 100, 102, 115, 149, 151, 166, 180, 183—184, 202, 207, 228, 326—327, 329—332, 334, 338—339, 341, 343—344, 355—358, 365, 367, 389—394, 399, 403, 678, 679, 691, 697, 681—688, 716, 718, 762, 765—766, 772—773, 792
 Вопросы философии 684, 693, 706
 Всеобщий ежемесячник 24, 790
 Голос минувшего 682

- Голос Москвы 670, 751
Дело 725
Дело и отдых 769
День 25, 275, 355, 404, 720,
742, 751, 758
Детский отдых 73
Дневник 397
Дни (Берлин) 663
Друг народа 701
Ежегодник Рукописного отде-
ла Пушкинского Дома 714
Жатва 275, 312, 751, 758
Женевская газета 283
Жизнь 125, 143, 701, 707
Жупелы 774
Журнал для всех 188, 332, 334,
372, 764—765, 774
Звезда 9, 31
Знамя 796
Знания, сб. 133, 334, 345—
346, 356, 359, 390, 764, 769
Золотое Руно 24, 69, 115, 384,
691, 699, 710, 717, 767, 769,
772, 724, 774—775, 777—
778
Зори 345
Искра 54
Искусство 31, 355
Исторический вестник 676
Кабана (Колокол) 307
Каспий 670
Киевская мысль 24
Кодры. Молдавия литератур-
ная 801, 804
Красная новь 742
Культура театра 395
Курьер 109, 124—125, 181,
695, 717
Лепта 7
Литературное наследство 17,
153, 710, 743, 764—765, 793
Литературный альманах 723
Литературный календарь-
альманах 781
Мир 307
Мир Божий 769
Мир искусства 197, 200, 723—
724, 742, 760
Молодая жизнь 15
Московский листок 19
Народная воля 202
Народные права 397
Народоправство 21—23, 730,
782—783
Начало 795
Наша жизнь (Товарищ) 100,
121, 325, 399—400, 401,
674—677, 682, 687—688,
703, 735—738, 761, 776
Наши спутники, 695
Нева 27
Нива 776
Нижегородский листок 62, 68,
674
Новая жизнь 342, 358, 720, 768
Новая русская книга 695,
751
Новое время 226, 368, 734, 751
Новое литературное обозре-
ние 789
Новое слово 388, 779
Новости 713
Новый журнал для всех 719

- Новый мир 8, 689
 Новый путь 72—85, 97, 102, 113, 115, 118, 120—121, 138, 141, 143, 149, 165—166, 189, 205, 207, 210, 322, 324—325, 328, 354, 355, 360, 365, 382, 388—391, 399, 674, 693, 677—681, 693, 760—772, 779
 Образование 386, 769, 778
 Огни, сб. 338—339, 766
 Одесские новости 355
 Освободительное движение 374, 395, 780
 Отечественные записки 725
 Отклики, лит. прилож. к газ. День 25, 720, 751
 Памятники культуры. Новые открытия, сб. 784
 Перевал 15, 115, 167, 194, 197, 355—356, 361—362, 396, 699, 713, 722
 Петроградские ведомости 758
 Полярная звезда 779
 Правда 619, 767
 Право 121, 325, 761
 Препорец (Знамя) 307
 Ребус 764
 Речь 385, 711, 717, 719, 722, 740, 751, 779, 793,
 Руль 325, 761, 779
 Русская воля 759
 Русские записки 663
 Русская книга см. Новая русская книга
 Русская мысль 767, 779, 787
 Русская художественная летопись 723
 Русские ведомости 106—197, 108—109, 121, 325, 415, 663, 670, 680, 693—694, 751, 761,
 Русский вестник 78, 678
 Русское богатство 74, 78, 142, 200—201, 345, 672, 682, 701, 725
 Русское слово 19, 325, 670, 682, 717, 761
 Русь 121, 325, 761
 Свободная газета 663
 Свободные мысли 383, 402, 780
 Свободная молва 699
 Северный вестник, 771
 Северные цветы 133, 327, 359, 704, 762
 Скорпион 110, 116, 125, 321, 376
 Слово 311, 331, 345, 682, 763, 772
 Современное слово 737
 Современные записки 663
 Современный мир 24, 770
 Столичная молва 751
 Страна 779
 Сын отечества 88—89, 150, 682
 Театр 734, 739
 Театр и искусство 735
 Товарищ см. Наша жизнь
 Тропинка 678, 779—780
 Утренняя звезда 779
 Утро 386, 397, 386, 778

- Утро России *19, 670*
- Факелы 99, 100—106, 115, 133, 152, 194, 207, 234, 338, 346—348, 356—360, 374, 376, 394—396, 398—401, 688—693, 704, 727, 766, 768—769, 774
- Юманите *743*
- Якутская жизнь *671*
- Якутский край *671*
- Action Franzaise 271
- Athenaeum 206
- Berliner Tageblatt см. Берлинер
Табеллатт
- Journal de Geneva см. Женев-
ская газета
- Le Temps (Время) 269, 748
- Literarische Echo 206
- Matin (Утро) 560
- Mercure de France 103, 206,
380, 382, 398—399, 400, 691

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, ТЕАТРОВ и т.д.

- «Аббатство», лит. кружок 722
 Академия стиха см. Общество ревнителей художественного слова
 Академия художеств 730
 Александринский театр (СПб.) 91—92, 225, 228—229, 231, 313, 683, 688, 734, 758, 784—785
 Александро-Невская лавра 78
 Алконост, изд-во 153, 401
 Андреевское городское училище (СПб.) 163
 Архив А.М. Горького 9
 Базельский университет 7
 «Башня» (Вяч. Иванова) 6, 12, 113, 145, 152, 179—180, 687, 709, 788
 БДТ (Большой драматический театр, СПб.) 734
 Большой театр (Москва) 177, 800
 «Бродячая собака», лит.-артистич. кабаре (СПб.) 784
 Брокгауза Ф.А. изд-во 330
 Бубновый валет, объедин. худож. 19, 747
 Бунд см. Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше и России
 «Буря и натиск», лит. движение 351
 Варшавский университет 686
 Вольная философская ассоциация 779
 Вольно-экономическое общество (СПб.) 91, 683
 Вперед, полит. группа 661
 Временные правила об отсрочке студентов в солдаты 667
 Временное правительство 786
 Временное правительство Грузии 662
 Всеобщий германский рабочий союз 788
 Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше и России 44, 669

- Высшие женские (Бестужевские) курсы (СПб.) 73, 400, 452, 686, 708, 788
- ГПУ (Главное управление государственной безопасности) 634, 636, 642, 652, 653
- Голубая роза, объедин. худож. 736, 742, 747, 750
- Госиздат 689
- Государственный архив Российской Федерации (ГАФР) 37, 72, 662
- Государственная академия художеств 31
- Государственная Дума 337, 663, 766, 758
- Государственный контроль по департаменту армии и флота 728
- Государственный Показательный театр (Москва) 700
- Гриф, изд-во 69, 355
- XX выставка отдела ИЗО Наркомпроса 730
- Дионисово действо (театр Диониса) 339, 766—767
- Дирекция императорских театров 237
- Дом песни 242, 739
- Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской 64, 123, 163, 231, 236—237, 666—667, 675, 677, 688, 703, 711—712, 734, 736—737, 775, 785
- Земгор 758
- Знание, изд-во 133, 704
- Золотое руно, изд-во 24, 138, 196, 249, 380, 383—384, 386, 396—397, 402, 404, 767, 769, 774—778
- ИМЛИ (Институт мировой литературы им. А.М. Горького) 22, 783, 795
- Издательство писателей см. Книгоиздательство писателей в Москве
- Императорская публичная библиотека (СПб.) 765
- Интернационал I 720
- Интернационал II 789
- Интимный театр Б.С. Неволина (Москва) 739
- Исполнительный комитет объединенных землячеств и организаций 7, 34—35, 41, 314, 661—666
- Каллоговский пакт 630, 830
- Камерный театр 667
- Киевский университет 680
- Клюны, музей 256, 272, 743
- Книгоиздательство писателей в Москве 133, 704
- Колос, изд-во (Ленинград) 31
- Комиссия по организации вторников 322
- Летний сад, театр (Москва) 739
- Летучая мышь, театр миниатюр (Москва) 739
- Лига Наций 631, 805
- Литературно-художественный кружок (Москва) 114, 322, 349—350, 698, 760, 766

- Литературное общество (СПб.) 153
- МХТ см. Московский Художественный театр
- Малый театр (Москва) 108, 223—224, 246, 677, 694, 732—733, 735, 782
- Мариинский театр (СПб.) 440, 479
- Мир искусства, изд-во, объединение 197—199, 200, 207, 210, 215, 221, 239, 254, 295, 332, 391, 397, 698, 704, 723, 750, 760
- Михайловский театр (Малый театр оперы и балета, СПб.) 228, 688, 735
- Молодая Польша, организация 803
- Молодежная студия 342, 707
- Московская консерватория 242
- Московский литературно-художественный кружок 114, 698
- Московский салон 730
- Московский университет 108, 353, 662—663, 670—671, 673, 676, 678, 686, 694
- Московский Художественный театр 108, 224, 226, 237—238, 276, 404, 666—667, 733—734, 736—738, 767
- Студия на Поварской 339, 767
- Московское охранное отделение 665
- Московское техническое училище 671
- Музей Гимэ (Париж) 264
- Музей изящных искусств (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина) 747
- Музей Клоуни (Париж) 557
- Мурузи дом 75, 113, 145, 147, 698, 707
- Мусaget, изд-во 138—139, 157, 670, 706
- НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) 671, 721
- Народная воля, организация 53, 672
- Народная расправа, тайное общество 720
- Народный театр 677
- Нейтральный писатель, изд-во 676
- Новый театр см. Яворской театр
- ОГПУ (Орган государственного политического управления по охране государственной безопасности) 9, 621, 716, 801
- ОР РГБ (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки) 22, 24—27, 666, 684, 689, 692, 694, 705, 715, 742
- Общество искусства и литературы 224
- Общество Леонардо да Винчи 699

- Общество любителей искусства и литературы (Общество искусства и литературы) 733
- Общество независимых художников см. Салон независимых
- Общество ревнителей художественного слова 203
- Общество свободной эстетики («Единение») 114, 698
- Общество французских художников 746
- Огни, изд-во 275, 338, 339, 342, 344, 358, 372, 394, 685, 786
- Оры, изд-во 216, 249, 398, 400
- Освобождение труда, группа 672
- Охотничий клуб (Москва) 224
- Парнас, лит. объедин. 753
- Партия народной свободы 428, 786
- Первый передовой сибирский отряд Союза городов 315
- Петербургская академия наук 718
- Петербургская духовная академия 708
- Петербургский университет 686, 751
- Петербургский императорский театр 666
- Политехнический музей (Москва) 19
- Поэтическая Академия (Вяч. Иванова) 780
- Привал комедиантов, лит.-арт. кафе (Петроград) 423, 784
- Просвещение, изд-во 249
- Путь, изд-во 393
- Пушкинский Дом 772
- РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства) 8, 17, 20, 27, 664, 666—667, 670, 676, 678, 680—681, 683, 687, 691—692, 696, 698—699, 703, 705, 719, 728—729, 742, 747, 757, 785, 787—788, 796, 798, 803—804
- РГБ (Российская государственная библиотека) 784, 800
- РСДРП (Российская социал-демократическая партия) 669, 671, 716, 718
- Религиозно-философское общество (собрание) 148, 153, 479, 671, 708—709
- Румянцевский музей 583
- Салон независимых 265, 746
- Синод 593, 661, 708, 795
- Скорпион, изд-во 325, 344, 354, 389, 696, 759
- Слово, изд-во 331, 385, 403, 703, 772
- Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга 682
- Современный театр миниатюр (Москва) 739
- Содружество, изд-во 367, 390

- Софийское высшее училище 756
- Союз печати 94
- Союз рабочих-синдикалистов департамента Сены 257
- Среда, лит. кружок (Москва) 273, 750
- Старинный театр 238—240, 688, 738
- Студия Ярцева 313
- Суворинский театр (театр Литературно-артистического кружка, Петербургский малый театр, театр литературно-художественного общества, Большой драматический театр) 225—226, 228, 231, 734, 785
- Театр в Териоках 688, 736
- Театр В.Ф. Комиссаржевской см. Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской
- Театр Корша 223, 732, 734
- Театр миниатюр (Москва) 739
- Театр П.П. Гайдебурова 667
- Театр Франсез (Париж) 241, 738
- Театр Яворской 225, 733—734
- Театральный отдел Наркомпроса 721
- Тенишевское училище (СПб.) 91, 254, 683, 719, 779
- Третьяковская галерея 214, 264, 795
- Учредительное собрание 429, 786
- Факелы, изд-во 227, 249, 345, 361
- Харьковский университет 680
- Художественный салон 216
- Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию действий царских министров и других высших чиновников 707
- Шиповник, изд-во 133, 166, 187, 249, 356, 377, 390, 393, 404, 690, 704, 717
- Щепкинский дом см. Малый театр
- Юридическая школа Министерства государственных имуществ 405
- Comédie Française см. Театр Франсез
- Les Grandes Conferenses (Большие собрания) 196, 275
- Mercure, изд-во 326

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г.И. ЧУЛКОВА

- А.А.Б. 15
Автобиографическая книга 669
Адония 718, 758
Автоматические записи Вл. Соловьева 684, 706
Анархические идеи в драмах Ибсена, кн. 103, 349, 361, 690, 723
Архивариус 385, 403
Александр Добролюбов 721
Балаганчик (По поводу постановки в театре В.Ф. Комиссаржевской) 15
Башня 697
Болящий дух 678
«В жизни скучной, в жизни нищей...» 785
В плену 669
«Ведь вместе мы сжигали дом...» 192
Верлен 668
Верность, цикл 666—668
Веселому поэту 801
Весенний лед (Башня, Юность) 664, 666, 672—673, 677, 694, 698
Вундерхольд 667
Добрынина (Тамарина) Н.Л. 666
Онов 667
Весною 24
Весною на Север, кн. 379, 386, 398, 727
Весною на Север, поэма 398
Вечерние зори 7, 12, 700, 794
Вечные огни 7
Воспоминания 21, 405—420, 781—782
Вредитель (Дом тринадцать. Записки безбожника) 9, 25, 603—658, 681, 688, 739, 796—808
Кудефудров А. 27, 28
Курденко (Буланидзе) 28, 796—799

- Капустина М.П. 798–799
 Лапина Т.М. (Таточка) 25, 739, 798
 Макковеев А. 25, 798, 801
 Макковеев Я.А. 25, 26
 Пантелеймонов 798
 Погостов 798
 Трофимовы, бр. 28
 Вчера и сегодня 16, 21, 276, 423—426, 664, 668, 675, 678, 690, 724, 751, 752, 782—786, 793
- Гагара см. Песня
 Глухие выстрелы 664
 Годы странствий 9, 10, 13, 18, 20, 25, 27, 31—320, 661, 759, 729, 759, 793
 Город 697
 Горький миндаль 145, 707
- Двенадцать песен (пер. из М. Метерлинка) 226, 390, 668
 9 января (поэма, неопубл.) 683
 Демоны и современность 216, 690, 730, 746, 757
 Дети греха 758
 Дисма и Геста 807
 Добыча 7
 Дон Кихот 28, 699
 Достоевский и революция 396
 Достоевский и судьба России 685
 Достоевский и современность 699
 Древо познаний (неосуществл.) 692, 802
- Барбаросов 798
 Брагина Н.М. 798
 Бреве Е.П. 798
 Брякин И.П. 799
 Ершова Феничка 799
 Нахрапов Н.П. 799
 Нахрапова С.М. 799
 Петров С.И. 799
 Попиков С.Т. 799
 Соломонова 798
 Упрямов 798
 Цвиттер Р.К. 802
- Жизнь Достоевского (неопубл.) 7, 20
 Жизнь Пушкина, кн. 7, 9, 689, 690
 Закатный звон, сб. 19, 725, 742
 Записная книжка (РГАЛИ) 670, 686, 691, 692, 798, 807, 808
 «Зеленый мыс, быть может, рай...» 27
 Земля 24
 Золотая ночь 671
 Зори (пер. из Э. Верхарна) 697, 769
- Из плена (неосуществл.) 170, 740
 Императоры 8
 Инфанта 804
 Исход 667, 699
- К истории «Балаганчика» 395

- Кабачок невинных 7, 758
«Как будто приоткрылась
дверца...» 28
Как работал Достоевский 7
Канун Учредительного собра-
ния 783
Карманьола 118, 700
Карнавал 758
Катзар 792
Кинжал 8
Конец директора Паскале 758
Красный жеребец 23, 590—
602, 795—796
Красный призрак 783
Кремнистый путь 70, 74, 98,
110, 137, 160, 197, 347, 360,
666—667, 678, 696, 700,
703, 723, 733, 782
- Летопись жизни и творчества
Ф.И. Тютчева 700
Листки из дневника 21, 783
Лицом к лицу 16, 155, 747
Люди в тумане 676, 792
Люди и факты см. Вечные огни
Маринетти 757
Мария Гамильтон 800
Медвежье озеро 669
Мертвецы 673
Месяц на ущербе 18
Метель, роман 6, 27, 802
Метель, статья 21
Метерлинк 668
Мечников и Метерлинк 668
Милочка 12
«Мир полюбил взыскатель-
ный художник...» 727
- Михаил Бакунин и бунтари
1917 года 22, 700, 783
Мои спутники см. Наши спут-
ники
Москва и демон 724
Мятежники 8
- Н. Бердяев 679
На этапах 47, 669
Начало или конец? 783
Наши спутники 18, 276, 676,
746, 752
Невеста 312—313, 758
Ненавистники 12—13, 565—
589, 794—795
Антонина 13
Бережин С.М. 13
Любовь 13
- «О, медиума странный взор...»
137
О Мережковском 678
О мистическом анархизме, кн.
22, 99, 103, 167, 168, 215,
235, 361, 375, 393, 396, 398,
399—402, 674, 688, 692,
674, 723, 727, 774
На путях свободы 168
О новом театре. (По поводу
постановок в театре В.Ф.
Комиссаржевской) 15
О софианстве 396
Овцы 24
Оправдание земли 701
Оправдание символизма 20,
276, 752
Одна ночь (незаконч.) 157, 711

- Около быта 723
 Осенние туманы 20, 274, 751
 Осень 666
 Откровенные мысли 25—26, 689
 Отмщение 19, 539—547, 684, 742
- Памяти Александра Блока 19
 Памяти Чехова 693
 Парадиз 17, 430—447, 706, 786—787
 Герд 13, 17
 Перевал 79, 679
 Песня («Стоит шест с гага-рой...») 167, 234, 377, 396, 713, 736, 775
 Песнь Песней 137
 Петербургские мечтатели 7
 Письма Блока, кн. 31
 Письма из Парижа» 793
 Письма Л. Андреева, кн. 31, 664
 Поединок 312
 Покрывало Изиды 16, 667, 674, 675, 687, 693, 721, 723, 739, 750
 Политический маскарад 783
 Полунощный свет 12, 448—477, 677, 687, 784—789
 Людмила 667
 Савинов С. 677
 Послания, цикл 665, 676
 Поэзия 26
 Поэзия Владимира Соловьева 19, 92—93, 138, 368—371, 391—192, 683, 792
- «Поэта сердце влажно, как стихия...» 718
 Посрамленные бесы 7
 Поэту 23, 361, 676, 681
 Правда Максима Горького 674
 Пробуждаемся мы, мертвецы, или нет? (лекция) 690
 Проклятая десятина 720
 Психея 750
 Пустое небо (замысел) 698, 714
 Горич 698
 Маргарита 698
 Пустыня 47
 Пятьдесят девять 19, 742
- Разлад 782
 Разоблаченная магия 115, 196, 699, 722
 Рассказы, кн. 1 24, 98
 Рассказы, кн. 2 719, 740, 787
- Самоопределение России и Максим Горький 783
 Сатана 6, 20, 25, 27, 275, 404, 751
 Оленька 751
 Светлеют дали 160, 323, 353, 712
 Северный крест 669, 782
 Семена бури 691, 758
 Сергею Городецкому 717
 Сережа Нестроев 6
 Сестра 24
 Сестре 665
 Слепые 12, 13, 17, 136, 478—538, 690, 704, 706, 711, 732, 790—791

- Анна Томилина 737
Бешметьев 13, 17
Смысл революции 685
Смысл христианства 808
Снежная дева 16
Сны в подполье 695
«Со мною ты...» 747
Собрание сочинений (в 6 т.)
249
Сонеты 666
Сочинения (1911) 666, 781—
782, 786, 729, 790
Стихотворения Георгия Чул-
кова, сб. 23, 26, 167, 665,
666, 676, 679, 695, 697, 701,
713, 717, 750
Страдные дни, кн. (неосу-
ществл.) 217, 304, 731, 783
Страшное слово 783
Судьба России. Беседы о со-
временных событиях 705,
783
Судьба России и наше пра-
вительство 783
Тайга 216, 312, 378, 398, 669,
672, 727, 730, 758
Тайна любви 692
Тишина 204, 249, 740
Торжествующий коммунизм
783
Тревога 669
Третий завет 676, 705
«Ты иронической улыбкой...»
698
«Ты красивее всех...» (пер. из
П. Фора) 722
Тютчевiana 700
Фауст и мелкий бес 196, 722
Феклуша 388, 404, 781
Хомуз 19, 742
Хромой Франциск 7, 758
Хроника внутренней жизни
87
Художники и демоны 757
Цыган и Жучка 24
Честный большевик 21, 427—
447, 786
Что-то черное 225, 733
Шурочка и Веня 12, 548—564,
676, 792—793
Элегия 729
Элеонора Дузе 241, 739
Юргису Балтрушайтису 695
«Я молось тебе, как солнцу,
как сиянью дня...» 137
Memento mori 16, 154, 710
Salto mortale, или Повесть о мо-
лодом вольнодумце Пьере
Волховском 8, 782

СОДЕРЖАНИЕ

Мария Михайлова

Пристрастный летописец эпохи 5 —

ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА

Годы странствий. Из книги воспоминаний . . .	31	661
От автора	31	—
Юность	32	661
Мои тюрьмы	37	665
Якутская ссылка	49	671
Под гласным надзором	58	673
«Новый путь»	72	677
«Вопросы жизни»	85	681
«Факелы»	100	688
В.Я. Брюсов	106	693
Леонид Андреев	124	701
Александр Блок	137	705
Федор Сологуб	160	712
Современники	178	716
Кризис декадентства	194	721
«Весы»	204	726
Художники	210	727
Театральные заметки	223	732

М.Н. Ермолова	243	740
Годы странствий	248	740
Письма из Парижа (1911 г.)	255	743
Праздник	255	743
Катзар	259	745
Мона Лиза	263	745
Нижняя Сена	267	748
Возвращение на родину	272	750
В горах	279	752
От Женевы до Софии		
Письма 1915 года	287	753
На родине	310	757
Мартовские дни	316	759
Письма		
Письма В.Я. Брюсова	321	759
Примечания Г. Чулкова		
к «Письмам В.Я. Брюсова»	352	—
Письма Александра Блока	365	772
Примечания Г. Чулкова		
к «Письмам А. Блока»	388	779
Воспоминания	405	781

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

Вчера и сегодня	423	782
Честный большевик	427	786
Парадиз	430	786
Полунощный свет	448	787
Слепые	478	790
Отмщение	539	792
Шурочка и Веня	548	792
Ненавистники	565	794
Красный жеребец	590	795
Вредитель	603	796
Указатели	809	—

Чулков Г.

Ч89 Годы странствий / Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. М.В. Михайловой — М.: Эллис Лак, 1999. С. 864.

ISBN 5-88889-035-9

Книга Г.И. Чулкова «Годы странствий» уникальна: основная ее часть представлена мемуарами, изданными малым тиражом более 60 лет назад и ставшими библиографической редкостью. Их дополняют письма А. Блока и В. Брюсова к автору, рисующие напряженную и противоречивую обстановку, сопровождавшую развитие символизма в России. В книгу включены хранившаяся в архиве автобиография Чулкова, два его очерка, напечатанных в периодике 1917—1918 гг., новеллы, а также повесть «Вредитель», раскрывающая трагедию писателя в Советской России.

Историко-литературный комментарий углубляет существующие представления о Серебряном веке в целом и о взаимоотношениях его представителей.

УДК 8824—821
ББК 84Р

Георгий Иванович Чулков

Годы странствий

Редакторы *И.Л. Тимашева, Т.А. Горькова*

Художественный редактор *В.Н. Сергутин*

Корректор *В.М. Фрадкина*

Набор и верстка *В.В. Смирнов*

Сдано в набор 20.10.98. Подписано в печать 31.03.99.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 45,36. Уч.-изд. л. 40,38.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 2733.

ЛР № 071446 от 02.06.97

Издательство «Эллис Лак»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16
Тел.: 254-2611, 254-7472

ISBN 5-88889-035-9



9 785888 890356

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



